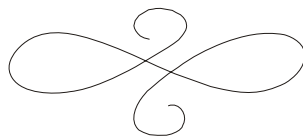


*Ильяс
Эфендиев*

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ



В двух томах

*(Перевод
с азербайджанского)*

"ЧИНАР-ЧАП"
БАКУ – 2002



Составитель и редактор:

ЭЛЬЧИН

народный писатель Азербайджана,
доктор филологических наук, профессор

Редактор издания:

Надир Агасиев

Эфендиев Ильяс.

Э 94 "Избранные произведения" в 2-х томах, том II. Перевод с азербайджанского.
Баку, Издательско-полиграфическое предприятие "ЧИНАР-ЧАП", 2002,
– стр. 488.

Во второй том двухтомника «Избранные произведения» классика азербайджанской литературы, выдающегося представителя азербайджанской культуры XX века Ильяса Эфендиева вошли такие его широкоизвестные романы, как «Ивы над арыком», «Кизилый мост», «Не оглядывайся, старик» и «Трехзарядная винтовка». Переведенные на многие иностранные языки, эти произведения сыграли важную роль в формировании жанра романа, как национального фактора азербайджанской прозы XX века.



РОМАНЫ

Ивы над арыком

Никому, даже дяде Алескеру, я не рассказывала о своей жизни в Гюнее, хотя все время думаю, вспоминаю об этих печальных и радостных днях. Пережитое встает передо мной с такой отчетливостью, словно только вчера я уехала отсюда.

Государственные экзамены кончились. Несколько дней спустя нас, выпускников, вызвали в Министерство культуры. Принял сам министр. Сначала все шло хорошо: министр поздравил нас, похвалил выпускной спектакль, отметил лучших, назвав и мое имя. Но когда он заговорил о том, что азербайджанская деревня испытывает острую потребность в работниках культуры, что многие клубы закрыты из-за отсутствия руководителей и что наш долг возглавить эту работу в деревне, я поняла – с театром все кончено. «Так... – с грустью подумала я, – значит, в деревню...»

– Нельзя ли оставить в театре хоть несколько человек? – обратился к министру директор института. – Ведущие актеры постепенно сходят со сцены, мы должны подготовить им талантливую смену.

– Это верно, – согласился министр, – но вы же прекрасно знаете: в драматическом театре сейчас нет вакансий.

Через два дня я получила назначение в кишлак Гюней. Это была настоящая «глубинка»: целый день ехать поездом, а потом еще на автобусе... Я стала собираться.

Летом в четырехэтажном здании общежития оставались только я да сторож дядя Алескер с женой. Оба они были из Курдистана, в Баку попали в 1918 году и с тех пор жили в маленькой темной комнатке на первом этаже. Менялись вывески на здании, одни учреждения выезжали из него, другие въезжали, менялись люди, ежедневно проходившие мимо комнатки дяди Алескера, но ничто не могло изменить образ жизни старого вахтера. По вечерам он снимал со стены ветхий, с незапамятных времен служивший ему саз, садился на тоненький голубой тюфячок и начинал петь, тихонько сопровождая себя. Песня была только одна:

«Горы, лицо обратившие к нам,
Что я оставил у вас?»

Я любила заходить по вечерам к дяде Алескеру и слушать эту старинную песню, хотя слышала ее уже сотни раз. Да, видно, мы оставили что-то в этих горах, «лицо обративших к нам». Я ведь тоже родилась в горах и никогда, наверное, не забуду пропасти, водопады, цветущие луга весной.

Старики были одиноки, я тоже, и мы очень привязались друг к другу.

Дядя Алескер и его жена считали меня своей дочерью. Поэтому я получала обязательную и обычно изрядную порцию от любого кушанья, приготовленного тетей Гюллю. В свою очередь я старалась не остаться в долгу и, если случались контрамарки, всегда тащила в театр своих стариков – больше мне нечем было их побаловать: я жила только на стипендию.

И вот мне нужно уезжать. Тетя Гюллю не скрывала своего негодования. «Подумать только, – громко возмущалась она, – отправляют бедную девочку Бог знает куда!» Дядя Алескер ничем особенно не выражал своего огорчения, только песня его звучала в эти дни грустнее обычного. Провожать меня пошли оба. На вокзале дядя Алескер купил две бутылки лимонада и молча поставил их в купе на столик, а тетя Гюллю распахнула постель, постелила на полке тюфяк и высоко взбила маленькую подушку. Когда осталось пять минут до отхода поезда и проводница предложила провожающим выйти, дядя Алескер сжал мою руку: «Ну, доченька, будь здорова! Дай тебе Бог!» Тетя Гюллю без конца целовала меня и плакала.

– Не забывай нас, Нурия, – говорила она, сморкаясь. – Приедешь, сразу напиши, что и как.

Поезд тронулся. Я не плакала, – я вообще очень редко плачу, – но на душе кошки скребли.

Быть актрисой я мечтала с детства, хотя мне никогда не приходила в голову мысль, что можно вот так просто взять и поступить в театральный институт. Когда же я оказалась в этом институте и мечта моя постепенно стала превращаться в реальность, я наконец поверила, что буду актрисой.

Мы часто всем курсом ходили в драматический театр. После спектаклей я даже не пыталась заснуть. До самого утра я ворочалась в постели, вспоминая игру какой-нибудь актрисы, и каждый раз, незаметно для себя, оказывалась на ее месте: радовалась, страдала, плакала слезами героини. Хорошо, что никто не видел этих слез!

Летом, оставаясь одна в общежитии, я превращалась в Катерину или Офелию, а когда все съезжались к началу занятий, я еще долго удивляла подруг интонациями и жестами, вовсе не подходящими студентке.

Тогда, в институте, будущее не пугало меня, наверно, потому, что оно казалось очень далеким и неопределенным. Сейчас все стало ясно. Никакой актрисой я не буду, я заведующая клубом в кишлаке Гюней, куда надо целый день ехать на поезде, а потом еще автобусом.

Пять лет назад, когда я приехала в Баку, никто в этом большом шумном городе не заметил моего приезда. Точно так же теперь никто не заметил, что я уехала. Только дядя Алескер да тетушка Гюллю...

Я вышла на маленькой станции. Уже темнело, но жара не спадала. Редкие электрические фонари освещали пристанционные постройки. На пыльной площади за вокзалом стоял автобус. Я спросила, куда он пойдет.

– В совхоз, дочка, – ответила пожилая женщина, выглядывавшая из окна автобуса. – А тебе куда?

– В Гюней.

– Как раз по дороге. Беги скорей за билетом – сейчас отходит!

Я схватила свои вещи, бросилась к кассе, открыла сумочку. Денег не оказалось.

«Не может быть, – сказала я себе, холодея и хорошо понимая, что это очень даже может быть, – терять стипендию мне приходилось не раз. – Не может быть, – мысленно повторила я уже без малейшей надежды найти эти триста рублей. – Ясно – выронила, когда доставала платок. Но что же теперь делать?!»

Трое мужчин, женщина, подошедшие следом за мной к кассе, смотрели, как я судорожно роюсь в сумке.

– Что-нибудь потеряла, сестрица? – сочувственно спросил молодой мужчина в белой кепке.

– Да нет, ничего, – как можно небрежнее бросила я, отходя от кассы, – письмо у меня тут было с адресом, – наверно, дома оставила.

Я взяла чемодан, узел с постелью и побрела на площадь. Мне уже было известно, что идти надо в том направлении, куда пошел автобус. Он только что отъехал, и поднятая им пыль еще не осела. Я шла и чихала... Настроение у меня было довольно безрадостное. Впрочем, я не отчаивалась: «Ну и что? – утешала я себя. – Не реветь же теперь! Подумаешь, триста рублей потеряла! Если уж я тогда в министерстве не разревелась, сейчас это было бы совсем глупо!» «... Хорошо, но что ж ты будешь теперь делать? – осуждая мою беззаботность, спрашивал какой-то суровый голос. – Что ты будешь делать одна, в чужом месте, без денег? Кто тебя будет кормить до зарплаты?» Я сердито тряхнула головой, стараясь отмахнуться от пыли и от этого противного голоса. Решила ни о чем не думать.

Пыль улеглась. Я шла по белевшему в темноте шоссе, время от времени останавливалась, ставила чемодан и клала на него узел с постелью. Дул легкий ветерок. Далеко впереди в горах, словно сквозь серебристый тюль, мерцали огоньки. Однообразно стрекотали цикады. Я не знала, сколько километров до моего кишлака, а чемодан, полный книг, оттягивал руку. Но такая светлая, тихая была ночь и такая широта кругом до самого горизонта, где на синем небе вырисовывались резкие очертания гор, что я успокоилась. Нет, все будет хорошо.

Я шла очень долго. У шестого километрового столба я поняла, что больше не могу сделать ни шагу, и присела у обочины дороги на чемодан. Из-за куста придорожной ежевики вдруг выскочила лиса, стремительно бросилась в степь. Я вздрогнула от неожиданности и посмотрела ей вслед. Рыжий зверек словно растаял в лунном свете. Появление лисицы почему-то навело меня на мысль, что когда-то на нашей голубой планете вообще не было людей, а только звери...

Этот бескрайний простор, беспредельный покой, этот мерцающий голубой свет были и тогда... А потом появились люди... А что они прибавили к вечной красоте природы? Зачем я бреду сейчас с тяжелым чемоданом, набитым книгами? Если бы меня не существовало, разве ночь не была бы так же хороша?

Я, конечно, понимала, что моя «мировая скорбь» смешна и объясняется тем, что я просто-напросто очень устала, что «скорбь» эта сродни тем кошмарам, которые снятся переутомленным людям, и все-таки чувствовала какое-то сладостное цепенящее успокоение, безвольно отдаваясь медлительному потоку этих странных мыслей. Нет ни времени, ни пространства – только пустота, бесконечность...

Издали послышался стрекот мотора. Человек, мой собрат, быстро вернул меня к нашей, земной жизни, и я увидела, как из серебристой мглы появился на дороге мотоцикл. Мотоциклист резко затормозил, спустил ноги с педалей и, придерживая руль, удивленно спросил:

– Почему вы здесь сидите?

Я вздрогнула. Этот голос...

Он ближе подвел мотоцикл.

Я смотрела ему в лицо. Огромные, черные, блестящие глаза...

«Мурад! Господи, как он попал сюда?!»

– Почему вы молчите? С вами что-нибудь случилось?

«Неужели это Мурад?! И ты не узнаешь меня? Почему? Может быть, на лицо мне падает тень от кустов? Ну узнай же, узнай меня скорее!»

– Ничего не случилось. Просто отдыхаю, – с трудом произнесла я.

– Отдыхаете?! А куда вы идете?

– В Гюней.

– Почему же пешком?

– Я опоздала на автобус.

«Вру я, неужели ты не чувствуешь? Я вру, мне плохо, мне хочется реветь, но не могу же я сказать тебе правду!»

– Да, но пешком вам не добраться. До Гюнея от станции тридцать километров... На багажнике сможете удержаться? – неожиданно спросил он. Вытащил папиросу, желтоватый огонек спички осветил его лицо.

«Куришь? А тогда ты, кажется, не курил. И усов у тебя не было. Почему у тебя такое лицо: худое, усталое?»

– Сумеете удержаться на багажнике? – повторил он.

– Сумею. Но только вам, наверно, будет неудобно...

– Ничего. Не оставаться же вам тут в степи. Давайте вещи.

Я только сейчас сообразила, что следует встать. Мурад бросил папиросу, снял свой ремень, связал чемодан и узел, быстрым, ловким движением перекинул их через багажник. Потом сел и завел мотор.

– Садитесь!

«И говорить ты стал как-то по-другому. Откуда у тебя эта резкость?»

Я забралась на багажник.

– Держитесь за меня крепче – на ухабах здорово подбрасывает. И не бойтесь.

– Я не боюсь.

Мотоцикл рванулся... Меня качнуло назад, я крепко обхватила Мурада. Ветер трепал волосы. Мурад не оборачивался. Зачем этот проклятый мотоцикл несется как бешеный, – ведь мне так хорошо сейчас! Машину подбросило на ухабе, и я лицом, губами на минуту коснулась его спины. Правда, я немножко ушибла нос...

Мы проскочили мостик над большим арыком, блестящим в тени молчаливых развесистых ив. За мостом начинался кишлак. Мурад притормозил.

– Куда вас отвезти?

– Не знаю, – сказала я виновато. – Я тут впервые.

– Видимо, работать сюда приехали?

– Да, я буду работать в Доме культуры!

Он остановил мотоцикл у фонаря посреди деревенской улицы и обернулся, чтобы помочь мне слезть.

– Нурия, это вы?!

– Кажется, да, – ответила я, усмехнувшись, и спрыгнула на землю.

– Почему же вы молчали?

Я и сейчас молчала – очень боялась расплакаться. Мурад взял меня за руку.

– Ничего не понимаю, Нурия, – тихо сказал он. – Вы – и вдруг здесь.

Рука у Мурада была большая, горячая и шершавая. Мне не хотелось отнимать у него свою.

– Вы сразу меня узнали?

Я кивнула. Он помолчал и выпустил мою руку.

– Вам нужно отдохнуть. Пойдемте.

Мы остановились перед какими-то воротами. В глубине сада виднелся дом.

– Здесь живет председатель колхоза. – Голос Мурада звучал мягко и грустно. – Остановитесь пока у него. Дядя Нариман и его жена очень хорошие люди.

Он постучал в ворота.

– Кто там? – басом спросил какой-то мужчина из глубины сада.

– Это я, дядя Нариман.

Послышались шаги. Маленькая дверь в воротах, заскрипев, открылась, и оттуда высунулась бритая голова. Увидев меня, мужчина нагнулся, вышел на улицу и протянул мне руку.

– Добро пожаловать!

Свет электрической лампочки, прикрепленной над воротами, упал на председателя. Это был широкоплечий плотный человек. На нем были галифе и шерстяная гимнастерка, туго перетянутая широким солдатским ремнем. Ему можно было дать лет пятьдесят (позднее я узнала, что дяде Нариману уже седьмой десяток).

– Заходите, пожалуйста, прошу, – сказал он, окинув меня внимательным взглядом, и взял у Мурада чемодан.

Оставив мотоцикл у ворот, мы вошли в сад и, пройдя по аллейке между абрикосовыми деревьями, поднялись по широкой лестнице на веранду. Нас встретила маленькая полная женщина в цветастом халате. На голове у нее был фиолетовый келагай*.

Она ласково поздоровалась со мной и подвела к столу. Белоснежная скатерть казалась чуть розовой под ярким абажуром.

– Ну, Мурад, кого ты нам привез? – с улыбкой спросил дядя Нариман.

– Нурия-ханум будет работать в Доме культуры.

– Да ну? Выходит, наша гостья артистка?

Мурад вопросительно взглянул на меня.

– Артистка.

Я сказала так, словно была уверена, что артисты приезжают сюда каждый день.

В глазах у Мурада мелькнуло радостное удивление. Я постаралась принять сосредоточенный и независимый вид.

– Вот это здорово! – воскликнул дядя Нариман. – А то, понимаете, звонил, звонил министру. Дом культуры построили, а что толку – дверь-то на замке. Так... Значит, артистка? Замечательно!

– Министрам-то ты звонить умеешь, а машину выслать на станцию тебя нет, – шутливо заметил Мурад. – Нурия-ханум со станции пешком шла. (Почему он все время говорит «ханум»? Не хочет звать просто по имени?)

– Ну уж тут я ни при чем, сама виновата, – дядя Нариман погладил усы. – Дала бы телеграмму, не то что на станцию, в Баку бы машину выслали.

– Спасибо, – я усмехнулась. – Считайте, что ваш культработник приехал на машине.

– В каком театре вы в Баку работали? – спросил дядя Нариман. Он явно заинтересовался мной.

– Еще не работала. Только что кончила театральный институт.

– Институт? – удивленно воскликнул председатель. – Жена, ты слышишь? Артистка, да еще с высшим образованием, приезжает работать в кишлак! Ну что ты копаешься, Гаранфиль? Она же есть хочет!

Мурад с лукавой улыбкой смотрел на дядю Наримана.

– Это все хорошо, товарищ председатель, а какие условия вы создадите для специалиста с высшим образованием?

Дядя Нариман надул щеки и презрительно фыркнул.

– Да уж не извольте беспокоиться! Условия у нас будут что надо.

«Ах, Мурад!.. Как ты говоришь обо мне! Сколько спокойной снисходительности в твоём тоне!»

Тетя Гаранфиль принесла стаканы, сахарницу, варенье и стала накрывать на стол.

– Ты что стоишь? – обернулась она к Мураду. – Моему-то всегда не сидится, знаешь ведь. А ты садись.

– Мне надо идти. – Брови его вдруг сошлись на переносице, и словно какая-то тень набежала на лицо. – Я вас очень прошу, Нурия-ханум, почувствуйте себя здесь как дома. Если что будет нужно, дядя Нариман все сделает. И тетя Гаранфиль очень добрая.

Глаза у него сейчас были такие, будто он оставлял здесь самых близких, дорогих людей и отправлялся в длительное и не очень приятное путешествие.

– А ты все-таки садись, – дядя Нариман положил Мураду руку на плечо. – Ничего не случится. Жене твоей мы не скажем.

Я вздрогнула. Мурад не ответил на шутку. Он коротко бросил «до свидания», повернулся и быстро сбежал по ступенькам. Я смотрела ему вслед и чувствовала, что бесконечно устала. Он ушел... Целый час мне было так хорошо, и вот все исчезло, растаяло в темноте ночи вместе с затихающим треском мотоцикла.

Я улыбнулась хозяевам. Наверно, это была странная улыбка, потому что тетя Гаранфиль очень внимательно посмотрела на меня. Она не знала, что я улыбнулась, чтобы не расплакаться.

Жаловаться я не умею. Может быть, это потому, что у меня рано умерли родители, мне было тогда всего восемь лет. Я осталась у дяди, и его жена, злая, жадная Говерджин, невзлюбила меня. С утра до вечера я босиком, в дырявой юбчонке таскала с родника воду в огромном медном кумгане. Кумган был очень тяжелый, в него входило, наверно, литров двадцать, и к вечеру у меня всегда болела спина.

Я не жаловалась. Мое маленькое сердце, как веселая птичка, радовалось всему: весенним цветам, восходу солнца, вечерней прохладе в жаркие летние дни.

Когда мне было лет десять, я заболела. Наша старая учительница написала письмо в газету, меня взяли в детский дом. Относились ко мне там хорошо, только подруг у меня почему-то не было.

В детском доме я все вечера пропадала на занятиях драмкружка, правда, в спектаклях, которые мы ставили, мне всегда доставались комические роли. Я огорчалась этим, но не очень, – слишком большое удовольствие доставляла мне игра на сцене.

Когда я училась в институте и мои однокурсницы ходили нарядные, в красивых модных платьях, а у меня было только одно – серенькое с двумя вставочками, это тоже меня никогда не удручало. Некоторые девушки считали, что я из гордости скрываю свою обиду, но мне и в самом деле не казалось это обидным.

За всю свою жизнь я испытала только одну настоящую обиду и никогда уже не смогу ее забыть.

Я кончила школу в Кировабаде. Недалеко от нашего детдома был небольшой клуб, и мы, десятиклассницы, ходили туда на танцы. В одно из воскресений мы, как обычно, стайкой толпились в клубе у окна и весело болтали, делая вид, что нам совсем не хочется танцевать. В зале было много студентов, офицеров, но нас никто не приглашал. И вдруг я заметила одного лейтенанта. Мне показалось, что где-то я уже видела его – стройного, широкоплечего, кудрявого. Конечно, где-то я его видела. Он разговаривал с другим лейтенантом и не замечал, как жадно я рассматриваю его. Но вот он обернулся, и лицо его стало серьезным. Почему он так смотрит? Наверно, я пробурлавила его своими восхищенными взглядами. Ой, как нехорошо...

Молодой лейтенант не отрывал от меня глаз. Они были черные, очень большие. Мне стало страшно и радостно. Щеки у меня горели. За все свои семнадцать лет я не испытывала ничего подобного.

Он подошел, улыбнулся и пригласил меня на вальс. Я подала ему руку. Мы танцевали долго. Обычно я могла кружиться сколько угодно, а сейчас словно опьянела, все плыло у меня перед глазами.

И странно, это вовсе не было неприятно, наоборот, мне стало удивительно хорошо.

– Как вас зовут? – Его голос доходил до меня словно издалека. – Почему вы молчите?.. Чему улыбаетесь?

– Меня зовут Нурия. А вас?

– Мурад. Не забудете?

Я покачала головой.

– Вас можно будет проводить после танцев?

Я снова отрицательно покачала головой.

– Почему? Вас будут ругать дома?

– У меня нет дома.

– Но вы где-нибудь живете?

– Я живу... в детдоме.

Губы у него дрогнули. Он больше ни о чем не спрашивал.

– Может быть, выйдем? – сказал он, когда оркестр замолк. – Здесь очень жарко.

Мы вышли на улицу. В тишине, окружавшей нас, казалось, была скрыта какая-то тайная волнующая радость. Мы шли молча.

– Вы здешний? – заговорила я наконец.

– Нет, – ответил он, – мой дом далеко отсюда, я из деревни...

Навстречу нам шел пожилой полковник. Пряча в усах улыбку, он ответил на приветствие Мурада. Мурад покраснел и виновато посмотрел на меня. Я засмеялась, он тоже. Так я и не узнала, из какой он деревни.

Ничего тогда не существовало для меня, кроме того, что он здесь, что он смотрит на меня. Голова у меня была какая-то легкая, и ни одной мысли в ней, только ощущение счастья, свободы. Так, наверное, чувствует себя птенец, когда он первый раз поднимается в небо.

Мы вышли по шоссе за город. В степи было тихо, только изредка мимо нас проносились машины. Кругом все зеленело, уже кончался май. И цветов было очень много: белых, розовых, красных... Темное облако, плывущее с запада, задело солнце, совсем низко спустившееся к горизонту, и мы оказались в тени, зато впереди нас вся степь была залита яркими, золотыми лучами.

– Знаете, Нурия, я утром, как встал, сразу почувствовал, что сегодня случится что-то очень хорошее. И вот мы идем сейчас... Если бы вы знали...

Он не договорил. Мне так захотелось взять его руку в свои! Словно почувствовав это, Мурад сам взял мою руку. Какой покой кругом, какой простор...

– Нурия! – Мурад повернул голову и посмотрел мне в глаза. – Мы ведь никогда не расстанемся, правда?

«Конечно, не расстанемся, если ты этого хочешь. Какой у тебя голос!.. Ты, наверно, очень смелый и сильный!»

– Вот вы кончите десятилетку... Потом... Но вы меня не слушаете. О чем вы думаете?

Я не знала, что сказать, – всегда я была так одинока, и вдруг Мурад, и почему-то такой близкий... Я смотрела на него с изумлением: откуда он взялся? Мне не надо было его ни о чем спрашивать; я знала самое главное – он единственный на свете, самый нужный мне человек!

«Помолчи, не спрашивай меня ни о чем. Ведь ты все про меня знаешь. И я знаю, знаю самое главное. И неважно, что мы знакомы лишь несколько часов, – время не имеет никакого значения. Мне кажется, что я всегда любовалась тобой: твоим мужественным лицом, твоими большими руками. Мне так спокойно, я такая сильная рядом с тобой!»

– Вы видели когда-нибудь гробницу Низами? – я показала на виднеющуюся справа усыпальницу.

– Проезжал несколько раз мимо.

– И ни разу не заходили внутрь?

– Нет, как-то не получалось.

– О, ну тогда пойдете. Обязательно. Нужно посмотреть!

Пока мы добирались до гробницы, и я рвала тюльпаны, небо заволкло тяжелыми, темными облаками, солнце скрылось.

Красные розы, положенные кем-то на могилу поэта, уже поблекли, и я положила рядом с увядшим букетом свои цветы.

Я каждый год в один и тот же день приходила на могилу Низами. Это было в день моего рождения, о котором мне никому не хотелось говорить. А вот сегодня я пришла сюда не одна. Сегодня тоже день рождения – день рождения моего счастья.

Блеснула молния. Громыкнуло прямо над головой. Я вздрогнула – грозы я всегда боялась.

– Мурад, бежим скорее!

Но бежать было поздно: дождь застучал по деревянному навесу. Гром ударил с такой силой, словно где-то над нами что-то взорвалось. Молния мгновенной вспышкой осветила степь, мокрую, исхлестанную дождем. Мурад обнял меня за плечи.

– Ты что зажмурилась? Боишься?

Я уже не боялась. Я была не одна, и он сказал мне «ты»!..

– Дождь сейчас кончится... уже светлеет...

Я открыла глаза и взяла его за руку.

В разрывах темных облаков проглядывали кое-где бирюзовые клочки неба. Облака быстро, словно их кто подгонял, мчались по небу. Те, что еще остались над нами, посветлели, стали сиреневыми в лучах заходящего солнца.

По мокрой, прибитой дождем траве мы вышли на шоссе.

– Может быть, сходим завтра в кино? Говорят, хорошая картина.

– Не могу, Мурад. Послезавтра у меня алгебра... Ведь на аттестат зрелости!

– Да, я же забыл, что у вас экзамены начинаются! А ты боишься алгебры?

– Не то что боюсь, но, понимаешь, у нас математик очень строгий.

– А в котором часу экзамен?

– Утром, в девять.

– Ну, тогда, может, вечером встретимся?

Я кивнула.

– Только давай пораньше, а то я буду беспокоиться.

– В полшестого, хорошо?

Алгебру я терпеть не могу, но готовилась две ночи напролет – мне очень хотелось получить пятерку. Пятерки все-таки не вышло – в задаче я напутала.

В половине шестого я была в библиотеке. Я представляла, как с шуточной небрежностью расскажу Мураду о своей злосчастной четверке, как рассмешу его – недаром же я выступала в комических ролях.

Он не пришел.

Я ждала до восьми часов. Его не было...

Пять дней подряд я ходила по вечерам в библиотеку «готовиться к экзаменам». Он не пришел...

Осенью я поехала в Ленинград, в геологический институт. Почему именно в геологический – не знаю.

Сначала все шло хорошо. Я удачно сдала вступительные экзамены. Училась легко, у меня появились подруги. Но вскоре после зимней сессии я стала прихварывать. Начались боли в суставах, иногда такие сильные, что я по неделе не выходила из общежития. Оказалось, что, как и на многих других южан, сырой климат Ленинграда плохо действует на меня. Меня смотрел институтский врач, потом профессор. Было решено, что мне необходимо возвратиться в Азербайджан, и как можно скорее. Кое-как я закончила первый курс, все лето проболела и только в конце августа приехала в Баку.

Во всех вузах прием уже закончился. Только на здании театрального института висело объявление, на котором крупными буквами было написано: «Прием продолжается». Я пошла туда. Меня приняли.

В Ленинграде мне казалось, что я забыла Мурада, но как только я вернулась в Азербайджан, сразу поняла, что не переставала ждать встречи с ним.

Сначала мне казалось, что Мурад ищет меня. Завидев издали высокого стройного военного, я бросалась к нему: «Мурад!» Потом это прошло. Я смирилась. Зачем ждать напрасно? Жила как все: сдавала экзамены, играла в теннис, увлекалась театром. И на вечера ходила. Смеялась, кокетничала... Только вальс танцевать разлюбила. На выпускном балу, кажется, даже обидела нашего профессора, когда он со старомодной галантностью поклонился мне, приглашая на вальс, – отказалась.

Мурад женился. Я навсегда потеряла его. Но ведь я еще тогда поняла, что наша встреча не значила для него так много, как для меня. Почему же мне так больно сейчас?

Есть я не могла, хотя с самого утра ничего не ела. Хотелось лечь и заснуть. Я с трудом проглотила несколько кусочков долмы*, поблагодарила хозяев. Тетя Гаранфиль отвела меня в комнату на другом конце дома, постелила чистую простыню, принесла легкое одеяло.

Я подошла к окну. Луна скрылась за облаками. На краю кишлака за последним электрическим фонарем все тонуло во мраке. Только далеко-далеко мерцали неясные слабые огоньки.

– Что это там светится, тетя Гаранфиль?

– Где, доченька? Ах, там? Гюзей. Мурад из этого кишлака.

Странно, но я почему-то так и подумала.

– А у них что ж, нет электричества?

– Ну откуда ему быть!

– Тетя Гаранфиль, а Мурад кем работает?

– Председателем колхоза.

Тетя Гаранфиль посмотрела на меня. Мне показалось, она хочет спросить о чем-то, но она только вздохнула и сказала:

– Ну ты ложись, доченька. Поздно...

Она ушла.

Я погасила свет и стала смотреть на далекие огоньки соседнего кишлака. Изнутри что-то жгло меня, словно там тлел уголек, уцелевший от большого пожара.

Да, очень плохо остаться одной в чужой, темной комнате, смотреть на далекие огоньки и знать, что человек, о встрече с которым ты столько лет думала, сидит сейчас в своем доме за столом с женой...

Ну что ж, будь хоть ты счастлив! Пусть и она будет счастлива, женщина, которую ты любишь. А я разделюсь и лягу спать – все очень просто.

Я действительно разделась и легла. Я не плакала, только уголек в груди жег нестерпимо, он почему-то никак не остывал.

Когда я проснулась, сад был еще в тени, только что выглянувшее солнце освещало лишь верхушки деревьев. На ветке прямо против моего окна сидела сорока: она веселыми глазами-бусинами поглядывала на меня и без умолку трещала. Помню, когда я была маленькая, бабушка всегда радовалась, если к нам залетала сорока: считалось, что эта птица – предвестница счастья.

К нам сорока прилетела,
Весть нам добрую пропела:
У сынка сынок родился,
И у дочки будет сын...

И сейчас, увидев сороку перед своим окном, я сразу повеселела и быстро прошептала веселую бабушкину скороговорку.

«Только почему сын? – подумала я. – Если радостная весть, значит, обязательно сын? Наверно, наши бабушки понимали, что девушке труднее жить на свете...»

Я посмотрела туда, где вечером мерцали огоньки кишлака Гюзей, и с трудом разглядела несколько белых зданий.

Во дворе тетя Гаранфиль доила буйволицу, немного поодаль дядя Нариман разговаривал с каким-то маленьким коренастым человеком, державшим под мышкой пухлый портфель. Дядя Нариман был в нижней рубашке и домашних туфлях, а его собеседник одет весьма тщательно: хорошо отутюженный чесучовый костюм, яркий галстук, щегольская кепка с большим козырьком.

Увидев меня, он направился к веранде.

– Добро пожаловать, Нурия-ханум! Гулу Кяхризли к вашим услугам!

Дядя Нариман весело кивнул мне и слегка наклонил свою свежесвыбритую голову.

– Наш министр финансов. Прошу любить и жаловать.

Гулу смущенно улыбнулся, но было видно, что такой титул ему по вкусу.

– И знаете, он ведь у нас артист! Посмотрели бы, как он Мешади Ибада* играет!

– Ну это ты зря, Нариман-ами... Какой я артист! Вот Нурия-ханум и вправду артистка.

Быть артистом – значит понимать законы сцены, мизансцены...

– Что, что?

– Мизансцены, – важно повторил Гулу, многозначительно подняв вверх указательный палец.

– А что это за штука такая? – спросил председатель.

– Ну как бы это... Да мне не объяснить, может, Нурия-ханум вам расскажет.

– А ты меня случаем не разыгрываешь?! – вдруг расхохотался дядя Нариман. – Сцена – это всякому понятно, а вот – мизансцена...

– Эх! – с досадой махнул рукой Гулу и обернулся ко мне, явно ища сочувствия. – Вот поговори с такими об искусстве!

Тетя Гаранфиль кончила доить, кряхтя поднялась и осторожно отнесла на веранду полный кувшин парного молока. Дядя Нариман отвязал буйволена и пустил его к матери. Широко расставив передние ножки, захлебываясь, буйволенок сосал молоко, то и дело поддавая вымя лобастой комолой головой.

Тетя Гаранфиль перелила молоко в большую медную кастрюлю, луженную изнутри, и поставила ее на костер, разведенный прямо посреди двора.

Я пошла в сад. Оказывается, я очень соскучилась за годы городской жизни по этим яблоням, грушевым и айвовым деревьям, по их изумрудной листве.

В саду стоял влажный запах лоха. Этот запах с детства наводил на меня грусть. Сейчас мне тоже было невесело, но это была какая-то легкая, задумчивая грусть. Так, наверное, чувствует себя человек, поднявшийся после тяжелой болезни и еще не вполне поверивший в свое спасение.

Когда мы сели пить чай, появился невероятно яркий молодой человек. На нем был фиолетовый костюм из трико, оранжевая сорочка и голубой галстук.

Дядя Нариман встретил его не очень приветливо:

– С чего это ты так рано заявился?

– Да видите ли, Нариман-ами, прекрасная идея...

– Опять идея?! – сердито сверкнув глазами, воскликнула тетя Гаранфиль. – А работать когда будешь, Джими? Есть у тебя совесть?

Молодой человек жалобно заморгал:

– Тетя Гаранфиль, вы сначала послушайте!

– Ладно, Гаранфиль, пусть скажет, – заметил председатель. – Выкладывай свою идею.

– Идея такая, – обрадованно заговорил Джими. – Надо покрыть асфальтом дорогу от шоссе до ваших ворот.

– Почему же это до моих?

– Ну пока до ваших, а будут средства, и по всему кишлаку асфальт проложим! Гуммет теперь председатель райисполкома, приезжает часто, и какой будет позор, если исполкомовская машина посреди кишлака завязнет в грязи!

Тетя Гаранфиль исподлобья посмотрела на Джими:

– Что ж, до Гуммета исполкома не было, что ли?

Джими страдальчески поморщился и стал терпеливо втолковывать ей:

– Гуммет же, можно сказать, живет здесь. И, с другой стороны, надо учесть – у него совсем новая «Победа». Нельзя же допустить, чтоб такая машина вязла в глине!

– Эх, – с досадой махнула рукой Гаранфиль, – идеи, идеи!.. Баню бы хоть достроили! Опять ведь ни с места! Видно, как в прошлом году с яслями: привезли две машины песку, вот и все строительство. – Жена председателя вздохнула. – Не идет тебе на ум работа! Все б ты бегал да идеи придумывал. Работать надо!

– Именно! – Гулу вскочил со своего места. – Надо же наконец работать! От твоих идей никому пользы нет. Вот при председателе тебе говорю: за идеи ни одного трудодня больше не выпишу. Хватит бездельничать!

– А ты потише, потише, – Джими медленно отступал под напором Гулу, с надеждой поглядывая на председателя. – Нариман-ами сам скажет, если что. Тебе больше всех надо...

– Да, надо! – Гулу все больше распалялся. – Ни одного трудодня не получишь, дармоед!

– Постой, Гулу, – поморщился дядя Нариман. – Зачем ты так?

– А затем, Нариман-ами, затем, что это моя должность – подсчитывать, кто сколько пользы принес колхозу. И я заявляю официально, что этот... ладно уж, не буду выражаться... не только пользы никакой не приносит, а живет за счет колхоза! Переводит колхозное добро! Точит его, как шелковичный червь тутовник!

Джими снисходительно улыбнулся:

– Зря ты кричишь, Гулу. Нам-то все равно – мы тебя знаем, но ведь тут гость, чужой человек... Постеснялся бы.

– Что значит «тебя знаем»? – взвился Гулу. – И кто это мы?!

– Хватит, Гулу, – решительно сказал председатель. Но Гулу уже не мог остановиться:

– Вы узнаете Гулу! Даю слово коммуниста! (Позднее я узнала, что Гулу беспартийный.) Пусть хоть сам министр прикажет, ни одного трудодня ему больше не начислю!

Джими растерянно смотрел то на Гулу, то на дядю Наримана, стараясь уловить малейшее изменение в выражении лица председателя. Дядя Нариман был явно восхищен решительностью своего счетовода, но, видимо, не хотел при мне продолжать спор.

– Вот что, Гулу, я сейчас еду в поле, а ты проводи нашу гостью к Дому культуры. Пусть посмотрит. – Дядя Нариман вздохнул. – А ты, дочка, быстрее принимайся за дело. Ведь сердце кровью обливается! Такую домину отстроили, а всегда на замке! Если что понадобится, скажи – поможем. Ты свои дорожные идеи бросай, – обернулся он к Джими. – Баню надо достраивать – верно жена говорит.

Джими прижал руку к груди:

– Умереть мне, если через два месяца наш председатель не будет мыться в отдельном номере.

– Ладно, ладно, кончать нужно с культом личности, – благодушно отозвался дядя Нариман. – Баня не для меня строится, а для всего кишлака.

Когда мы с Гулу шли по широкой деревенской улице к Дому культуры, счетовод все еще был в мрачном состоянии духа.

– А где работает этот Джими? – спросила я, чувствуя, что Гулу необходимо выговориться.

– Ха, работает! Считается бригадиром строительной бригады, а толку от него как от козла молока. Ни стыда, ни совести у человека...

– А что же председатель смотрит?

– У каждого свои слабости. Другой раз в самый разгар работы сажает с собой этого Джими и заставляет петь.

– Джими хорошо поет?

– Хорошо! Мало сказать, хорошо. Так поет, все забудешь! Потому и трудодни ему, подлецу, выписываешь – против собственной совести идешь.

Мы подошли к Дому культуры.

– Да это же настоящий дворец! – воскликнула я. – А вы говорите, что строители бездельничают.

– Да разве это Джими? Нариман тут дневал и ночевал, когда строили. Иначе бы до сих пор один фундамент был.

Гулу направился к небольшому нарядному домику по соседству с Домом культуры.

– Эй, Назханум!

На пороге появилась молодая, ярко одетая женщина.

– Ключи давай!

Назханум быстро вернулась с ключами и, протянув мне большую белую руку, ласково сказала:

– Добро пожаловать, сестрица!

Теперь я смогла рассмотреть ее: полная, статная, белолицая, блестящие черные волосы расчесаны на пробор, гордая голова чуть откинута назад. А какая походка! Она не шла, а плыла... Ну, прямо невозможно было оторвать глаз от Назханум!

Мне показали большой зрительный зал и несколько комнат, предназначенных для занятий кружков.

В зале дорогие мягкие кресла, на сцене новый рояль. Окна, задернутые богатыми пропылившимися портьерами, выходили прямо в степь – Дом культуры стоял на южной окраине кишлака.

– Так, – сказала я грустно, – значит, пока что Дом культуры – это я и сестрица Назханум. А библиотека в кишлаке есть?

– Есть, конечно, – ответил Гулу. – Только она всегда заперта, никто туда не ходит.

– Я хотела бы ее посмотреть.

– Что ж, пойдете.

Библиотека занимала часть большого колхозного амбара, осевшего набок и крепко вросшего в землю.

– Эй, Попуш! – позвал Гулу одного из мальчуганов, которые давно уже оставили игру и во все глаза глядели на нас. – Позови-ка Сарию!

Немного погодя к нам подошла тоненькая девушка лет семнадцати. Каштановые косы ее растрепались, щеки пылали – Сария очень спешила. Видимо, она решила, что приехал очередной инструктор.

Я назвала себя. Девушка облегченно вздохнула и, приветливо улыбнувшись мне, стала снимать с дверей большой амбарный замок.

Нас обдало запахом плесени. Я подошла к единственному окну, чтобы открыть его настежь.

– Оно забито, – сказала Сария.

Когда глаза привыкли к полумраку, я стала рассматривать книги, разложенные на полках вдоль стен. Библиотека была довольно богатая: здесь были и Толстой, и Бальзак, и книги современных писателей. Три полки занимала сельскохозяйственная литература. Книги запылелись – их давно не брали в руки. Журналы на столе пожелтели и тоже были покрыты густым слоем пыли.

Я укоризненно взглянула на Сарию. Она потупилась.

– Никто не берет книг. Зря только зарплату получаю. Сколько раз говорила, чтоб перевели на другую работу...

Я промолчала. Гулу переминался с ноги на ногу. Меня вдруг охватила тоска: пожелтевшие от сырости журналы, запыленные книги, высохшие чернила в чернильнице...

Я вышла на улицу.

Было жарко. Все тонуло в знойном мареве. Мне показалось, что Баку непостижимо далеко отсюда и не может быть, что только вчера утром я ходила по его улицам, – я уехала оттуда тысячу лет назад.

Дом культуры на окраине кишлака тускло поблескивал давно не мытыми стеклами окон, казалось, он дремал, придавленный полуденным зноем. Да... Здесь я буду жить, работать...

– А что, если перенести библиотеку в Дом культуры? – обратилась я к Сарии. – Комнаты там зря пустуют.

– Хорошо бы. Но все равно никто не будет брать книг.

– Все-таки там лучше. Только вот шкафы нам понадобятся...

Я посмотрела на Гулу.

– Шкафы достанем! – с энтузиазмом заявил счетовод. – Один возьмем в сельсовете, другой – в правлении. В школе можно взять...

– А когда их можно будет перевезти?

– Да хоть сейчас!

– Тогда сейчас.

– Есть, товарищ начальник! – Гулу шутливо козырнул мне. – Идите в библиотеку, здесь жарко. Через полчаса доставлю шкафы и приеду за вами.

Мы вернулись в библиотеку. Я включила радиоприемник, в нем что-то надрасно захрипело.

– Да не работает он, – Сария махнула рукой. – А сейчас такой хороший концерт передают!.. – Она взглянула на часы. – Пойдемте к нам, послушаем!

– Вы любите музыку?

– Кто же ее не любит! – И смущенно добавила: – Я ведь пою немножко...

– Правда? Что же вы поете – мугаматы?*

– Да что придется. Я не училась... Услышу по радио и пою.

– Может быть, вы мне споете?

Сария в нерешительности посмотрела на меня, потом выглянула на улицу.

– Спою, – смущенно улыбаясь, сказала она, – сейчас никто не услышит.

Она откашлялась, робко улыбнулась и запела «Карабахский марал». Я часто слышала эту популярную песню, и она никогда не производила на меня особого впечатления, но сейчас, в исполнении этой девушки, я услышала ее как-то по-другому.

Небольшой голосок Сарии звучал в этой темной низкой комнате, как маленький чистый родник в бескрайней, истомленной зноем пустыне – столько в нем было свежести и чистоты.

Девушка вся отдавалась пению, она полузакрыла глаза и чуть-чуть покачивалась в такт мелодии.

Кончив петь, Сария нерешительно и даже чуть-чуть испуганно взглянула на меня. Я притянула ее к себе и поцеловала.

Сария рассказала мне, что в прошлом году кончила десятилетку, осенью думает поступить на заочное отделение университета. У нее есть жених, Чингиз, он в армии, через год демобилизуется. Зимой он приезжал в отпуск, они ездили в Баку, были в опере, в филармонии. Это было так чудесно...

Гулу привел двух парней. Мы быстро сложили книги в ящики и перевезли в Дом культуры, в большую комнату с выходящими на балкон окнами. Долго расставляли книги по шкафам, потом принялись за каталог. Часов до двух работали, не разгибаясь.

Наконец Назханум решительно сказала:

– Ну, хватит! Пойдемте ко мне, хоть чаю выпьем.

Домик Назханум стоял в саду. Верхушки тутовых, персиковых, оливковых деревьев сплелись в одну сплошную крону – здесь было прохладно. Я с наслаждением умылась прозрачной водой из арыка.

– Какой у тебя чудесный сад, Назханум! Сколько, наверно, сил ты ему отдала!

– Должен же человек чем-нибудь заниматься. С тоски можно помереть одной...

– Назханум живет одна? – тихонько спросила я у Сарии.

– Да, – вполголоса ответила девушка и, покосившись на хозяйку, ставившую самовар, добавила: – Муж ее бросил, детей нет. Он на другой женился.

Назханум приладила трубу, подбросила в самовар углей, вытерла со лба пот тыльной стороной ладони.

– Пойдемте в комнату, – пригласила она.

В маленькой комнатке с земляным полом было чисто и прохладно. Сняв туфли, я опустилась на желтый с красными розами тюфячок и сразу почувствовала, что у меня закрываются глаза. Назханум принесла мутаку.*

– Отдыхай, сестрица!

Я уткнулась лицом в подушку, закрыла глаза – у меня не было сил. Не руки устали – я с детства привыкла к физической работе, – на душе было тяжело. Хотелось лежать так долго, ни о чем не думая.

Слышно было, как Назханум с Сарией хлопотали в коридорчике, негромко переговариваясь. Вдруг оттуда послышалась веселая песенка. Я приподнялась и заглянула в окошечко, выходящее в коридор. Назханум, подняв над головой руки, прицелкивала пальцами и весело напевала:

Назханум всегда поет,
Спать джигитам не дает.
Запирай покрепче мужа,

А то взглянет – отобьет.

Сария с улыбкой наблюдала за ней. Вдруг Назханум, смешно жестикулируя, угрожающе двинулась на девушку:

Захочу и поцелую,
Захочу и отобью!
Уж такая я родилась -
Всем покою не даю.

Так же неожиданно, как и начала, Назханум замолкла, поправила волосы и легонько подтолкнула Сарию:

– Ну хватит, тащи стаканы!

Сама она ловко подхватила самовар, на котором возвышался цветастый чайник, и внесла его в комнату.

– Наша гостья думает, наверно: вот несуразная баба – поет среди бела дня!

– Ну, я-то тебя уж никак не стану осуждать за пение – я ведь сама немножко артистка!

– Артистка? Но вы же нисколечко... – она хотела, видно, сказать, что я совсем не похожа на актрису, но вовремя спохватилась.

– И вы одна будете здесь у нас показывать представления?

– Почему же? Здесь полно артистов. Одна вы чего стоите!

Назханум расхохоталась.

– А знаете, ведь этот пройдоха Гулу не раз уговаривал меня выступить с ним на сцене. А я ему говорю: со своей женой представление устраивай!

– Почему же вы не захотели выступить?

Назханум смотрела на меня недоумевающими глазами – как это можно не понимать простых вещей.

– Да его жена мне бы все косы выдрала!

– Эй, Назханум! – послышался с улицы мужской голос.

Хозяйка плавной походкой направилась к дверям.

– Что прикажете, Алмурад-бек? – спросила она насмешливо.

– Перестанешь ли ты издеваться надо мной?! – воскликнул мужчина. В голосе его слышалась досада, смешанная с отчаянием. – Ничего я тебе не прикажу, мне нужна Нурия-ханум, артистка из Баку.

– Зачем же она тебе понадобилась?

– Не мне, а тете Гаранфиль! Что, она не может искать свою гостью?!

– Она и наша гостья, Алмурад-бек!

– И чего ты ломаешься, Назханум? – не выдержал Алмурад. – Тоже актрисой решила заделаться?

– А почему бы и нет? Разве плохо быть актрисой?

– Ну знаешь ли!..

Я подошла к двери. По ту сторону забора стоял высокий красивый парень. По голосу можно было подумать, что он сердится, но отнюдь не гнев увидела я в его глазах, смотревших на молодую женщину. Заметив меня, парень смутился и отвел взгляд от Назханум.

– Тетя Гаранфиль зовет вас обедать, – вежливо сказал он мне.

– Передайте, пожалуйста, тете Гаранфиль, чтобы она не беспокоилась. Скажите: я не хочу обедать.

– Есть передать! – парень опять бросил на Назханум страстный взгляд и отошел от калитки.

Алмурад – джигит лихой.
Это скажет вам любой.
Но сюда напрасно ходишь!
Что же делать мне с тобой?! –

пропела ему вдогонку Назханум.

Алмурад обернулся, сверкнул глазами и ничего не сказал.

Я укоризненно покачала головой:

– Зачем ты смутила беднягу? Такой красивый джигит...

– Какой он джигит? Птенец желторотый!

– Нашла птенца! – вмешалась Сария. – На какие-нибудь два года моложе тебя. – И девушка лукаво улыбнулась.

После чая мы немножко посидели в саду, а потом вернулись в Дом культуры и проработали до вечера. Назханум была очень оживленна, и они с Сарией все время хохотали.

Вдруг совсем близко затрещал мотоцикл. Я похолодела. Кажется, никогда в жизни я так не пугалась. «Это Мурад. А может быть, все-таки не он?»

Но это, конечно, был он.

Мурад поставил мотоцикл у столба, поднялся на балкон и подошел к окну библиотеки.

– Как дела?

Улыбка у него была такая же, как и пять лет назад: открытая, радостная и мужественная.

Не отвечая на приветствие, я смотрела на его осунувшееся загорелое лицо и молчала.

Ответила ему Назханум:

– Спасибо, Мурад! Какими судьбами?

– Со стойбища еду. Решил посмотреть, как вы тут.

Мне следовало что-то сказать, и по возможности совершенно спокойно.

– Дела у нас идут неплохо. – Это было все, что мне удалось из себя выжать. Я смотрела на его сильную загорелую шею, оттененную белоснежным воротником тщательно отутюженной сорочки.

«Наверно, приятно гладить сорочку мужу, если любишь его. И еще купить ему галстук, такой, чтобы наверняка понравился...»

– Вам не скучно здесь, вдали от близких? – спросил Мурад.

– Нет, пожалуй. – Я улыбнулась. – Да и близких-то у меня, собственно, нет – только дядя Алескер. Надо будет ему написать сегодня.

– Ваш дядя живет в Баку?

– Он не дядя. Просто он работает вахтером в институте, где я училась. Они с женой всегда очень хорошо относились ко мне.

Мурад нахмурился, помолчал.

– Комнату вам дали? – спросил он немного погодя.

Я отрицательно помотала головой.

– Ну знаете ли, так нельзя, надо поговорить с начальством. Хотите, я скажу дяде Нариману?

– Нет, нет, я сама!

– Ну смотрите... Обещайте, Нурия, если вам будет плохо, вы сообщите мне.

– С чего это ей здесь будет плохо? – обиделась Назханум. – Мы, небось, не звери.

Когда треск мотора затих вдали, я взглянула на Назханум и Сарию. Они почему-то притихли, не шутили, не смеялись больше.

– Сария, зажги, пожалуйста, свет! – сказала я и сама удивилась, как жалобно звучит мой голос.

– Он не горит, – виновато ответила Назханум. – Проводка испортилась.

– Ладно, девочки! – сказала я уже веселым тоном. – Не горит, так не горит. Пойдемте, я вам что-нибудь сыграю. Рояль-то хоть в порядке?

Мы прошли на сцену. Там было темно. Сария распахнула окно. Пробежав пальцами по клавишам, я взяла сильный, гулкий аккорд – мне хотелось весь мир наполнить громкими, веселыми звуками. Но, господи боже мой, что я играю?! Ведь это тот самый вальс, который мы танцевали с Мурадом! Не буду я его играть... Лучше что-нибудь другое.

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной...

Я перебирала клавиши и тихонько напевала, так тихо, что казалось, никто, кроме меня, не слышит. Но мои помощницы слушали. Когда я поднялась, Сария восторженно смотрела на меня, а Назханум сказала удивленно:

– Если бы я умела так петь, ни за что бы не приехала сюда, в кишлак!

«Мой первый концерт, кажется, прошел удачно», – подумала я и усмехнулась.

Мы вышли на балкон. Громко разговаривая, к нам приближались дядя Нариман и Гулу. Счетовод что-то доказывал председателю, оживленно размахивая неизменным желтым портфелем. Замок портфеля поблескивал в лунном свете.

– Добрый вечер, племянница! – поздоровался дядя Нариман. – Ну, как у тебя? Говорят, библиотеку сюда перевели? Правильно сделали! Прямо скандал – не читают у нас книг. Газеты и те на самокрутку пускают. Уж Сария жаловалась, жаловалась мне, бедняжка!.. Думаешь, Нурия, сюда люди охотнее будут ходить?

– Конечно. Этот дом должен стать настоящим центром культуры.

– Именно! – подтвердил Гулу. – Центром культуры. Она нам нужна как воздух.

– Это верно... – задумчиво произнес дядя Нариман, – культура нам необходима...

– А про что это вы? – недоуменно пожала плечами Назханум. – Что мы некультурно живем? Да хоть меня возьмите – и стулья, и вилки, и ложки мельхиоровые купила... Осенью получим за трудодни – радиоприемник из района выпишу.

– То-то и есть, что вилки и ложки, – вздохнул дядя Нариман. – Культура вот где должна быть! – Он постучал себя пальцем по лбу. – Культурные запросы, понимаешь?

Жест председателя был достаточно выразителен.

– Чего же не понимать? – обиделась Назханум. – А стучать нечего – у меня там не солома.

Дядя Нариман безнадежно махнул рукой.

– Вообще, дочка, работы непочатый край, – сказал он, обращаясь ко мне. – Ты, Назханум, не сердись, не хотел я тебя обидеть, так уж вышло. Пойдем, Нурия...

– Может быть, сестрица у меня переночует? – робко спросила Назханум. – Она устала сегодня...

– Нет, нет, – прервал ее председатель. – Гаранфиль ждет нас.

Тетя Гаранфиль встретила меня, укоризненно качая головой.

– Куда это ты запропастилась? Как ушла с утра, так нет и нет. Я уж соскучилась. Мой даже смеется: «Что-то, говорит, ты к ней сразу присохла!»

Тетя Гаранфиль была в темной юбке и в зеленой шелковой кофте, сшитой по городской моде, в капроновых чулках и мягких тапочках. Голова ее была непокрыта. Я обратила внимание, что она не повязала келагай, даже когда позднее пришел Гулу.

Я прошла в комнату, где провела ночь. Сняла туфли, облокотилась на подоконник. Огоньки Гюзея мерцали в полумраке, как далекие маленькие звезды.

Когда мы пили чай на веранде, раздался сигнал автомашины.

– Это Гуммет! – обрадованно воскликнула тетя Гаранфиль.

Приехавший, не ожидая, когда нас познакомят, подошел ко мне и поздоровался:

– Добро пожаловать в наши края!

Весело улыбаясь, он пожал руку Гулу и подошел к тете Гаранфиль.

– Ох! «Белая сирень»... – он взял женщину за руку, другую руку положил ей на плечо.

– Ей-Богу, если я еще раз увижу тебя такой нарядной, начну писать стихи!

– Ладно уж, – недовольно проворчала тетя Гаранфиль. – Стихи... Заглядывал бы лучше почаще. Стал большим начальником и нос воротить. Хоть бы позвонил.

– Что такое телефонный звонок? Сама знаешь – ты у меня вот где, – он положил руку на сердце.

– Ну, дядя, как дела? – спросил Гуммет, подходя к дяде Нариману. – Можно поздравить, а? Поговаривают, в этом году по двенадцать кило на трудодень выдашь?

Гулу поднял указательный палец.

– По двенадцати с половиной.

– Перестань, Гулу! – председатель недовольно взглянул на счетовода. – На весь свет раструбить готов!

– Тайну сохраняет председатель, – подмигнул нам Гуммет. – Хочет удивить весь мир... Только учти, дядя, в Бахменли, говорят, по тринадцать набегают.

– Кто это говорит?! – вскинулся дядя Нариман. – Дай Бог, если по девять.

(Позже я узнала, что Гюней соревнуется с колхозом Бахменли.)

На террасу поднялся мужчина с черными мохнатыми бровями – шофер Гуммета. Дядя Нариман встретил его приветливо:

– Проходи, Керим, садись.

– Вы как, ужинать будете или только чай? – спросила Гуммета тетя Гаранфиль.

– Мы у Мурада поужинали. А чайку – с удовольствием.

Он положил на табуретку свою серую кепку с мягким козырьком и пошел к умывальнику.

Среднего роста, широкоплечий и ладный, Гуммет был в белой чесучовой рубашке и в модных узких брюках. Лицо у него приятное, даже красивое. Густые каштановые волосы. Ясная улыбка. Его скорее можно было бы принять за студента, приехавшего на каникулы, чем за председателя райисполкома. Гуммет вымыл руки и сел за стол рядом с Керимом.

– А вы почему не садитесь? – обратился он ко мне. – Не хотите с нами чай пить?

Я села напротив него. Мне вдруг стало легко. В голосе этого человека, во всем его облике было что-то чистое, свежее, радостное. И потом он только что ужинал у Мурада, – значит, они друзья. Конечно, друзья, я почувствовала это сразу, как только Гуммет произнес имя Мурада. У него даже глаза потеплели.

– А с чего это ты в Гюзей собрался? – спросил дядя Нариман.

– В Аханлыкский сельсовет ездил, завернул к Мураду, – ответил Гуммет, отхлебнув из стакана. – Плохи у них дела, дядя. В этом году больше трех кило на трудодень не дадут.

У Гулу забегали глаза: он беспокойно глядел то на Гуммета, то на председателя.

Дядя Нариман молча уставился в тарелку.

– Как думаешь, можно им помочь? – спросил Гуммет.

Председатель поднял голову, глубоко вздохнул и пожал плечами.

– А что мне думать? У меня своих забот по горло. У них, слава Богу, председатель молодой, ученый, не мне чета. Пусть он и думает.

– Ты же человек опытный. Много видел на своем веку.

– Что я тебе могу сказать? Работать надо как следует...

– Они и работают, из камня хлеб сделать могут... Ты прекрасно знаешь, дядя, – у них нет воды.

– Было время, и мы сидели сложа руки и ждали, когда дождь пойдет. Тогда и у нас в закромах только мыши бегали.

– У вас была возможность прорыть арык от реки Генделей. А у Гюзеев совсем другое положение...

– Положение! – презрительно повторил дядя Нариман. – А к чему ты вообще весь этот разговор завел?

– А к тому, что надо подумать, как помочь им, – невозмутимо ответил Гуммет.

– Да мы только и делаем, что помогаем! Пшеницу в позапрошлом году дали? Дали. До сих пор половины еще не вернули. Той зимой, когда запасы кончились, корма давали? Давали. Теперь что давать?!

Дядя Нариман сердито отодвинул свой стакан. Гуммет подмигнул Гулу, взглядом указывая на председателя. Но Гулу было не до шуток, он, видимо, ждал грозы. Гуммет усмехнулся.

– Это все Гулу виноват. Бросил свой кишлак, вот ничего и не получается без него.

– А разве Гулу из Гюзеев? – спросила я.

– В том-то и дело, – ответил Гуммет. – Правда, гюзейлинцы не считают его больше своим.

Я ничего толком не поняла. Почему дядя Нариман так рассердился, когда речь зашла о гюзейлинцах? Я старалась не смотреть на него: лицо его мне было неприятно сейчас – недовольное, с мрачно сдвинутыми бровями. Тетя Гаранфиль тоже загрузила.

Гуммет взглянул на меня:

– Ну как, Нурия-ханум, понравился вам Дом культуры?

– Для деревни просто замечательный!

– И думаете, будет от него народу какая-нибудь польза?

– Постараемся...

– Вы не удивляйтесь моему вопросу. Ведь у нас в колхозах Дома культуры иногда для красоты строят, так – украшение пейзажа. Чтобы можно было сказать при случае: «У этого колхоза есть даже свой Дом культуры!»

– Ну не знаю, кто как, а мы его не для красоты ставили, – не выдержал дядя Нариман. – Не для того, чтобы нас в райисполкоме по головке погладили.

Гуммет улыбнулся:

– Я вовсе не имел в виду ваш колхоз. Ты народные деньги на ветер бросать не станешь, это я очень хорошо знаю.

Председатель сразу оттаял.

– Гаранфиль, ты что ж дыню не несешь? – ласково обратился он к жене.

– Господи! Из ума вон! – всполошилась тетя Гаранфиль. – Совсем забыла...

Мужчинам постелили на веранде, где обычно спали хозяйева, поэтому тетя Гаранфиль легла со мной. В этот вечер она рассказала мне о Гуммете.

Отец Гуммета, друг детства дяди Наримана, был кадровым офицером. Во время Великой Отечественной войны он командовал полком и погиб при форсировании Днепра. Мать Гуммета, сестра дяди Наримана, первая красавица в кишлаке, через полгода вышла замуж, а семилетнего сына отдала брату своего мужа. Дядя Нариман сильно переживал. По обычаю, вдова героя несколько лет из дома не должна выходить, а тут через полгода – замуж! Гуммета он забрал к себе, а о сестре больше и слышать не хотел.

– Он ему лучше отца был, – шепотом, чтобы не слышали на веранде, рассказывала тетя Гаранфиль. – Пылинке на мальчика сесть не давал. Чего, бывало, Гуммет ни попросит, ни в чем ему не отказывал. Когда парень в сельскохозяйственном институте учился, по пять раз в год в Гянджу к нему навещался. Знаешь, Нурия, он ведь в институте первым был, потом год работал агрономом, а теперь, видишь, председатель райисполкома. Это в двадцать-то пять лет! И уважают его очень, не гляди, что молодой, – тетя Гаранфиль помолчала. – Только вот не женю его никак... Ну, давай-ка спать, доченька. Поздно уже.

В комнате было темно. Я повернулась к окну и стала смотреть на освещенный луной сад. Деревья, казалось, дремали в голубоватой тишине. Кваканье лягушек в большом арыке да шум грузовых машин, по временам проносившихся по улице, нарушали безмолвие. Где-то близко тьякнула собака, потом в разных концах кишлака запели петухи. Всегда, сколько я себя помню, мне становилось грустно, когда я слышала это полночное пение. «Все забыли обо мне и спят, – думала я тогда. – Совсем одна». И сейчас, когда запел петух, меня охватила тоска. Я снова почувствовала, что совсем одна в этой ночи, одна в целом мире. Я села в постели, чтобы взглянуть на огоньки Гюзея. Огоньков не было – там спали...

Вдруг в проеме окна я увидела крошечного паучка. Он спокойно покачивался на своей нити, неторопливо разматывая ее.

Замолкли лягушки в арыке, угомонились петухи. Все спало кругом. А паучок по-прежнему спокойно и деловито плел свою нить – он не спал.

Утром меня разбудили мужские голоса на веранде.

– Слушать ничего не хочу! – гремел дядя Нариман. – Не будет этого! Скорей небо обрушится на землю!

– А почему, собственно, не будет? – негромко спросил председатель райисполкома.

– А потому. Когда мы арык копали, они в потолок поплевывали. На готовенькое много любителей найдется!

– Но ведь если арык продолжить до Гюзей-кишлака, твоему колхозу никакого ущерба не будет.

– Очень даже будет!

– Например?

– Например... У нас на этом арыке ГЭС построена!

– Ну и что ж. Демонтируем вашу ГЭС, расширим ее. Хватит электроэнергии и вам, и Гюзею.

– Что? Нашу ГЭС разобрать?

– А почему это тебя так пугает? Мощность у нее сейчас недостаточна, а после реконструкции вы могли бы все в колхозе перевести на электричество.

– Ну вот что, Гуммет, ты мне голову сказками не забивай. Расширять, не расширять ГЭС – это уж мы как-нибудь сами решим... И скажи своему Мураду, пусть и думать оставит о нашем арыке. А ты тоже хорош гусь: не успел из гнезда вылететь, своих клевать начинаешь.

Спор на минуту затих.

– Видел бы ты, как они сейчас в жару скот из соленых колодцев поят... Клочка зелени в кишлаке нет... – вполголоса сказал Гуммет.

– Мало ли на свете кишлаков без воды?! – в сердцах выкрикнул дядя Нариман. – Почему у меня обо всех голова должна болеть?

– Им нужна дружеская помощь, – все так же, ровным голосом, произнес Гуммет. – Неужели ты не понимаешь?

Его выдержка восхищала меня. Я не видела выражения лица дяди Наримана, но чувствовала, как действует на него спокойная убежденность племянника.

– Зря ты упрямишься, Нариман, – вмешалась тетя Гаранфиль. – Он ведь дело говорит. Помочь надо Мураду!

– Дался вам всем этот Мурад! – в голосе дяди Наримана слышалось неподдельное возмущение.

– Сам знаешь, дело не в Мураде, – возразила жена. – Народу надо помочь, пропадают они без воды. Понимаешь ты?

– А ты понимаешь, что арык принадлежит нам, нашему кишлаку!

– Хорошо, дядя, – согласился Гуммет, – тогда разреши собрать весь кишлак и посоветоваться с народом.

– Да ты что? – вскипел председатель. – Думаешь, народ против меня пойдет?.. Много берешь на себя, племянник. Ладно, давай, собирай собрание!

Голоса замолкли. Дядя Нариман спустился во двор, ступеньки зашуршали под его тяжелыми шагами. Я только теперь решилась выйти – у меня было такое ощущение, будто в этом споре решалась моя собственная судьба: дядя Нариман хотел причинить мне зло, а Гуммет защищал меня.

Тетя Гаранфиль заваривала чай. Гулу не было на веранде. Гуммет, облокотившись на перила, смотрел в сад. Услышав мои шаги, он обернулся и весело поздоровался:

– Доброе утро, Нурия-ханум! Разбудили мы вас своим криком?

– Нет, я рано встаю.

Дядя Нариман вывел из конюшни жеребца с белой звездочкой на лбу и привязал его к дереву.

Жеребец был восхитителен: лебединая шея, сухие, стройные, как у джейрана, ноги! Я не могла оторвать от него глаз.

– Хорош? – спросил Гуммет, заметив, что я люблюсь лошастью. – Чистокровная карабахская порода. Дядин любимец!

Дядя Нариман вынес из конюшни новое седло. Гуммет быстро спустился с веранды.

– Давай я оседлаю.

– Не надо, – дядя Нариман не смотрел на племянника. – Увидит кто-нибудь, ты же теперь большой человек.

– Брось ты, дядя Нариман! – сказал Гуммет, отнимая у старика седло. Тот отступил, сердито насупясь. Гуммет в одну минуту оседлал коня и проверил стремена.

– Ты бы хоть чаю выпил! – крикнула мужу тетя Гаранфиль.

– Не хочу, – буркнул дядя Нариман.

Он отвязал коня, ступил ногой в стремя и с неожиданной для его большого тела легкостью мгновенно оказался в седле. Гуммет взялся рукой за стремя и потянул его книзу – жест, выражающий в азербайджанских деревнях величайшее уважение к седоку. Дядя Нариман повернулся к балкону и сказал потеплевшим голосом:

– Я потом заеду, Гаранфиль. Тогда подогреешь чайку, – и тронул коня. Красавец жеребец, высоко подняв голову, гордо пошел к воротам.

Как только дядя Нариман уехал, у меня стало легче на душе. Не по себе мне было сегодня в присутствии этого человека, даром что я собиралась сейчас сесть за стол и есть его хлеб.

Совсем по-другому я чувствовала себя с Гумметом и тетей Гаранфиль. Я смотрела, как тетя Гаранфиль стелет чистую скатерть, и на душе у меня было тепло, словно я давно-давно знаю и люблю эту женщину. С Гумметом мне тоже было легко – нас словно связывало что-то.

Отсюда, с веранды, мне были видны ивы, скрывающие арык. Казалось, я слышу журчание воды и шелест листы, трепещущей от порывов свежего утреннего ветерка.

Решительно отстранив тетю Гаранфиль, я взяла у нее самовар и внесла его на веранду. Все время чувствуя на себе взгляд Гуммета, я быстро перетерла стаканы, нарезала хлеб. Подняв голову, я встретилась глазами с Гумметом. Мне показалось, что он чуть-чуть смутился. Я совсем не хотела вгонять его в краску и потому виновато спросила:

– Вам с молоком?

– Нет, не люблю молока.

Я положила в стакан серебряную ложку и налила ему чаю.

– Ничего, что такой крепкий? Я всегда крепкий пью.

– Я тоже люблю крепкий.

Он уже снова чувствовал себя свободно.

– Керим! – позвал он шофера, мывшего во дворе машину. – Садись чай пить. – Потом ласково обратился к тете Гаранфиль: – Что ты все порхаешь, как куропаточка? Посидела бы с нами.

Видимо, Гуммет не хотел оставаться со мной наедине. Он смотрел в тарелку и молча пил чай. А мне очень хотелось, чтоб он говорил.

Послышался треск мотоцикла. стакан, в который я наливала чай для Керима, задрожал у меня в руках. Я быстро поставила его на стол и убежала в комнату. Здесь я без сил опустилась на кровать.

Неужели я такая слабая?

– Ну, ты просто герой – осмелился явиться сюда! – услышала я голос Гуммета. Заскрипели ступеньки.

– Доброе утро! – сказал Мурад.

Я подошла к окошку и, отдернув занавеску, посмотрела на него. Мурад беспокойно оглядывался. Я отошла, чтобы он не увидел меня, и снова села на кровать. Сидела, закрыв глаза, и никак не могла справиться со своей слабостью. Мне казалось, что я падаю, падаю в какую-то бездонную пропасть.

Но все имеет свой конец. Я взяла себя в руки, встала, поправила волосы и, придав лицу самое беззаботное выражение, вышла на веранду.

– Добро пожаловать, Мурад!

Лицо его осветилось радостью. Я не слышала, что он ответил. Пока я раскладывала на тарелки завтрак, принесенный тетей Гаранфиль, Мурад не отрывал от меня взгляда.

– А вы заправская хозяйка, Нурия-ханум, – удивленно сказал он. – Может быть, и мне нальете стаканчик?

– Сейчас, – радостно прошептала я.

– А ты чего все чай да чай? – обиженно сказала тетя Гаранфиль. – Сколько раз приезжал – куска хлеба не съел!

– Если человек хочет пить, ему не до еды, – с улыбкой ответил Мурад, принимая у меня из рук стакан. – Знаешь ведь, дядя Нариман нас жаждой пытается.

– Твоя правда... – вздохнула тетя Гаранфиль. Немножко помолчали.

– Позавчера твоего сынишку видела, – заговорила хозяйка. – Ну и хорош постреленок, глаз не оторвать! Брови густые, взгляд соколиный – весь в дедушку Чирака... А полненький какой! Я уж сказала Саадат, чтоб талисман какой-нибудь ему на шею повесила – как бы не сглазили.

Гуммет расхохотался:

– Вот, оказывается, во что верит моя тетушка!

– А ты не гогочи попусту! – прикрикнула на него тетя Гаранфиль. – Я дурной глаз на себе испытала.

– Как зовут мальчика? – спросила я, не глядя на Мурада.

– Алимардан*, – с гордостью произнесла хозяйка.

– Ох, какое у него громкое имя!

– Дедушка Чирак так назвал в честь своего отца.

Мурад молча курил.

– Как Саадат себя чувствует? – обратилась к нему тетя Гаранфиль.

– Спасибо, хорошо, – ответил он, сосредоточенно стряхивая пепел с папиросы.

Я напряженно слушала, надеясь хоть что-нибудь узнать о жизни Мурада, но разговор перешел на другую тему. Я налила Мураду еще стакан чая и ушла в свою комнату. Пора было на работу. Я обулась, взяла сумочку и, попрощавшись со всеми, сбежала по ступенькам.

– Смотри, чтоб не искать тебя! – крикнула мне вдогонку тетя Гаранфиль. – Не придешь обедать – обижусь!

Назханум и Сария ждали меня на балконе Дома культуры. Работа у нас в этот день спорилась – к вечеру мы привели в порядок всю библиотеку.

Назханум и Сария были настроены очень весело, особенно Назханум. Она все время напевала что-то, потешала Сарию смешными историями. Им хотелось и меня расшевелить, они даже просили поиграть на рояле, но я не могла – сегодня не могла.

Назханум и Сария принялись мыть полы, а я вышла на балкон. Вечерело. Кругом тишина. Пожелтевшая трава золотилась под лучами солнца. В тени забора, оплетенного листвой тыквы, дремали с раскрытыми клювами куры. Все словно вымерло. Только старухи иногда появлялись в соседних дворах, сонные, разморенные жарой.

Я пошла к арыку. Вода была прохладная и какая-то удивительно мягкая, ласковая. Я села, опустила ноги в воду и долго смотрела, как над водою, под ивами, шатром склонившимися над арыком, мелькали большие фиолетовые жуки, чем-то похожие на самолеты. Они с разгону опускались на майоран, и трава, трепеща под их тяжестью, склонялась к воде. А в Гюзее, говорят, совсем нет воды...

Грузовик, подняв облако пыли, подкатил к Дому культуры. Из кабины вышел Гулу со своим неизменным портфелем под мышкой и важно направился к балкону.

Я окликнула его. Алмурад выглянул из кабины, весело кивнул мне, как старой знакомой, и спрыгнул на землю.

– Я за вами, Нурия-ханум, – сказал Гулу, слегка поклонившись. – Приглашаю вас в гости.

– В гости? Но зачем же вам беспокоиться?!

– Какое тут беспокойство? Вот если я без вас приеду – жена мне устроит беспокойство.

– Господи, откуда ваша жена знает обо мне?

– Земля слухом полнится.

– А как же тетя Гаранфиль? Она рассердится.

– С ней я уже договорился.

– А что ж ты Назханум не пригласишь? – спросил Алмурад, подмигнув мне.

Гулу бросил на него сердитый взгляд и ничего не ответил. Алмурад хмыкнул:

– Жены боится! Вы знаете, Нурия-ханум...

Он умолк, размахивая пустым ведром, к нам подходила Назханум. Рукава у нее были засучены, лоб блестел от пота.

– А! Гулу! – она приветливо кивнула счетоводу. – Поздравляю вас с новыми ботинками!

Действительно, на ногах счетовода были блестящие желтые туфли.

Гулу не ответил на насмешку. Снова склонившись в полупоклоне, он пригласил меня в кабину:

– Прошу вас, Нурия-ханум!

– Что это ты задаешься, Гулу? – прищурился, спросила Назханум. – Агабегим не велела со мной разговаривать?

Алмурад покачал головой и сказал, не отрывая взгляда от ее белых красивых рук:

– Ох уж эта Назханум! Нет на нее управы!

– И ты туда же?! Тогда слушай:

Алмурад лихой джигит,
Он на всех орлом глядит.
Почему ж сейчас, голубчик,
У тебя смущенный вид?

Назханум пела свою песенку, а Алмурад молчал не в силах оторвать взора от женщины. Внезапно он повернулся и решительно направился к машине:

– Садитесь, Нурия-ханум!

Проехав по мосту через арык, мы повернули на юг. Мелькали баштаны с желтыми дынями и полосатыми арбузами, участки сильного рослого хлопчатника, сжатые поля с не убранной еще соломой.

– Это чьи же земли? – спросила я. – Гюнея?

– Конечно, – грустно ответил Гулу. – Откуда же у гюзейлинцев такое богатство? Воды нет...

Мы въехали в Гюзей. Низкие дома из необожженного кирпича беспорядочно разбросаны вдоль улицы; только три-четыре из них под шиферными крышами, остальные крыты соломой. Ни кустика, лишь у въезда в кишлак старый карагач с запыленной листвой. В одном из дворов молодая женщина с ребенком, привязанным за спиной, крутила древнее колесо, доставая из колодца воду... У старой кузницы около груды поломанных металлических частей, давно уже покрытых ржавчиной, сидело несколько стариков. Они проводили нас взглядом. Да, это был бедный кишлак. Но на душе у меня было хорошо, словно я от богатых случайных знакомых попала, наконец, домой.

Машина остановилась у добротного двухэтажного дома, крытого шифером. Гулу выпрыгнул и открыл передо мной дверцу:

– Пожалуйста, Нурия-ханум! И ты вылезай, – кивнул он Алмураду, – чайку выпьешь.

– Клянусь твоей головой, ничего не хочу. Скажи лучше, когда приезжать за гостьей?

– Завтра утром.

Я не стала возражать. Машина развернулась и запылила по дороге. Мы вошли во двор, поднялись на веранду. Агабегим-баджи оказалась женщиной могучего телосложения – она была по меньшей мере вдвое толще и намного выше своего мужа.

– Добро пожаловать, дорогая сестрица! – нараспев проговорила она, внимательно разглядывая меня. – В комнату проходите, здесь жарко.

Внутри мне понравилось: чисто, прохладно. Середину комнаты занимал обеденный стол, в другом конце стоял еще небольшой столик. Букеты бумажных цветов самых ярких расцветок в узких стеклянных вазах и разноцветная стеклянная посуда украшали его. Стены были увешаны фотографиями: портреты знаменитых артистов чередовались с фотографиями Гулу в различных позах и одеяниях: вот Гулу на коне, вот он в черкеске, вот с сазом в руках... И вдруг! – у меня даже потемнело в глазах: молодой лейтенант грустно и строго смотрел на меня большими, черными, единственными в мире глазами. Я перевела дух и украдкой взглянула на Гулу. Он ничего не заметил. Присев у радиоприемника, он ловил какую-то передачу. В комнату вошла Агабегим-баджи.

– Чего ж ты сидишь? – недовольно бросила она мужу, вытирая руки. – Сходил бы за Мурадом и Саадат!

Я замерла, уставившись на ковер, висевший над тахтой.

– Я к ним заходил утром, – нерешительно сказал Гулу.

– Ну и еще сходи. Ноги-то не купленные!

Гулу пулей вылетел из комнаты.

– Саадат не забудь позвать! – крикнула ему вдогонку жена и, обернувшись ко мне, спросила:

– Ты ведь Мурада знаешь?

– Знаю немного.

– А его жену?

– Ни разу не видела.

– Ну вот придет – увидишь! – Агабегим-баджи почему-то вздохнула и стала накрывать на стол, а я сидела на тахте и думала: как же мне быть?

– На твоём месте выгнала бы я эту Назханум, – вдруг мрачно сказала Агабегим-баджи.

– Это почему же?

– Да что в ней проку? С утра до ночи щелкает пальцами и приплясывает.

Я улыбнулась. Агабегим-баджи взглянула на меня осуждающе:

- Ты зря смеешься. У нас женщине положено в строгости себя держать. Здесь не город!
- Я не стала спорить, мне было трудно думать о чем-нибудь, кроме предстоящей встречи. Вернулся Гулу.
- Сейчас придут.
- А ты им сказал, кто у нас в гостях? – спросила Агабегим.
- Нет... – растерянно проговорил Гулу и быстро взглянул на меня. Он хотел что-то объяснить жене, но она схватила его за руку и увела из комнаты.
- Через минуту Гулу вошел и как ни в чем не бывало обратился ко мне:
- Мы с Мурадом старые друзья. Любим посидеть вместе за чашкой чая, соседи ведь. Зачем он все это объясняет? Мне стало не по себе.
- Мурад пришел один. Увидев меня, он задержался в дверях, но быстро овладел собой и оживленно заговорил:
- Какими судьбами, Нурия-ханум? Хотя это вполне естественно, что у нашего Гулу друзья из артистического мира!
- А ты как думал? – откликнулся Гулу. – Только ювелир может по-настоящему оценить золото. Кое-что и Гулу понимает.
- Я уже обрела способность говорить.
- Не знаю, как насчет золота, – сказала я довольно непринужденно, если не считать легкой хрипоты в голосе, – но искусства вы истинный ценитель.
- Золото чистейшей пробы, Нурия-ханум! – воскликнул Гулу, многозначительно подняв указательный палец. – Мал ли, велик артист, но он служитель искусства, и поэтому наш ему почет и уважение. Артист в кишлаке! Это не какой-нибудь уполномоченный.
- Слыхали?! – весело улыбнулся мне Мурад, сверкнув глазами.
- Неся в руках большую миску с салатом, вошла хозяйка.
- А где же Саадат?
- Мурад чуть-чуть наклонил голову.
- Она не пришла.
- И не стыдно тебе? – набросилась Агабегим-баджи на мужа. – Мы тут будем веселиться, а бедная женщина должна сидеть в четырех стенах! Ну что смотришь! Иди скорей за ней.
- Гулу словно ветром вынесло из комнаты.
- Мурад молчал.
- Маленький Алимардан тоже придет? – спросила я у него.
- Мурад поднял голову. Глаза у него были грустные.
- Вы запомнили его имя? – сказал он, не отвечая на вопрос.
- Ну еще бы – такое имя!.. Я слышала, вы собираетесь довести большой арык до своего кишлака, – сказала я, чтобы переменить тему разговора. – Тогда дела у вас пойдут по-другому.
- Лицо у Мурада сразу стало жесткое, замкнутое.
- Да, – произнес он, помолчав. – Если бы это удалось сделать, вы через два года не узнали бы наш кишлак. Работать у нас умеют.
- Снова наступило напряженное молчание.
- Нурия, – сказал Мурад, слегка наклонившись ко мне (он назвал меня просто Нурия!), – вы нам поможете, если будет нужно?
- Конечно, – радостно прошептала я, не в силах взглянуть на него. Мне стало вдруг очень хорошо.
- Мурад хотел еще что-то сказать, но за дверью послышались шаги. Вошли Саадат и Гулу. Саадат держала за руку сына. Я и Мурад встали.
- Познакомьтесь. Это Нурия-ханум, – сказал Гулу.
- Молодая женщина холодно взглянула на меня яркими голубыми глазами и нехотя протянула руку.
- Очень рада познакомиться с вами, Саадат-ханум, – приветливо сказала я, крепко пожав ей руку. Это была почти правда – я не испытывала враждебности к этой женщине.
- Она ничего не ответила и села рядом с мужем.

– Только ты ушел, Гуммет позвонил. Просил, чтобы вечером ты обязательно ему дозвонился.

– А где он будет? – не глядя на жену, спросил Мурад.

– Сказал: или дома, или в райисполкоме.

Что-то странное было в том, как они разговаривали. Казалось, они выбирают слова, опасаясь обидеть друг друга. Чтобы не смотреть на них, я обернулась к Алимардану. Это был прехорошенький мальчишка: румяный, крепенький, в нарядном голубом костюмчике. И какое сходство! Не только блестящие черные глазенки, высокий лоб, крупный красивый рот, но даже уши, которые, говорят, не бывают одинаковыми у двух людей, были у Алимардана точно такие же, как у отца. Я схватила малыша, посадила к себе на колени и расцеловала. Потом тайком взглянула на его мать. В прекрасных голубых глазах Саадат был гнев. Казалось, женщина еле сдерживается, чтобы не закричать: «Не смей его трогать!» Я тихонько поставила мальчика на пол.

Почему она так смотрит на меня? Я же не сделала ей ничего плохого?

Всякий раз, когда Алимардан подбегал ко мне, пытаюсь вскарабкаться на колени, мать под тем или иным предлогом звала его. С каждой минутой мне все тяжелее было чувствовать на себе недобрый взгляд Саадат. Такая красивая, счастливая, почему она злая? Мурад был оживлен, он шутил с хозяевами, пытаюсь вовлечь меня в общий разговор. Но если я осмеливалась взглянуть на него, голубые глаза Саадат вспыхивали таким бешенством, что я не могла скрыть своего замешательства. И несмотря на это, стоило мне встретиться со взглядом Мурада, я забывала все: ненависть Саадат, необходимость играть равнодушие – и беззаботно смеялась.

Гулу так и искрился весельем. Он сам жарил шашлык и сам подавал его на стол, то и дело подливая вина себе и Мураду. Хозяйка все время хлопотала, почти не присаживаясь к столу. Она была чем-то встревожена.

Вдруг Гулу запел. Голоса у него почти нет, но поет он очень приятно. Я заметила, что в этих местах люди как-то особенно умеют слушать музыку. Едва Гулу начал петь, его жена тихонько отодвинула стул и села, подперев руками подбородок. Ее толстое, красное лицо вдруг приняло жалкое, растроганное выражение; я не могла не улыбнуться. Потом я посмотрела на Саадат. Она тоже преобразилась, голубые глаза были сейчас спокойными и чистыми.

После ужина мы вышли на веранду. Саадат от чая отказалась, – взяла Алимардана и ушла. Со мной она не простилась.

На кишлак уже спустилась прохлада. Во дворах хозяйничали женщины, вернувшиеся с работы: пекли чуреки, ставили самовары. С пастбища гнали коров, они недовольно мычали, останавливались и тянулись к чахлой травке, росшей в тени заборов. Видимо, были не очень-то сыты.

– Это что, личный скот? – спросила я у Мурада.

– Да. Колхозные коровы на эйлагах.*

– Те, наверное, получше выглядят?

– Все равно, как вернутся с горных пастбищ, через месяц такими же станут – кормов-то у нас нет.

Он помолчал и добавил тем резким тоном, который появлялся у него всегда, когда разговор заходил о воде:

– Пока воды не будет, не выберемся из беды...

Мурад хотел что-то добавить, но тут вошла девочка и сказала, что его зовут домой. Мурад молча кивнул ей.

– Нурия-ханум, у вас в библиотеке нет работ Мичурина?

– Нет, а что, хотите почитать?

– Да, нужно к экзаменам.

– Вы учитесь на заочном?

– Она еще спрашивает! – вмешался Гулу. – Мурад в этом году институт кончает. – Он сокрушенно покачал головой. – Я ведь тоже тогда хотел поступить, да так получилось...

– Ничего, – успокоила его жена. – И без учения кусок хлеба есть. Слава Богу, не голодаем.

– Много ты понимаешь! – вздохнул Гулу. – Хлеб сейчас у всех есть. Наука нужна... учиться нужно!

– А ты разве не ученый? В таком колхозе учетом заправляешь.

– Эх-эх! – снова вздохнул Гулу. – Бедная женщина думает, что важнее ее мужа нет никого на свете. Недаром пословица говорит: для мальчика даже див* слабей отца.

Мурад, нахмутив брови, несколько мгновений молча смотрел вдаль на заходящее солнце. Потом обернулся, взглянул на меня и, сказав «до свидания», пошел к выходу. Пока он не скрылся за воротами, я не отрывала от него взгляда. Ушел, снова ушел. Наверное, уж так заведено в этом мире, что вслед за радостью непременно приходит печаль. Вот и солнце: только что оно щедро дарило землю своими золотыми лучами, а сейчас скрылось за горизонтом, и скоро будет совсем темно.

– А вы хорошо поете, Гулу, – сказала я, чтобы прервать молчание.

– Не хвали ты его, ради Бога! – запротестовала Агабегим-баджи. – Ведь спасу от него не будет.

Гулу самодовольно расхохотался:

– Вот Нурия-ханум все понимает! Музыка – это огонь души, услада сердец!

– Завел свою волынку! – Агабегим-баджи безнадежно покачала головой. – Поверишь, сестрица, как заведет про музыку – ничего не понять, слова не скажет по-человечески...

Когда уже были постланы постели, Гулу ненадолго вышел. «Надо к Мураду на минутку зайти». Мы остались одни с хозяйкой.

– Какая Саадат красивая! – сказала я.

– Да, этого у нее не отнимешь. – Агабегим-баджи помолчала. – Вот смотри, сестрица, как бывает: и красавица, и ученая, а мужу с ней никакого житья!

– Почему же?

– А потому что наградил ее Бог характером! В жизни не видела такой ревнивой женщины. Ни на минуту не хочет его от себя отпустить. Я уж к ней и так и сяк: ведь ты, говорю, не какая-нибудь темная баба, заграничному языку ребят учишь, что ж ты мужу-то не даешь делом заниматься?!

Хозяйка замолчала, вероятно, сомневаясь, стоит ли продолжать, но потом не выдержала:

– Ты не заметила, как она сегодня здесь фыркала?

– Да, мне тоже показалось, что Саадат чем-то недовольна.

– Недовольна?! Она горло перегрызть тебе готова.

– Мне?

– Конечно, тебе! Я тебе сейчас скажу одну вещь, только поклянись, что никому ни слова.

– Ну разумеется.

– Так вот, если бы Саадат знала, что ты здесь, она бы и сама не пришла и Мурада бы не пустила.

– Но почему?!

– Да этот пустобрех Джими по всему кишлаку разрезвонил, что Мурад вез тебя ночью на мотоцикле. С тех пор она и беснуется. Я ей говорю, какой бы он был мужчина, если бы бросил ночью в поле одинокую девушку. Ты, говорит, права, Агабегим-баджи. Права-то права, а через пять минут все сначала... Да, баба!.. И мужа извела и сама на человека стала непохожа. Мой Гулу клялся-божился, что ты не из таких барышень, – не верит! Ничего ей не докажешь – бешеная! Великий мученик Мурад... Другой бы давно сбежал на его месте.

Я больше не слушала хозяйку. Значит, Мурад несчастлив? Это мне было горше самых оскорбительных подозрений Саадат, обиднее любой обиды. И вместе с тем сознание, что Мурад несчастлив с красавицей женой, радовало, рождало во мне надежду. Господи! Какое страшное чувство! Я встряхнулась, словно желая избавиться от боли, и, обхватив голову руками, тихонько застонала.

– Сестрица! – встревоженно воскликнула Агабегим-баджи. – Не принимай ты так близко к сердцу. Мы-то ведь тоже не лыком шиты, понимаем, какая ты есть. И Саадат не плохая женщина – только вот наказал ее Бог характером.

«Что же мне делать?» – раздумывала я, лежа с открытыми глазами на широкой тахте.

Занять у Назханум сто рублей и уехать? Куда? И получится, что я сбежала из кишлака. Но ведь я не выдержу этого, никто бы не выдержал на моем месте... А может быть, все-таки выдержу, обойдется как-нибудь? Струсить тоже очень противно – никогда потом не простишь себе...

Так я и заснула, ничего не решив.

Назханум встретила меня веселая, оживленная.

– Ну, как погостила? Хорошо тебя принимали? Агабегим много гадостей обо мне наговорила?

– Почему она должна говорить о тебе гадости?

– Она же меня терпеть не может! Решила, что я хочу отбить у нее Гулу. – Откинув назад голову, Назханум расхохоталась и запела, приплясывая:

Ой, Гулу, Гулу, Гулу,
Дай тебя я обниму!
Обниму тебя покрепче,
Ты забудешь про жену!

Здорово она пела – сколько в этой женщине было жизни, огня!

– Знаешь, Назханум, тебе надо обязательно выступить.

– Как это выступить?

– Очень просто. Устроим концерт, я сыграю на рояле, Сария споет, а ты... вот это самое изобразишь.

– Ну, тогда мне надо пару! Возлюбленного, с которым я буду петь свои баяты.*

Должен же у меня быть возлюбленный, хотя бы на сцене!

– Будет, а как же! Гулу Кяхризли устраивает тебя?

Назханум и Сария рассмеялись.

– Нет, я серьезно. Знаешь, какой это будет прекрасный партнер!

Вечером, встретившись с Гулу в доме дяди Наримана, я попросила его, если ему нетрудно, зайти завтра утром в Дом культуры, мне надо посоветоваться с ним кое о чем.

Счетовод приложил руку к сердцу и с достоинством ответил:

– Какая может быть трудность! Наш долг – служить искусству. Ровно в десять часов я в вашем распоряжении.

Гулу явился точно, как обещал. С серьезным видом он выслушал мои соображения насчет концерта, внимательно поглядывая на Сарию и Назханум, и поднял указательный палец:

– Прекрасная идея. У нее получится, – сказал он, кивнув на Назханум.

– Получится, если ты ей поможешь.

– Я?

– Да. Можно поставить сценку из «Мешади Ибада». Ты ведь играл Мешади Ибада?

– Играл когда-то в райцентре. Но здесь... – Он замялся.

Назханум расхохоталась. Гулу нахмурился и произнес решительно:

– Согласен. Ради искусства можно пойти на все.

– Ну вот и хорошо! – обрадовалась я. – А я буду аккомпанировать вам на рояле.

Гулу кивнул. Даже это он умел делать значительно!

– Может быть, и Джими будет участвовать в нашем концерте? – пришло мне в голову.

– Джими? – Гулу удивленно вытаращил на меня глаза. – А в самом деле! Пусть лучше поет, чем идеи выдумывать.

– А ведь здорово получается, – радостно воскликнула я, – будет настоящий концерт! Удивительный кишлак – что ни человек, то талант!

– А вы как думали? – Гулу самодовольно усмехнулся. – Это Карабах. Здесь за каждым кустом Меджнун, за каждым окном поэт. Ну, сказано – сделано, я пошел за Джими.

Первый концерт мы готовили четыре дня. Джими с утра до вечера не выходил из Дома культуры, принимая участие во всех репетициях: советовал, предлагал, суфлировал. Но стоило появиться Гулу, Джими сразу сникал и скромно усаживался где-нибудь в темном углу зала, хотя за все эти дни счетовод только один раз напомнил Джими о трудоднях.

Назханум была взволнована – она то замолкала, то начинала хохотать и приплясывать, видимо, не так-то просто было ей решиться выступить на сцене. Наконец репетиции кончились, и Джими написал большое красивое объявление, в котором между прочим сообщалось, что концерт готовился под руководством выпускницы театрального института Нурии-ханум. Мои попытки изменить текст объявления ни к чему не привели – в таком виде оно было вывешено на дверях сельпо.

Утром в день концерта пришла Сария и сказала, что не сможет выступить.

– Почему? – удивилась я. – Мама не разрешает?

– Мама ничего, – потупившись, ответила девушка. – Мать Чингиза против.

Мы с Гулу отправились к будущей свекрови Сарии – тете Набат. Нас встретила не старая еще, статная женщина с прекрасными черными глазами. Она с подчеркнутой любезностью поздоровалась с нами, постелила на балконе ковер и мягкие тюфячки.

Гулу стал расспрашивать ее о сыне, о муже, заведующем молочной фермой. Тетя Набат отвечала коротко, понимая, что все эти вопросы только вступление к разговору.

Наконец Гулу перешел к цели нашего визита. Он долго и вдохновенно говорил о значении искусства, о передовой советской культуре, о равноправии женщин. Хозяйка не перебивала его и даже, казалось, слушала с сочувствием. Гулу все более вдохновлялся.

– Ну вот что, Гулу, – сказала женщина, когда он остановился, чтобы перевести дух, – наша девочка актрисой не будет. Ясно тебе?

– Кто же говорит – актрисой? А если бы и стала, что тут плохого?

– А если нет плохого, почему ты свою Агабегим не заставишь выступить на сцене?

– Агабегим? – Гулу расхохотался. – Честное слово, заставил бы, да таланта у нее нет!

– Чего нет?

– Таланта! – Гулу снова воодушевился и, подняв указательный палец, стал объяснять, что такое талант.

Он говорил витиевато, и женщина, кажется, мало что поняла. Однако она не переспрашивала, а только сказала, воспользовавшись паузой во вдохновенной тираде Гулу:

– Не говори ты так длинно, Гулу, зря ведь стараешься – мое слово твердо.

Но счетовод не собирался сдаваться: он заговорил о буржуазных пережитках, о двадцатом съезде партии, об атомной энергии и многих других вещах, имеющих весьма косвенное отношение к выступлению Сарии в концерте.

– Послушай, Гулу, – улыбнулась тетя Набат, – с женой ты тоже так разговариваешь?

Гулу пропустил мимо ушей это ироническое замечание.

– Клянусь, тетя Набат, если твой сын Чингиз, доблестно охраняющий рубежи нашей родины, узнает, что его невеста отказалась от участия в концерте, он со стыда сгорит.

Этот аргумент, кажется, подействовал. Тетя Набат вздохнула.

– Понимаешь, Гулу, я знаю, что Чингиз не стал бы возражать, да как бы слухи не пошли... Ведь один Джими чего стоит. Раструбит по всем кишлакам, что жених, мол, в армии, а она тут распевает.

Гулу вскочил.

– Клянусь жизнью, этого не будет! Он же сам участвует в концерте. Только контрреволюционеры и враги народа могут так поступать!

Тут уж, видимо, возразить было нечего – хозяйка умолкла и задумалась.

Гулу взглянул на меня и сделал успокаивающий знак рукой: «Все будет в порядке!»

Народу на концерт пришло гораздо больше, чем мы предполагали. Как только спала жара, к Дому культуры начали собираться зрители. Одеты все были по-праздничному: на девушках и молодых женщинах нарядные платья, парни, туго перехваченные в талии широкими ремнями, в узких, по ноге сапогах.

Много было пожилых людей, пришли и совсем древние старики.

В этой яркой, праздничной толпе мелькали алая кофта и белая юбка Назханум. Нарядная, веселая, надушенная, она была очень оживленна и напропалую кокетничала с молодыми людьми.

Я надела черное шелковое платье с короткими рукавами – единственное свое «выходное» платье, сшитое к выпускному вечеру, сделала высокую прическу.

– Какая вы сегодня красивая, сестрица! – с восторгом сказала Сария. – Вам очень идет это платье!

После третьего звонка Назханум подняла занавес, и я вышла на авансцену.

– Добрый вечер, товарищи!

– Добрый вечер, сестрица! Добрый вечер! – послышалось в ответ.

– Рада вас видеть в этом зале. Надеюсь, что теперь мы с вами будем здесь часто встречаться!

Я рассказала о библиотеке, сообщила, что она будет открыта утром до двенадцати и вечером с пяти до девяти.

– А «Кирпи»* выпишете?! – крикнул кто-то из дальних рядов.

Ему тотчас же ответили из зала:

– Хоть и выпишут, пока Пирверди его привезет, пройдет полгода. Он про почту вспоминает, только когда у него чай кончается – на станцию надо идти!

В зале засмеялись.

– Что зря болтаешь?! – в задних рядах поднялся пожилой мужчина. – По-твоему, Пирверди обязан каждый день отмахать сорок километров в город?! Что, у него ноги купленные?

– Хоть бы раз в неделю ходил!

– Привык трудодни даром получать!

Спор разгорался. Дядя Нариман, сидевший вместе с женой в первом ряду, сердито поднялся.

– Молодежь! – гневно бросил он. – Вести себя не умеете культурно, здесь не собрание, понятно? А мотоцикл Пирверди купим. Пусть ездить научится!

– Это мне раз плюнуть! – выкрикнул Пирверди.

– Свалишься в кювет, тогда плюнешь! Ладно, дочка, ты не обижайся, не обращай на них внимания. – Дядя Нариман сел.

Я вовсе не чувствовала себя обиженной. Наоборот, я слушала с интересом, мне нравилась такая непринужденность, искренность.

– Итак, – повторила я, когда шум смолк, – приглашаю вас всех – в свободное время приходите к нам в Дом культуры, для всех найдется интересное занятие, мы организуем кружки...

– Сестрица! – перебил меня Пирверди. – А нельзя ли для ребятишек кружок устроить? Вот у меня сынишка на таре хочет играть, а учить его некому.

– Мой тоже! – крикнул какой-то молодой мужчина. – Тар купили, а что толку?!.

Я оказалась в затруднении. Насколько мне было известно, преподавателей по тару в штатном расписании не имеется. И я решила быть осторожней.

– Мы посоветуемся с правлением колхоза. А сейчас разрешите начать наш концерт. Первым номером исполняется «Сейгях-забул». Поет Джими, он же аккомпанирует себе на таре.

В зале оживились, снова послышались шутки.

Джими вышел на сцену и спокойно, словно все происходящее не имело к нему никакого отношения, стал настраивать тар.

Джими запел. Я люблю этот печальный сейгях, повествующий о страданиях любви. Возможно, я слышала в нем не совсем то, что пел Джими. Мне чудился в песне голос Лейли, умоляющей Ибн-Салама* подождать с браком, пока она не забудет Меджнуна. Я слышала Ромео и Джульетту, молящих не разлучать их. И я слышала в этой песне рассказ о том, как молоденькая одинокая девушка в теплый весенний вечер полюбила черноглазого, стройного человека, а он ушел и не вернулся... И напрасно его молодая жена так ревнует, не нужна ему эта девушка. Никому она не нужна...

Я вздрогнула от громких аплодисментов. Из зала кричали:

– Молодец Джими!

– Спасибо тебе!

– Еще спой!

Но Джими не стал больше петь. Как заправский артист, он с достоинством поклонился и ушел за кулисы.

Когда аплодисменты смолкли, я сказала, что теперь им придется послушать меня. Я читала то место из «Дон-Кихота», где Санчо Панса назначают судьей. Мне всегда удавались комические сцены, к тому же у карабахцев сильно развито чувство юмора. Успех был бесспорный – мне долго хлопали.

– Извините, а как эта книжка называется? – неожиданно встал один парень (я узнала его – это Сабир, он помогал нам перевозить шкафы).

– «Дон-Кихот». Книга есть у нас в библиотеке.

– На нашем языке?

– Конечно. Можете почитать.

Сабир сел на место.

– Обязательно возьму. Вот ведь понимаешь – судьей назначили...

– А сейчас одна хорошо вам известная молодая девушка сплет песню «Карабахский марал».

Зал притих. Я взяла Сарию за руку, подвела к роялю, а сама села и положила руки на клавиши.

Сначала голос Сарии звучал слабо, неуверенно, но постепенно он креп, наливался силой. Девушка словно забыла о зрителях, казалось, она ранним утром идет по росистым эйлагам, о которых поется в песне, любит прозрачными родниками, радуется солнцу.

Двое мужчин тихо вошли в зал и сели в задних рядах. Я не различала их лиц, но знала, кто это пришел. Знала по тому, как забилось мое сердце и перехватило дыхание.

Сарии аплодировали много, но девушка больше не осмелилась выйти. Она стояла за кулисами, закрыв лицо руками, и отрицательно качала головой, когда я звала ее на сцену.

Я вышла на авансцену, аплодируя вместе со зрителями, потом пожала плечами, давая понять, что ничего не могу поделать, и объявила следующий номер.

Как только я сыграла вступление, Гулу в старинном архалуке*, стоптанных башмаках и лохматой овечьей папахе появился на сцене. Его встретили дружным смехом.

– Артист, ей-богу, артист!

– Да он нарядился в архалук покойного дедушки Ханали! – восторженно кричали из зала.

Гулу не обращал внимания на реплики. Он пропел знаменитое «Хоть я и старик, а стою тысячи молодых!» и в подтверждение своих слов начал лихо отплясывать, точно копируя походку и жесты молодящегося старика.

Назханум стояла за кулисами и не отрывала глаз от Гулу. Когда он запел: «Иди ко мне, моя ханум! Иди ко мне, душа моя!» – он словно нарочно повернулся прямо к Назханум. Та, хлопнув себя руками по коленям, воскликнула: «Ну и молодец, чтоб тебе сдохнуть!»

Гулу был единственным из исполнителей, не замедлившим явиться на вызовы. Он с явным удовольствием раскланялся и исполнил еще одну сцену из «Мешади Ибада».

– Ну как, не устали? – спросила я у зрителей, когда Гулу, провожаемый аплодисментами, наконец скрылся за кулисами.

– Нет, нет, еще давайте!

– Ну, тогда романс азербайджанского композитора Агабаджи Рзаевой на слова Пушкина «Не пой, красавица, при мне...»

Я пела легко и спокойно. Я забыла о зрителях, даже о тех двоих, что пришли недавно. Мне хотелось сказать – не надо сердиться, что песня девушки грустна, ведь в бесконечной красоте жизни печали так же много, как и радости. «Печаль моя светла», – пела я. И правда, я была охвачена сейчас светлой, легкой печалью.

Я взяла последний аккорд и встала. Молодежь шумно аплодировала, а пожилые люди молчали в знак уважения. Я была очень довольна, радовалась не столько своему успеху, сколько тому, что людям понравился романс, ведь до сих пор здесь слышали только песни ашугов и мугаматы. Я кланялась и, улыбаясь, смотрела в зал. Я не смотрела только туда, где сидели двое опоздавших.

Мы поздравляли друг друга в примерной, когда к нам пришли Гуммет, Мурад и дядя Нариман с женой.

– Спасибо вам всем! – Гуммет крепко пожал нам руки. – А вы, Нурия-ханум, настоящая артистка – это же не хуже концерта в филармонии!

Дядя Нариман бурно восхищался исполнением Джими; по его мнению, Джими не уступал сегодня самому Исламу*.

Тетя Гаранфиль обнимала то меня, то Сарию. Один Мурад молчал. Мне показалось, что ему грустно среди всеобщего веселья. И я была благодарна ему за его молчание, за его печаль. Он понял, о чем я пела в романсе.

– Вот что, дорогие товарищи начальники, – шутливо сказала я, обращаясь главным образом к Гуммету. – Мы очень рады, что вам понравился наш концерт, и обращаемся к вам за помощью. Нам нужны: грим, парики, костюмы, декорации!

Гуммет усмехнулся:

– Однако у вас размах! Appetit неплохой. Но ничего – колхоз ваш богатый, и думаю, все необходимое Дому культуры вы получите. Так ведь, дядя Нариман?

– Да как-нибудь осилим. – В голосе дяди Наримана чувствовалась усмешка. – Думаю, за париками не придется обращаться в райисполком.

– Составьте список, что вам нужно, рассмотрим на правлении, – сказал он, обернувшись ко мне. Я решила ковать железо, пока горячо.

– Нам еще очень нужен тарист, руководитель кружка, учить детей.

Дядя Нариман молчал. Гуммет сокрушенно пожал плечами:

– Это сложно, Нурия-ханум. Преподаватели музыки не хотят ехать в глубинку, даже в район.

– Мы можем использовать местные ресурсы, – я кивнула на Джими. – Все равно Гулу не ладит с ним в колхозе, а здесь мы сработаемся.

– А ведь верно! – воскликнул Гулу. – Прекрасная мысль! В колхозе от него никакого проку, а тут он был бы на месте. Я лично – за!

– А что думает сам Джими? – спросил Гуммет.

Джими, казалось, был в нерешительности.

– Если я буду все время в Доме культуры, кто же меня станет кормить? – спросил он.

– Резонный вопрос! – усмехнулся Гуммет. И добавил серьезно: – За работу в Доме культуры правление колхоза имеет право выплачивать вам трудодни, если, конечно, захочет. – Гуммет вопросительно взглянул на дядю Наримана.

– Мы подумаем, – ответил тот, нахмурившись.

– Нурия-ханум! – неожиданно обратился ко мне Мурад. – Вы не должны забывать и о нас – бедных гюзейлинцах. У нас в кишлаке очень хотели бы послушать такой концерт.

– Тут нет ничего невозможного. Если вы нами интересуетесь, мы будем приезжать к вам в гости. Это само собой разумеется.

Дядя Нариман кашлянул и направился к двери,

– Уже поздно. Пойдем, Гаранфиль.

Мы вышли из Дома культуры все вместе. Я и Мурад оказались позади. Как это получилось – не знаю, но идти рядом с ним, прислушиваясь к веселому гомону лягушек, было так хорошо...

Мурад замедлил шаги, может быть, ему хотелось поговорить со мной наедине. Я не могла себе этого позволить – Джими шел впереди нас, и наверняка ушки у него были на макушке. Я громко спросила:

– Как чувствует себя Алимардан? Как здоровье Саадат?

– Спасибо, хорошо.

– Прошлую ночь мне снился ваш сын.

Мурад молча посмотрел на меня.

Я догнала Гуммета.

– У вас в районе есть кинопередвижка?

– Есть, конечно, но очень редко бывает в кишлаках – не управляют.

Гуммет говорил что-то о культурном обслуживании кишлаков, и я честно пыталась его слушать. Но слышала только шаги Мурада по мягкой, пыльной дороге. Наконец, не выдержала и обернулась, наши взгляды встретились. Нет, никому я не пожелаю такой муки!..

Как хорошо ни относились ко мне мои хозяева, я не могла жить у них вечно – нужно было устраивать что-то вроде своего дома.

Когда я попросила у дяди Наримана разрешения поселиться в одной из комнат Дома культуры, он немного обиделся.

– Пожалуйста, там ты хозяйка, но только я не пойму, почему ты не хочешь жить у нас.

– Правда, Нурия, – поддержала дядю Наримана жена, – мы к тебе так привыкли за это время...

Оба они были явно опечалены, но я решила настоять на своем.

– Как знаешь, дочка. – Дядя Нариман вздохнул. – Но не забывай, твой дом здесь. Гулу я скажу, чтоб выплатили тебе сегодня зарплату – скоро уж конец месяца. Ты, Гаранфиль, пошли туда, что нужно: постель и прочее...

Назханум обрадовалась моему переезду – мы теперь будем с ней соседками. Она с таким рвением терла пол в маленькой угловой комнате, предназначенной для меня, что мне даже стало неловко.

Мы принесли стол и несколько стульев. Алмурад втащил в комнату кровать и мою постель, к которой тетя Гаранфиль прибавила еще большую пуховую подушку и стеганое одеяло. Он привез также электрическую плитку, бархатную скатерть и два небольших коврика. Один мы постелили на пол, а другой прибили над кроватью. Назханум принесла новое розовое покрывало и, накрыв им большой ящик, устроила мне туалетный столик.

Квартира получилась самая настоящая. Да еще Гулу выдал мне зарплату – тысячу двести рублей. У меня никогда в жизни не было таких денег! Что с ними делать?

Триста рублей я послала дяде Алескеру, приложив к ним длинное письмо, в котором сообщала, что живу очень хорошо. Я просила его купить книгу Мичурина и прислать ее мне.

Вечером пришел Сабир и попросил дать ему «Дон-Кихота». С ним был еще какой-то парень. Этот хотел «что-нибудь смешное». Я попросила Сарию разыскать сборник рассказов Мамедкулизаде.*

Гулу и Джими пришли вместе. Настроение у них было умиротворенное. Гулу сообщил:

– Итак, Нурия-ханум, вопрос решен – принимайте преподавателя музыки... Правление выделило средства для покупки таров и бубнов. Я им объяснил, что искусство требует жертв!

В кружок таристов записалось тридцать мальчиков, но мы приняли только десять – самых способных. Гулу навещался раза два в часы занятий: ему, видимо, не верилось, что Джими действительно занят наконец делом. Когда же убедился, что Джими работает на совесть, он со значительным видом произнес одну из своих сентенций: «Искусство облагораживает человека!»

Однажды во время репетиции пришел Алмурад: дядя Нариман просил разрешения провести сегодня вечером в Доме культуры собрание.

– Почему ему пришла мысль спрашивать у меня разрешения?

– А как же? Дядя Нариман деликатный человек, это он только с виду сердитый.

– О чем же собрание?

– Насчет арыка. – Алмурад вздохнул.

– А дядя Нариман так и не соглашается?

– Они вчера с Гумметом сильно поругались в правлении!..

– Думаешь, согласятся наши?

– Трудно сказать... Многие против.

– У дяди Наримана, наверное, большой авторитет в кишлаке?

– Авторитет-то большой, но... В общем, трудно сказать...

Я позвала Назханум и велела ей приготовить стол для президиума. Мурад будет сегодня вечером здесь, в этом зале, и он будет вести генеральное сражение за судьбу своего кишлака.

Весь день я была очень оживленна: помогала Назханум, хлопотала в библиотеке, много и не к месту шутила; но когда солнце начало заходить, у меня от волнения стали подкашиваться ноги.

Колхозники, громко разговаривая, собирались к Дому культуры. Я вслушивалась в их голоса, стараясь понять, как настроены люди, но мне это не удавалось – я никак не могла сосредоточиться.

Наконец появились председатели обоих колхозов и Гуммет. Дядя Нариман был в новом костюме, при всех орденах (оказывается, он Герой Социалистического Труда!). На его свежесвыбрившейся голове торжественно возвышалась соломенная шляпа. Вид у него был неприступный.

Сейчас я понимаю, что это смешно, но тогда мне хотелось, чтобы и Мурад выглядел таким же недостижимым. А он, наоборот, был общителен, шутил, смеялся. Я осторожно поглядывала на него из-за двери, и сердце у меня радостно билось – я видела, что Мурад ищет меня. Я еще немножко постояла в дверях, наслаждаясь его нетерпением, потом вышла и, проходя мимо, слегка поклонилась. Он кивнул в ответ.

Немного погодя, ко мне подошел Гуммет под руку с Мурадом.

– Нурия-ханум, – лукаво поглядывая на меня, сказал Гуммет. – Очень вас прошу, если будет еще концерт, сообщить мне заранее.

– Зачем?

– Как это зачем? Вы что ж, не хотите, чтобы я присутствовал на концерте?

– Ну что вы! Мы, артисты, любим, когда зал ломится от зрителей, – шутливо ответила я.

Мне понравилось, что именно сейчас, на глазах у всего народа, Гуммет взял Мурада под руку – это он очень правильно сделал.

– А знаете ли вы, товарищ председатель райисполкома, – продолжала я в том же тоне, – что мы хотим взять шефство над кишлаком Гюзей?

– Вот это молодцы! – воскликнул Гуммет. – Видишь, как Нурия-ханум заботится о вас, – обернулся он к Мураду.

Зал был полон. За стол президиума, покрытый зеленым сукном, сели Гуммет, дядя Нариман и Мурад.

– Товарищи! – сказал Гуммет, поднявшись. – Мы собрались сегодня, чтобы обсудить важный вопрос.

Дядя Нариман выпрямился на своем стуле и устремил взгляд куда-то в конец зала.

Гуммет продолжал:

– Вы знаете, что с незапамятных времен мы и гюзейлинцы были добрыми соседями и всегда помогали друг другу.

Председатель райисполкома на секунду умолк и внимательно посмотрел в зал.

– Вы знаете, что в трудолюбии гюзейлинцы не уступят вам – они способны на камнях хлеб вырастить. И тем не менее они не могут свести концы с концами. Причина этого вам известна – у них нет воды. Вы поступили правильно, прорыв арык из реки Генделен. Гюзейлинцы по своему географическому положению не могут этого сделать. Выход только один – продолжить арык, проходящий через ваш кишлак, до кишлака Гюзей.

В зале было тихо. Потом кто-то закашлял.

– Так вот, – продолжал Гуммет, – гюзейлинцы обращаются к вам с просьбой разрешить им прорыть арык до их кишлака. Я не раз советовался с инженерами-ирригаторами и потому заверяю, что ваше хозяйство ничего не потеряет от этого, наоборот, выиграет.

– Что ж это оно выиграет? – раздался низкий голос из зала.

– А то, что общими усилиями двух колхозов ГЭС может быть расширена. Это даст возможность электрифицировать многие сельскохозяйственные работы.

Ненадолго воцарилась тишина. Потом встал тот мужчина, который задавал вопрос.

– Вот что, братцы! Жили мы до сих пор неплохо, и нечего нам тут мудрить с расширением электростанции. А гюзейлинцы сами о себе должны беспокоиться.

Дядя Нариман ободряюще посмотрел на него. Из зала послышались выкрики:

– Ни к чему это нам!

– Нашли простаков!

– На готовенькое всякий рад!

– Постойте, товарищ Гуммет, – неторопливо поднявшись, заговорил какой-то пожилой мужчина. – Ну, положим, согласимся мы продолжить арык.. Пророют его до Гюзей. А кто нас будет разнимать, когда в самую жару начнутся раздоры из-за воды?

– Правильно! – поддержали его. – Придется тогда за палки хвататься!

Я со страхом взглянула на Гуммета. Он был совершенно спокоен. Словно не слыша выкриков, он обратился к залу:

– Кто просит слова?

Все замолчали. Гуммет повторил вопрос:

– Кто хочет сказать?

Мне казалось, гнетущая тишина раздавит меня. Вдруг дядя Нариман пошел к трибуне. Широко раскинув руки, он крепко ухватился за ее края.

– Товарищи! Гюнейлинцы! Арык принадлежит вам, и отобрать его у вас никто не может... Упрекнуть нас гюзейлинцам не в чем, мы им никогда в помощи не отказывали. Кормов просили – давали, пшеницу просили – давали, от себя отрывали, а давали. Все это знают!

И, обращаясь к старикам Гюнея, сидевшим в первых рядах, он повысил голос:

– Хочу я вас спросить, аксакалы: до каких же пор это будет продолжаться? Когда мы, наконец, сможем спокойно жить?!

Я не решалась взглянуть на Мурада. А на дядю Наримана я просто не хотела смотреть. Этот человек принял меня, как родную дочь, но мне было невыносимо сейчас видеть его лицо, злое и самодовольное.

– Нельзя так, дядя Нариман... – неуверенно сказал кто-то из середины. – Соседи все-таки...

Дядя Нариман нахмурился.

– Знаешь такую поговорку, Султан-оглы: яйца курицу не учат?

Послышался смех.

– Так вот, когда будешь советы давать, учти, что ты вчера только из гнезда вылупился. Помочь соседу – дело хорошее. Только вот одного не пойму: почему, когда мы рыли наш арык, никто из гюнейлинцев и не подумал помочь нам? Правильно я говорю? Было такое дело, аксакалы?

– Правильно! Было! – раздались голоса.

– И еще скажите, люди, – председатель произносил слова веско и неторопливо, – в жизни своей я когда-нибудь говорил неправду?

– Нет! Не было такого! – закричали из зала.

– Ну, тогда слушайте, я расскажу, как было дело. А то здесь молодых много, они не в курсе... Когда мы надумали вести этот арык из Генделена, я даже сам испугался – не вытянуть, думаю, жилу надорвем. И пошел я к Чираку, отцу этого вот самого Мурада, который упрекает нас, что мы плохие соседи, и сказал ему: «Давай вместе арык копать, он пройдет через Гюней прямо до вашего кишлака». И знаете, что мне ответил Чирак? Знаешь, что он ответил мне, Султан-оглы?

– Нет, не знаю.

– В том-то и дело, что не знаешь. Ты тогда еще в коротких штанах бегал.

В зале засмеялись. Гуммет звонил, призывая к порядку.

– Чирак мне ответил, что они, мол, кочевники, в кишлаке бывают, дай Бог, четыре месяца в году. Я ему сказал: «Чирак, мы тоже кочевники, но без арыка все равно не прожить, и ты очень скоро убедишься в этом, только будет поздно». Он не стал больше разговаривать, пришпорил коня – и был таков. А теперь, оказывается, мы должны отдать свою воду гюзейлинцам... Не бывать этому! Пока в Генделене есть вода, она будет течь только в Гюней-кишлак!

Дядя Нариман решительными шагами направился на свое место. Он не сомневался, что вопрос решен.

– Кто еще хочет сказать? – спросил Гуммет.

Никто не отзывался.

– Разрешите мне несколько слов.

Это сказал Мурад. Он прошел к трибуне и, склонив голову набок, посмотрел на сидевших перед ним гюнейлинцев. Лицо его было бледнее обычного, черные глаза блестели. Я ждала, что он скажет сейчас что-то необыкновенное. Но Мурад начал просто:

– Товарищи! Я никогда не считал себя здесь чужим, и поэтому мне легко говорить с вами. Как бы вы ни решили вопрос с арыком, я благодарю вас уже за то, что вы собрались сюда сегодня, благодарю за дружеское участие.

Тетя Гаранфиль, сидевшая сбоку от сцены, шумно вздохнула. Гулу беспокойно ерзал в кресле, озабоченно поглядывая то на Мурада, то на дядю Наримана.

Мурад продолжал:

– Арык принадлежит вам, гюнейлинцы, вы его хозяева. О нашем положении я говорить не буду – оно вам хорошо известно. Скажу только одно: если арык протянется до нашего кишлака, ваше хозяйство не пострадает. Ваш односельчанин Гуммет уже сказал об этом. А относительно того, что тут дядя Нариман рассказывал, все правильно.

Мурад развел руками.

– Видите, как получается, отец тогда не послушал дядю Наримана, хлестнул коня и уехал, а двадцать лет спустя мы обращаемся к вам за помощью... Так что все вроде ясно – добавить нечего.

Мурад неторопливо сошел с трибуны.

– Дай-ка мне слово! – и, не ожидая, когда председатель объявит о ее выступлении, тетя Гаранфиль встала, громко хлопнув откидным креслом, и быстро поднялась на сцену.

Некоторое время она молчала, стараясь отдышаться.

– Дорогие односельчане! – начала она. – Да, арык – свет наших очей, в нем наше богатство, наша жизнь. Это все знают. И все знают, каково нам было рыть этот арык, сколько земли мы перетаскали на своих спинах. Я помню, Нариман неделями домой не приходил, почернел весь, ни сна, ни покоя не знал... И все-таки я и дома ему говорила и сейчас повторяю – неправ ты, Нариман! – она обернулась к столу президиума. – Ты старший среди нас, а раз старший, то не можешь думать только о себе!

– Это я-то думаю только о себе? – с искренним удивлением спросил дядя Нариман.

– Да, Нариман, – тетя Гаранфиль утвердительно кивнула головой. – О себе, о своем селе, о своем колхозе! А о других людях ты думать не хочешь. Как говорится, моя хата с краю, ничего не знаю. Лишь бы у меня было все в порядке!

– Спасибо, Гаранфиль, удружила!

– Оставь, Нариман, знаешь ведь, что я правду говорю! Неужели мы должны жить как в райском саду, дыни горами складывать, а у соседей пучка зелени нет в айран* покрошить! Хлеб в горле застревает – как же ты этого не понимаешь?! Ну, не послушался тебя Чирак – обидно, конечно, было. Так что ж, мстить теперь будем им?

Дядя Нариман исподлобья посмотрел на жену.

– Спасибо, женушка, уважила. Хорошо мужа понимаешь. – Он сокрушенно покачал головой.

Тетя Гаранфиль продолжала, словно не замечая иронии мужа:

– И я обращаюсь к вам, жители Гюнея, и к тебе, Нариман, давайте поможем гюзейлинцам – нас не убудет, а дело сделаем большое.

– Не убудет, говоришь? – выкрикнул незнакомый мне бородатый старик. Он вскочил с места и обернулся к залу. – А их бы убыло, если бы они тогда помогли нам как добрые соседи? Они на эйлагах прохлаждались, когда мы тут землю ворочали. Здорово получается!

Раздались одобрителльные голоса:

– Пришли на готовенькое!

– Были дураки, да все вышли!

Поднялся почтальон Пирверди.

– По-моему, надо дать воду... Люди будут жить по-человечески.

– Правильно говорит!

– Ишь какой добренький!

– Молодец, Пирверди!

– Из чужого кармана легко десятки раздавать!

Почтальон покраснел и смущенно опустил на стул. Стоял сплошной гул, трудно было различить отдельные голоса.

В глубине зала встал рослый старик и медленно пошел к сцене. На трибуну он подниматься не стал. Держа в руках погасшую трубку, он спокойно всматривался в лица людей, сидящих перед ним. Потом заговорил:

– Вы знаете, мне больше ста лет. Отец мой тоже больше века прожил, а его мать, бабушка Бедирхан, столько жила, что от старости совсем скрючилась. Когда на нашу землю пришел Надир-шах, она была девочкой. Бабушка Бедирхан рассказывала, что его конники передушили бы наш народ, если бы не герой Эйваз. Это он собрал всех, способных взять в руки меч, и устроил засаду в ущелье, в том ущелье, где теперь кончается наш арык. Они не пропустили ни одного иноземца.

Кто-то спросил:

– Поэтому ущелье называют ущельем Эйваза?

– Да, поэтому. Там, в ущелье, было пролито столько крови, что за семь лет не вошла ни одна травинка. А знаете ли вы, кто был этот герой?

Дядя Нариман беспокожно заворочался на стуле.

– Он был прадедом вот этого человека, – старик трубкой указал на Мурада, – и родным дедом того самого Чирака, который не помог нам рыть арык.

В глубокой тишине было слышно, как кто-то вздохнул.

– Я хочу сказать одно, – продолжал старик, – стыдно нам считаться, кто кого обидел. Люди пришли к нам за помощью – они не должны уйти с пустыми руками... Я все сказал.

Старик повернулся и пошел на свое место.

– Я предлагаю разрешить гюзейлинцам копать арык! – крикнул с места Керим.

Дядя Нариман вскочил.

– Подумайте хорошенько, односельчане! Вас не должны сбить с толку слова Дюньямалы-киши.

В зале кричали:

– Чего тут думать!

– Воды в арыке не убавится – надо дать!

– Отдадим воду – сами будем потом зубами щелкать!

Гуммет звонил непрерывно. На сцену легко вспрыгнул Алмурад.

– Товарищи! Если мы не дадим гюзейлинцам воды, мы будем просто не советские люди!

– Эй, парень! – крикнули из задних рядов. – При чем тут советские?!

– А при том, – энергично взмахнув рукой, громко сказал Алмурад, – что советский человек не может думать только о своем благополучии.

– Разошелся комсомол! – перебил Алмурада насмешливый возглас. – Всех под орех разделает!

Алмурад не смутился. Он только на минуту умолк, а когда крики прекратились, заговорил снова: – Тетя Гаранфиль хорошо сказала – нечего сидеть на своем богатстве, у нас в закромах с позапрошлого года пшеница лежит, а гюзейлинцы вынуждены занимать хлеб. Правильно это? По-моему, здесь и рассуждать нечего – совесть надо иметь, товарищи!

Дядя Нариман хмуро взглянул на Алмурада.

– Мы, значит, совести не имеем? Спасибо тебе, секретарь комсомола!

– Я о тебе, дядя Нариман, никогда такого слова не скажу.

– Слышали твое слово, слышали, – обиженно повторил председатель и повернулся спиной к трибуне.

– От имени комсомольцев Гюнея еще раз призываю вас дать согласие – пусть гюзейлинцы тоже живут богато!

Алмурад сбежал по ступенькам в зал.

– Правильно! – кричали комсомольцы.

– Надо разрешить!

Раздались громкие, дружные аплодисменты.

– Итак, товарищи, есть два предложения, – сказал Гуммет, когда шум стих. – Первое – разрешить гюзейлинцам рыть арык.

Кто-то крикнул:

– Неправильно! Не это первое предложение. Властью злоупотребляешь!

– Эй, Султан-али, не обливай человека грязью!

– Он прав! Наше предложение первое!

Гуммет спокойно ответил:

– Хорошо. Первым ставлю на голосование предложение Султан-али. Кто за то, чтобы не разрешать гюзейлинцам прорыть арык, прошу поднять руки!

Мне показалось, что все присутствующие в зале подняли руки.

– Керим, подсчитай, пожалуйста.

Керим стал громко считать:

– ... сто тридцать пять, – доносилось до меня как будто издали, – сто тридцать шесть, сто тридцать семь, дядя Нариман сто тридцать восьмой.

- Так, – произнес Гуммет. – Сто тридцать восемь. Голосуем второе предложение... Кто за то, чтобы прорыть арык до кишлака Гюзей?
- Султан-али вскочил:
- Эй, председатель, я сам буду считать!
- Ты что ж, не доверяешь Кериму?
- При чем тут доверяю, не доверяю? – сердито отозвался Султан-али. – Просто хочу сам.
- Пусть считает, – сказал Керим, опускаясь в кресло.
- Султан-али начал считать. Я не могла усидеть на месте, то вставала, то садилась. Когда Султан-али досчитал до ста тридцати девяти, голос его как-то потускнел, а потом и вовсе заглох.
- Да что мне, больше всех нужно?.. – сказал он, махнул рукой и сел.
- Я вздохнула с облегчением и посмотрела на Мурада, но он расплывался передо мной, наверно, на глазах у меня были слезы. Мурад, опустив голову, разглядывал коробку с папиросами.
- Итак, товарищи, – сказал Гуммет, – собрание постановило разрешить гюзейлинцам продолжить арык до их кишлака.
- Услышав эти слова, дядя Нариман встал, долгим взглядом посмотрел на сидевших перед ним людей и негромко сказал:
- У меня нет детей, а в могилу с собой я арык не возьму. Я заботился только о вас. Мне тяжело, что против меня Гуммет, которого я люблю как родного сына, Гаранфиль, с которой я прожил тридцать лет, но что вы все... – он не договорил. – Одним словом, вопрос решен, и мне здесь делать нечего.
- Он взял свою соломенную шляпу и ушел, тяжело ступая.
- Ну, довольны? – мрачно сказал Султан-али.
- Прогнали человека!
- Тетя Гаранфиль была так бледна, что я боялась – ей станет плохо. Мурад, не глядя ни на кого, курил, глубоко затягиваясь.
- Послышался ропот:
- Такого человека унизили!
- Ни во что поставили старика!
- Гуммет дождался тишины и обратился к собранию:
- Товарищи! Дядя Нариман отдает народу всю свою жизнь – это верно. И все-таки мы не могли сегодня согласиться с ним. – Гуммет на минуту замолчал, поправил рукой прядь волос, упавшую на глаза. Потом сурово добавил: – Мы должны и будем бороться против частнособственнических настроений. Каплю за каплей мы должны выжать из себя этот яд, отравляющий нашу кровь.
- Мне больше не казалось удивительным, что такого молодого парня избрали председателем райисполкома. Сейчас он вовсе не походил на веселого студента, приехавшего погостить к родителям.
- Закончив речь, он обратился к Мураду:
- Ты будешь говорить?
- Мурад положил папиросу и встал:
- Товарищи гюнейлинцы! От имени всех своих односельчан прошу принять нашу глубокую благодарность. Я надеюсь, что пройдет немного времени и те, кто сейчас выступал против, убедятся, что они возражали напрасно. Я уверен, что арык не только соединит наши земли, он объединит нас в одну семью, нашу дружбу он сделает крепкой как гранит. Еще раз спасибо вам, соседи!
- После собрания, когда я, Гулу и Назханум стояли на балконе, к нам подошли Гуммет, Мурад и тетя Гаранфиль.
- Клянусь твоим здоровьем, Нурия, – обратилась ко мне тетя Гаранфиль, – не понимаю я Наримана. Ведь добрый он человек, последнюю рубаху отдаст, а тут...
- Все очень понятно, тетя, – грустно сказал Гуммет. – Этот арык – слава дяди Наримана, и делиться ею он ни с кем не хочет.
- Не хочет! Много ты знаешь! – неожиданно рассердилась тетя Гаранфиль. – Задаваться не надо, мальчишки вы перед стариком... Успокоить его нужно, уговорить...

– Да я только и думаю, как бы помириться с дядей Нариманом, – сказал Мурад. – Но теперь к нему не подступишься.

– Ничего, – уверенно сказал Гуммет, – время нас помирит.

Тетя Гаранфиль только вздохнула.

«Да, время помирит вас, и все будет хорошо, – подумала я. – Где, интересно, буду тогда я? А впрочем, это здесь никому не интересно и ничего не меняет».

Когда они уходили, Мурад, обернувшись, тревожно взглянул на меня. Я беззаботно зевнула и потянулась.

– Спать пора. А жаль, ночь какая прекрасная!

Актриса же я в конце концов, и я должна уметь даже зевнуть, если это необходимо!

Спать мне совершенно не хотелось. Я села на скамейку. Назханум тихонько под села ко мне. Квакали лягушки. Но даже этот прозаический звук казался призрачным среди волнующей красоты ночи. Небо было чистое, только рядом с луной висело белое пушистое облачко. Далекая гряда Карабахских гор серебрилась в лунном свете. Прекрасная ночь! Пройдут еще миллионы лет, и ночи будут все так же прекрасны...

Да, скоро дядя Нариман и Мурад снова станут друзьями, а меня уже не будет здесь... Конечно, не будет... А как все-таки странно квакают лягушки...

– Что ты молчишь, Назханум? – спросила я подругу.

Она ответила не сразу:

– Что говорить? Лягушек слушаю... А хорошая вещь – счастье! Не всем только оно достается.

– Ты так говоришь, будто несчастлива.

– Была бы счастлива, не осталась бы одна в доме.

– А ты любила мужа?

– Да.

– Почему же вы разошлись?

– У меня не было детей.

– Он нехороший человек! – горячо сказала я. – Мало ли у кого нет детей. Возьми хоть дядю Наримана!

– Нет, ты неправа, Нурия! Какая это жизнь без детей? Да я на него не в обиде – он любил меня.

– А у него есть дети от новой жены?

– Сын недавно родился. Хороший, говорят, мальчик, дай Бог ему здоровья.

Белое облако удалялось от луны, постепенно вытягиваясь, теперь оно было похоже на одинокий парус.

Вода арыка, кое-где просвечивающая между ивами, сверкала как черное стекло.

– Может быть, снова выйдешь замуж?

– Не знаю... Хочется мне спросить у тебя одну вещь. Только дай слово, что не рассердишься.

– Чего ж мне сердиться!

– Ты Мурада давно знаешь? Не замечала, как он на тебя смотрит? Мне кажется, он в тебя влюбился.

– Ты с ума сошла! – с ужасом воскликнула я. – И придет же такая чушь в голову! У человека жена красавица...

– Много ты понимаешь. От этой красавицы ему одно мучение!

– Ну это уж пусть они сами разбираются, а тебя я прошу никогда больше не говорить мне такие вещи. Я не теряю надежды, что для меня найдется и холостой парень.

Я обиженно замолчала. Видимо, я сыграла хорошо, потому что Назханум не на шутку встревожилась:

– Прости, ради Бога! Ты ведь обещала не обижаться.

– Ладно, оставим это. Пойдем лучше, я поиграю тебе.

Мы не стали зажигать лампу – лунный свет падал на сцену. Я играла сейгях.

Ивы над арыком вздрагивали от звуков рояля и просыпались. Они слушали песню о том, что скоро листва их зашумит над соседним кишлаком и в прохладной ее тени будут играть ребятишки Гюзеев. Птицы совьют гнезда в их ветвях. Пройдут годы, и высокий седой человек придет иногда взглянуть на них и вспомнить прошлое. И никто не скажет ему, где та девушка...

Сейгях затихал, замирал в предчувствии близких расставаний. Как это трудно – расставаться... Мурад! Почему ты не пришел тогда, почему не разыскал меня? Разве ты не чувствовал, как я ждала тебя?! Может быть, ты вообще ничего не чувствовал и потому так легко забыл? Может быть... Я не сержусь, я даже не буду плакать... А как она любит тебя! Пусть... Ты принадлежишь ей. Вы принадлежите друг другу. А я чужая здесь, птица, прилетевшая издалека. Улетит эта птица, и наступит мир между вами, и ваш сын будет играть у арыка... Кто это?.. Кто этот человек, залитый лунным светом?

Сейгях задрожал и замер. Я закрыла глаза. Когда я снова взглянула в окно, никого не было. Мне показалось...

Назханум подошла ко мне:

– Не играй больше, душа разрывается слушать тебя. Мучаешься ты, Нурия.

– Ну вот еще! – шутливо возразила я. – С чего это мне мучиться?!

Назханум с сомнением покачала головой.

– Спокойной ночи.

Придя к себе, я заперла дверь и распахнула окно. В комнате темно, а улица залита лунным светом. Я не люблю темноты, боюсь ее. Зажгла свет, взяла книгу. Сразу усталость овладела всем моим существом, веки сомкнулись. Сейчас не было ни печали, ни одиночества, сон обволакивал и уносил меня... И вдруг я услышала свое имя. Кто-то шепотом меня звал. Я вздрогнула и выронила книгу.

Мурад стоял перед окном и, улыбаясь, смотрел на меня.

– Вы испугались?

– Нет.

«Что делать?! – лихорадочно билось у меня в голове. Надо держаться как можно проще. Пусть лучше зайдет, чем стоять под окном».

– Почему вы здесь стоите? – спокойно спросила я. – Заходите, я открою.

– Но вы хотите спать.

– Я, кажется, уже выпалась.

– Да, вы очень сладко спали!

– Не смущайте меня, пожалуйста, – говорят, я сплю с открытым ртом.

Он засмеялся. Он смеялся, мой лейтенант, мой черноглазый лейтенант!

– Заходите же!

Я старалась унять дрожь в голосе. Пока он обошел здание и постучал в дверь моей комнаты, я сумела взять себя в руки.

– Садитесь. Заварить чаю?

– Нет, спасибо.

– Сегодня вы веселый, а обычно так редко смеетесь...

– Говорят, я вообще мрачная личность.

– Неправда. Тогда в Кировабаде вы все время смеялись. И танцевали лучше всех.

Наступило молчание.

– Вы приходили на следующий вечер? – он смотрел мне в глаза.

– Приходила.

– Рассердились, наверное, на меня?

– Нет, не рассердилась.

– А мне утром пришлось неожиданно выехать в командировку. Вернулся через полгода. Искал вас по всем детским домам. Узнал, что вы в Ленинграде в геологическом институте. Написал директору института, ответили, что вы заболели и вернулись в Азербайджан. Взял отпуск, поехал в Баку, обошел все институты, но театральный – в голову прийти не могло!

– Я очень благодарна вам (какой же у меня нудный, скрипучий голос!). Видимо, вы хороший друг.

– Вы не вспоминали меня с тех пор?

– Нет, почему же, вспоминала... Но ведь вы знаете студенческую жизнь – лекции, зачеты, вечера... Иногда, кажется, забудешь, как тебя зовут.

Он пристально посмотрел на меня и достал папиросы.

– Вы разрешите?

– Пожалуйста. Когда я была маленькая, я всегда раскуривала для бабушки трубку.

– Я не забывал вас ни на минуту, Нурия!

– Вполне возможно. Я тоже как-то, давно еще, познакомилась с одним парнем – до сих пор не могу забыть его лицо.

– Как его звали?

– Не помню.

– Не помните? Он же вам нравился.

– Да нет... Я его видела всего несколько раз. Как можно судить о человеке по первому впечатлению?

– Не судить, а почувствовать... Интуиция иногда гораздо надежней всяких суждений. А судить, что ж? Слишком часто мы неправильно судим о человеке.

Кого он имеет в виду? Себя? Меня?

– Так бывает, конечно, но в таком случае мы должны прислушиваться только к голосу своей совести, и она направит нас на правильный путь. (Боже мой, что я несу?!)

– Вам легко рассуждать, Нурия. Вы не знаете, каково это.

– А вы знаете?

Он промолчал.

– Не хотите отвечать?

– Почему же? Вы можете спрашивать меня обо всем.

– Благодарю за высокое доверие.

– Не говорите со мной так, Нурия.

– Что вы! Я говорю с вами как с другом. Больше всего я хочу, чтобы мы с вами были настоящими искренними друзьями.

Мурад печально взглянул на меня.

– Спокойной ночи, – произнес он и направился к двери. Я ничего не сказала. Просто встала и пошла за ним. Он остановился на веранде. Все спало вокруг, даже лягушки умолкли. Двое стояли в полумраке, смотрели друг на друга и молчали.

– Идите, Мурад, – почти беззвучно произнесла я.

Губы у меня пересохли, лицо горело. Я не могла сделать ни шагу. Я снова прошептала:

– Идите, Мурад.

Он молча смотрел мне в глаза.

Неужели он не понимает, что я не могу больше, что я сейчас обниму его?! Уходи, уходи скорее, любимый мой!

– Идите, Мурад, идите, прошу вас...

Я смотрела ему вслед, пока можно было различить его темный силуэт. Потом вернулась к себе и, не раздеваясь, упала на постель...

В нашей библиотеке становилось все более оживленно. «Дон-Кихот» прочитали уже десятки людей, и на эту книжку установилась очередь. Майн Рид, Чехов, Гоголь, Мамедкулизаде не пылились больше на полках. Особенно радостно было, что в библиотеку стали приходить девушки и даже замужние женщины.

Пирверди, гордый и довольный, каждый вечер подкатывал к Дому культуры на новеньком, бодро пофыркивающем мотоцикле и выкладывал кипу свежих газет и журналов.

Балкон, дверь которого вела в библиотеку, превратился в своеобразный клуб. Каждый вечер после читки газет я отвечала на многочисленные и часто совершенно неожиданные вопросы колхозников. Что греха таить, нередко я оказывалась не на высоте, особенно когда дело касалось международного положения, но я всегда честно признавалась в своем невежестве, а потом, оставшись одна, рылась в газетах и журналах, ища ответа на трудный вопрос. Иногда я звонила Гуммету, и, мне кажется, ему доставляло удовольствие помочь мне.

Завсегдатаи любили, когда я читала вслух книги, особенно «смешные». Смеялись они всегда так дружно и искренне, что я готова была просиживать здесь до поздней ночи. С ними я не чувствовала себя одинокой.

Гулу стал душой нашей клубной жизни. Всегда веселый, оживленный, он заражал людей бодростью. Приходя, он клал на стол свой неизменный портфель и начинал с увлечением рассказывать об увиденном и услышанном. Мрачнел он лишь тогда, когда его спрашивали о дяде Наримане, тут он обычно замолкал или переводил разговор на другую тему.

В общем все шло неплохо, и я была почти довольна жизнью, когда произошла серьезная неприятность.

Томик Мичурина, который прислал мне дядя Алескер, я отправила Мураду не сразу. Несколько дней книга простояла на моем столе около лампы, и, входя в комнату, я первым делом бросала на нее взгляд, словно здороваясь с милым мне существом. Иногда я перелистывала ее, с огорчением убеждаясь, что содержание мне все-таки неинтересно, и, погладив переплет, ставила на место.

Но прошла неделя, я аккуратно завернула книгу в газету и попросила Пирверди отвезти ее Мураду.

Почтальон вернулся мрачный. Глядя в сторону, он сказал, что Мурада дома не было и книгу он отдал его жене.

Часа через два пришел какой-то мальчик, молча положил мне на подоконник книгу и ушел.

Я долго смотрела на нее, ничего не понимая. Почему Мурад вернул книгу?

Когда вечером пришел Гулу, я сразу по его виду поняла – что-то произошло. Несколько раз я ловила на себе его сострадательный и даже словно виноватый взгляд.

– Что случилось, Гулу? – прямо спросила я его, когда все разошлись.

– Ничего, все нормально.

– А все-таки? Ты должен сказать, если не хочешь обидеть меня.

– Есть о чем говорить – буржуазные пережитки!

– Ну так какие же это все-таки буржуазные пережитки? – я улыбалась, хотя сердце у меня тревожно ныло.

– Да как-то даже рассказывать стыдно.

– Но мы же с тобой друзья.

– Ладно, Нурия-ханум, но только прошу тебя – не придавай ты этому значения... В общем, скандал устроила Саадат из-за твоей книги – всю посуду в доме перебила. Почему, говорит, именно Нурия прислала тебе эту книгу?.. Несчастный человек Мурад, одно можно сказать. И жить с этой бешеной бабой сил нет и податься некуда – ребенок! Не хватит у него духу разойтись с ней.

– Ничего, Гулу, разберутся как-нибудь. А нам с тобой не стоит огорчаться – артисты должны быть выше мирских невзгод. Не так ли?

– Это верно, конечно...

Я пошла к таристам и долго смотрела, как Джими обучал своему искусству маленьких музыкантов. Джими был великолепен. Идеи по-прежнему рождались у него непрерывно, но теперь они относились только к области музыки и педагогики. Претворение их в жизнь, которое вдохновенный Джими незамедлительно осуществлял в своей педагогической практике, вероятно, привело бы в ужас методиста, но маленькие ученики Джими были от него в восторге, и, что самое удивительное, многие из них уже неплохо играли на таре.

Уже когда я ложилась спать, Назханум принесла мне записку.

«Нурия-ханум!

Я виноват перед вами безмерно, но вы знаете о моей жизни все и, надеюсь, извините меня. Больше мне сказать нечего. Еще раз извините.

Мурад».

Я прочитала эту записку, и мне уже не хотелось ни репетировать, ни читать в библиотеке Гоголя, ни слушать молодых таристов. Мы оба несчастливы, и ничего нельзя изменить.

После собрания, решившего судьбу арыка, дядя Нариман почти не выходил из дому. По этому поводу на балконе не прекращались споры. Одни не одобряли старого председателя, другие считали, что дядя Нариман вправе обижаться, видя, как разбазаривается добытое с таким трудом колхозное богатство. Однако большинство склонялось к тому, что решение собрания было правильным, – нечего сидеть на своем добре, если соседям приходится туго.

Как-то вечером, примерно через неделю после собрания, выйдя на балкон, я увидела за кишлаком пылающие костры.

– Гюзейлинцы вышли рыть арык, – сказала Назханум, подходя ко мне. – Дай им Бог удачи!

Я, не отрываясь, глядела на далекие огни.

– Пойдем туда! – сказала я, взяв Назханум за руку, – никогда не видала ничего подобного. Будто солдаты отдыхают перед наступлением!

Там, где арык, выходя из кишлака, поворачивает вправо, мы остановились и молча смотрели на лагерь гюзейлинцев. Люди ужинали, пили чай у костров, прилаживали кетмени к рукояткам.

– Как на праздник пришли, – с тихой улыбкой сказала Назханум. – А вот председатель-то ихний не больно весел.

Мурада я увидела сразу. Он лежал, подложив руки под голову, и задумчиво смотрел в небо. Неровный свет костра освещал его задумчивые глаза, усталое небритое лицо.

– Давай, Мурад, чайком побалуемся! – окликнул его мужчина в белой безрукавке, снимая с перекладки над костром закопченный медный чайник.

Мурад не ответил.

– Ничего ему, бедняге, не мило, – сочувственно сказала Назханум. – Подумать только, до чего жена может довести человека! А знаешь, Саадат в девушках совсем другая была – веселая, приветливая, как ты. За нее, говорят, в Баку заместитель министра сватался. И неудивительно при ее-то красоте!.. Вот смотри: вроде и красавица и мужа любит, а счастья нет... одно мучение.

– Может быть, она не зря ревнует... все бывает.

– Да что ты, Бог с тобой! Разве Мурад такой человек, чтобы завести любовницу?!

У меня даже мурашки пробежали по спине – ненавижу это отвратительное слово «любовница».

Наутро я поднялась раньше обычного и вышла на балкон. В лагере гюзейлинцев перекликались люди, сигналили автомашины, изредка раздавался треск мотоцикла. И каждый раз, когда он затихал, я острее ощущала свое одиночество и мне хотелось, чтобы поскорее пришел кто-нибудь.

Вскоре показался Гулу. Он всегда перед работой заходил к нам.

– Начали наши, – он кивнул в сторону Гюзея.

– Видела. Мы ходили вчера туда с Назханум.

– Гуммет экскаватор обещал прислать.

– Хорошо бы...

К нам быстро подошел Джими. Он запыхался, глаза у него восторженно бегали, им, несомненно, овладела очередная идея.

– Нурия-ханум, я задумал одно очень нужное начинание...

Гулу хихикнул, прикрыв рукой рот, я тоже невольно улыбнулась.

Джими сделал паузу, пережидая, когда кончится наше неуместное веселье.

– Мы, гюнейлинцы, проявили сознательность, разрешив продолжить арык до Гюзея, – начал он. – Мы должны пойти дальше в этом благородном деле – нужно организовать культурное обслуживание гюзейлинцев, работающих на арыке. Это будет иметь большое значение, мы...

– А ты прав, Джими, – перебила его я. – Надо прямо там у арыка дать концерт.

– Подумать только! – Гулу с легкой усмешкой поднял палец. – Джими начинают приходить в голову стоящие идеи!

– Мы вообще хотели взять культурное шефство над гюзейлинцами, – заметила я.

– Ха, культурное шефство! – воскликнул Джими. – Это будет не простое шефство! Мы же не только отдаем им воду из своего арыка, но и устраиваем концерт на том самом месте, где наша вода уходит в чужой кишлак. Понимаете, что это такое.

– Пожалуй... – усмехнулся Гулу. – Так, чего доброго, и в газету попадешь!

Два дня мы готовили концерт. Джими написал объявление, начинавшееся словами: «Пламенный привет друзьям-гюзейлинцам!»

Вечером, на третий день, когда наступила прохлада, мы отправились в лагерь строителей. Нас встретил Мурад. Он был чисто выбрит, белая накрахмаленная рубашка оставляла открытой крепкую шею.

– Все с нетерпением ждут концерта, – с улыбкой сказал он. – Это вы замечательно придумали, Нурия-ханум!

– Джими благодарите – его идея.

Мы говорили с Мурадом легко, непринужденно, словно ничего не случилось. Гюзейлинцы обступили нас.

– А Гулу покажет сегодня Мешади Ибада? – спросил кто-то.

– Нет, у него срочные дела. Он не смог прийти.

Молодой парень с тонкими черными усиками, в измазанной маслом кепке, сдвинутой набекрень, движением губ передвинув в угол рта папиросу, спросил, в упор глядя на меня:

– А сестрица Нурия споет нам сегодня?

– Это мы посмотрим, – спокойно ответила я, сделав вид, что не замечаю его нагловатого вида, и шутливо обратилась к Мураду:

– А змей вы не боитесь?

– Какое там! – засмеялся Мурад. – Мы их и не видим – не успеешь лечь, уже храпишь!

– Что вы! – вмешался парень с усиками. – Я сейчас такого удава видел – теленка может проглотить. Не сойти мне с этого места – проглотит!

Мурад сердито взглянул на парня. Тот стушевался отошел в сторону. «Ничего, – хотелось мне сказать Мураду. – Пусть острит. Не бойся, я не дам себя обидеть. И потом здесь кругом хорошие люди!»

– Ну, товарищи, мы хотим начать концерт!

– Просим! Просим! – послышалось со всех сторон.

– Прежде всего разрешите пожелать успеха в вашем большом, важном деле. Пусть скорее наступит день, когда мы сможем выступить с концертом на празднике открытия арыка.

Гюзейлинцы шумно захлопали.

– Спасибо тебе!

– Правильно, спасибо!

– Пройдут недели, месяцы, и арык соединит наши кишлаки, еще крепче связав сердца гюнейлинцев и гюзейлинцев.

– Тогда, может, и Нариман пожалеет о своем упрямстве, – сказал какой-то старик, сидевший недалеко от меня.

– Деревья вырастут над арыком, по ночам звезды будут купаться в его воде, а на берегу весело заквакают лягушки. Воды арыка смоят печаль, – продолжала я. – Мужья простят женам обиды, жены не будут сердиться на мужей. И то, что сейчас кажется горем, станет лишь воспоминанием, не тревожащим сердце. Потому что вода – это жизнь, радость, счастье!

– Хорошо говоришь, доченька, – вздохнул старик. – Правильно говоришь!

– Про лягушек хорошо сказала, – ухмыльнулся парень с усиками.

– А теперь, дорогие друзья, – закончила я свое лирическое вступление, – начинаем концерт. Наш солист Джими сыграет мелодию «Багдадури». Прошу слушать и аплодировать, а кто хочет, может плясать. Это входит в программу нашего концерта.

Все засмеялись, захлопали.

Джими сел на табуретку и, настроив тар, заиграл.

– Ну, молодые! – сказал старик, оглядываясь. – Что ж никто не выходит в круг? Давай, Гагаш, покажи себя!

Парень с усиками, казалось, только этого и ждал. Легко вскочив с земли, он вошел в круг.

Плясал Гагаш удивительно – каждое движение его было полно силы и красоты.

Мурад не отрывал глаз от ног Гагаша, словно хотел запомнить каждое его движение.

После «Багдадури» пела Сария. Она уже привыкла выступать перед зрителями, голос у нее не дрожал, песня лилась тепло и задушевно.

– Нурия-ханум, а вы не расскажете нам что-нибудь смешное? – спросил Гагаш, когда Сария, кончив петь, села в сторонке у костра.

– Надо рассказать, раз такой молодец просит, – улыбнулась я. Мурад тоже улыбнулся и взглянул на Гагаша.

– Сейчас я прочту вам рассказ «Ягненок» нашего замечательного писателя Мамедкулизаде.

– Ух, хорошая штука – я читал! – с восторгом воскликнул Гагаш.

В рассказе говорится о том, как хитрый, сметливый крестьянин, обманывая пьяницу хана, умудрился три раза получить с него деньги за одного и того же ягненка.

Когда я, подражая интонации пьяного, изумленно спрашивала: «Какие деньги? Ничего не понимаю!» – хохотали все, даже Мурад.

Джими заиграл сейгях. Я отошла подальше и села рядом с Назханум. Было темно, и можно было не отрываясь смотреть на Мурада. Я видела его темные, печальные глаза, и мне не верилось, что этот человек только что беззаботно смеялся. Я смотрела на него из мрака, и мне так хотелось подойти к нему, коснуться рукой его щеки.

Джими пел о том, что жизнь это счастье и право на счастье имеет всякий, кто живет на земле, но его надо завоевывать, бороться за него!

Да, конечно, бороться надо... Ну, а если в этой борьбе придется наступить на горло другому, отнять у женщины любимого, у ребенка – отца?.. Ничего у тебя не выйдет, Нурия! Ты не станешь бороться с Саадат, ведь она мать его сына. А борьбу с собой, со своим отчаянием, с тоской, с одиночеством ты выдержишь... Ты, говорят, сильная, а сильным всегда достается тяжелая ноша. И никто не должен знать о твоей тоске, людям должно быть весело с тобой – ты актриса...

Внезапная тишина прервала мои мысли. Никто не аплодировал. Я вскочила.

– Видно, сейгях так подействовал на вас, что вы забыли хлопать?

В ответ раздались смех и аплодисменты.

– Наш концерт окончен. Желаю вам крепкого сна и много, много сил, чтобы как можно скорее привести воду в Гюзей.

– Нурия-ханум! – окликнул меня Гагаш. – Может быть, вы еще к нам придете?! – он улыбался и уже не пытался поддеть и смутить меня.

– Конечно, придем, если вам понравилось. Но и вы приходите к нам в Дом культуры.

– А что там у вас есть?

– В Доме культуры есть тар, бубны, пианино и прекрасные книги, – сказала я. – Так что приходите – милости просим!

– Давайте поблагодарим Нурию-ханум и ее товарищей за чудесный концерт, – обратился к односельчанам Мурад. – Я присоединяюсь к просьбе Гагаша не забывать нас!

– Артисты никогда не забывают благодарных зрителей! – ответила я. – Мы придем к вам, но мы хотим, чтобы и гюзейлинцы принимали участие в наших концертах. Гагаш – прекрасный танцор, почему бы ему не выступить?

В ответ зашумели, засмеялись.

– Давай, Гагаш! Плясать – не арык копать! Чего лучше – артистом заделаться!

– Ладно, – мрачно огрызнулся Гагаш. – Я артистом быть и не собираюсь.

– Можно подумать, что быть артистом позор, – вырвалось у меня. – Разве ты, Гагаш, считаешь, что я занимаюсь недостойным делом?

– Ну что вы! – испуганно отозвался Гагаш. – Но только как-то... Я ведь тракторист...

– Не робей, Гагаш! – подмигнул один из парней. – Тебе чоху* выдадут, как у танцоров из Баку, и кинжал. Только пляши!

– Сам пляши, если тебе нужно, – рассердился парень.

– Ты зря обижаешься, Гагаш, – обратился к нему Мурад. – Я не вижу ничего зазорного в том, что наш лучший тракторист к тому же еще и прекрасный танцор... Я бы на твоём месте не отказывался от приглашения.

– Ну, ты-то конечно... – хихикнул кто-то сзади. Мурад резко обернулся.

Из темноты появилась Саадат.

– Как ты сюда попала? – сурово спросил Мурад.

– А что? Разве мне нельзя прийти на концерт?

– Мы были бы очень рады, – вмешалась я, – но концерт уже окончен. Вы опоздали.

– Вижу. Ничего, в другой раз не опоздаю.

– И ты не побоялась идти в темноте пять километров?

– Зачем же идти? Мотоциклист один попался, забралась к нему на багажник, обхватила его покрепче, и вот, видишь, здесь.

Ее слова были как пощечина. У меня потемнело в глазах. Джими смущенно отвернулся. Назханум сжала мою руку. Мурад молчал.

Было ясно, что эта женщина хочет скандала. Но его не будет, Саадат, я не дам тебе осрамить меня перед моими товарищами.

Мурад взял жену за руку.

– До свидания, друзья.

Они ушли.

– Какова? – громко возмущалась Назханум, когда мы шли домой. – И не стыдится ночью за мужем бегать. Как будто его кто проглотит!

– Не надо, Назханум. Очень легко осудить человека. Ты ведь не знаешь, что у нее в душе творится.

– Ничего у нее не творится – просто злая ведьма! Да, по мне, пусть она хоть лопнет от злости – я за тебя обиделась.

У дома председателя нас окликнула тетя Гаранфиль:

– Зашли бы, посидели. Тоска такая, не знаю, куда деваться.

– Что-то не видно дяди Наримана, – сказала я, когда мы уселись на террасе. – Как он?

– Лучше не спрашивай, доченька. Хандрит мой Нариман. Со мной ни словечка, да и с Гумметом не разговаривает. Весь день дома, а как дело к ночи, седлает коня – и со двора долой. Куда ездит – не говорит. – Тетя Гаранфиль помолчала и добавила, покачивая головой: – Гулу все к нему ходит. Закроются вдвоем и секретничают.

– А что же он делает целыми днями дома?

– Да ничего. Мечется, как зверь в клетке, и все думает. Уж я боюсь, как бы умом не тронулся.

Как раз в это время во двор въехал дядя Нариман на своем сером жеребце. Не глядя в нашу сторону, он расседлал коня, привязал его под навесом и поднялся на террасу.

– Что нового, Нурия? – громко, но все так же не глядя, спросил он и, не дожидаясь ответа, пошел умываться.

– Неужели трудно позаботиться, чтоб в умывальнике была вода! – раздраженно бросил он, ни к кому не обращаясь.

Тетя Гаранфиль подмигнула мне и, схватив ведро с водой, быстро наполнила умывальник.

Дядя Нариман долго вытирался мохнатым белым полотенцем, потом сел за стол и процедил сквозь зубы:

– стакан чая можно в этом доме выпить?

Тетя Гаранфиль мигом оказалась во дворе. Не поворачиваясь ко мне, старик сказал:

– Так... Значит, ублажали гюзейлинцев песнями?

– Да, дядя Нариман, – спокойно ответила я, словно не замечая его тона. – Мы же взяли культурное шефство над ними.

– Понятно. Хорошо поступаете – нельзя не похвалить. Скоро они вообще за наш счет жить будут. В один прекрасный день придет этот Мурад, сын Чирака, и скажет: «Выметайтесь-ка отсюда, дядя Нариман, нам нравится твой дом!»

– А зачем ему твой дом? – вмешалась тетя Гаранфиль, расставляя на столе посуду. – Придет в Гюзей вода, они себе дома отстроят получше наших.

Дядя Нариман сказал в пространство:

– Как это неприятно – не хочешь разговаривать с человеком, а он все время так и лезет...

– Перестань, Нариман! – воскликнула тетя Гаранфиль. – Как это я не буду разговаривать с тобой?! Я часу без тебя не могу прожить!

– Болтовня это все, – проворчал старик. – Убедился, чего стоит твоя преданность!

Но тетя Гаранфиль не шутила, и дядя Нариман, не без основания опасаясь лишиться необходимой твердости, снова заговорил со мной:

– Развлекаете, значит, гюзейлинцев?... Так, так...

Гулу с портфелем в руке, запыхавшись, вбежал на террасу. Он не успел даже поздороваться с нами – председатель вскочил из-за стола, схватил счетовода за руку и увлек во двор.

Гулу что-то быстро говорил ему, оживленно жестикулируя и выразительно поглядывая на нас. Дядя Нариман энергичным шепотом отвечал счетоводу и вдруг крикнул, забывшись:

– А ты ему скажи – в этом году только машинами будем убирать! Машинами, ясно?

Спohватившись, он сердито глянул в нашу сторону и снова зашептал на ухо Гулу.

Счетовод смотрел на председателя снизу вверх, то соглашался с ним, утвердительно кивая головой, то начинал возражать. Тогда он, словно ища поддержки, оглядывался на нас.

Наконец дядя Нариман устало махнул рукой и громко сказал:

– Хорошо. Делайте так.

Они подошли к нам, и Гулу, поздоровавшись, осведомился о нашем самочувствии.

– Говорят, концерт прошел с большим успехом?

– Неплохо прошел.

– Я никак не мог, понимаете...

– Тебя только там не хватало! – вмешался дядя Нариман, резко отодвигая стул. – Вместо того, чтобы дело делать, перед гюзейлинцами представлять.

– Дело не пострадало бы, дядя Нариман. Значит, послезавтра начинаем сбор...

– Потихе ты! – поморщился председатель. – Ну и глотка у тебя – одно слово, артист.

Счетовод смущенно умолк.

– Дядя Нариман! Я хочу просить правление – нам надо сшить костюмы для участников танцевального ансамбля, – сказала я, когда председатель выпил первую чашку.

– Какого это ансамбля?

– Да вот хотим создать танцевальный коллектив. Очень способные танцоры есть. Особенно один – тракторист из Гюзея, он...

– Не имею к этому никакого отношения, – перебил меня дядя Нариман. – Я не председатель!

Назханум сжала мое колено под столом.

– Кто же это тебя освободил? – шутливо спросила тетя Гаранфиль. – Сам ты вроде не имеешь права...

– Нельзя ли избавить меня от критики хотя бы в собственном доме? – мрачно произнес дядя Нариман, снова ни к кому не обращаясь. – Кажется, здесь не собрание по поводу арыка.

– Ах, Нариман! Можно ли быть таким обидчивым?! – тетя Гаранфиль укоризненно покачала головой. – Ведь ты всю душу из меня вытягиваешь!

– Твоя душа не имеет к этому никакого отношения. Если она вообще бывает у предателей.

– Вот до чего дошло! – вздохнула тетя Гаранфиль. – Уже и в предатели попала... Зря ты так, Нариман. Я сегодня старуху Баллы встретила, дай Бог, говорит, Нариману долгую жизнь. Если бы, говорит, он не прорыл тогда арык, не видать бы нам у себя воду.

– Ишь какая умная! Научила бы лучше своих бездельников, чтоб они Нариману помогли, когда он землю таскал, надрывался... Их тогда много по Гюзею шлялось.

– Ну, Нариман, нельзя вечно казнить людей за ошибку.

– Можно! И нужно! Если бы мы прощали ошибки, мы никогда ничего не достигли бы.

– Значит, мы и тебе не должны прощать ошибку? – спросила тетя Гаранфиль.

– Мне? – дядя Нариман даже подскочил. – Мне прощать?!

– А что ж ты думаешь? Тогда на собрании ты совершил самую большую ошибку в своей жизни.

– Ну знаешь ли... – задохнулся дядя Нариман и так сердито посмотрел на меня, словно я, а не жена сказала ему эти непочтительные слова. – Этого мне никто не докажет. Мой дорогой племянник всю бучу поднял, чтобы себя показать, – авторитет завоевывает на старом Наримане.

– Как тебе не стыдно! – с горечью сказала тетя Гаранфиль.

– Хватит, Гаранфиль. Твой Гуммет неблагодарный человек – не успел из яйца вылупиться, на дядьку с кулаками полез.

– Ты только о своем селе думаешь, а он обо всем районе душой болеет... Да и не по его воле арык роют, так люди решили.

При слове «люди» гнев дяди Наримана как-то сразу иссяк, словно в костер плеснули водой.

Утром, когда я шла в сельпо купить сахару, меня догнала «Победа» председателя. Алмурад резко затормозил.

- Доброе утро, Нурия-ханум! Садитесь – подвезу.
- Да нет, в такое утро приятно пешком пройтись. Откуда ты так рано?
- Ха, откуда! Вы ничего не знаете? Председателя в больницу отвез.
- В больницу? А что с ним?
- Да живот сильно заболел, врач говорит, заворот кишок.
- Неужели?! А тетя Гаранфиль с ним?
- Нет, там в больнице Гулу остался, а меня отослали.

Мы с Алмурадом повздыхали, от души сочувствуя председателю, и я отправилась на репетицию.

К вечеру, когда спала жара, я пошла к арыку и легла в кустах, неподалеку от лагеря гюзейлинцев.

В руках у меня была книга, но я не читала. Я смотрела на Мурада. Он переходил от одной группы колхозников к другой и, оживленно жестикулируя, что-то объяснял им. Стройный, сильный, освещенный лучами заходящего солнца, он казался сейчас богатырем, а все вокруг сказкой. Но вот мой богатырь сел на мотоцикл и уехал.

Солнце зашло, стало быстро темнеть. Я лежала в кустах на влажной траве и думала, что могу пролежать здесь неделю, месяц – никто и не вспомнит обо мне. Вдруг я увидела в пыли на дороге двух всадников. Один из них с непокрытой головой в сером больничном халате был дядя Нариман, другой – Гулу. Председатель выглядел так нелепо, что я рассмеялась. У меня даже немножко отлегло от сердца.

Я встала, пошла к мосту и увидела приближающуюся машину скорой помощи. Из нее выглянула молоденькая медсестра в белом халате.

- Вы не знаете, где тут живет председатель колхоза?
- Знаю. А что случилось?
- Да сбежал он, понимаете. Его оперировать должны были, а он сбежал. Прямо в халате... С меня теперь голову снимут!
- Пойдемте, я покажу вам его дом, – сказала я, стараясь угадать, что же теперь будет.
- Пожалуйста, очень вас прошу! – и девушка подвинулась на заднем сиденье, освобождая место рядом с собой.

В саду у дяди Наримана мы увидели совершенно неожиданную картину. Хозяин дома и Гулу сидели под деревом и уписывали шашлык. Белыми крепкими зубами председатель с наслаждением отдирает от ребрышка мясо и подмигивал Гулу, а тот хохотал. Тетя Гаранфиль раздувала угли в жаровне, на которой лежали шампуры с нанизанными на них кусочками мяса.

Некоторое время медсестра стояла неподвижно, ошеломленная, потом бросилась к председателю.

- Что вы делаете, больной?! У вас же заворот кишок! Вы погибнете!
- Дядя Нариман укоризненно покачал головой.
- Ну что ты, дочка? Можно ли так на людей бросаться? Садись лучше, съешь с нами шашлычку.
- Как вы можете говорить об этом?! Поедемте сейчас же – вас ждет хирург.
- Никуда я не поеду. Садись, дочка, сюда, – и он хлопнул рукой по ковру.
- Девушка растерянно огляделась по сторонам, словно ища поддержки, потом подбежала к тете Гаранфиль.
- Тетушка, хоть вы его уговорите! И сейчас же перестаньте жарить шашлык – ему нужна строгая диета.
- Что я могу поделаться, – развела руками тетя Гаранфиль, – муж велит – я жарю. Мы ведь по-старому воспитаны.

Гулу хихикнул. Девушка уничтожающе посмотрела на него и обратилась ко мне:

– Я попрошу вас засвидетельствовать, что больной отказался от госпитализации и соблюдения диеты.

– Засвидетельствуй, доченька, ничего, засвидетельствуй, – благодушно согласился дядя Нариман. – А то как бы и правда у барышни неприятностей не было.

Медсестра не удостоила его ответом и, не простившись ни с кем, направилась к воротам.

– Барышня! – окликнул ее Гулу. – Халатик больничный возьмите! Нашего больного халатик, председателя...

За воротами послышался шум отъезжающей машины.

– Вот, понимаешь, влип в историю... – В голосе дяди Наримана послышались незнакомые, заискивающие интонации.

– А как вы себя сейчас чувствуете? – спросила я.

– Да прекрасно! Как только он мне сказал «резать», у меня всю боль как рукой сняло. «Здоров я!» – говорю. Да ну, они разве станут слушать? Медицина! Чуть-чуть старому Нариману брюхо не вспороли. Хорошо, Гулу выручил – привел лошадей. На машине бы не удрать – шуму много.

Гулу взял у тети Гаранфиль шампур с шашлыком и наложил мне полную тарелку. Дядя Нариман пододвинул помидоры.

– Да, Гаранфиль, – покрутил головой председатель, – ничего не скажешь, узнал твой Нариман цену жизни. Ну, а как у тебя дела, товарищ колхозный министр культуры? Ты там насчет костюмов говорила – это мы сделаем. Нариману ничего не жалко – было бы людям хорошо.

Я смотрела на председателя и диву давалась. Подумать только – за один день старик так переменился – веселый, общительный! Натерпелся, видно, страху, и обида, уколы самолюбия – все, что его тревожило раньше, сразу показалось мелким, незначительным...

Когда на террасе зажгли лампу и сели пить чай, появился Гуммет в сопровождении Керима. Дядя Нариман сразу помрачнел.

Гуммет, не обращая внимания на неприветливость хозяина, поздоровался со всеми, повесил на вешалку кепку и сел прямо против старика.

– Что это, дядя? Говорят, из больницы сбежал?

– А хотя бы и так? – насупившись, проговорил председатель и вдруг рассвирепел. – Захотел и сбежал. Нариман не малое дитя, в няньках не нуждается – сам может вдеть ногу в стремя. И учить себя я никому не позволю! – Дядя Нариман так ударил кулаком по столу, что подскочили стаканы.

В это время со скрипом открылись ворота.

– Ты дома, председатель? – спросил Дюньямалы, тот самый старик, что говорил на собрании об ущелье Эйваза. – Мы к тебе, – и он кивнул на идущих следом за ним колхозников. Я узнала среди них Пирверди.

Гости поднялись на террасу и неторопливо расселись вокруг стола.

– Что это ты расшумелся, джигит? – раскуривая трубку, спросил Дюньямалы у дяди Наримана. – За воротами слышно.

– Зашумишь тут. Живьем хотят похоронить Наримана!

– Кто ж это тебя живьем хоронит? – удивился Пирверди. – Слава Богу, тебе силы не занимать, идешь – земля дрожит.

– Ну, это ты так считаешь, а другие полагают, что Нариман слаб, состарился, сидеть ему ручки сложив... Но ничего! – Председатель упрямо тряхнул головой. – Нариман – это Нариман, и он будет делать то, что нужно!

Дюньямалы пожал плечами, попытлел трубкой.

– Не пойму, Нариман, о чем ты. Ей-Богу, не пойму. Может, все насчет арыка никак не успокоишься?

– Что мне арык? – угрюмо ответил председатель. – Арык ваш. Раз так решили.

– Ну, а раз арык наш, чего ж ты на собрании бесновался?

– А потому бесновался, что нечего потакать лентяям! Они, понимаешь, разгуливали себе, когда мы арык копали. Я-то ведь знал, что они придут к нам потом за водой. Знал! И нечего теперь срамить Наримана и читать ему нотации.

– Послушай, а кто читает? – спросил Пирверди.

– Это он, наверно, обо мне, – сказал Гуммет. – Я третьего дня лекцию в парткабинете читал, упоминал о вашем арыке.

– Слыхали?! – удовлетворенно воскликнул дядя Нариман. – Они приходят на все готовенькое. Они передовые, а ты отстал, про тебя уже лекции читают. Выходит, Нариман должен пойти в Гюзей и предложить им: «Не хотите ли нашей водички?» – тогда бы он был передовой.

Чувствовалось, что дядя Нариман сопротивляется уже только по привычке. Гуммет взглянул на тетю Гаранфиль и сказал:

– Я согласен с дядей. Агитации больше не требуется. Лучше чайку попьем.

Я наливала один стакан за другим.

После пятого стакана, выпитого в молчании, Дюньямалы сказал:

– А мы к тебе по делу, Нариман. Садоводы наши надумали тутовник посадить по арыку от нашего кишлака до Гюзей.

– Вместо ивы? – с сомнением спросил Гуммет.

Я встревожилась: ивы были так хороши – невозможно представить себе арык без них.

– Ну да, – ответил Керим. – Ведь земли-то орошенной не хватает. А тут можно будет такое дело поднять!

Все ждали, что скажет председатель. Он долго молчал, глядя в свой стакан, потом тихо произнес:

– По-моему, не надо. – Старый Нариман вздохнул. – Может, это опять буржуазный пережиток, но я за ивы – очень уж красивое дерево и тени много дает... А насчет тутовника можно подумать... Что, если внизу, за мельницей, заложить питомник? Посадим тысяч тридцать саженцев – весь район тутовником обеспечим.

– Здорово! – воскликнул Гуммет. – Ей Богу, здорово! – Радостная улыбка засияла на его открытом лице. – Ты не можешь себе представить, дядя, как нам нужен такой питомник. И район вам поможет в этом деле.

– Не нуждаемся мы в помощи, – буркнул Нариман.

– А не нуждаетесь, еще лучше! – весело заключил Гуммет. – Налей-ка, тетя, еще чайку, – сказал он, подавая тете Гаранфиль свой стакан.

Приближалась уборка хлопка. Очередным «рацпредложением» Джими было – давать в обеденные перерывы небольшие концерты сборщикам хлопка. Я отправилась в правление колхоза договориться о легковой машине – развезти нашу «концертную бригаду» по полевым станам.

Подойдя к кабинету дяди Наримана, я услышала громкий разговор. Председатель спорил с кем-то. Я осторожно открыла дверь.

Дядя Нариман возвышался за своим большим письменным столом, чисто выбритый, бодрый. Напротив него сидели Сабир, Гулу, Алмурад и незнакомый мне мужчина средних лет с пышными черными усами.

– Добро пожаловать, товарищ министр культуры! – приветливо обратился ко мне председатель. – Что скажете новенького? Впрочем, ты сядь, дочка, мы сейчас закончим с товарищами. – И он обратился к усатому: – Больше говорить об этом нечего – хлопок на вашем участке тоже будем убирать машинами.

– Да что ты так со мной говоришь, будто я против механизации. Пойми ты, нельзя на нашем участке – не возьмет машина, одни бугры да кочки.

– Слушай, Фарзали, я твой участок знаю, – спокойно возразил председатель, – нисколько он не хуже других, машина там пройдет. И незачем воду в ступе толочь.

– Хорошо! – иронически воскликнул Фарзали. – На собраниях шумим о коллегиальности, советоваться, мол, надо, а как до дела доходит, тебя и слушать никто не хочет. Приказали – и помалкивай в тряпочку!

Он вышел из кабинета, сердито хлопнув дверью.

– Дядя Нариман, может, его участок действительно непригоден для машинной уборки? – спросила я.

– А! – с досадой махнул рукой председатель. – Не участок, а он сам непригоден. Собственник он, единоличник! Его мало интересуется, выгодно ли дело для колхоза, – лишь бы его бригаде побольше трудодней шло. Совсем отсталый человек. Ни одной книги, наверное, не прочел по агротехнике... Слушай, дочка, приходил он к тебе в Дом культуры?

– Нет, – растерялась я, – раньше я его не видела. Вот Сабир часто ходит в библиотеку.

– Так я и знал! А ты почему никогда дружка в библиотеку не приведешь? – набросился дядя Нариман на Сабера.

– Он сам не маленький. Как я его поведу?

– А вот так, как в ресторан водишь на станцию водочки выпить.

– Что ты, дядя Нариман? Я ее, проклятую, уж сколько месяцев не пью!

– Ну да, да... я забыл. После лекции об алкоголизме вы все перешли на коньяк «пять звездочек», из Баку выписываете. И Мовламверди, небось, подносишь?

– А как же отца родного не угостить? Он говорит, ему для аппетита полезно.

– Для аппетита! Слышали? Сказали бы этому пастуху лет тридцать назад, что он для аппетита коньяк пить будет. Да... Не иначе, конец света близок.

Отпустив наконец Сабера, дядя Нариман ласково обратился ко мне:

– Ну, что у тебя?

Я рассказала, что мы хотим организовать концерты для хлопкоробов. Председатель пообещал, что ежедневно с часу до трех его машина будет в нашем распоряжении.

... Я немножко сомневалась, уместны ли будут наши концерты. Правда, в начале уборки у всех праздничное настроение и повсюду разъезжают корреспонденты с блокнотами и фотоаппаратами, но сбор хлопка – это не праздник, а тяжелый, изнурительный труд. Не зря дядя Нариман стремился как можно больше убрать машинами. Станут ли слушать концерт усталые люди?

Но когда, пообедав, колхозники расселись в тени карагачей и мы начали концерт, я с облегчением увидела, что сомнения мои напрасны.

Музыку здесь могли слушать в любое время, а веселый смех, с которым принимали колхозники комические рассказы, убеждал меня, что природное чувство юмора, столь свойственное карабахцам, невозможно заглушить усталостью.

Люди отдыхали на концерте, и это окрыляло всех нас, а у Джими возникали новые, совершенно фантастические предложения.

Мы дали еще несколько концертов гюзейлинцам, работавшим на строительстве арыка. Дядя Нариман не возражал больше, он делал вид, что все это «не имеет к нему никакого отношения».

Уборку закончили, поля опустели, только темно-зеленые квадраты хлопчатника с пустыми уже коробочками виднелись кое-где внизу за кишлаком. Сегодня был свободный вечер, и я неторопливо бродила в верховьях арыка среди кустов ежевики, с наслаждением вдыхая запах свежей соломы. Стайки ворон клевали зерна на сжатых полях. Было тихо и немножко грустно. Я срывала черные блестящие ягоды и вспоминала, как мы ходили с подругами за малиной, когда я была девочкой и еще жива была мама...

Я пробиралась между кустами ежевики и думала, как мне быть. Эта мысль мучила меня всегда, когда я оставалась одна. И снова, в который раз, я решала: надо терпеть!

У меня уже выработалась привычка: если мне очень плохо, я утешаю себя мыслью, что любое страдание обязательно кончится, и оно действительно кончается. И потом в моем страдании есть своя радость – радость победы над собой. Конечно, это очень мало похоже на ту беспредельную светлую радость, которой наполнилась бы моя жизнь, если бы я была с Мурадом. А мне не всегда можно даже думать о нем, закрыть глаза и представить, как он ходит, как говорит. Я ведь все время на людях. Он не знает: для меня хорошо только то, что хорошо ему, и все, что ему плохо, невыносимо для меня. Он ничего не должен знать и не узнает. Я сумею сделать так, как надо, я настойчивая, я смелая, я сильная девушка.

И вдруг «сильная девушка» услышала позади себя быстрые шаги. Это он! Мы не назначали свидания, я не ожидала встретить его здесь, но я знала – это он. Несколько мгновений я стояла молча, закрыв глаза, стараясь собраться с силами. Потом быстро обернулась.

– Ой! – сказала я. – Вы, Мурад? Я даже испугалась, здесь так тихо... – И сразу без паузы: – Как здоровье Саадат? Как сынишка?

Он ответил каким-то странным, чужим голосом:

– Спасибо. Они чувствуют себя хорошо.

Больше Мурад не сказал ни слова. Кругом было разлито мягкое, ласковое молчание. И мы шли рядом.

Я должна была заговорить первой, легко и беззаботно. И я сказала:

– Вы любите ежевику?

Ничего не получилось – я сыграла отвратительно: голос дрожал. Мурад не ответил.

– Давайте выберемся из этих кустов, – сказал он.

Вдали посреди поля стояло одинокое большое дерево. Смеркалось, и силуэт дерева все отчетливее вырисовывался на еще светлом небе.

– Как это получилось, что оно растет здесь совсем одно? – вслух подумала я.

– Кто его знает... – задумчиво ответил Мурад. – Странно, конечно...

– А пожалуй, нет ничего странного, – бодро заговорила я. – Просто какая-нибудь птица занесла сюда семечко...

Он вдруг остановился и перебил меня, болезненно поморщившись:

– Перестаньте, Нурия. Не надо... Скажите лучше – до каких пор мы будем обманывать, мучить друг друга!

– О чем вы? – срывающимся, фальшивым голосом спросила я.

Он молча смотрел на меня. В глазах его был упрек.

– Я измучился, Нурия! Я должен расстаться с Саадат... Она молода, красива, образованна. Она еще будет счастлива.

– Но ведь вы любили ее, когда женились?

– Не знаю. До нее я встретил вас.

– Для меня вы всегда были братом. И тогда, и сейчас...

Он взял меня за руку, и я замолчала.

– Неужели я мог так ошибиться, Нурия?

Я изо всех сил сжала его руку. Как мне хотелось ничего не говорить, а прижаться щекой к его выгоревшей гимнастерке!

– Вы ошиблись, Мурад, – каким-то тусклым голосом сказала я и добавила: – Идемте, уже поздно.

– До свидания, – проронил он и отвернулся. Он шел медленно, тяжело переставляя ноги.

Я подошла к арыку и наклонилась к воде. Мне хотелось облить голову холодной водой, встряхнуться, прийти в себя. Но вода в арыке была теплой. Она нежно и тихо журчала, проливаясь у меня между пальцами, а сверху, надо мной, трепетали ивы.

Я поднялась, отряхнула с коленей землю и пошла домой.

Дела наши шли совсем неплохо. Самым большим успехом была организация мужского танцевального ансамбля. В правлении разрешили шить костюмы для всех восьми танцоров.

Меня, конечно, очень радовало, что наш ансамбль наполовину состоял из гюзейлинцев. Интересно, что дядя Нариман словно не замечал этого, даже тогда, когда выписывал деньги на костюмы.

На концерте, в котором впервые выступал наш ансамбль, председатель, как всегда, сидел в первом ряду.

Восемь молодых парней, статных, сильных, в сдвинутых на ухо папахах, в атласных архалуках, с маленькими кинжалами на поясе, лихо отплясывали перед самым его носом. Танцевали они бурно, меня и то захватил ритм пляски, в котором, казалось, слышался топот лихих скакунов по крутым горным тропкам, возрождался мир наших дедов, полный тревоги, опасности, отчаянной удали.

Дядя Нариман, видимо, не ожидал ничего подобного. Когда после повторного исполнения «Яллы» аплодисменты наконец замолкли, он поднялся и сказал:

– Тут ошибка получилась в костюме – чухи должны быть белые. Помню, мой дед белую носил... Я дарю всем этим парням по белой чухе. За свой счет.

Подумать только – по белой чухе... Всем! И нашим, и гюзейлинцам!

Письмо было без обращения.

«Я понимаю вас – вы честный, великодушный человек, вы не могли поступить иначе. Но и вы должны понять меня, должны знать, как мучительна, беспросветна моя жизнь. Я потерял вас тогда, пять лет назад, думал, что потерял навсегда. Через два года я встретил женщину, которая стала моей женой. Она мне казалась умной, доброй, я не мог представить себе, что молодая красивая женщина целиком может быть поглощена злым, низменным чувством – ревностью. Сейчас в нашем доме нет места ничему другому – оскорбительные подозрения, скандалы, из этого состоит наша семейная жизнь. Я с ужасом вижу, что жена становится все более и более чужой мне. Скажите, сколько это может продолжаться и кому нужна эта бессмысленная, безобразная жизнь? Я считаю, что должен расстаться с женой – зачем мучиться бесконечно. Я хочу знать, что вы думаете по этому поводу, я жду вашего слова».

Подписи тоже не было. Я перечитала письмо (его принес мне незнакомый мальчик) – как у меня сейчас было светло на душе! Никогда не поверила бы, что можно быть счастливой от сознания, что твой любимый несчастлив! Оказывается, можно – если он несчастлив с другой женщиной.

Радостные, лихорадочные мысли мелькали у меня в голове:

«Конечно, они должны расстаться, – ведь они же оба несчастливы... Саадат красива, она погрузит немного и выйдет замуж за другого, а мы с Мурадом... Господи! Неужели это возможно: «Мы с Мурадом!..» Как нам будет хорошо! Я отдам ему всю радость, которая бродит сейчас где-то в глубине моего существа, не находя выхода. Мы будем жить в Гюзее, в новом Гюзее, в который придет вода! Мы будем вместе, вместе с Мурадом!»

В таком радостно-мечтательном настроении я пребывала весь день. Я плохо слышала, что мне говорят, улыбалась, и все люди казались мне милыми, а препятствия преодолимыми.

Вечером, оставшись одна, я вспомнила, что должна написать ответ. Блаженное бездумное состояние уже прошло, и я понимала, как все обстоит на самом деле.

В своем письме я благодарила Мурада за откровенность – он дает мне возможность говорить с ним как с близким человеком. Советовала терпением и нежностью убеждать жену в неразумности ее подозрений, писала, что ревность Саадат объясняется ее страстной любовью, что молодая женщина погибнет, если Мурад оставит ее. Я написала также, что, даже любя человека, я никогда не стала бы его женой, если для этого надо разрушить семью.

Меня трясло, когда я запечатывала конверт, я с ужасом чувствовала, что у меня не хватит сил отправить это письмо...

Я сидела за столом, положив голову на руки, когда вошла Назханум. Быстро поднявшись, я спрятала письмо под книги. Вероятно, у меня был неважный вид: Назханум глубоко вздохнула. Но грустное настроение у Назханум, как всегда, держалось недолго. Через несколько минут она уже весело напевала, приплясывая. И мне снова показалось, что, танцуя, Назханум как бы пытается растоптать своими каблучками страдания, тоску, одиночество, выпавшие на ее долю.

Как раз в это время пришел Гулу. С воодушевлением он стал убеждать Назханум выступить в «Пятидесятилетнем юноше»*.

Он уверял ее, что все великие артисты были прежде простыми, неизвестными людьми, и даже рассказал об одной актрисе, которая в молодости работала дворником.

– Ты губишь свой талант, неразумная женщина! – воскликнул он в заключение. – Талант – дар божий! Прятать его от людей – преступление!

Объединенными усилиями мы сломали в этот вечер сопротивление Назханум – она согласилась выступить. Это была самая большая наша победа, если не считать той, которую мы одержали тогда над будущей свекровью Сарии.

Мурада я видела редко – он дни и ночи пропадал на строительстве арыка. Там сейчас было трудно, и я не решалась отдать ему письмо. Оно не придало бы ему сил. Я отводила взгляд, когда он вопросительно смотрел на меня печальными, красными от бессонницы глазами.

Наконец случилось так, что мы встретились на шоссе. Он остановил мотоцикл, и мы долго глядели друг на друга, не произнося ни слова. Потом он улыбнулся.

– Видимо, вы, Нурия-ханум, считаете меня недостойным вашего ответа?

Я молча достала конверт и протянула ему. И, забыв обо всем, что написала в письме, прошептала, схватив его за руку:

– Прости меня, Мурад! Я не могу по-другому. Я не могу иначе!

Повернулась и бросилась прочь – боялась, что не выдержу, вернусь и вырву у него из рук это письмо.

У Дома культуры я отдышалась, поправила волосы и, пройдя на балкон, поздоровалась с собравшимися колхозниками. Они слушали Алмурада, читавшего газету. Им не было никакого дела до меня – у них свои заботы, огорчения, радости.

«Почему так? – в отчаянии думала я. – Почему один человек может смеяться и говорить о танцах, когда другому впору вешаться?! Ведь никто и знать не хочет о моем несчастье. Почему же я должна отказываться от радости, от счастья ради Саадат, которую я не люблю, ради чужого мне ребенка!»

– Добрый вечер, Нурия-ханум! – весело поздоровался со мной Гулу. – Тучи сгущаются – жена грозит разгромить весь наш театр, если я выступлю с Назханум.

– И что ей далась эта Назханум? – разозлилась я.

– Вот и я говорю: «Чем она тебе мешает?» Вы только не расстраивайтесь, Нурия-ханум, все обойдется. Она у меня отходчивая. У нас во сколько репетиция?

– В шесть.

– Ну, значит, я успею забежать на электростанцию. Турбина у них из строя вышла.

И он исчез.

«При чем тут турбина? – с тоской подумала я. – Всюду он суется, этот Гулу!.. А почему я сегодня такая злая? – вдруг мелькнуло у меня в голове. – В старую деву превращаюсь!» Мне стало так противно, так горько, что я ушла к себе.

Репетиции музыкальной комедии «Пятидесятилетний юноша» шли успешно – Гулу и Назханум оказались прекрасными партнерами. Правда, Назханум иногда вдруг начинала сердиться на Гулу и отказывалась репетировать, но счетовод проявлял исключительную выдержку, терпеливо пережидая, пока его партнера смягчит. После этого репетиция продолжалась.

Наконец наступил день премьеры. Зрительный зал был переполнен – пришло много гостей.

Мурад тоже сидел в зале, и от этого на душе у меня было празднично и чуть-чуть тревожно.

Очутившись на сцене, Назханум в первую минуту растерялась и забыла слова. Я громко прошептала из-за кулис ее реплику. Назханум повторила и преобразилась. Она свободно и легко вошла в роль и вела ее с искренней веселостью и непосредственностью.

Агабегим, до появления Назханум мрачно восседавшая в первом ряду, замерла и с полукрытым ртом уставилась на сцену. Дядя Нариман тоже с изумлением смотрел на молодую женщину. У тети Гаранфиль было такое выражение лица, словно она вот-вот пустится в пляс.

Когда Назханум по ходу действия запела, обращаясь к возлюбленному (а его, как и исполнителя, звали Гулу):

Подойди ко мне, Гулу,
Дай в глаза тебе взгляну,
Позабудешь все на свете,
Если крепко обниму, –

Агабегим вскочила и, потрясая кулаком, закричала:

– Чтоб тебя разорвало, нахалка!

В зале захохотали. Дядя Нариман обернулся к Агабегим:

– Это же театр! Не умеешь вести себя – сиди дома!

Агабегим мрачно взглянула на него и, бормоча проклятия, опустилась на свое место. Спектакль продолжался.

В антракте мы окружили Назханум и поздравили с успехом.

– Это еще что, – дерзко заявила наша «звезда». – Я так играть научусь, что у Агабегим глаза вылезут от злости!

– Ну при чем тут злость? – урезонивал ее Гулу. – Это не злость, а ревность – буржуазный пережиток, наследие проклятого прошлого...

В дверь постучали, и вошел незнакомый мне парень.

– Вас Саадат спрашивает.

Я похолодела. Ведь Саадат не было в зрительном зале, она пришла только сейчас. Что ей от меня надо? Я вышла в коридор.

Она стояла у стены и молча смотрела на меня.

– Добрый вечер, Саадат. – Я протянула ей руку.

Саадат не отвечала, ноздри у нее раздувались.

– Сука! – вдруг выкрикнула она и, рванувшись вперед, изо всей силы ударила меня по щеке.

– Сука бездомная! Хочешь отнять отца у ребенка?! Для того и притащилась сюда, мерзавка?!

Сбежался народ. Саадат схватили за руки, она вырывалась, извиваясь сильным, гибким телом. Гулу бросился к ней:

– Опомнись! Что ты делаешь?!

– К черту тебя, проклятый! Это ты все подстроил, ты их свел, – метнув на него дикий взгляд, крикнула Саадат.

– Совсем очумела баба! – забормотал Гулу, попятившись.

Подошел встревоженный дядя Нариман с женой.

– Перестань, Саадат! – строго сказал он. – Не к лицу тебе такие поступки!

Тетя Гаранфиль взяла Саадат за руку.

– Зачем ты позоришь себя и мужа? Что сделала тебе эта бедная девушка?

Я стояла у противоположной стены. Крики Саадат, ее тяжелое дыхание, голоса людей доносились до меня, как из глубокого ущелья.

– Бедная! – вопила Саадат. – Много вы знаете! Она всю жизнь мне разбила! Вы спросите, что она делала в ежевике с чужим мужем?

– Слушай, есть у тебя совесть? – Назханум подошла к Саадат и тряхнула ее за плечи. – Какая еще ежевика! Нурия весь день у нас на глазах!

Но Саадат ничего не видела, никого не слушала. Я спокойно смотрела на эту женщину, словно и не меня она только что ударила по щеке, не ко мне относились ее оскорбления.

Она мучилась, я это видела. Ее красивое лицо побледнело, волосы растрепались, синие глаза беспокойно метались.

Быстрыми шагами к жене подошел Мурад.

– Идем. – Он крепко взял ее за руку. Она рванулась было от мужа, потом как-то вся поникла и, закрыв лицо руками, разрыдалась.

– Воды ей, что ли, дайте, – сказал дядя Нариман. – Уведи жену, – коротко бросил он Мураду.

Саадат провели в комнату.

– Принеси валерьянку, там в аптечке, – сказала я Сарии. Девушка убежала за каплями.

Саадат рыдала, положив голову на руки.

Гулу накапал в стакан валерьянки и подал ей. Женщина покорно выпила.

– Вы можете вести концерт, Нурия-ханум? – спросил Мурад. – Люди в зале ждут.

Я отрицательно покачала головой – этого я все-таки не могла. Я позвала Гулу и попросила сказать зрителям, что концерт будет продолжен завтра.

Меня жалели, мне сочувствовали.

Дядя Нариман здоровался особенно приветливо и подробно расспрашивал о работе, Джими говорил со мной, как с тяжелобольной, а Гулу убеждал, что мы, художники, должны быть выше разных мелочей и смотреть на жизнь философски. Все старались утешить, поддержать меня. Но, сказать по совести, это мало трогало меня, так же, впрочем, как мало тронули оскорбления Саадат. Я сама удивлялась: может быть, я потеряла чувство собственного достоинства?

Я думала о Мураде, о себе, о Саадат. «Я могу отнять его сейчас у Саадат, – размышляла я. – Совесть моя чиста, и все-таки случилось так, что я могу взять его – свое счастье. Надо только перешагнуть через чужое горе, заглушить в себе сострадание, и я смогу обнять Мурада!.. Я сейчас страшна тебе, Саадат! Мне достаточно сделать одно движение... А ведь ты оскорбила меня и оскорбила незаслуженно!..»

Кто это стучит? Саадат? Входи! Но не советую тебе больше драться, учти – в институте я была одной из лучших спортсменок!»

– Проходите, – я спокойно указала ей на стул. – Садитесь, пожалуйста.

– Я не сидеть к вам пришла!

– А зачем же вы пришли в таком случае?

– Я пришла сказать – если хотите жить, убирайтесь отсюда! Даю вам день... один день!

– Маловато, Саадат.

– Вы напрасно улыбаетесь. Не верите, что я могу вас убить?

– Почему же, верю.

– Тогда уезжайте и не вздумайте ему писать. Знайте, что вы можете погубить и его. Я на все готова... Я не дам вам жить здесь!

– Все это чушь, Саадат. Угрозами вы от меня ничего не добьетесь. Для меня так же, как и для вас...

– Не равняйте меня с собой!

– Что же тут равнять – мы равны в одном, Саадат, я люблю его так же, как вы... если не больше.

Саадат подалась назад. Голубые глаза ее сверкнули.

Мы обе молчали. Потом я подошла к ней совсем близко и тихо сказала:

– Саадат, вы должны знать все до конца. Для этого мне нужно рассказать вам кое-что. Я это сделаю, если вы поклянетесь, что никто, и в особенности ваш муж, ничего не узнает о нашем разговоре.

– Рассказывайте! – голос ее звучал хрипло.

– Но вы должны поклясться.

– Клянусь жизнью сына... Достаточно с вас?

Она взяла себе стул, придвинула мне другой.

– Рассказывайте, я жду, – в голосе ее уже звучала надежда.

Я рассказала о себе, о нашей встрече, о своей любви, не сказала только, как ко мне относится Мурад, – это уже была не моя тайна.

– Когда здесь в кишлаке я случайно встретилась с Мурадом и узнала, что он женат, я все для себя решила. Ваш муж никогда не узнает о том, что я люблю его. Вот все, что я могу вам обещать. А за прошлое вы не вправе меня винить – оба мы были тогда свободны. Вас еще не было в его жизни.

Я чувствовала, что она верит мне, – да, наверное, и нельзя было не поверить; рассказывая, я заново пережила все и с новой силой ощутила, в какую темную пустоту превратится моя жизнь теперь, после этого разговора с женой Мурада.

– Саадат, я дам вам один совет.

– Да? – в голосе женщины была бесконечная усталость.

– Задушите в себе ревность. Иначе вы погубите все.

– Не могу.

– Но почему? Вы так красивы, Мурад женился на вас по любви. У вас сын, Саадат...

Голос мой дрогнул, я на минуту умолкла.

– Простите, Саадат, но раз уж мы заговорили об этом... Мурад был неверен вам?

– Нет! – Она гордо вскинула голову.

– Нет? – жестко переспросила я. Я ненавидела сейчас эту женщину. – Так как же вы смеете мучить его своей ревностью? Что вам еще нужно от жизни? Вы же счастливая, понимаете вы это?

Слезы душили меня. Саадат смотрела на меня удивленно и, казалось, не верила своим глазам.

– У вас есть все! Все! И хватает жестокости преследовать меня...

Я не могла говорить. Мне уже было все равно, есть здесь кто-нибудь или нет.

– Нурия-ханум! – позвала меня Саадат. – Простите меня, если можно.

– Ради Бога, не нужно!.. – Я отошла к окну и вытерла платком слезы.

– Нурия-ханум, вы сильная! Я – женщина и знаю, чего вам это стоит. По своей воле отказаться от любимого... Я верю вам сейчас, но понять вас не могу. Я так не умею, во всяком случае... Я безвольная, я сумасшедшая, может быть... Я ревную его даже к воздуху, которым он дышит. Ревную к работе и успеху, хочу, чтобы всю радость мира он видел только во мне... Сколько раз я клялась Мураду, что не буду его мучить... Я знаю, что в конце концов он бросит меня – жить так действительно невозможно.

– Знаете, Саадат, – сказала я, помолчав, – раньше вам бы посоветовали молиться, чтобы Бог изгнал дьявола из вашей души, но ведь мы с вами не верим ни в Бога, ни в дьявола. Я верю в человека и в то, что жить для людей – большое счастье. А вот вы... вы заняты только своей ревностью, своими подозрениями...

Она не отвечала.

– Ну, хватит. Теперь вы знаете все и поступайте, как считаете нужным. А я, может быть, и уеду, может быть, останусь, еще не решила. Хотите чаю?

– Нет. Если можно, дайте воды.

Она выпила воду и поставила стакан на стол. Наступило напряженное молчание. Саадат поправила прядь волос, упавшую ей на лоб, потом взглянула на меня.

– Нурия-ханум, у меня к вам просьба.

– Да? – насторожилась я.

– Приходите завтра... ко мне. Вы должны быть моей гостьей!

– Нет! Не... знаю. Мне некогда...

– Найдите время, я прошу! Я буду одна... Обещаете?

– Нет, не могу...

– Это очень нужно! Я буду ждать.

На следующий день, сразу после утренней репетиции, никому ничего не сказав, я пешком отправилась в Гюзей. Издали я увидела Мурада, он стоял около экскаватора и что-то говорил машинисту. Я свернула с шоссе на тропку – не хотелось, чтобы меня заметили.

Я шла в дом Мурада. В тот дом, где Мурад вырос, где родился его сын. Мне казалось, что я давно, очень давно шагаю по этой тропке и что конца ей никогда не будет. Хотелось лечь, закрыть глаза и ни о чем не думать. А мне еще несколько часов предстояло улыбаться, разговаривать...

Первым меня увидел Алимардан. Он выбежал навстречу, румяный, веселый, шумный.

– Мама твоя дома, малыш? – спросила я, беря мальчика на руки. Но Саадат уже стояла в дверях.

– Вы пришли!.. Я уж не надеялась. Проходите в комнату. И пустите его, это такой толстяк – он вам все руки оттянет.

– Да, он у вас ботатырь, дай ему Бог здоровья!.. Как приятно смотреть на вас, когда вы веселая, – с улыбкой заметила я Саадат.

Она покраснела.

– Слезай, Али, ты замучил тетю.

Мальчик еще крепче обхватил мою шею.

– Ах ты, непослушный мальчишка! Ну тогда тащите его сюда, а то на веранде жарко.

Комната, куда мы вошли, была квадратная и очень светлая: два окна ее выходили на улицу, два – во двор. Серовато-голубые обои, круглый стол под тонкой бархатной скатертью, тахта в углу. Несколько портретов в резных рамках и ковер над тахтой – просто, скромно. «У жены Мурада есть вкус...» – недоброжелательно подумала я.

И вдруг – я даже ахнула – в небольшой вазе на радиоприемнике яркие свежие гвоздики!

– Откуда в Гюзее цветы?

– А у меня небольшой садик. Хотите взглянуть?

Мы подошли к окну, выходящему во двор. Я невольно улыбнулась – маленький, наверное, не больше десяти квадратных метров садик-огород был перед нами. Пять-шесть молодых саженцев, кустик роз, головки гвоздики... Между ними пролегли аккуратные грядки мяты, укропа.

Садик только что полили, влажно темнела земля у корней.

– Знаете, Мурад так любит зелень, особенно с довгой*. Он, если...

– А где же вы берете воду для полива? – не очень вежливо перебила я хозяйку, чтобы не слышать от нее о Мураде.

– Ношу из колодца.

Саадат замолчала, она поняла мое состояние.

– Что для вас приготовить, Нурия-ханум?

Вопрос Саадат прозвучал неуверенно, мне показалось, она ожидает какой-нибудь резкости от меня.

– Чем мне вас угостить? – повторила Саадат.

– Спасибо, я ничего не хочу.

– Нет, скажите все-таки, что вы любите.

Я молчала. Не могла же я сказать ей, что больше всего люблю довгу, хотя это было именно так. Да если говорить по правде, я едва ли была сейчас в состоянии что-нибудь проглотить.

– Мне все равно, Саадат-ханум. У меня великолепный аппетит, я все люблю. Что-нибудь сейчас приготовим.

Саадат явно понравилось, что я сказала «приготовим». Она оживилась.

– Тогда давайте так: сначала сварим довгу и пусть стынет. А потом займемся пловом.

– Хорошо.

– Ну, тогда за дело!

Саадат избегала пауз и без умолку говорила о новых фильмах, о книгах, о модах. Мне удавалось поддерживать этот разговор.

Маленький Алимардан несколько раз подбежал к нам и внимательно разглядывал меня своими черными, блестящими глазенками.

«Да... интересно получается... Болтаем, готовим плов... Почему Саадат спокойна? Неужели она думает, что меня можно уже не принимать во внимание и между нами все ясно и просто? Если так, она глубоко ошибается». Я отвернулась от Саадат и стиснула зубы – нужно было справиться со вспыхнувшим во мне озлоблением.

Вдруг хозяйка взглянула на часы:

– Нурия-ханум, сейчас приедет Мурад.

Я посмотрела ей прямо в глаза. Она опустила голову.

– Вы же обещали мне, что Мурада не будет дома.

– Вы правы... Я и сама не рада, что затеяла все это. Как же теперь...

Она еще что-то сказала, но смысл ее слов не дошел до меня: послышался треск мотоцикла.

– Папа приехал, папа! – весело закричал Алимардан, бросаясь к двери.

Саадат растерянно смотрела то на меня, то на дверь.

– Как вы угадали, минута в минуту, – спокойно сказала я, вытирая руки полотенцем. – Сядем здесь.

В дверях показался Мурад с сыном на руках. Увидев нас рядом на диване, он остановился, словно наткнулся на что-то. Саадат громко захохотала. Слишком громко.

Мурад ничего не понимал. Саадат встала, подошла к нему.

– Знаешь, Мурад... Я решила... в присутствии Нурии-ханум я прошу у тебя прощения.

Она уже простила меня, прости и ты.

Мурад быстро взглянул на меня, поставил сынишку на пол.

– Добро пожаловать, Нурия-ханум!

Саадат замерла, не отрывая глаз от руки Мурада, пожимавшей мою руку.

Мураду было нелегко – он не смотрел на меня.

– Ну, как дела? – непринужденно спросила я. (Господи, когда же это кончится!) – Говорят, дней через двадцать вода придет в ваш кишлак.

– Поживем – увидим, – ответил Мурад.

Он отошел от меня и сел у окна. Саадат облегченно вздохнула – трудно ей было видеть нас вместе. Но надо отдать ей должное, она быстро овладела собой и через минуту оживленно говорила:

– О, Нурия-ханум, если бы вы знали! Ребятишки не отходят от арыка, каждый вечер докладывают, на сколько он удлинился. Старухи и те собираются целыми толпами и ходят смотреть, как идут работы. Очень ждут у нас воду... – повторила она и внимательно посмотрела на Мурада. Он курил, отвернувшись к окну. Саадат закусил губу, потом быстро взглянула на меня и подошла к мужу. – Так что история не забудет вас, товарищ председатель! Ой, какой ты грязный! Ну знаете ли, товарищ Мурад, хоть вы и историческая личность, а переодеться необходимо. Извините, Нурия-ханум, мы сейчас.

Саадат взяла мужа под руку и увела из комнаты. Мне показалось, что глаза ее сверкнули торжеством. Еще бы, она может у меня на глазах взять его под руку и увести – жена! Но я не стала бы так делать на ее месте.

Мурад любил ее, а может быть, и теперь любит. Да разве можно ее не любить: такая красивая и сына ему родила... Да, Мурад, все пройдет, ты будешь счастлив. А я... наверно, тоже смогу жить, я постараюсь. Если хочешь знать, я даже горжусь немного, что смогла так поступить... Только не думай, что я хотела показать тебе свое благородство, решительность. Просто я ничего больше не могла придумать, всякое другое решение принесло бы еще больше горя, а так хоть Саадат счастлива и твой сын... А мне позавчера исполнилось двадцать три года, и никто не знал об этом, даже ты, Мурад... Ты молчишь сейчас... Ежишься под холодной струей воды, которую льет тебе на шею жена, и не отвечаешь на ее шутки. Не надо, Мурад! Все пройдет, как весенняя туча. Мне кажется, Саадат поняла главное. У вас будет счастье... И вода придет в кишлак...

Только мы сели за стол, приехал Гуммет. Ничто не дрогнуло в его лице, когда он увидел меня рядом с Саадат (а ведь он знал о нашей ссоре). Бросил на подоконник кепку и сел за стол против меня.

– Ого! Плов! Подумать только, а меня чуть не угораздило пообедать! Никогда бы не простил себе!

– Ты голодный, дядя Гуммет? – весело спросил Алимардан.

– Ужасно! Беги, позови дядю Керима, он тоже голодный как волк.

Алимардан выбежал на улицу.

– Откуда ты сейчас? – спросил Мурад.

– Из совхоза. А до этого на кирпичный заезжал.

– Ну и как?

– Пятьдесят тысяч штук удалось выцарапать. Очень уж, понимаешь, они зазнались – рукой не достанешь.

Вошел Керим. Гуммет усадил его рядом с собой и кивнул на плов.

– Видал? Везет нам с тобой, не иначе как наши тещи нас любят.

В присутствии Гуммета мне стало гораздо легче. Даже Мурад немного оживился. Но каждый раз, когда Гуммет обращался ко мне, у Мурада лицо словно каменело, и он отворачивался. Конечно, ему сегодня было нелегко, может быть, он сердился, что окончательное решение я приняла одна, а ему оставалось только подчиниться.

Когда мы пили чай на веранде, Мурад совсем загрустил. Он курил одну папиросу за другой и мрачно посматривал на домики кишлака.

– Ты что кислый? – не выдержал наконец Гуммет. – Такой чай не пьешь.

– Да что там чай! – бросил Мурад, сердито засовывая в пепельницу окурки. – Кусок в рот не идет, как только взглянешь на эти домишки... И когда только придет вода!

Гуммет придвинул к себе стакан с чаем и задумчиво сказал:

– Придет вода, и жизнь в Гюзее изменится, но останутся и заботы, и трудности, и даже горе. Если бы эта вода могла смыть все тяжелое из жизни человека...

Он помолчал.

– А забот у нас даже прибавится. Люди станут богаче, смогут больше думать об отдыхе. Мы долго жили впроголодь, и не все еще понимают, что богатая, обеспеченная жизнь нужна нам не для того, чтобы набивать брюхо, а для того, чтобы можно было не думать об этом самом брюхе и по-настоящему почувствовать, что ты – человек... Ну, я, кажется, малость увлекся, – смущенно улыбнулся Гуммет. – Во всяком случае, многое еще надо сделать. И между прочим, для вас найдется работенка, уважаемый товарищ преподаватель английского языка.

– Не думайте, дорогой председатель, – вмешалась я, – что эти проблемы никого, кроме вас, не занимают. Если хотите знать, мы как раз об этом и беседовали с преподавателем английского языка перед вашим приходом.

– О! Ну, тогда вопрос культурного преобразования кишлака можно считать решенным.

Он весело взглянул на меня, и я снова заметила, как в глубине его глаз на минуту вспыхнул яркий огонек. Я не первый раз ловила на себе этот взгляд. Мне стало неспокойно и даже немного страшно.

После чая мы все пошли к арыку. В Гюзее, да и не только в Гюзее, а на двадцать километров в округе, все знали о нашей ссоре с Саадат, и сейчас встречные провожали нас недоуменными взглядами. Агабегим, увидев нас с веранды, чуть не выронила кастрюлю, которую чистила. Но тут же опомнилась, весело крикнула:

– Почему не заходите в гости? Гулу сейчас придет... и ужин готов.

– В другой раз обязательно, – крикнула я в ответ. – Сейчас Саадат так нас накормила, что твой ужин не пошел бы впрок. А сама почему ко мне не приезжаешь, забыла нас?

Агабегим с любопытством поглядывала то на меня, то на Саадат и не переставала тараторить.

– Как это «забыла» и скажет же такое! Да я по тебе, как по родной дочери, скучаю! Не давай только этой Назханум на сцене выступать.

Гуммет засмеялся:

– Ну, тут ничего не поделаешь. Назханум уже стала настоящей актрисой.

– Ха! Актрисой. От этой нахалки всего можно ждать.

Я расхохоталась.

– Крутовато, однако, ты высказываешься, – смущенно покачал головой Гуммет.

Мы остановились за кишлаком на большом земляном бугре. Мурад оживился:

– Арык обогнет этот холм и пойдет прямо к кишлаку. А ГЭС будем строить внизу, вон у того домика.

Мурад говорил так горячо, так радостно, что мне казалось, я уже слышу, как журчит вода в маленьких отводных арычках, вижу, как цветут и наливаются соком фруктовые деревья в садах Гюзее.

Гуммет что-то шепнул Мураду, тот засмеялся и взглянул на Саадат. И я снова почувствовала себя чужой, одинокой в этой прозрачной вечерней тишине. Я тряхнула головой и весело окликнула Алимардана. Мальчуган хлопнул меня по колену и побежал, я – за ним.

Задышавшись от бега, я схватила ребенка на руки и стала целовать его. К нам подошла Саадат.

– Я все понимаю, Нурия-ханум, – сказала она, взяв меня за руку. – Знаю, как вам трудно, но иначе было нельзя. Теперь все стало ясно. Может быть, это жестоко...

Я молчала.

– Я бесконечно благодарна вам, – продолжала Саадат. – Никто другой не поступил бы так, как вы. Моя благодарность...

– При чем тут благодарность?! – с досадой перебила я ее. – Неужели вы не понимаете, что я поступила так не для того, чтобы сделать вам приятное, а потому что не могла иначе! Вы мне ничем не обязаны!

Сейчас я ненавидела эту женщину. Она не должна, не смеет благодарить меня! И пусть она улыбается, пусть будет счастлива, только я не хочу ее больше видеть!

Мужчины подошли к нам.

– Ну как, по домам? – спросил Гуммет.

На мосту через арык я попросила Керима остановиться – мне хотелось пройтись пешком. Гуммет тоже вышел из машины и молча зашагал рядом. Мы медленно шли к Дому культуры. Грустно играло радио. Только сейчас я по-настоящему поняла, что сделала, чего навсегда лишилась. Нарядные светлые дома Гюнея, утопающие в зелени улицы – все вдруг показалось мне таким чужим, далеким... Зачем я здесь?

Гуммет был задумчив. Время от времени мы перебрасывались ничего не значащими фразами. Я никак не могла начать разговор, а потом просто разозлилась: «Почему я всегда должна развлекать, занимать всех? Буду молчать, и все! Чаем могу его напоить, если хочет».

Мы остановились у дверей Дома культуры.

– Пойдемте чай пить, – предложила я, берясь за ручку двери. – У меня конфеты есть.

– Нет, не стоит, – Гуммет улыбнулся. – Если не очень устали, посидим здесь на балконе. Мне надо поговорить с вами.

Боже мой! Этот ночной разговор будет нелегким – сердце у меня тревожно заныло.

Мы поднялись на балкон. Гуммет заговорил не сразу.

– Нурия-ханум, я надеюсь, вы не обидетесь, если я скажу прямо... я как-то не умею по-другому.

– Почему же я могу обидеться? Я уверена, что вы не станете меня огорчать.

– Ну, это еще неизвестно, – сказал с грустью Гуммет. – Может быть, и огорчу... Но сказать я должен... Так вот, Нурия, с той самой минуты, как я вас увидел, я непрерывно думаю о вас. Мне невыносимо без вас. Вы меня давно уже знаете, Нурия. Могли бы вы стать моей женой?

Надо было что-то сказать.

– Гуммет, вы же не знаете меня как следует, – пролепетала я.

– Нет, я вас знаю очень хорошо...

– Не понимаю, не могу понять: одинокая девушка, приехала откуда-то... – продолжала я довольно бессмысленно.

– О, ради Бога... – перебил меня Гуммет и, не докончив, помотал головой.

– Но я же сирота, а вы человек с положением...

– Не надо, Нурия. Неужели вы не слышите, что говорите.

– Вы правы, это все чушь, – пробормотала я, опустив голову. – Знаете что, я отвечу вам завтра. Можно?

– Что ж делать. Пусть будет завтра, не имею права настаивать. Только давайте договоримся: если вы решите ответить мне согласием, позвоните и пригласите меня пить чай с теми самыми конфетами, которые мы сейчас не съели. Если звонка не будет, я уже разберусь, что к чему. Согласны?

– Хорошо.

– Спокойной ночи!

Заснуть я не могла. Когда в институте Сабир Гусейнов, про которого говорили, что он с первого курса влюблен в меня, неожиданно сделал мне предложение, я не совсем понимала, почему так сразу, без раздумий отказала ему. Он мне нравился: умный, способный парень, самый талантливый на нашем курсе. Только здесь, в Гюнее, мне стало ясно, что все эти годы я, сама того не сознавая, жила мечтой о встрече с Мурадом, надеждой на большое, настоящее счастье. И вдруг теперь, когда Мурад рядом, взять и выйти за кого-то замуж?! Конечно, Гуммет не «кто-то». Он хороший, умный, честный, но... Только Мурад мог бы стать для меня тем, чем должен быть муж: любимым, единственным, самым близким человеком. Гуммет же мне только друг, и это не может быть иначе. Очень мало могла бы я дать этому человеку. Нет, он достоин лучшего! Он полюбит другую девушку... А я... мне все равно никуда не уйти от своей любви, с этим я ничего не могу поделать.

Утро было отвратительное. Я знала, как мучительно ждет Гуммет моего звонка, как трудно ему сейчас наедине с черной молчащей трубкой телефона, и все-таки не могла ему позвонить. Я не позвонила, хотя знала, что навсегда теряю этого чудесного человека, что я совсем одна и никому в общем-то не нужна. Плохое это было утро.

Назханум становилась настоящей актрисой. В ее игре появилась свобода, естественность, казалось, эта женщина уже не первый год на сцене.

Односельчане, даже женщины, которые всегда относились к Назханум с подозрением, говорили о ней теперь уважительно, даже с некоторым оттенком восхищения.

Агабегим больше не ругалась при упоминании ее имени, а только вздыхала. Алмурад ходил за Назханум как тень – он уже не думал о том, что будут говорить о нем в кишлаке.

Как-то вечером я пошла к Назханум, но, услышав в ее садике мужской голос, остановилась у забора. Я узнала голос Алмурада.

– Почему ты мучаешь меня? – с тоской говорил он. – Разве я плохой человек?

– Почему плохой? Не нужен ты мне – и все.

– Нужен, Назханум, нужен! Ты еще не знаешь, как нужен, – я же буду носить тебя на руках!

– А, все вы так говорите до свадьбы...

– Нет, не все. Тот не мужчина, кто может обидеть такую красавицу! Будь моей женой, Назханум! Разве ты не видишь, что я с ума схожу по тебе?

Несколько секунд их не было слышно. Потом раздался гневный, задыхающийся голос Назханум:

– Если ты еще когда-нибудь дашь волю рукам... Уходи! Неужели ты не понимаешь, дурной, что я старше тебя?!

– Подумаешь! Два года...

– Глупый, женщины быстрее старятся!

– Не дам я тебе состариться.

– Не лезь, бессовестный... Отстань, говорю тебе!

– Не отстану. Хоть убей меня, не отстану!

Я вернулась в свою комнату...

На следующее утро пришла Назханум и, смущенно улыбаясь, протянула мне какую-то вещицу, завернутую в вату. Это было кольцо с рубином. Я удивленно посмотрела на подругу.

– Алмурад дал, – объяснила она, виновато вздохнув. – «Если, говорит, не возьмешь, уйду отсюда, куда глаза глядят». Сунул в руку и убежал. Как думаешь, отдать?

– По-моему, не стоит. А вдруг бедняга и вправду сделает что-нибудь над собой.

Назханум сначала расхохоталась, потом сказала задумчиво:

– Может быть, ты и права.

Мы поставили еще несколько спектаклей, показали их в соседних кишлаках. О нашей труппе написали в газете: сначала в районной, потом в республиканской. Это был уже настоящий успех.

Помню, я зашла тогда в правление к дяде Нариману, чтобы договориться о костюмах для новой постановки. Председатель сидел в своем кабинете нарядный и очень веселый.

– Газету читала? – сразу спросил он.

– Нет, а что?

– Садись. Ну-ка, Джими, прочти товарищу режиссеру.

Статья была посвящена нашему Дому культуры. Хвалили спектакли, отмечали наши частые выезды в другие села. Меня расхваливали на все лады, ставили в пример другим руководителям.

Первый раз в жизни так высоко оценивалась моя работа. Я вообще-то не честолюбива, но эта похвала меня обрадовала.

– Спасибо, доченька! – дядя Нариман ласково посмотрел на меня. – Не посрамили чести Гюнея. А ты заметил, Гулу, как здесь говорится о культурной помощи другим колхозам? Заметил, вот тут? – Он ткнул пальцем в газету. – А ведь еще найдутся молодчики, которые станут упрекать старого Наримана в частнособственнических замашках!

– Видите ли, – замялся Гулу, – здесь вообще-то сказано только о культурной помощи.

– Да, пожалуй... – Дядя Нариман в задумчивости постучал пальцами по столу и после недолгого молчания сказал, обращаясь к Алмураду: – Возьмешь завтра человек тридцать молодежи – и на арык... Надо помочь.

Алмурад удивленно заморгал, словно не веря своим ушам.

– Есть! – выкрикнул он. – Будет сделано, товарищ председатель.

– Только вот что, имей в виду: дядя Нариман ничего не знает – это все комсомольская организация затеяла. Ясно?

– Как божий день!

Вечером я дошивала себе кофточку и размышляла о дяде Наримане. «Ты добрый старик, – думала я, – но упрям и потому иногда скрываешь от людей даже свои хорошие поступки. И тебе плохо от этого. Я тоже скрываю все, что делается у меня на душе, и мне от этого очень тяжело. Все вы думаете, что я веселая, беззаботная девушка, этакая хохотушка... А мне так хочется, чтобы вы поняли, каково мне, и просто-напросто пожалели меня...»

Под окном засигналила машина. Потом раздался стук в дверь.

Вошел Гуммет. Я отложила шитье и встала ему навстречу.

– Ой, как я вам рада! (Я, правда, обрадовалась его приходу, оказывается, я очень соскучилась по нему.) Садитесь. – Я потянула Гуммета к стулу.

– Нет, нет, – сказал он, мягко отстраняясь. – Я на минутку, Нурия-ханум. Вы не позвонили, я все понял. Только, ради Бога, не опускайте глаза, не чувствуйте себя виноватой!

Я прерывисто вздохнула. Гуммет покачал головой:

– Не надо. Не чувствуйте себя виноватой, слышите? Иначе я пожалею, что пришел сюда. А прийти было надо. Вы должны знать, Нурия-ханум, что всю жизнь вы будете для меня самым близким, самым дорогим человеком. Где бы вы ни были, кого бы ни полюбили, знайте, на свете есть человек, который думает о вас и который поможет вам в трудную минуту... Это что такое? – воскликнул он удивленно. – Нурия плачет?! Наша веселая Нурия? Вот никогда не поверил бы!

А я уже ревела вовсю. Гуммет взял меня за руки. Я прижалась лицом к его груди.

– Вы же замочите мою лучшую рубашку! Выжимать придется! – он шутил, но глаза у него были невеселые.

– Я больше не буду. Садитесь, Гуммет. Давайте все-таки съедим конфеты.

– О нет! Это же символ. Шучу, шучу... Меня просто там ждут в машине – товарищ из района. Ну, не плачьте, будьте умницей, я желаю вам всяческих удач.

– А вы будете приезжать ко мне?

– Конечно. Я же отвечаю за культработу в районе.

Он грустно улыбнулся и вышел.

К новому году работы на арыке закончились.

Я никогда не забуду тот день, когда вода пришла в Гюзей. С обоих кишлаков у сухого еще русла канала собрались люди. Дядя Нариман, окруженный районным начальством, выглядел очень торжественно. Мурад стоял среди своих односельчан. Он непрерывно курил и все время поглядывал на часы. Наконец вдали на дороге от Гюнея показался всадник.

– Пустили воду!

Все заволновались. Ребятишки побежали навстречу воде. Мурад бросил папиросу, дядя Нариман вынул платок и стал вытирать лицо. Зурначи заиграли веселый мотив из «Қ,р-оглы». А ребятишки уже бежали обратно – вода догоняла их.

– Идет, идет!

Шла вода. Старухи нагибались, смотрели на воду, что-то шептали и прижимали к глазам концы головных платков.

Мурад торопливо подошел к Нариману, крепко сжал его руку и громко сказал:

– Спасибо тебе, дядя Нариман. Спасибо за твою смелость, за то, что ты первый решился поднять людей на большой труд! Мы никогда этого не забудем.

Дядя Нариман поднял голову, взглянул на Мурада, привлек его к себе. В глазах у старика стояли слезы.

В воздух полетели шапки. Гюнейлинцы кричали:

– Слава гюзейлинцам!

Дядя Нариман снова вынул платок...

Кончилась зима. Это было тяжелое для меня время – никто так и не узнал, как мне было плохо в ту зиму. Я много работала: утром репетиции, вечером выступления. Все свободные вечера проводила в библиотеке – там всегда толпился народ, ведь зимой у колхозников много свободного времени. Люди рассаживались у печей, а я или Сария читали им. Теперь у нас появились помощники, особенно хорошо читал вслух Алмурад, и все-таки я заметила: колхозники радовались, когда на эти читки приходила я.

Вскоре после того, как в газете появилась статья о нашем Доме культуры, в которой упоминалось и о Сарии, она получила от своего жениха большое поздравительное письмо. Девушка так радовалась, что на нее было приятно смотреть.

Несколько раз ко мне приходила Саадат. Я тоже как-то зашла к ним, зная, что Мурада нет дома. О нем мне Саадат ничего не говорила. В общем жить мне стало уже гораздо легче, одно только мучило – часто снился Мурад. И оттого, что сны были полны радости, счастья, просыпаться было особенно горько.

Я была совершенно уверена, что, хотя о том скандале известно всему району, никто, кроме Саадат, не знает правды: наше примирение убедило всех, что ссора между нами всего лишь недоразумение. Поэтому я удивилась, когда однажды тетя Гаранфиль прижала мою голову к груди, поцеловала в лоб и сказала, вздохнув:

– Ты мужественная девочка, Нурия.

– За что вы меня хвалите, тетя Гаранфиль?

– Сама знаешь, за что. Я ведь не слепая, глупышка ты моя.

Она помолчала, потом добавила:

– Ты права, ты умница – человек не может быть счастливым, искалечив жизнь другому, разбив чужую семью.

Я похолодела. Вот тебе раз! Скрывала, скрывала, мучилась в одиночестве, а она все знает... И в общем это хорошо, что знает. Надо, очень надо, чтобы хоть один человек на свете знал о твоем горе и мог посочувствовать тебе.

– Знаешь, Нурия, я вовсе не суеверна, но в одно я твердо верю – добро и зло не остаются в мире неоплаченными. Судьба вознаградит тебя за то, что ты сделала. Бог пошлет тебе счастье.

– Ничего мне не нужно, тетя Гаранфиль! Мне никого и ничего не нужно.

– Не говори так, девочка. Пройдет время, затянется твоя рана, и тебе захочется счастья, захочется услышать ласковое слово от близкого человека. Ребенка захочется, глупенькая ты моя!

Как-то в начале июня дядя Нариман в новом костюме, который он надевал в особо торжественных случаях, в сопровождении Гулу явился в Дом культуры и протянул мне большой пакет со штампом Министерства культуры.

В письме сообщалось, что через месяц в Баку состоится республиканский смотр самодеятельности и нашему коллективу предлагается принять в нем участие.

– Ну, какие есть соображения? – спросил дядя Нариман.

– Соображения такие: надо принять участие.

– Принять-то принять, а не получится так: высоко летите, где-то сядете?

– Орлами парить будем.

– Ну ладно, орлы. Есть что показать-то?

– Вот это да! Вы что ж, так до сих пор ничего и не заметили хорошего?

– Ну, милая, одно дело – здесь, другое дело – Баку. Со всей республики люди съедутся. Такие коллективы выступать будут... Вы должны будете защищать там честь Гюнея!

– И Гюзея.

Дядя Нариман нахмурился.

– Хорошо, – сказал он, помолчав. – Пусть будет так. Но чтоб подготовиться как следует. Если надо что-нибудь, говори, все дадим.

До блеска отработав все прежние номера, мы дополнили наш репертуар новыми. Кроме того, мы поставили драму Джафара Джабарлы «Айдын». Я репетировала в ней роль Гюльтекин (сказать по совести, желание сыграть эту роль в значительной степени определило выбор спектакля).

Джими дневал и ночевал в Доме культуры, ему без конца приходили в голову разнообразные руководящие идеи. Стоило Джими прийти к выводу, что для подготовки к фестивалю надо приобрести ту или иную вещь, он не отставал от дяди Наримала, пока не добивался разрешения на покупку. Так появился в садике у Дома культуры бюст композитора Узеира Гаджибекова – Джими доказал дяде Нариману, что это абсолютно необходимо для всякого солидного Дома культуры.

В начале июня мы приехали в Баку. Мне не терпелось повидать своих милых стариков и, оставив вещи в гостинице, я отправилась к дяде Алескеру. Когда такси остановилось у института, я взяла чемоданчик, наполненный ранними овощами – деревенскими гостинцами, и, быстро пробежав коридор, постучала в знакомую дверь.

– Кто там? – спросил дядя Алескер, закашлявшись. – Заходите.

Я вошла и поставила на пол чемодан. Дядя Алескер не сразу узнал меня в полумраке комнаты – он давно уже плохо видел. Старик медленно поднялся с голубого тюфячка, так хорошо мне знакомого, и вдруг всплеснул руками:

– Доченька?! Какими судьбами?!

– Вот приехала. А где тетя?

Старик не ответил. Руки у него задрожали.

– Тетя Гюллю приказала тебе долго жить, доченька...

– Она умерла?!.

– Да, доченька. Полтора месяца назад.

– Почему же вы мне не сообщили?

– Так что ж сообщать? Сообщай не сообщай, человека-то не вернешь...

– Она болела? Чем?

– Да то-то и дело, что не болела. Утром сидели мы с ней вот тут, за столом, чай пили. И вдруг: «Ох, говорит, Алескер, что-то сердце у меня зашлось». А ты, говорю, полежи, устала, наверно. Легла она и словно сама с собой тихо так говорит: «Плохо мне...» Да... вроде и не болело у нее ничего... А ты что стоишь-то?

Я присела на стул, дядя Алескер опустил на свой тюфячок.

– Пришли студенты, преподаватели, дай Бог им здоровья, помогли мне. А теперь вот у самого кости начали ныть, так иной раз ноют, сил моих нет. Доктор говорит, ревматизм, комнату, говорит, тебе другую надо. Директор наш, ты ведь его знаешь, очень хороший человек, велел меня на второй этаж переселить. Да... Ну, а твои-то как дела, доченька?

Давно я не была в Баку, и сейчас мне казалось, что я вернулась домой после долгой разлуки. Улицы, дома, деревья вдоль тротуаров – все было такое знакомое. А море! Оно тихо колыхалось в гавани, подкатывая к берегу широкие, ленивые волны.

Наш первый концерт состоялся в филармонии и прошел с большим успехом. На следующий день я увидела в газете Гагаша в узких сапогах, в щегольской чухе и с кинжалом за поясом. Джими был счастлив. Он не пропускал ни одной газеты, где писали о нас или печатали портреты наших артистов, и к концу фестиваля их набрался у него целый чемодан.

«Айдын» мы показывали в помещении академического театра драмы. Да, я выступала на сцене академического театра. И в какой роли! Я была Гюльтекин, об этом я мечтала с первого курса института. Мысленно я сыграла Гюльтекин сотни раз, но одно дело в мыслях, в мечтах, другое – здесь, на большой сцене! Пока я ждала за кулисами, я несколько раз порывалась сказать, что выступать не могу – ноги не слушались меня, голос пропал.

Но как только рампа осветила меня, и я хриплым голосом произнесла первую реплику, я вдруг забыла о зрителях, о том, каким позором был бы провал, – я превратилась в Гюльтекин. Я не ощущала ничего, кроме боли в сердце, я мучилась мучениями Гюльтекин. Мной владело только одно чувство – любовь. Она, эта любовь, заставляла меня улыбаться, умирая. Я была Гюльтекин!

Опустили занавес. Меня окружили друзья, артисты театра. Главный режиссер обеими руками взял мою руку и крепко пожал ее. Меня вызывали много раз. Да, это был настоящий, большой успех. Неужели я так хорошо играла? Главный режиссер все время ходил за мной и повторял, вытирая платком бритый мокрый затылок:

– Нет, нет, и не надейтесь – мы вас не отпустим.

Через два дня меня вызвали в Министерство культуры. В большом кабинете министра было так же красиво и торжественно, как и два года назад.

– Вы, Нурия-ханум, и ваши товарищи очень нас порадовали, – начал министр, – теперь и мы в свою очередь хотим порадовать вас... Академический театр драмы приглашает вас к себе. – Он произнес это очень торжественно.

– Меня?

– Именно вас, – кивнул главный режиссер, он тоже был здесь. – Артисты нашего театра с удовольствием примут вас в свой коллектив.

Я молчала, почему-то не чувствовала радости.

– Я очень благодарна. – Ответ мой прозвучал вяло, и министр удивленно посмотрел на меня. – Если разрешите, я подумаю немного. Я завтра отвечу вам.

– Что ж... – министр пожал плечами. – Пожалуйста.

Я встала.

– Очень прошу вас, Нурия-ханум, передать от меня горячий привет всем вашим артистам. Замечательный у вас коллектив! Не преувеличивая говорю, я был удивлен. Если нужна какая-нибудь помощь – рад служить.

Я не пошла в гостиницу, мне хотелось побыть одной. «Господи, – думала я, – академический театр!.. Ведь раньше мне это только сниться могло». Я брела по набережной, не замечая ничего вокруг. Волны, шурша, откатывались от гранита, словно не хотели мешать моим мыслям. «Овации, портреты в газетах, восторженные рецензии...»

Море было тихое, светлое, бесконечное. Я люблю смотреть на море, оно успокаивает, помогает сосредоточиться, разобраться в себе.

«Так... Значит, театр, большая сцена... А как же Гюней?»

И рядом с гордым сознанием того, что я настоящая актриса, росла холодная тоска – я должна буду уехать из кишлака, бросить Дом культуры, людей, ставших такими родными...

Мне было грустно.

Я ничего не сказала друзьям о предложении министра. Ответа ему я так и не дала. Пора было уезжать. В последний день я купила тете Гаранфиль отрез на платье, а дяде Нариману красивый серебряный подстаканник.

Наше возвращение в кишлак превратилось в настоящий праздник – нас поздравляли, зазывали в гости. «Ведущие артисты» – Гулу, Назханум, Джими – были в эти дни первыми людьми в кишлаке. Назханум цвела.

Алмурад совсем потерял голову, по десять раз в день его пятитонка с грохотом подкатывала к Дому культуры, и он, выглядывая из кабины, терпеливо ждал, когда покажется Назханум.

У меня было беспокойно на душе. Что бы я ни делала, где бы ни находилась, одна и та же мысль неотвязно преследовала меня: «Театр... Большая творческая работа... Интересные роли...» Напрасно я уговаривала себя, что правильно поступила, вернувшись в кишлак, – покоя мне не было.

И вдруг, когда я уже стала привыкать к мысли, что не поеду в Баку, пришла телеграмма из министерства, в которой сообщалось, что я зачислена в труппу Бакинского академического театра драмы.

До самого вечера я думала, как мне поступить, и наконец, измучившись, решила показать телеграмму Гуммету. Алмурад отвез меня в район. «Ладно, – решила я, – как Гуммет скажет, так и сделаю, а то мне никогда не решиться».

Прочитав телеграмму, Гуммет испытующе посмотрел на меня.

– Решили ехать?

– Ничего я не решила. Никак не могу решить. Очень не хочется уезжать отсюда.

– Почему же не хочется?

– Не знаю, как вам объяснить... У меня такое ощущение, что, уехав, я предам и артистов и зрителей... они так полюбили наши концерты...

Он несколько секунд смотрел в окно, потом взглянул мне в глаза.

– Да... А все-таки, я думаю, надо ехать.

– Но как же я брошу Дом культуры?

– Ну, у вас есть достойные преемники: Гулу, Назханум, Джими...

Мы помолчали.

– Нурия, вы очень талантливы... Ехать в Баку надо.

У меня почему-то потекли слезы, – наверно, я изнервничалась за последнее время. Я хлюпала носом, тщетно отыскивая в сумочке носовой платок, всегда он куда-то пропадает.

– Вы ведь вырастили талантливых руководителей, один Гулу чего стоит, – говорил Гуммет. – И люди полюбили наш Дом культуры. Зал скоро будет тесен. Еще раз говорю: не плачьте, от всей души желаю вам удачи.

– А вы обещаете помогать им?

– Об этом можете не беспокоиться.

– Ну, тогда решено – еду.

Совершенно неожиданно для себя я поцеловала его и выскочила из кабинета.

«Только через мой труп!» – решительно заявил дядя Нариман, узнав о моем намерении уехать, и немедленно позвонил министру. Не знаю, о чем они говорили, но после этого разговора старик вдруг затих, успокоился и заговорил совсем по-другому:

– Нариман еще никогда не портил людям жизнь. Раз нужно, значит, нужно.

– Вот именно! – Гулу многозначительно поднял палец. – Таланту нужны условия!

Дольше всех не могла успокоиться Назханум.

– Уезжаешь! – всхлипывала она. – А как же мы?

Утром ко мне пришли Мурад с женой. Мурад был оживленнее, чем обычно, много говорил. Глаза у него блестели – мне показалось, что он нездоров. Саадат отвела меня в сторону.

– Возьмите это на память! – сказала она, снимая одно из своих колец. – Я хочу, чтобы вы помнили, что не будь вас...

– Оставьте, Саадат! – перебила я ее. – И без меня все встало бы на свои места.

– Нет, Нурия! Мне кажется, я пропала бы, и не я одна... Если не возьмете, я очень обижусь, Нурия! – Саадат схватила мою руку, насильно надела кольцо.

Алмурад подал машину. Я села рядом с ним. Гулу, Назханум и Сария, захотевшие непременно проводить меня до станции, забрались в кузов.

На мосту я вышла из кабины и в последний раз оглянулась вокруг. Извиваясь вдоль кишлака, арык уходил к Гюзею. Он казался неуловимым, как мечта, и бесконечным, как жизнь...

На станции нас встретил Гуммет.

– Ой, зачем вы беспокоились?! – начала было я и осеклась под его укоризненным взглядом. Гуммет стал подшучивать над модным клетчатый костюмом Гулу.

– Сколько воды утекло... – задумчиво сказала я. – А кажется, только вчера я сошла на этой станции...

– Такова жизнь... – промолвил Гуммет, глядя куда-то далеко в степь. – Все когда-нибудь кончается.

Подошел поезд, и я простилась с друзьями, с кишлаком, со всем, чем жила два последних года.

Немножко устроившись в своей новой квартире, я решила забрать к себе дядю Алескера. Он вначале сопротивлялся.

– На что я тебе? Со стариками одна морока!

Квартиру мне дали на краю города, хорошую, спокойную. В комнатах было много света, тишины. Дядю Алескера я устроила в угловой комнате с балконом – отсюда открывался вид на степи Апшерона.

С тех пор прошло немало времени. Мне часто пишет Гулу. От него я узнаю все новости. Главные из них – у Саадат родилась дочь, ее назвали Нурия. Назханум вышла замуж за Алмурада.

А Гулу и Назханум по-прежнему ведущие артисты в нашем Доме культуры. Они советуются со мной о каждой новой постановке, присылают даже эскизы костюмов. Когда мне присвоили звание заслуженной артистки, телеграмма из Гюнея обрадовала меня больше всех других поздравительных телеграмм.

Недавно ко мне в гости приезжал дядя Нариман с женой, рассказывал, как хорошо живут сейчас гюзейлинцы. Дядя Нариман подумывает даже об объединении колхозов в один, так, чтобы председателем был Мурад. Бывает у меня и Гуммет. Он депутат Верховного Совета и иногда приезжает в Баку. Обычно он берет с собой жену – она очень милая, скромная женщина. Мурада за все эти годы я видела только один раз. Это было на премьере «Отелло». Я сразу же увидела его в ложе. Глаза у него все такие же яркие, блестящие, но виски уже серебрятся.

Дядя Алескер на пенсии. По вечерам он берет свой саз, устраивается на балконе и, глядя на заходящее солнце, негромко поет дребезжащим, стариковским голосом:

«Горы, лицо обратившие к нам,
Что я оставил у вас?»

Кизиловый мост

САРИЯ

Скоро год, как мы поженились. Папа говорит, что я теперь настоящая дама: муж, собственная квартира и даже «Волга». Правда, «Волга» не наша, а моего свекра, но, когда по воскресеньям мы ездим за город и я веду машину, никто не сомневается в том, что она моя, эта голубая красавица.

Каждое утро, ровно без четверти девять, Адиль уходит в свое Главное дорожное управление, а я бегу на базар. Возвратившись с продуктами, готовлю обед, прибираю в комнатах. Квартира у нас большая. Я даже испугалась, когда впервые увидела ее.

– Что же мы будем сюда ставить?!

– Не беспокойся, – улыбнулся Адиль. – Найдется кое-что. Маленькой Сарии достался запасливый муж: как поступил на работу, сразу откладывать стал.

Адиль взял деньги со сберкнижки, его родители добавили... Одним словом, свою квартиру на улице Хагани мы обставили на славу – полированная дорогая мебель, модные люстры, кухонный гарнитур...

– Видишь, – не раз говорил мне Адиль, – люди по пятнадцать лет работают, и их даже на очередь не ставят, а твой муж только четыре года в управлении – и...

Я это видела. Видела и то, что он молод, умен, хорош собой. Я гордилась Адилем. Да и все наши знакомые говорили: у Сарии замечательный муж, такой способный, такой деловитый. Он далеко пойдет.

Мне было не по себе в компании родственников и знакомых Адиля – ведь я выросла в заводском поселке. Когда мы бывали в гостях, муж всегда тихонько давал мне советы, как вести себя. Я сначала злилась – ужасно не люблю нравоучений, – а потом смирилась – все-таки ему тридцать один, а мне девятнадцать.

Адиль говорил, что у меня пробелы в воспитании. Наверное, так оно и есть – никогда не думаю о том, какое впечатление произведут на окружающих мои слова и поступки.

Как-то раз я слишком оживленно – мне потом объяснил это муж – разговаривала с одним молодым парнем, дальним родственником Адиля, приехавшим с Севера. Слушать его было интересно, и я, не обращая внимания на косые взгляды свекрови, проговорила с этим парнем весь вечер. Потом мне было неудобно перед мужем, хотя он не ругал меня, только сказал, что я поступила неправильно.

Адиль старался развлекать меня: мы часто ходили в кино, в гости. Особенно нравилось мне водить машину: ведь мой отец был шофером. Он любил сажать меня, еще совсем маленькую, рядом с собой в кабину грузовика, а когда подросла, стал давать и руль. «Сария у меня за сына», – часто говорил он.

В моей сумочке теперь всегда лежали деньги. Я не сразу к этому привыкла. Дома мне неловко было даже просить на кино – мама с трудом дотягивала до полочки.

Там, в поселке, у нас была комната в большой квартире, на восемь семей, по утрам устанавливалась очередь в туалет. А здесь мы вдвоем в трех комнатах, и кругом так красиво, уютно.

И все-таки мне чего-то было жаль, чего-то не хватало...

Часто, стерев пыль с мебели, которая и без того блестела так, что в нее можно было глядеться, я подходила к окну и, вздыхая, смотрела вдаль.

В техникуме мы всегда ходили стайкой, веселые и шумливые как птицы. Теперь я была замужняя, как говорят, интересная дама. Теперь мне уже нельзя было бегать по улице, вместе со всеми шуметь, смеяться...

Иногда после ужина я подсаживалась к мужу на диван и начинала болтать о наших студенческих проделках или рассказывала анекдот, который вспомнила утром и весь день старалась не забыть. Адиль, отложив в сторону газету, терпеливо слушал меня, улыбался, ничего не отвечая, и переводил разговор на другую тему. Я понимала, что опять сделала что-то не так, и смущалась, а он ласково гладил меня по голове.

Мой муж редко шутил, никогда не болтал о пустяках. Он любил повторять, что человек должен беречь свое время, ибо создан для того, чтобы стремиться к совершенству.

– Адиль, – спросила я его однажды, – вот ты говоришь: расти, стремиться, развиваться... для этого создан человек. А разве человек создан не для счастья? Помнишь, один писатель, не помню кто, сказал, что человек рожден для счастья, как птица для полета.

– Это сказал Короленко... – устало прикрыв веки, промолвил Адиль. Он всегда все знал, мой муж. – Слова правильные, Сария. Но необходимо уяснить себе, что такое счастье.

Я часто думала об этом, но мне не по силам было «уяснить себе» – назвать словами, в чем же состоит счастье. Я чувствовала только, что счастье – это что-то очень хорошее и, наверное, я этого еще не испытывала.

Видно, я была слишком легкомысленная для такого человека, как Адиль. И я старалась быть умней, серьезней, чтобы хоть немного походить на мужа. Ведь нам вместе жить...

* * *

– Знаешь, маленькая, – сказал мне как-то Адиль, – придется нам с тобой на некоторое время поехать в район.

– Куда? – заинтересовалась я.

– Твой муж назначен начальником строительства новой шоссейной дороги в районе К.

– Вот это здорово! Ты рад?

– Видишь ли, – начал он, – рад – не то слово. Но это дело очень перспективное, и если работа будет выполнена на должном уровне... – Он немного помолчал и добавил, с улыбкой глядя на меня: – Тебе ведь тоже необходимо поработать, если ты собираешься в институт. Мой маленький техник практически умеет только готовить плов с куропатками и крахмалить мужу сорочки. Техник Сария Джафарзаде! Неплохо звучит. А потом вернемся в Баку, надо только, разумеется, успешно сдать стройку...

«Успешно»... Еще бы! Любая работа, которую возглавит Адиль, будет выполнена блестяще! Все же говорят, что он очень дельный, способный инженер. Совсем немного работал в управлении, а сколько уже получил благодарностей! Какой он у меня умный, мой Адиль!

– Понимаешь, маленькая, – сказал Адиль после ужина, удобно устраиваясь на диване, – это именно то дело, которого я все время ждал.

– Но разве тебе не нравится твоя теперешняя работа? – удивленно спросила я.

– Почему не нравится? Работа неплохая, но тут я выполняю чужие поручения, а там сам смогу действовать так, как считаю нужным. Это же очень важно, понимаешь? Что ты нахмурилась? Пстой, может быть, тебе не хочется ехать в район?

– Что ты! Очень хочется!

– Тогда не хмурься и начинай собираться понемногу. Дней через десять поедем. – Он ласково потрепал меня по плечу.

Я была убеждена, что Адиль все делает правильно, но в его словах что-то мне не нравилось, я только не могла понять, что именно. Да и некогда было размышлять. Настроение было хорошее – уж очень это весело: собираться, бегать по магазинам... Я купила плащи себе и Адилью, две пары брезентовых сапог, фонарик, маленький радиоприемник, фотопленку, две раскладушки...

Вскоре Адиль подкатил к подъезду на запыленном газике, который ему выдали в управлении. Мы погрузили свои вещи и отправились в район К.

Пока Адиль принимал дела, мы жили в районном центре, в гостинице. Будущая дорога должна была соединить его с горными пастбищами и большим животноводческим совхозом, расположенным за перевалом. Адиль говорил, что совхоз этот республиканского значения, а добраться к нему сейчас можно только горными тропами.

Кроме самого шоссе нужно было построить несколько мостов через небольшие горные речки. На строительстве одного из мостов предстояло работать мне. До этого места нетрудно было добраться на машине, и мы решили, что обоснуемся там, на строительстве, а Адиль будет каждый день ездить к себе в управление, благо шофер ему не нужен, он сам прекрасный водитель.

Мы ехали по горной дороге через лес. Все свои девятнадцать лет я жила в Баку и никогда не видела такой красоты.

Был конец мая. В Баку уже началась летняя жара, а здесь все цвело, и лес был наполнен благоуханием. Вдали на горных вершинах блестел снег. Из скал пробивались ручьи – чистые, студёные...

Сплошной стеной стояли по обеим сторонам дороги дикие яблони, груши, грецкий орех. Ветви их почти смыкались наверху, и мы мчались сквозь зелёный тоннель. Кое-где среди деревьев виднелись огромные обломки скал, заросших мхом.

Иногда навстречу нам попадалась грузовая машина со стройматериалами. Адиль внимательно провожал ее взглядом – он уже чувствовал себя здесь хозяином. Он думал о предстоящей работе, он казался мне командиром, перед боем оглядывающим поле сражения.

Подумать только, мой муж – начальник строительства дороги, которая скоро побежит туда, в горы, в заоблачные выси...

Как хороша жизнь! Как много в ней радости! Раньше я почему-то не чувствовала этого так остро. Почему? Разве несколько дней назад не было весны, не цвели деревья? И разве мой Адиль не был таким же красивым, умным, уверенным в себе? Или неделю назад я не любила его так, как сейчас?..

Я смотрела на мужа, сидевшего за рулем, и мне хотелось сказать ему что-нибудь очень хорошее. Я только не могла придумать – что.

– Знаешь, Адиль, я забыла положить твой серебряный портсигар.

Муж весело посмотрел на меня умными, ласковыми глазами:

– Велика важность! Да на что здесь, в горах, серебряный портсигар! – И он снова задумался, устремив взгляд на дорогу.

Но мне не хотелось молчать.

– Адиль, – спросила я, – а куда делся прежний начальник строительства, тот, что был до тебя?

– Его перевели. Кажется, на более ответственную работу.

Мне стало обидно: почему это его на более ответственную, а моего Адилья сюда? Но я сейчас же одернула себя: «Глупости! Никто сразу не становится министром!»

Через некоторое время мы выехали на небольшое плоскогорье и сразу услышали шум воды и грохот камней. Один край площадки круто обрывался в глубокую темную пропасть, другой примыкал к поросшему густым лесом склону. Маленькое это плато ровно посередине прорезала речка, вытекавшая из леса. Не широкая, но бурная, она пересекала плато и с шумом низвергалась в пропасть.

Двое рабочих стояли на берегу. Работал бульдозер. Он оттащивал к пропасти обломки скал, завалившие дорогу после взрыва, и, подвинув их к самому краю, сталкивал вниз. Вот отчего этот грохот – гремели падающие камни, и пропасть отзывалась мощным, раскатистым эхом.

Лица человека, работавшего на бульдозере, мне не было видно, но я заметила, что у него прямые широкие плечи. Я следила за ним.

Вот он, захватив огромный, поросший мхом валун, так близко подвел бульдозер к обрыву, что край ковша свесился над пропастью. От страха я на секунду зажмурилась, но в этот момент бульдозерист повернул голову, увидел нас и усмехнулся. Потом он снова захватил огромный камень и на полном ходу поволок его к обрыву. Секунда, и снова мне показалось, что бульдозер вслед за камнем сорвется в пропасть. Когда я открыла глаза, бульдозерист спокойно вел машину обратно. На лице у него была все та же чуть нагловатая, бесшабашная усмешка.

«Хулиганит! – подумала я, с неприязнью глядя на его красивое загорелое лицо под шапкой спутанных светло-русых волос. – А ведь смелый парень!»

Поговорив с рабочими на берегу, Адиль обернулся ко мне и кивнул на виднеющуюся у леса палатку:

– Может, и мы там расположимся?

– Давай. Вон под тем деревом, ладно? – Я показала на могучий дуб, росший у самого леса. Это было метрах в пятидесяти от палатки рабочих.

Мы быстро выгрузили из машины свои пожитки, поставили палатку, раскладную мебель: две кровати, стол, стулья. Ковром нам служила свежая, пышная трава.

Лучшего места нельзя было выбрать. А если дорога уйдет вперед, палатку можно перенести. Начальник должен жить на строительстве, а не отсиживаться в райцентре, как это делал предшественник Адилья.

Переодевшись, мы взяли мыло, полотенце и спустились к речке. Вода была холодная, прозрачная, мы сразу почувствовали себя бодро, – оказывается, мы совсем не устали. Да и с чего нам уставать – оба молодые, сильные, здоровые!

Через полчаса мне уже казалось, что мы с Адилем живем здесь с незапамятных времен, всегда дышали этим свежим, ароматным воздухом, и сами – как бы частица могучей, первозданной природы.

– Чаю хочешь? – спросила я мужа и даже удивилась, услышав свой голос, – такая в нем была доброта, нежность. Нет, правда, я еще никогда так не любила Адилья...

И тут я вспомнила бульдозериста. До чего противный! Мало того, что машиной рискует, еще и улыбается как-то нагло, развязно. И я еще нежнее повторила:

– Адиль, чай поставить?

– Неплохо бы, – ответил муж, рассматривая стройматериалы, сваленные неподалеку.

Маленький столик, который мы поставили у входа в палатку, накрыла белой скатертью, достала печенье, конфеты. Потом позвала мужа. Он велел мне пригласить к чаю рабочих.

Первыми явились Солтан – черноволосый, среднего роста, и широкоплечий бетонщик Керемхан – с густыми черными усами и низким голосом. Оба молодые, лет под тридцать. Тяжелым шагом, чуть враскачку подошел бульдозерист Гарибджан и с той же нагловатой усмешкой на красивом смуглом лице остановился перед палаткой.

– Садитесь, – холодно пригласила я его. – С вареньем будете пить?

Он молча кивнул.

– А вам идут ваши имена. Такие величественные, – улыбаясь, сказала я Солтану, – Солтан, Керемхан. А вот Гарибджан... – Я взглянула на бульдозериста.

– Это мы его здесь так прозвали. По-настоящему просто Гариб*.

– Из каких же мест наш чужестранец? – с улыбкой спросил Адиль. Спросил и выразительно взглянул на меня: «Только «Гариб», понятно? Никаких «джанов». Никакой фамильярности».

– А мы все здешние, из этого района, – ответил Солтан. – Только деревни разные. Гарибджан недавно из армии, в прошлом году демобилизовался.

– Да? – удивился Адиль и вежливо поинтересовался. – В каких частях служили?

– В танковой, – коротко ответил Гариб.

Меня поразил его голос – глубокий и мягкий, удивительно не соответствующий всему его облику. Я взглянула на Гариба. Лицо у него было непроницаемое.

– И звание имеет? – спросил Адиль.

– Да, младший лейтенант.

– Ну что ж, очень хорошо, товарищ младший лейтенант. Почему чай не пьете – остынет.

Я налила еще по стакану. «Гарибджан, – думала я, – какое странное имя».

Адиль заговорил о строительстве.

– Стройматериалы держат и взрывчатка, – с сердцем сказал Солтан. Видимо, это был наболевший вопрос. – Начальник у нас был расторопный – вовремя обеспечивал, а как перевели его, все прахом пошло.

– Да, в работе он был зверь, – согласился Керемхан. – Недоспит, недоест, а дело сделает. Но и почудить любил. Каждое воскресенье приезжал сюда с двустволкой. Думаете, на охоту? Ничего подобного! В цель стреляли с Гарибджаном – кто больше выбьет. Ну, а Гариб стрелок – дай Бог всякому, начальник всегда внакладе оставался: то бутылку коньяку ему проиграет, то десять пачек «Казбека». Даже жалко его другой раз – уж больно хороший мужик!..

– Ничего не скажешь, воспитательная работа, видно, была здесь на высоте, – усмехнулся Адиль, когда строители ушли.

– Ну, а что тут особенного, Адиль? Подумаешь, стреляли на спор! По-моему, ты преувеличиваешь.

Муж вздохнул.

– Если бы я преувеличивал!.. Нет, девочка, положение ко многому обязывает. Начальнику стройуправления, как и всякому ответственному работнику, необходимо думать о своем авторитете. Он обязан быть примером для рабочих. А если он будет распивать с рабочими коньяк да состязаться с ними в стрельбе, ничего хорошего из этого не получится... Вот так, моя милая.

Это были, вероятно, очень правильные слова. Но почему-то они мне не понравились.

Я уже замечала раньше, что взрослые уважаемые люди говорят иногда серьезные и, должно быть, справедливые вещи, и мы вежливо слушаем, но, если внутренне с этим не согласны, слова не запоминаются, не действуют, как будто их и не произносили...

Так и сейчас. Я, пожалуй, верила мужу, что прежний начальник поступал неразумно и не так должен вести себя начальник строительства, но он почему-то казался мне очень симпатичным человеком. Особенно когда я представила себе, как его ловко обыгрывает нагловатый бульдозерист. Мне даже захотелось посмотреть на него и поговорить с ним.

– Ты что улыбаешься, Сария?

– Да так... Подумала, какой смешной, наверное, этот прежний начальник строительства.

– Ты права, над ним можно посмеяться. – Адиль кивнул мне и пошел к рабочим.

* * *

На следующее утро, ровно в восемь, Адиль уехал в район, в управление, а я отправилась на стройплощадку – первый раз в жизни шла на работу.

Солтан, Гариб и Керемхан были уже на месте. Они поздоровались со мной, как со старой знакомой.

– Ну, как вам первая ночь у нас в горах? – улыбаясь, спросил Солтан.

– Да я, собственно, никакой ночи не видела. Легла – как провалилась, до утра на одном боку проспала. Мало что пока могу сказать о ваших горах.

– И о наших горах, и о нас самих вы скоро будете самого лучшего мнения. Правда, ребята? – подмигнул он своим напарникам.

– О горах обязательно, а насчет вас – еще посмотрим, – в том же тоне ответила я.

Я обошла участок, внимательно осмотрела его. Кажется, все было в порядке.

– Ну что ж, стройплощадка готова, можно начинать... – сказала я, стараясь держаться как можно увереннее...

Рабочие переглянулись. Солтан отвернулся, пряча улыбку.

– Здесь-то все в порядке, – сказал он, – можно бы и начать, да только тут еще одна работенка выплыла, вне плана, так сказать. Вон там, – и он указал на поросшие лесом и кустарником скалы, загораживающие реку выше по течению. – Пойдемте, товарищ начальник, посмотрим.

Цепляясь за ветки деревьев и проклиная колючки кустарника, мы полезли вверх. Пока мы взбирались, я думала только о том, чтобы не свалиться, но когда мы очутились на вершине скалы, я ахнула от восхищения. Такое я видела только в кино: ветви могучих старых деревьев переплелись, образуя прочный недвижимый шатер; река, сужающаяся в этом месте, сердито шумела в полумраке – лучи солнца не проникали сквозь густую листву.

– И что же мы должны здесь делать? – спросила я, с удивлением оглядываясь.

– Нужно углубить и расширить старое русло на участке протяженностью в пятнадцать метров и укрепить берег, – отрапортовал Солтан.

– Зачем это? – удивилась я. – Ведь в проекте нет ничего подобного.

– Верно, в проекте нет. Бывают и в проектах ошибки. Но если мы эту ошибку не исправим, первый же хороший сель затопит все.

– И наш мост, – добавил Керемхан, – может, еще и достроить не успеем...

– Это верно... – прошептала я, представляя себе, как мутные потоки селя перекатываются через недостроенный мост. «Как же я не сообразила сразу?! – с ужасом подумала я. – А еще техник, диплом в чемодане лежит!» Щеки у меня загорелись. – А я и не знала...

– Ну откуда же вы могли знать, что здесь творится? – мягко заметил бульдозерист. – Мы сами недавно обнаружили это дело.

«Понял, что мне стыдно, – с благодарностью подумала я, – выручает...»

– Это такой же случай, как в Джунгле, – продолжал Гариб. – А проектировщики, видимо, не учли.

Я уже оправилась от смущения и тоном опытного руководителя озабоченно сказала:

– Да, но сюда ни бульдозер, ни трактор не втащить. И взрывчатки могут не дать...

– Ничего, – уверенно сказал Солтан, – и без механизации управимся.

– Зачем нам бульдозер, Сария-ханум? – усмехнулся Керемхан. – Зачем взрывчатка? Фархад без всяких машин горы крушил – пыль столбом стояла. Чем мы хуже?!

– Да, но у Фархада была Ширин – стимул был, – улыбаясь ответила я.

Керемхан не растерялся:

– Это верно. А мы авансом! Во имя наших будущих Ширин!

Все засмеялись.

– Ну, так что же мы все-таки будем делать? – спросила я. – Вы твердо решили разворотить здесь все скалы?

Солтан пожал плечами:

– Нет же другого выхода, Сария-ханум. А вы разве против?

– Нет, конечно. Надо только сообщить в управление. А то будут потом говорить – вот не уложились в сроки...

– А если мы уложимся? – сказал бульдозерист, весело взглянув на меня.

Я внимательно посмотрела ему в лицо. Шутит он или серьезно?

– Вы не смотрите так, Сария-ханум, – обратился ко мне Солтан. – Это вполне реально: и это дело повернуть, и мост сдать в срок.

– Точно! – подтвердил Керемхан.

– Не знаю... – замялась я. – Если потребовать еще рабочих...

– Зачем? – Гариб улыбнулся и махнул рукой. – Сами сделаем.

Они и правда были в этом уверены. А что, вдруг поверила и я, ведь сделаем: и скалы обломаем, и мост вовремя построим!

– Да вы зря волнуетесь, Сария-ханум. – Солтан ободряюще посмотрел на меня. – Все будет в ажуре. Мы, как сюда приехали, сразу решили, что этот мостик сработаем аккуратно, и только силами нашей бригады! Правда, ребята?

– Точно! – отозвался Керемхан.

– Ведь тут ясно, как получилось, – продолжал объяснять мне Солтан, – в управлении смотрят – мостик маленький, вроде несложный, а что выше по течению делается, им и невдомек. А тут вон какой коридорчик получается. – Он показал вниз на речку, стремительно несущуюся в узком проходе между скал. – Мы, здешние, знаем, что творится, когда в горах дожди идут. Все затопит! А расчистим старое русло, укрепим берег – и все будет нормально, любой сель культурненько потечет под мост. Вот как, товарищ техник.

– Это понятно. – Я вздохнула. – Но как сюда затащить песок, цемент?..

– Втащим, – сказал Солтан. – Надо будет – и бульдозер втащим. Давайте, ребята, за дело!

«Здорово у него получается! – с завистью думала я, – Никаких техникумов не кончал, а все ему ясно, все себе представляет! Словно он хозяин всего этого: дороги, будущего моста, хозяин этих лесистых гор...»

Мы благополучно спустились, собрали инструменты и снова полезли вверх. Карабкаться по крутой, почти отвесной скале, когда за спиной привязаны ломы, молотки и заступы, – это почти цирковой номер. Я, во всяком случае, обязательно свалилась бы, если бы не Гариб, – он все время меня поддерживал.

Когда я заявила, что буду выполнять ту же работу, что и они, ребята дружно запротестовали. Однако я не собиралась сдаваться. Солтан огорченно вздохнул и стал прикидывать на руке ломы, стараясь выбрать для меня полегче, но, видимо, они все были хороши. Солтан покачал головой и с виноватым видом протянул мне лом – тяжелая стальная палка тотчас же вырвалась у меня из рук. «Ничего себе для начала!» Я подняла лом и взглянула на товарищей. Солтан, казалось, был смущен, Керемхан весело улыбался, бульдозерист хранил невозмутимое молчание.

– Мозоли натрете, сестричка. – Солтан с сожалением посмотрел на мои руки. – Вон у вас ручки какие беленькие, мягкие. Огрубеют, будут жесткие!..

– Ничего, меня это не очень огорчит.

– Зато начальник не обрадуется, – подмигнул ребятам Керемхан.

Солтан захохотал, Гариб сдержанно улыбнулся.

– Вы только не обижайтесь на нас, Сария-ханум, – попросил Солтан, – мы ведь по-простому.

– Что вы! И не подумаю!

Некоторое время я довольно бодро размахивала своим ломом, но очень скоро поняла, что надолго меня не хватит. Когда я почувствовала, что сейчас брошу лом, Солтан вдруг крикнул:

– Перекур!

– Не рано ли? – спросил Керемхан, вытирая потный лоб тыльной стороной руки. – Так мы много не нарботаем!

Вместо ответа Солтан чуть заметно кивнул в мою сторону. Я, пошатываясь, отошла и бросилась на траву.

«Перекуры» устраивались каждые полчаса, правда, небольшие, на несколько минут. Сначала Гариб, единственный курящий среди нас, честно дымил каждый перерыв, но потом запротестовал:

– Да не могу я так часто, меня уже мутит!

Ничего не оставалось, как делать вид, что не понимаю нехитрую уловку товарищей. Иначе бы мне не выдержать.

Наконец наступило время обеда.

– Как, Сария-ханум, закусите с нами чем Бог послал?

– А что же он вам послал?

– Свежим сыром угостить можем.

– Соблазнительно, да ведь мое дело женское – обед надо мужу готовить. В другой раз, хорошо?

Никакого обеда я, конечно, не готовила. Пришла в палатку, завела будильник, чтобы разбудил меня через час, и свалилась на свою койку. Успела только подумать с ужасом: «Неужели мы вчетвером должны это сделать?!» – и сейчас же заснула.

В два часа мы собрались у нашей скалы.

– Как, Сария-ханум, управились с обедом? Если не успели, бригада может отпустить вас на полчаса.

– Что вы, все в порядке, – быстро ответила я, вспомнив, что даже не набрала воды для чая.

«А как это здорово – бригада! Наша бригада, наша работа!..» – с удовольствием подумала я.

Углубить и расширить русло реки, протекающей среди скал, на протяжении пятнадцати метров – нелегкая задача для четверых. Работали все на совесть. Я старалась не отставать от товарищей. Спина и руки ныли, ладони были в кровавых мозолях. Это верно, Адиль будет огорчен, ему так нравились мои руки.

– Ну-ка покажите, что у вас, – попросила я ребят. Они, улыбаясь, разжали ладони. Я потрогала твердую, крепкую ладонь Солтана. – Неужели вы совсем не стерли кожу? Посмотрите, что у меня делается.

– Ничего! – Солтан ласково кивнул мне. – Привыкнете! Видите мою ладонь – что верблюжья коленка! И у вас такая же будет.

– Не хочу, чтоб у меня была верблюжья коленка, – жалобно протянула я.

Послышался шум подъехавшей машины.

– Наверно, Адиль! – воскликнула я и, раздвинув ветки, взглянула вниз. – Он! Адиль! – громко закричала я.

Муж недоуменно оглядывался, не понимая, откуда услышал мой голос. Наконец он заметил меня.

– Что ты там делаешь?

– Мы здесь работаем, Адиль! Лезь к нам! Вот с той стороны, там легче.

– Ничего не понимаю – зачем вы туда забрались?

– А ты влезь – и увидишь.

Мне не терпелось показать Адилю нашу работу, словно приятный сюрприз. Он будет доволен, что бригада его Сарии проявила инициативу.

Адиль пожал плечами, поколебался минуту, потом начал взбираться по склону.

Подойдя к нам, он, не здороваясь, внимательно оглядел развороченный край скалы, инструменты, нас самих, грязных и потных, и спросил недоуменно:

– Что это вы делаете?

– Во-первых, здравствуйте, товарищ начальник, – несколько смутившись, попыталась я пошутить. – А во-вторых, мы делаем нужное дело – углубляем и расширяем русло, чтобы в случае селя наш мост не снесло.

– Но ничего подобного в проекте нет.

– Вот именно. А мы исправляем ошибку проектировщиков, – гордо сказала я, оглянувшись на товарищей.

Адиль слегка покраснел:

– Значит, вы считаете, что тот, кто составлял проект, знает меньше вас?

– Товарищ начальник, – вмешался Солтан, – проектировщики, конечно, больше нас знают, но ведь бывают такие вещи: в проекте нет, а делать надо.

И он самым миролюбивым тоном стал подробно объяснять Адилю, что может произойти, если не расширить русло.

– Вот что, – перебил его Адиль, – не придумывайте себе работу. Начнется всемирный потоп, не один ваш мост, а всю землю затопит. Надо делать то, что предусмотрено проектом. Если каждая бригада начнет дополнять его, мы дорогу и к Новому году не сдадим.

– Об этом можете не беспокоиться, товарищ начальник, – горячо возразил Солтан. – Мост будет окончен вовремя.

– Нет, не будет! – резко ответил Адиль. – Вы здесь такую волюнку завели – на пять месяцев хватит!

– Так что же, вы хотите сдавать заведомую халтуру, лишь бы в срок? – спокойно спросил Гариб.

Адиль смерил его взглядом. По лицу у него пошли красные пятна. Медленно, стараясь сохранить спокойствие, Адиль сказал:

– Дорогой товарищ, на этом строительстве кроме вас еще сотни рабочих. И если каждый из них начнет вмешиваться в работу инженеров, дело с места не сдвинется. Итак, считаю, что разговор окончен. Предлагаю завтра же приступить к исполнению своих непосредственных обязанностей. Между прочим, за вашу работу отвечаю я.

Он повернулся и пошел.

– Ошибаетесь, товарищ начальник, – бросил ему вдогонку бульдозерист, – каждый честный человек, работающий здесь, отвечает за строительство.

Адиль обернулся и сказал с иронической усмешкой:

– Ну, если вы такой сверхсознательный, можете выполнять эту работу. Только без вознаграждения. По смете на нее средств не отпущено, так же как и взрывчатки. Если вам угодно ковыряться здесь вручную и бесплатно – пожалуйста, я не возражаю.

Бульдозерист почему-то смотрел не на Адиля, а на меня. Я отвела глаза. Тогда он быстро взглянул на Адиля, хотел что-то сказать, но не сказал, только с сердцем вонзил в землю лопату и отошел.

– Товарищ начальник, – начал Керемхан, как всегда, шутливо, – наши деды говорили: «Руки пачкают деньги, а не деньги руки»...

– Брось, – потянул его за рубаху Солтан. – Не надо. Так вот, товарищ Джафарзаде, мы обязуемся расширить русло и в установленные сроки сдать мост. Наше слово твердое, можете не беспокоиться.

Я молчала. Никогда еще я не была в такой растерянности. Немыслимо было даже представить себе, что ребята плохо подумают об Адиле, моем Адиле! Но я ничего не могла сказать сейчас в его защиту, я тоже считала, что он не прав. Они с таким интересом говорили о будущем мосте, так дружно работали! И почему Адиль упрямится? Я хоть и не имела еще никакого опыта, но понимала, что мы не можем формально относиться к проекту, намеренно не замечать его ошибок! А мой муж, опытный инженер, – неужели он думает по-другому?

– Знаешь, Адиль, – сказала я мужу вечером, когда мы пили чай за столиком перед палаткой, – мне сегодня очень неловко было перед товарищами.

– Почему? – спросил он удивленно.

– Потому что, мне кажется, они правы.

– Это не так, Сария. Я сказал сегодня им и повторяю тебе: если каждый рабочий начнет вносить исправления в проект, составленный опытными, знающими инженерами и утвержденный сотней инстанций, мы никогда не закончим строительство. Существуют сроки. В точно определенное министерством время я должен завершить все работы и сдать эту дорогу приемной комиссии. Это же очень просто. Не понимаю, о чем тут говорить...

Да... Говорить больше было действительно не о чем. Да мне уже и не хотелось ни говорить, ни спорить, все стало вдруг безразлично. Я пошла в палатку и начала стелить постель.

– Ну, будем там, наверху, продолжать или начнем здесь ворочать? – спросил Солтан, когда мы утром собрались на стройплощадке.

– Чего ж воду в ступе толочь?! – сердито отозвался бульдозерист. – Решили ведь вчера!

Гариб не смотрел на меня. Конечно, они теперь будут думать, что я заодно с мужем!

– Ну тогда полезли наверх, – с несвойственной ему мрачностью отозвался Керемхан. – Ты как считаешь, Сария?

– Как решит бригада, – весело ответила я, довольная, что именно сейчас Керемхан вдруг обратился ко мне на «ты».

– А что, если вести работы параллельно? – с глубокомысленным видом предложил Солтан. – Как на Братской ГЭС. Полдня наверху, полдня внизу. По крайней мере, у начальника нервы будут в порядке.

– Что ж, это дело! – оживился Керемхан. – С утра, пока начальника нет, – наверху, а после обеда – на мосту, и вкалывать, пока дневную норму не дадим!

Предложение было принято единогласно.

Так в несколько необычных условиях началась моя трудовая деятельность. Сначала мне даже нравилась эта таинственная обстановка, было весело и немножко походило на игру. Потом стало обидно.

Мост Адиль не забывал – раза два даже присылал нормировщиков замерять нашу выработку, но той работой, которую мы делали наверху, тяжелой, изнурительной и очень важной (он ведь хорошо это понимал!), Адиль совершенно не интересовался. Я прятала от мужа свои исцарапанные, до крови ободранные руки, – он не должен знать, что, несмотря на протесты мужчин, я вместе с ними долблю камни, корчую пни, таскаю цемент. А я так мечтала, когда ехала сюда, что буду делиться с мужем всеми новыми впечатлениями, всеми мыслями... Адиль ничего не спрашивал о моих товарищах, о том, как они ко мне относятся. Неужели ему неинтересно?.. Разве дело только в том, чтобы выполнить план и уложиться в сроки? Я все отчетливее ощущала, что начинаю жить двойной жизнью: работа, товарищи, наши общие интересы – это одна жизнь, трудная, увлекательная, полная новых впечатлений, но она кончалась с окончанием рабочего дня. Возвращаясь в палатку, я становилась только женой начальника строительства. Всем своим видом Адиль давал понять, что моя работа – пустяки и не стоит о ней говорить. Я молчала.

Даже когда расширение русла было закончено, Адиль сделал вид, что ничего не произошло, хотя техник, которого он прислал, симпатичный молодой парень, весело поздравивший нас с первой победой, конечно, докладывал об этом ему.

Строительство дороги шло быстрыми темпами. Нужно было закончить основные работы до осенних дождей. Мост, который строила наша бригада, был частью большого, важного дела. Мы хорошо понимали это, и нас не нужно было подгонять.

Закончив расчистку русла, мы крепко взялись за «малыша» (так мы называли наш мост) и сразу стали опережать график. Адиль действительно мог не беспокоиться. Я больше не чувствовала себя здесь новичком. Расширились мои «теоретические познания», а главное, я научилась неплохо орудовать ломом, подавать камни, готовить раствор, а при случае и сгружать стройматериалы.

У меня уже почти не болела спина – в обед мы даже иногда играли в теннис, а вечером я занималась хозяйством: готовила, стирала, гладила...

Каждое воскресенье я отправлялась в район на базар.

– Может быть, и нам что-нибудь захватишь, Сария-ханум? – спросил как-то Солтан, подходя к машине.

– А что?

– Ну чего-нибудь... мяса, яиц, овощей, да что хочешь.

– Ясно, – усмехнулась я, включая мотор. – Будет сделано.

Так я сказала, хотя и сознавала очень хорошо, что Адилью это не понравится. Жена начальника строительства покупает продукты для рабочих, – а как же авторитет?

Поддерживать авторитет мужа вообще оказалось довольно мучительно. Когда я готовила ужин, и вкусный запах жареного мяса разносился по лагерю, мне было не по себе. Ведь ничего не стоило сделать лишний десяток котлет, раз уж я все равно вожусь с мясорубкой, а ребята были бы сыты. Я стала хитрить: когда Адилья не было, быстренько готовила для них какое-нибудь нехитрое кушанье и относила в палатку.

Как-то зайдя туда, я увидела, что Гариб сидит в одних брюках, а майка и ковбойка висят на ветке.

– Сами стирали?

– Сам. Заметно? Не очень-то у меня получается. И в армии не научился.

– Н-да... Приносите, когда высохнет, хоть поглажу. У вас ведь нет утюга?

– Что вы, зачем? Это я просто не успел отнести в деревню, мне там стирает одна женщина.

– Ну, раз уж не успели, приносите.

Конечно, он ничего не принес. После работы я разогрела утюг, сама сняла рубашку с ветки и выгладила. Гладила я ее почему-то очень старательно, хотя знала, что в ней не на концерт идти. Я заметила, что Гариб никогда не застегивает ковбойку на все пуговицы, поэтому отвороты выгладила и изнутри. В общем, когда я сложила рубашку, она была словно из магазина. Я как раз любовалась делом своих рук, когда подъехал Адиль.

– Чья это рубашка? – спросил он, входя.

- Бульдозериста, Гариба.
- Что это ты вдруг решила на него стирать?
- Да он сам стирал, я только погладила, пуговицу вот пришила.
- Странно... Не понимаю, зачем тебе это нужно...

Он взял мыло и полотенце и пошел к реке. Когда он спустился вниз, я взяла ковбойку, побежала к палатке рабочих, быстро положила рубашку на койку Гариба, потом не спеша, степенно вернулась и стала накрывать на стол. Приготовила салат. Положила ножи, вилки. Разлила суп по тарелкам и разогрела жареное мясо. В маленький хрустальный графинчик, привезенный из Баку, налила ледяной речной воды. Рядом поставила стакан с тюльпанами, которые нарвала у подножья горы. Стол выглядел прямо празднично.

Адиль вернулся веселый, розовый от холодной воды. Мы с удовольствием принялись за еду – аппетита нам обоим не занимать.

С гор дул прохладный ветерок, несущий аромат цветущих диких яблонь, трава кругом была зеленая и много цветов. Хорошо!

Из палатки рабочих послышался смех и громкие голоса. Керемхан неожиданно высоким, звонким голосом запел веселую старинную песенку о дочери хаджи.

Пел он здорово. Да и песенка была задорная!

Если тебя отдадут за меня,
Толстую дочь хаджи я выставлю за дверь.

Я рассмеялась.

– Адиль, ты чего такой кислый? – Мне хотелось, чтобы ему было весело.

– Да я вовсе не кислый. Удивляюсь только, как ты можешь смеяться?! Неужели не понимаешь, что это пошлость!

Я удивленно посмотрела на мужа – первый раз он говорил со мной резко. Он, видимо, очень рассердился, даже лицо покрылось пятнами, а ведь он такой сдержанный. Непонятно... Может быть, я действительно очень глупа и смеяться тут нечему. Ну и что? Все равно весело: «Толстую дочь хаджи я выставлю за дверь».

«Ну зачем ты сердись, Адиль? – думала я, с тоской наблюдая, как он кладет варенье в чай и размешивает его ложечкой. – Может, ты и прав, но мне было смешно!.. И знаешь, сердись не сердись, а если Гарибу или Керемхану надо будет погладить рубашку, я поглажу. И тебе придется к этому привыкнуть, иначе я не могу».

– Полежи, Адиль, ты устал сегодня.

– А ты?

– А я пока уберу со стола.

Адиль ничего не ответил, встал и пошел в палатку. Я вымыла посуду, поставила чайник – после ужина Адиль всегда пил чай.

Как хорошо кругом!

Снежная вершина вдали, похожая на парящего в небе белого орла, зеленые молчаливые горы, аромат цветущих яблонь... Мне захотелось стать самой прекрасной и сильной – слиться с этой торжествующей красотой...

Я умылась, взяла зеркало и стала расчесывать свои короткие волнистые волосы, которые вечно почему-то путаются.

Адиль лежал на кровати и держал перед собой газету, но смотрел на меня.

– Ты что это прихорашиваешься, – спросил он, зевнув, – собираешься на концерт самодеятельности?

– Нет, Адиль, не на концерт. Поиграть в теннис.

– Разве здесь есть корт?

– Гариб своим бульдозером такую площадку выровнял, что лучше всякого корта. Он меня вчера в обед обставил с позорным счетом. Должна же я взять реванш! А ты ложись, отдыхай. Приду – чай будем пить.

Он ничего не ответил и снова взял газету. Я достала ракетку.

– Ну я пошла, Адильджан. Пока!

Солтан играл с Керемханом, Гариб сидел на большом камне и перочинным ножом вырезал из куска дерева чубук. Увидев меня, он встал и принес мне табуретку.

– Вот, Сария-ханум, полюбуйся на своего приятеля, – Керемхан кивнул на Солтана. Керемхан и Солтан давно уже были со мной на «ты», только Гариб, видимо, считал это недопустимым. – Сто потов с него согнал! А еще рыпается! Держи! – крикнул Керемхан, сильным, точным ударом посылая мяч за сетку.

– Цыплят по осени считают! – откликнулся Солтан, отбивая мяч.

– Обставят они нас с вами, Солтан!.. – пожаловалась я.

– Ничего, Сария-ханум, мы им еще покажем! Дай только разыграться!..

И правда, на этот раз Солтан выиграл и начал дразнить приятеля.

– Ну, это я тебе просто фору дал, – шутливо отмахнулся Керемхан. – Сарию-ханум не хотелось расстраивать.

– Дождешься от тебя милости, как же! – Солтан вытер платком потное красное лицо и, очень довольный собой, пошел умываться.

– Вставайте, что ж вы? – сказала я Гарибу, вынимая из чехла ракетку, и сбросила на траву свою куртку.

Бульдозерист не спеша поднялся, повесил на ветку мою куртку и, глядя в сторону, произнес словно нехотя:

– Давайте...

«До чего же он уверен в себе! Противный! Ему даже лень играть со мной по настоящему. Ну ладно, я ему сейчас покажу!»

– Знаешь что, Гарибджан, – заметил Керемхан, внимательно следивший за нашей игрой, – тебе сегодня не сдобровать, Сария-ханум играет как зверь!

Я и правда хорошо играла и не могла понять, почему так легко проиграла Гарибу вчера, – ведь в техникуме я была одной из лучших теннисисток!.. Солтана и Керемхана я обставляла запросто, а Гариба – ни разу, хотя он не так уж хорошо играл. Это было непонятно и злило...

Сегодня я надела легкое короткое платье с рукавами по локоть и теннисные туфли, чтобы было легче. Я носилась по площадке как сумасшедшая, давала резаные мячи, мазала, спорила, обижалась... Солтан болел за меня, Керемхан – за Гариба. Один раз я даже замахнулась на него ракеткой, когда он особенно ревностно защищал друга. Керемхан закрыл голову руками и отбежал в сторону.

– Убьет, ей-богу, убьет!.. Вы, ребята, подальше от нее!

Гариб играл молча и серьезно; он, казалось, даже не слышал Керемхана. Спокойно, равнодушно поглядывал он на меня, видимо, не сомневаясь, что обыграть его мне не под силу. Это взбесило меня, и я поклялась себе: умру, но выиграю. Однако я все время отвлекалась от игры – следила не столько за мячом, сколько за невозмутимым лицом Гариба. А он не давал мне ни малейшей передышки: точными, сильными ударами посылал мяч то туда, то сюда, и я носилась по площадке потная, злая... Иногда он чуть заметно улыбался и тут же отворачивался, замечая мое бешенство.

Разумеется, он снова обставил меня – я не выиграла ни одного сета.

– Дайте, пожалуйста, куртку, вы очень высоко ее повесили, – сквозь зубы процедила я, когда мы кончили играть.

Гариб снял куртку с ветки и подал мне, держа двумя руками. Я сделала вид, что не заметила его подчеркнутой вежливости, – мне не хотелось его благодарить.

– А может, со мной сыграешь? – спросил Солтан.

– Нет, хватит на сегодня, – бросила я. Играть мне уже не хотелось.

– Ну, раз не хочешь играть, давай черешню с нами есть, – сказал Керемхан, выходя из палатки с целым решетом черешни. – Первая в этом году.

Мы уселись на траве. Я ела черешню, далеко выплевывая косточки. Гариб снова принялся за чубук – перочинным ножом он вырезал на нем затейливый узор. Вдруг я заметила, что он, улыбаясь, смотрит на меня.

– Что вы смеетесь?! – набросилась я на него. – Рады, что обыграли?

– Да нет... – Он махнул рукой. – Просто смотрю, как вы далеко косточки выплевываете. Когда я был маленьким, мы состязания устраивали: наберем в рот воды – и кто дальше брызнет... Смешно...

– Значит, я вам сейчас кажусь девчонкой?

– Что ты! – поспешно вмешался Керемхан, встревоженно посмотрев на Гариба. – Он просто шутит!

– Почему? – усмехнулся Гариб. – Разве это так уж плохо – стать снова ребенком? Если бы вернулось детство... – задумчиво проговорил он, не отрывая глаз от своего чубука.

– Что бы вы сделали? – с интересом спросила я.

Гариб не ответил, только сдвинул свои густые брови. Легкий ветерок поднял его светлые волнистые волосы, и лицо его вдруг стало мягким, задумчивым.

«Почему с Керемханом и Солтаном мы на «ты», – думала я, – а вот с ним не получается? Ведь даже и Адиль невольно отделяет его от других... не открыто, конечно, – в душе. Почему?»

Послышался грохот – это трехтонка привезла долгожданные трубы. Мы быстро сгрузили их.

Странно было видеть чугунные трубы на свежей траве, среди ярких цветов. Они были огромные, черные, кое-где покрытые ржавчиной. Однако я заметила, что рабочие смотрят на них с удовольствием, особенно Гариб.

«Да, так что же ты сделал бы, если бы вернулось детство?» – подумала я, но не спросила.

– Ой, засиделась, Адиль-то, наверное, уже встал. – Я вскочила. – До завтра, ребята, спокойной ночи.

Адиль сидел около палатки и аккуратно очиненным карандашом записывал что-то в тетрадку.

– Ты давно встал? – спросила я виновато. – Сейчас будем чай пить. Ты знаешь – трубы привезли!

– Я видел.

– Здорово, правда?

– Что здорово?

– Ну, вот эти трубы!.. Черные, огромные и на яркой траве. Что-то в этом есть таинственное, захватывающее...

– Что же здесь захватывающего, глупышка? Ржавые чугунные трубы...

Он улыбнулся, как всегда, ласково и снисходительно.

– А знаешь, Адиль, бульдозерист опять меня обыграл!

– Что ж это ты? Досадно, наверное?

– Ой, ты себе представить не можешь, до чего я разозлилась! Почему-то совершенно уверена была, что уж сегодня-то его одолею... Тебе с вареньем?

– Пожалуй...

Я положила в вазочку любимого варенья Адила – кизилового. Потом налила чаю – себе крепкого, Адилю пожиже (он считает, что крепкий чай вреден).

– Знаешь, Адиль, мы сегодня здорово работали. Если так дело пойдет и дальше, очень быстро управимся с мостом.

Он ничего не ответил.

– Адиль, а после этого моста мы будем строить там, за красной скалой?

Он молча кивнул.

– Как все-таки здорово, что мы с тобой приехали сюда! – сказала я. – Кончится строительство, мы уедем, а мосты останутся. Это как добрая память о нас... Люди будут ездить туда, за перевал, на фермы, и не будут знать, кто построил этот мост, а построили его мы! Правда, здорово?

– Конечно.

– А знаешь, эти строители очень дельные ребята, серьезные... Гариб, оказывается, даже учится заочно в строительном институте. Инженером будет, представляешь!

– Это он тебе сказал?

– Нет, Солтан. Вчера увидела я у него «Физику»... ну и спросила Солтана. Я тоже хочу поступить на заочный. Как ты думаешь?

– Можно, если хочешь... Между прочим, этот бульдозерист очень красивый парень, – сказал Адиль, вертя в руках подстаканник. – Ты не замечала?

– Красивый... – ответила я не сразу. – Гариб красивый парень, но что-то в нем есть неприятное... Не знаю, как сказать... Понимаешь, скрытный он очень, а иногда грубит ни с того ни с сего... неровный какой-то... И на смех поднять любит. Он тут как-то у меня увидел «Конструкции мостов» – знаешь, какую физиономию соорудил! Сам учится, а другим нельзя...

– По-моему, ты выдумываешь.

– Может быть... А знаешь, он ведь танкистом был.

– Я слышал.

– Адиль, а ты совсем не был в армии?

– Не был. А ты почему спросила?

– Да так... Завтра закладываем основание моста. Закончим его, сяду за руль – и как газану! Первая проеду по мосту. И прямо туда, на фермы, за перевал!

– Ты что же, одна туда собралась? – с улыбкой спросил Адиль.

– Что ты! С тобой, конечно!

Мы немного помолчали.

– Знаешь, мне иногда почему-то кажется, что там, за перевалом, не просто обычные животноводческие фермы, а какая-то таинственная страна, и люди там говорят на каком-то своем языке... И все счастливы...

– А разве ты не счастлива, Сария?

– Нет, я счастлива, конечно, но там все, все счастливы! Как при коммунизме! Понимаешь? Вот такое чувство.

Адиль не ответил, взглянул на перевал и слегка пожал плечами.

Солнце село.

Я долго не могла заснуть.

Из палатки рабочих доносился смех. Им было весело. Строители... Строители моста, я тоже строитель... Почему у Адилья такое плохое настроение?... Два дня подряд я не выиграла у Гариба... Здорово он бьет!.. И работает здорово... Господи, о чем я думаю?

Я перевернулась на спину и в дверь палатки стала глядеть на темное небо. Мерцают звезды... Река шумит в ущелье... Мы строим мост... Да, мост...

Утром мы с Адилем поднялись рано и спустились к реке – умыться.

Вода была такая прозрачная, что можно было разглядеть каждый камешек на дне. Солнце освещало долину косыми скользкими лучами. В лесу, не умолкая, пели птицы.

Когда мы возвращались в палатку, я с удивлением увидела, что Солтан, Керемхан и Гариб выстроились в ряд посреди дороги. На них были только майки и трусы. Оказывается, ребята собирались бежать наперегонки. Я быстро сунула в руки Адилью мыло и полотенце и встала рядом с ребятами.

– Побежишь? – удивленно спросил Керемхан. – Но у нас жесткие условия, и для дам скидки не будет – всем отставшим по пятнадцать оплеух от чемпиона.

– Идет! – не раздумывая, воскликнула я. – Готовьте щеки!

– Раз-два-три! – скомандовал Керемхан.

Стометровку я бегала в техникуме лучше всех. Оттолкнувшись от большого платана, который обозначал финиш, я в том же темпе бросилась обратно. И прибежала первой. Последним оказался Гариб, он был тяжеловат для стометровки.

– Здорово! – задыхаясь, проговорил Керемхан. – Вот бегаешь!

– Compliments потом! – коротко бросила я. – Подставляйте физиономии!

Они встали рядом и смешно надули щеки. Отшлепав Солтана и Керемхана, я подошла к Гарибу.

– Так ничего не выйдет, – я окинула его взглядом с ног до головы, – вам придется нагнуться.

Он со вздохом взглянул на товарищей, улыбнулся и наклонился ко мне.

– Не жалея его, Сария-ханум, – подзадорил меня Солтан, – вспомни вчерашний теннис.

Гариба я отхлопала на совесть.

– Ну? – спросила я, когда он смущенно потирал то одну, то другую щеку. – Еще побегим?

– Нет, – засмеялся Гариб, – набегался. Лучше в теннис приходите играть.

Позади послышался шум мотора. Мы обернулись. Наш газик промчался мимо. Адиль сидел за рулем. Что такое? Куда ему понадобилось так срочно? Он даже ничего не сказал мне.

Я пошла в палатку. Муж уехал без завтрака. Ничего не понимая, я стояла посреди палатки и почему-то смотрела на куртку Адилья, брошенную на стол. Она была от того самого спортивного костюма, который я заказывала для мужа по своему вкусу. Костюм был простой и в то же время очень элегантный, и очень шел Адилью. В нем как-то незаметна была его солидность, степенность, и казался мне он совсем близким, простым парнем.

Сейчас я смотрела на куртку Адилья и уже не замечала ни аромата цветов, ни яркой зелени, ни веселого пения птиц. Кругом словно образовалась мертвая, немая пустота.

Я налила себе чаю, намазала масла на хлеб... и вдруг отчетливо ощутила, что не смогу сейчас проглотить ни куска, что-то мешает мне. Тогда я взяла куртку Адилья и повесила ее на вешалку, которую раньше прибила к дубу рядом с палаткой. Теперь я ее не видела.

Утро было удивительное: тихое, свежее утро в горах. Солнце словно парило над горами. Река шумела внизу как-то особенно весело и беззаботно...

Мимо прошел Гариб, – наверное, направился к стройплощадке. Лицо, как обычно, спокойное и серьезное, а мокрые, потемневшие волосы колечками спускались на лоб. Видимо, после утренней пробежки мылся в нашей холодной, бурной речке. Гариб кивнул мне, веселая улыбка мелькнула у него на лице, но он вдруг почему-то отвернулся.

Я вспомнила, что еще не причесывалась сегодня, вернулась в палатку и, усевшись перед маленьким складным зеркалом, стала приводить в порядок волосы. Потрогала рубец на левой щеке. Вчера я несколько раз замечала, что Гариб смотрит на него.

Когда я была девчонкой, меня мучил этот шрам – я его стеснялась, а сейчас мне показалось, что он даже придает моему лицу некоторую оригинальность. «Интересно, Гариб это заметил?» – подумала я. От этой неожиданной мысли почему-то стало легко и весело – на работу я отправилась в прекрасном настроении.

– Вот, Сария-ханум, подпиши-ка, – сказал Солтан, протягивая мне авторучку и какую-то бумагу.

В ней значилось, что члены бригады строителей, Солтан Гусейнов, Керемхан Ибрагимов, Гарибджан Велиев и Сария Джафарзаде, начали укладку ферм этого моста.

Я тщательно вывела свою фамилию под их подписями и стала осматривать фундамент. На душе у меня было ясно и радостно, как в большой праздник.

– Порядок! Можно начинать! – крикнула я ребятам.

Солтан сунул бумагу в бутылку из-под пива, тщательно запечатал ее и замуровал в фундамент.

– Двадцать один залп из семнадцати орудий – огонь! – крикнул Керемхан и протянул к нам руки. Мы – Гариб, Солтан и я – были у него сегодня помощниками, подавали камни.

Я передавала Солтану тяжелые шершавые камни и думала: почему не мне пришло в голову составить такую бумагу? Никогда бы не догадалась, а ведь как здорово! Хорошие они ребята – дали и мне подписать, а какой я еще, в сущности, работник? Для меня началась новая жизнь – новые отношения с людьми, новые обязанности. Как я буду жить теперь, когда становлюсь настоящим строителем? Товарищи у меня замечательные, мне с ними легко, весело. Правда, это больше касалось Солтана и Керемхана, с Гарибом все было не так просто – он словно стеснялся меня... И у меня к нему было какое-то странное отношение: почему-то молнией промелькнула мысль, когда я ставила свою подпись рядом с подписью Гариба, что бумага, которую мы подписывали, похожа на брачное свидетельство. Надо же – такая нелепость!

– Жалко, что Адиль уехал! – сказала я Гарибу. – Он бы тоже подписался. Правда?

– Конечно, – невозмутимо отозвался тот. – Начальник же!

Мне почудилась скрытая издевка в этих словах, и я быстро взглянула на Гариба – лицо у него было совершенно серьезное. Почему он так ответил?

Я взяла пустое ведро и пошла за раствором.

Гариб догнал меня.

– Дайте, Сария-ханум! Это не ваше дело, – вразумляюще произнес он, протягивая руку к ведру. – Раствор очень тяжелый.

– Ничего, я не из слабеньких!

Бульдозерист не стал уговаривать – просто разжал мои пальцы, отнял ведро и, не взглянув на меня, пошел к бадье. Я хотела сказать что-нибудь очень злое, очень язвительное, но ничего не придумала. Через минуту он вернулся, неся полное ведро, а я смотрела на него и злилась.

Настроение испортилось. Вспомнила, что Адиль уехал, не простившись, даже не позавтракав... А этот противный Гариб говорит о нем таким тоном...

– Сария-ханум! – снова обратился ко мне Керемхан. – На другом месте работать будешь, вспоминай Кизилый мост. (Мы так прозвали наш мост – вокруг росло очень много кизила.)

– Да... – вздохнул Солтан. – Это еще неизвестно, кто где будет работать...

– А я думаю, что Сария-ханум теперь никуда не уйдет. Всегда будет работать вместе с нами, – задумчиво произнес Гариб.

Я чуть не подскочила от возмущения:

– Почему это вы так уверены?

– Потому... – Гариб медлил, видимо, наслаждаясь моей злобой. – Вы же подписали бумажку. – Он кивнул в ту сторону, где была замурована бутылка. – Теперь нам с вами просто невозможно расстаться.

Я молча глядела на Гариба и, как всегда, не могла понять, шутит он или нет. Мне вдруг показалось, что, говоря «мы», он имеет в виду только нас двоих, и я снова подумала, что та бумажка похожа на брачное свидетельство. Мне стало страшно: Гариб говорил подчеркнуто, будто не сомневался, что все именно так и будет...

– Я вовсе не считаю, что связана этой подписью! – Я деланно засмеялась. – Так что лучше не рассчитывайте.

Гариб спокойно и грустно посмотрел на меня и ничего не ответил.

Какая-то трехтонка, призывно сигнала, показалась из-за поворота и подкатила к нам.

Наши рабочие и три грузчика, приехавшие с машиной, стали разгружать бочки с цементом и другие стройматериалы. Я пошла в свою палатку. Было уже время обеда.

Обед, как всегда, приготовила вкусный – за время замужества чему-чему, а уж этому я научилась. Но есть мне не хотелось – странное поведение Адилья не давало мне покоя. Конечно, если бы я не побежала с ними наперегонки, а быстренько вернулась домой, он не уехал бы, не простившись. Но почему, собственно, я не должна была бежать? Ерунда! И завтра побегу, если это теперь их ежедневная зарядка! А ты, Адиль, не прав. Мы здесь не в гостях у твоих родственников, я работаю, они мои товарищи, и я веду себя с ними так, как считаю нужным.

Адиль очень любит плов, поэтому я принялась перебирать рис, хотя мне очень хотелось просто полежать в тени, а не возиться со стряпней. К тому же обед у меня был готов еще с вечера. Ну ничего, зато хоть теперь Адиль будет доволен.

Я постелила белую крахмальную скатерть, достала банку консервов, которые очень любил муж, и, оставив стол произведениями своей домашней кулинарии, вернулась на работу, так ничего и не поев. Мне хотелось поужинать вместе с Адилем, а он все не приезжал.

До самого вечера мы выкладывали стены моста, помогая Керемхану.

– Что, устала? – несколько раз ласково обращался он ко мне. – Ничего, на то мы и строители! «Мы наш, мы новый мир построим!» – неожиданно пропел он. – Понимаешь?

«Мы строим новый мир», – думала я, и этим новым миром почему-то казались мне те таинственные животноводческие фермы, в горах под самыми звездами, к которым проехать можно только по нашему мосту. По нашему, потому что в его основании лежит записка с нашими подписями – моей и Гариба. Нет, почему же только моей и Гариба? А Солтан, Керемхан? Нас же четверо!

– Да! – сказал Керемхан, устало отирая со лба пот, когда солнце уже стало клониться к западу. – Неплохой, между прочим, мостик получается. Ох, представляю себе: кончим, Сария-ханум сядет за руль, посадит рядом начальника, даст газ и... по нашему мосту! Здорово!

– А почему ты думаешь, что Сария-ханум сядет за руль? Начальник, наверное, сам захочет первую машину по мосту провести, – сказал Солтан.

– Не похоже! – усомнился Керемхан. – Мне кажется, она никому руль не отдаст. Верно, Сария-ханум?

– Вообще верно, – ответила я, обращаясь почему-то к Гарибу. – Если уж я сижу в машине, люблю сама держать руль.

– Но для начальника-то нашего, наверное, сделаете исключение? – Гариб насмешливо взглянул на меня.

– Для него – конечно! – с вызовом ответила я.

Гариб посмотрел на меня долгим, пристальным взглядом.

... Адиль вернулся около четырех. Оставив газик у палатки, направился прямо к нам. Он казался веселым – я никак не ожидала этого сегодня.

– Ну, ребята, как дела?

– Да ничего, не жалуемся...

– Мне сегодня звонил министр... Кажется, там довольны нашей работой...

Я взглянула на Гариба. Он улыбался. Это была та самая дерзкая, вызывающая улыбка, которую я видела на его лице в день нашего приезда. Мне показалось, что он снова стоит на краю пропасти и усмехается, наслаждаясь моим ужасом...

– Я доложил о нашей работе. Ваши имена упомянул. – Адиль сделал многозначительную паузу и посмотрел на Солтана. – Просил, чтобы к нам на стройку прислали кого-нибудь из газеты. Пусть посмотрят, оценят... Может быть, и очерк напишут.

У Солтана и Керемхана были совершенно непроницаемые лица. На начальника они не глядели. Бульдозерист же не прятал глаз, он смотрел все так же дерзко и насмешливо, но почему-то не на Адилья, а на меня...

– А зачем он нужен, очерк этот? – спросил Солтан.

– Как это зачем? – искренне удивился Адиль.

– Пойдем, Адиль, ты наверное, есть хочешь. Голодный утром уехал.

Адиль недоумевающе посмотрел на меня, потом на остальных. Повернулся и, не сказав больше ни слова, пошел вслед за мной к нашей палатке.

Когда, переодевшись, он сел за стол, из палатки рабочих послышался громкий смех.

Я положила плов в тарелку и поставила ее перед Адилем.

– А ты?

– Я не хочу... Я ела...

– Ну как же я один?..

– Подумаешь, больше достанется, – попыталась я пошутить.

Адиль охотно улыбнулся мне в ответ.

– Да, Сария, понимаешь, доволен мной министр...

Из палатки ребят опять послышался смех.

– Неплохо для начала, как ты считаешь?

– Конечно, Адиль.

Если тебя отдадут за меня,
Толстую дочь хаджи я выставлю за дверь, –

отчетливо донеслось до нас.

Адиль брезгливо поморщился.

– Ты с ними все-таки будь построже, – сказал он, кивнув в сторону той палатки.

– Что значит «построже»?

– Неужели непонятно?

Я пожала плечами.

– Ты еще есть будешь?

– Нет, Сария, спасибо, наелся.

Он встал из-за стола. Я не смотрела на мужа, но все время чувствовала на себе его озабоченный, вопрошающий взгляд. С остервенением я терла полотенцем посуду. Одна тарелка даже сломалась – конечно, потому, что давно уже была треснута, – но я совершенно не огорчилась. Наоборот, мне казалось: если бы вся посуда разбилась на тысячу кусков, мне стало бы легче.

«В окно камешек летит,
Посмотри, ах, посмотри...» –

пел Керемхан.

Адиль сначала читал газету, потом отложил ее, вошел в палатку и лег на кровать, прикрыв глаза рукой.

Я поставила кипятить чайник. Играть в теннис мне сегодня не хотелось. С Адилем тоже не хотелось говорить. Я сидела на траве у входа в палатку и смотрела перед собой. Долина впереди – глубокая, широкая и голубая, словно море в ясное безветренное утро... Вдалеке горы, сказочные, таинственные, покрытые легкой дымкой... А орел, парящий сейчас над ущельем, если захочет, может взлететь туда, на самую высокую гору, сидеть себе и смотреть на нас сверху. Мне хотелось разреветься. В чем дело? Я не могла этого понять, но чувствовала, что несчастна. И чем больше я слушала шум реки, смотрела на скрытые дымкой горы, на тихие светлые облака, медленно плывшие в высоте, тем все отчетливее становилось это чувство. Мне даже казалось, что кто-то оскорбил меня. Кто, чем – я не знала. Вот если б я могла летать... Почему люди не летают? Почему природа так их обидела? Тогда Гарибу не пришлось бы смеяться над моим испугом там, на краю пропасти.

А Керемхан все распевал свою песенку. Столько в ней удали, бесшабашности, отчаянной веселости!

Нет, не буду реветь!

Когда утром пришла на работу, меня встретили сдержанно. Товарищи, казалось, были чем-то озабочены. Понятно, я так и ожидала. Ведь они не могли знать моих вчерашних дум и сомнений, и сейчас я была им чужой. Гариб даже не взглянул на меня. Как он, наверное, меня презирает!

– Сразимся вечером? – с напускной веселостью спросила я Гариба.

Он осуждающе взглянул на меня, и я сразу почувствовала себя маленькой, жалкой девчонкой.

– Нет, сегодня не могу – нет времени, – сказал Гариб и отвернулся.

«Так тебе и надо – не будешь подлизываться!» – со злостью подумала я. Но промолчать, конечно, не смогла.

– Вы, однако, дорого цените свое время, – сказала я как можно язвительней.

Он посмотрел на меня тяжелым взглядом.

– Не так дорого, как ваш муж.

– Гариб! – строго прикрикнул на него Солтан.

Но бульдозерист словно не слышал. Он подошел ко мне совсем близко и продолжал, усмехаясь:

– Сария-ханум, передайте вашему супругу: мы работаем не для министра и не для вашего мужа.

– Послушай, – дернул его за рукав Солтан, – зачем ты все это Сарии-ханум говоришь? Она-то при чем?

– Да нет, почему же? – сказала я, глядя прямо в глаза Гарибу. – Я в точности передам мужу ваши слова.

– Да уж, пожалуйста.

– Прекрати, Гариб, – резко перебил его Керемхан.

Вечером за чаем я спокойно, как будто это были какие-то пустяки, передала мужу «просьбу» бульдозериста. Адиль промолчал.

Я подождала немного и встала.

– Пойду поиграю в теннис.

Когда я пришла, Солтан играл с Керемханом. Гариб лежал на траве у входа в палатку и, заложив под голову руки, смотрел в небо. Он не встал.

Как только Солтан и Керемхан кончили партию, я сняла куртку, взяла ракетку и тоном, не допускающим возражений, обратилась к Гарибу:

– Вставайте! Будем играть! Между прочим, вашу просьбу я выполнила – доложила начальнику.

– Очень вам благодарен.

– Не стоит!

Гариб постепенно развеселился. Я заметила, что сегодня он явно старался проиграть, словно чувствовал себя виноватым: бил неточно, давал легкие подачи, пропускал мячи.

– Вы совершенно напрасно щадите меня, – сказала я как можно небрежнее. – Можете быть уверены, что я не нуждаюсь в поблажке. Играйте всерьез или давайте бросим.

– Хорошо, – ответил он. – Будем играть всерьез.

Через несколько минут я уже металась по корту, не успевая отбивать мячи.

Когда мы кончили с привычным уже для меня результатом, я накинула куртку и села на траву рядом с Солтаном и Керемханом.

– Сария-ханум, – обратился ко мне Солтан, – ты не сердись на Гариба.

– И не думаю, – сказала я, покусывая травинку.

– Правда, не сердись. Ведь он почему так взъерепенился – мост этот нам сейчас дороже всего. А нравится наша работа начальству или не нравится – это дело десятое. Ну и обидно, конечно, когда твой супруг не понимает, что не за его «спасибо» мы здесь вкалываем.

Керемхан молчал, о чем-то размышляя. Гариб сидел, уставившись в землю. А на Солтана нашло: он все говорил и говорил. Торжественно, с глубокой убежденностью!

– Мы работаем для людей! Хотим как можно скорее построить мост, чтобы легче было добираться к фермам. Только об этом мы думаем. И наш прежний начальник тоже думал о людях, а не о том, чтобы министру понравиться! Это все показуха. Последний человек тот, кто работает напоказ. А вообще – да здравствуют строители! – неожиданно кончил он, словно желая шуткой замаскировать необычную свою торжественность.

Некоторое время все молчали.

– Завтра выходной, домой пойдете, к своим? – спросила я Солтана.

– Нет. На завтра у нас грандиозные планы – на охоту собираемся.

– На охоту?! – воскликнула я. – А мне можно с вами?

– Не пойдет, Сария-ханум. Не дамское это занятие – мы ведь на медведя идем.

– Ну и что же? И я пойду на медведя!

– А не боишься?

– Вот еще!

– Ну что с тобой делать! Ладно, иди ложись спать. Пойдем на рассвете.

– Возьмете? – обрадованно воскликнула я. – Тогда спокойной ночи!

Адиль сидел над бумагами. Я разобрала постель, положила Адилю на ужин несколько кусков мяса и поставила миску с катыком.

Переоделась. Делать было нечего, ложиться спать рано. Я вынесла из палатки табуретку и села в стороне, чтобы не мешать Адилю. Темнело. Фонарь, висевший у входа в палатку, освещал лицо Адиля и бумаги, лежавшие перед ним.

Я смотрела на мужа, и мне было скучно. Каждый раз, когда Адиль садится за отчет, у меня от зевоты сводит скулы. Начинает казаться, что он уже тысячу лет сидит над этими бумагами и никогда не кончит... Я закинула руки за голову и, зевнув, с хрустом потянулась. Потом вздохнула... Адиль положил карандаш и внимательно посмотрел на меня, стараясь в темноте разглядеть выражение моего лица.

– Ты что вздыхаешь? – спросил он. – Вообще, что происходит с тобой, Сария?

Я пожалала плечами. Адиль снова склонился над бумагами.

«А в самом деле, что происходит? – подумала я. – Ничего особенного, просто спать хочу».

Но спать я не пошла, сидела тихо, стараясь не отвлекать Адилья. Мысли мои словно растворились во мраке. Далекие огоньки, мерцавшие по ту сторону ущелья, казались в этой непроглядной тьме бортовыми огнями судов в безлунную осеннюю ночь. Сразу вспомнился Баку, отец, сестренки... Дул прохладный ветерок. Пахли ночные цветы. Тихо... Вдруг где-то высоко в горах сорвался большой камень и с грохотом покатился по склону. Через несколько секунд в глубине ущелья раздался глухой шум – камень достиг дна.

– Адиль, – вспомнила я и сразу оживилась, – мы завтра на охоту идем! На медведя!

Он поднял голову и внимательно посмотрел на меня.

– На охоту? Ну что ж, идите. Я слышал, охота на медведя очень интересна.

– А ты не хочешь пойти?

– Нет, у меня срочная работа.

Странная вещь! Спокойствие мужа разозлило меня. Я ведь побаивалась, что он рассердится, даже не сразу решилась сказать. Да, странные мы, люди. И не поймешь, что нам нужно...

Я вошла в палатку, разделась и стала рассматривать себя в маленьком зеркале. Мне часто говорили, что я красива, но это как-то мало меня интересовало. Сейчас я с каким-то злым удовлетворением разглядывала свое лицо, шею, волосы. Красива... Ну и что?

Я легла. Но сон не шел ко мне. Чувствовала, что полна сил, что существо мое слито с этой темной ночью, благоухающей, полной таинственной жизни. Как я могу спать, когда вокруг все живет!..

Я долго ворочалась на своей раскладушке. Все мои приподнятые мысли уже давно улетучились, а заснуть я так и не могла – тюфяк, казалось, был набит колючками.

Адиль кончил работать, погасил фонарь и стал раздеваться. В палатке было темно. Я слышала, как скрипит раскладушка под тяжестью его тела, и уже не чувствовала себя ни молодой, ни сильной... Наоборот, теперь мне казалось, что я одинока, затеряна в этой бесконечной ночи... Потом стала думать о завтрашней охоте и заснула.

Едва начало светать, я тихонько поднялась и побежала к речке.

Когда я вернулась, Адиль уже проснулся. Он лежал, заложив руки за голову, и смотрел на виднеющийся вдали темный лес. Я причесалась, надела куртку и стала укладывать в чемоданчик еду на всех: хлеб, сыр, котлеты.

– Будь здоров, Адиль, – сказала я, наклонившись к нему. – Не скучай. Какао в термосе, котлеты я поджарила. А может быть, все-таки соберешься с нами?

Он покачал головой.

– Возьми и термос. Я обойдусь без какао.

– Зачем? Не надо. До свидания, Адиль.

– До свидания.

Мне вдруг стало жалко его, особенно когда он предложил взять термос. Я даже чуть не заплакала. Вышла из палатки и остановилась: «Может быть, не идти?»

Но ребята уже ждали у своей палатки. Увидев меня, Керемхан замахал рукой: «Пошли!»

– У-у! – разочарованно протянула я, подойдя к ним. – У вас у всех ружья, а я как же? Керемхан засмеялся.

– Тоже мне, охотник! Ну ничего, я тебе свое дам, если медведя увидим. А если оправдаешь доверие – не струсил, к следующему разу двустволку тебе купим. Пошли!

Сначала мы шли тропой, той узкой тропой, которая ведет к высокогорным фермам и которую вскоре заменит наша шоссейная дорога. Потом свернули на запад и пошли лесом. Я первый раз была в таком лесу: мощные стволы столетних каштанов, огромные обломки скал, густо поросшие мхом. Сумрачно, страшновато. В густой, по колено траве кое-где виднелись голубые и красные тюльпаны: в полумраке леса они, казалось, дремали. Птиц еще не слышно. Кажется, здесь никогда не ступала нога человека.

Мы шли гуськом по узенькой, едва заметной в густой траве тропке: впереди Керемхан и Солтан, за ними я, последний – Гариб.

Когда мы вышли на открытый, усеянный тюльпанами склон, солнце уже взошло и воздух наполнился ароматом, чуть-чуть напоминающим запах лимона. Тропинка вела наверх, к перевалу. Мы не пошли по ней, а свернули направо и через несколько минут опять очутились в лесу. Здесь тропинка терялась.

– Мы не заблудимся? – спросила я Солтана.

– Ну зачем же! А ты, между прочим, не устала? – не оборачиваясь, спросил он.

– Почему это я должна устать? Ты же не устал.

– У сестрицы Сарии львиное сердце! – засмеялся Керемхан. – Разве она признается!

– Ладно уж! Чем смеяться, лучше бы свое обещание выполнил. Давай ружье!

– До медведей еще далеко. А ружье тяжелое – устанешь.

– Не устану – давай!

– На, если тебе так хочется лишние три кило тащить. Стрелять-то умеешь?

– Стрелять?.. Оно заряжено? – спросила я, осторожно принимая ружье из рук Керемхана.

– А ты как думала! Смотри зря не пали. Солтан даст знак.

– Понятно.

– Ну вы, охотники! – прикрикнул на нас Солтан. – Нельзя шуметь – ведь в лесу. Рядом зверь может оказаться.

Значит, мы уже на охоте! В настоящем лесу! Но мне совсем не страшно. Наоборот, я чувствовала себя смелой, ловкой и была уверена, что мне ничего не стоит уложить на месте любого медведя. Пусть только попадется! Я никогда еще не встречалась с настоящей опасностью, – оказывается, это удивительно приятное ощущение!

Почему Гариб все время молчит?.. Неужели в такое утро у человека может быть плохое настроение? Я обернулась к нему:

– А ваше ружье заряжено?

Он удивленно взглянул на меня: «Кто же ходит на охоту с незаряженным ружьем?» – и утвердительно кивнул головой. У меня загорелись щеки.

– Чем пять раз головой мотать, лучше бы один раз языком пошевелили! – злясь на себя, бросила я Гарибу.

Это было не очень смешно, скорее грубо, но Гариб улыбнулся. Керемхан прыснул, плечи у него затряслись.

– Тише вы! – шикнул на нас Солтан. – Что за болтовня на охоте!

Послышался громкий шум, словно кто-то пробирался сквозь чащу, ломая сухие ветки. Гариб отстранил меня, быстро прошел вперед и стал рядом с Солтаном. Все остановились, прислушиваясь. И снова все затихло.

Держа наготове ружья, мы осторожно пошли в том направлении, откуда слышался шум. Керемхан вынул из-за пояса большой охотничий нож.

– Видишь? – шепнул Солтан, показывая на землю.

Ничего особенного я не видела.

– Что там? – шепотом спросила я Керемхана.

– Трава примята, – значит, прошел кто-то.

Я нагнулась: действительно, в нескольких метрах трава была чуть заметно примята.

Мы осторожно шли по лесу, поднимаясь все выше, – впереди Солтан и Гариб, за ними я и Керемхан. При малейшем шорохе ребята замирали на месте и внимательно прислушивались, зорко оглядываясь по сторонам.

Мы двигались на запад. Начался крутой подъем. Подниматься по каменистому склону было нелегко, приходилось цепляться за ветки, за выступы скал. Все молчали, слышалось только тяжелое дыхание.

Наконец подъем кончился, мы вошли в заросли карагата*. Я сейчас же вспомнила, что медведи очень любят груши и ягоды карагата: в бабушкиных сказках они всегда лакомились ими.

Я шла, раздумывая, можно ли верить сказкам, как вдруг совершенно неожиданно увидела медведя. «Будто в кино!» – мелькнула мысль. Большой мохнатый медведь, поднявшись на задние лапы, смотрел на нас маленькими черными глазками. Смотрел совсем не враждебно, – казалось, он даже рад встрече. Поэтому, когда Солтан и Гариб выстрелили, я не сразу поняла, зачем они это сделали.

Едва дым рассеялся, я увидела, что медведь медленно поднимается с земли. Только тут я вспомнила, что держу в руках заряженное ружье. «Нужно стрелять!» – мелькнуло у меня в голове. И тут Гариб бросился к раненому зверю.

– Стой! – закричал Солтан, но разъяренный медведь уже обхватил Гариба лапами.

Ничего не соображая, я отшвырнула ружье и с диким воплем бросилась к ним. Медведь, злобно рыча, старался повалить Гариба, а тот, схватив зверя за нижнюю челюсть, не давал ему открыть пасть. Через секунду медведь выпустил Гариба и с тяжелым хрипом повалился на бок – нож Керемхана глубоко вошел ему в спину между лопаток.

Гариб отряхнулся, носовым платком стал вытирать кровь с лица. Солтан и Керемхан внимательно осмотрели его шею, руки, грудь.

– Пустяки! – заключил Солтан. – Царапины, до свадьбы заживут.

Керемхан взглянул на меня и засмеялся. Я вымученно улыбнулась, потом закрыла лицо руками и расплакалась.

– Это как же так, – удивился Солтан. – Такая храбрая женщина – и плачет!.. А ведь правду сказал Керемхан, что у Сарии-ханум львиное сердце, – медведя не побоялась!

Я вытирала слезы и старалась не смотреть на Гариба. Только теперь я опомнилась и поняла, как нелепо вела себя: бросила ружье, подбежала к раненому зверю! И все это с диким визгом, как сумасшедшая!

Керемхан сжег кусочек платка и присыпал пеплом кровоточащие ссадины на лице и руках Гариба. Пепел не хуже йода дезинфицирует раны, это я тоже знала из бабушкиных рассказов.

Я посмотрела на лежащего в траве медведя и вздохнула. Мне все-таки не верилось, что этот добродушный мохнатый зверь мог бы причинить нам вред, – он так дружелюбно смотрел на нас... А мы его убили...

Ребята стали совещаться, как быть с медвежьей тушей. Наконец, решили, что Гариб пойдет к знакомым пчеловодам – они живут неподалеку – и приведет лошадь.

Гариб перезарядил ружье и ушел.

Солтан и Керемхан начали свежевать медведя. Я с интересом наблюдала за их ловкими, быстрыми движениями. Подумать только, а я и не знала, что они к тому же еще и настоящие охотники!

Ребята все время шутили, старались развеселить меня. Но я все еще злилась на себя и потому отмалчивалась.

«А что, если Гарибу другой медведь встретится?» – вдруг пришло мне в голову, и я не удержалась, чтобы не спросить об этом вслух.

– Разберутся как-нибудь, – усмехнулся Солтан. – Ружье у него заряжено. – Он быстро, но внимательно посмотрел на меня и стал объяснять: – Медведь обычно не нападает на человека, уж если только какой-нибудь исключительный случай. Да и вообще они теперь редко попадают. Мы вот десятый раз ходим на охоту и впервые встретили. Тебе просто повезло, Сария-ханум.

Мы расположились под высоким ветвистым орехом. Помня свои обязанности хозяйки, я достала из чемоданчика салфетку и расстелила на траве. Вскоре на ней появились все наши припасы: котлеты, рыбные и мясные консервы, сыр.

– Вот что, друзья, – заявил Солтан, – аппетит у меня сейчас такой, что кажется, медведя сырым съем, и у вас, наверно, не хуже. Поэтому предлагаю на всякий случай отложить долю Гариба.

– Как раз об этом подумала, – сказала я, укладывая остатки обратно в чемоданчик.

Пообедали мы прямо-таки на славу, потом, сытые и умиротворенные, разлеглись на траве.

– Интересно, сколько же здесь мяса? – спросила я, кивнув на спрятанную под ветвями медвежатину.

– Килограммов семьдесят, пожалуй, – ответил Солтан.

- И куда ж вы его денете?
- Продать можно. Ведь медвежье мясо здесь считается целебным. А шкуру подарим тебе, если разрешишь.
- Зачем она мне? – рассмеялась я. – Я не Меджнун, чтобы ходить в звериной шкуре.
- Ну зачем же обязательно ходить? Перед кроватью расстелешь – зимой знаешь как приятно! Подарок будет, память о Кизиловом мосте.
- Я не люблю подарков.
- Не любишь подарков, возьми как добычу, ты ведь тоже участвовала в охоте.
- Ну, добыча – другое дело, – засмеялась я. – А что это там? – Я показала на пещеру внизу, среди зарослей. – Берлога?
- Где? – Солтан приподнялся. – Вот это? Пожалуй, берлога.
- Я вскочила.
- Пошли посмотрим?
- Пошли.
- Солтан зарядил ружье. Керемхан нехотя поднялся и тоже стал заряжать.
- Вы так готовитесь, словно там медведи сидят.
- Осторожность не мешает, – отозвался Солтан. – Этого мы ведь тоже не очень-то ждали, – он кивнул на распластанную на земле шкуру.
- Мне стало страшно: вдруг там и правда медведь? Больше мне что-то не хотелось с ними встречаться. Выскочат из пещеры огромные лохматые чудовища и разорвут нас на части. А Гариб придет и найдет только наши растерзанные тела.
- Ты здесь побудь, Сария-ханум, – словно угадав мои мысли, сказал Солтан.
- Ну почему? – неуверенно возразила я. – И я пойду.
- Не стоит. – Солтан произнес это таким тоном, что возражать я не решилась.
- Они достали фонари и вдвоем осторожно пошли к пещере. Пока они там возились, мне было не по себе. А вдруг...
- Пустая! – крикнул мне Керемхан, выходя из пещеры и перекидывая ружье за спину.
- Можешь посмотреть, если хочешь.
- Я вошла в пещеру и тотчас же выскочила оттуда, не успев разглядеть ничего, кроме груды прелых листьев. Воздух в берлоге был сырой и затхлый, а снаружи так хорошо! Я с наслаждением глотнула чистый горный воздух, снова ощутив тонкий запах лимона.
- Почему так долго нет Гариба? – вслух подумала я.
- Скоро придет, – сказал Солтан и улыбнулся. – Если только друзья не задержат.
- А у него на ферме друзья?
- Есть там одна... Старший пчеловод...
- Пчеловод?
- Да, техникум окончила.
- Странно как-то, женщина – и вдруг пчеловод. И... красивая девушка?
- У-у! Красавица!
- Я посмотрела на свои часики.
- Поздно мы вернемся сегодня. Адиль, наверное, скучает.
- Ничего, как Гариб придет, сразу отправимся. Да вот и он, легок на помине!
- Я вздрогнула, Адиль прав – я совершенно не умею владеть собой. Ну чего ради, спрашивается, я сейчас вздрогнула?
- Гариб ехал верхом, сзади него на крупе сидел мальчик-подросток. Мы побежали им навстречу. Гариб соскочил с лошади.
- Ну как ваш пчеловод? – неожиданно для себя задала я самый глупый вопрос, какой только можно было придумать. Гариб удивленно взглянул на меня.
- А вы откуда о ней знаете?
- Земля слухом полнится.
- Керемхан и Солтан засмеялись. Гариб укоризненно посмотрел на них и покачал головой.
- Ладно, чего уж! – хлопнул его по плечу Солтан. – Люди мы свои, одна бригада. Нечего тайны разводить!
- Да какие тайны? – пожал плечами Гариб.
- В самом деле, ну что за тайны? – язвительно заметила я. – Поболтал человек час-другой с девушкой.

Гариб снова удивленно посмотрел на меня. «Вам-то какое дело до этого?» – казалось, хотел он спросить. Но не спросил.

– Сария-ханум торопится, – объяснил Солтан. – Давайте сворачиваться.

Мы быстро навьючили медвежатину на лошадь, собрали вещи и тронулись в обратный путь.

Когда мы подошли к Кизилловому мосту, солнце было уже совсем низко. Ребята сняли с лошади вьюки, и мальчик сел на нее.

– Не боишься один лесом ехать? – спросила я у парнишки.

Он ничего не ответил, улыбнулся, кивнул нам и, ударив пятками лошадь, затрусил по дороге.

– Такой ничего не боится, – ласково поглядев ему вслед, сказал Солтан.

Он стал разворачивать медвежью шкуру, чтобы просушить, а я пошла к себе.

Адиль читал, лежа на кровати. Увидев меня, он отложил книгу; мне показалось, что муж чем-то расстроен.

– Ну, как охота?

– Просто здорово! – весело воскликнула я. – Жаль, ты не пошел, – мы убили медведя!

Адиль молчал.

– Нет, понимаешь, настоящего медведя! Он чуть не разорвал Гариба...

– Ты устала? – перебил меня муж.

– Немножко. Ужинать будем? Я сейчас приготовлю.

– Не надо, Сария, я сыт. Отдыхай.

Когда я надевала халат, у входа в палатку раздался голос Солтана:

– Можно, товарищ начальник?

Адиль вышел к нему:

– Что случилось?

– Товарищ начальник, не разрешите часа на два машину? Медведя мы взяли, хотим в деревню свезти...

– Машина нужна здесь для дела, а не для коммерческих операций.

– Это конечно, но ведь пропадет мясо-то...

Я подошла к ним:

– Адиль, тебе же машина сегодня не понадобится. А через два часа она будет на месте.

– Может быть, ты предоставишь мне решать такие вопросы? – произнес Адиль, жестко и холодно взглянув на меня. – Я не могу дать машину. – Он повернулся и, не прибавив больше ни слова, скрылся в палатке.

Солтан ушел.

Я подошла к мужу:

– Адиль, почему ты не дал машину? Не съедят же они ее!

– Ты первый раз говоришь со мной таким образом, Сария. Надеюсь, что и последний. Поди сюда, девочка, я объясню тебе, в чем дело. – Адиль усадил меня рядом с собой. – Ну, повезут они это мясо, и тут им встретится автоинспекция. «Куда, какое мясо, чья машина?» Понимаешь? Как я докажу, что материально совершенно не заинтересован в этой операции? Дальше – больше, дойдет до министерства. Начальник строительства, вместо того, чтобы заниматься делом, торгует медвежатинной. Ты, Сария, не знаешь людей, не представляешь себе, как можно раздуть это.

– Господи, но мы-то ведь знаем, что ты тут ни при чем.

– Вы! Кто вам поверит? И получится, что репутация твоего мужа будет подмочена. Поняла?

– Поняла.

– Ты должна хорошенько уяснить себе, каково положение. В первый раз я получил назначение на большую самостоятельную работу, и от того, как я зарекомендую себя, зависит мое будущее. И твое, естественно. А ты говоришь – медвежатина. Поняла меня?

– Поняла.

– Ну и хорошо. Умница моя! – Он взял меня за руки и притянул к себе. Глаза у него чуть сощурились, и на лице появилось то особенное выражение, которое я часто видела, когда он обнимал меня. Я отстранилась. Адиль отпустил мои руки.

Мне уже не хотелось лежать. Я села под большим дубом над обрывом и стала смотреть на бурлящую внизу речку. Почему-то мне вспомнился первый день нашего приезда сюда: бульдозер у самой пропасти и тяжелые глыбы, с грохотом скатывавшиеся вниз. Мне казалось, что с тех пор прошла целая вечность. Мы так славно жили в Баку, а здесь что-то нехорошее встало между нами, я почему-то чувствую себя одинокой. Хотя почему одинокой? А Керемхан, Солтан? А Гариб? Ну да, и Гариб...

Какие они все-таки хорошие, эти ребята. Мне захотелось пойти к ним, но я подумала, что я замужем, что муж мой ответственный работник и от моего поведения в значительной степени зависит его будущее. Впервые мне стало жалко, что я замужем. Прав папа, в наше время, когда женщина работает, незачем так рано выходить замуж...

Я посмотрела на палатку ребят. Все трое стояли у входа. За плечами у Керемхана висела двустволка. Он что-то сказал товарищам и, напевая свою песенку, пошел к лесу. Куда он? Солтан догнал Керемхана, они обернулись и, посмотрев на нашу палатку, засмеялись. Керемхан помахал мне рукой. Я помахала ему в ответ, и мне стало веселее. Замечательный парень этот Керемхан – веселый, добрый... Словно брат...

Я спустилась к реке и умылась. Адиль не должен знать, что я успела пореветь. В прозрачной, чистой воде отражались солнечные лучи. Видна была каждая прожилочка на камнях. Над кустами ежевики, склонившимися к воде, усеянными белыми цветами, порхали золотистые бабочки. Кругом так спокойно, легко, ясно...

Вечером, когда мы с Адилем пили чай у входа в палатку, мимо нас прогремела пустая полупустая. Керемхан выглянул из кабины и кивнул мне.

Минут через пять машина пошла обратно. Керемхан сидел рядом с водителем, Гариб и Солтан стояли в кузове, держась за крышу кабины.

Адиль проводил их взглядом, положил себе в чай варенья и, глотнув из стакана, сказал, словно раздумывая:

– Если они завтра опоздают к началу рабочего дня, всех сниму с работы. Мы должны бороться с малейшими нарушениями дисциплины.

«Мы!» Я на секунду представила себе, что скажет Гариб, когда им объявят, что все они сняты с работы... какое у него будет при этом выражение лица. «Мы»...

* * *

Утром, ровно к восьми, все были на месте. Адиль мельком взглянул на рабочих, заправил газик и уехал...

– Кончай! – весело крикнул Солтан. – Перерыв! Сария-ханум, до нас дошло, что вы кебаб любите, а мы вчера из деревни привезли отменную баранину!.. Будете с нами кебаб есть?

– Еще бы! Сейчас, только замеры кончу.

Мы расположились около их палатки. Гариб разводил огонь, Солтан резал на столе помидоры, привезенные из деревни, а Керемхан нанизывал куски мяса на тонкие, только что обструганные палочки. Рядом с ним стояла полная миска наперченного, потемневшего мяса. Это они заготовили еще утром.

Я под села к Керемхану, взяла палочку.

– Нет! – решительно отстранил меня Керемхан. – Это дело не женское. Борщ, суп, котлеты, даже плов – пожалуйста, а кебаб по-настоящему может изжарить только мужчина.

– Сария-ханум! – просительным тоном сказал Солтан. – Что знает Аллах, должно быть известно и вам, – есть у нас заветная бутылочка. Разрешите, мы ее сейчас достанем...

– Доставайте, разрешаю.

– Слава Богу!

Через минуту на столе была бутылка красного вина и четыре стакана.

– Ну, за нашу бригаду! – Керемхан налил всем и поднял стакан.

Мы тоже подняли свои и, сдвинув их, чокнулись друг с другом. Ребята разом осушили стаканы. Я, конечно, отпила только несколько глотков.

– За досрочное завершение строительства! – провозгласил последний тост Керемхан.

Пора было снова приниматься за работу. Солтан вскочил, командовал: «Бригада, стройсь!» Мы пошли к мосту.

– А малыш наш ничего! – ласково сказал как-то Керемхан, погладив шершавые камни опоры. – Поднимается понемножку!

И правда, с каждым днем наш «малыш» становился все выше, красивее, крепче. Созданный нашими руками он иногда казался мне живым существом: словно ребенок растет, взрослеет и начинает радоваться яркому солнцу, весеннему шуму реки, громким голосам людей...

Чтобы ускорить строительство, Адиль хотел подбросить нам двух рабочих. Мы дружно запротестовали: «Сами поставим нашего малыша на ноги».

– Как знаете, – сказал Адиль. – Возражать не буду, но работа должна быть закончена ровно через два месяца – менять сроки, о которых уже сообщено в центр, я не собираюсь.

– Можете не беспокоиться, товарищ начальник! – уверенно сказал Солтан. – В центре будут вами довольны.

Мы давно уже договорились между собой, что закончим мост на двадцать дней раньше срока. Почему Солтан не сказал Адилю об этом? Теперь тот чувствует себя оскорбленным... И почему так получается: только что всем было весело, хорошо, и вдруг этот неприятный разговор с Адилем... Какой-то мутный осадок на душе...

В этот день муж вернулся домой часов в семь. Ел с аппетитом, шутил – настроение у него было прекрасное.

– Ты что все на часы поглядываешь, Адиль? Куда-нибудь ехать надо?

– Нет, девочка, не ехать. В девятнадцать тридцать будут передавать очерк о нашем строительстве. Включи-ка приемник.

– А откуда ты знаешь? – спросила я, настраивая радиоприемник.

– Звонили сегодня из Баку.

Сначала диктор рассказала о студенческих годах Адилья, о его работе в министерстве.

«Джафарзаде талантливый инженер. За четыре года его работы в министерстве не было ни одного случая, чтобы этот деятельный, энергичный человек не выполнил данного ему поручения. Ему давались все более и более ответственные задания. Вместе с опытом рос и авторитет способного инженера...»

Диктор читала звучным, чистым голосом, отчетливо выговаривая каждое слово.

Муж внимательно слушал, что о нем говорят, и лицо у него было такое, словно он проверял, не пропустил бы диктор чего-нибудь существенного.

Затем в очерке сообщалось о том, что прекрасный организатор Джафарзаде назначен начальником строительства дороги в районе К.

«С приходом нового энергичного руководителя жизнь на строительстве забила ключом. Его, всегда подтянутого, в брезентовых сапогах и пестрой ковбойке, можно видеть на самых ответственных участках строительства...»

Напряженное выражение исчезло с лица Адилья. Он облегченно вздохнул. Видимо, услышал все, чего ждал.

Он смотрел на далекие горные вершины, но я чувствовала, что видит он не их, а свои будущие успехи, награды, повышения...

«Его жена, молодой техник Сария Джафарзаде, руководит на том же участке работами по строительству моста – Кизилового моста, как его назвали строители...»

Я обернулась к Адилю. Он ласково и чуть-чуть покровительственно улыбался мне. Это было уже слишком. А диктор продолжала:

«Молодому технику поручен трудный, ответственный участок. По ее инициативе бригада отказалась от дополнительных рабочих, предложенных администрацией, – строители моста своими силами обещали досрочно закончить все работы. Сария-ханум не останавливается на достигнутом, она собирается поступать на заочное отделение строительного института.

Организаторский талант инженера Адиля...»

«Боже мой, – с ужасом думала я, – ведь у них в палатке тоже есть приемник... Они все слышали!»

Когда диктор кончил, Адиль улыбнулся и ласково-вопросительно посмотрел на меня: «Ну как?»

– Знаешь, Адиль, – вдруг вырвалось у меня, – а я сегодня напилась! Такое у ребят вино замечательное! Жаль, тебя не было.

– Что? Ты пила с ними?

– Да. А что тут особенного? Прекрасное вино!..

Он молча смотрел на меня. Удивление, смешанное с ужасом, было в его взгляде.

Потом сказал негромко:

– Странно... Ты ведь не любишь вина.

– Ну почему же? Если угощают...

– Напрасно ты пила. Я не ожидал этого от тебя.

– Не ожидал?

Я хотела сказать ему, что тоже не ожидала... не ожидала, что буду как оплеванная сидеть сегодня у радиоприемника. Но не нашла достаточно злых и обидных слов, вскочила, с остервенением оттолкнув упавшую табуретку, и бросилась на свою постель.

АДИЛЬ

Я решил проанализировать свои поступки.

То, что сказано в очерке, – не преувеличение. Я действительно делаю все необходимое, чтобы как можно скорее закончить дорогу через перевал. Сколько иногда надо потратить нервов, чтобы хоть на несколько дней раньше срока раздобыть стройматериалы! А не добудешь – простой, вынужденное безделье рабочих, снижается зарплата. У меня на строительстве этого не было еще ни разу. Но зато я ни днем, ни ночью не знаю покоя.

Я знаю, что ответствен за то, как сложится наша жизнь с Сарией. Эта работа на строительстве в значительной степени может определить наши дальнейшие взаимоотношения. Я не фаталист и понимаю, что счастье семьи прежде всего зависит от ее главы. Поэтому и не предаюсь пустым мечтаниям, а стараюсь планировать свое будущее и действовать в соответствии с этим планом. Иначе вести наступление на жизнь невозможно, а без этого для меня нет жизни – я ненавижу оборону, даже активную оборону!

Именно поэтому с первого дня своего назначения на эту работу я повел дело так, чтобы не зависеть от управления. Все полагающиеся мне по смете материалы я требовал от них за месяц до срока. И они очень хорошо понимали, что связываться со мной не стоит, если не хочешь нажить неприятности. И поэтому не я с ними, а они со мной говорили заискивающе: «Подождите три денечка, товарищ Джафарзаде... Не пишите в министерство, товарищ Джафарзаде... Мы обеспечим строительство дороги, товарищ Джафарзаде...» Я сразу поставил себя так, что мне не приходилось обивать пороги, выпрашивая цемент или трубы... Я требую, а не прошу!

Это мне удается. А вот с Сарией... С Сарией труднее.

Скоро год, как она стала моей женой. Мы с ней были совсем мало знакомы, когда я сделал ей предложение. Родители, разумеется, возражали – простая девчонка, отец – шофер. Они хотели бы невестку из знатной, хорошо обеспеченной семьи. Особенно недовольна была мама, она даже пыталась отговаривать, возражать. Но у меня особое мнение на этот счет. Жена обязательно должна быть в чем-то несколько ниже мужа и всегда должна чувствовать это. Тогда (если, конечно, муж человек не тупой и не грубый) ему легко будет строить жизнь семьи так, как он считает нужным. Разумеется, добиваться этого надо очень осторожно, действовать тонко, чтобы жена не чувствовала себя ущемленной. Я во всяком случае очень терпим с Сарией...

Через несколько дней после нашего приезда на строительство я увидел, что Сария пришивает пуговицу к рубашке бульдозериста. «А все-таки права была мама, – подумал я, – дурные манеры всегда будут давать себя знать. Пришивать пуговицу чужому мужчине!..» Но спорить тогда с ней не стал. Потом она собралась играть с рабочими в теннис. Я сказал ей, что считаю неудобным такую фамильярность между рабочими и женой начальника строительства. Сария не придавала значения моим словам, улыбнулась и, взяв ракетку, ушла. На завтра она снова играла с ними в теннис. Я не стал больше говорить о теннисе, – в таких делах надо проявлять величайший такт, иначе можно добиться противоположных результатов...

Я также не препятствовал Сарии идти на охоту. Совершенно ясно, что сейчас моя маленькая жена непроизвольно протестует против малейшего насилия. К тому же, говоря честно, нет ничего страшного, если молодая женщина проводит какое-то свободное время со своей бригадой. Вся сложность лишь в том, что я начальник строительства, а Сария не хочет этого понимать.

Когда мы были в Баку, она всегда слушалась моих советов, хотя и без особого удовольствия. Но здесь... Когда это началось? И в чем причина? Определить необходимо, ибо, только поставив диагноз, можно начать правильное лечение.

Может быть, она увлечена бульдозеристом? Она-то, вижу, очень нравится ему, и это естественно: Сария молода, красива, общительна. Но что может привлекать мою жену в этом парне? Мою жену! Во всяком случае, положение серьезное. Как она смотрела на меня, когда читали очерк! Сколько ненависти и даже презрения было в ее взгляде! Откуда это? Ведь Сария не видела от меня ничего плохого. Зависть исключается. Она не может завидовать моему успеху – я ее муж, ближайший друг. Если меня хвалят, это должно доставлять ей удовольствие. Эту похвалу я заработал своим трудом, энергией, умением работать! Как Сария не понимает, что это необходимо для нашего будущего, для будущего наших детей?!

Тут послышалась песня. Это было как раз после передачи очерка. Пел Керемхан. Слов я не разобрал; видимо, это было что-то веселое (Керемхан довольно наглый парень, но не лишен остроумия). Его приятели громко захохотали и подхватили припев.

Сария стояла у входа и радостно улыбалась, глядя на палатку рабочих. Я кивнул в ту сторону и произнес, стараясь вложить в свои слова как можно больше иронии:

– Однако тебя так и тянет туда магнитом!

Она скользнула взглядом по моему лицу, и на секунду у нее сдвинулись брови, словно она только что увидела меня и никак не может понять, кто этот человек и почему он здесь стоит. Этот взгляд подействовал на меня сильнее сообщения о вине, распитом ею с посторонними мужчинами, – в нем не было нарочитой злобы. Сейчас она не притворялась.

Нет, надо что-то предпринимать! Недопустимо, чтобы моя собственная жена, которой к тому же нет и двадцати лет, смотрела на меня свысока!

Однако я не дал возмущению овладеть собой, спокойно подошел к Сарии и сказал, взяв ее за руку:

– Знаешь что, милая, будет лучше, если ты перестанешь общаться с ними в нерабочее время. Я во всяком случае запрещаю тебе это.

Сария усмехнулась. Никогда раньше я не видел у нее такой наглой усмешки. Я еле удержался, чтобы не закатить ей пощечину.

– Знаешь, Адиль, я терпеть не могу, когда мне что-нибудь запрещают. Обязательно хочется сделать наоборот.

- Да? Раньше я не замечал этого. Ну, в таком случае я тебе не советую ходить к ним. Не советую.
- Но почему, Адиль? – Жена смотрела на меня со спокойным недоумением. Будто не понимала, чертовка, о чем речь.
- Неужели не ясно: замужняя женщина – и трое молодых парней...
- Ну и что? Может быть, ты ревнуешь, Адиль?
- Мне было довольно трудно сохранить спокойствие:
- Я люблю тебя, вот и все.
- Она снова усмехнулась:
- Что же тогда тебя беспокоит?
- Меня беспокоит, что ты так легкомысленна! Не понимаешь простых вещей – положение твоего мужа обязывает тебя достойно...
- Ах, твое положение! Ты прав – мы по-разному, видно, понимаем, что такое достоинство и что такое легкомыслие! Они мои товарищи по работе, понимаешь? То-вари-щи! И я знать ничего не хочу про твое положение!
- Хорошо, не будем спорить. Пора спать, Сария. Стели постели.
- Сейчас постелю. Но ты должен понять, Адиль, я работаю в этой бригаде, и они, Керемхан, Гариб...
- Это все вздор, Сария! – Я старался говорить спокойно и убедительно. – Керемхан, Гариб, Солтан! Не нужны они тебе. Я знаю, к чему стремлюсь, чего хочу достичь, и я никому, даже тебе, не позволю мешать мне! Я ни на одну ступеньку не спущусь с того места, которое занимаю, ради твоих капризов... Понимаешь ты это?
- О, конечно!
- А насчет моей ревности... Кто они такие, чтобы я ревновал к ним жену?
- Люди. Строители.
- Ну и что же? Они неплохо зарабатывают на этом строительстве.
- Ты тоже.
- Что с тобой, Сария? Ты всерьез можешь сравнивать меня с ними?
- Пока не пробовала. Но знаешь, я не уверена, что сравнение будет в твою пользу. Они, по крайней мере, никогда и ничего не боятся.
- А я боюсь?!
- Боишься. Боишься за свою карьеру!
- Я ничего не боюсь. Я только выполняю свои обязанности – перед страной, перед обществом... Я, конечно, не стану изображать, что готов ринуться ради тебя в пропасть! Ты...
- Я уже не мог говорить, меня душил гнев. А она еще улыбалась!
- Конечно, ты не станешь подходить к пропасти! Разве можно рисковать собой! Такой энергичный, способный, талантливый инженер! Так ведь сказано в очерке, который написали по твоему заказу?
- Очерк написан не по моему заказу! – крикнул я.
- Разве? Ты ведь так добивался, чтобы его написали. Почему ты не сказал корреспонденту, что в нашей бригаде есть люди, которые работают несравненно лучше, чем твоя жена, и что о ней совершенно незачем упоминать в очерке?
- Кто же эти доблестные работники?
- Те, кто за двадцать дней выполнят план двух месяцев. Солтан, Керемхан...
- Что же ты не упоминаешь героического бульдозериста?
- Сария гневно взглянула на меня и промолчала.
- Да... Вот уж не думал, что пригрел на груди змею. Ты настоящая гюрза!
- Между прочим, гюрза самая смелая из змей.
- Не знаю, смелая ли, но во всяком случае самая ядовитая... Сравнить мужа черт знает с кем.
- Хватит, Адиль! Я не хочу слушать таких слов о моих товарищах. Тебе-то их не в чем упрекнуть.
- У меня не было сил продолжать этот спор. Да... ничего себе семейная жизнь! Очень мало похоже все это на ту идиллию, которую я рисовал себе до женитьбы!

... Мы познакомились с Сарией на государственном экзамене в техникуме (я был в комиссии от министерства). Тоненькая, стриженная под мальчика девушка в голубой тенниске привлекла мое внимание – она отвечала толково и смело. И к тому же очень живая и симпатичная.

– Что за девушка? – спросил я у одного из преподавателей, моего старого знакомого.

– Эта, стриженная? Сария Багирова. Любопытная девчонка. Спортсменка, потанцевать любит и при всем том удивительно способная и работающая. Из рабочей семьи, между прочим. Отец – шофер. Забавная. Взяла, например, и выучила немецкий без преподавателя.

Я задал Сарии несколько вопросов. (По-немецки я говорю с детства – ходил в группу.) Она отвечала свободно, но произношение ее не могло не вызывать улыбки. Девушка заинтересовала меня. Я так же, по-немецки, попросил ее записать номер моего телефона и после окончания экзаменов позвонить мне в управление.

Сария позвонила. Мы встретились. Потом еще раз. Девушка увлекла меня. Она словно жила в каком-то другом мире – мире ясности, чистоты и беззаботности. Я не стремился проникнуть в этот мир – в нем была неприемлемая для меня примитивность, но прикоснуться к нему, дышать с этой девушкой одним воздухом стало для меня необходимостью. Очень скоро я понял, что не могу жить без Сарии.

Я ворочался без сна и вспоминал ее черные блестящие глаза, белые руки с сильными пальцами, ее звонкий, чистый, девчоночий голос.

Я вставал и начинал ходить по комнате. За стеной похрапывал отец, скрипели пружины на постели матери – не спит, обеспокоенная моей бессонницей. Бойтся, женюсь на Сарии! Эх, мама, мама! Думаешь, несмотря на все свои теории, я не понимаю, что не такая девчонка нужна мне в жены? Все понимаю, но завтра снова грубо оборву тебя, если попытаешься меня отговаривать. Не стану же я объяснять тебе, женщине, что не могу справиться со своим влечением к Сарии, не могу спать, не могу есть, не могу работать!.. Она будет моей женой!

Когда мы расписались, я взял отпуск и месяц провел дома, с Сарией.

Потом... Потом все пошло спокойно, своим чередом. Я приходил с работы, ужинал, ложился на диван... Иногда мы ходили в кино, в гости.

Только сегодня, после передачи очерка, когда она дерзко говорила со мной, уже забытое страстное влечение к Сарии снова овладело мной. Мне казалось, что я впервые вижу эту красивую женщину, и вместе с тем я совершенно отчетливо сознавал, что она стала частью моего существа, я не могу отказаться от нее, не смогу прожить без Сарии ни одного дня.

Да, эта ее нелепая дружба с рабочими, будь она проклята, совершенно лишила меня равновесия. Один Бог знает, чего мне стоили эти ее ежедневные теннисные матчи с молодыми нахальными парнями. Я даже разрешил ей пойти с ними на охоту. Видимо, это попустительство было моей главной ошибкой – Сария стала преувеличивать данную ей свободу действий.

А бульдозерист ее очень интересует – это ясно. Всякий раз, когда Сария видит этого отставного лейтенантика, в глазах у нее появляется беспокойство, и она бросает на меня быстрый, настороженный взгляд. Особенно волноваться нет оснований – Гариб мне не соперник, но следить надо...

Обычно, шестым чувством уловив невидимую еще опасность, я отступаю, переживаю некоторое время, пока препятствие не исчезнет само собой. Так и теперь. У меня оставалась надежда, что она оговорила себя в раздражении, просто чтобы меня побесить. Да... В этой ситуации надо действовать очень осмотрительно. Иначе не миновать катастрофы.

Утром я заговорил с ней так, словно совершенно забыл о вчерашней размолвке, – весело и ласково:

– Сария, я еду сегодня в Гянджу, что тебе привезти?

– Что хочешь, – ответила жена. Улыбка скользнула по ее лицу. Казалось, она тоже забыла о вчерашнем разговоре.

– «Мишек»* хочешь? Ты ведь любишь их. – Я подошел и нежно прикоснулся губами к ее лбу. – Ну, привезти «Мишек»?

Она отстранилась:

– Нет, нет, не надо!

– Почему? Ты же всегда их любила.

– Не надо. Мне не хочется сладкого.

Вечером я все-таки привез ей разных конфет и красивую блузку. Сария взяла все, вежливо поблагодарила меня, но детской радости, с которой она обычно принимала подарки, я не увидел в ее глазах.

После ужина я усадил жену около себя.

– Знаешь, Сария, мне все-таки очень неудобно гонять каждый день в город, утомительно это. Я думаю, нам стоит поселиться в райцентре – лето в этом году не жаркое. Как ты считаешь?

Сария внимательно посмотрела на меня и пожала плечами.

– Это все верно, но как же моя работа?

– Ах ты, мой работник! – Я похлопал ее по плечу. – Как-нибудь достроят мост без тебя.

– Нет, Адиль, это исключено. Пока мост не будет закончен, я отсюда никуда не уеду.

– Но ведь тебе здесь неудобно, – возразил я, стараясь сохранить спокойствие, – живем в палатке, ты женщина...

– Не понимаю, о чем ты... Я не испытываю ни малейшего неудобства. И потом, работа же!

Я заставил себя улыбнуться:

– Неужели работа для тебя дороже мужа?

– Ты так говоришь только потому, что тебя моя работа совершенно не интересует!

– Почему же?..

– Для тебя важно только то, что ты делаешь.

– Сария! – воскликнул я. – Как ты можешь говорить обо мне подобные вещи?!

– Я не могу говорить иначе, Адиль, потому что так думаю. А лицемерить не умею – ты знаешь.

– Хорошо. Оставим это. Но скажи, разве моя судьба – не твоя судьба?

– Не знаю, Адиль... Ведь после этого моста мы будем строить еще один, выше, в горах. Ты же сам говорил...

– Говорил! Конечно, говорил! Но разве я мог вообразить, что этот проклятый мост встанет между нами? Ты уходишь, ускользаешь из моих рук, Сария, а я ничего не могу сделать, чтобы удержать тебя. Какой уж тут мост, будь он трижды проклят!

САРИЯ

После того, как я решительно заявила, что из бригады не уйду, Адиль больше не заговаривал о переезде в город.

Наоборот, он стал еще внимательней. Он шутил со мной, по вечерам мы ходили в лес гулять. Ни о мосте, ни о бригаде больше не было речи.

Прошло несколько дней. Мы с ребятами только что собрались обедать, как послышался треск мотоцикла. Мотоциклист подкатил к нам, выключил мотор и, спросив товарища Велиева, подал Гарибу письмо.

Все с интересом наблюдали, как Гариб вытащил из синего конверта маленькую бумажку, молча прочел ее и пожал плечами. Потом прочел еще раз и протянул Солтану.

Это был приказ начальника строительства о переводе Гариба Велиева на другой участок. Солтан и Керемхан вопросительно смотрели на меня.

– Ничего не понимаю, – недоумевающе протянул наконец Керемхан. – Разве нам здесь не нужен бульдозерист?

– Да... Вроде бы можно было и нас спросить, – мрачно добавил Солтан.

– Начальство лучше знает, кого спрашивать, кого не спрашивать, – насмешливо сказал Гариб.

– Ну, знаешь ли, я с тобой совершенно не согласен! – взорвался Керемхан. – Они там, понимаешь, дурака валяют, а мы будем выполнять их дурацкие приказы! На этот мост, если хочешь знать, меньше семи человек не положено, а мы вчетвером управляемся! И они еще хотят взять человека! Что это в самом деле? Мы же тут сработались! Да разве только тут? Еще на Кирдмане мост клали, вместе тонули, вместе награды получали. А тут, здорово живешь, отдай им Гариба!

– Вообще-то говоря, все это, конечно, совершеннейшая чушь, – спокойно произнес Гариб. Он положил приказ в конверт и вернул его посыльному.

Я подошла к мотоциклисту.

– Вы сейчас в район? Меня не захватите?

– Почему же? Пожалуйста.

Я шутливо козырнула Керемхану:

– Товарищ начальник, разрешите на несколько часов отлучиться в райцентр. Есть важные дела. По исполнении доложу.

Керемхан, ничего не понимая, заморгал.

– Раз важные, поезжай...

Дорожный отдел располагался на втором этаже здания райисполкома. Секретарша Адиль, хорошенькая блондинка лет восемнадцати, окинув меня взглядом, монотонно произнесла: «Начальник занят», – и отвернулась.

– Чем же он занят?

– Я не обязана сообщать об этом каждому. Начальник не вам одной нужен. – И она кивнула на троих мужчин, терпеливо ожидавших в углу на диване.

Парень-мотоциклист подошел к секретарше и что-то шепнул ей на ухо. Та моментально изобразила на лице улыбку и, вскочив с места, открыла мне дверь кабинета:

– Прошу вас. Извините, не догадалась...

Я хорошо знаю, что Адиль любит устраиваться с комфортом, но такого великолепия все-таки не ожидала. Роскошный, массивный письменный стол. Хрустальный графин на круглом полированном столике. Ковер. Тяжелые шторы...

Когда я вошла, он писал, не замечая меня. Потом поднял голову и несколько секунд недоумевающе смотрел на меня. Наконец, словно спохватившись, улыбнулся и положил ручку.

– Как ты здесь очутилась?

– Да вот... приехала. – Я села.

– На чем?

– На мотоцикле. Меня привез тот парень, которого ты прислал с приказом.

Адиль покраснел.

– Нехорошо, Сария. Неужели ты не можешь этого понять? Если у тебя срочное дело, надо сообщить мне – я пришлю машину. Неудобно получилось.

– Не вижу ничего неудобного.

– Для тебя, может быть, и нет, но для меня...

– Ладно, Адиль. Дело в том, что наша бригада не согласна с твоим приказом.

– С каким приказом?

– С приказом о переводе Гариба Велиева на другой участок.

– Ты одна приехала?

– Одна.

Адиль вздохнул и, не отрывая от меня взгляда, откинулся на спинку стула. Потом сказал спокойным, бесцветным голосом:

– Каково бы ни было мнение бригады, приказ должен быть выполнен. Анархии я не допущу!

– Ты прав, Адиль. Анархии не место на строительстве, как и в любом другом деле. Но опротестовать неправильный приказ имеет право каждый член коллектива.

– Почему вы решили, что приказ неправильный?

– Ты сам знаешь, почему он неправильный. Но если хочешь, я объясню.

– Ты лучше объясни, по какому праву вмешиваешься в мои дела? И что тебе за дело до этого бульдозериста, тебе лично? Почему ты так волнуешься за него?

– Я волнуюсь не за него. Я волнуюсь за бригаду. Он – член нашей бригады. И если ты не отменишь свое распоряжение, я буду звонить в министерство и добьюсь, чтобы назначили комиссию для разбора нашего конфликта. Мы вместе начинали работу, вместе и кончим ее. Без бульдозериста на нашем участке делать нечего – ты знаешь это лучше меня.

– Я пришлю другого.

– Зачем же тогда нужно переводить Гариба?

Он помолчал.

– Скажи, Сария, тебя послали ко мне твои товарищи?

– Нет. Они не знают, что я приехала к тебе. Я просто сказала, что мне нужно в район.

Адиль молчал, сосредоточенно глядя в угол комнаты. Тонкие морщинки резче обозначились у него на лбу. Мне показалось, что-то мучает его. Мне стало жаль мужа.

Я подошла к нему и тихо сказала:

– Адиль, ведь ты должен заботиться о том, чтобы в бригадах была настоящая дружба, чтобы людям хотелось работать друг с другом. Наша бригада, мы четверо...

– Ничего ты еще не понимаешь, Сария, – сказал Адиль, устало прикрыв глаза. – Ладно, пусть будет по-твоему.

– Да это не по-моему, Адиль. Это желание бригады.

– Я понял.

– Спасибо, Адиль. Мы все очень благодарны тебе.

Я обрадованно схватила его руку и прижала ее к себе. Он коротко взглянул мне в лицо и отнял руку. Меня не обидело это, но я уже не сомневалась – он что-то от меня скрывает. Мне стало одиноко и тоскливо в его роскошном кабинете.

– Зачем тебе летом такие шторы, Адиль?

– Гардины? – Он рассеянно взглянул на окно. – От пыли. Пыльно очень.

– Ну, я пошла, Адиль. Схожу пока на базар, куплю кое-что, раз уж попала в город. Ты вечером во сколько приедешь?

– Ты не дождешься меня? – с горечью и недоумением спросил он.

– Нет, почему же? – смутилась я. – Поедем вместе, если хочешь.

На базаре я прежде всего купила большую плетеную корзину и с удовольствием стала наполнять ее продуктами. Все было такое свежее, аппетитное: и огурцы, и помидоры, и солидный кусок баранины на кебаб. С рынка я зашла еще в книжный магазин, взяла несколько новых журналов. Кроме того, успела забежать к своей знакомой маникюрше, которую в прошлое воскресенье встретила на базаре. Даже пообедала у нее.

- Чрезвычайно довольная покупками, веселая, хоть и усталая, притащила в райисполком свою корзину. Адиль, увидев меня, засмеялся:
- Да куда ты столько накупила? Нам же за месяц не съесть!
 - Что ты, разве много? Ведь пять человек. За день ничего не останется.
- Улыбка сразу же исчезла с лица Адила.
- Они, что же, просили тебя купить им продуктов?
 - Сегодня не просили.
- Адиль отвернулся к окну, помолчал.
- И ты все это время была на базаре?
 - Нет, еще в гостях была. У меня тут знакомая. Я тебе как-то говорила – маникюрша.
 - Давно ты ее знаешь?
 - Да в прошлом году как-то маникюр делала – познакомилась. Она зимой в Баку живет, а летом – здесь.
 - И ты идешь в дом к какой-то маникюрше, малознакомой женщине?
 - Люди ведь, рождаясь, не сразу обзаводятся знакомыми!
 - Почему ты так резко отвечаешь мне, Сария?
- Адиль быстро взглянул на меня. Мне показалось, он сейчас меня ударит. Я хорошо знала, что он никогда не позволит себе ничего подобного, но сейчас...
- Может быть, поедем, уже шестой час, – прервала я молчание.
 - Поедем.
- Он хотел взять корзину.
- Не надо, Адиль, я сама.
- Я схватила корзину и быстро пошла к выходу. В машине я положила ее на заднее сиденье и села за руль.
- Ты что, сама хочешь вести?
 - Да.
 - Не надо, дорога плохая. Сядь рядом.
 - Нет, Адиль, я сама. Ты же знаешь, я вожу не хуже тебя. Мы быстро выехали из райцентра.
- Я настояла на своем, но мне было совсем не весело. Хотелось плакать. Какие мы с Адилем стали чужие! Почему нам теперь нехорошо вместе? И все из-за того, что он так относится к моим товарищам. А что они ему сделали? Может быть, я не права, может, нельзя идти наперекор мужу? Но почему? Разве у меня нет своей головы на плечах, своего сердца? Нет, Адиль, я буду поступать так, как считаю нужным. Ни от работы, ни от товарищей я не откажусь. Ты сам должен сделать так, чтобы у нас снова было взаимопонимание, – ведь ты старше меня, умнее, опытнее. Только не советуй мне действовать осмотрительно, осторожненько... Я все равно не послушаюсь тебя. Я не ползти хочу, а летать! Понимаешь, Адиль, летать!..
- Сбавь газ! Что ты делаешь, сумасшедшая?!
- Испуганный голос Адила вернул меня к действительности, – я совсем забыла, что рядом муж, мой осмотрительный, осторожный, разумный муж.
- Разве он понимает, какое наслаждение в этом стремительном движении вперед, ввысь, к горным вершинам, когда ветер рвет волосы, а машина так послушна! Разве он способен испытать что-нибудь, кроме страха и опасения за собственную жизнь! Так на же тебе!.. Я снова нажала на педаль. Адиль схватил меня за руку:
- Не смей! Девчонка! Не видишь, какая дорога? И сами покалечимся, и машину разобьем!
 - Не разобьем, – сквозь зубы ответила я, прижавшись к рулю.
- Адиль отпихнул меня и, перегнувшись, схватил руль.
- Ладно, Адиль, – сказала я, как-то сразу сникнув. – Пусти, я не буду гнать. На этот раз пусть будет по-твоему.
 - Что значит «на этот раз»?
 - А это значит, что я вовсе не собираюсь всегда поступать так, как ты считаешь нужным. Особенно если уверена, что ты не прав.

Адиль странно смотрел на меня. Кажется, он меня не узнавал. В то же время я чувствовала, что очень нравилась ему сейчас. Вообще-то последнее время Адиль обычно смотрел на меня ласково, спокойно и покровительственно. Сейчас в его глазах светились восторг, нежность и, пожалуй, страх за меня, но почему-то это не радовало, а раздражало меня.

Если говорить честно, он был прав, тысячу раз прав: дорога шла по самому краю пропасти, и одно неосторожное движение... Вот эта громыхающая пятитонка, неожиданно вырвавшаяся из-за скалы, могла стать последней машиной, которую мы видели в своей жизни. Хорошо, что я успела прижать газик к скале и резко затормозить. Ну и лицо было у водителя, когда, остановив машину, он выглянул из кабины! Как он кричал! И поделом – я ведь даже не сигналила на поворотах. Я тихонько подала машину назад. Почему-то опять вспомнила в этот момент Гариба и его улыбку тогда, на краю пропасти.

Адиль сидел молча. Он будто бы успокоился, только лицо побледнело под загаром.

– Извини, Адиль! – Я повернулась к мужу и взяла его за руку.

Не отвечая, Адиль смотрел прямо перед собой. Рука лежала спокойная, безучастная.

Гнать машину мне уже больше не хотелось. Я тихо вела газик, раздумывая о том, почему мой муж так редко дает волю гневу, волнению... Многие хвалят его как раз за выдержку. Неужели меня начинают раздражать даже явные достоинства Адила? Господи, может быть, я просто не люблю его?!

Я быстро взглянула на мужа: красивое, загорелое лицо, крепкая, сильная шея, сосредоточенно сдвинутые густые брови. Какая глупость! Ведь можно позавидовать, какой у меня муж, и не любить его невозможно!

Хорошо, что приехали, а то Бог знает до чего бы еще додумалась.

Теперь Адиль совершенно потерял интерес к нашему мосту. Он не только не появлялся на стройплощадке, но даже ни разу не спросил меня, как у нас дела. Мне кажется, за последний месяц он даже не взглянул на мост. Наш «малыш»! Я не могла скрыть обиды, словно это касалось моего собственного ребенка. И перед товарищами мне было стыдно. Они не говорили об Адиле, но было бы легче, если бы они на чем свет ругали его. Я и сама бы, наверное, присоединилась к ним: моя обида искала выхода, а устраивать семейную сцену не хотелось.

Я часто думала о том, почему Адиль хотел тогда перевести от нас Гариба. Не могла взять в толк, почему бульдозерист как будто и не возражал против перевода. Не понимала и злилась...

После всей этой истории Гариб ходил совсем мрачный, замкнутый. Он не смотрел на меня и, кажется, больше всего боялся остаться со мной наедине. Одним словом, он вел себя так, что мне уже не приходило в голову доносить его шутками. Мы почти не разговаривали.

... Мост же наш рос не по дням, а по часам, словно его строил сказочный герой, которому грозный шах приказал сделать это за одну ночь. Укладку железобетона мы закончили на месяц раньше срока.

Мы все сильно загорели, а у Гариба, от природы смуглого, лицо стало совсем бронзовое. Только зубы сверкали, когда он улыбался. Правда, последнее время это было очень редко.

Теперь мы даже в перерыв не уходили к себе в палатки, а, расположившись под большим каштаном, вместе готовили обед. Я была главным поваром. Керемхан оказался неплохим помощником. Самым большим праздником был слоеный пирог, который, как они говорили, я готовила очень вкусно. Надо было видеть, какие были глаза у Керемхана, когда я, обжарив пирог в масле, отрезала ему кусочек на пробу. Ответ дегустатора был неизменен: «Никогда в жизни не ел ничего подобного».

– Это еще что! – обычно говорила я. – Мука немножко с запахом, вот я завтра изжарю...

Как только кончали с обедом, я бежала в свою палатку, быстро готовила ужин Адилю, умывалась, причесывалась и снова шла работать. После обеда дело у нас шло обычно еще веселее, только Керемхан иногда вздыхал и жаловался на тяжесть в желудке, особенно если на обед был пирог.

Мне было с ними легко, просто... Вот только Гариб... Он оставался замкнутым, молчаливым, пропускал мимо ушей шуточки друзей и не замечал моих заискивающих взглядов. А мне так хотелось, чтобы все было по-прежнему... Гариб не шел мне в этом навстречу, и, сама не зная почему, я чувствовала себя перед ним виноватой.

– А знаете, почему Гариб у нас такой важный, немногословный? – спросил однажды за обедом Солтан. – Ведь подумать только, даже с Сарией-ханум не разговаривает! – И сам ответил себе: – Ученый стал – зазнается. Я думаю, надо и нам на заочный подаваться, а то совсем презирать нас будет образованный друг. В чем ты специализируешься? – обратился он к Гарибу.

– Мосты и тоннели, – сердито буркнул тот.

– Видали? Инженерно-строительный институт, специалист по мостам и тоннелям. Ну как тут не зазнаться! Предлагаю еще раз: для ликвидации неравенства всей бригаде поступить на заочный.

– Легко сказать! – отозвался Керемхан. – А если у меня восемь классов?

– Это хуже. Но, между прочим, ты в техникум можешь подавать. Нет, друзья, серьезно – давайте учиться! Как ты, Сария-ханум?

– Я вообще-то собираюсь, хотя, по правде сказать, еще от выпускных экзаменов не очухалась. Но если вся бригада решит, я не отстану.

– Тогда поговорим всерьез. Гариб отличный математик, он обязуется подготовить нас всех по математике...

– Мне русский ни за что не сдать, – мрачно заявил Керемхан.

– Тут на меня можете рассчитывать, – сказала я. – У меня по русскому всегда пятерка была.

– Товарищи, выходит – вопрос решен? – радостно подытожил Солтан. – Начинаем учиться. Так, что ли?

Гариб с недоверчивой усмешкой покрутил головой.

– Нечего башкой вертеть! – прикрикнул на него Солтан. – Возражаешь – скажи! А то как воды в рот набрал. У Гариба при Сарии-ханум прямо язык отнимается, – засмеялся он.

Гариб быстро взглянул на меня, потом бросил свирепый взгляд на Солтана:

– Дураку хоть палец покажи, смеяться будет!

– Ну, зачем вы так? – вмешалась я. – Критику принимать надо.

– Какая это критика? Зубоскальство одно!

– Ладно, позлится – перестанет, – благодушно отозвался Солтан. – Не обращайтесь внимания. Поступило предложение председателем учкома выбрать Сарию. Кто против? Воздержался? Принято единогласно. Сария-ханум, поздравляю! Второе почетное назначение!

– Ладно. Но имейте в виду, я вам теперь житья не дам. Будем заниматься по-настоящему. В воскресенье еду закупать учебники.

– Раз так, – обрадовался Керемхан, – необходимо устроить концерт! Начинаю!

Мы здесь горы сокрушаем,
Прочный мост сооружаем,
Скоро в институт пойдем,
Все пятерки заберем.
Только милый наш Гариб
Почему-то все молчит.
Он мечтает и страдает,
Взгляд с земли не поднимает.
Может быть, при всем при этом
Он влюбленным стал поэтом?

Гариб смотрел на Керемхана круглыми от ярости глазами. Тот, не обращая на него ни малейшего внимания, еще и повторил:

Может быть, при всем при этом
Он влюбленным стал поэтом?

– Смотри, как бы самому не стать поэтом – больно здорово сочиняешь! – со смехом сказала я Керемхану и, схватив ракетку, подошла к Гарибу: – Сразимся, товарищ бульдозерист?

Тот, не глядя на меня, достал из чехла ракетку и, кинув мрачный взгляд на Керемхана, пошел за мной на площадку. Играл он, как всегда, точно и уверенно, но я чувствовала, что он не в себе. Я шутила, смеялась, пыталась острить, но развеселить Гариба мне так и не удалось.

АДИЛЬ

Вчера вечером Сария пришла с тенниса какая-то странная. Брови у нее были чуть-чуть насуплены, лицо сосредоточенное, словно она старалась понять или вспомнить что-то. Она невпопад ответила на мои вопросы, – видимо, их смысл просто не дошел до нее. Первый раз, с тех пор как мы приехали сюда, я видел жену такой. Стена отчужденности, безразличия, давно уже вставшая между нами, поднялась и окончательно разъединила нас. А между тем она никогда еще не казалась мне такой привлекательной и желанной.

Упрекать, требовать, угрожать было бы бессмысленно – это я понял сразу. Надо было найти те ласковые, единственно возможные слова, которые могли бы спасти положение.

Я сидел у столика перед входом в палатку. Сария стояла неподалеку и расчесывала волосы; движения ее были медлительны, глаза глядели на орла, парящего над ущельем.

– Сария! – окликнул я жену. – Поедем путешествовать после окончания строительства? Возьмем отпуск, попросим у папы «Волгу»...

Сария, не отрывая взгляда от орла, отрицательно покачала головой.

– Чем трясти головой, лучше бы языком шевельнула, – грубовато пошутил я.

Жена не ответила. Я вскочил, схватил ее за плечи и силой усадил на табуретку.

– Ты скажешь наконец, что с тобой происходит?!

Она подняла на меня глаза, сняла с плеч мои руки и вздохнула:

– Если бы я знала, Адиль!..

Больше не о чем было спрашивать. Я отошел от жены, – она не должна видеть моего замешательства. Со мной творилось что-то непонятное. Мне хотелось схватить ее, целовать ее хрупкие плечи, нежную девичью шею, тонкие ароматные волосы! И в тоже время я, кажется, мог бы сейчас ее растерзать! И как она смеет обнажать для других свою шею, руки, эти маленькие крепкие руки, которые принадлежат только мне! Мне!

Я вдруг почувствовал, что бесконечно устал: от необходимости притворяться спокойным, от постоянного опасения потерять Сарию, от ее равнодушия.

Я пошел в палатку и лег. Заснуть я и не пытался. Вскоре тихо легла и Сария.

Долго я лежал в темноте с закрытыми глазами. Вдруг что-то словно толкнуло меня. Я открыл глаза и взглянул на жену.

Сария сидела на своей постели и глядела в ночную темноту. Я проследил ее взгляд: она, не отрываясь, смотрела на яркую огненную точку, – кажется, около палатки рабочих. Время от времени точка эта совершала плавные движения: кто-то подносил ко рту папиросу и, затянувшись, снова опускал руку...

Почему она не спит? Почему с такой тоской смотрит на мерцающий во мраке огонь папиросы? Понял! Кровь застучала в висках. Да. Это бульдозерист Гариб! Он один курит!

Все было ясно. Не нужно было ни о чем допытываться... Наконец горящая точка описала кривую и исчезла – Гариб бросил папиросу в траву. Сария еще несколько минут не отводила глаз от того места, где она погасла. Потом глубоко вздохнула и легла. Лицом к стене. В мою сторону она не взглянула.

Река внизу текла все с тем же привычным однообразным шумом, темный кусочек неба, видный в отверстие палатки, был усеян мерцающими звездами. По-прежнему пахли цветы.

Ведь я немало достиг в свои тридцать лет. Достиг! Что за радость в успехах по службе, в налаженной спокойной жизни, если твоя молодая жена не спит, вздыхает в темноте и с тоской смотрит, как в пятидесяти метрах от нее тоже мается молодой красивый мужчина.

Вдруг у той палатки снова загорелся огонек. Сария словно ждала этого. Сейчас же повернулась и села на кровати. Видно было, как в темноте блестели ее глаза. Я вздохнул и сонным голосом, словно только что проснулся, спросил:

- Ты не спишь?
- Нет.
- Почему?
- Так, не спится.
- А ты ложись, сосчитай до пятисот – и уснешь.

Я поднялся и вышел из палатки. Неслышно ступая в мягкой траве, направился на огонек. Несколько раз останавливался и переводил дух. Наконец, совсем близко подойдя к палатке строителей, в слабом отблеске горящей папиросы я разглядел Гариба.

Бульдозерист сидел недалеко, над самой пропастью. Я обернулся к нашей палатке. Отсюда можно было лишь различить ее очертания, не больше.

«Значит, он тоже не может спать. Ясно, он влюблен в Сарию. Но она? Может, мне только кажется, что ее влечет к этому человеку? Да нет, я же видел, как она смотрела! Только дурак может не понять, что это значит!»

Я снова взглянул на бульдозериста. Он не видел меня. У меня в голове пронеслась шальная мысль: а что, если подняться немного выше и столкнуть один из громадных валунов... Уф! Прочь наваждение! А что потом? Сария не любит меня! Не любит, и с этим ничего невозможно поделать!

Она не лгала, когда сказала: «Я не знаю, что со мной, Адиль». Она еще не знает, что любит этого человека. Что будет, когда она поймет это? И чем я смогу ей помешать?

Вероятно, я бы еще долго стоял и мучился сомнениями, но бульдозерист вдруг поднялся, бросил папиросу и, взглянув на нашу палатку, тяжелыми шагами пошел к себе.

Я вернулся. Сария лежала поверх одеяла, лицом к стене. Она не повернулась, когда я вошел, не произнесла ни слова. Может быть, она плакала... Я молча лег и до утра пролежал без сна.

В воскресенье за завтраком Сария сказала мне:

– Знаешь Адиль, я сегодня еду в город за учебниками. Мы решили осенью поступать в строительный институт. На заочное.

– Кто это «мы»?

– Я и Солтан. Керемхан хочет в техникум, у него ведь только восьмилетка.

– А Гариб?

– Гариб уже на втором курсе. – Она помолчала и, холодно взглянув на меня, добавила: – По-моему, я как-то говорила тебе об этом.

– Возможно, не помню. А зачем тебе на заочный? Осенью вернемся в Баку, поступишь на очный.

– Нет, Адиль, я хочу работать. И потом, мы решили всей бригадой вместе работать и учиться.

– Так... Ну, а если меня после окончания этого строительства направят в другой район?

– Что ж. Поедешь, куда тебя назначат, а я буду работать там, где бригада. Впрочем, я думаю, всегда можно договориться, чтобы нас послали на твою стройку.

– И все это совершенно серьезно?

– Конечно, Адиль. А что тебя удивляет?

– Меня удивляет одно: ты как будто забыла, что ты моя жена.

Помолчали.

– Адиль, ты что будешь на завтрак?

– Мне все равно.

– Тогда я разогрею мясо. От ужина осталось.

– Значит, хочешь сегодня поехать в город? – спросил я.

– Да, надо съездить. Нужно купить учебники, тетради – начинаем готовиться к экзаменам. Адиль, я суп поставлю и поеду, а ты только посмотри, чтоб не выкипел, ладно?

– Хорошо.

Она поставила на портативную газовую плитку кастрюлю. Потом переоделась, залила бензин в газик и уехала. Уехала, а я остался у кастрюли. Черт знает что! И ведь сам согласился!

Когда мы жили в Баку и жизнь шла своим чередом, я не представлял себе, что Сария так мне необходима. Я даже не задумывался, люблю ли я ее.

Приходил с работы, умывался, садился ужинать с женой. Вокруг чисто, уютно, стол накрыт шуршащей белой скатертью... Все как полагается. После ужина с газетой ложился на тахту. Мог ли я представить себе тогда, что моя хорошо налаженная, плавно текущая жизнь вдруг помчится бурным потоком, и я буду сходить с ума от сознания, что теряю жену...

Теряю... Черт подери, как я мог отпустить ее одну! Она же водит машину как сумасшедшая, может сорваться в пропасть...

Я сидел у палатки, перебирая в голове все опасные места дороги и прикидывая, миновала ли уже их Сария.

Она вернулась через четыре часа, как обещала. Вытащила из машины большую стопку учебников, переоделась и занялась обедом.

– Еле спаслась от своей знакомой, – весело говорила она, быстро и ловко нарезаю картофель для супа. – «Вечером, говорит, поедете». Представляешь, вечером? «Как же, говорю, я могу бросить мужа одного на целый день?»

«Интересно, – думал я, рассеянно слушая Сарию. – Ведь она старается выполнять свои элементарные обязанности, чувствует, что запоздала с обедом, спешит, суетится. И в то же время снова заезжала к этой, как ее, маникюрше. И даже не пытается скрыть от меня... Может быть, эта маникюрша и прекрасная женщина, не в том дело. Важно другое, что я, муж, запретил ей, моей жене, знаться с ней. Сария же не желает считаться с моим запрещением, а ведь в семье, как и во всяком коллективе, младшие должны подчиняться старшим. Я муж, я старший. И дело даже не только в том, что муж, – патриархальные времена давно прошли, – просто я старше ее на десять лет, опытнее, умнее, наконец!.. Ведь естественно, что опытный капитан не может отдать руль в руки бесшабашного юнги.

Нет, я чересчур нервничаю последнее время. Что, собственно, происходит? Не хочет жить так, как я считаю нужным, пусть уходит. В конце концов, я не из последних! Могу найти себе жену в десять раз достойнее Сарии. О, если бы для меня существовали другие женщины! В этом мое несчастье! Чтобы освободиться от чар своей собственной жены, я готов сокрушать стальные ворота, рушить крепостные стены, мечом рубить зловещих колдунов! Но я хорошо знаю, что только время поможет победить проклятую власть Сарии надо мной.

Мы обедаем. Я жадно смотрю на нее, а она лениво черпает из тарелки суп и изредка на меня поглядывает. В каждом ее движении столько неосознанной грации!..

– Еще что-нибудь хочешь?

– Нет, я сыт.

– Ну, тогда ложись отдыхать, а я отнесу ребятам книги.

И она снова уходит. Да, надо что-то решать. Сколько можно так жить: неделю, месяц? Что же делать?!

САРИЯ

Адиль становится все нежнее и предупредительней: он не упускает случая сказать мне ласковое слово, сделать приятное. И это огорчает меня больше всего. Я с детства не выношу фальши, двуличия, боюсь этого в людях, чувствую себя бессильной перед обманом.

Я часто думаю, зачем в нашей жизни, честной, справедливой в самой своей основе, люди иногда лгут, изворачиваются, ловчат, чтобы достичь каких-то дешевых преимуществ?

Ведь я же чувствую, что Адиль неискренен, – неужели он этого не понимает? Вот подошел, положил руку мне на плечо. А я знаю, что он делает это не потому, что захотелось приласкать меня, а потому, что считает необходимым поступить так.

Начался дождь. Мы похватали со стола вещи и убежали в палатку. Быстро стало темнеть, с гор подул холодный, порывистый ветер. Гроза. Гром то громыхал далеко в лесу, широкими раскатами наполняя ущелье, то тысячью пулеметных очередей разрывался где-то в пропасти. И вода... Сколько воды... Через несколько минут внизу уже бушевал настоящий сель, он разрастался, вбирал в себя потоки вспененных вод, стремительно мчавшихся к нему со всех сторон.

Мне нравятся грозы. Могучая, буйная природа возвышает человека, рождает желание сделать что-нибудь большое, величественное!..

Какими жалкими, бессмысленными показались мне вдруг эта ложь, лицемерие, все, что отравляло последнее время нашу жизнь...

Вдруг в шуме стремительно мчащихся потоков и раскатов грома я услышала два тяжелых удара. Что-то затрещало.

– Как бы не повалило мост... – озабоченно проговорил Адиль.

Дождь все лил. В темноте то появлялся, то пропадал огонек – фонарь в палатке строителей. Мы с Адилем выпили по чашке остывшего кофе с хлебом и улеглись. Я повернулась лицом к выходу, ветер брызгал в лицо холодными капельками дождя. Может быть, поэтому я долго не могла уснуть...

В палатке было сухо, но вокруг – сверху, снизу – струились потоки воды. Я лежала и слушала ее шум. Адиль тоже не спал, он курил и изредка негромко вздыхал. Так мы лежали молча, слушая шум грозы.

Вдруг раздался страшный грохот.

– Что случилось? – спросила я Адиля, вскакивая с постели. Он тоже встал и выглянул из палатки.

– Кусок скалы оторвался, знаешь, тот, с большим дубом наверху.

– Ой! Наверное, всю дорогу завалило!

– Ничего. Обойдется. Ложись, Сария.

– Спокойной ночи, Адиль.

Когда я открыла глаза, было совсем светло. Адиля в палатке не было. Я быстро оделась и вышла.

Утро было тихое, ясное, как всегда после грозы: небо светло-голубое, прозрачное, листья, трава, цветы, омытые дождем, ослепительны и свежи. Ничто здесь не напоминало о ночной буре, только поток внизу мчался мутный, стремительный, лохматый от пены... Горы вдаль были окутаны густым туманом – там, видимо, еще шел дождь, и горные потоки со всех сторон стремились к реке, вода в ней все прибывала.

Кусок скалы, с росшим на ней старым ветвистым дубом, рухнул ночью на дорогу – проехать по ней было теперь невозможно.

Могучий дуб, вчера еще высоким сводом нависавший над дорогой, сейчас лежал в пыли среди обломков скалы, изуродованный, с обломанными, расщепленными ветвями.

А ведь казалось, что он стоит здесь целую вечность и всегда будет стоять над этим ущельем, гордый, несокрушимый...

Адиль и рабочие молча осматривали завал. С ними был еще какой-то незнакомый мне рослый, широкоплечий парень в синей спецовке, – видимо, шофер пятитонки, которая застыла на дороге в нескольких шагах от завала.

Я подошла к ним, поздоровалась.

Парень переминался с ноги на ногу и беспокойно поглядывал на свою машину.

– Начальник, – нерешительно заговорил он наконец, – что делать-то будем? Мне муку надо на ферму доставить. Люди без хлеба сидят!

– Что-нибудь придумаем, – спокойно ответил Адиль и, не оборачиваясь, спросил Гариба: – У вас бульдозер в исправности?

– Не отказывал пока.

– Надо расчистить дорогу.

– Конечно, расчистим.

– А справитесь? Может быть, из района вызвать еще бульдозер?

– Не стоит, – проговорил Гариб, чуть прищурился глазами.

– В таком случае расчищайте! – коротко бросил Адиль и пошел к нашей палатке – ехать в район, пока не расчистят дорогу, он не мог. Наш газик, словно послушный пес, смиренно стоял у дороги.

... Бульдозер с сердитым урчанием потащил три огромных камня. Вот он подполз к пропасти и столкнул камни вниз. Они раскатисто и гулко загрохотали по ущелью, пока не докатились до воды.

Я снова – в который раз! – вспомнила день нашего приезда, бульдозер у края пропасти, насмешливое лицо Гариба, искоса поглядывавшего на меня.

Сейчас он не улыбался и не смотрел в мою сторону – ему не до меня. Лицо у него было сосредоточенное, серьезное.

Завал уменьшался медленно, и видно было, что бульдозерист работает изо всех сил. Лицо и шея у него побагровели. Он работал молча. Мы тоже молчали, чтобы не мешать ему, хотя из-за шума мотора он все равно не услышал бы наших голосов.

«Странно... – думала я, глядя на напряженное, даже злое лицо Гариба. – Ведь тогда, в первый день, он показался мне эдаким бесшабашным, озорным парнем... даже нахалом... А теперь он такой молчаливый, сосредоточенный, слова из него не вытянешь. Ни с кем не разговаривает, кроме Солтана и Керем-хана, словно всех остальных презирает... Хотя нет, не всех, – наверное, это только Адилья и меня. Как он старается скрыть свою ненависть к Адилю – даже отворачивается, чтобы тот не видел его лица! Только все равно это чувствуется – в каждом его слове, в каждом движении, в том даже, как он мнет губами папиросу, когда при нем упоминают об Адиле. Что ж, он прав. Прав, что презирает и меня – жену преуспевающего инженера Джафарзаде...»

Может, поговорить с ребятами? Ведь они мои товарищи. Поговорить обо всем, даже о моих отношениях с Адилем. Мне будет трудно это сказать, но я скажу, – мы и не такие трудные вещи решаем. Только я, наверное, разревусь... Ну и пусть, зато потом всем нам станет легче...»

Солнце стояло уже высоко и светило прямо в лицо Гарибу – жаркое, беспощадное, какое всегда бывает после грозы.

– А вы не думаете, что Гарибу хочется пить? – спросила я ребят. – Хоть бы стакан воды догадались принести...

– Полностью принимаю критику! – вскочил шофер пятитонки.

И он, с неожиданной для его большого грузного тела легкостью прыгая по камням, побежал к своей машине. Через минуту он принес бутылку пива, открыл ее и передал Гарибу. Тот, не отрываясь, выпил все и швырнул бутылку в кусты.

– Вот так, – удовлетворенно произнес шофер. – Еще?

Гариб отрицательно покачал головой.

Керемхан и Солтан стали ломачами разбивать обломки, чтобы бульдозеру легче было их подхватить. Шофер некоторое время вздыхал, беспомощно оглядываясь по сторонам, – у него не было лома, – потом поплевал на руки и, упершись огромными, темными от загара руками в большой круглый камень, стал толкать его к обрыву. Солтан и Керемхан с любопытством наблюдали за ним.

– Что твой бульдозер! – восхищенно заключил Солтан. – Этак мы за полчаса управимся.

Но прошел час, другой, солнце уже стало спускаться к закату, а работа еще не была окончена. Шофер уже несколько раз лазил в машину за пивом. Наконец достал одну бутылку, смущенно развел руками: «Все! Пиво кончилось, ларек закрыт!»

– Эй, парень! – крикнул он, подойдя к бульдозеру поближе. – Слезай давай, отдохни. Я в этой штуке разбираюсь, – он показал на рукоятки.

Гариб отрицательно покачал головой.

– Рекорд решил поставить? Ну и черт с тобой, ворочай! – махнул шофер рукой.

Гариб не оставлял бульдозера. Пот тек с него ручьями, глаза покраснели, волосы слиплись...

Только к шести часам вечера дорога была расчищена. Шофер влез в кабину, помахал нам рукой и умчался.

– Ты вот что, накройся давай, потный весь, – грубовато сказал Керемхан и набросил Гарибу на плечи свою спецовку. – Простудишься!

- Ну, Адиль, расчистили, – входя в палатку, сказала я мужу. – Какая я вся грязная... Пыль там... Гариб работал как зверь!
- Особенно восхищаться тут нечем. Расчистить дорогу – его прямая обязанность.
- Может быть, и обязанность, но ты великолепно знаешь, что он за десять часов сделал то, на что понадобилось бы четыре дня!
- Адиль пожал плечами:
- Я предлагал вызвать еще бульдозер... Выпиши ему трехдневную выработку, если считаешь нужным.
- Я так посмотрела на Адилю, что он замолчал.
- Будет возможность, – сказал он все же, – в конце месяца постараюсь оформить ему премию – получит три-четыре сотни...
- Да не в сотнях дело, неужели ты не понимаешь?! Не интересуют они его!
- А что же его еще интересует здесь, в горах, если не высокие заработки? – ехидно спросил Адиль.
- Хорошо! Значит, мы с тобой тоже за высокими заработками сюда приехали?
- Не знаю, как ты, а я хожу по земле. Для меня пока что существует материальная заинтересованность. Не при коммунизме живем.
- Спорить с ним я не стала.
- К ночи погода снова испортилась. Полил дождь. Я несколько раз просыпалась и слушала, как тяжелые струи воды хлещут по натянутому брезенту.
- Как только рассвело, я поднялась и выглянула из палатки. Моросило, утро было серое, тусклое. Я оделась и, набросив на голову плащ, побежала к стройплощадке.
- Огромный валун, принесенный неведомо откуда селом, лежал у самого отверстия трубы и загораживал дорогу воде. Не находя выхода, она рвалась вверх, грозя размыть еще не оконченную кладку. Ребята стояли по пояс в бушующем потоке и ломami пытались сдвинуть валун в сторону.
- Сбросив плащ на землю, я схватила лом и тоже вошла в холодную, бурлящую воду. Поток чуть не опрокинул меня. Солтан протянул мне руку, я ухватилась и встала рядом с ним.
- Раз-два, взяли! Еще раз! – командовал Керемхан.
- Мы никак не могли приноровиться друг к другу, толкались, ломы скользили по камню. Дождь усилился, и сейчас в двух шагах ничего не было видно.
- Еще взяли! Еще раз?!
- Наконец засунули под камень острия ломов и единым усилием перевернули валун. Вода с ревом устремилась в трубу. Мы цепочкой, держась за руки, пошли к берегу.
- Когда я уже вылезла из воды, большой камень, с грохотом оторвавшись от скалы, пролетел прямо над моей головой. Сзади раздался сдавленный крик.
- Ты что, Гариб? – Солтан отпустил мою руку и быстро, насколько позволяло течение, пошел к бульдозеристу. Тот стоял, прислонившись к стене моста, подняв правую ногу. Лицо у него было искажено от боли. – Что с тобой? – снова спросил Солтан.
- Камнем, задело, – сквозь зубы проговорил Гариб, отворачиваясь.
- Керемхан и Солтан с трудом вытащили Гариба из воды и понесли в палатку.
- Не трогайте его пока! – крикнула я Керемхану. – Я за аптечкой!
- Ничего не сказав Адиле, я открыла чемодан, схватила аптечку и бросилась обратно. Муж ни о чем не спросил.
- Мы разрезали штанину и сапог. Кровь текла быстрой и тонкой струйкой. Когда я накладывала на рану смоченную йодом марлю, под руками у меня что-то хрустнуло.
- Гариб молчал, глаза у него были закрыты. Только когда ребята подняли его ногу, чтобы я могла забинтовать, он заскрипел зубами.
- Так. Картина ясная, – мрачно сказал Солтан. – Очень больно?
- Больно, – коротко ответил Гариб.
- Солтан достал из-под кровати бутылку коньяку:
- Прежде всего вот это лекарство. На фронте раненым всегда спирт давали.
- Я недоверчиво посмотрела на него, но промолчала – я никогда не была на фронте.
- Снимите с него мокрую одежду, – сказала я, – и оденьте его потеплее. Я пойду заводить машину – надо срочно везти в больницу.
- Солтан вышел вслед за мной.

– Может, не надо, Сария-ханум? – спросил он неуверенно. – Как-нибудь сами, а?

– Надо, Солтан. Я читала, что при открытых переломах обязательно нужно в больницу, иначе будет заражение крови.

Солтан вздохнул, посмотрел на меня страдальчески и, махнув рукой, скрылся в палатке.

– Адиль, – сказала мужу, – Гариб сломал ногу, придется отвезти в больницу. Ты ведь едешь в район?

– Еду. Но не хочешь же ты сказать, что я должен везти его. Приеду, скажу, чтобы за ним прислали машину из больницы.

– Пока ты все это сделаешь, у него начнется заражение крови.

– Но не могу же я...

– Если ты не можешь, я могу! Отвезу сама.

– Сама?..

Адиль был явно растерян, но возражать не решался, – видимо, почувствовал, что положение серьезное.

Я быстро поставила ему на стол завтрак, переоделась и, лавируя между деревьями, подвела газик к палатке.

Солтан с Керемханом вынесли Гариба и устроили его на заднем сиденье. Я села за руль.

– Ты сама поедешь? – удивленно спросил Солтан. – Я думал, начальник... Да тебе же с ним не справиться, мы вдвоем еле дотащили! Давайте тогда и я с вами.

– Ты думаешь, что говоришь, Солтан? Разве можно сейчас бросать мост? – Я показала на затянутое облаками небо. – Справлюсь. Я сильная.

Подошел Адиль. Он сделал было движение сесть за руль, но я молча покачала головой, и он так же молча сел рядом.

Я старалась вести машину как можно осторожнее, но дорога была из рук вон плохая, и я несколько раз слышала глухие стоны Гариба. Дождь не прекращался. Он заливал переднее стекло, и я почти ничего не видела. До райцентра ехали два часа.

У райисполкома Адиль вышел.

– Отправишь его в больницу и поставь, пожалуйста, машину сюда. Она мне понадобится. – Только это он и сказал за всю дорогу.

Я ничего не ответила, только посмотрела ему вслед, затем спросила у проходившей мимо женщины, как проехать к больнице.

... Главный врач районной больницы, похожий в своей белой шапочке на студента мединститута, вышел ко мне, наверное, через полчаса после того, как санитары унесли на носилках Гариба.

– Мы произвели первичную обработку раны, – сказал он, стараясь, видимо, казаться как можно солиднее. – Но перелом очень тяжелый. – Он прибавил какое-то латинское название. – Нужно оперировать.

– Кто же будет оперировать?

– Я – главный хирург больницы.

Я с недоверием уставилась на главного хирурга. Студент, самый настоящий студент!

– Может быть, вызвать профессора из Баку?

– Не вижу необходимости. – В голосе главного хирурга послышалась обида. – И потом, погода... вы же видите.

– Вижу. Вы уверены, что операция необходима?

– Совершенно уверен. Что еще вас интересует? – Он терял терпение.

– Больше ничего.

– Больной ваш родственник?

– Нет. Да... родственник!

Врач улыбнулся.

«Дура! – мысленно выругала я себя. – Надо было сказать – муж. Тогда он не стал бы ухмыляться!»

– А вы не волнуйтесь так, – успокоил меня врач. – Прооперируем вашего... родственника, все будет в порядке.

– Когда операция?

– Завтра утром. В девять часов.

- Почему не сегодня?! – воскликнула я.
- Сегодня невозможно. – Он покачал головой и с достоинством добавил: – Сегодня у меня две операции... Сестра! Больного в предоперационную палату! – коротко приказал он, давая понять, что разговор закончен.
- Я сидела в приемной и не знала, что делать. Вышла дежурная сестра и сказала, что я могу пройти к больному.
- Вам что-нибудь хочется, Гариб? – спросила я, садясь на белый табурет около кровати.
- Нет, ничего... Сестра, дайте воды.
- Воду вам нельзя, – строго сказала сестра. – Я сейчас принесу чаю.
- Она принесла стакан чаю и стала поить Гариба. Держать стакан он уже не мог.
- Стали измерять температуру. Я в нетерпении ерзала на табурете. Сестра взяла у Гариба градусник, взглянула на него и протянула мне. Я чуть не вскрикнула: «Сорок!»
- Вы устали, Сария-ханум, – облизывая пересохшие губы, с трудом проговорил Гариб. – Поезжайте домой.
- Я сегодня не поеду.
- Почему?
- У меня дела. Дня два придется пробыть здесь. Утром приду к вам. До свидания, Гариб.
- В коридоре я встретила хирурга.
- У него сорок!
- Ну и что же? Это естественно при открытом переломе. Сейчас ему сделают укол.
- Спасибо, доктор.
- Я попрощалась с врачом, поехала в управление к Адилю и коротко рассказала ему обо всем.
- Вот так обстоит дело. Домой я сегодня не поеду. Невозможно бросить его здесь одного.
- Разве в больнице нет людей?
- В больнице есть люди, Адиль, – сказала я, отчетливо выговаривая каждое слово и стараясь быть спокойной, – но я не уеду, пока не узнаю, как прошла операция.
- Он глубоко вздохнул и покачал головой.
- И где же ты будешь ночевать?
- У меня здесь есть знакомая, я тебе говорила.
- Маникюрша?
- Да, маникюрша. Переночую у нее или в гостинице. Ты поезжай, не волнуйся.
- Я думала, он предложит мне ехать сейчас вместе домой, а рано утром вернуться, но он промолчал.
- Счастливо, Адиль. Поужинай здесь перед отъездом, а то у нас там ничего нет сегодня.
- Хорошо. До свидания.

- У моей знакомой маникюрши дома всегда чисто и уютно. Поздоровавшись с хозяйкой, я села на диван, закрыла глаза и почувствовала, что очень устала.
- Отзывчивая и всегда бурно на все реагирующая хозяйка дома не переставая хлопотать у стола, немедленно начала успокаивать меня:
- Ты зря волнуешься, Сария. Это очень хороший врач, не смотри, что молодой. Он такие операции делает!
 - Не знаю. Непокойно как-то на душе. Надо позвонить в больницу.
- К телефону подошла дежурная сестра, та, что принимала Гариба, – я узнала ее по голосу.
- Скажите, как чувствует себя Гариб Велиев?
 - Жалоб нет. Лежит, дремлет.
 - Благодарю вас. – Я положила трубку.

Спать меня хозяйка уложила на своей кровати. Я не сопротивлялась – у меня не было сил.

Во сне я видела Гариба – на своем бульдозере он прорывался сквозь бушующий поток.

Утром мы пошли в больницу. Знакомая сестра еще не сдала дежурства. Лицо у нее было усталое, под глазами тени.

– Можно видеть главного хирурга?

– Он на консилиуме. Как раз относительно вашего родственника.

– А разве ему стало хуже? – Я схватила сестру за руку.

– Не... знаю, – неопределенно ответила та.

– Пойдемте к главному врачу, я с ним знакома, – заявила маникюрша.

– Не надо, я сама.

В кабинете главного врача сидело несколько людей в белых халатах, – видимо, это и был консилиум.

Когда я открыла дверь, все замолчали. Главный хирург поднялся мне навстречу:

– Хорошо, что вы пришли. Понимаете... возникла необходимость ампутировать стопу.

– Ампутировать?! Почему?

– Кажется, началась гангрена. И ампутировать незамедлительно, через несколько часов придется отрезать ногу до колена.

– И он дал согласие?

– Не дал, – ответил один из врачей. – Но сейчас нельзя считаться с ним – у больного затемнено сознание.

– У меня сознание не затемнено, но я тоже не согласна на ампутацию! Резать ногу я не дам! Я повезу его в Баку!

Врачи молчали.

– Когда вы хотите ехать? – спросил наконец главный врач.

– Сейчас!

– На чем?

– На машине «ГАЗ-69».

– Я бы не советовал рисковать, – мягко сказал он, подходя ко мне. – Но... но уж если вы решили везти его, не теряйте ни минуты.

– Мне можно к больному?

– Да. Сестра, проводите гражданку в палату. Еще раз повторяю: подумайте, положение серьезное. Если опоздать с ампутацией...

– Пойдемте, сестра! – Я выбежала из кабинета.

Лицо у Гариба было очень красное и потное – почти такое же, как тогда, когда он расчищал завал; глаза закрыты.

Услышав мой голос, он открыл глаза и слабо улыбнулся:

– Знаете, Сария-ханум, а мне тут ногу собираются отрезать.

– Я слышала. Мы сейчас поедем в Баку. Там опытные врачи, профессора...

– В Баку? – тихо спросил Гариб. – Далеко...

Он вдруг стиснул зубы и несколько секунд молчал. Наверное, это очень больно – сломать ногу.

– Но как же мы поедем? – Он говорил с трудом. – Пусть тогда кто-нибудь из ребят... Или мать вызвать... Тут недалеко... Можно телеграмму послать...

– Это все ерунда. Некогда, Гариб! Вы поедете со мной. Не беспокойтесь – довезу в целости и сохранности.

Он снова улыбнулся и взглянул на меня большими, блестящими от жара глазами, потом снова закрыл их. Мне показалось, что он хотел еще что-то сказать, но у него не хватило сил.

– Я сейчас вернусь, Гариб. Вас пока оденут.

Я побежала к мужу в управление – нужно было еще выпросить у него машину. Секретарша сказала, что Адиль уехал на объекты и будет только вечером.

Что делать?

– Он на своей машине поехал? – спросила я девушку.

– Нет, на райисполкомовской «Волге».

Я бросилась в гараж.

– Мне нужно на несколько часов машину, – заявила я сторожу. – Скажите Адилью, что я взяла.

Он было замялся, но, не решившись возражать, молча распахнул ворота гаража.

Моя знакомая ждала меня у больницы.

– Я тоже поеду, – сказала она, беря меня за руку. – Разве тебе довести одной? До Баку четыреста километров!

– Да как же вы поедете? А работа?

– Уже договорилась, отпустили. А вот это нам на дорогу. – Она показала на корзину с продуктами – из нее торчал розовый термос. – Тут чай – ему нужно покрепче, яйца, масло, сыр, в общем, хватит. Она поставила корзину под сиденье.

В это время вынесли Гариба. Медсестра и санитары, осторожно устроили его в машине.

Гариб дремал, полулежа на заднем сиденье. Сломанная нога, затянутая в лубки, была высоко поднята.

Из первого же почтового отделения я дала Адилью телеграмму:

«Гариба гангрена, районе предлагают ампутировать ногу. Решила везти в Баку. Связи твоим отсутствием машину пришлось взять без разрешения. Извини.

Сария».

Горы были уже позади, ехали по равнине. Спидометр показывал восемьдесят, но я прибавила газу. Солнце жгло немилосердно, к тому же пришлось закрыть окна – встречные машины то и дело обдавали нас облаками пыли. Все это было ужасно для Гариба.

Несколько раз мы останавливались на две-три минуты: закипала вода в радиаторе. На каждой остановке мы поили Гариба чаем – он все время хотел пить – и заставляли его съесть яблоко. Гариб не сопротивлялся, нехотя, вяло жевал.

Когда же мы наконец приедем?! Будь проклята эта бесконечная равнина с ее жарой и пылью, ведь у него гангрена!

А Гариб все лежал молча, закрыв глаза.

Около Агдаша есть чайхана – небольшой чистенький домик в тени трехсотлетней чинары. Я очень любила останавливаться здесь, когда мы с Адилем совершали дальние автомобильные прогулки. Как давно это было!

Поставив машину в тени, я пошла к колодцу, намочила полотенце и обтерла Гарибу лицо – оно было все в пыли. Потом мы дали ему чаю, сами выпили по стакану и снова тронулись в путь.

И тут я сообразила – ведь Гариб пил очень много, ему, наверное, нужно... Как быть? Я затормозила и, перегнувшись назад, наклонилась к нему. Не зная, как сказать, я сначала взяла его руку, будто чтобы послушать пульс, потом шутливо сказала:

– Гариб, мы вас все поим, поим, а...

– Нет! – с неожиданной силой резко произнес он и отвернулся.

– Ты сиди, крути свой руль, а мы тут и без тебя управимся. Я – сиделка. – Моя подруга сердито оттолкнула меня и прошептала мне на ухо: – Стесняется он тебя, неужели не понимаешь, глупая...

– Плохо ему так, голова мотается, – сокрушенно сказала я. – Может, вы сядете рядом и голову его на колени к себе положите?

– Это вы правильно, только больно толста я – места займу много. Попробую.

Мы снова отправились в путь. Наконец вдали засверкала Аксу.

– Скоро уже, Гарибджан, потерпи немножко. Сейчас через Аксу переправимся, а там рядом.

Он на секунду открыл глаза, взглянул на меня и утвердительно качнул головой.

Первый раз в жизни я назвала его ласково – Гарибджан и даже не сразу заметила это...

Мы подъехали к броду. Только я осторожно ввела машину в реку, хлынул ливень. Я сразу перестала видеть, что происходит снаружи. Перед стеклами была сплошная серая пелена.

Мы медленно двигались в бушующем потоке, – веселая, прозрачная Аксу превратилась в бурную горную реку. Я знала, что, если откажет мотор, машину снесет в сторону, перевернет потоком... Бедный газик, словно верный добрый конь, самоотверженно рвался навстречу стихии, дрожал от напряжения, но не останавливался. Только бы не заглох мотор!..

Я обернулась – Гариб, приподнявшись на локте, напряженно смотрел вперед.

Машину тащило в самую быстрину.

– Держи правее! – крикнул Гариб.

Я выровняла машину, прибавила скорость и, обернувшись, кивнула Гарибу. Он опустил голову на подушечку и закрыл глаза.

Как только мы выбрались из реки, дождь сейчас же кончился. Словно нарочно!

Я взглянула на часы. Боже, уже пять часов в пути! Полчаса ушло на переправу. Бедный Гариб!

Проехали Шемаху. Еще сто километров. Я снова дала газу – на спидометре девяносто пять километров. Если бы видел Адиль!.. Интересно, я совсем не чувствовала усталости. Только руки на руле словно одеревенели.

К Баку мы подъехали в четвертом часу, нужно было еще добраться до больницы нефтяников. Это лучшая больница в городе, и, кроме того, я хорошо знала главного врача Гасана Мамедовича Мамедова. Отец у него был шофером, когда он, молодой тогда врач, работал на «Скорой помощи». Лишь бы найти его побыстрее!

В больнице мне в первый раз повезло: я увидела Гасана Мамедовича, как только вбежала в вестибюль, – он спускался по лестнице, большой, грузный, в белом халате и белой шапочке.

– Здравствуйте, дядя Гасан!..

– Здравствуй, Сария! – Гасан Мамедович остановился и удивленно смотрел на меня.

– Ты откуда, девочка? Почему ты такая грязная?

– Я со строительства. У нас несчастный случай...

– Так. Рассказывай. – Гасан Мамедович сразу стал серьезным.

– Я его привезла... Одного товарища, у него тяжелый перелом. Простите, что я в таком виде. Я семь часов сидела за рулем. А дорога...

– Как, маленькая Сария сама водит машину?

– Давно уже...

– Постой, но ведь ты же вышла замуж в Баку. Как ты попала на строительство?

– Дядя Гасан... ему очень плохо, я вам потом все расскажу.

– Хорошо, хорошо, только не реви! Где твой больной?

– Он там, в машине. Ему хотели отрезать ногу, а он такой, он такой... замечательный парень!

– Постой, Сария. Кто хотел резать?

– В районной больнице. Они сказали – гангрена.

– И ты семь часов везла его?

– Семь.

– Да...

– Дядя Гасан! – Я схватила его за руки, из глаз у меня брызнули слезы. – Постарайтесь! Ну ради меня, ведь вы всегда меня хвалили, вы даже говорили, что я молодец. Господи, что я несу...

Доктор улыбнулся и большой белой рукой потрепал меня по плечу.

– Пойдем ко мне.

Он повел меня к себе в кабинет, усадил на диван и позвонил.

- Вошла сестра – молодая стройная женщина.
- Вы звали, Гасан Мамедович?
 - Да, Джавахир-ханум. Там больного привезли с гангреной. Срочно принять – и в третью палату. Понятно? Доктор Мохсудзаде здесь?
 - Нет. Уже ушел.
 - Вызовите.
 - Сестра ушла.
 - Большое спасибо, дядя Гасан. – Я рванулась вслед за сестрой.
 - Куда ты? Теперь без тебя управятся. Сиди отдыхай. – Гасан Мамедович сел за стол.
 - Значит, врачи сказали – гангрена?
 - Да.
 - А когда сказали?
 - Утром, в девять часов.
 - Он снял трубку, спросил, вызвали ли профессора Мохсудзаде.
 - Отказывается? Хорошо, я сам позвоню.
 - Он набрал номер.
 - Это я, Сабир. Знаю, знаю, что только отдежурил, но, понимаешь, надо... Ну, конечно, сейчас же. Договорились? Так я велю готовить. – Он повесил трубку. – Считаю, что парень на ногах. Это такой хирург!.. Ну, а как ты живешь? Как муж?
 - Спасибо, хорошо. Он сейчас начальник строительства.
 - Тут по радио как-то о нем говорили. Хвалят. Видно, башковитый парень.
 - Да.
 - Я знал, что маленькая плутовка не выйдет за плохого. – Он улыбнулся.
 - Да, Адиль очень хороший... Доктор, а профессор скоро будет?
 - Сейчас приедет. Да ты не волнуйся, все будет в порядке.
 - Я не волнуюсь.
 - Тутовые ягоды ела там, в горах?
 - Нет, у нас в лесу их что-то нет.
 - Жаль, хорошая штука.
 - Вы их любите? Я пришлю из района – на рынке есть.
 - Вошла Джавахир-ханум.
 - Больной в палате.
 - Значит, так. Я сейчас иду домой. Когда профессор Мохсудзаде приедет, позвоните мне. Пойдем, Сария.
 - Может быть, я останусь, поговорю с профессором.
 - Это ни к чему. Он никогда не станет ампутировать без необходимости. А если уж скажет – надо, значит, другого выхода нет. Не кусай губы, не кусай, все будет в порядке. Кто он тебе, этот парень?
 - Никто.
 - Никто? Впрочем это неважно. Мохсудзаде сделает все возможное и даже невозможное. Пошли – тебе надо вымыться, отдохнуть.
 - Увидев у подъезда наш газик, Гасан Мамедович неодобрительно покачал головой:
 - На этой таратайке приехали? Да...
 - Что вы, Гасан-ами! Это очень хорошая машина! Видели бы, как мы через Аксу переправлялись. Любая «Волга» перевернулась бы.
 - Ладно, не обижайся. А это кто? Мать того парня?
 - Нет, это мой друг. Мы вдвоем привезли его. Может быть, отвезти вас, Гасан Мамедович?
 - Нет уж, уволь. Вези вот своего «друга», она, видимо, женщина отчаянная, а я свою персону не могу такой девчонке доверить. Шучу, шучу, конечно. Просто пешком ходить стараюсь – толстеть стал, видишь, брюхоросло. – Он похлопал себя по пиджаку. – Ну, я пошел. Утром позвони мне в больницу.
 - До свидания, Гасан Мамедович! Большое спасибо вам.
 - Я сделала вид, что занялась мотором, но, как только главный врач свернул за угол, шмыгнула обратно в вестибюль. Я разыскала Джавахир-ханум и не отстала от нее до тех пор, пока она не дала мне халата и не разрешила пройти в палату.

В большой светлой комнате стояли четыре кровати, белые шелковые занавески на окнах были опущены. Гариб лежал справа у окна, глаза у него были закрыты. Я не стала подходить. Может быть, он спал...

– Ну как? – встретила меня подруга.

– Вызвали профессора, а меня прогнали. Надо ехать домой. Ой, я же забыла ключи от квартиры! Только сейчас вспомнила.

– Ну и что? Поедем ко мне.

Я взглянула последний раз на больничные двери, вздохнула и тронула машину. Больница осталась позади – белая, красивая и зловещая.

«Гариб лежит там, у окна, и глаза у него закрыты. Может быть, ему отрежут ногу... И никого нет около него сейчас... Неужели ампутация?! Зачем было тогда мчаться по горным дорогам, переправляться через Аксу, рискуя перевернуть машину?»

Дома у меня только и хватило сил, чтобы открыть окно, умыться и лечь. Раздеться я не успела – сразу заснула.

Проснулась в одиннадцать часов. Стол был у нее накрыт. Я сразу вскочила – очень хотелось есть.

– Садись, девочка, – ласково сказала хозяйка. – Ты хорошо поспала... И я малость вздремнула.

Я села за стол. «Надо позвонить в больницу, – думала я. – Не могу... страшно!»

Красное, воспаленное лицо Гариба на белой подушке маячило передо мной: глаза закрыты, сухие губы плотно сжаты. Я сомкнула веки и вдруг увидела себя навзничь лежащей на белой больничной койке с вытянутой на шине ногой. Я даже ощутила на миг острую, режущую боль в правой ступне. Но стоило мне открыть глаза, боль сразу ушла. Я с удовольствием пошевелила ступнями и налила себе чаю.

Хозяйка дома, обычно такая разговорчивая, почему-то не упоминала о Гарибе, ни о чем не спрашивала меня. «Добрая она, – с благодарностью подумала я, – понимает, что мне трудно».

Надо было звонить в больницу, но я все не могла набраться храбрости. Съела яйцо, выпила еще стакан чаю... Все, ужин окончен, надо звонить.

Я взяла трубку. Ответил женский голос.

– Попросите Джавахир-ханум! – чуть охрипшим голосом попросила я.

– Слушаю.

– Как чувствует себя Гариб Велиев?

– Удовлетворительно. Его смотрел профессор Мохсудзаде... Он решил подождать с ампутацией, – что покажет ночь.

– Спасибо, Джавахир-ханум. До свидания.

Я положила трубку.

– До утра решили не резать.

Я подошла к окну. С моря веяло прохладой, зарево электрического света стояло над городом.

«Только вчера мы были в горах, в лесу. Я и Гариб. Что с ним будет? Неужели отрежут ногу?!» Я закрыла глаза и увидела его с ракеткой в руке: быстрого, ловкого, сильного...

Словно кадры киноленты, замелькали передо мной воспоминания: опять он – смелый, уверенный, дерзкий, на краю пропасти, смеется над моим испугом. Вот он расчищает завал: лицо злое, красное, волосы слиплись... Вот с ломом в руке стоит в реке под дождем... И наконец его лицо на подушке – губы плотно сжаты, глаза закрыты.

– Давай еще чайку выпьем, Сария! – Хозяйка подошла и обняла меня за плечи.

– Давайте. – Я через силу улыбнулась ей и села за стол.

Моя улыбка успокоила ее, уже через минуту она беззаботно болтала:

– Знаешь, Сария, это так удачно, что я приехала, – я ведь не пересыпала вещи нафталином. Ну, просто из головы вон – заперла шкаф и уехала. Завтра все вытрясу, вычищу...

Я сразу вспомнила нашу бакинскую квартиру и то, что Адиль наказывал мне перед отъездом обязательно выбить и пронафталинить зимние вещи. Я, надо сказать, отнеслась к его словам без должного внимания, кое-как пересыпала зимние пальто нафталином и запихнула в шкаф. Нехорошо, конечно. Но как давно это было! Сто лет назад.

Мне сейчас казалось, что это было в тоскливый осенний день, хотя уезжали мы в мае и у меня было тогда очень хорошее настроение. Неужели так бывает всегда, и когда-нибудь мне будет скучно вспоминать свою работу на строительстве моста, товарищей, Гариба? Нет! Только бы он поправился! Если Гариб поправится, я буду счастлива! И на Адиля никогда не буду больше сердиться. Я помирюсь с ним, попрошу у него прощенья. Только бы поправился Гариб, я не хочу, чтобы ему отрезали ногу!

– Ты что не пьешь? Чай совсем остыл.

– Правда, холодный. Сейчас налью горячего.

Я налила себе чаю.

«Если Гариб не поправится, я никогда не буду счастлива. Я знаю – не буду, даже если захочу забыть о нем... И зачем я тогда расписалась рядом с ним на этой бумажке! Ведь именно с тех пор я и не могу отделаться от ощущения, что нерасторжимо связана с Гарибом. Что бы ни делала, все время чувствую на себе его взгляд, слышу глуховатый, низкий голос. А тогда ночью! Я не могла оторваться от крошечного, мерцающего во тьме огонька. Мне хотелось, чтобы он горел всегда, и он горел долго, очень долго, а когда наконец растаял во мраке, мне стало так грустно, что я зарылась в подушку и заплакала тихо-тихо, чтобы не услышал Адиль. Почему я тогда плакала? Не знаю».

– Давай свой стакан, Сария. Я вымою.

«Странно, почему она ничего не спрашивает о Гарибе. И почему отвернулась тогда в машине, когда я вытирала ему лицо? Спросить ее? Нет, не надо...»

Утром, в восемь часов, я была в больнице. Джавахир-ханум еще не сдала дежурства. Она подошла ко мне, весело улыбаясь:

– Профессор Мохсуд-заде вчера вечером оперировал вашего родственника.

Ничего не понимая, я смотрела на ее приветливое лицо.

– Отрезали?! – в ужасе воскликнула я наконец.

– Нет, нет! Я хотела сказать, что ему сделали надрезы и ввели дренажи – для стока гноя, понимаете? Теперь больному лучше, температура упала. Он даже завтракал... Что с вами? Ведь все же хорошо!.. Ну, вытрите слезы, я отведу вас к нему.

Сестра стояла передо мной, высокая, красивая, и улыбалась.

Я покорно вытерла слезы и пошла за ней.

... Гариб лежал на спине, заложив руки за голову, и с улыбкой смотрел на меня. Я давно не видела у него такого лица: спокойное, умиротворенное и очень ласковое.

– Ну как, товарищ бульдозерист? – стараясь казаться спокойной, сказала я. – Выкарабкались?

– Кажется, да. Говорят, резать не будут.

– Мне тоже так сказали.

Он улыбнулся и помотал головой.

– А как вы тогда гнали! Я думал, вдребезги разобьемся...

Трое других больных с интересом смотрели на меня.

– Он говорит, – кивнул на Гариба пожилой мужчина, лежащий на соседней койке, – у вас в Аксу чуть машину не перевернуло.

– Было такое дело, – сказала я, улыбнувшись Гарибу. – Но ничего, проскочили.

– Молодец! Он говорит, ловко машину водишь. Боевая, видно, девка!

Я тихонько засмеялась.

Другой больной, русский, вероятно, не понимал, о чем мы говорим, но уловил слово «машина». Он приподнялся на локте и спросил Гариба:

– Ваша жена сама водит машину?

Гариб не ответил. Краска медленно заливала его лицо. Он не смотрел на меня.

– Я не жена.

– Ох, извините! – Русский смущенно умолк.

– Болит нога, Гариб?

– Болит, но не сравнить, как вчера.

– Не слушай его, дочка, – добродушно сказал пожилой, – это он перед тобой хорохорится.

Видимо, выдержка у Гариба действительно была колоссальная.

Из больницы я зашла на почту и дала телеграмму Адилью:

«Прошу передать товарищам состояние Гариба улучшилось. Обо мне не беспокойся. Сария». Потом приписала: «Остановилась у знакомой маникюрши» и указала ее адрес.

Утром пришла телеграмма от Адилья:

«Удивлен и возмущен твоим поведением. Требую немедленного возвращения служебной машины. Адилья».

– От кого это? – спросила хозяйка, когда я, вздохнув, протянула ей телеграмму. Я стояла перед зеркалом и видела, как она поставила на стол кофейник, быстро прочитала телеграмму, нахмурилась, прочитала снова и положила ее на стол.

Завтракали молча. Я всегда чувствовала, что эта на первый взгляд немножко взбалмошная, болтливая женщина очень добра и сердечна, но все-таки не ожидала от нее такого такта, чуткости...

К десяти часам я пошла в управление дорог.

Адилья здесь знали. Я назвала свою фамилию, и через пятнадцать минут секретарша пригласила меня в кабинет начальника управления.

Я рассказала об аварии на стройке, о Гарибе и о том, что мне пришлось воспользоваться служебной машиной, чтобы привезти его сюда.

– По-моему, все правильно, Сария-ханум, – сказал мне начальник управления. – Именно так и нужно было поступить.

– Да, но я взяла машину без разрешения.

– Это, конечно, плохо. – Он улыбнулся. – Но главное, что парню не отрезали ногу. Кстати, не нужно ли ему что-нибудь в больнице?

– Нет, у него все есть, а вот если бы вы позвонили в наше управление...

– Это можно. – Он взял трубку. – А как на стройке, все в порядке?

– Да, если не считать обвала во время последней грозы. Я пойду, разрешите?

Мне не хотелось слушать, как он будет говорить с моим мужем.

В больнице сегодня дежурила Джавахир-ханум, и я прямо из вестибюля министерства позвонила ей.

– Как ваше здоровье, Джавахир-ханум?

– Мое? – Она засмеялась. – Хорошо, но, видимо, вы позвонили не для того, чтобы справиться о моем здоровье? Так вот, наш больной просто молодец: опухоль почти спала, температура нормальная. Ваш Гарибджан – молодец!

– Вы даже запомнили его имя!

– Я всегда запоминаю имена красивых молодых людей.

– А... он красивый?

– Как будто вы сами не знаете! Только не ревнуйте, а то возьму и расскажу ему.

– Не надо!

– Не волнуйтесь, – снова засмеялась Джавахир-ханум. – Мы, сестры, обязаны хранить тайны наших больных. Я просто передам ему привет – он ведь знает от кого.

– Знает. Будьте здоровы, Джавахир-ханум.

Настроение у меня в этот день было великолепное. Весь день я, весело напевая, помогала подруге по хозяйству, а вечером даже уговорила ее пойти в кино.

Прошло несколько дней.

Я купила Гарибу сетку-рубашку – было очень жарко, особенно в палате, – и пошла в больницу.

Я быстро шла со своей корзиночкой по коридору. Дверь одной из палат открылась, и оттуда вышли Гасан Мамедович и высокий седой мужчина в белом халате.

– А, ты здесь? Здравствуй, храбрая Сария! – весело поздоровался со мной главный врач. – Эта та самая отчаянная девчонка, что привезла парня с открытым переломом. Со стройки, помнишь? – обратился он к седому мужчине. И добавил почему-то по-русски, обернувшись ко мне: – Поправится скоро твой мальчик, не горюй.

– Спасибо, Гасан Мамедович!

– Его благодари, – главный врач кивнул на стоящего рядом мужчину, который с явным любопытством смотрел на меня. – Это профессор Мохсудзаде. Он спас ногу твоему Гарибджану.

– Оставь, Гасан!

Профессор досадливо махнул рукой, еще раз взглянул на меня и пошел в соседнюю палату.

– Как наш уста себя чувствует? – Гасан Мамедович всегда так называл моего отца.

Я не смогла соврать.

– Еще не была у своих, Гасан-ами.

– Почему же это?

– Они на даче сейчас. А я все время около больницы кручусь. Ведь у Гариба никого нет в Баку.

– Да... Нехорошо, Сария. Сегодня же поезжай к своим. – Гасан Мамедович укоризненно покачал головой.

... Когда я вошла в палату, Гариб приподнялся на локтях и сел. Лицо у него покраснело от напряжения, я поняла, что двигать ногой ему еще очень больно.

Я, как со старыми знакомыми, поздоровалась с соседями Гариба и села на стул у его постели.

– Тебе надо ехать, Сария, – вздохнул Гариб. – Машина нужна на строительстве.

Как незаметно мы перешли на «ты»!

– Ничего. Там есть другие легковушки. А насчет нашего газика у меня специальное разрешение начальства. Так что не спеши гнать меня из Баку. Может быть, я по нему соскучилась.

– Ты живешь далеко от больницы?

– Не очень. Но я сейчас не дома, Гариб. У подруги. Впопыхах ключи у Адилья забыла взять.

Он помолчал.

– Когда тебя выпишут?

– Кто их знает! По мне, хоть сегодня!

– Ему профессор сказал, через несколько дней вставать можно. Слышишь, дочка? – обратился ко мне пожилой сосед Гариба. – С палкой будет прыгать.

– Вот здорово, Гариб! При больнице такой хороший сад, можно будет гулять. Курит здесь кто-нибудь, кроме Гариба? – спросила я, доставая из корзинки «Казбек».

– Григорий Иванович мучается, – Гариб показал на соседа. – Мы уж просили няню, не покупает – нельзя, говорит, здесь курить. Ты нам дай по штуке, а остальные сунь вот сюда, под подушку. Смотри, чтобы сестра не вошла, – сказал Гариб парню с забинтованными руками.

– И как вы узнали, что мы тут пропадем без курева? – спросил Григорий Иванович, с наслаждением затягиваясь.

– Она волшебница, – с улыбкой взглянув на меня, сказал Гариб. – Все знает.

– К сожалению, не все, Гариб, – грустно сказала я. – Мне кажется, я не знаю самого важного...

Лицо у Гариба вдруг стало строгое, брови нахмурились. Я встала и начала прощаться.

– Ну что это вы вдруг заспешили? – благодушно спросил Григорий Иванович. – Мы ведь здесь скучаем.

– Меня на десять минут пустили, а я уже полчаса сижу. Поправляйтесь.

Я кивнула Гарибу и вышла из палаты.

У подруги меня ждало письмо от Адилья. Вернее, не письмо, а записка: «Тринадцатого приеду в Баку. К пяти часам вечера буду дома».

Сегодня тринадцатое. Адилья, вероятно, уже дома. Я села в газик и поехала на улицу Хагани. Поставив машину во дворе, стала подниматься к себе на четвертый этаж. Раньше я даже с тяжелыми сумками легко взбегала по лестнице – сейчас поднималась медленно, останавливалась на площадках, словно у меня была одышка.

По дороге мне встретилась знакомая с пятого этажа, разговорчивая пожилая дама. Я так долго и любезно расспрашивала о здоровье всех ее родственников, что та, наверное, была потрясена: что случилось с дерзкой девчонкой, которая обычно пробегала мимо нее, едва поздоровавшись? Дама выговорилась и ушла. Наконец моя квартира. Я нажала кнопку звонка. Послышались неторопливые шаги мужа. Дверь открылась!

Какое странное у Адилья лицо – совсем чужое!

– Здравствуй Адиль! Ты давно здесь?

– Утром приехал. Я же писал тебе.

– Да, писал...

С непонятным чувством оглядела я нашу нарядную столовую. Как все запылилось...

Адиль молча наблюдал за мной. Мне показалось, что он очень взволнован, хотя, как всегда, не подает виду, выдержан и корректен.

Я подошла к туалетному столику, взяла расческу, провела по волосам. Потом подняла штору и села на подоконник.

За окном все то же: газон, напротив новый многоэтажный дом. Сколько часов провела я перед этим окном, поджидая Адилья!

– Сария!

Я обернулась.

Адиль подошел ко мне, схватил за руку.

– Что ты со мной делаешь, Сария?! Зачем ты приехала в Баку?

– Я не могла не поехать, Адиль, Гарибу отрезали бы ногу!

– Будь прокляты и его нога, и он сам! – Адиль резко повернулся и отошел от меня. – Почему именно тебе понадобилось везти? Разве это не мог сделать кто-нибудь из его товарищей?

– Я тоже его товарищ.

– Ты прежде всего моя жена! И ты должна была спросить у меня разрешения!

– Тебя не было в управлении.

– Не могла подождать?

– Не могла. У него начиналась гангрена. Я думала...

– Думала! – Адиль отпихнул ногой стул и стал нервно ходить по комнате. – Ты очень мало думаешь, Сария! Для тебя не существует ни общепринятых норм, ни правил поведения. Ты не имеешь понятия об обязанностях жены!..

– Ты прав. Тебе нужна совсем не такая жена.

Одну, очень долгую минуту мы молчали.

– Ах, вот что ты задумала! Дрянь!

Хрустальная ваза, пролетев около моего уха, ударилась о стену и разбилась. Я взглянула на осколки, встала...

– Напрасно ты это, Адиль...

Я пошла в спальню и начала собирать свои вещи. Доставать большой чемодан не стала – ведь я возьму только те платья, что принесла из дому, а они вполне поместятся и в маленьком. К тому же идти придется пешком.

Я уложила вещи, закрыла чемодан. Адиль сидел на диване, обхватив голову руками...

Ладно, это платье снимать не буду, хотя мне его и купил муж. Пусть останется.

– Прощай, Адиль.

Он поднял голову, увидел чемодан, быстро взглянул мне в лицо. В глазах у него не было уже ярости, только испуг. Но он быстро овладел собой.

– Поставь чемодан, Сария. Нам надо поговорить.

– Не надо больше говорить, Адиль. Мне нечего сказать тебе.

Он молчал.

– Адиль, я никогда не смогу жить так, как ты считаешь правильным.

– Не понимаю, Сария, ничего не понимаю! Ты вышла за меня по своей воле... никто не принуждал тебя. Мне казалось... ты меня любишь.

– Мне тоже так казалось. Поэтому я и стала твоей женой. Я только теперь, сейчас поняла, что никогда тебя не любила.

– Ну что ж... Только знай, что ты своими руками губишь свое будущее, свое счастье.

– Мы по-разному понимаем, что такое счастье. Прощай, Адиль.

Я взяла чемодан и пошла к двери.

ГАРИБ

Вчера Сария принесла мне шелковую рубашку: я сказал как-то, что в больнице очень жарко.

Сначала я обрадовался, развернул сверток, а потом вдруг так нехорошо стало на душе – вспомнилось, как надевал я там, на строительстве, рубашки, которые она стирала и гладила.

Сария заботилась обо мне, заботилась, как сестра. И в этой ее заботе было такое дружелюбное равнодушие, что я готов был выть от тоски. «Конечно, – говорил я себе, – она довольна жизнью. Адиль – молодой, сильный мужик, хорошо зарабатывает, что ей еще нужно, девчонке!» Но как я ни старался плохо думать о Сарии, где-то в глубине души я был убежден, что не может она быть счастлива с Адилем. Недаром же я сразу возненавидел его – самовлюбленного карьериста.

Но она же вышла за него замуж! Живет с ним под одной крышей, носит платья, которые он ей покупает!

Я не мог этого понять и всеми силами старался доказать себе, что мне нет дела до смазливой, легкомысленной девчонки. Интересоваться чужими женами я всегда считал недостойным настоящего мужчины.

Вскоре я понял, что у Сарии с мужем не все так гладко, как я думал вначале. Кажется, это было на следующий день после того, как Адиль беседовал с нами.

Мы подносили Керемхану раствор, и вдруг я поймал на себе взгляд Сарии – всегда чувствую, когда она на меня смотрит. Сария насмешливо улыбалась.

– Что это вы веселитесь, Сария-ханум? – спросил я как можно равнодушнее.

– Да просто вспомнила, какое у вас вчера было выражение лица, когда вы разозлились на Адилея. Не идет вам кипятиться. И между прочим не из-за чего было.

«Ах вот оно что – ей надо поговорить об Адиле, как-то оправдать его! Значит, я не ошибся. Сария не может быть с ним заодно».

– Понимаете, Сария-ханум, в конце концов дело не в том, кто из нас вчера был прав. Обидно, что ваш муж не уважает людей.

– Почему это вы решили? Разве он проявил к вам неуважение?

– Да не ко мне, Сария-ханум. Ваш супруг принадлежит к людям, которые думают, что рождены для грандиозных дел, а потому только от них, от их деятельности зависит будущее. Остальные же пригодны лишь выполнять распоряжения инженера Джафарзаде. Он может их наказать или милостиво похлопать по плечу, если они старательно выполняют его приказания.

– Но... во всяком случае, начальник – это начальник, рабочий – рабочий...

– Правильно, но у нас любой рабочий чувствует себя ответственным за свое дело и работает с полной отдачей. Потому мы и хотим, чтобы нас не покровительственно хлопали по плечу, а по-настоящему уважали. А такие люди, как ваш Адиль, умеют уважать только «вышестоящих».

Я взглянул на Сарию. От ее насмешливой улыбки не осталось и следа. Смущенная, даже испуганная, смотрела она на меня. Я замолчал...

Сария улыбнулась жалко, растерянно.

– Пойдемте за раствором. – сказала она, – мы задерживаем.

До конца работы Сария больше не задевала меня, ни разу не пошутила. Я стал жалеть о своей резкости – видеть ее грустной было невыносимо.

Потом, через несколько дней, я принес ей цветы, вернее, даже не ей, а Адилею.

Вот как это получилось. Я полюбил после работы забираться высоко в горы – хотелось побыть одному. Странное, новое для меня чувство – никогда раньше я не искал тишины и уединения.

И вот как-то, спускаясь по склону, я вдруг почувствовал аромат чебреца и вспомнил, что несколько дней назад Сария искала в лесу эти цветы. «Адиль их очень любит», – сказала она. Солтан объяснил ей, что в лесу эти цветы не растут, а только высоко на скалах.

Я уже протянул руку, чтобы нарвать их...» Собирать цветы для Адилья!..» Потом представил себе, как улыбнется Сария, увидев эти цветы. Я собрал букет. Но Сария не улыбнулась, она удивленно взглянула на меня, потом на цветы, потом снова на меня и поблагодарила.

Мы больше не вспоминали с Сарией чебрец, но я не жалел, что принес ей тогда букет.

... Все эти дни в больнице я непрерывно думаю о ней. Лежу, молчу, вспоминаю... Когда я понял, что Сария необыкновенная, удивительная девушка? Кажется, с первых дней. Она сначала ничего не умела толком делать и так терпеливо, внимательно выслушивала замечания и советы Керемхана. «Неужели у нее нет самолюбия?» – подумал я, но скоро убедился, что это совсем не так.

Как-то я проходил около их палатки, что, вообще говоря, старался делать как можно реже. Сария сидела у входа с книгой в руках и делала в ней пометки. Я узнал книгу – это была книга «Конструкции мостов».

Услышав мои шаги, Сария быстро захлопнула учебник и, чтобы я не разглядел названия, прикрыла книжку ладонью.

Я улыбнулся, и Сария поняла, что я все-таки видел.

– Вот, решила вспомнить кое-что, – небрежно сказала она.

Я снова улыбнулся и ничего не ответил.

– Что вы смеетесь? – вдруг рассердилась она.

Какое у нее было сердитое лицо, когда она вскочила, бросила книгу и ушла в палатку... Смешная!.. Как она всякий раз сердилась, когда проигрывала мне в теннис, а потом опять начинала смеяться и шутить! Словно ребенок, веселый, незлопамятный!.. И она – жена Адилья Джафарзаде! Ведь он, даже завязывая галстук, наверняка думает о том, что он начальник строительства!

Странная, удивительная девушка... И добрая, я убедился в этом. Сколько я грубил ей, когда злился на нее, на ее мужа, на себя!..

Почему она не приходит? Уже двое суток я не видел Сарии!

... Она пришла на третий день, принесла фрукты и папиросы. Мне показалось, она побледнела, осунулась.

– Ты что, была больна?

– Я никогда не болею. Почему ты решил?

– Так... Ты не приходила два дня. И бледная... Машина еще здесь?

– Нет, я отдала ее Адилью.

– Ездила в район?

Она покачала головой.

– Адиль сам приехал.

– Он... в Баку?

– Не знаю...

Сария смотрела в сторону, в окно. Мы молчали.

– Как твоя нога, Гариб?

– Ничего. Профессор разрешил ходить с палкой. Но я не хочу. Попробую завтра так.

– Ты почему никогда не позвонишь?

– Разве у твоей знакомой есть телефон?

– Есть, я давала его Джавахир-ханум... Когда же ты все-таки думаешь выйти?

– Дня через три. А ты что, очень спешишь на стройку? – Сария отрицательно покачала головой.

– Ты дождешься меня?

Она кивнула.

– Как там наши?

– Не знаю, ничего не пишут.

Она снова замолчала и стала смотреть в окно. Глаза у нее были грустные-грустные.

– Сария, хочешь, я завтра выпишусь!

Она удивленно посмотрела на меня.

– Что это ты вдруг? Тебя же не выпишут. Не надо, Гариб!– попросила она.

Я курил и смотрел на нее не отрываясь, а она сидела задумчивая, усталая, на меня почти не глядела.

... Утром после обхода я, осторожно ступая на больную ногу, дохромал до телефона.

Трубка не успела прогудеть и одного раза.

– Слушаю.

– Ты что, прямо у телефона сидишь?

– Гариб?

Никто никогда так не произносил моего имени. Голос у Сарии был взволнованный и чуть глуховатый. Я в первый раз слышал ее по телефону.

– Как ты, Гариб? Ходишь уже?

– Вот до телефона доскакал. Прыгаю на одной ноге, как подстреленный воробей.

Она засмеялась.

– Ну уж на воробья ты совсем не похож!

– Как твоя знакомая маникюрша?

– Хорошо. Передает тебе привет. Спрашивает, что приготовить, когда выйдешь.

– Довгу, конечно. Но только когда это еще будет!

– Профессор сказал – послезавтра.

– Откуда ты знаешь?

– Я звонила ему. У тебя какой размер ботинок?

– Сорок два. А тебе зачем?

– Еще спрашивает! Видно, забыл, что тебя в одном сапоге привезли?

– Да, действительно... А деньги у тебя есть?

– Есть немного.

– Ну тогда покупай. Только подешевле что-нибудь... Ну, будь здорова, Сария!

– Почему ты спешишь?

– Да тут целая очередь.

– Ну хорошо, до свидания. Только не ходи много. Береги ногу... Поправляйся скорее, Гариб!

Она положила трубку. Я отошел от телефона и уселся в кресло под большой, разлапистой пальмой. Она так некстати стояла здесь в бочке, на скучном больничном столике. Белые, чистые коридоры, одинаковые светлые двери... Я вдруг почувствовал себя как в тюрьме. Прыгаю на одной ноге, сижу под этой дурацкой пальмой, а ведь я должен быть с Сарией. Должен! Потому что очень нужен ей. Я это сейчас понял.

Я нужен Сарии! Неужели это правда?

Сария вовсе не похожа на тех роковых пери, о которых слагали стихи поэты, но, когда я увидел ее однажды на теннисной площадке, стройную, легкую светлую, всю в лучах заходящего солнца, я почувствовал: мое счастье, моя судьба зависят от этой маленькой женщины.

Я разозлился тогда, послал ей несколько сильных, резких мячей. Она и не попыталась их принять, только укоризненно покачала кудрявой, мальчишеской головой.

Неужели это правда? Неужели она ушла от мужа?!

... Через два дня меня выписали.

И вот мы сидим с Сарией в чужой чистой комнате. Сария смотрит на меня и молчит. Хозяйка дома готовит на кухне довгу. По моему заказу... На Сарии старенькое платье. Оно ей коротковато, словно она носила его еще девочкой. Я не видел раньше этого платья.

Что у нее с мужем? Ведь как бы я к нему ни относился, Адиль красивый, умный и, наверное, нравится ей...

Она ничего не говорит о нем, а я не спрашиваю.

– Ты что опять брови хмуришь? – Сария вдруг встряхнула головой, словно хотела прогнать надоевшие мысли. – В больнице был такой добрый, просветленный, точно ангел, а тут опять хмуриться начал. Смотри, отправим тебя снова к Джавахир-ханум.

– Нет, не пойдет! – Я засмеялся. – Скажи, Сария, ты сколько заплатила за туфли?

– Двадцать.

– Недорого. Такие шикарные! – Я достал из бумажника деньги и протянул ей.

Сария недовольно посмотрела на меня.

– Ну, зачем же обязательно сейчас? Потом отдашь.

– Ты бери. У меня есть деньги.

Она пожала плечами, сложила бумажки и спрятала в сумочку.

На минуту мне показалось, что Сария моя жена, я принес ей зарплату, и она с озабоченностью прячет ее, чтобы потом распорядиться нашими общими деньгами.

Но Сария не моя жена, она жена Адилья... моего начальника, способного инженера и красивого мужчины. И он очень любит жену, это я знаю. Правда, сейчас что-то произошло между ними, но мало ли что бывает...

– Адиль в Баку?

– Думаю, что уехал.

– Почему же ты не знаешь точно?

– Так вот, не знаю... Мы с ним расстались, Гариб.

– Почему?

Этот глупый вопрос вырвался у меня совершенно неожиданно. Конечно, Сария не ответила, только пристально посмотрела на меня. И отвернулась...

– Когда мы поедем, Сария?

– Я бы хотела завтра. Если ты можешь.

– Тогда завтра! Едем опять втроем?

– Конечно.

– Утром я возьму три билета на автобус. До завтра, – сказал я, снимая с двери цепочку.

Она молчала. Лицо ее при слабом свете коридорной лампочки было такое худенькое, бледное. Я осторожно взял ее за руку.

– До свидания, Сария.

Рука у Сарии была маленькая и твердая, как у мальчишки, совсем не то что весной, когда, знакомясь, я впервые пожал ее руку. И волосы, коротко остриженные, разделенные посередине пробором. Мальчишка!.. И вдруг этот мальчишка заплакал. Сария плакала молча, закрыв лицо руками, плечи ее тряслись.

– Сария, что с тобой? Давай вернемся в комнату.

– Нет, нет! Это я так, не обращай внимания. Иди!

Я, прихрамывая, брел по вечернему Баку и не понимал, почему мне так хорошо. Ведь Сария, маленькая Сария, которую я люблю, плакала, а я счастлив!

Почему это?

В шесть часов утра я ждал их у автобусной остановки.

Было еще прохладно. Блестели только что политые тротуары, капли воды сверкали на цветах на газонах.

Наконец я увидел их. Сария несла небольшой чемодан, ее подруга, – две плетеные корзинки с продуктами. Сария была по-прежнему бледна, но когда она подошла ближе, я увидел – в глубине ее темных лучистых глаз неярко светится радость.

– Ой, какой красивый! – воскликнула она, поднимаясь на ступеньку автобуса. – Совсем новенький – даже краской пахнет! Правда? – Сария с улыбкой обернулась ко мне.

Я кивнул ей и стал отыскивать свободные места.

Мне, как настоящему инвалиду, уступили место спереди, а сами они пристроились на заднем сиденье.

Автобус тронулся. Чувствуя, что Сария смотрит на меня, я то и дело оборачивался. И каждый раз видел ее глаза, ее светлое, грустное, улыбающееся лицо.

Не оглядывайся, старик

ИСТОРИЯ САКИНЫ И ОКРУЖНОГО СТАРШИНЫ

В Прекрасном Карабахе среди высоких гор и широких долин, среди пышных садов и зеленых лугов лежало селение под названием Курдоба*. Почему оно так называлось – жили здесь только азербайджанцы – никому не было известно.

Жители Курдобы разводили курдючных овец мясной породы, держали верблюдов, поднимающих до двадцати пудов груза, и гарцевали на карабахских скакунах.

Зиму они проводили в селении, а по весне, когда все вокруг покрывалось сплошь алыми маками, и трава вымахивала по пояс, откочевывали на равнину. Раздобревшие на сочной траве, щедро ягнились овцы, женщины запасали сыр из овечьего молока, сбивали масло, готовили булему, мешая молоко и молозиво. Приближалось лето, в долине желтели травы, кибитки разбирались, сворачивались в тюки и грузились на верблюдов – начиналось переселение в горы на эйлаг. Десять дней и десять ночей шел караван к горным пастбищам. В пути на равнине Гаян делали стоянку и устраивали скачки. Конь, обогнавший остальных, сразу же становился знаменитостью, весть о нем разносилась по всей округе.

«Слушай, – говорили люди, – буланый Шахбаза, сына Гаджи Гулу, как стоячих, обошел добрую сотню скакунов!»

И тотчас за буланым приезжали покупатели, но сын Гаджи Гулу говорил, что не променяет жеребца на тысячную отару, и люди возвращались ни с чем.

Добравшись до эйлага, веками считавшегося собственностью Курдобы, кочевье останавливалось. Местность эта называлась «Ослиный родник» – по названию родника. Родник бил снизу, из-под замшелых скал, много чего повидавших на своем веку. Прозрачная, как слеза, вода ручьем текла меж душистых трав, яркими бусинками светились на дне разноцветные камешки, и никто не задумывался, почему этот прелестный родник носит такое некрасивое имя – «Ослиный». И почему пастбище, расположенное выше, называется «Золотое горло»... Почему снег, никогда не тающий на вершине горы, называется «Косой снег», а бескрайняя равнина, простирающаяся до самого горизонта и по весне сплошь усеянная маками, зовется «Золотая доска». Не знали и не задумывались об этом.

В центре летней стоянки располагалась кибитка из белого войлока – побольше и повыше, – вокруг нее размещались остальные.

В белой кибитке жил самый богатый, самый влиятельный и уважаемый человек, в черных – прочие, рабы божьи; богатому положено выделяться среди других; гость, прибывший в селение, сразу мог отличить кибитку старейшины. Старейшина был главой рода, он защищал, он наказывал, и если кто-нибудь из чужаков наносил обиду любому обитателю селения, он знал, что оскорбляет старейшину. Таков закон кочевников...

Большая белая кибитка, высившаяся над черными кибитками Ослиного родника, принадлежала Кербалаи Ибихану, человеку достойному, глубоко почитаемому односельчанами. Он был не столь богат, как другие старейшины, не владел, как Гаджи Алыш, десятую тысячами овец и восемью сотнями коней, но имел доброе имя, превосходя богача и умом, и гостеприимством... Ашуг, пришедший к его порогу, не уходил несолоно хлебавши, пришедший за помощью всегда получал ее, бедняка не отправляли из этого дома с пустыми руками. Окружной старшина, зная, как почитают здесь Кербалаи Ибихана, назначил его старшим над всеми кочевниками округи.

Как-то раз по весне, когда кибитки жителей Курдобы стояли еще в долине, старшина, заехав по делу к Кербалаи Ибихану, увидел его дочь Сакину и потерял рассудок. Я говорю «потерял рассудок», потому что старшине пошел седьмой десяток, и четырех жен он уже имел. К тому же он был кривым на один глаз, а семнадцатилетняя Сакина была красавицей, и белое ее личико украшали две прелестные родинки.

Сватов в дом являлось немало, но Сакина любила родственника своего, Гюльмамеда, сына Долговязого Гасана. Долговязый Гасан не славился богатством, но человек был достойный, воин отважный – отказать такому было невозможно, и Кербалаи Ибихан обручил влюбленных.

И вот теперь старшина повадился к Кербалаи Ибихану. Как-то вечером, тайком встретившись со своим нареченным, Сакина рассказала ему, что старшина при виде ее скалитя, как старая кляча, а однажды, когда отца не было дома, а она расстилала перед старшиной скатерть, тот схватил ее за руку, да так крепко, что она едва вырвалась. «Что ж, – сказал Гюльмамед, – значит, крепко ему приспичило».

И велел матери Сакины передать мужу, что если этот кривой еще раз появится у них в доме, живым оттуда не уйдет.

Мать Сакины знала Гюльмамеда: парень лихой, сказал – убьет, так и сделает... А потому все в точности передала мужу. Кербалаи Ибихан подумал малость – человек он был выдержанный, степенный – и велел жене передать парню, чтобы не вмешивался, он сам сделает, что требуется.

Что ж, как говорится, стыда не имеешь, собачий тебе конец. Когда старшина в очередной раз наведился в дом Кербалаи Ибихана, хозяин позвал двух парней и велел им укоротить хвост коню старшины, больно долог стал.

Красавицу Сакину старшине в тот раз увидеть не удалось, но, уходя, он твердо решил сразу же засылать сватов. И тут вдруг увидел, что коню его отрезали хвост!

– Что это такое?! – завопил старшина.

– Видишь ли, ага, – сказал Кербалаи Ибихан, спокойно взглянув на гостя, – когда кляча на седьмом десятке возжелает вдруг скакать иноходью, мы делаем вот так – облегчишь малость, может, и придет в себя, одумается!

– Ладно, – угрожающе сказал старшина. – Ты у меня попляшешь!

– Благодарю Бога, что живым отпустили! – ответил ему Кербалаи Ибихан.

Как ни петушился, как ни грозился старшина, но был он большим трусом, а потому, прекрасно понимая, что, тронь он Кербалаи Ибихана, курдобинцы сотрут его в порошок, отложил расправу на потом и больше не появлялся у Кербалаи Ибихана...

Но не зря говорится: не минует беда храбреца, а живого – мука. Однажды ночью пришедшие из Ирана бандиты напали на селение и стали отбивать отару Гюльмамеда. Высокий, сильный, плечистый, Гюльмамед с дубиной бросился на всадников.

– Убирайтесь, сукины дети!...

Главарь бандитов натянул поводья и насмешливо поглядел на чабана:

– Не дури, парень! За баранов жизни хочешь лишиться?

– Прочь, безродный! – выкрикнул Гюльмамед. – Убирайся отсюда! Я Гюльмамед, сын Долговязого Гасана, говорю тебе, убирайся! Плохо будет!..

Он взмахнул дубиной, но бандит поднял меч, и Гюльмамед вдруг почувствовал, что рука его, державшая дубину, стала легкой, как пушинка: глянул, нет у него ни дубины, ни кисти руки.

Старуха-знахарка растопила коровье масло, залила им рану, потом приготовила снадобье, наложила и обмотала руку повязкой. Добрые люди горевали, а недобрые злорадствовали: «Теперь все! Красавица Сакина не пойдет за однорукого!».

Но Сакина не даром была дочерью Кербалаи Ибихана; зачатая от благородного человека, вскормленная молоком честной матери, она решила иначе. «Не горюй! – сказала Сакина жениху, тайно встретясь с ним. – Ты всякий мне люб, рабыней буду твоей, мотыльком буду виться вокруг тебя!»

Три дня и три ночи играли их свадьбу. У Ослиного родника построили огромный свадебный шатер. Из Геокчайского округа прибыл знаменитый ашуг Вели. А сколько бычков зарезано было, сколько баранов!..

И жили они в любви и согласии. И родилось у них четыре сына и дочка. Гюльмамед совершил паломничество в Мешед и стал уважительно зваться «Мешади Гюльмамедом». Но, похоронив тестя Кербалаи Ибихана, он сам вскорости последовал за ним, и стала Сакина главою рода. Она мирила врагов, принимала почетных гостей, ездила сватать невест. «В отца удалась умом, – говорили бывалые люди, – в Кербалаи Ибихана!»

Похоже, что так оно и было. Видя, как сыновья беков и ханов, пройдя обучение в больших городах, научившись говорить по-русски и по-французски, надевают погоны и становятся большими «начарниками», Сакина подумала, что, хоть отец ее, Кербалаи Ибихан, не был ни ханом, ни беком, но не уступал им ничем, почему бы и внуку его тоже не стать «начарником».

Подумала она так, подумала, нагрозила подарками верблюда и повезла старшего своего, Байрама, в Шушу. Там жил один из потомков карабахского хана – Наджаф-бек, близко знавший покойного Кербалаи Ибихана. Объезжая селения подданных своих, Наджаф-бек всегда останавливался в его кибитке. И Кербалаи Ибихан приказывал резать баранов, стрелять для гостя турачей и джейранов...

«Перед тобой внук Ибихана, Наджаф-бек, – сказала Сакина. – Поручаю его тебе. Сам знаешь, добро мы не забываем, а прошу тебя вот о чем: определи мальчика в такую школу, чтоб мой Байрам стал ученым на нынешний манер».

Наджаф-бек не отличался сердечностью, но знал, что, если он проявит сейчас учтивость и уважение, это окупится сторицей – на обоих берегах Аракса станут говорить, что Наджаф-бек не посрамил хлеба-соли покойного Кербалаи Ибихана. Байрам, внук Кербалаи Ибихана, был определен в русскую гимназию.

Когда же мальчик успешно закончил курс, Наджаф-бек устроил его на службу в канцелярию «начарника», и уважение, которым пользовалась Сакина на берегах Аракса, возросло стократ: еще бы, сын ее, внук Кербалаи Ибихана, носит золотые погоны, разговаривает по-русски и называют его «Байрам-бек».

ИСТОРИЯ ХАНУМ, ДОЧЕРИ БАГДАД-БЕКА

В горах Карабаха, давшего миру столько храбрецов и столько породистых коней, среди густых лесов, было селение Альянлы. Самым почитаемым человеком в нем был Багдад-бек. Как в этих местах, среди горных круч и непроходимых лесов, появилось такое имя, неизвестно. Неизвестно было также, кто и когда пожаловал Багдаду бекство. Кстати сказать, разница между Багдад-беком и остальными его односельчанами заключалась лишь в том, что у него было небольшое владение Дамлыджа, включавшее и водяную мельницу. А так – не отличить было его от крестьянина: чарыки с портянками, папаха из бараньей шкуры, да и плату за помол Багдад-бек получал сам, как простой мельник. Сам он и землю свою пахал, но при всем том человеком был гордым и независимым.

И вот что вытворяет судьба! У Багдад-бека, как и у Кербалаи Ибихана, была единственная дочка, зеница ока его – Ханум.

А по ту сторону лесов, в горах Курдистана, жил человек по имени Шахмар-бек. И хотя он был грамотный и носил чоху с золотыми газырями, и сапоги на нем сияли, как зеркало, и рукоять кинжала его усыпана была драгоценными камнями, он отличался жестоким и грубым нравом. Леса, принадлежащие ему, граничили с поместьями Багдад-бека. И вот однажды, пригласив к себе соседа, Шахмар-бек сказал ему напрямик: «Ты человек бедный. Продай мне свое поместье, я дам хорошую цену». А Багдад, я уже говорил об этом, – гордый был человек, – положил руку на рукоять кинжала, доставшегося ему в наследство от дедов и прадедов, и говорит: «Шахмар, ты сказал мне то, что сказал. Если еще когда-нибудь повторишь, будет плохо». Шахмар-бек был человек подлый, верткий, увидев, что рука Багдада лежит на рукоятке кинжала, решил обратить все в шутку. Извини, дескать, понятия не имел, что примешь за обиду. Произошел меж ними этот разговор, а через несколько месяцев Багдад-бека нашли зарезанным в лесу. Односельчане подозревали, что замешан Шахмар-бек. Так уж у него было заведено: если человек доставлял ему хоть какое-то неудобство, он подсылал своих нукеров и убирал неугодного. Но надо доказать. А как докажешь? Ни вдове Багдад-бека Гюльнисе, ни дочке его Ханум доказательства были не нужны – они не сомневались, что убийца – Шахмар-бек.

Прошел год-другой, Шахмар-бек выправил фальшивую купчую и доказал, что имение Дамлыджа было продано когда-то его отцу. Не зря говорится: «Поддержи щенка – волка одолеет» А у Шахмар-бека и уездный начальник в Шуше, и губернатор в Гяндже в приятелях ходили. На охоту едут – в его доме ночуют, да и уезжают не с пустыми руками, а с дорогими подарками. Одним словом, поместье у вдовы Багдад-бека отняли, оставили ей с дочерью старый домишко да клочок земли.

«Нет на свете справедливости!.. – причитала вдова Багдад-бека Гюльниса, – был бы у Багдада сын, не осталась бы его кровь не отмщенной! Не гарцевал бы подлец на скакуне по нашей Дамлыдже!..»

Ханум слушала материны причитания, но сама не плакала – сердце у нее как окаменело, – иной раз даже прикрикнет на мать: «Не вой!» Но слова матери жгли ей сердце.

Однажды, когда сосед с женой собрались в Шушу на базар, Гюльниса навьючила на лошадь давно сбитое масло и овечий сыр, отобрала двух здоровых баранов и велела Ханум ехать с соседями на базар: «Продай и купи себе на платье. И туфли купи. Ты уже взрослая девушка».

... Продали они свой товар, и Ханум попросила старого их оптового покупателя, бакалейщика Таги, купить для нее пистолет. «Зачем он ей? – подумал торговец, – мужчин в семье нет». Но сказать не сказал, еще обидишь, он знал, что в селении Альянлы многие женщины стреляют не хуже мужчин.

Когда Ханум вернулась со стариками домой и показала матери отрез шелка, красный шелковый платок и туфли, та заметила среди обновок пистолет. И нисколько не удивясь, спросила дочку: «Знаешь хоть, как из него стреляют?» Девушка ответила, что знает, и больше у них о том разговора не было.

... А Шахмар-бек завел себе привычку ежедневно под вечер объезжать новые владения. И вот однажды, когда он ехал по лесистому склону, обрывавшемуся в глубокую пропасть, из-за кустов на тропинку вдруг вышла Ханум и встала перед конем. Бек натянул поводья.

«Ты знаешь меня?» – спросила девушка. – «Вроде бы ты дочь Багдада». (Он нарочно не сказал Багдад-бека!) – «Да, я дочь Багдад-бека, которого ты убил из-за угла, чтоб завладеть его землей...» Сказав это, девушка выхватила из-под платка пистолет и выстрелила беку в грудь.

Как подбитая ворона, свалился бек с седла и рухнул в пропасть. У Багдада не осталось ни сыновей, ни братьев, а что это была месть женщины, никому и в голову не пришло. Врагов у Шахмара хватало.

... Выдав дочку замуж, Гюльниса через несколько лет скончалась. Ханум тем временем родила трех сыновей и трех дочерей и решила начать тяжбу с наследниками Шахмар-бека. Обратилась в Шушу, ничего не добилась, пошла к губернатору, и слушать не стали. Тогда женщина, надев, как говорится, железные чарыки и взяв железный посох, отправилась в город Тифлис, во дворец самого наместника.

Наместник через толмача выслушал женщину, велел ей оставить прошение, обещал рассмотреть его.

Ханум вернулась домой, ждала, ждала, нет ей ответа, и снова отправилась в Тифлис. Оказалось, что прошение ее затерялось, наместник велел ей составить новое и идти домой, сказал: рассмотрим.

Ждала, ждала Ханум, наконец, поступил ответ. И в ответе том было сказано, что поскольку нет у нее никаких доказательств, притязания ее на землю отклонены. Но Ханум это была Ханум. Пошла к шушинскому адвокату, хорошо заплатила ему, тот составил обстоятельное прошение, указав свидетелями почетных старцев из соседних селений, снял копию с купчей, оставшейся еще от деда, и Ханум снова отправилась в Тифлис. На этот раз наместник, пораженный упорством женщины, сам просмотрел ее бумаги. А Ханум сказала толмачу: «Передай, что если он опять отправит меня ни с чем, я пойду к самому падишаху!»

Наместник не рассердился, улыбнулся, – Ханум ведь не знала, что он близкий родственник царя. Но смелость и упорство этой смуглой худощавой женщины из лесов Карабаха пришлись по душе наместнику, и, пребывая в добром расположении духа, он велел толмачу перевести ей, что сам будет просить его величество вернуть потерпевшей поместье.

Наместник сдержал слово. Поместье отобрали у сыновей Шахмар-бека и вернули дочери Багдад-бека Ханум.

... А теперь подошла пора рассказать о дочерях Ханум.

Багдад-бек был очень красивым мужчиной, и внуки все пошли в него. «Слава богу, – говорила Ханум и улыбалась, что делала не часто, – дочки мои в деда уродились, а то были бы чернавки, как я».

Старшую свою дочь, Беяз, Ханум выдала за хорошего человека. Это был молодой парень из соседнего села, Гаджи Ахунд Молла Шукюр. Он был сыном бедняка, но поскольку, учась в школе, отличался старанием и способностями, односельчане собрали деньги и послали его на учение в Багдад. Шукюр выучился в медресе и по возвращении в Шушу, несмотря на молодость, затмил ученостью всех тамошних священнослужителей. Не зря говорится: ум не в возрасте, а в голове, а достоинство не в богатстве. Гаджи Ахунд не жадничал, как другие моллы, не брал денег с бедняков, каждый день в простой крестьянской одежде трудился в саду, ухаживал за деревьями и за огородом. Выступая в мечети с проповедями, он призывал правоверных жить своим трудом, не хитрить, не заниматься жульничеством, помогать бедным и страждущим. А поскольку слово его не расходилось с делом, люди верили Гаджи Ахунду и приходили к нему за советом, делясь сокровенными своими тайнами.

За такого вот человека и вышла Беяз – старшая дочь Ханум.

ИСТОРИЯ БАЙРАМА И КРАСАВИЦЫ ФАТЬМЫ

Через три года после замужества Беяз в их дом прислал сватов Черный Амрах – сватать красавицу Фатьму. Был он незнатного рода и богатства никакого не имел: мул да десяток коз, а потому Ханум в ярости прогнала его сватов. Прогнать прогнала, но без толку, парень был так влюблен, что твердо решил: умру, а не откажусь от нее. С помощью приятелей он похитил девушку, когда та возвращалась с источника. Через год она родила Амрашу сына.

Но Ханум не примирилась с зятем, как делают в таких случаях другие. Встречаясь с дочерью, она постоянно подбивала ее оставить мужа: на кой тебе этот сукин сын, что черная головешка, ты такая красавица, сотни охотников найдутся!..

И в конце концов Ханум добилась своего. Фатьма оставила сына и вернулась в отчий дом. Амрах никак не хотел дать жене развод, но Ханум все перевернула вверх дном и все-таки развела дочку с мужем.

Как-то раз, года через два после этой истории, Фатьма отправилась в Шушу погостить у сестры. Ахунд приветливо встретил свояченицу, купил ей нарядный платок, золотое ожерелье, парчу на платье... Беяз заказала городской портнихе сшить сестре платье, и когда Фатьма, стройная, кудрявая, светлоглазая, нарядившись в новое платье, вышла с сестрой погулять на Джидырдюзю, любая бекская дочка могла бы лопнуть от зависти.

... Джидырдюзю была равнина на краю города, с одной стороны обрывалась в глубокую пропасть, по дну пропасти бежала река Дашалты. Если смотреть с Джидырдюзю, люди на берегу ее были не больше муравьев. За рекой поднимались горы, покрытые густыми лесами. Срежь отвесных скал высилась древняя Шушинская крепость, которую давным-давно построил Ибрагим-хан, чтобы укрываться от набегов чужеземцев.

Так вот эта самая Джидырдюзю было такое место, куда выходили гулять парни и девушки: себя показать, других посмотреть...

По другую сторону ущелья, чуть в стороне от крепости, было еще одно место для гуляний «Эрим гельди» – «Муж мой приехал». Называлось оно так вот почему. Многие мужья, привезя жен и детей на лето в Шушу, сами возвращались к своим делам. И молодые женщины собирались под вечер на поле и, ожидая своих мужей, устремляли взгляд на дорогу. Вы знаете, Карабах – край певцов и музыкантов. И вот стоишь над пропастью на самом высоком месте, и вдруг кто-то рядом звонким голосом затягивает мугам-гатар. А в ответ ему где-то на «Эрим гельди» другой голос запел шикесту... Слушаешь, и кажется, голоса эти доносятся откуда-то из далекого, неземного, нездешнего мира... И как бы ни был ты крепок сердцем, звуки эти все равно превращают твое сердце в воск. Я точно знаю: там на равнинных дорогах, ведущих к «Эрим гельди», и сейчас звучат те песни, те голоса. Да, да, звучат, я то и дело слышу их...

Так вот. В один прекрасный летний вечер, когда солнце уже перевалило за горы, Фатма с сестрой и другими девушками и молодухами, разряженными в парчу и шелк, благоухающими мускусом и амброй, вышла погулять на Джидырдюзю. И вдруг видит: на рослом гнедом жеребце едет парень – не парень, а картинка. Сапоги, как зеркало, лиловая чоха с газырями, на поясе кинжал с серебряной рукояткой, на голове каракулевая папаха, на щеке две родинки, волосы русые, усы русые... «Господи! Уж не Юсуф ли это прекрасный?!»

Парень поравнялся с ними, Фатма приоткрыла чадру, взглянула на него из-под своих будто нарисованных бровей, улыбнулась... «Господи! – подумал тот, – уж не луна ли то, выглянувшая из-за туч?!»

Много раз поворачивал незнакомец коня, чтоб проехать мимо белолицей красавицы, и та каждый раз сдвигала чадру, давая ему полюбоваться собой.

Шуша – город маленький. Все всех знают.

– Это Байрам-бек, – сказала Фатме сестра. – Он родом с того берега Аракса. Живет в нашей махалле, а служит в канцелярии начальника. – И добавила, улыбнувшись: – Прошлый год приезжала в Шушу дочь грузинского князя, так влюбилась в него, ни днем, ни ночью парню покоя не давала...

А Байрам выяснил, что светлолицая, ясноглазая красotka – свояченица Гаджи Ахунда, причем безмужняя. Не долго думая, он подослал к ней женщину, которая передавала от влюбленных письма и записки и устраивала другие подобные дела. Велел сказать Фатме, что ночью, когда все уснут, будет ждать ее на Джидырдюзю, пусть, дескать, придет, потолкуем. Но как ни старалась сводня уговорить Фатму, как ни сладок был ее язык, Фатма отказалась наотрез. «Скорее мир перевернется, чем я встречусь наедине с незнакомым мужчиной! Нужна я ему, пускай засылает сватов!» И перестала прогуливаться по Джидырдюзю.

Помаялся, помаялся Байрам, тоскуя по недоступной красавице, и передал в Курдобу, что хочет жениться, пускай приезжает мать.

Сакина велела нагрузить верблюда подарками, села на гнедую кобылу, и в сопровождении сына своего Айваза прибыла в Шушу. Сперва она обрадовалась, узнав, что Байрам хочет взять жену из хорошего рода да еще и свояченицу Гаджи Ахунда. Но когда ей сказали, что избранница ее сына разведенная, да еще с ребенком, то подняла крик: «Дочери ханов мечтают о моем сыне, по улице проходит – любятесь!.. И чтобы такой парень женился на разведенке!..»

Побушевала, побушевала Сакина, видит, нет, плохо дело – светлоглазая молодуха совсем свела с ума ее сына. И, вконец разгневанная, вернулась к себе в Курдобу. Тогда Байрам попросил быть сватами отца одного из своих друзей и еще двух почтенных стариков, и через месяц красавица Фатма стала законной женой Байрам-бека.

И родилась у них дочь, которую нарекли Ягут, а потом появился сын, которого назвали Нури.

ИСТОРИЯ КАМЫРХАН, ВИДЕВШЕЙ НА ТРОНЕ САМОГО ШАХА НАДИРА, И ПРИБЫТИЕ БАЙРАМ-БЕКА В КАРАБУЛАК

Когда в Карабахе хотели сказать про кого-нибудь, что он очень стар, говорили шутливо: «Надир-шаха на троне видел!» Но старая Камырхан в самом деле видела Надир-шаха на троне. Когда мне самому довелось увидеть Камырхан, она уже вся ссохлась в комочек, а глаза у нее были, как две горошинки. «Я была обрученной, когда разнеслась вдруг весть, что иранский шах Надир идет на Карабах, что все предает мечу и огню. Собрали мы кое-какие пожитки, навьючили на осла, на коня и бежали в лес. А дедушка мой сильно болел, идти не мог, велел оставить ему кувшин воды, хлеба и уходить. «Все равно, – говорит, – мне немного осталось». Несколько недель скрывались мы в лесах, а когда солдаты Надир-шаха ушли, мы вернулись. Смотрим, дверь у нас закрыта, как мы ее и оставили, а вот внутри пусто. Мужчины обшарили все вокруг, не нашли даже и следов деда. И решили тогда, что, поскольку он был благочестивый раб Божий, ангелы вознесли его на небо».

У Камырхан полно было сыновей и дочерей, но рассказ наш пойдет об одной ее дочери – Халсе.

Халса была выдана за Ага Мухаммед-эфенди, брата всеми чтимого Абдуллы-эфенди, но рано овдовела, и хотя была женщина молодая и красивая, подобно Сакине из Курдобы, отказалась от второго замужества, сама стала растить своих детей. «Молодец Халса, – согласно покачивая головами, хвалили ее гревшиеся на солнышке старики. – Дочь настоящего мужчины». И пока не подросли дети, соседи поддерживали вдову: вспахивали и засеивали ее поле, помогали собирать урожай, молотили зерно...

Средний сын Халсы, Абдулла, рос смышленным и бойким, и дядя его Абдулла-эфенди посоветовал определить мальчика в русско-тюркскую школу, открывшуюся в восьми верстах от родного его Гюней Гюздека. И каждый день, и в буран, и в дождь, Абдулла отмахивал восемь верст туда, восемь обратно, учился прилежно и успешно закончил школу.

К тому времени муж его старшей сестры Абдулазиз открыл в Карабулаке магазин по продаже различных строительных материалов. Сам он с трудом мог нацарапать свое имя, ему требовался грамотный помощник, и он взял к себе Абдуллу. Абдулла говорил и писал по-русски, хозяин часто посылал его за товаром и в Харьков, и в Москву, и Абдулла, несмотря на молодость, прекрасно справлялся с делами. Года через четыре он стал компаньоном своего зятя, потом открыл собственный магазин, став его конкурентом, а потому заклятым врагом.

Но вернемся-ка мы к Байрам-беку. Прослужив какой-то срок в Шуше, он получил назначение – в Карабулак, приставом. Сына-гимназиста Байрам-бек определил на квартиру к приятелю почтмейстеру, а сам с женой и дочерью Ягут прибыл на место назначения.

Как только по берегам Аракса разнеслась весть, что Байрам, сын Сакины из Курдобы, поставлен приставом в Карабулаке, со всех сторон стали прибывать к нему аксакалы, чтоб приветствовать земляка на новой почетной должности. И, конечно, прибывали не с пустыми руками. Кто приводил коня, кто – верблюда, кто привозил ковер... А Байрам-бек отдавал все это брату своему Айвазу, который незамедлительно отправлял все добро к себе в Курдобу.

Свекровь хоть и недолюбливала Фатьму, в гости навевалась нередко, и каждый раз возвращалась с богатыми подарками – все добро тоже шло Айвазу.

Фатьма пыталась роптать, напоминая мужу, что кроме брата, у него есть еще сын и дочь, но Байрам-бек строго указал жене ее место: женщине в мужские дела вступать не положено.

Фатьма промолчала, но в сердце у нее копилась и копилась злоба...

А Байрам-бек поступал так потому, что считал: нынешнее его положение обязывает Айваза иметь богатое кочевье; когда народ будет переселяться на эйлаги, их караван должен выглядеть не беднее других. Это будет только на пользу ему, Байраму.

Вскоре положение Байрам-бека настолько упрочилось, что считаться с ним стали не меньше, чем с самим начальником. Главная причина была в том, что для гачагов, державших в страхе все побережье Аракса, Байрам-бек был своим, чуть ли не родственником, и отношение к нему было особое. Был такой случай. В уезд прибыл новый начальник Волков, и Волков этот очень скоро убедился, что считаются здесь только с приставом Байрам-беком, а его никто и в грош не ставит. И стал Волков придирается к приставу. Дошла о том весть до гачага Сулеймана, того самого, что ушел в леса подальше от царских начальников, славился беззаветной храбростью и не обижал бедных. Вроде Гачага Наби, только что жил в другое время.

И вот как-то вечером, когда начальник ужинал со своей супругой, двери его дома распахнулись настежь, и вошел Сулейман с десятизарядным маузером в руке. «Ай!» – вскрикнула жена начальника. «Не пугайся, ханум, – сказал ей гачаг, – мы людей не едим!» – И убрал маузер в кобуру.

Женщина не поняла, что сказал этот бледный худощавый парень, но, поскольку маузер он убрал, немного успокоилась.

«Господин командор! – сказал гачаг Сулейман («командорами» он звал всех царских начальников), – хочешь жить в нашей округе, не трогай Байрама из Курдобы!» Начальник не больно-то хорошо понимал по-азербайджански, но на этот раз все понял и поспешно ответил: «Хорошо! Хорошо!..» Сулейман направился к двери, и тут Волков мигом вытащил из ящика стола револьвер. Сулейман обернулся, выхватил из кобуры маузер и прострелил Волкову руку. Сулейман не был бы Сулейманом, если б не умел чувствовать опасность спиной и если б рука у него не была быстрее молнии. На этот раз молодая женщина не вскрикнула, не испугалась за своего пузатого мужа. Она лишь молча смотрела на гачага.

«Забудешь об уговоре – пожалеешь! – сказал Сулейман начальнику. И, обернувшись к женщине, слегка поклонился ей: – Извините, ханум!»

После этого случая начальник Волков уже не доставлял Байрам-беку неприятностей.

ИСТОРИЯ ДОЧЕРИ БАЙРАМ-БЕКА ЯГУТ И МОЛОДОГО КУПЦА АБДУЛЛЫ

Дочь Байрам-бека выросла стройной красавицей с роскошными светлыми волосами и глазами прозрачными, как вода в роднике, родинка со щеки бабки Сакины перекочевала на ее белую, как снег, лебединую шею.

Девушка росла грамотной, учителя приходили на дом, давали ей уроки. Ягут наизусть декламировала «Шахнаме», газели Физули, стихи Натаван. И в то же время, кочуя вместе с жителями Курдобы, научилась скакать верхом, принимала участие в скачках, стреляла в цель. А еще, потихоньку утаскивая у матери табак, Ягут пристрастилась к курению. Служанка покупала ей самые дорогие папиросы, и Ягут прятала их от отца. От матери девушка не таилась, Фатьма знала, что дочь ее курит, но помалкивала. Будучи женщиной мягкосердечной, она вообще держала детей нестрого. Сыну, учившемуся в городе, Байрам-бек давал достаточно денег, но Фатьма-ханум потихоньку от мужа то и дело посылала ему еще. А Нури, высокий и светлоглазый красавец, швырял эти деньги направо и налево, ночи напролет танцуя с девицами в армянской части Шуши...

Сваты одолевали Фатьму, добиваясь руки ее дочери, но Фатьма, по совету стариков-односельчан, заручившись согласием мужа, дала слово сватам Магерарама, сына Гаджи Гусейна.

Полсела были его родней, все люди почтенные, нужные. К тому же Гаджи Гусейн имел пять тысяч баранов, бесчисленное количество коней и верблюдов. Да и самого Магерарама из десятка удальцов не выбросишь: красивый, ловкий, храбрый. Сваты навезли Фатьме тюки риса, бурдюки с маслом и сыром, пригнали баранов... Почтенные аксакалы доставили невесте подарки: золотые украшения, дорогие отрезы, надели ей на палец обручальное кольцо...

После этого Гаджи Гусейн пригласил Байрам-бека с семьей на весеннюю стоянку в долину. Прибыло множество гостей из других селений, на очаги ставили огромные двухведерные казаны. Потом начались скачки и состязания. Жених Ягут на полном скаку поразил восемь мишеней. Она выглядывала из-за плетеного занавеса, улыбалась, и веселые молодницы, заметив это, подмигивали друг другу: жених пришелся девушке по вкусу. А вот встретиться, поговорить между собой им так и не пришлось. Договорено было, что свадьба состоится осенью, когда все вернутся с эйлагов. Но, как говорится, человек предполагает, а господь Бог располагает...

К северу от города Карабулак между двумя небольшими речками высится гора со срезанной будто ножом верхушкой – «Старухина Гора». А за горой, на берегу речки... Нет, все-таки надо сперва рассказать про Старухину Гору, тем более что сама Старуха не чужая тем, о ком ведется рассказ...

Тридцать девять дней оборонялся город от нашествия иноземного шаха. На сороковой день отряд в пятьсот воинов под предводительством шахского сына, отважного и прекрасного собой Меликтаджа, ворвался в город.

Разгневанный тем, что горожане столько дней заставляли его торчать под стенами, не отвечая на неоднократные предложения сдаться, шах велел своему визирю не щадить ни старого, ни малого.

Визирь Юсуф Одноглазый в три дня вырезал семь тысяч жителей – почти все население города. Рекой лилась кровь, дома были разрушены...

Три дня и три ночи приказал веселиться шах, празднуя кровавую победу. За городом, на зеленом холме, возвышались вражеские шатры. Властелин сидел в своем шатре на семи золотых опорах, на семи тюфячках из бесценной ткани тирме. В бронзовые, оправленные золотом кувшины налито было семилетнее ширазское вино. Когда подняты были золотые кубки, фанфары прозвучали в честь славной победы.

И тут вошел Юсуф Одноглазый и склонился в земном поклоне перед повелителем.

– Где ты пропадаешь, визирь? – гневно спросил шах, передавая свой кубок стоящему у него за спиной черному рабу. – Не хочешь оказать честь нашему торжеству?

Юсуф снова склонился до земли.

– О падишах! Я лишь верный твой раб, ничтожный Юсуф, но опозданию моему есть причина.

– Что случилось? – встревоженно спросил повелитель. – Говори!

– Да живет и славится сотни лет великий падишах! – И визирь снова поклонился до земли. – Сын твой Меликтадж занемог, повелитель!

– Что ты говоришь?! – падишах вскочил.

Шахзаде Меликтадж метался в жару. Семь черных рабов стояли вокруг него; скрестив на груди руки, они не отрывали глаз от больного.

Когда властелин вошел, сопровождаемый визирем, рабы пали ниц, прижавшись лбами к земле. Потом поднялись, и, пятась, вышли из шатра.

Приблизившись к сыну, шах положил ему на лоб руку, унизанную бесценными перстнями.

– Сынок! – тихо позвал он, и голос его дрогнул. Больной не ответил.

– Отправь повсюду гонцов! – сказал шах, обратив к визирю побледневшее лицо. – Собери самых мудрых врачей!

Весь день сидел шах у изголовья сына, не смыкая глаз, не принимая пищи. Визирь вернулся под утро.

– Мы никого не нашли, оставшиеся в живых разбежались по окрестным лесам. Встретили только одну старуху. Говорит, что умеет врачевать. Я думаю, она колдунья!

– Где старуха?!

– Не пошла. Велела принести больного к ней. Я бросил бы ее в огонь, но...

– Готовьте паланкин! – прервал его шах.

Старуха не была колдуньей. Это была наша прапрабабка Баллы, и была она всего лишь старой женщиной. Но она много знала, ей ведомы были лечебные свойства трав и снадобий, и в народе ее называли «ведуньей».

Пройдя вместе со свитой по заваленным трупами улицам, шах остановился перед хибаркой. Рабы сняли с плеч паланкин и осторожно внесли в хибарку. Высокая старуха стояла посреди нее. Она не поклонилась шаху, когда он вошел, не двинулась с места, она стояла, как каменная.

– Старуха! – сказал шах, садясь на тюфячок в изголовье сына. – Тебе ведом тайный язык духов. Злые духи похитили силы у моего единственного сына, помрачили его разум. Спаси его, ведьма! Если ты вернешь его к жизни, я золотом выложу опоры твоего дома. Обманешь – сгоришь на медленном огне!

– Я не ведьма, – сказала старуха. – Я мать.

И больше ничего не сказала. Взяла чашу с водой, дунула на воду, взгляделась... И подняла на шаха суровый и мрачный взгляд.

– Я вижу тысячи разгневанных духов. «Очень ли шах любит своего сына?» – вопрошают они.

– О чем ты, старуха?! – в ужасе воскликнул шах. – Он мой наследник! Вседержитель даровал мне сына после семи лет молитв и семи тысяч пожертвований!

– Есть ли у шахзаде мать? – спросила старуха, не отрывая глаз от чаши с водой.

– Есть, старая, есть! Счастливейшая из женщин – Хадиджабану. Она родила мне сына! Скорее отыщи средства спасти его, Хадиджабану видит сейчас во сне черных змей!..

Впервые за все это время старуха глянула на шахского сына, и красота юноши, казалось, тронула ее сердце. Дрогнули сморщенные веки, сухим пламенем вспыхнули померкшие глаза. Она подошла к больному и положила ему на грудь иссохшую руку с набрякшими синими жилками.

Юноша открыл глаза. Грустные, как у раненого джейрана, глаза взглянули на старую женщину, и лицо ее, потемневшее от солнца и горя, словно бы озарилось светом. Она была мать...

Старуха ушла в горы и вернулась, неся полный подол цветов. Выжала из них сок, и ложку за ложкой стала вливать в рот больному.

Так продолжалось три дня. Оставшиеся в живых старики, завидя ее, опускали глаза, как бы разглядывая носки своих чарыков, старухи качали головами: «Баллы предала свой народ!»

Молча снося презрение земляков, старуха каждый день уходила в горы, приносила цветы и лечила больного. На седьмой день шахзаде открыл глаза и попросил есть. На одиннадцатый день войскам сообщили о полном выздоровлении шахского сына.

– Колдунья! – сказал шах, показывая старухе мешочек с золотом. – Открой мне тайну этих лечебных трав!

– Нет, повелитель. Тайну эту я не открою никому из смертных. Но я даю твоему сыну такое лекарство, что ему уже никогда больше не придется болеть.

И она подала шаху чашу, наполненную розовой благоухающей жидкостью.

– Что это? – шах понюхал жидкость. – Muskus, амбра? Какой аромат – с ума сойти!

Он отпил из чаши, а остальное протянул сыну.

В жизни своей не пил такого шербета!

Шахзаде выпил все до последнего глотка и протянул чашу старухе. Та облегченно вздохнула.

Шах бросил ей мешочек с золотом и обернулся к визирю:

– В тот раз злые духи нарушили мое торжество. Теперь я счастлив. Вели солдатам гулять три дня и три ночи.

– Выпущенная стрела не возвратится обратно, – негромко сказала старуха. – У каждой минуты свое назначенье.

– Ты спятила?! – грозно воскликнул шах. – Что ты мелешь?!

Он вскочил, и в ту же минуту боль пронзила его тело. И шахзаде дрогнул и, словно вырванный с корнем кипарис, повалился на руки стоявшего позади чернокожего раба.

– Яд!.. – вырвался крик из груди властелина. – Яд!... – Шах рухнул на пол. Поднял голову, увидел сына, извивавшегося в муках, и взмолился: – Колдунья! Спаси хоть сына!.. Ведь ты говорила – мать!..

– Да, падишах, я мать. – Вздохнув, старуха уронила голову на грудь.

Шах и его сын умерли в страшных муках. Визирь приказал запереть старуху в ее доме, и каждый воин высыпал на крышу ее хибарки мешок земли. К концу дня, когда в облаках на вершине Савалана, поблекнув, исчез последний луч солнца, там, где стояла хибарка, высился огромный холм. Прошли дожди, уплотнили землю. На следующую весну на том холме вырос чертополох с желтыми колючками. Холм стали звать Старухиной Горой.

Горные потоки смыли остатки разрушенного города, ветры развеяли прах, и место, где когда-то стоял город, превратилось в равнину, по весне алеющую от маков. Осталась лишь Старухина Гора. Из-под горы бьет родник, и изжаждавшийся путник припадает к нему иссохшими губами.

... Так вот, весенними и летними вечерами жители Карабулака выходили к Старухиной Горе в сад Моллы Якуба, что разбит был неподалеку над рекой. Молла Якуб был молоканин по имени Яков, сосланный сюда когда-то царем. Здешние жители уважали его, звали по-азербайджански Якубом и уважительно добавляли «молла». Он был одним из самых богатых и уважаемых людей в округе, и на каждом сборище, была ли ему причиной печаль или радость, занимал почетное место.

Молла Якуб засадил свой сад диковинными деревьями и, не желая, чтоб люди стороной обходили его, не обнес сад оградой. Гулявшие в саду горожане никогда не трогали ни деревьев, ни плодов, и сторож, по ночам спавший на высоком помосте в углу сада, нужен был лишь для того, чтоб гонять озорников-ребятишек...

И вот как-то весенним вечером Абдулла, широкоплечий и чернобровый, с золотым поясом, в сверкающих штиблетах и дорогой каракулевой папахе, гуляя с друзьями в саду Моллы Якуба увидел среди девушек дочь пристава Байрам-бека. И влюбился в нее без памяти. А красавица Ягут, в туфлях на высоких каблуках, с широким золотым поясом, перехватывающим тонкую ее талию поверх парчового архалука, с золотым ожерельем на шее, взглянула на молодого купца и улыбнулась. Бурно радуясь весне, журчала разлившаяся речка, в цветах абрикосовых деревьев чирикали пташки, душистый ветерок, долетающий с пшеничных полей, играл каштановыми кудрями Ягут, выбивающимся из-под шелкового келагая. Серебристым девичьим смехом смеялись ее подружки, видя, как, оторопев, глядит на Ягут молодой купец.

... И начал Абдулла по десять раз в день прохаживаться перед домом пристава Байрам-бека. И каждый раз девушка, обрученная с другим, ласково улыбалась ему, сверкая жемчужными зубами. Он тоже улыбался, и зубы у него тоже были, как жемчуг... Совсем не то чувствовал молодой купец, когда ходил к молоканке Кате. Не то чувствовала Ягут, глядя на своего нареченного, хоть был тот и смел, и красив.

Купец знал, что девушка обручена с парнем, намного богаче его. Когда же увидел его самого, выезжавшего из дома пристава на прекрасном жеребце под новым казацким седлом, совсем пал духом. Но жених пришпорил коня и ускакал, а нареченная его невеста тотчас же вышла на балкон и мило улыбнулась Абдулле.

Наутро молодой купец прекрасным почерком на гладкой шелковистой бумаге написал дочери пристава любовное письмо, закончив его, как положено, строками из Физули.

Передать письмо взялся молодой слуга Ягут, причем Абдулле пришлось дать ему пятерку. А Ягут, схватив письмо, с колотящимся сердцем убежала на задний балкон и стала читать. Богат, статен и ловок был ее нареченный, но никогда не слыхала она от него таких слов. Не говорил он невесте ни о ее красоте, ни о своей любви к ней, ни о «бровях-луках», ни о «ресницах-стрелах». Не обещал повезти в Баку, в Тифлис, в Петербург... А настоящая женщина, как породистая кобылица: чем больше гладишь, тем она ласковее...

Ягут написала молодому купцу ответ и передала через слугу.

Вне себя от восторга, Абдулла немедленно настроил красавице еще одно послание. На этот раз слуга Бунияд потребовал магарыч.

В другое время Абдулла, может, и не стал бы давать, как-никак он был купцом и знал цену копейке – но тут, не раздумывая, дал денег Бунияду.

Купец предлагал Ягут выйти за него замуж. Ягут прислала ответ, в котором горестно сообщала, что это невозможно, потому что она обручена с другим, не сегодня-завтра состоится свадьба, и закончила свое письмо печальными строками из «Лейли и Меджнуна»: «Услышь мой стон! Если есть в тебе сердце, найди выход!»

Разумеется, молодой купец нашел выход. Он послал девушке длинное и страстное письмо, суть которого сводилась к следующему: «Я тебя украду». Девушка была в восторге. Перед ней открылся новый волшебный мир, – как в книжке, как в сказке!.. И взыграла в ней кровь далеких предков, не Кербалаи Ибихана, нет, кровь гачагов и воинов, бившихся с шахом, и кровь старухи Баллы, отравившей шахского сына, кровь бабки ее Ханум, застрелившей кровного врага, и Ягут так ответила молодому купцу: «С тобой хоть на край света!»

Молодой купец был парень не дурак. Он понимал, что значит украсть дочь пристава Байрам-бека, которого не только боится сам начальник, но главное – чтут и уважают все кочевники на обоих берегах Аракса. И увезти не просто его дочь, но еще и невесту Магерاما, сына Гаджи Гусейна. И к делу этому, трудному и опасному, он подготовился со всей тщательностью делового человека. Перво-наперво он вызвал из деревни младшего брата своего, такого же смышленного, как и он сам, и поставил его в лавке на свое место. Потом позвал длинноносого Габиба, фаэтонщика, который часто возил его по делам, и, объяснив, в чем дело, сказал, что нужно за одну ночь доставить их с девушкой в Агдам.

Надо сказать, что фаэтонщик Габиб был охоч до подобных дел. И потому, даже не помянув о плате, приложил к правому глазу ладонь, выражая тем готовность служить, и сказал, что ради такого благого дела не только в Агдам, в «Питильбург» готов их доставить. Габиб знал к тому же, что на банщиков, брадобреев и фаэтонщиков молодой купец не жалеет денег.

Ночью, когда весь город спал, Абдулла сел в фаэтон Габиба, запряженный великолепной тройкой. Вскорости прибыла и Ягут в сопровождении служанки, тащившей тяжелый чемодан с ее платьями и драгоценностями. К чести девушки надо сказать, что она не взяла ничего из подаренного ей на обручение. Сняла даже бриллиантовый перстень и положила на стол.

Когда влюбленные сели в фаэтон, молоденькая служанка решила не упустить случая:

– А мне на счастье?

Купец в хлопотах не подумал об этом и не взял мелочи. Но не желая скаречничать при возлюбленной, вынул золотой и протянул девушке.

– Ишь, хитрущая!.. – усмехнулся Габиб и стал привязывать чемоданы. Потом влез на козлы, сказал: «С Богом!» и тронул лошадей.

Когда фаэтон беззвучно выкатил из города, Габиб ослабил поводья, сытые кони, отдылавшие весь день, охотно поскакали к Агдаму. Они знали эту дорогу, знали, что на остановках их ждет ячмень и прохладная родниковая вода, и это придавало им прыти.

Приблизившись к Куручай, белевшей бурунами в лунном свете, фаэтонщик остановил коней и стал внимательно разглядывать переправу. Река ревела, как верблюд по весне. Абдулла привстал на ступеньке фаэтона и тоже стал всматриваться: трудно было поверить, что можно вброд переправиться через мощные потоки воды, низвергающиеся с гор. Но Габиб влез на козлы, произнес: «С Богом!» и дернул поводья. Кони спокойно пошли в воду, а молодой купец прошептал девушке:

– Ты не боишься?

Девушка искоса глянула на него, улыбнулась и сказала:

– А чего мне бояться?

Это был их первый разговор.

Вода едва не заливала ступеньки. Казалось, она вот-вот опрокинет фаэтон. Но Ягут вместе с жителями Курдобы не раз переправлялась через бурные реки верхом или на верблюде, и ее только забавляла тревога возлюбленного.

Когда они достигли середины реки, Абдулле показалось, что кругом нет ничего, кроме этой бушующей в лунном свете воды. Он то и дело поглядывал на девушку, но глаза ее улыбались, и в них не видно было ничего, похожего на испуг. Когда кони добрались до берега и стали подниматься на склон, Габиб крикнул: «Господи, помоги!» и щелкнул в воздухе кнутом. Кони, привыкшие к ячменю и к ласковому обращению, от этого звука вскинулись и галопом одолели прибрежный подъем.

Когда фаэтон пересек и вторую речку, Габиб наконец закурил. Миновали какую-то деревню, пели петухи... Когда среди ночи слышалось пение петуха, Ягут почему-то всегда становилось грустно. Так и сейчас. Девушке казалось, что, расставшись с отцом и с матерью, она навсегда прощается с родными местами, едет куда-то далеко-далеко, в неизвестный, чужой, пугающий мир... Сердце ее дрогнуло. Абдулла заметил ее печаль и, склонившись к возлюбленной, нежно поцеловал ее в щеку.

Кони шли легкой иноходью. Луна зашла. Порой дорогу перебежали лиса или волк, и, сверкнув зелеными огоньками глаз, исчезали в высокой, в человеческий рост, пшенице. Чуть позвякивали бубенчики, легкий ветерок дул с востока... Стыдясь фаэтонщика, влюбленные не разговаривали, но, ощущая близость друг друга, переглядывались, улыбаясь...

Всходило солнце, освещая карабахские степи. Фаэтон все катил и катил по дороге, и вот показалось ущелье Пирамбулаг, знаменитое ущелье, где Баяндур из Гюздека расправился с войсками кастрата Агамухаммед-шаха. Ущелье, где гачаг Дели-Алы из Гянджи убил нечестивого Ширали-хана, отомстив за своих земляков. Дорога свернула в ущелье, и Габиб увидел стоявшего под деревом человека. Он хотел было погнать лошадей, но заметил, что с обеих сторон дороги из-за кустов направлены на него ружья, и натянул поводья.

– А ну, длинноносый, сворачивай! – крикнул один из гачагов, выходя из засады.

Но Габиб, это был Габиб.

– Свернуть сверну, а язык свой попридержи! – в голосе фаэтонщика не было испуга.

– В фаэтоне женщина, – вылезая, сказал Абдулла. – Пусть останется там, а мы пойдем с вами.

– Хватит болтать! – крикнул тот же гачаг. – Сказано тебе, поворачивай!

Габиб свернул в сторону от дороги. Когда фаэтон остановился, человек, стоящий в тени дерева, выступил вперед.

– Кого везешь? – спросил он.

– Я племянник Абдуллы-эфенди, – сказал молодой купец. – Девушка в фаэтоне – моя невеста.

– Племянник Абдуллы-эфенди? – спросил главарь гачагов. – Из Гюней Гюздека? А невеста из какого рода?

– Дочь пристава Байрам-бека.

– И куда же вы держите путь?

– В Агдам.

Главарь подошел к фаэтону.

– Вот тебе подарок, сестрица! – Он почтительно протянул Ягут дорогое кольцо. – Пусть будет память от гачага Ханмурада.

Ягут вопросительно взглянула на жениха.

Тот слегка пожал плечами.

– Подарок не отвергают...

Ягут взяла кольцо, надела на палец, и просто, словно давно была знакома с этим человеком, сказала:

– Спасибо, Ханмурад!

– Извини, что задержали вас, – сказал ей гачаг. – Дядя Байрам хорошо меня знает.

И, обернувшись к Абдулле, сказал:

– Счастливого вам пути!

Довольный, что гачаги не отобрали коней, Габиб лихо надвинул папаху на лоб и погнался...

– Прекрасный парень этот Ханмурад! – Габиб покрутил головой. – Дай Бог ему здоровья!

Абдулле тоже понравился молодой гачаг. Но когда позднее он вспоминал, каким взглядом проводила его невеста гачага – стройного, в дорогой бухарской папахе, с тремя рядами патронов на поясе, с маузером на боку – ему становилось не по себе...

... Солнце клонилось к закату, когда фаэтон въехал в селение верстах в десяти от Агдама. Бывший сотник Бендалы сидел на веранде, набивая дробью с порохом гильзы для ружья. Услышав топот, он поднял голову и увидел у ворот фаэтон.

– Ворота открыты! – крикнул он, не прекращая своего занятия. – Просим!

Сперва во дворе появился Габиб с чемоданом. Затем – молодой купец и девушка. Ягут, хоть и не закрыла лицо, но натянула платок на рот и подбородок. Увидев молодого парня с особой женского пола, Бендалы встал, положил гильзу на стол и пошел им навстречу.

– Добро пожаловать! – сказал он. – Прошу, заходите!

Пышнотелая супруга хозяина взяла девушку под руку и повела на женскую половину дома.

Абдулла за руку поздоровался с хозяином.

– Габиб, поднимайся и ты! – предложил хозяин (Кто в Карабахе не знает фаэтонщика Габиба?!), но тот проявил скромность.

– Спасибо, да будет доволен тобой Аллах, коней покормить надо.

Мужчины вошли в устланную коврами гостиную и расположились на шелковых туюфячках. Вскоре был подан чай. А потом и плов с куропатками.

И только когда гости были накормлены, Бендалы задал наконец вопрос:

– Ну, кто ты? Какого рода? Куда путь держишь?

Абдулла рассказал все, как есть. Хозяин помрачнел, но сказал спокойно:

– Мой дом – твой дом. Живите и ничего не опасайтесь.

Молодой купец знал, куда привезти девушку. Знал, что где бы он ни укрылся с похищенной им чужой невестой, люди Гаджи Гусейна и Байрам-бека все равно их разыщут. И нужен был дом, откуда и пушками их не выбьешь. Дом бывшего сотника Бендалы был подходящим убежищем.

Три дня спустя после этих событий Бендалы сидел перед агдамской чайханой в тени большой шелковицы и играл в нарды с Мухтаром – человеком из ханского окружения. Мухтар тоже был мужчина уважаемый и надежный: пистолет, который он держал во внутреннем кармане пиджака, всегда был заряжен. Да не будь он столь уважаемым человеком, разве сел бы с ним Бендалы играть в нарды у всех на виду?..

И вдруг к ним подошел пристав Исмаил-бек, человек небольшого роста, задиристый и обидчивый.

– Бендалы! Я имею сведения, что ты укрываешь в своем доме парня из Карабулака, похитившего обрученную дочь Байрам-бека!

Бендалы бросил зары, сделал ход и спросил:

– Допустим. Ну и что?

– А то, что девушку надо вернуть отцу, а парня арестовать.

– Она уехала с ним по доброй воле.

– Там разберутся! Наше дело вернуть девушку.

Бендалы покачал головой.

– А разве это по совести, бек? Парень привез девушку в мой дом...

– Ну и что? Твой дом!.. Святилище, да?

Бендалы медленно поднялся со стула.

– Ну вот что. Раз такой разговор, я иду домой. Посылай своих есаулов, пусть силой заберут парня с девушкой! Поглядим, что у них получится!

Сказав это, он неспешно удалился. Мухтар, глядя ему вслед, достал папиросу, закурил, из чего стало ясно, что на месте Бендалы он поступил бы точно так...

Бендалы же, придя домой, ни слова не сказав Абдулле, призвал к себе младшего брата, много лет обитавшего в лесах и объявившегося лишь в прошлом году, двух двоюродных братьев, троих племянников, объяснил им, в чем дело, и велел держать ружья наготове.

У молодых его родичей кровь заиграла в жилах.

Отнять невесту у человека, который прибежит к покровительству главы их рода, силой увезти девушку из этого дома значило навек покрыть позором весь род Бендалы! И парни зарядили ружья, расставили их по углам и повесили на них патронташи.

Но люди Исмаил-бека не явились. Пристав хоть и был большим задирой, но и хитрости ему было не занимать. Он знал, что без кровопролития не обойдется, а кровная вражда с родом Бендалы из-за девчонки, привезенной из другого уезда, не входила в его расчеты.

Однако ближе к утру, после вторых петухов, Бендалы услышал собачий лай – появились чужие, а поскольку лаяли псы в разных концах сада, ясно было, что их пришло немало. Пристав тут был не при чем, – его люди днем являются.

Бендалы оделся, взял ружье и, тихонько отворив дверь, вышел из дома.

– Эй, кто там? – услышал он в темноте голос брата.

– Скажи Бендалы, пусть выйдет!

– Я вышел! – громко сказал Бендалы. Он стоял за углом, готовый к перестрелке.

– Слушай, Бендалы! – раздался из темноты низкий голос. – Не хочешь, чтоб пролилась кровь, выдавай подлеца и девку!

– Не болтай! – спокойно возразил Бендалы. – Я не подлец. Лучше проваливайте. Что случилось – случилось.

– Без девушки мы не уйдем! Зря пятьдесят верст скакали? По-хорошему говорим тебе: отдай!

Бендалы выстрелил, но не на голос – в воздух. Родичи Бендалы, словно того и ждали, сразу стали палить туда, откуда слышался голос. По всему селу залаяли собаки, слышались разрозненные выстрелы...

– Уходите! Последний раз говорю! Сгинете понапрасну!

В ответ послышались выстрелы, посыпались разбитые стекла. Абдулла вышел на шум. Пули, свистя, били в окна, в двери...

Поняв, что с Бендалы не договоришься, приехавшие повернули назад. Замолк конский топот, угомонились собаки...

– Ну, ребята, никто не пострадал? – спросил Бендалы, выходя из укрытия.

– Нет, все в порядке.

– А они как?

– Вроде целые уехали... Эх, дядя, не дал ты нам пострелять! Ни одного бы живым не выпустили!..

– А ты чего поднялся? – спросил Бендалы Абдулла.

– Нехорошо получилось... – пробормотал тот, стыдясь, что втянул гостеприимных хозяев в такую историю.

– Ничего, ничего. Обычное дело. Иди, ложись спать.

Абдулла, удрученный, лег, не раздеваясь, и до утра не сомкнул глаз.

Наутро, как ни уговаривал его Бендалы, как ни уверял, что он может оставаться здесь хоть год, хоть десять лет, молодой купец настоял на своем: они уезжают в Евлах, а оттуда в Баку.

Жена Бендалы подарила девушке кольцо с бирюзой, Бендалы преподнес Абдулле великолепную шкуру бухарского каракуля, снабдил гостей всяческой снедью на дорогу и поручил племянникам проводить молодых до Евлаха.

По дороге Абдулла передумал, решил ехать в Гянджу. В Гяндже они остановились в гостинице.

Ну, а теперь пришло время рассказать об Алекпере из Багбанлара.

Алекпер был мужчина лет тридцати пяти, представительный, с лицом смуглым, чуть тронутым оспой. Врагов у него было полно, и потому под чохой он всегда носил пару пистолетов. В чайхане, усаживаясь играть в нарды, он всегда устраивался спиной к стене. А спереди кто же в него станет стрелять? Известно было, что он одним глазом смотрит на зары, другим видит все вокруг, и стреляет сразу из двух пистолетов.

Старик-привратник, что переносил вещи, когда влюбленные прибыли в Гянджу, получил от молодого купца рубль вместо положенного двугривенного, и потому молодая пара вызвала у него доброе чувство.

И вот как-то раз подошел он к Абдулле, отвел его в сторонку, огляделся, нет ли кого, и говорит:

– Ты, сынок, видно, человек хороший, и потому я должен тебе сказать одну вещь. Только, чтоб ни одна душа... Сам понимаешь...

Абдулла очень удивился, но тем не менее поклялся, что никому не выдаст секрета.

– А дело такое... Алекпера знаешь?

– Знать не знаю, но слышал. Говорят, каждый день приходит сюда в чайхану играть в нарды.

– Верно. А слышал ты, что если Алекпер отрежет кому голову, с него спроса нет?

– И это слышал.

Старик снова поглядел по сторонам. И зашептал:

– В супружницу твою влюбился, понял? Ночью же и уезжайте, а то плохи твои дела...

И Абдулла, и Ягут давно уже заметили, что какой-то стройный человек в сверкающих, как зеркало, сапогах, в дорогой папахе, в чохе с золотыми газырями, играя в нарды во дворе гостиницы, то и дело поглядывает на их окно.

Впервые Ягут заметила этот взгляд в день приезда. Абдуллы в комнате не было, уходил купить кое-чего. А Ягут, расстегнув воротник парчовой кофты, стояла перед окном и, заплетая косу, задумчиво глядела на город. Алекпер шел к своему обычному месту у стены. Случайно взгляд его упал на окно второго этажа, он увидел Ягут, и, как пригвожденный, замер на месте. Взгляд у него был зоркий, и он углядел даже темную родинку на белой ее лебединой шее; и по выражению лица его легко можно было понять, что никогда в жизни не видел он женщины красивей. Ягут же увидела мужчину, восхищенно взиравшего на нее, и на мгновение, лишь на одно мгновение – взгляды их встретились, – она тотчас скрылась за занавеской, но этого мгновения было достаточно, чтоб Алекпер не отрывал глаз от их окна, даже когда Абдулла быт тут же, в комнате.

Короче, Абдулла пошел в город, договорился с фазтонщиком, дал задаток.

Они выехали из Гянджи до рассвета, он не стал объяснять жене причину такой спешки, сказал только, что торопится в Баку. Город ей показать хочет, в театр сводить...

Про театр девушка была наслышана и потому обрадовалась. Но пока они ехали до станции, перед глазами у нее стоял стройный, белозубый мужчина, часами не сводивший глаз с ее окна, и она тихонько вздыхала...

Когда Абдулла уходил, Ягут, не в силах преодолеть любопытства, из-за занавески подглядывала за своим обожателем, горюя о том, что у ее Абдуллы нет ни таких золотых газырей, ни золотой пряжки на поясе, ни револьверов... Вчера, когда Алекпер играл в нарды, один из толпившихся вокруг него парней крикнул, показывая в небо: «Ястреб! Ястреб!» Ягут взглянула и высоко в небе увидела ястреба, кругами парившего под облаками. Алекпер выхватил револьвер и, почти не целясь, выстрелил. Ястреб вскинулся ввысь и тут же полетел на землю, а стрелок, сунув в карман револьвер, спокойно продолжал играть, не проявив к подстреленной птице ни малейшего интереса.

Ягут трудно было удивить меткостью стрельбы: в Новруз-байрам или на свадьбах отец и его друзья стреляли не хуже, но то, с какой спокойной небрежностью выстрелил в ястреба этот изящный мужчина с черными, блестящими, как агат, усиками, почему-то произвело на нее неизгладимое впечатление.

Когда Ягут впервые в жизни села в поезд, все это улетучилось, выветрилось у нее из головы, но все равно в продолжении долгих лет, стоило ей повздорить с мужем – она каждый раз вспоминала щеголеватого молодца, бросавшего страстные взгляды на ее окно...

В Баку Ягут впервые увидела море, но оно оставило ее равнодушной. Холодное, серое, оно сливалось на горизонте с таким же серым небом. То ли дело реки Карабаха!.. Когда по весне, переселяясь на горные пастбища, люди вброд переправлялись через бушующие потоки, она, сидя верхом на коне, как бы проникалась сознанием неистовства ревущей воды, и душу ее переполняла тревога и радость... А море? Что море!.. Зато «Лейли и Меджнун» в оперном театре, куда муж повел ее в один из первых вечеров, открыли Ягут неведомый доселе прекрасный мир. Несчастливая, горестная, безысходная и неземная любовь Лейли и Меджнуна заставила ее не только пролить слезы умиления, но увидеть, насколько убога и обиденна их любовь – любовь дочери пристава и молодого купца. Как ей хотелось иной любви, иных чувств!.. Как ей хотелось стать Лейли, страдать, мучиться, терзаться!.. В какой-то момент ей даже показалось, что она и есть Лейли и ее выдали за нелюбимого Ибн Салама, и этот Ибн Салам торчит сейчас рядом с ней в кресле...

Когда в антракте Абдулла принес ей из буфета коробку дорогих конфет, Ягут с негодованием отвернулась – при чем здесь конфеты?! Потом, когда они возвратились в гостиницу, грустное ее настроение развеялось, она весело шутила с Абдуллой, но чужая любовная трагедия, увиденная на сцене, оставила неизгладимый след в ее сердце, и временами Ягут казалось, что когда-то она сама пережила все это...

Абдулла ни о чем таком не подозревал – забот у него хватало. Дела были заброшены, каждый день он терпел убытки вместо того, чтобы получать прибыль; кроме того, его беспокоили бакинские бандиты. Только вчера возле самой гостиницы среди бела дня завязалась перестрелка между двумя бандами, а полиция делала вид, что ничего не знает. Об одном из главарей, Фарадже, говорили, что стоит ему приметить на улице красивую девушку, он в тот же день похищает ее.

До приезда в Баку Ягут как-то не задумывалась над тем, богат или не богат ее Абдулла. Но увидев здешних ханум, их наряды, их драгоценности, узнав, что существуют такие купцы, как Гаджи Зейналабдин Тагиев и Муса Нагиев с их бесчисленными миллионами, она почувствовала себя обделенной. Да и муж вроде стал меньше ростом, жался будто...

Прогуливаясь вечером по нарядным улицам, она заглядывала в яркие окна особняков, видела сияющий хрусталь роскошных люстр и с грустью думала, что в этих великолепных залах совсем другая, недоступная для нее жизнь. И ей почему-то казалось, что будь Абдулла одет, как тот Алекпер в Гяндже, будь он такой же удалец, чтоб в мгновение ока подстрелить парящую в небе птицу, ей было бы не так обидно. Она бы гордилась мужем.

... Верстах в семи от Карабулака находилось селение, жители которого, как и жители Курдобы, были кочевниками, но эти были не только кочевники, но и воры. Воровство тут почиталось за молодечество, если парень не умел угнать чужую отару, он слыл недотепой, и ни один уважающий себя человек не отдал бы за него свою дочь. А жители соседнего села Сарымарданлы были у них надежными свидетелями. Обвинят кого-нибудь в воровстве, тот клятвенно заверяет, что в ночь, когда пропала отара такого-то, гостил у приятеля в Сарымарданлы. И названный человек горячо клялся, подтверждая, что это так.

Чуть в стороне от селения стоял красивый двухэтажный дом, со всех сторон окруженный садом. Владельца этого роскошного дома Гасанали-бека звали в народе «воровской бек»; уездный начальник был приятелем Гасанали-бека, и Гасанали-бек выручал любого своего земляка, попавшегося на воровстве. И потому всякий вор, совершивший кражу, независимо от того, поймают его потом или нет, должен был вручить Гасанали-беку соответствующую долю.

Гасанали-бек был человек набожный, уважал священнослужителей, в том числе и дядю купца Абдуллы Абдуллу-эфенди, самым уважаемым из них регулярно посылал дорогие подарки, а почтенные отцы, хоть и знали, что щедрость эта от воровства, закрывали на это глаза и выражали Гасанали-беку признательность.

Поразмыслив, Абдулла решил ехать в Карабах и обосноваться в доме Гасанали-бека. Обычно Гасанали-бек не снисходил до панибратства с купцами, но на этот раз перед ним предстал племянник Абдуллы-эфенди, похитивший дочь самого Байрам-бека, и он велел оказать гостям достойный прием.

Ягут поместили с дочерьми Гасанали-бека, взрослыми уже девушками, Абдулла стал жить вместе с его сыновьями. Старший сын Гасанали-бека учился в Харькове на адвоката, младший – в Шуше, в реальном училище. Сейчас и тот, и другой гостили на каникулах дома. Парни были веселые, бойкие, занимались охотой, стреляли в цель, играли в карты. Ягут заметила, что в карты они играют как-то не так, ни она, ни Абдулла не знали таких игр. Старший сын Гасанали-бека отличался огромной силой. Однажды Ягут услышала во дворе хохот, выглянула и увидела такую картину. Посреди двора стоял старший сын бека, держа за хвост рослого ишака, а другой парень лупцевал ишака палкой. Ишак рвался изо всех сил, но могучие молодые руки не давали ему сдвинуться с места. Ягут от души веселилась, глядя на эту забаву, а Абдулла отчитал ее за то, что она смеется над глупостями.

Ягут промолчала, хотя бекские сыновья совсем не казались ей глупцами. А молодой купец, хоть и был человек разумный, природы женской не знал и уверен был, что девушка согласна с ним. Не понимал он, что если кто и проиграл от этих слов в ее глазах, так это он сам. Впервые за то время, как они встретились, Ягут пожалела, что ее мужем будет разумный и деловитый купец, все делающий как положено, а не такой вот веселый и беззаботный бекский сын в чохе с золотыми газырями. Но, как говорится, что сделано, то сделано.

В первый же день Гасанали-бек послал за уездным казием фаэтон, рассказал ему, как обстоят дела, и оба пришли к выводу, что раз парень привез похищенную девушку сюда, не остается ничего, кроме как помирить их с Байрам-беком.

Казий Мирза Галандар был приятелем и частым гостем Гасанали-бека, однако уважал и Байрам-бека. Не будь девушка дочерью пристава, а парень – племянником Абдуллы-эфенди, а главное, не найди молодая пристанище в доме досточтимого Гасанали-бека, он, может быть, и поостерегся бы давать разрешение на брак. Но в данном случае что можно было поделывать?..

Гасанали-бек и казий сидели за столом в большой гостиной. Перед ними разложены были холодные закуски: мясо, цыплята, зелень, стоял графинчик. Но было время поста, а Гасанали-бек строго соблюдал пост – мы уже говорили, что он был человек набожный, – казий, естественно, тоже постился, и потому они не притрагивались к еде, ожидая, когда с минарета прозвучит разрешение принимать пищу.

– А с водочкой-то, видно, разговляться особенно приятно? – не без ехидцы сказал казий, кивнув на графинчик.

– Пост постом, а водка водкой, – спокойно ответил Гасанали-бек, несколько не смущенный. – Да что ж этот негодяй, – он имел в виду муэдзину, который вот-вот должен был провозгласить вечерний намаз, – начнет он когда-нибудь или нет?

Бек, как положено, с утра ничего не ел и не пил, и терпение его было на исходе. Он встал, прошелся по комнате... Остановился перед окном, из которого виден был минарет, и, обращаясь к муэдзину, крикнул по-русски:

– Ну кричи же ты, черт бы тебя подрал!..

Казий расхохотался. Как только послышался первый возглас с минарета, бек взял рюмку с водкой, сказал: «Твое здоровье, Мирза Галандар!», опрокинул водку в рот и стал с аппетитом закусывать. Казий произнес положенное: «Бисмиллах!» и тоже принялся за еду.

– А, может, примешь одну? – наливая водку, лукаво спросил хозяин.

– У каждого свои пристрастия, – скромно ответил казий. – Я вот люблю хорошо поесть, выпить крепкого чайку, выкурить хорошую папиросу...

– Гм... А больше ничего? Вдовушки? Красотки черноглазые?

Мирза Галандар, низенький, краснолицый мужчина, был балагур и бабник. Бывая в дальних селениях, он всякий раз заключал сийгу – временный брак с какой-нибудь вдовушкой, считая это делом богоугодным.

Бек засмеялся и снова наполнил рюмку. Казий положил себе в тарелку фазанью ножку из плова и ответил смиренно:

– Женщина – сокровище этого брэнного мира. Для того шариатом и установлен временный брак, чтобы вдовушки не лишены были дозволенных удовольствий.

– Ох и мошенник ты, казий! – хмелеющий Гасанали-бек покрутил головой, – умеешь дела обделывать!.. Я слышал, ты в Курдобе со слепой сийгу заключил. Было дело?

– Было, – улыбнулся казий. – Да ведь, глядя на нее, никак не скажешь, что слепая. Черные такие глаза, большие... А сама вся беленькая, пухленькая!..

– Такую ночью разденешь, обнимешь... – мечтательно произнес Гасанали-бек. Жена у него была длинная, тощая, одних лет с ним.

– Не похоже, чтоб и ты от одной только водки удовольствие получал, – хитро улыбнувшись, сказал казий. – Не один я, грешный, красоток люблю...

– Все правильно, Мирза Галандар! – чуть зардевшись, сказал Гасанали-бек. – В этом безумном мире надо как можно больше брать от жизни! И пускай болтают что хотят!.. Я знаю, меня за спиной зовут «воровским беком». Не понимают, дурни, что такой бек, как я, приносит в сто раз больше пользы, чем они, добропорядочные. Не смейся, Мирза Галандар, я точно говорю. Я всем вора́м строго-настро́го наказываю: не трогать бедноту. Да и что с нищего возьмешь? Хочешь красть, вон Гаджи Гара – десять тысяч баранов! А чем плох Мешади Сюлю? Магазины битком набиты, миллионы в швейцарском банке. У таких сколько ни возьмешь, Бог простит. Так или не так, Мирза Галандар?

Казий взглянул на бека, уже крепко захмелевшего, и молча улыбнулся. Гасанали-бек напыжился еще больше:

– А вот если полиции попадается мерзавец, ограбивший бедняка, пальцем о палец не ударю, чтоб выручить подонка. Но!.. – Он многозначительно поднял указательный палец. – Тобой клянусь, Мирза Галандар, ни одного вора, ограбившего настоящего богача, я не дал посадить в тюрьму!

Казий сдержанно кивнул и стал наливать себе холодной довги, только что принесенной слугой.

А бека вдруг потянуло жаловаться:

– Ведь эти подлецы, эти сукины дети, своей же пользы не понимают! Ведь не только те, кого грабят, и нищета голозадая за моей спиной шушукается, бек, мол, заодно с ворами. Невдомек дуракам, что не будь того бека, у их жен последнюю юбку украли бы! И правильно, что ты с их женами спишь! Так им и надо!

– Я не совершаю ничего, противного шариату, – скромно заметил казий.

– Ладно, Мирза Галандар! – Бек подпер рукой подбородок. – Кому-кому... А мне не надо... Я гимназию, университет окончил, грамотный... В бога я верую, но все ваши штучки-дрючки тоже хорошо знаю... – И, громко рассмеявшись, бек протянул казию раскрытую ладонь: – Давай пять!

Казий был человек понятливый и, улыбувшись, хлопнул по протянутой ладони. Бек тряхнул головой и начал весело напевать, прищелкивая пальцами... А потом улегся на диван и тотчас же блаженно захрапел.

Казий совершил намаз в отведенной ему комнате, растянулся на шелковой постели и вскоре тоже погрузился в сон, предаваясь сладостным воспоминаниям о белом и мягком, как свежий сыр, теле слепой.

Поднялся он с рассветом и снова совершил намаз. Потом они позавтракали с беком разнообразными, с вечера приготовленными кушаньями. После этого Гасанали-бек послал одного из мальчишек, которых всегда держал при себе, сообщить Байрам-беку, что вечером к нему придут казий-ага и Гасанали-бек.

... После вечернего намаза Гасанали-бек велел заложить в фаэтон тройку и вместе с кази́ем отправился к Байрам-беку. Байрам-бек давно понял, что означает этот визит. Фатьма-ханум, сидя на своей половине, тоже давно все поняла, но внучка Багдад-бека, она – пусть весь мир перевернется! – ни за что не согласилась бы на такой брак. Какой-то жалкий купчишка, торговец, станет зятем самого Байрам-бека!... Отец парня, с которым Ягут была обручена, тоже не знатный бек, но человек почтенный и богатый. Его отары, табуны его коней взглядом не окинешь! А этот кто? Плебей, торгош, крохобор, считающий копеечную выручку. Мало того, еще и суннит хвостатый!

Но так размышляла Фатьма-ханум, Байрам-бек рассуждал иначе. Он был человек дальновидный и понимал, что нынешний век – век торговли и деловых отношений. А Абдулла, по его сведениям, был ловкий делец и удачливый коммерсант. За короткое время приобрел вполне приличный магазин, пользуется доверием деловых кругов, ведет торговлю в Москве, Харькове, Киеве... А то что суннит?.. Это все глупости, серьезный человек и внимания не станет обращать. Сунниты, шииты... Все это выдумали мошенники-моллы.

Приняв во внимание эти соображения, Байрам-бек не стал упрямиться, и когда гости завели разговор о примирении, сказал спокойно, с чувством собственного достоинства:

– Раз такие люди, как вы, явились ко мне с просьбой, что я могу сказать?

– Да благословит их Аллах! – произнес казий. А Гасанали-бек заметил не без намека:

– У нас с казием-ага договоренность: я не стану разоблачать его излишнюю склонность к женскому полу, а он закроет глаза на мое пристрастие к спиртному.

Байрам-бек засмеялся и, приказав накрыть в соседней комнате стол, велел достать из подвала вино.

Байрам-бек дал согласие на брак. Вскоре приехали дядя Абдуллы Абдулла-эфенди и другие его родственники. Был заключен брачный договор, потом привезли Абдуллу и Ягут, и примирение состоялось.

Но хотя оно и состоялось, Фатьма-ханум даже не поцеловала дочку, не удостоила взглядом зятя. Но... Отец дал согласие, ее дело помалкивать.

А молодой купец перевез жену в дом, который снял у богача Мешади Джалила.

Впервые рассказывая мне эти семейные предания (позднее я слышал их не единожды и всякий раз с новыми подробностями), старый Мохнет в этом месте лукаво улыбнулся и сказал так:

– На следующую весну... Сидим мы как-то раз перед кибиткой с дядей твоим Нури, и вдруг из Карабулака прибыл человек и сообщил, что у Ягут родился сынок с глазами-вишенками – это ты появился на свет. И твой дядя Нури дал этому человеку три рубля – подарок за добрую весть. Такие вот истории, сынок, происходили в те давние года... Я, конечно, не все запомнил, много бывало всякого...

И старый Мохнет, затянувшись кальяном, взглянул на Аракс, серебряной полосой сверкавший на горизонте...

РАССКАЗАННОЕ МУРАДОМ

В детстве меня все время дразнили «всезнайкой». Так пусть хоть читатель не считает меня им, не сердится за то, что я рассказываю о событиях, участником которых не был и быть не мог, поскольку все это произошло до моего рождения. Об этих давних событиях рассказывал мне старый Мохнет, рассказывал, сплетая были и вымысел, но сплетение это было столь искусным, что я воспринимал все, как реальные события прошлого. Разумеется, сейчас, когда я вспоминаю рассказы Мохнета такими, какими они запечатлелись в моей памяти, я не мог бы поклясться в их достоверности. Зато все, что мне довелось увидеть и пережить двухлетним или трехлетним, помню так отчетливо, будто мне было тогда не два года, а лет двенадцать. Кстати сказать, в молодости не очень-то я любил вспоминать свое раннее детство и вообще собственное свое прошлое. Но события и обстоятельства моего детства настойчиво преследовали меня, и потребность рассказать о нем не давала покоя.

Может, читатель спросит, зачем же в рассказ о своем невеселом детстве я включаю полусказочные повествования о моих предках, о прадеде и прабабушке, деде и бабушке, об отце и матери? Да я просто не мыслю себе свою жизнь изолированной от их жизни. Они всегда стояли у меня перед глазами, словно то, что случилось с ними, пережито мной лично. И когда мне бывает особенно грустно, когда на душе пустота, служит мне сладостным утешением пережитое Кербалаи Ибиханом, Сакиной, Ханум. Слыша, как нудно и однообразно бранятся отец и мать, наблюдая их долгие, порой месяцами длившиеся размолвки, я думал о том, как счастливы они были, когда, молодые, красивые, влюбленные, бежали, чтобы соединиться навсегда. А когда дедушка Байрам, так страстно влюбившийся когда-то в светлоглазую, чернобровую Фатьму, неделями не разговаривал с ней, я вспоминал их счастливое прошлое, и на душе становилось легче.

Теперь подчас меня тянет взглянуть на свое собственное прошлое, и тогда внутренний голос предостерегает меня: «Не надо смотреть назад!» Но я не могу, я не хочу не видеть прошлое, хотя вспоминать о нем вовсе не так уж весело, а порой и просто мучительно. Меня тянет вновь и вновь возвратиться мысленно в те годы, увидеть что-то не замеченное тогда, понять ранее непонятное. Возможно это – моя несбывшаяся мечта, мое неотступное желание понять, почему такие прекрасные чувства, как любовь, страсть, нежность превращаются в неприятие, тоску, ненависть. Мое прошлое живет во мне, оно было со мной всегда, когда я старался осмыслить самые сложные явления современности. Порой ошибаясь, я думал, что жизнь вообще всего лишь бесконечная цепь воспоминаний, и все будет прекрасно, если мне не придется стать свидетелем печальных драматических событий... Но, к сожалению, я видел их в переизбытке и как человек, рука которого коснулась огня, вздрогнув, пробуждается от сна, я каждый раз пробуждался для воспоминаний, возвращаясь мыслью к давнишним событиям, обычным, повседневным, заурядным...

ИТАК, РАССКАЗ О ТОМ, КАК СЫНОК ЯГУТ-ХАНУМ С ГЛАЗАМИ-ВИШЕНКАМИ СТОЛКНУЛСЯ С ЭТОЙ СОВСЕМ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНЬЮ

Я припоминаю дом в полтора этажа с бирюзового цвета стенами. Мы занимали в нем две небольшие комнаты. На бирюзовых перилах просторной, вдоль всего дома тянувшейся веранды стояли цветочные горшки, в них росли красные и белые гвоздики; они были первыми цветами, которые я увидел, моим первым соприкосновением с красотой природы, и, может, потому гвоздика на всю жизнь осталась любимым моим цветком.

У нас была служанка Марал, хорошенькая, веселая девушка лет шестнадцати, я был привязан к ней едва ли не больше, чем к матери. И вот как-то утром пришел мужчина в лохматой папахе, в чарыхах, в залатанной старой чохе и увел нашу Марал. Я все ждал, ждал, но Марал не возвращалась. Я часто плакал, капризничал, и отец с матерью говорили: пришел нищий и забрал Марал. Это была первая боль, причиненная мне разлукой, и боль эта долго терзала мне сердце.

Когда я немного подрос, узнал, что «нищий», который увел Марал, был ее отцом, и то, что отец с матерью называли отца Марал «нищим», больно задело меня.

... Негромко напевая, мама шила на машинке или готовила обед, а я сидел на полу, застеленном ковром, и играл. Еще мама читала книжки, в которых нарисованы были богатыри с мечами, верхом на скакунах, или болтала с соседкой, тетей Бегим. Тетя Бегим была деликатная, тонкая женщина, худощавая, с черными, как смоль, волосами, вся увешанная золотыми украшениями, будто собиралась на свадьбу.

Тетя Бегим и ее муж дядя Дашдамир в молодости прислуживали во дворце Хан-кызы Натаван, а потом вместе оттуда сбежали. А сбежали потому, что Хан-кызы, очень любившая Бегим, вознамерилась выдать ее за одного из бекских сыновей, а Бегим влюбилась в Дашдамира – толстого и краснолицего владельца бакалейной лавки. Только тогда он не был ни толстым, ни краснолицым и не имел лавки. С помощью деда моего Байрама Дашдамир стал урядником в Шуше, надел сапоги, фуражку, прицепил погоны и шашку. А потом, скопив денег, открыл свою торговлю.

У них был сын года на два старше меня, но ребенок был больной, слабоумный. Когда я приходил, чтобы поиграть с ним, он смотрел в пустоту куда-то мимо меня и бормотал непонятное. Сестренка моя, Махтаб, боялась этого мальчишка, а я не боялся. Тетя Бегим говорила с сыном так, будто он был нормальным ребенком. «Будь умницей, Фазиль, не шали», – говорила она ему спокойным ласковым голосом.

Одевали его всегда опрятно, чисто, а дядя Дашдамир каждый день приносил сыну гостинцы – конфеты и шекер-чурек. Я подолгу стоял, наблюдая, как Фазиль играет сам с собой, а он, не замечая меня, поворачивал во все стороны какой-нибудь флакончик из-под духов и бормотал: «Коробочка... коробочка...»

Если мальчик заболел, отец и мать теряли покой, сбивались с ног, в хлопотах ночи напролет просиживали у его постели. И наверное потому, что отец с матерью любили его, как нормального, разумного ребенка, мне было его особенно жалко.

Такова была моя первая встреча с трагедией.

Пока мы снимали две комнаты в бирюзовом доме, отец строил на окраине города большой двухэтажный дом. И мать, накинув чадру, водила нас с сестренкой смотреть будущий дом. Отец с воодушевлением объяснял ей, как будут расположены комнаты, где будет кухня. Откинув с лица чадру, мама с довольным видом рассматривала почти достроенный дом и большой сад, засаженный цветами и фруктовыми деревьями. Ей хотелось, чтобы веранда была широкая, окна большие... А мы с сестренкой носились по саду, радуясь тому, как с шумом вспархивают с веток вспугнутые нами птицы, как весело трещит в саду сорока. Там, где мы снимали две комнаты, был тесный, полутемный дворик, и здесь мы, вырвавшись на простор, восторженно вопили, гоняясь за бабочками под ярко-голубым небом. Была весна, на молодых деревцах только-только появились листочки, поднялась первая трава, и я ликовал, впервые ощущая величие природы и радость общения с ней. И когда мы вернулись домой, я испытал глубокое огорчение. Все в этом доме казалось мне теперь таким же темным и тесным, как маленький мрачный дворик. Было неприятно смотреть на тетю Бегим, которая шила что-то, сидя на тюфячке, слушать бормотание Фазилия, видеть его пустые глаза – мне без всякой причины хотелось плакать. Меня раздражал вид отца с зеленым карандашом в руке, сосредоточенно подсчитывающего доходы и расходы и делавшего аккуратные пометки в маленькой тетрадке. Забившись в угол, я тосковал по молодому саду, по ярко-голубому небу, по весело порхающим птичкам... Красочные картины эти проносились перед моим мысленным взором, как кадры немого кино. Я чувствовал, как свободны те птички и бабочки, ощущал, как они наслаждаются свободой, и впервые завидовал чужой свободе. Именно тогда и зародился в моей душе мой собственный, скрытый от других мир. Я становился все более замкнутым, подолгу оставаясь один со своими мечтами и грезами. Во мне зарождалась холодная враждебность к отцу, с его не улыбкающим лицом, говорившему с мамой только о делах, и я тосковал по Марал, по ее залиvistому хохоту, по ее шуткам... Комната казалась мне маленькой, душной. По ночам я видел страшные сны и часто плакал во сне.

КАК МЫ ПЕРЕЕХАЛИ В НОВЫЙ ДОМ И КАК БЫЛИ РАЗВЕЯНЫ ПО ВЕТРУ БУМАГИ ИЗ КАНЦЕЛЯРИИ

Когда половина нового дома была наконец отстроена, и мы переехали, это был для всех настоящий праздник. И мать, и отец, и мы с сестренкой нарядились во все новое. Мама надела золотые браслеты с бриллиантами, золотое наплечное ожерелье, золотой пояс с огромным, в человеческий глаз, сапфиром, на ногах у нее были лакированные туфли на высоких каблуках, – и без того красивая, она сейчас была необыкновенно хороша. В ее светлых прекрасных глазах светилась радость, и одного этого достаточно было, чтоб сделать меня счастливым – я ликовал, когда видел маму веселой и довольной. Отец, всегда такой деловой, немногословный, сегодня тоже смеялся, с удовольствием слушал, как мама расхваливает дом.

И вдруг среди этого веселья и ликования мы увидели, что люди с криком бегут к канцелярии уездного начальника, находившейся неподалеку от нашего нового дома.

Все умолкли, глядя на бегущих людей. Мы видели, как толпа ввалилась в канцелярию. Потом случилось что-то уж совсем непонятное – из окон и дверей канцелярии полетели на улицу кипы бумаг: покружившись в воздухе, бумаги падали на землю. Потом из канцелярии стали выходить чиновники, на ходу срывая с себя погоны.

– Что ж это такое? – удивленно спросила мама.

Ничего не ответив ей, папа сбежал по лестнице и быстро пошел туда, где собралась толпа. За ним устремились работавшие у нас армяне. Какой-то мужчина влез на табуретку – ее принесли из канцелярии – и стал говорить, размахивая руками. Толпа заколыхалась... «Урра-а-а!» – кричали люди. В воздухе летали бумажки, их все выкидывали и выкидывали...

Наконец папа вернулся.

– Николая сбросили с трона! – сообщил он.

– Не может быть! – воскликнула мама.

– Почему не может? – не прекращая работы, невозмутимо сказал армянин Кара. – Революционеры давно уже пытались придушить двуглавого орла.

«Как это? – подумал я. – Разве бывают орлы с двумя головами?» Спросить я не решился. И папа, и мама всегда одергивали меня, если я вмешивался в разговоры взрослых, и постепенно между мной и взрослыми выросла незримая стена из бесчисленных вопросов, оставшихся для меня неразрешенными.

– Думаю, не сегодня завтра киши приедет. – Отец всегда называл дедушку Байрама «киши»; в то время дедушка Байрам был уже помощником начальника соседнего уезда.

– А что будет на дорогах твориться!.. – озабоченно протянула мама.

– Ну, ему это не страшно. Его тут все знают.

– Знать-то знают, да ведь и врагов у него хватает.

– А когда дедушка приедет? – обрадованный, спросил я.

Отец сурово взглянул на меня.

– Сколько раз тебе говорено: взрослые разговаривают, не лезь! Иди отсюда!

– Но он же только спросил... – заметила мать, она всегда вступалась, если отец сердито обрывал меня. – Что он плохого сделал?

Мне стало так обидно, так жаль себя, что я сбежал в сад по большой каменной лестнице, прислонился к шелковице и, зная, что тут меня никто не увидит, заплакал. Я всегда начинал плакать, когда мама вступалась за меня, защищая перед отцом.

Поплакав, я вытер слезы рукавом и стал размышлять, что же произошло возле канцелярии начальника. Я попытался представить себе орла с двумя головами и все думал, при чем же здесь падишах Николай? И как это падишаха можно сбросить с трона?.. Из сказок «Тысячи и одной ночи» я знал, что падишах сидит в заколдованной башне на золотом троне. По обе стороны от него телохранители со щитом в одной, с пикой в другой руке, и сильны эти его телохранители, как сам Рустам-Зал. И еще я не мог понять, зачем мужчины в мундирах срывали с плеч такие красивые золотые погоны да еще бросали их на землю? И чему радовались люди в толпе? Но тут на шелковицу, под которой я спрятался, села сорока, глянула на меня и весело затрещала. Я вспомнил, что каждый раз, когда во дворе у дедушки начинала трещать сорока, бабушка Фатма радовалась, считая ее доброй вестницей, и говорила: «У сынка сынок родился, и у дочки будет сын!»

Сорока потрещала, потрещала, умолкла и снова принялась трещать. «Это она сообщает, что приедет дедушка!» – сообразил я.

Вскоре после того, как разнесло ветром выброшенные из канцелярии бумажки, на улицах нашего города появились вооруженные всадники. Они громко переговаривались, смеялись... Потом в нашем доме я увидел две винтовки и патроны. По вечерам теперь дом наш был полон гостей. Дом к этому времени уже достроили, и самую большую комнату застлали коврами, сделав ее гостиной. Наш слуга Гудрат, мальчик лет пятнадцати, носил гостям чай в стаканчиках-армуды и всевозможные сласти. Мама сидела в смежной комнате и, не разрешая нам с сестренкой шуметь, внимательно прислушивалась к тому, о чем говорили за стеной мужчины. Чаще других за стеной произносили слова: «свобода», «российская конституция». Наконец я спросил у мамы:

– Про что они говорят?

– Тебе не понять... – коротко бросила она.

Зинят, наша молоденькая служанка, шепотом объяснила мне, что говорят там, за стеной, про то, как сбросили падишаха.

Я был еще очень мал, и от всех этих дел в голове у меня все перепуталось. Вечерами, лежа в постели, я пытался разобраться в тревожных и странных событиях, о которых слышал днем, но все это было такое чужое, непонятное, и то, что мать с отцом, не считаясь с моей естественной любознательностью, ничего не объясняли мне, мучило меня: я чувствовал, что никому, никому нет до меня дела.

Потом стали доходить слухи о грабежах на дорогах, о нападении бандитов – нет настоящей власти, каждый творит, что хочет...

... Как-то, придя из города, папа рассказал маме, что с иранской границы движутся к Евлаху войска царя Николая, чтоб по железной дороге отправиться в Россию, и что, похоже, выйдет заваруха.

– Но почему? – спросила мама.

– А потому, – спокойно ответил отец, – что наши не собираются их пропускать, дороги перекрыты... Только перебить регулярные войска дело не простое, у них ведь и артиллерия, и пулеметы... На царя злятся, а злость вымещать хотят на солдатах! – добавил он, зажигая папиросу.

– Бедные парни... – сочувственно сказала мама. – Не сами же они сюда пришли. Не по своей воле.

– Кому это объяснишь? – раздраженно бросил отец. – Причем учти, войска пойдут здесь, – он указал на шоссе, проходившее мимо нашего дома. – Если завяжется перестрелка, может пострадать город. Словом, вам здесь нельзя оставаться.

– И куда ж нам деваться? – удивленно спросила мама.

– Да вот мы тут посоветовались, решили, пока войска не пройдут, женщин и детей собрать у Мешади Курбана, его дом в стороне. Если что, пуля не достанет.

Мама промолчала, но по тому, как сердито чиркала она спичкой, зажигая папиросу, я видел, что это ей не по вкусу – бросать наш новый красивый дом и прятаться у Мешади Курбана.

Одноэтажный дом Мешади Курбана, состоявший из пяти-шести комнат, был набит до отказа. Мешади Курбан был всего лишь мясник, но в городе его уважали. И не только потому, что у него были отары овец и десятки наемных чабанов, но и потому, что он обладал решительным нравом, покровительствовал слабым и беззащитным, и не было случая, чтоб кто-нибудь заставил его дважды повторить свою просьбу. По приказу Мешади Курбана в саду разожгли несколько очагов, и женщины варили еду в больших медных казанах – Мешади Курбан велел прирезать несколько баранов.

Мужчины встревоженно переговаривались, но сам хозяин спокойно попыхивал короткой трубкой и слушал, что говорят другие. Высокий, широкоплечий, с большим орлиным носом, он был величествен и недоступен. Огромные волкодавы, сидевшие на цепях в глубине сада, взволнованные, возбужденные мужские лица, а главное – Мешади Курбан в своей величавой невозмутимости, – все это уводило меня в мир легенд и преданий. Я старался быть как можно незаметнее, но неотступно вертелся возле отца, пытаюсь не пропустить ни слова.

– Уверю вас, наши ведут себя глупо! Ну зачем мешать царской армии убираться восвояси? Кому нужны жертвы? Какой в этом смысл?

– Ты прав! – горячо поддерживал отца бакалейщик Дашдамир. – Ну перебьют две-три сотни солдат. Кому от этого прок?

– Да зачем убивать? – горячился отец. – Если солдат – значит, бей?! А ведь он чей-то сын. У него мать есть, есть родина. И не по своей воле оказался он в наших местах.

... Утром издали донеслись шум, крики, конский топот... Звуки эти становились все громче и наконец превратились в сплошной гул, сквозь который прорезывались приближающиеся выстрелы.

– Да-а... – задумчиво протянул отец. – Похоже, войска вошли в город.

Мешади Курбан вынул изо рта трубку.

– Возьмите винтовки, – приказал он своим людям. – Идите вон туда, на косогор. Если войска пройдут спокойно, не открывайте стрельбу. Если увидите, что грабят, бесчинствуют, не щадите! Мы тоже выйдем.

Парней пять с винтовками и патронташами радостно сорвались с места, будто спешили на свадьбу.

Мешади Курбан задумчиво вытряхнул пепел из трубки, сунул ее в карман длиннополого пиджака, легко поднялся по лестнице и вернулся из дома с двумя патронташами и пистолетом.

– Мешади, может, и мы пойдем? – спросил папа, увидев, что Мешади направляется за сад, к косогору.

– Нет. Останетесь с женщинами и детьми. – И он скрылся за деревьями.

Стрельба усиливалась.

Я, не отрываясь, смотрел в ту сторону, куда ушли люди Мешади Курбана, и ждал, когда с косогора послышатся выстрелы. Но там почему-то не стреляли.

– Похоже, солдаты лишь отстреливались, город не тронули, – сказал папа.

К вечеру стало тихо. Мешади Курбан и его люди вернулись, не сделав ни одного выстрела.

Зато наутро случилось страшное событие.

Мама стояла у ограды в конце сада, разговаривая с соседкой. Я крутился поблизости, поскольку в эти дни только и делал, что слушал разговоры старших, хотя абсолютно ничего не понимал. И вдруг раздался такой страшный удар и грохот, что из окон посыпались стекла.

– Ой, смотри! – крикнула мама соседке, рукой показывая на небо. Я взглянул: на окутанный дымом город сыпались камни и еще какие-то предметы, которые мы не могли отсюда разглядеть. Схватив меня за руку, мама бросилась к дому. И лишь она отбежала, на то место, где она только что стояла, со свистом упал большой камень. Задержись она хоть на секунду... Да, видно, судьба хранила ее для других, еще более тяжелых испытаний.

Со стороны города доносились крики, вопли. Потом мы увидели на дороге слуг Мешади Курбана. Каждый что-нибудь нес: кто тащил на плече ящик патронов, кто – несколько винтовок, кто целую штуку сукна. У одного из парней было обожжено лицо и руки. Почему-то он был весь мокрый. Его обступили, и он стал рассказывать, что, когда грабили армейский склад оружия и снаряжения, взорвалась бочка с динамитом, и склад взлетел на воздух... А людей там было полно. «Меня вышвырнуло наружу. Смотрю – кругом огонь, люди горят, кричат... На мне тоже чиха занялась... Бросился в арык – склад-то как раз на берегу... А то бы совсем сгорел...»

Когда мы вернулись в дом, на дверях второго этажа, в верхней их части, оказалось несколько дыр от пуль.

– Видишь, – сказал маме отец, внимательно осмотрев двери, – все пули наверху. Значит, солдаты не собирались никого убивать, в воздух стреляли...

Я побежал в сад к своей шелковице. Никак я не мог взять в толк, почему солдаты из далекой России оказались тут, между нами и Ираном. И зачем наши люди хотели перестрелять их? Почему нужно прятать на складе так много патронов, пороха, динамита, чтобы, взорвавшись, они уничтожили столько людей?

Но только зачем они забрались на склад, ведь эти вещи не принадлежали им, чужие были вещи. Значит, они грабили? Даже дядя Мешади Курбан послал своих слуг грабить. Надо сказать, что Мешади Курбан очень упал в моих глазах и, хотя оставался все таким же большим, широкоплечим и величаво спокойным, уже не казался мне сказочным богатырем. Впервые я открыл, что в хороших вроде бы людях кроется что-то очень плохое... Я смотрел на шелковицу, и мне казалось, что дерево думает о том же, что и я, недоумевает. Почему-то вспомнилась вдруг песня о Гачаге Наби, которую поют ашуги:

«... Усы Наби закручены колечком,
А папаха вся в дырочках от пуль...»

Выходит, враги Наби не стреляли в воздух, как прошедшие здесь солдаты, они целились в голову! А потом... Потом свой же товарищ предал Наби, убив его, спящего... Я часто слышал от дедушки Байрама слова: «честность», «подлость», и слова эти, обладая для меня волшебной притягательностью тайны, окутаны были туманом. Теперь туман этот начинал постепенно рассеиваться. Герои сказаний оживали в моем воображении во всем своем трагическом величии, и сердце мое таяло от любви к ним. Я горячо любил птицу Зумруд-гушу за то, что она, спасая Мелик-Мамеда, брошенного в колодец предателями-братьями, на своих крыльях вынесла его из мрака и отчаяния. Я любовался в мечтах прекрасными лицами Мелик-Мамеда, Наби, знаменитого гачага Сулеймана (я уверен был, что они красавцы), но никак не мог представить себе их врагов, подлецов и предателей; эти являлись моему воображению то в виде странных уродов, то казались мне рогатыми дивами, то оборачивались какими-то непонятными существами, окутанными зловещными клубами дыма...

ВОДОНОС ИМАН-КИШИ

Иман-киши жил в одной из нижних комнат нашего дома. Он носил нам и соседям питьевую воду из кягриза, и ему либо платили по несколько копеек за кувшин (это был огромный медный кувшин), либо давали что-нибудь из еды. И дома, и на улице Иман-киши постоянно разговаривал сам с собой. Сидит где-нибудь во дворе на драном куске войлока, латает свой тулуп или штаны и все говорит, говорит... Я садился перед ним на корточках и напряженно вслушивался, пытаюсь уловить смысл в его словах, причем Иман-киши не обращал на меня ни малейшего внимания. «Сын Земли, гикнув, взмыл в небо...» – бормотал он. Я начинал допытываться: «Иман-киши! Кто такой Сын Земли?»

Он ничего не отвечал, он вообще меня не видел, не слышал, бормотал свое, непонятное... Потом вдруг хохотал. Иногда он брал книжку с обтрепанными пожелтевшими страницами и вроде бы читал ее, а потом клал себе под голову, как это положено делать с Кораном.

Были у него и другие странности. Нельзя было, например, упоминать при нем черный камень. Если кто-либо делал это, Иман-киши набрасывался на виновного с палкой – он всегда носил ее при себе. Мальчишки, знавшие его странность, завидев водноноса на улице, отбегали на почтительное расстояние и оттуда кричали: «Иман-киши! Иман-киши! Пропади пропадом твой черный камень!..» Иман-киши с палкой гонялся за ребятами...

Но если любой черный камень Иман-киши почитал за святыню, то любая черная курица была его заклятым врагом. Завидит где беднягу, швырнет камнем, да так метко, обязательно попадет. И потому хозяйки, завидев издали Имана-киши, старались подалеже загнать своих черных несушек.

– Иман-киши, – спросил я его как-то раз, – а чего ты так ненавидишь черных кур?

– Чего, чего?.. Заколдованные они. На них Кызбес порчу наслала.

Кызбес была особой, популярной в нашей махалле. Она была мастерица подравнивать щипчиками брови, смешила и развлекала женщин на свадьбах, рассказывала им веселые анекдоты и была незаменимой енге – сопровождала невесту в дом жениха.

Как-то раз, играя на веранде, мы услышали на улице отчаянные женские крики. Бросились к задней двери: Иман-киши схватил за руку тетю Кызбес и изо всех сил дубасил ее палкой.

– Ах ты, сукина дочь!.. Зачем кур заколдовываешь?..

Сбежались соседи, отняли несчастную женщину... Еще Иман-киши преследовал тетю Кеклик. Тетя Кеклик, неимущая вдова с четырьмя подростками-сыновьями, жила в одной из нижних комнат, по денно работая у людей. Она была альбиноской: совершенно белые волосы, такие же брови и ресницы. И вот Иману-киши втемяшилось в голову, что тетя Кеклик слепая.

– Толковал, толковал дурище, – бормотал он по временам, сидя на своем войлоке, – набери в посудину мочи да промой глаза – прозреешь! Не слушает, чтоб ее...

Единственное существо, вызывавшее у Имана-киши доброе чувство, была моя сестренка Махтаб, ей тогда было годика три-четыре. Как только Иман-киши, закончив разносить по дворам воду, возвращался домой, мы с Махтаб тотчас же бежали к нему. Смешав в большой фаянсовой миске всю еду, которую давали ему хозяйки, Иман-киши принимался обедать. Ласково улыбнувшись Махтаб, он подзывал девочку к себе: «Иди, моя хохлаточка, хохлотушечка. Иди, моя сладенькая! Садись!»

Махтаб усаживалась против него, и Иман-киши принимался кормить девочку: одну ложку – себе в рот, другую – ей. Дома маме с трудом удавалось заставить девочку проглотить что-нибудь, а это своеобразное блюдо Махтаб ела с неменьшим аппетитом, чем сам Иман-киши. Мама выходила из себя. Схватив Махтаб, она больно дергала ее за ухо и сердито кричала на Имана-киши: «Сколько раз говорила тебе, не смей кормить ребенка!» Иман-киши только усмехался...

На следующий день Махтаб снова прибежала к Иману-киши, и все повторялось сначала...

Я тоже любил торчать возле Имана-киши, этот человек страшно интересовал меня.

Иман-киши был совершенно одинок. Никто не знал, откуда он родом. Он тоже не знал этого. Имана-киши все считали полусумасшедшим, юродивым, жалели его, побаивались и все ему прощали. Мне же, когда я слушал его странное бормотание, его смех, его гневные выкрики, казалось подчас, что никакой он не сумасшедший, просто он совсем из другого мира. Кто знает, может, и правда нельзя ругать черный камень. Может, тетя Кызбес и правда колдунья, и все черные курицы заколдованы. Я не понимал, конечно, что значит «заколдовать», но в непостижимости этого понятия и крылось самое привлекательное. Рябоватая длинноносая Зинят, любившая рассказывать всякие страшные истории, не раз говорила, что неподалеку от Курдобы есть «Ущелье бесов», и по ночам там беснуются джинны, пляшут и веселятся. Старый Мустафаоглу Мехти – Зинят клялась, что это истинная правда, – возвращаясь ночью домой, не раз собственными глазами видел эти бесовские сборища. А однажды джинны схватили его, приволокли к себе и заставили пробовать угощения. А он, не будь дурак, протянул руку к еде, а сам говорит: «Бисмиллах!». Нечисть сразу и сгинула, они ведь имени Аллаха боятся.

Зинят говорила, что джинны не всякому показываются на глаза. А я думал, что уж кому-кому, а Иману-киши они очень даже показываются. Все считают, он так себе бормочет что-то, это он наверняка с джиннами разговаривает...

Молодой сад, который отец разбил перед нашим домом и которому ежедневно посвящал час-другой, собственноручно поливая, рос быстро, и между мной и этим садом с каждым днем крепла близость, похожая на тайную дружбу. Каждое из деревьев: яблоня, слива, груша, айва, абрикосовое дерево, шелковица имели не только свой особый облик, но и свой характер, по-своему действуя на меня. В бледно-розовых цветочках абрикоса скрыта была какая-то тайна, ярко-белые цветы вишни и сливы вызывали у меня чувство радости, легкой и светлой. Широкие листья шелковицы, изумрудами сверкающие в солнечном свете, усиливали эту радость до смелого открытого ликования. Холодноватый аромат листьев ореха был печальным, он напоминал о маминой болезни. Верно, так случилось потому, что как-то раз, лежа с приступом малярии, мама сказала Зинят, чтоб та принесла ей веточку ореха. Когда Зинят дала ей ветку, мама, закрыв глаза, долго нюхала ее... А когда она уснула, я взял веточку и тоже понюхал, и аромат, идущий от свежих широких листьев, показался мне тоскливо-холодным...

Когда мама болела, в доме становилось грустно. Мамины прекрасные светлые глаза блестели от жара, а я часами не отходил от ее кровати, и был самым несчастным человеком на свете. Когда же маме становилось лучше, и она поднималась с постели, я ликовал. Но и радость моя, и печаль таились во мне, проявить свои чувства я не смел. Моя замкнутость росла. Отец, красивый, черноглазый и чернобровый молодой мужчина, широкоплечий и очень сильный, вообще-то был и общителен, и разговорчив, но с нами, детьми, особенно со мной, обращался на редкость сурово. Его почему-то раздражало, если я смеялся или болтал, и я не только замыкался в его присутствии, стараясь никак не проявить себя, но, чувствуя на себе его требовательный холодноватый взгляд, терялся, становился тупым, неловким... Моя скованность и стеснительность еще больше раздражали отца, и он обращался со мной еще суровей. Если во время обеда я неловким движением опрокидывал стакан с чаем, он гневно бросал: «Растяпа!» или «Разиня!» Мама, не выдержав, вступалась за меня: «Ну ладно... Ну что случилось?..»

И тогда, не в силах сдержать слез, я убежал в сад и долго плакал там, прислонясь к своей шелковице, и если погода стояла ненастная, от печального молчания шелковицы еще горестней становилось на душе. Если же было ясно и безоблачно, от широких шелковых листьев, сверкавших в солнечных лучах высоко над моей головой, исходил покой, дававший надежду и утешение, и слезы мои высыхали... Разглядев меж деревьями, что отец ушел к себе в магазин, я бежал домой и радовался, видя, что мама стоит перед огромным, в человеческий рост зеркалом и что-то напеваает, заплетая длинные косы. Я не уставал восхищаться красотой моей мамы, ее молодой статью, ее нарядами и украшениями. Я любовался длинной маминой юбкой из вишневого бархата с разбросанными по нему золотыми цветами, широкими рукавами ее архалука, золотым поясом, на пряжке которого горел крупный сапфир, золотым ожерельем, а главное тем, как все это ей к лицу, как красиво все на ней. Вот только песня ее, всегда грустная в такие моменты, огорчала меня. Не хотелось мне, чтоб мама так грустно пела. Когда, управившись с домашними делами, она облокачивалась на диванные подушки, тихонько и медленно напевала из Физули или Натаван (кто написал эти стихи, я, разумеется, узнал позднее), мне было грустно. Но я радовался, когда мама рассказывала нам с сестренкой содержание таких книжек, как «Тысяча и одна ночь», «Индийский раджа», «Эременуус». Я воочию видел перед собой героев этих книг. Я страдал их страданиями, ликовал, когда они были счастливы. Мир этих героев, возникший в моем воображении, становился мне все милей и дороже, намного милей реальной действительности...

... Спустя несколько дней после того, как пограничные царские войска ушли, как-то утром прибежала Зинят и весело сообщила, что приехала Фатъма-ханум.

Я, мама и Махтаб пошли к бабушке Фатъме.

За оградой нашего сада высилась густая роща шелковиц, за ней – небольшой одноэтажный домик с садом. За два года до свержения Николая дедушка Байрам купил его у одного молуканина, возвращавшегося в Россию, и завез огромное количество камня и других строительных материалов, намереваясь построить новый дом.

Дома я почти всегда молчал, был нелюдим и угрюм, а здесь, в доме у дедушки Байрама, становился совсем другим ребенком; меня не подавляла чрезмерная суровость отца.

Бабушка Фатъма была на веранде; расположившись на широком топчане, она, как обычно, курила самокрутку, сунув ее в длинный мундштук. Мы с сестренкой подбежали, и бабушка расцеловала нас. Это, впрочем, не доставило нам особого удовольствия: ни отец, ни мама никогда нас не целовали, и мы не были привычны к подобным изъяснениям любви.

– Ну, слава Богу! – бабушка отложила мундштук. – Довелось увидеть вас живыми, здоровыми. Такое кругом творится!..

– А почему отец не приехал? – спросила мама. Бабушка глубоко затянулась из мундштука.

– Как ему ехать? Бросить людей на произвол судьбы? Старики собрались и говорят: «Если тебя не будет, здесь такое начнется!..» Послал проводить меня сына Кызылбаша Али и еще трех парней.

С бабушкой приехали двое слуг: Гюллю и Ширхан. Гюллю – пухленькая молодая женщина лет девятнадцати была дочерью бедняка из Курдобы, муж выгнал ее через три года после свадьбы – не рожала, и бабушка, взяв Гюллю в услужение, не могла нахвалиться ее ловкостью, чистоплотностью и веселым нравом. Мне Гюллю тоже нравилась, не нравилось только, что от нее сильно пахнет туалетным мылом. Когда она, схватив в охапку, тискала и целовала меня, я всякий раз вырывался, крича: «Пусти! Пусти!» А Гюллю хохотала и еще крепче целовала меня в обе щеки.

Ширхан, слуга дедушки Байрама, был высокий, красивый парень. Родом из Южного Азербайджана, он год назад вместе с другими своими земляками перешел Аракс, чтобы найти здесь работу. Как все выходцы из Южного Азербайджана, носил войлочную тубетейку и особого покроя чоху.

Гюллю по обыкновению сграбастала меня в охапку, принялась тискать и целовать. Запах мыла душил меня, я рвался из ее рук, мама хохотала, глядя на нас, а бабушка Фатма сказала с улыбкой:

– Хватит тебе. Угомонись! Не мучай ребенка.

Не переставая хохотать, Гюллю наконец выпустила меня. Бабушка Фатма открыла деревянную табакерку.

– От Нури ничего не слышно? – спросила она, скручивая папиросу из желтого, как шафран, крупно нарезанного бахромчатого табака.

– Вчера из Шуши приехал Мешади Гара, говорил их отцу, – мама показала на нас с сестренкой, – что видел Нури и дал ему золотой десятирублевик. (Никогда, ни наедине, ни при посторонних мама не произносила папиного имени. Он тоже никогда не называл ее по имени. Почему – это долго оставалось для меня тайной.)

– Нури что – просил у него денег?

– А с чего бы Мешади Гара стал совать ему золотой?!

Бабушка кашлянула, будто подавившись дымом.

– Две недели тому назад отец послал целый вьюк продуктов, – пробормотала она. – И деньги послал, а этот паршивец швыряет их, будто сор!

– А все ты! – сердито бросила мама. – Ты сына избаловала! Мало того, что отец то и дело деньги шлет, и ты еще норовишь тайком сунуть!.. У других тоже сыновья учатся, но чтоб столько тратить!..

Она с негодованием отвернулась.

Бабушка вставила папиросу в мундштук, зажгла ее и молча затянулась. Я чувствовал, что, хотя она не возражает маме, на сына все равно не сердится, – не может она сердиться на Нури.

– Сколько раз его в публичном доме видели!.. – Мама никак не могла успокоиться. – Пристало мальчишке по бабам шляться?

Я слышал и, хотя ничего не понимал, чувствовал, что в словах этих есть что-то стыдное. Гюллю прислушивалась к разговору с нескрываемым любопытством.

– Все равно добро впрок не идет! – сказала вдруг бабушка. – Что твой отец ни получит, все братцу своему шлет, чтоб его пуля пробила!

Это я понял. Бабушка Фатма часто говорила об этом и всегда сердилась.

– И ведь не думает, что у самого сын подросток, не сегодня-завтра женить надо. Никаких забот! Все туда, все туда!..

Мама любила дядю Айваза, довольно еще молодого веселого мужчину, а потому тотчас вступилась за него:

– Ну не может же отец бросить родного брата. Сын есть сын, брат есть брат.

– Помолчи! – вконец разъярилась бабушка. – Поменьше бы защищала проходимца! Мягко стелет, да жестко спат! Язык-то сладкий, вот вам и кажется – порядочный человек. А когда Байрам привез меня из Шуши, он не хуже матери своей бушевал! Срамили, срамили, шушукались за спиной: «Ишь отыскал – всей Шуше на зависть! Нашел женушку!.. Удружил нам подарочком!..»

Мама молча улыбалась...

КЫЗЫЛБАШОГЛЫ

Кызылбашоглы Али, сопровождавший бабушку Фатьму, был высокий парень с длинными рыжеватыми волосами; на нем были сапоги, чоха и десятизарядный маузер в деревянной кобуре.

Он был родом из древнего племени Шахсевен, часть которого жила здесь, часть – в Южном Азербайджане. Кызылбашоглы Али состоял в личной охране дедушки Байрама.

– Как жизнь, сестрица? – приветливо спросил Али маму, усаживаясь на стул, который подала Гюллю.

– Отца одного бросили? – вместо ответа спросила мама, смягчив свой вопрос улыбкой.

– Что значит одного? Это же Байрам-бек!.. Все его именем клянутся! И я ведь сейчас же обратно.

– Ночью? – удивилась мама.

– А чем плоха ночь? Днем жарко...

– Ты поедешь один? – изумился я. Я знал, что Али славится храбростью, и все же спросил: – Ты что же – гачагов не боишься?

– А что их бояться? – спросил он, сверкнув зубами в улыбке. – Гачаг тоже человек.

– Дядя Али и сам был гачагом! – мама как-то непонятно усмехнулась.

Кызылбашоглы молча встал и пошел за конем, который пасся в клевере у арыка.

– Поел бы, – сказала бабушка, когда он привел коня. – Потом поедешь.

– Я в городе ужинал, – ответил Али. И попросил Гюллю: – Сестрица, там, в доме, мое ружье, принеси!

Опередив женщину, я бросился в дом, притащил его пятизарядку с укороченным дулом и набитый патронами пояс.

– Счастливо оставаться! – ловким движением Али вскочил на высокого пегого жеребца. – Что передать от вас?

– Нам главное – отца береги! – сказала мама.

– Это – будьте покойны!

Кызылбашоглы чуть шевельнул ногами, и конь рванул с места.

– Пойди плесни ему вслед воды! – сказала бабушка. Гюллю побежала в дом и, вернувшись с кружкой, плеснула на землю воды.

Мелькнув за деревьями, Кызылбашоглы исчез, растворился. Я подумал, что, расставшись с нами, он остался совсем один; солнце скоро зайдет, наступит ночь, а он будет ехать среди безлюдной молчаливой степи. А вдруг наперерез гачаги? Тогда... Тогда он выхватит из деревянной кобуры свой маузер и начнет палить!.. Ведь он никого и ничего не боится.

Рассказывают, что как-то ночью в глухой степи навстречу ему выехало трое конных. Кызылбашоглы был безоружен, но, воспользовавшись темнотой, схватил плетку с рукояткой из джейраньей ноги и, как револьвер, направил ее на гачагов: – «Бросай оружие! Десять пуль – всех перебью!..»

Гачаги знали, что с ним шутки плохи – в момент может всех перестрелять, – сняли с плеч винтовки, побросали на землю. «Отъезжайте в сторону!» – скомандовал им Кызылбашоглы. Те послушались, Али прыгнул с коня, подобрал винтовки и кричит: «Езжайте да смотрите помалкивайте, что Кызылбашоглы Али с одной плеткой отнял у вас оружие!» Гачаги поняли, какую шутку он с ними сыграл. «Ты, говорят, и правда, герой, но только храбрец храбреца не станет перед людьми срамить. Отдай винтовки – и мы навек твои братья». «Слезайте, – говорит, – берите». Пока те подъехали, вскочил на коня, да и был таков...

Да, гачаги ему не страшны. А джинны? Что, если в ночном ущелье он встретит воющих джиннов?..

– Пойдем домой, – поднимаясь, сказала мама.

Мне так не хотелось уходить от бабушки, от своих дум и мечтаний... Дома снова будут сердитые окрики отца, его недовольное лицо... И я стал нудить, прося маму, чтоб она разрешила мне остаться здесь на ночь.

– Оставайся, – вздохнув, сказала мама. – Только отец рассердится.

– Велика беда! – бабушка презрительно поморщилась. – Сын Халсы с потрескавшимися пятками рассердится!.. Мир перевернется! Не пилил бы ребенка день и ночь!

ШИРХАН И ГЮЛЛЮ

Как всегда, когда мама или бабушка жалели меня, мне тотчас же захотелось плакать. Глаза мои наполнились слезами, и я побежал в сад. У арыка сидел Ширхан и чинил верхнюю рубашку, а чоху, сшитую из грубошерстной, вручную сотканной ткани, накиннул поверх исподнего. Он, как всегда, приветливо улыбнулся мне.

– А почему ты сам? – спросил я. Мне показалось странным, что мужчина чинит рубаху, будто женщина.

– А кто ж мне ее зашьет, братик? Матери у меня нет, сестры тоже...

– Нет? Совсем нет? Ни мамы, ни сестры? И не было?

– Почему не было? – спросил он, не отрывая глаз от шитья. – И мама была, и папа... И сестра, и брат... Даже дедушка с бабушкой. И очень меня любили, как тебя дед с бабушкой любят.

– А куда же они все подевались? – Я присел возле Ширхана на корточки.

Он глубоко вздохнул и сказал, по-прежнему не отрывая глаз от рубахи:

– Соседний хан напал на наше село, разорил, разграбил. Многие погибли, а кто уцелел, разбрелись кто куда... Поумирали с голоду, от болезней... У меня дядя старик был, вот я с ним сюда и подался... Только когда через Аракс переправлялись, его пулей достали...

Я молча смотрел на Ширхана. Сколько горя перенес этот человек! И как спокойно говорит об этом.

– Зачем же хан напал на ваше село?

– Да он с нашим ханом враждовал. Наш тоже их людей губил!

– А зачем же шах позволяет?

– Шах?.. А ему только на пользу, чтоб наши истребляли друг дружку.

– Почему?

– Эх, братик, мал ты еще...

– А ты расскажи, расскажи, Ширхан! Я пойму!

– Ну, ты знаешь, шах – перс, а мы и ханы наши – турки.

– Ну?.. – об этом я имел некоторое представление.

– Вот шах и хочет, чтоб мы дрались друг с дружкой, будем меж собой враждовать, некогда будет свободы добиваться!..

Я вроде и понимал то, что он говорит, но как-то уж очень туманно. Впервые в жизни от слуги моего деда я слышал о судьбе родного народа.

– А почему ваши храбрецы не пойдут и не убьют шаха? – помолчав, спросил я.

Ширхан усмехнулся.

– Попробуй убей его!.. У него и войско, и пушки, и пулеметы...

Подошла Гюллю.

– И чего ковыряешься? – сказала она, укоризненно покачав головой. – Не в пустыне небось, рядом люди есть.

– Не хотел тебя беспокоить... – слегка порозовев, ответил Ширхан.

– Беспокоить!.. – Гюллю присела рядом на землю. – Тоже нашел ханум! Давай сюда!

Она отобрала у него рубашку, взглянула и расхохоталась:

– Швея! – Потом поднялась с земли и сказала почему-то шепотом: – Зашью, постираю... Вечером принесу.

– Хорошо, – ответил Ширхан тоже тихо, не глядя на нее.

– Ширхан, – сказал я, когда Гюллю ушла. – А ты бы купил себе новую рубашку.

– Денег нету, – с улыбкой ответил он.

Не зная, что сказать, я встал и ушел. Я сам не понимал, откуда взялось это чувство вины. Впервые в жизни мне было нехорошо, беспокойно от сознания того, что мы богаты, а другой так беден, что не может купить себе рубаху, мне было совестно перед Ширханом за наш достаток. Быстро придя к решению, я скользнул мимо бабушки, которая по-прежнему дымилась, сидя на топчане, и прошел в комнату. Я знал, что бабушка кладет деньги под тюфяк. Как настоящий вор, я настороженно огляделся по сторонам, приподнял тюфяк, схватил большую бумажку и побежал в сад. Ширхан лежал на спине, закинув руки за голову. Я наклонился, заглянул ему в лицо: спит или не спит?

– Чего тебе?

Я развернул зажатую в кулаке ассигнацию.

– Окуда у тебя деньги? – он сразу сел.

– Тебе принес. Возьми, купи новую одежду. Ширхан взял ассигнацию, повертел в руках...

– А кто тебе ее дал?

– Никто... Я сам... У бабушки под тюфяком взял. У нее много! Хочешь, еще принесу?

Ширхан задумчиво оглядел бумажку.

– Отнеси на место, – сказал он, протягивая ее мне. – Не нужны мне ворованные деньги.

– Почему ворованные? – неуверенно возразил я. – Это же бабушкины. А бабушка моя.

Ширхан усмехнулся.

– Но раз бабушка не знает, что ты взял деньги, значит, ты их украл. Иди положи на место. Быстрее! – И добавил, вздохнув:

– Ты хороший мальчонка, но только знай: мы люди бедные, но воров и жуликов у нас в роду не водилось!

Он взял меня на руки, поднял и поставил на землю.

– Давай быстрее. Не положишь на место, бабушке пожалуюсь!

Глубоко униженный, я поплелся класть деньги обратно. И тут меня застала бабушка.

– Это что такое? Зачем деньги брал?

– Посмотреть...

– Не ври! Кто подучил деньги взять? Ширхан?

– Нет! – крикнул я. – Никто не учил!

– Ну хорошо, – бабушка под села ко мне. – Воровать никто не учил. А кто сказал, пойдешь возьми у бабушки деньги? Гюллю?

– Не-е-т! – снова закричал я.

– Ширхан?

– Нет! Нет! Нет!..

– У-у, суннитский выродок!.. Наверняка этот сукин сын амшари (так называли у нас азербайджанцев с той стороны Аракса) подучил ребенка!..

В окно мне было видно, что Ширхан стоит, опершись о колонну, и слушает наши голоса.

– Я же сказал: никто меня не подучивал! – В последний раз выкрикнул я и зарыдал.

– Ладно, ладно!.. – бабушка сразу смягчилась. – Садись, поешь...

– Не хо-о-чу! – всхлипывал я, вытирая слезы ладонью.

– Ишь ты, суннит хвостатый! – разозлилась бабушка. – Обиделся! Нежный какой!..

Сердясь на папу, бабушка обычно называла его «хвостатый суннит». Как-то раз я не утерпел и спросил Гюллю, правда ли, что у суннитов бывают хвосты. Гюллю расхохоталась и сказала: конечно, бывают. Точно, как у козлов.

Осмотревшись по сторонам, я незаметно взял бабушкин мундштук и сунул под диванную подушку. Я всегда что-нибудь прятал у бабушки, когда она ругала папу «хвостатым суннитом» – очки, платок, мундштук – и с наслаждением хихикал, видя, как она в гневе швыряет все подряд, отыскивая пропажу. И, конечно, бабушка тотчас хватилась мундштука.

– Гюллю! Эй, Гюллю! Опять эта проклятая штуковина подевалась куда-то! Гюллю! Гюллю!

– Какая штуковина, ханум? Мундштук или очки?

– Мундштук, чтоб он сгорел! Это все джинны, Аллахом проклятые! Их рук дело! – ворчала бабушка.

Я рассмеялся. Гюллю, хохотушка от природы, тоже залилась смехом.

– Чего ржешь, кобыла?! – набросилась на нее бабушка. – Мальчик смеется, так он дитя, а тебя кто щекочет?!

Гюллю притихла и, посмеиваясь исподтишка, стала искать мундштук. Нашла.

Бабушка свернула папиросу, закурила...

– Не хочешь есть, отправляйся домой, – она не глядела на меня. – Каждый хвостатый суннит будет тут мне капризничать!...

– Ханум! – Гюллю ласково взглянула на меня. – Он же хороший мальчик. И нет у него никакого хвоста. Какой может быть хвост, раз мать шиитка?..

Я молча подсел к скатерти, раскинутой на топчане в коридоре. Гюллю принесла казан с долмой. Бабушка положила себе и мне в тарелки.

– Забери остальное, – сказала она. – Сама поешь и Ширхана накорми.

Гюллю забрала казан. Бабушка полила мне долму катыком с растертым в нем чесноком.

– Прочти молитву и ешь!

Я почему-то всегда стеснялся вслух повторять молитвы, которые читала бабушка, я твердил их про себя, не понимая смысла. А бабушка утверждала, что стоит произнести «Бисмиллах!» – «С богом!», как разбегаются все джинны.

Я торопливо поел, вскочил и побежал в комнату, где жил Ширхан. Он сидел на войлоке и ел долму.

– Пей. Вода свежая. – Гюллю поставила перед ним воду в медном кувшине. И сказала, указывая на тарелку. – Хочешь еще? Там осталось.

– Хватит, – ответил Ширхан как-то особенно мягко, – сама поешь.

Гюллю поглядела на него пристально, печально – я впервые видел у хохотушки Гюллю такие глаза, – глубоко вздохнула и молча ушла.

– Правда, она хорошая? – спросил я, когда Ширхан кончил есть.

– Это как? – Ширхан удивленно взглянул на меня.

– Тебя очень любит.

– Почему любит? Как? Это что – ханум сказала?

– Нет... Она вообще хорошая, Гюллю... Только вот руки мылом пахнут!

– Что делать, братик? – Ширхан улыбнулся. – Она же прислуга. Духи, как у твоей мамы, ей не положены.

Мне почему-то опять стало неловко, я нахмурился.

– А хорошо, если бы все были богатые, правда? – спросил я, помолчав.

– Пока есть падишахи, не могут все быть богатыми, – со вздохом сказал Ширхан.

– А почему?

– Да потому, что падишах только богачей привечает: ханов, беков, а из простого народа кровь сосет!

– Зачем? – снова изумился я. – Что ему сделал простой народ?

– Ничего он ему плохого не сделал, все плохое только от падишахов. – И, помолчав, добавил, словно бы говоря сам с собой: – Вот русские сбросили своего с трона, придет день, и наш дождется. Скинут с трона иранского шаха, мы тогда отомстим за себя!

– Кому?

– Кто нас обездолил. Рабами сделал! С родной земли выгнал!.. Ладно, братик, мал ты еще, не поймешь. – Ширхан встал. – Жара спала, пойти деревья полить...

Он стал поливать деревья, лопатой отводя от пересекающего сад арыка небольшие ручейки к деревьям. Я смотрел, как сухая земля всасывает воду, думал о том, как сосут кровь у народа падишахи, и они представлялись мне похожими на пиявок, которых прикладывают больным, чтоб отсосать лишнюю кровь, – я видел раз, как ставили пиявок, – и содрогался от отвращения. Я смотрел на поблескивавшую в ручейках прозрачную воду, текущую меж молодой свежей травы, и видел перед собой страшного падишаха Зоххака, чей зловещий облик запал мне в память из какого-то маминого рассказа. Тот страшный Зоххак поклонялся змее и, чтоб заслужить змеиную дружбу, кормил ее мозгами грудных детей. Но в маминых сказках жили и другие, добрые падишахи, и я сказал Ширхану:

– Наверное, ваш падишах очень плохой.

– Эх, братик, – ответил он мне, не переставая орудовать лопатой, – будь проклята и белая змея, и черная! Все они сукины дети!

Это мне уже не понравилось – так говорить обо всех шахах!.. Задумчиво похлопывая прутиком по высокой траве, я пошел к бабушке Фатьме.

– Нашел у человека слабое место и пользуется... – бормотала она, уставясь в одну точку. – Все вытянуть готов... Все, что тот ни добудет... Совесть ни на грош...

Я постоял, послушал. Я знал, что бабушка ругает дядю Айваза...

– А падишах у людей кровь сосет, – заявил вдруг я. – А ты говорила, падишах самому Аллаху друг. Какой же он друг, если кровь человеческую сосет?!

– Это ты откуда же взял?! – Бабушка изумленно воззрилась на меня.

– Ширхан сказал. Все падишахи – сукины дети!

– Ничего себе! – Бабушка хлопнула себя по коленям. И словно обращаясь не ко мне, а к кому-то третьему, находящемуся в комнате, сердито сказал: – Правду говорят, не жди от сироты кротости! Эй, парень! – крикнула она в сад.

Ширхан подошел.

– Занимайся своим делом, а ребенку голову не забивай! Что там у тебя за вражда с падишахами?

Ширхан не ответил, взглянул на меня и чуть усмехнулся, но от этой едва заметной усмешки мне стало не по себе. И чувствуя, что опять я виноват, я выкрикнул плачущим голосом:

– Ширхан правильно говорит! Скинули русские своего падишаха Николая! Значит, было за что!

Тут ко мне подошла дедушкина легавая по кличке Гумаш, ласково повилыла хвостом, обнюхала мою рубашку, руки, и я сразу забыл свою вину. Но Гюллю, снимавшая с веревки белье, наклонилась и чуть слышно сказала:

– Нехорошо быть доносчиком.

И опять меня охватил стыд, и я не знал, что ответить. А Ширхан с той поры уже не вступал со мной в разговоры, коротко отвечал: «да», «нет», и мне было горько, и я все раздумывал, что бы такое сделать, чтобы вернуть доверие Ширхана. Но он даже не называл меня больше «братик», а если нужно было позвать, окликал по имени.

... Когда мы оставались вдвоем, бабушка по большей части беседовала сама с собой, и почти всегда об одном и том же: как дядя Айваз обирает дедушку Байрама, какая у него плохая жена, а еще о моем отце и о его матери с потрескавшимися пятками. И мне постоянно казалось, что бабушка к кому-то взывает, обращается к кому-то, видит кого-то перед собой. В тот вечер, заметив, что она опять бормочет свое, уставившись в одну точку, я спросил:

– Бабушка, ты с джиннами разговариваешь?

– Бисмиллах! – вздрогнув, произнесла бабушка. – Бисмиллах! – И сердито крикнула: – У, сын хвостатого! На ночь глядя проклятых джинов поминать!..

– Бабушка, а ты их видела когда?

Бабушка снова произнесла «бисмиллах!» и стукнула меня по руке веретенном.

Я ночевал у бабушки, и как всегда, когда дедушки не было, спал на его кровати. Заперев дверь, бабушка заглянула под одну кровать, под другую...

– Чего это ты? – спросил я, удивленно глядя на бабушку.

– Чего, чего... Знаешь, сколько у дедушки врагов? Спрячутся под кроватью, а ночью вылезут да головы нам отрежут!

– А какие у него враги, бабушка? – Я сел и испуганно поджал под себя ноги.

Бабушка погасила свет.

– Откуда я знаю, какие враги, – проворчала она, устраиваясь на кровати. – Мало ли на свете мерзавцев.

Потом она шепотом произнесла молитву и, как всегда, стала просить Аллаха: «Убереги, Аллах, дитя мое от горестей и напастей...»

Я знал, что когда она говорит «дитя мое», она думает о Нури. В своих молитвах бабушка никогда не упоминала ни мамино имени, ни имени Джалила – сына от первого мужа, я даже понятия не имел, где он, что с ним. Иногда, правда, она просила Аллаха позаботиться об «ее детках», но сюда уж, наверное, входили все, даже мы, внуки. Я повернулся на бок, теперь мне виден был сад. Было тихо и светло от луны. Иногда меж деревьями мелькала Гумаш и тотчас же исчезала. Сейчас в полной тишине река, казалось, журчит совсем близко. Бабушка вскоре начала похрапывать, а меня, как это случалось всегда, когда я спал в одной комнате с мамой или с бабушкой, сразу же охватило чувство одиночества: казалось, что я совсем-совсем один на свете.

Грустный и одинокий, глядел я в окно и вдруг увидел Гюллю; держа в руках что-то белое, она настороженно огляделась по сторонам и потом быстро скользнула в комнату Ширхана.

Я догадался, что в руках у нее белеет его рубашка, Гюллю обещала принести ее вечером. Вот только почему она крадется, как вор?.. Я стал ждать, когда Гюллю выйдет обратно, но не дождался – сморил сон...

Проснувшись утром, я сразу вспомнил Гюллю и Ширхана. Я лежал и думал об этом, чувствуя, что в тайном посещении женщиной комнаты чужого мужчины есть что-то нехорошее, постыдное. И почему-то я ощутил враждебность к смешливой краснощекой Гюллю с ее пахнущими мылом руками.

Когда Гюллю сняла с плеча большой медный кувшин, в котором принесла воду из кягриза, мне показалось, что она гораздо красивее, чем вчера: щеки у нее пылали, глаза блестели.

– Иди, милый, полью тебе свежей водички! – сказала она мне, приветливо улыбаясь.

– Не надо, – сказал я, насупившись.

– Ты что – шайтана во сне видел? – Гюллю расхохоталась.

– Это ты ночью шайтана видела! – выкрикнул я.

– Нет, милый, я ангела видела! – И она снова расхохоталась.

Я в ярости схватил с земли камень и бросил, стараясь попасть ей в ногу. Гюллю ловко отскочила, потом подбежала ко мне, схватила, стиснула и начала целовать в щеки.

– Чего ты его мнешь, как медведица? – прикрикнула на нее бабушка Фатма и усмехнулась.

– Так бы его и съела! – Гюллю последний раз стиснула меня, хотела чмокнуть, но я вырвался и убежал.

После завтрака я подошел к Ширхану, поливавшему сад.

– Как думаешь, – спросил он, – можно кидать камнями в женщину? – И холодно взглянул на меня.

– Гюллю плохая, – набычившись, ответил я.

– Плохая? Это почему ж? Мылом пахнет? – Он, видно, не придавал значения моим словам.

– И мылом... И хватает человека, как медведица. Чмокает, чмокает!..

– Но целовать – это не так уж плохо... – Он чуть заметно усмехнулся и стал направлять воду на грядки огурцов с распустившимися желтыми цветочками.

– А зачем она к тебе ночью приходила? – вдруг спросил я. Ширхан выпрямился.

– Откуда ты взял?

– Видел! Быстренько, быстренько... И прямо к тебе!

– Бабушка тоже видела? – голос у Ширхана дрогнул.

– Нет. Бабушка храпела.

Ширхан смотрел на меня испуганно. Он побледнел, и я, не понимая в чем дело, на всякий случай сказал:

– Я бабушке не говорил.

Он облегченно вздохнул, словно только что перенес тяжелую ношу, присел возле грядки и сказал, не глядя на меня:

– Она мне рубашку стирала, ты ж видел – высушила и принесла.

– А почему ночью, когда все спят? И все по сторонам оглядывалась, будто вор какой?..

Ширхан молча посмотрел на меня долгим пристальным взглядом.

– Вот что, братик. Я здесь один, на чужбине... Прошу тебя, никому про это не говори.

– А что будет?
 – Плохо будет, если расскажешь. Очень плохо. Не говори.
 – Будь спокоен, – сказал я, растроганный его испугом и тем, что он, такой большой, признался мне в своей беззащитности. – Никто не узнает.
 – Вот и хорошо! Главное – мужчина должен слово держать. Вот кончу поливать огород, ружье тебе выстругаю.

Я был счастлив: Ширхан говорил со мной, как равный, и даже назвал мужчиной.

... После обеда бабушка, по обыкновению, прилегла на топчан отдохнуть, а я оседлал коня, вырезанного Ширханом из деревяшки, и с «ружьём» на плече, с «мечом» в руках скакал меж деревьями. Гумаш гонялась за мной. Я был то Гачаг Наби, то гачаг Сулейман, я разил врагов, настигал их, продираясь сквозь заросли... И тут вдруг услышал за кустами негромкие голоса. Испугавшись, я натянул поводья «коня» и метнулся было к дому, но вовремя вспомнил, что храбрецы не ведают страха, взмахнул «мечом» и стал натравливать Гумаш на тех, кто прятался за кустами.

Почувяв чужого, Гумаш с яростным лаем бросалась на шорох, но сейчас она только равнодушно повела головой, не обращая внимания на мое науськивание. Тогда я немножко прошел вперед и, пригнувшись, осторожно выглянул: Ширхая и Гюллю сидели рядышком в густом кустарнике. Гюллю держала руку Ширхана. Ширхан что-то сказал ей, она прижалась к нему, крепко поцеловала и поднялась. Он тоже встал. Гюллю была рослая женщина, но Ширхан был намного выше. С криком: «Гей!» я выскочил из кустов:

– Как смели вы войти в сад королевы фей?! Отвечайте! – Гюллю расхохоталась и, конечно, опять сграбастала меня.

– Пусти! – кричал я, барахтаясь в ее руках. – Обязательно ей всех целовать!..

– Кого ж это я еще целую? – спросила она, опустив меня на землю.

– А вон его! Не целовала, да?

Против обыкновения, Гюллю не расхохоталась, наоборот, вздохнула.

– Ну и что? Ну и поцеловала. Ведь он у нас сиротинушка: ни матери, ни сестры, кто ж его поцелует?..

Я был еще сердит на Гюллю, но слова ее меня убедили. И правда, кто ж его поцелует? Я тронул «коня» и ускакал.

ПРИЕЗД ДЯДИ НУРИ. КАК МАМИН ДВОЮРОДНЫЙ БРАТ АХМЕД УБИЛ ТРОИХ ЖЕНЩИН

На следующее утро прибыл дядя Нури на тройке фаэтонщика Габиба. Едва Габиб отвязал от задка фаэтона дядины чемоданы, подбежал Ширхан: «Добро пожаловать, ага!» – взял чемоданы и понес их в дом.

Фаэтонщик Габиб поздоровался с бабушкой, взглянул на меня, улыбнулся, достал из кармана конфету в красивой обертке, дал мне, а дяде Нури сказал:

– Все, бек. Удаляюсь.

Дядя Нури раскрыл лаковое портмоне, протянул ему деньги. Габиб, не считая, сунул бумажки в карман.

– Да будет над вами благословение Аллаха! – сказал он, влезая на козлы.

Дядя Нури, высокий и светлоглазый красавец, с кудрявыми волосами и тонкими в ниточку усиками, был уже не в гимназической форме. На голове у него красовалась дорогая серебристая бухарская папаха, на ногах хромовые сапоги. Рубашка тонкого сукна перетянута была кавказским ремнем с золотой пряжкой. Талия у дяди Нури была такая тонкая, будто он никогда ничего не ел.

– Ну, ты уже совсем большой парень... – удивленно сказал он, не поздоровавшись ни с кем, даже с собственной матерью, и спросил, улыбнувшись мне: – Как Ягут?

– Хорошо... – проговорил я, не в силах оторвать от него глаз. «Вот какой у меня дядя!..» – хотелось мне крикнуть.

Дядя Нури снял папаху, швырнул ее на топчан, где как всегда сидела бабушка, и спросил небрежно:

– Отец приехал?

– Нет, не отпустили его, – ответила бабушка почему-то виноватым голосом. – Сказали: уедешь – такое начнется!..

Сейчас я впервые ощутил в поведении бабушки что-то необычное. Казалось, она побаивается Нури, заискивает перед сыночком, которому день и ночь вымаливала благословение Аллаха. С приездом дяди бабушка как-то сникла, стала тихой, смущенной. Дядя же обращался с ней с непонятной мне небрежностью. Мне стало жалко бабушку, и я сердито поглядывал на дядю.

Ширхан тоже помрачнел с приездом дяди Нури. А Гюллю бегала взад-вперед: то готовила чай, то подметала двор, то щипала кур... Я чувствовал, что она изо всех сил старается угодить, понравиться дяде Нури, и это почему-то злило меня.

– Что-нибудь найдется поесть? – спросил дядя Нури, не глядя на бабушку.

– Бозбаш поставили варить, – ответила она, заискивающе глядя на дядю. – Но если хочешь, скажи, еще что-нибудь сготовят...

– Да... Пусть парень поймает пару цыплят. Я хочу чихиртму. Только без яиц.

Дядя ушел в гостиную, а я, украдкой заглядывая в окно, наблюдал за ним. Он расстегнул ремень, снял суконную рубаху и, остановившись перед зеркалом, стал внимательно разглядывать себя. Взял ножнички, аккуратно подстриг усики...

– Гюллю! – бросил он, не отводя глаз от своего изображения. – Приготовь воды, умываться буду!

– Вода готова! Только что принесла свежей.

Под большим ореховым деревом Гюллю стала поливать ему из медного кувшина, и дядя Нури, взбивая пышную пену, намыливал лицо, шею, грудь...

Ширхан, погнавшись за курами, поймал пару молодых петушков и зарезал их. Дядя Нури умылся, насухо вытерся и набросил полотенце на плечо Гюллю. Гюллю улыбнулась ему в ответ, и я, инстинктивно восприняв эту лукавую женскую улыбку как выпад против Ширхана, рассвирепел.

Пришла мама, ведя за руку мою сестренку, и еще издали улыбнулась брату:

– С приездом!

Дядя, тоже улыбаясь, пошел ей навстречу, ласково поворошил волосы девочке, добрым взглядом окинул маму...

– А ты прекрасно выглядишь, Ягут, не сглазить бы!

Ширхан вытащил на веранду стол, Гюллю накрыла его белоснежной скатертью, и пошел разговор о том, о сем... О свержении царя Николая, о взрыве большого военного склада, о родственниках бабушки Фатьмы, живущих в Шуше. Мама долго смеялась, когда дядя Нури рассказал ей, как в Шушу к нему приезжал один из бабушкиных племянников – Агакиши, выбрался из непроходимых сальянских лесов, чтобы повидаться с родственником. Я знал дядю Агакиши, – это был нескладный, косоглазый, постоянно улыбающийся парень с огромным крючковатым носом.

– Напялил я на него один из своих костюмов, – рассказывал дядя Нури, – на шею бабочку, на башку шляпу и втроем – еще был один мой приятель, грузин – отправились в ночной клуб. У меня там девицы знакомые, подучил одну, чтоб поласковее была с Агакиши. Подходит она к нему, полуголая, начинает заигрывать, а тот только зубы скалит, носом своим длинным то в одну, то в другую сторону!.. А она возьми да и плюхнись к нему на колени! Обхватила голыми руками за шею, давай в нос целовать!.. Убежал, представляешь? Вырвался от нее и умчался, как дикий бык! Смеху было!... Даже аплодировали!..

Мама хохотала от души. А бабушка, собственноручно готовившая во дворе чихиртму, делала вид, что не слышит – как-никак Агакиши приходился ей родственником. Во всяком случае Гюллю, стоявшая рядом с бабушкой, все слышала и смеялась. А я не смеялся. Я представлял себе, как стыдно, как неловко было Агакиши, когда чужая женщина целовала его в длинный нос, и мне было жалко парня.

Гюллю разложила на столе тонкие лепешки, сыр из овечьего молока, масло, зелень и принесла тарелки с чихиртмой.

– Подсаживайтесь ближе! – сказал дядя Нури маме.

Но мы с мамой есть не стали. Тогда бабушка посадила за стол мою сестренку и стала кормить ее. Дядя Нури с его тонкой талией ел за троих. И очень быстро жевал, будто спешил куда-то.

– Ты был в Шуше, когда Ахмед убил бабушку Ханум и еще двоих? – вдруг спросила мама, глядя, как дядя Нури аппетитно похрустывает.

– Конечно! – промычал он, впиваясь зубами в нежное мясо. Усмехнулся и, понизив голос, наверное, чтоб не слышала бабушка Фатма, добавил: – Я ему за день до того пистолет продал. Из него он и бабахнул!

– Правда? – испуганно спросила мама.

Не переставая жевать и улыбаться, дядя Нури утвердительно кивнул головой.

Ахмед был пленником бабушки Фатмы, младшим сыном ее сестры. Он учился в гимназии вместе с дядей Нури и был влюблен в Мину, свою двоюродную сестру, дочь бабушкиного брата. Это был тощий, дерганый, нервный парень. Как-то в сердцах он выстрелил в своего старшего брата, и тот лишь по случайности остался жив – пуля прошла мимо сердца.

А убийство случилось так. Ахмед пришел в гости к дяде Мехти, отцу злосчастной Мины, и еще в саду увидел, что на веранде сидят три женщины: мать бабушки Фатмы, бабушка Ханум, старшая жена Гаджи Ахунда десятипудовая Ясемен-ханум и мать Мины тетя Сенем. Они сидели на веранде, заворачивали долму и беседовали. Входя по лестнице, Ахмед услышал, что говорят о нем, и притаился. «Ахмед психованный, – сказала бабушка Ханум. – Нельзя за него Мину выдавать». Две другие женщины согласились с ней – да, да, психованный. «Да и потом, зачем – Ахмед? Он и так нам родня. Девушку надо выдать за сына Гаджи Башира: и парень умница, и богатства выше головы».

Ахмед поднялся на веранду, достал пистолет и тут же уложил всех троих.

– И зачем только ты ему пистолет продал? – мама огорченно вздохнула. – Знал ведь, что парень не в себе. Погибла бабушка...

– Ну... Я же не знал... Думаешь, мне не жалко старуху? – Дядя Нури все еще не переставал жевать. – Попросил, а у меня как раз деньги вышли...

– Деньги у тебя не задерживаются...

– Э-э, Ягут... – с горечью произнес дядя Нури, вытирая губы белоснежным полотенцем. – Знала бы ты, как швыряются деньгами настоящие богачи!.. Видела бы, как развлекаются сыновья Джавад-бека, Солтан-бека!.. Пожалела бы своего братишку! – И дядя Нури откинулся на подушку, заложив руки за голову.

– Позови холопа, пусть сапоги стащит, – велел дядя Нури Гюллю.

– Давай я сниму, – предложила Гюллю.

– Делай, что сказано! – резко ответил дядя.

Гюллю побежала в сад.

Я знал, что дядя Нури велел позвать Ширхана. У нас все, и мама, и отец называли слуг «холопами», но ни у кого это слово не звучало так презрительно, как у дяди Нури.

Пришел Ширхан, ни на кого не глядя, молча стащил с дяди сапоги. (Чтобы сапоги красивее облегли ногу, дядя заказывал какие-то особенно узкие голенища.) Немного погодя Ширхан вернулся с чисто вытертыми сапогами и поставил их возле топчана, на котором лежал дядя.

– Не нравится мне это амшаринское быдло... – дядя бросил вслед Ширхану недобрый взгляд.

– Почему? – удивилась мама. – Вроде неплохой парень.

– Глаз от земли не поднимает. Такие себе на уме.

Я не понял, почему Ширхан не понравился дяде. Он так почтительно снял с него сапоги, так чисто вытер их... А сам носит дырявые чусты...

Но про сапоги и про Ширхана я думал недолго. У меня не выходило из головы: почему у дяди Нури было такое спокойное лицо, когда он похрустывал цыплячьим крылышком, рассказывая про убийство женщин. Ведь одна из них была бабушка Ханум, его родная бабушка, бабушка моей мамы!.. Да и мама, и бабушка Фатма как-то уж слишком невозмутимо выслушивали этот рассказ, и дядина ухмылочка почему-то не возмущала их. Меня же не просто удивило, потрясло все это. Впервые, еще не очень задумываясь, не пытаюсь осмыслить, я почувствовал, как в сущности далеки друг от друга эти близкие родственники. Когда дядя Нури рассказывал об убийстве женщин, у него было такое же лицо, как в тот момент, когда он смотрел на цыпленка, трепыхавшегося под ножом Ширхана. Мне было не по себе...

Теперь, когда в дедушкином доме жил дядя Нури, мне уже не хотелось оставаться там ночевать, и я пошел с мамой домой.

ДЕДУШКА ЭФЕНДИ И ПЯТИЗАРЯДКА

Когда мы пришли, Зинят доложила маме, что приехал Абдулла-Эфенди со своим слугой, что коней они поставили в конюшню и с моим отцом отправились в город.

На веранде лежал цветастый хурджин, рядом с ним прислонена была к стене пятизарядная винтовка. Хурджин принадлежал дедушке Эфенди, это я знал, но винтовка?.. Дедушка Эфенди был благообразный седобородый мужчина, он когда-то учился в Стамбуле и был одним из самых почитаемых суннитских священнослужителей в южной части Карабаха.

– Чья это винтовка? – спросил я. – Дедушкиного слуги?

– Нет, – сказала Зинят. – Это его.

Я удивленно взглянул на мать.

– Мама! Зачем дедушке ружье?

– У них в селе вражда пошла между дедушкиными людьми и людьми Гаджи-вели, вот он и не решается выезжать без оружия.

– А если повстречаются враги, дедушка Эфенди будет стрелять?

– Конечно!

– Такой старый?!

– Он хоть и старый, но очень бодрый мужчина.

Вскоре в сопровождении моего отца и нескольких молодых односельчан появился дедушка Эфенди. В чохе из темной шерсти, в длинном архалуке, подпоясанном белым шелковым кушаком, в высокой каракулевой папахе и штиблетах, он совсем не похож был на восьмидесятилетнего старика.

– Здравствуй, детка! – сказал дедушка Эфенди и поцеловал меня, потом сестренку. Его слуга уже стоял наготове на верхней ступеньке лестницы с медной афтафой в руках. Дедушка Эфенди снял чоху, носки, вымыл ноги, совершил омовение и, пройдя в комнату для гостей, расположился на коврик для намаза. Мама велела нам не шуметь, не мешать дедушке.

Я стоял под окном и смотрел, как дедушка молится; и хотя мне неведомо было, какие слова молитвы он произносит, бормоча себе под нос, в спокойном просветленном его взгляде, устремленном в потолок, во всем его лице, освещенном белой, как снег, бородой, было что-то таинственное... «Дедушка беседует с Аллахом... – думал я. – Но бабушка Фатьма говорит, что Аллах невидим, зачем же он все время смотрит вверх, когда творит молитву?..»

Еще я никак не мог взять в толк, почему бабушка Фатьма, молясь, опускает руки вдоль тела, а дедушка Эфенди складывает их на груди. Какой в этом смысл? И почему он, такой старый, без конца нагибается и выпрямляется?

Потом дедушка Эфенди уже вслух приятным умиротворенным голосом прочитал суру из Корана, провел, как положено, рукой по лицу, поднялся с ковра и сел на шелковый тюфячок. Подошел папа и присел рядом. Дедушкин слуга проворно вынул из хурджина белую скатерку, расстелил ее перед дедушкой, достал стаканчик-армуды, налил из самовара, пофыркивающего в том конце веранды, крепкого чаю и поставил перед дедушкой. Разговаривая с моим отцом о том, о сем, дедушка Эфенди выпил два стаканчика, после чего слуга, ни о чем дедушку не спрашивая, достал из хурджина дрожжевой хлеб, отварную курицу, яйца, сыр и разложил все это на скатерке.

Я много раз видел, что, приезжая к нам, дедушка Эфенди ничего не ест в нашем доме. Потому что мама – шиитка. Мама моя была очень чистоплотна, и я никак не мог взять в толк, почему дедушка брезгует есть то, что она готовит. И маму, и дедушку Эфенди создал один и тот же Аллах, почему же она кажется ему нечистой? Самое странное, что мама нисколько не обижалась на дедушку, считая его поведение вполне в порядке вещей. Еще удивительно было мне видеть, как вел себя папа в присутствии своего дяди: он не курил, не повышал голоса, всячески старался услужить...

Прислушиваясь к разговору, я понял, что с падением царя Николая и с наступлением «свободы» кровная вражда в нашем селе достигла небывалого ожесточения. Перестрелки между враждующими родами стали настолько частыми, что опасно было выйти на улицу. Убивают друг друга и из-за угла, и в открытую. Сколько ни старается дедушка Эфенди примирить враждующие стороны, ничего добиться не может. Дошло до того, что за любой покупкой, за каким-нибудь чаем-сахаром Эфенди вынужден ехать сам, сыновей посылать опасается.

Дедушка и отца предупредил, чтоб тот тоже держался настороже, особенно, чтоб не сидел вечером на освещенной веранде.

Утром папа, не разрешив дедушке самому отправиться на базар, купил ему все, что нужно, и дедушка Эфенди поблагодарил маму, распрощался со всеми и отбыл.

Я тотчас побежал к бабушке Фатьме. Бабушка сидела на своем крытом ковром топчане и печально смотрела прямо перед собой, забытый мундштук дымился в ее руке. Чего ж она такая печальная? Приехал дядя Нури, о котором она день и ночь возносила молитвы Аллаху. Может, она и рада, только стесняется показать? Почему она вообще стесняется собственного сына? Все время вроде боится чего-то...

Дяди Нури дома не было. Ширхан возился в огороде, Гюллю прибирала в доме. Вдруг на веранду поспешно взошел дядя Нури и, не обратив на меня внимания, велел бабушке дать ему денег. Она вынесла две бумажки.

Мало! – сказал дядя. – Еще неси!

Бабушка принесла еще такую же бумажку.

– Что ты мне по копейке бросаешь? – напустился на бабушку дядя Нури, выхватывая у нее деньги. – Давай еще!

Бросив матери несколько резких слов, дядя Нури ушел.

Это все так подействовало на меня, что я долгое время не смел поднять глаза на бабушку. Она сидела на топчане, покуривала, глубоко и часто затягиваясь, и выражение лица у нее было отсутствующее. Я пошел в сад к Ширхану.

– Чего дядя шумел? – спросил он, равнодушно взглянув на меня.

– Денег у бабушки требовал, – тихо ответил я, почему-то чувствуя себя виноватым.

Ширхан промолчал.

– А на что ему деньги? – спросил я. – Еды у него полно. Одежда тоже есть всякая.

– Да... – Ширхан глубоко вздохнул. – Денег ему никаких не хватит... Только тебя это не касается. У тебя свои заботы. Скажи отцу, чтоб купил карандаш и тетрадь, буду учить тебя грамоте. Хочешь научиться писать?

Я ничего не ответил Ширхану, ушел, на сердце было скверно, обидно было за бабушку... Не смея подойти к ней, я лишь издали поглядывал на старушку; она курила одну папиросу за другой и разговаривала сама с собой.

– Иди домой, – не глядя на меня, вдруг сказала бабушка. – Поздно уже.

Бабушка никогда не прогоняла меня так грубо, но сейчас я не обиделся на нее. Я понимал, дело в том, что приехал дядя Нури, и бабушка знает – мне не по себе у них.

Придя домой, я все рассказал маме.

– Сама виновата! – в сердцах сказала мама, расстроенная моим сообщением. – Давно пора все рассказать отцу! Зачем она его покрывает? Твердишь, твердишь: меньше балуй парня! Отцу скажи – найдет на него управу. Без толку – в одно ухо влетает, из другого вылетает!

– Бабушка боится дядю Нури, – сказал я.

– Еще бы ей не бояться! Так распустить мальчишку!.. Вас надо с малых лет в узде держать!

А может, отец потому и строг со мной, что не хочет, чтоб я стал, как дядя Нури? Держит меня в узде? Но я же ничего такого не делаю. Разве мог бы я кричать на свою маму? Мама никогда не баловала, не ласкала меня, но все равно я знал, что она меня любит и не было для меня человека дороже. Любил я и дедушку Байрама, но того я не видел месяцами, а без мамы не мог бы, кажется, прожить и пяти дней. А мама все чаще болела. Зинят накрывала ее всеми одеялами, что были в доме, и все равно маме было холодно – ее всю трясло... Потом лицо ее покраснело, глаза блестели, иногда она бредила с открытыми глазами, и ничего тягостнее таких моментов не было в моей жизни. Забившись в угол, я сквозь слезы смотрел, как мечется в жару мама, и старался, чтобы никто, прежде всего отец, не увидел моих слез...

ДОКТОР ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

Доктора Ивана Сергеевича я очень любил – он лечил. Не зря про него говорили – у доктора легкая рука. Стоило ему появиться в доме, маме становилось легче.

Иван Сергеевич был приветливый мужчина с небольшой русой бородкой. Он давно жил в Карабулаке и свободно говорил по-азербайджански. Дедушка Байрам давно познакомился с ним, и Иван Сергеевич лечил и Нури, и мою маму, когда они были маленькими, и бабушка Фатма считала его своим человеком в доме. Приходя, доктор Иван Сергеевич всегда приносил нам с сестренкой гостинец. И когда на праздники в доме пекли сладости, мама всегда посылала угощение доктору; если из Курдобы привозили дичь или джейрана, мама тоже посылала доктору казан с пловом.

Осмотрев маму, доктор Иван Сергеевич обычно говорил, что ничего страшного нет и она скоро поправится. Я готов был прыгать от радости. Я верил доктору, потому что мама всегда поправлялась после его посещений, а еще я любил его за то, что, глядя на меня сквозь очки, он улыбался и говорил маме: «Ну и умные же глазенки у вашего мальчугана!»

Такой похвалой я особенно дорожил, потому что папа считал меня недотепой и никогда не говорил, что у меня умные глаза.

В первые дни после свержения царя Иван Сергеевич пришел к нам взволнованный и попросил отца помочь ему выехать в Россию.

– Зачем это вам? – удивился папа.

– Ну... Народ очень озлоблен против царя. А я – русский...

– И что только вы говорите! – прервал его отец. – При чем тут царь? И потом царя не мы свергли – русские! – Папа улыбнулся.

– И правда, откуда у вас эти мысли, доктор? – мама укоризненно покачала головой. – Вы же знаете, тут вас все любят, как родного!

– Я понимаю, но... – доктор растерянно улыбнулся. – Вдруг... – Он глубоко вздохнул.

– Если хотите, переселяйтесь к нам, – предложил папа. – Но вообще вы беспокоитесь напрасно, никто вас и пальцем не тронет.

– Вы с бедняков денег не берете! – добавила мама. – И потом... Вы знаете здешних молокан – они же русские – а их даже гачаги не трогают, потому что никто от них не видел зла.

Я начал раздумывать, пытаюсь понять, почему вдруг доктор решил, что наши люди могут причинить ему вред? Конечно, я знал, у нас разная вера, ну и что?

Никак я не мог представить себе человека, который способен был бы обидеть Ивана Сергеевича. Спрашивать что-нибудь я, как всегда, не решался, а потому был очень рад, когда после разговора с моими родителями доктор вроде бы успокоился.

– Прошу вас, Иван Сергеевич, даже и не думайте! Никто вас пальцем не тронет!

В словах отца была непривычная теплота.

Доктор улыбнулся и стал прощаться.

КАК СБЕЖАЛИ ШИРХАН И ГЮЛЛЮ

Дядя Нури вернулся из города в прекрасном расположении духа.

– Гюллю, принеси воды! – крикнул он и, усевшись на стул на веранде, стал весело насвистывать.

Гюллю, видимо, не слыхала, дядя снова позвал ее. Гюллю появилась, но все видели, что выскочила она из комнаты Ширхана.

Дядя Нури пристально поглядел на служанку.

– Что ты там делала? – спросил он, помрачнев.

– Ничего... – испуганно пролепетала Гюллю и залилась краской.

– А этот... он там? – спросил дядя.

– Там! – почему-то вдруг осмелев, Гюллю взглянула дяде в глаза.

– Зови его! – сказал дядя Нури.

Гюллю не двигалась, глядя ему в лицо.

– Я кому говорю! – дядя Нури повысил голос.

Гюллю повернулась и пошла за Ширханом. Бабушка Фатьма медленно поднялась с топчана. Дядя Нури прошел в угол, взял палку, которой взбивают шерсть... С трудом переставляя ноги, на веранду поднялся Ширхан, он уже несколько дней горел в лихорадке, но не ложился, превозмогая болезнь. Бабушка не раз говорила ему, чтоб как следует отлежался, но, едва спадал жар, Ширхан сразу же принимался за работу. Тайком от дяди бабушка Фатьма давала ему хину.

– Ты что ж это, сукин сын, в нашем доме блудить надумал?! Для этого из Ирана явился? – И, не дожидаясь ответа, дядя Нури ударил Ширхана.

– Спаси Аллах! – в ужасе прошептала бабушка.

Ширхан, не мигая, смотрел на дядю Нури, а тот хлестал его палкой, куда попало. И тут Гюллю, стоявшая у стены, вдруг бросилась между ними.

– За что ты его?! – выкрикнула она. Дядя замер, удивленно вытаращив глаза.

– Отойди в сторонку, Гюллю, – невозмутимо сказал Ширхан. – Пусть господин остудит свой гнев.

– Не-е-т! – крикнула Гюллю. – Не-е-е-т!

С руганью дядя Нури набросился на женщину. Ширхан резким движением выхватил у него палку.

– Я терпел, когда ты избивал меня! Но это женщина!

Дядя метнулся в комнату, схватил маузер, взвел курок, но бабушка Фатьма, сорвав с головы платок, бросила его между мужчинами.

– Побойся Аллаха, сынок!..

На мгновение дядя вроде опомнился, но все равно, не появившись в тот момент мама, кто знает, что бы он мог сотворить...

– Нури! – мамин голос прозвучал резко. – Что случилось?

Дядя Нури не ответил, а я, не в силах совладать с волнением, бросился в сад. Ширхан сидел у арыка, уставившись на воду. Приблизиться к нему я не посмел. Но я не просто жалел Ширхана – то, как он смело вырвал палку у дяди Нури, восхищало меня: оказывается, этот скромный спокойный парень несколько не трусливей моего лихого дяди. Я искоса поглядывал на пожелтевшее, изможденное от лихорадки лицо Ширхана и думал, что, наверное, и Гачаг Наби, и гачаг Сулейман были такими же вот простыми крестьянскими парнями...

Бабушку Фатьму мне было очень жалко. «Побойся Аллаха!» – крикнула она и сдернула с головы платок, открыв свои седые волосы. Если б кому другому крикнула она эти слова, мне, может быть, не так было б страшно, но своему любимому Нури... На Гюллю я не сердился. Во-первых, она больше не тискала меня, а потом так храбро бросилась на защиту Ширхана, что мне вспомнилась бабушка Сакина, мать дедушки Байрама и Ханум, мать бабушки Фатьмы. Таковую же горячую кровь, способность в лихую минуту быть смелее мужчин ощутил я в хохотушке Гюллю. Если б она начала сейчас целовать меня, я, пожалуй, не стал бы отворачиваться. Но Гюллю в последние дни совсем не подходила ко мне.

Наутро, придя к бабушке Фатьме, я увидел, что та сама стирает дядины рубашки.

– А где Гюллю? – спросил я, удивленный.

Бабушка что-то буркнула себе под нос.

Оказалось, что Гюллю и Ширхан сбежали этой ночью. Дядя со своими приятелями обыскал все окрест, но не нашлось ни одного человека, который сказал бы, что видел беглецов.

Пусто стало в дедушкином доме. Мне теперь так не доставало Гюллю, ее веселого смеха, ее ласковых, пахнущих мылом рук. При мысли, что Гюллю и Ширхан никогда не вернуться, я готов был реветь. Я думал о них непрерывно. Впервые в жизни я видел, как бедные пошли против воли богатых. Я ощутил, что богачи несправедливы, и во мне все взбунтовалось. Страшно признаться, но я был против родного дяди, я был на стороне обездоленных. Обездоленные... А вот бабушка Фатма богата, она «ханум» – барыня, а ведь тоже обездолена – дядя Нури, который еще не бреет бороды, кричит на нее, и она отмалчивается, опустив голову. Почему?.. Ведь мама никогда не спускает отцу, если он начинает браниться: он – слово, она ему – два. И мне это нравилось.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НА ЭЙЛАГ. НАПАДЕНИЕ

Началась жара, и мама настаивала, чтоб мы поехали на эйлаг. Но все перекочевали еще весной, значит, семья наша должна была перебираться одна. Бабушка отказалась наотрез: дороги забиты гачагами. Правда, при дяде Нури бабушка не смогла упомянуть об опасности, понимала, что сын рассвирепеет – его храбрость и удалство ставились под сомнение. Но бабушка ничуть не сомневалась в удалстве своего Нури. Наоборот, именно оно-то и пугало ее больше всего. Мама настаивала, мама уверяла, что дедушку Байрама знают на сто верст вокруг, и нашей семье никто не причинит вреда, и бабушке Фатме пришлось уступить.

От городка, где мы жили, до эйлагов Курдобы было около трехсот верст. Кочевники, перегоняя скот и отары, одолевали тот путь дней за десять-двенадцать, но мы скот не гнали, нас везла впряженная в фаэтон тройка коней, а папа и дядя верхом ехали рядом. Под папой был рыжий жеребец, у дяди Нури – гнедой, кони молодые, резвые. Три патронташа перепоясывали дядину тонкую талию, на плече висела пятизарядная винтовка с коротким вороненым стволом, на боку – десятизарядный маузер. Папа же был в обычной своей одежде, и, хотя на поясе у него тоже висел револьвер, мне казалось, что ни револьвер, ни горячий жеребец совсем ему не подходят; я вообще никогда не видел, чтоб папа скакал верхом или стрелял из пистолета.

Ночевать мы остановились в доме старинного дедушкиного приятеля. Сам хозяин – владелец тысячных отар и табунов – вместе с односельчанами давно уже откочевал на горные пастбища, из его семьи никого дома не осталось, но старик со старушкой, оставшиеся приглядывать за домом, как и все вокруг, почитали дедушку Байрама, знали, что он дружит с их хозяином, и хорошо нас приняли. Зарезано было множество цыплят, несколько раз кипятили большой самовар, всем нам постелили шелковые постели на широкой веранде.

После завтрака мы двинулись в путь, и тут папа и дядя Нури заспорили, по какой дороге ехать. Дядя Нури настаивал, чтоб мы ехали по геянской дороге, она верст на сорок короче и места живописные, а папа утверждал, что в такую жару Геянская равнина раскалена, как адская сковородка, да к тому же в нынешнее ненадежное время наверняка кишит бандитами.

– Так бы и говорил! Бандитов боишься! – Дядя Нури кинул на папу презрительный взгляд. – И чего только пистолет прицепил? Он торгашу, как корове седло! – И, считая разговор оконченным, приказал фаэтонщику: – Езжай степью!

Фаэтонщик обернулся:

– Абдулла верно говорит: на равнине сейчас опасно...

– Рассуждать будешь! – заорал дядя Нури. – Всякий мужик в разговоры пускается!..

Труссы вы все! Все, как один!

Однако, ругая фаэтонщика, дядя Нури прежде всего имел в виду папу.

Зная крутой нрав дяди Нури, фаэтонщик молча свернул на равнинную дорогу. Отец галопом пустил коня по широкой дороге и вскоре скрылся с глаз.

Папа был прав: равнина Геян, тянувшаяся до самого Аракса, пылала огнем. Отливающие золотом змеи то и дело проскальзывали перед колесами фаэтона. Среди камней с разинутыми от зноя клювами дремали куропатки. Дядя сказал, что этой дорогой мы быстро доедем до армянского городка Горус, от которого рукой подать до эйлагов, но мы все ехали и ехали, а никаких признаков жилья видно не было. Во рту пересохло. Сестренка плакала, просила пить. Дядя Нури то и дело подносил к глазам бинокль и опускал его в растерянности. Мы заблудились. Вытирая со лба пот, дядя Нури, на чем свет стоит, поносил фаэтонщика, а тот, преодолевая злобу, молча нахлестывал изнемогающих от жажды лошадей. Сестренка сникла и уже не просила воды. Бабушка Фатма не выпускала изо рта мундштук. Мама молчала. Я тоже молчал, хотя тоже совсем извелся.

В раскаленном струящемся воздухе, не переставая, стрекотали кузнечики...

Вдруг дядя Нури, в очередной раз поднеся к глазам бинокль, резко опустил его:

– А ну-ка стой!

Фаэтонщик натянул поводья, кони стали, и мы с мамой, взглянув в ту сторону, куда смотрел дядя Нури, различили, как в клубах пыли к нам приближается какая-то темная масса...

Дядя Нури еще несколько секунд вглядывался в эту движущуюся массу и, опустив бинокль, спокойно, даже сухо сказал:

– Иранские конники! – И добавил: – Восемь человек.

– Господи, спаси и помилуй! – пробормотала бабушка.

– Отвязывай тюки, чемоданы! – крикнул дядя Нури фаэтонщику, соскакивая с коня. –

В кучу все! В кучу!

– Сынок! – взмолилась бабушка Фатма. – Начнешь стрелять, всех перебьют...

– А не буду стрелять, пощадят? – окрысился на нее дядя Нури. – Быстрее!

Фаэтонщик скинул с задка повозки два тюка и несколько чемоданов.

– Поворачивай и гони обратно! – приказал ему дядя, а сам быстро и ловко сложил вещи одну на другую, лег за эту маленькую баррикаду и сразу же открыл стрельбу.

Фаэтонщик погнал коней. Дядин жеребец некоторое время скакал рядом с фаэтоном, потом повернулся, заржал, глядя туда, где остался дядя Нури, и поскакал обратно...

Мы отъехали с версту, когда мама вдруг громко крикнула:

– Стой!

Похоже, фаэтонщик нарочно сделал вид, что не слышит, и продолжал нахлестывать. Мама вскочила, ухватила его за пиджак.

– Стой, говорю! – гневно воскликнула она. – Шкуру свою спасаешь! А Нури бросил?..

Фаэтонщик осадил лошадей. Мы с мамой вылезли. Наверное, дядя стрелял непрерывно, но все равно всадники приближались. Наконец выстрел его достиг цели – передний конь взвился на дыбы и рухнул. Иранцы окружили его. Что они делали, нам не было видно, но они дали три залпа по дяде Нури.

– Господи, сохрани его! Господи, сохрани его! – беспрерывно повторяла бабушка...

Видимо, считая дядю убитым, иранцы вновь устремились вперед, теперь даже мы отчетливо различали на них белые войлочные тюбетейки. Дядя снова открыл стрельбу. Снова они остановились, сбились в кучу. Потом поскакали вперед. Но тут вдруг из-за холма справа показалась группа всадников. Натянув поводья коней, они смотрели туда, где шла стрельба. Взглянув на переднего в красной чохе, мама крикнула фаэтонщику:

– Это наши! Зови их! Зови!

Фаэтонщик мигом привязал к кнутовищу платок.

– Сюда! На помощь! – кричал он, размахивая платком. – Иранцы напали! Там сын Байрам-бека!.. Один!..

Всадники поскидывали с плеч винтовки и, стреляя на скаку, бросились наперерез иранцам. Дядя Нури выскочил из засады и тоже вскочил на коня. Бандиты повернули. Может быть, испугались, что еще подоспеет помощь.

Бабушка Фатма молилась. С той самой минуты, как возникла опасность, она не переставала просить Аллаха о милости. Мама же, как только всадники, в том числе и дядя Нури, исчезли из глаз, достала золоченую табакерку, вынула из нее папиросу, закурила и спокойно приказала фаэтонщику:

– Езжай!

Когда фаэтон поравнялся с дядиной баррикадой, я выскочил и подбежал к куче вещей: тюки и чемоданы были изрешечены пулями. Мама покачала головой. Бабушка ничего не видела и не слышала, она в исступлении шептала молитвы...

– Побудьте-ка тут немного, ханум! – Фаэтонщик просительно взглянул на маму. – Поднимусь на холм, взгляну, как они там.

– Иди, – согласилась мама.

Как только страх отпустил, опять стала донимать жажда. Сестренка лежала, как неживая. А бабушка все шептала, шептала, и глаза ее не отрывались от горизонта...

– Ханум! – фаэтонщик бегом спускался с холма. – На той стороне жильё виднеется! Похоже, чайхана. Поедем?

– А как же Нури? – спросила бабушка. Впервые за все это время она подала голос.

– Он найдет нас, – сказала мама.

... Маленький кирпичный дом, расположенный у проселка посреди пылающей равнины, и правда оказался чайханой. Мы высыпали из фаэтона. Сквозь небольшое окно с потемневшими от сажи стеклами едва пробивался свет, в доме было полутемно и прохладно. Земляной пол только что побрызгали водой. Двое крестьян в шерстяных чулках, в чарыках поверх шерстяных носков и в огромных мохнатых папах, обливаясь потом, пили чай. Я никогда еще не видел, чтоб люди так одевались в жару.

Сестренка, когда ее привели в чувство, обхватила ручонками большой кувшин с водой и никак не хотела отдавать его. Досыта напившись воды, мы принялись за чай...

Вошли дядя Нури и несколько вооруженных людей.

– Рад видеть тебя, сестрица! – человек, в котором я сразу определил главаря, учтиво поклонился маме.

– Ханмурад! – радостно воскликнула мама. – Дай Бог тебе счастья! Сам Аллах послал тебя нам. Перебили бы нас иранцы!..

В слабом свете, проникающем сквозь закопченные стекла, красивое, в мелких рябинках лицо Ханмурада казалось очень бледным.

– При вас был твой брат Нури! Он один истребил бы всех иранцев. – В вежливых словах гачага сквозила чуть заметная насмешка. И сразу лицо помрачнело, стало жестким. – Не хотели оставлять вас тут, в степи. Ни один не ушел бы!..

– Тот, у которого я подстрелил коня, вроде вожак, – утирая губы, заметил дядя Нури. Он только что выпил полный ковшик воды. – Другого я ранил... Просто по людям бить не хотел. Как воробьев перестрелял бы!..

– И хорошо сделал, что не стрелял, – миролюбиво заметил один из крестьян, попивая чай. – Такие же люди, такие же мусульмане, как мы с тобой. Только что живут в Иране...

– Такие же! – сердито оборвал его Ханмурад. – Чего ж они сюда к нам грабить да убивать идут?

– Эх, Ханмурад!.. Думаю, не от хорошей жизни. Вон ты. По своей воле который год в гачагах ходишь?

– Я из-за царя в гачагах, – сердито бросил Ханмурад.

– А он, может, из-за шаха. Невелика разница...

– Я никогда не нападаю на женщин! Не трогал бедняков...

– Это все так, сынок, это так, – крестьянин не спеша отер тряпицей лицо. – В каждом деле и честные есть, и нечестные...

Послышался конский топот, и вошел мой отец. Лицо у него было встревоженное.

– Ты что ж это караван в пути оставил? – с улыбкой спросил Ханмурад, поздоровавшись с ним, как со старым знакомым.

– Да... Дело было. Пришлось свернуть, – неохотно ответил отец.

– Ну дела есть дела... Сестрица, – Ханмурад отвернулся к маме. – До Горуса всего ничего. Опасности нет. Мы вас теперь оставим.

– Счастливо тебе, сынок, – ласково сказала бабушка Фатма. – Да пошлет тебе Аллах долгую жизнь!

Ханмурад и его товарищи ускакали, но всю остальную дорогу я думал только о Ханмураде. Ведь это тот самый гачаг, про которого рассказывала мама, это он подарил маме кольцо – мама его никогда не снимала, – встретив их с папой в ущелье Пирамбулаг, молодых, красивых, счастливых... Жизнь этого человека была для меня загадкой, тайной. Возник откуда-то из глубины степей и канул в них, исчез, растворился. Как он живет в своем необычном, таинственном мире, что ждет его впереди?..

Папа скакал обок фаэтона и угрюмо помалкивал. Когда фаэтонщик в подробностях рассказал ему о нашей встрече с иранцами и о геройстве дяди Нури, он только усмехнулся, мельком глянув на дядю. Если бы Нури не был так упрям, если бы, послушав старшего, поехал по людной дороге, никакого геройства показывать не пришлось бы.

Зато я нисколько не жалел, что мы поехали степью. Ведь иначе не было бы ни нападения, ни перестрелки... Иначе Ханмурад со своим отрядом не явился бы нам на помощь и я, может быть, никогда не увидел бы этого человека. Не узнал бы, какое у него бледное красивое лицо, как весело умеет он улыбаться, не увидел бы его чохи из вишневой диагонали и десятизарядного маузера в кобуре из красного дерева. Ханмурад ускакал, на папу и на дядю Нури не хотелось даже смотреть, такими они казались мне серыми, обыкновенными... Я ощущал – что-то похожее испытывает и мама, и потому, как ни хотелось мне этого, не стал расспрашивать ее о Ханмураде.

У въезда в Горус, маленький горный городок, фаэтонщик увидел несколько стреноженных коней и остановился. Два парня, лежавшие на траве возле коней, вскочили и подбежали к нам. На них были куртки и брюки из домотканой шерсти, бухарские папахи и винтовки с патронташами.

– Ахмедали! – окликнул дядя Нури широкоплечего светловолосого парня. – Давно вы тут?

– Еще как давно! Если б вы еще задержались, навстречу поехали бы. Думали, не случилось ли чего...

– И случилось!.. – Дядя Нури самодовольно усмехнулся.– Пришлось вступить в перестрелку! Иранские гачаги!

– Эх! – досадливо воскликнул второй парень, худощавый и черноволосый. – Знать бы!..

– Ничего! Мы им и так дали жару! Сперва я один чуть ли не час перестрелку вел, потом Ханмурад со своими подоспел. Главаря их я подстрелил. А под другим коня ранил! Если бы не дети на жаре, без воды, мы бы всех их перебили!

– И сколько их было?

– Восемь человек!

Гаджи только вздохнул в ответ.

От Горуса дороги уже не было – только тропа. Папа рассчитался с фаэтонщиком. Тот свернул в город, чтоб переночевать в караван-сараяе, и мы, поразмявшись немного, стали пересаживаться на коней, которых привели Гаджи и Ахмедали, посланные дядей Айвазом. Ахмедали подвел бабушке гнедую кобылу под казацким седлом с подушкой сверху, взялся одной рукой за стремя, другой за узду.

– Садись, тетя! – Ахмедали приходился дедушке Байраму дальней родней, поэтому говорил бабушке не «ханум», а «тетя».

Мне нравилось, как бабушка садилась в седло. Куда девалось вдруг ее брюзжание, ее страх перед дядей Нури, она сразу подтягивалась, становилась молодой, ловкой...

И сейчас, сунув ногу в стремя, она с непонятной мне легкостью мгновенно оказалась в седле.

Гаджи подвел маме жеребца под новым английским седлом.

– Садись, сестрица! – Гаджи тоже приходился родней дедушке Байраму и вместо «Ягут-ханум» запросто говорил маме «сестрица».

Потом Ахмедали, наклонившись с седла, взял меня, посадил впереди, Гаджи подхватил на руки Махтаб, и по извилистой тропе мы стали подниматься в горы.

Я сидел впереди Ахмедали и, покачиваясь, думал о том, что где-то здесь, в этих недоступных горах, Гачаг Наби с боевыми соратниками совершал бесчисленные подвиги.

С Кривой скалы взмыл в небо орел и сделал круг над Горусом.

– Можешь достать его пулей? – спросил я Ахмедали, показывая на орла.

– В орлов не стреляю, братик.

– Почему?
 – Смелая птица. А стрелять в смельчака рука не поднимается.
 – А как же Гачаг Наби? Он был храбрец, а его убили. Правда, не в бою... В бою Гачага Наби никто не победил бы.
 – Почему? И ему приходилось уходить от погони. Но храбрец, он всегда храбрец. И когда терпит поражение.
 Ахмедали стал негромко насвистывать мелодию песенки о Гачаге Наби, потом сдвинул на лоб папаху и запел в полный голос:

Бозат мой, стоять будешь в теплой конюшне,
 Бархатной покрытый попоной.
 Золотые набью тебе подковы –
 Только вынеси меня живым из боя!

Я слушал и не отводил глаз от Кривой скалы. Мне все казалось, что скала, когда-то укрывшая Гачага Наби, не просто скала, а странное живое существо, приговоренное к вечному молчанию в вечерних таинственных сумерках.

– Ахмедали, ты когда-нибудь убил хоть одного человека?
 Ахмедали рассмеялся.
 – Убивать не приводилось, а ранить однажды ранил.
 – Пулей?
 – Нет, кинжалом.
 – А как, как?..
 Ахмедали улыбнулся:
 – Заспорили раз тут с одним, я выхватил кинжал да в бок ему!.. Только он ничего, не помер. Вон на рыжем коне сестренку твою везет.
 – Гаджи?!
 – Ага. Не веришь, у самого спроси. – И он, тронув ногами коня, подъехал ближе к Гаджи.
 – Дядя Гаджи! Правда, что Ахмедали ударил тебя в бок кинжалом?
 – Было дело... – Гаджи улыбнулся. – А ты спроси, сколько я в него пуль всадил.
 Я обернулся, ошарашенно глядя на Ахмедали.
 – Какое там всадил? Так, кожу поцарапал...
 Начинало темнеть. Мы медленно тянулись вверх по тропке над пропастью. Но вот надвинулась туча, стемнело, и начало моросить. Не видно стало ни зги, но лошади шли спокойно. Когда, обогнув гору, мы выехали на плоскогорье, мама пришпорила коня, подъехала к нам и, в темноте всмотревшись мне в лицо, спросила ласково:

– Не спишь, сынок?

Обрадованный теплотой ее голоса в этой темной измороси, я потряс головой:

– Нет, не сплю.

Она достала из хурджина курточку и протянула Ахмедали.

– На, надень на Мурада!

Вскоре моросить перестало. Из-за черных туч выглянула луна, осветив холмы и скалы; в воздухе хорошо пахло чебрецом и дикой мятой. Мы с Ахмедали ехали впереди, иногда до меня долетали обрывки разговора дяди с отцом, иногда – мамин голос, только вот бабушку Фатьму совсем не было слышно. Рука Ахмедали была надежная, сильная, и мы все ехали, ехали...

– Не спи, братик, сейчас приедем!

Я вздрогнул и открыл глаза. Луна снова зашла, и темно было – хоть глаз коли. Вдруг брызнул дождь и окончательно разбудил меня. Высоко в горах, гораздо выше нас, светились одинокие огоньки. Казалось, что огоньки эти разбросаны по самому небу, и мы поднимаемся к нему все ближе, ближе... Весь мир состоял сейчас из непроглядной тьмы, из этих мерцающих в небе огоньков и из моих странных, непривычных, но очень приятных ощущений. Потом огоньки стали снижаться, спускаться с неба на землю. Послышался собачий лай, доносившийся глухо, слабо, словно из какого-то другого мира. Но мы ехали, звуки приближались, обретая реальность, и рассеивалось дыхание сказки, нежным шелком келаягая обволакивавшей мое лицо.

Мы подъехали к кибиткам, и огромные волкодавы с грозным рычанием окружили нас.

– Эй, кто там?! – Вслед за окриком послышалось щелканье затвора.

– Это мы! – крикнул Ахмедали. – Уберите собак!

Мужчины отогнали псов. Сперва сошли с коней мой отец и дядя. Жена дяди Айваза приняла из рук Гаджи уснувшую Махтаб и, поцеловав ее, унесла в кибитку. Ахмедали спустил меня на землю, потом соскочил с коня сам.

Какой-то парень, подбежав, ухватился за стремя мамино коня, другой – подскочил к бабушке, и женщины тоже спешили.

Мы вошли в большую кибитку, посреди которой пылал очаг. На главном опорном столбе кибитки висел фонарь. Бабушка Сакина, мать дедушки Байрама, поцеловала дядю Нури, меня, Махтаб, маму. Папу она целовать не стала. Бабушка Сакина была высокая, широкоплечая, красивая пожилая женщина; а ведь ей было тогда за восемьдесят. Говорила она громко и басовито, как мужчина.

– Глаза точно, как у Ягут, – сказала бабушка Сакина, с улыбкой оглядев меня.

Жена дяди Айваза разложила вокруг очага цветастые тюфячки. Мы намерзлись в сырой промозглой темени, и сидеть у яркого огня было на редкость приятно. «А Зинят там потом небось обливается», – подумал я и пожалел, что мы не взяли девушку с собой.

– С утра самовар кипит, – заметил сидевший у очага дядя Айваз, когда нам подали чай. Он достал щепоть табака из черной лакированной коробочки с нарисованным на ней джейраном. – То и дело угли подбрасывали, все думали, вот придут...

Дядя Нури с удовольствием начал рассказывать о наших приключениях. Дядя Айваз слушал, и лицо его, веселое и приветливое, становилось все серьезнее. Он то и дело останавливался на лице дяди Нури пристальный взгляд, словно пытался определить, правильно ли тот поступил. А тем временем Гаджи и Ахмедали уже освеживали барана. Мы с Махтаб поглядывали из дверей кибитки, как огромные псы, не смея подойти, издали бросали на мясо жадные взгляды. Ахмедали отрезал куски и кидал собакам, они на лету хватили мясо, а Махтаб хохотала, глядя, как ловко это у них получается. Бабушка Сакина умиленно гладила ее по голове и все приговаривала: «родная моя!», а сынишка дяди Айваза, мальчик моих лет, удивленно смотрел, как незнакомая девочка хохочет, глядя на собак.

Вскоре из занятой под кухню кибитки Ахмедали и Гаджи принесли шашлыки, бозартму.

Наговорившись, поев, стали укладываться.

Папа приподнял войлок в задней части кибитки, чтоб поступал воздух, и погасил фонарь.

Я уже стал засыпать, как вдруг снаружи у самой кибитки послышался какой-то странный звук.

– Что это? – спросил я у мамы.

– Верблюд, жвачку жует... – ответила она.

– Закрой глаза и спи! – сердито бросил папа.

Глаза я закрыл, но заснуть не мог еще долго. Все увиденное и услышанное, как ожившая сказка, охватило мое воображение. И казалось мне, что все это уже было когда-то. Через отверстие я видел безоблачное небо и луну, и мне казалось, что когда-то давно-давно я все это видел, что я вот так же лежал в кибитке, край войлока был приподнят, и я так же видел луну и небо и слышал хриплый собачий лай...

НА ЭЙЛАГЕ. КАК АХМЕДАЛИ СЪЕЛ ЦЕЛОГО БАРАШКА

Когда утром я вышел из кибитки, в ярком свете солнца колыхались под легким ветерком красные маки. Стреноженный жеребец, вытянув голову, смотрел из загона на пасущихся вдалеке кобылиц. На склоне горы, меж серыми обломками скал рассыпались овечьи отары. Босоногая малышня, крича и смеясь, носилась по зеленой росистой траве. Ребята постарше отгоняли только что подоенных коров к стаду, другие, гарцуя на конях, гнали стадо к роднику на водопой.

Вокруг белых кибиток дяди Айваза стояли небольшие черные кибитки, принадлежавшие людям победнее. Курдоба состояла из нескольких небольших селений, у каждого была своя, веками не менявшаяся территория, свой староста, уважаемый человек, который нес ответ за односельчан. Вот это селение, перекочевавшее на склон горы над Ослиным родником, называлось по имени нашего прадеда Кербалаи Ибихана. Поодаль на горе расположились жители «Карлара». Две другие летние стоянки курдобинцев, расположенные на противоположном склоне горы, были отсюда не видны.

– Ты вот что, родненький, – сказала мне бабушка Сакина, выходя из кибитки, – пока собаки тебя не признали, далеко не отходи. – И, обернувшись к одной из черных кибиток, позвала громко:

– Караджа! Эй, Караджа!

Из кибитки вышел босой смуглый мальчик лет одиннадцати в поношенной рубашонке и в штанах из домотканой материи.

– Чего? – хрипло спросил он, протирая маленькие, как дырочки от гвоздей, заспанные глаза.

– Ты что ж это разоспался, безбожник? – ласково укорила его бабушка Сакина. – И добавила, кивнув на меня: – Возьми с собой братика Мурада, пращу ему сплети... Разноцветную и чтоб щелкала...

Нос у Караджи был кривой и чуть свернутый на сторону; если глядеть сбоку, он казался похожим на саблю. Караджа недоверчиво покосился на меня.

– А из чего вить-то? – спросил он, сапанув носом. – Где у меня веревки?

– Иди сюда, я дам.

Караджа вышел из кибитки Сакины, держа в руках красную, желтую и оранжевую веревочки, и, не сказав мне ни слова, направился в свою кибитку. Я пошел за ним. В кибитке был расстелен старый войлок, в очаге дымился кизяк, в одном углу стояла кое-какая медная посуда, в другом – тюк, покрытый истертым ковром.

Караджа – позднее я узнал, что имя его было Юсиф, а «Караджа» – прозвище, – уселся на войлоке, разложил перед собой веревочки и, взглянув на меня, пробурчал:

– Чего пнем торчишь? Садись.

Привязав к столбу концы веревочек, он начал быстро и ловко сплестать их, а я сидел на корточках и смотрел на него. Потом пришла высокая красивая женщина, мать Караджи Кызъетер, принесла молоко в закопченном медном казанке. Поставила казанок на камни, разложенные треугольником вокруг очага, и улыбнулась:

– Здравствуй! Добро пожаловать! – И, обратясь к Карадже, велела: – Сынок, придет сестра, налейте себе молочка и попейте с чуреком. – И быстро вышла, позванивая серебряными монетками, украшавшими ее грудь.

– Куда ушла твоя мама? – спросил я Караджу.

– К дяде Айвазу, – хмуро ответил он, не поднимая глаз от работы. – Масло сбивать.

Караджа был сыном одного из младших братьев дедушки Байрама, умершего несколько лет назад, но я с первой же встречи почувствовал, что семья дяди Айваза – это одно, а семья его покойного брата – совсем другое, это было видно уже по кибитке. Еще я успел углядеть, что на правой руке у мальчика не гнутся два пальца, что, впрочем, не мешало Карадже очень быстро плести пращу.

Мама позвала меня завтракать, и я вернулся в большую кибитку. Бабушка Фатма, дядя Нури, мама с папой, дядя Айваз и его младший сын сидели вокруг расстеленной посреди кибитки большой скатерти. Жена дяди Айваза разливала чай из самовара. На скатерти лежали тонкие, как папиросная бумага, лаваша, стояли сливки, мед, жирный сыр из овечьего молока и свежесбитое сливочное масло.

Я смотрел на это изобилие, а перед глазами вставала бедная кибитка Караджи, и меня не веселили шутки дяди Айваза, наоборот, они раздражали меня. Ведь он родной дядя Карадже! Как же он может вот так есть и пить, если дети его брата живут впроголодь! И почему-то особенно неприятно стало мне видеть пухлые щеки любимого сыночка дяди Айваза.

Я нехотя откусывал кусочки лепешки, в открытую дверь видна была кибитка Караджи, и мне было совестно есть пшеничную лепешку с маслом и с медом. И меня уже не радовало, что Караджа плетет мне разноцветную пращу.

Он вышел, увидел, что я смотрю на него, показал мне пеструю пращу, но ни разу не опустил взгляд, чтоб взглянуть на нашу скатерть. Сидевшие за завтраком прекрасно видели мальчика, но никто не обратил на него внимания. Я торопливо допил молоко и хотел выбежать из кибитки.

Но тут в кибитку вошел рослый, широкоплечий старик. На нем была чоха из домотканой шерсти, архалук и каракулевая папаха. Лицо, потемневшее от жары и стужи, украшали густые седые усы, широкие с проседью брови и короткая борода; лицо это выражало сердечную открытость и сознание собственного достоинства. Как только старик появился у входа, дядя Айваз встал, за ним поднялись остальные.

– Добро пожаловать! – обратившись к папе, произнес старик, чуть сощурился в улыбке не по-стариковски ясные глаза.

– Здравствуй, дедушка Мохнет! – почтительно ответил папа.

– Садись, дядюшка! – дядя Айваз указал старику на почетное место.

Старик опустился на тюфячок, достал из кармана чохи трубку, кисет и сказал маме, кивнув в мою сторону:

– Я как увидел его, сразу признал, что твой. Одно лицо.

Так вот он какой – старый Мохнет! Все рассказы, все эти полулегенды из прошлого нашей семьи, которые я не раз слышал от мамы, рассказывал он, дедушка Мохнет, двоюродный брат Кербалаи Ибихана, хранивший в памяти историю нашей семьи и много других историй.

– Ну как там дела, в городе? – спросил старый Мохнет, набивая табаком трубку.

Папа начал подробно рассказывать о делах, но все это я уже слышал раньше, а потому снова взглянул на кибитку Караджа. Он манил меня рукой.

– Пошли! – скомандовал Караджа, когда я подошел к нему.

Мы свернули за кибитки и поднялись на скалу. Сейчас в свежем утреннем воздухе еще острее чувствовался аромат чебреца и дикой мяты... Караджа вложил в пращу камень, раскрутил ее и метнул. Щелчок гулким эхом прокатился по ущелью. Он снова вложил камень в пращу и протянул ее мне.

– Давай!

Так далеко у меня не вышло, да и праща не щелкнула.

– Чего ж ты бросаешь, как увечный? – Караджа разочарованно покачал головой. – Смотри! – Метнув камень так, что тот достиг противоположной стороны ущелья, он снова протянул мне пращу. – Ну! Давай еще!

И опять у меня ничего не получилось: и праща не щелкнула, и камень упал совсем близко. Караджа искоса глянул на меня и, ничего не сказав, побежал вверх, туда, где мальчишки пасли ягнят. Чувствуя себя совершенно ни к чему не годным, я поплелся в кибитку...

Недалеко от кибитки, окруженная девушками и молодухами, сидела мама.

Дедушкина племянница толстушка Гюляндам рассказывала какую-то веселую историю, хохотала, колыхая огромными, как два арбуза, грудями; остальные тоже смеялись...

Поодаль от них расположились на солнышке бабушка Сакина, папа и дядя Айваз. Громкий голос дяди Нури доносился из-за скалы; огромный этот камень, в незапамятные времена сорвавшись с горы, лежал на площадочке над Ослиным родником – вокруг него собрались здешние парни, о чем-то оживленно болтали, спорили и смеялись...

Только бабушка Фатма совсем одна сидела у входа в кибитку, держа в руке неизменный мундштук с дымящейся папиросой, и неотрывно глядела вдаль на покрытые туманом вершины.

Видно было, что мысли ее далеко. «Кто знает, – подумал я, – может, бабушка вспоминает своих братьев и сестер, родню свою, живущую там, в далеких лесах?..». И мне стало очень жалко бабушку. Я видел, что тут, на эйлаге, она совсем одинока. Никто ничего такого не говорит, но все смотрят на нее, как на чужую, да и сама бабушка нисколько не старается сблизиться со здешними людьми.

Мне захотелось сказать бабушке Фатме что-нибудь ласковое, но я не знал что, да и найдись у меня такие слова, наверное, не сказал бы. Мои родители суровостью и сдержанностью своего обращения приучили меня к мысли, что в ласковом слове, в нежности и сочувствии есть что-то унижительное, и я привык скрывать добрые чувства к людям; привычка эта сохранилась у меня на всю жизнь, за что мужчины считали меня заносчивым и чванливым, а женщины жестокосердным и эгоистичным.

Мне было жаль бабушку Фатму, но сидеть возле нее было тоскливо, и я побежал к парням: Ахмедали со вчерашнего дня завоевал мое расположение, да и любопытно было послушать разговоры взрослых.

– Кто из вас может за один присест уплести трехмесячного барашка? – спросил дядя Нури, когда я подошел.

– Я! – сказал Ахмедали и горделиво выпятил грудь.

– Брось! – подзадорил его дядя. – Не осилишь!

– Спорим! – Ахмедали протянул ему руку. – На твой бинокль! (Бинокль дяди Нури считался тогда у парней самой ценной и интересной вещью.)

– Идет! Бинокль против твоего коня! – дядя Нури показал на стреноженного гнедого жеребца. Жеребец был хороших кровей и считался одним из самых быстрых скакунов.

Ахмедали немного подумал.

– Ладно! – решительно произнес он и пожал протянутую ему руку. – Идет!

– Тащите барашка из дядиной отары! – приказал парням дядя Нури.

... За несколько минут Ахмедали освежевал барашка и разрубил тушу на части. Потом развел костер. Сперва он нанизал на шомпол бараньи огузки, положил их на угли.

– Эй! Несите сюда ковш айрана! – крикнул он, обернувшись к своей кибитке.

Молоденькая, лет семнадцати, жена Ахмедали принесла полный ковш айрана и, не поднимая глаза на мужчин, быстро ушла обратно; в такт ее быстрым шагам позвякивали монетки на воротах.

Перемолов крепкими молодыми зубами зажаренные огузки, Ахмедали поставил на угли перевернутый садж, положил на него нарезанное на кусочки мясо (по условиям спора остаться могли только голова и голяшки) и стал не спеша есть.

Короче, запивая еду айраном, он съел все до последнего кусочка. Потом встал, распутал жеребцу ноги, вскочил на него и погнал вниз. На скаку он выхватил из кобуры пистолет и трижды выстрелил в воздух; торжествующее эхо раскатилось по горам. Старик Мохнет, стоявший возле своей кибитки, вынул трубку изо рта, глубоко вздохнул и сказал, восхищенно покачав головой:

– Отец его Танрыоглы такой же молодец был!

Вскоре Ахмедали вернулся, соскочил с коня и снова стреножил его. Я изумленно смотрел на его живот: будто ничего и не ел.

– Принеси бинокль! – сказал мне дядя Нури. Я ринулся исполнять поручение.

– Бери. – Дядя Нури протянул бинокль Ахмедали. – Твой по праву!

Ахмедали взял бинокль, приложил к глазам...

– Да!.. Ради такой штуки и двух баранов сожрать можно! – Потом оглядел стоявших вокруг парней. – Что ж это, так не годится! Я ел, а вы – слюнки пускали! А ну, – позвал к себе младшего брата, – тащи барашка из нашей отары!

– Вот это дело! – одобрительно сказал дядя Нури.

Опять развели костер. На этот раз барашка резал и свежевал Гаджи. Жена Ахмедали принесла лепешки, овечий сыр, айран. Все весело уселись в кружок.

КАРАДЖА*

Увидев Караджу, я подбежал к нему, и мы пошли за селение – метать камни.

– Видел, как Ахмедали на неоседланном жеребце скакал? – спросил я. – И не свалился!

– А чего... сваливаться? – Караджа удивленно оглядел меня.

– Как чего? Без седла же! Ты бы мог? Без седла?

– А что тут такого? Пойдем!

Мы прошли ущельем и поднялись к пасшемуся на склоне табуны.

Караджа спокойно приблизился к одному из коней и ухватил его за гриву. Конь попытался отвести голову, но Караджа мгновенно вскочил ему на спину; жеребец кинулся в одну сторону, в другую и вдруг повернул вниз, в ущелье. Караджа, пригнувшись к холке, обеими руками вцепился коню в гриву. Жеребец, пасшийся впереди табуна, вытянув шею, смотрел вслед ускользавшему собрату. Мне почему-то взбрело в голову, что он сейчас бросится на меня. Я уже собрался бежать, как вдруг с противоположной стороны горы к табуна не спеша подъехал Караджа. И тут я увидел, что к нам мчится мальчишка чуть постарше Караджи, орет, размахивая руками:

- Эй ты, сукин выкормыш! Чего нашего коня гоняешь?..
- Сам ты сукин сын!

Парнишка вложил в пращу камень и метнул. Праща щелкнула, как пистолет, камень пролетел у самого уха Караджи. Караджа с камнем в руках бросился на обидчика. Но тот успел вложить в пращу новый камень, прицелился, метнул, и камень попал Карадже прямо в лоб. Лицо его залило кровью, и парнишка в испуге бросился бежать. Караджа попытался догнать его, швырнул один камень, другой, но кровь заливала ему глаза, он промахивался. Тогда Караджа наклонился, взял горсть конского навоза и приложил к ране. Присел на корточки, свободной рукой сорвал пучок травы и отер лицо.

- Зачем ты навозом? – сказал я. – Пойдем, мама тебе йодом помажет.
- Что это – йод? – Караджа искоса поглядел на меня.
- Лекарство.
- Не нужно мне твоего лекарства! Ты только никому ни слова, понял?
- Но почему?
- Сказано, не говорить, и заткнись!

Мы спустились к Ослиному роднику. Искрящаяся под утренним солнцем вода, выбиваясь из-под скалы, струилась на камни и текла дальше среди зарослей дикой мяты и борщевика. Караджа отбросил в сторону навоз, ледяной водой смыл с лица кровь, и по узенькой крутой тропке мы направились к стойбищу. Караджа то и дело наклонялся и срывал щавель, ел и угощал меня – мне уже успела понравиться эта кисловатая травка.

Проходя мимо кибитки Ахмедали, я увидел, что тот сидит и чистит револьвер. Тут же примостился Хайнамаз; перебрасываясь шуточками с Ахмедали, он шил чарыки из бычьей кожи.

Хайнамаз был самым бедным человеком и первым весельчаком в селе. Впоследствии Ахмедали не раз сажал меня на слепого коня Хайнамаза, а тот, не обращая на меня никакого внимания, спокойно продолжал пастись...

- Ну? – Ахмедали улыбнулся мне. – Видал, как я у твоего дяди бинокль выиграл?
- А ты будешь сегодня еще есть? – спросил я.

Ахмедали и Хайнамаз расхохотались.

– А почему бы и нет? – улыбаясь, спросил Ахмедали. И крикнул жене, с вязаньем сидевшей у входа в кибитку: – Принеси-ка ребенку сливок.

И тут вдруг раздался выстрел, пороховой дым заполнил кибитку и долго ничего не было видно.

– Хм... – услышал я спокойный голос Хайнамаза, – похоже, ты в меня угодил. – Он встал и, держась обеими руками за живот, вышел наружу.

Собрались люди. Подошел дядя Айваз.

– Ну-ка убери руки! – приказал он Хайнамазу. Осмотрел рану, махнул рукой. – Пустяки, кожу поцарапало...

Все сразу стали подтрунивать над Хайнамазом.

– Вот, Ахмедали! Пробил человеку живот, теперь ни вода, ни что другое держаться не будет!..

Хайнамаз тоже не казался обеспокоенным. Послал только жену за старой Баллы, чтоб приложила бальзам к ране.

Хайнамаз ушел к себе, и тут вдруг мама, оглядев меня, воскликнула в ужасе:

– Глядите! Пуля ему пиджак пробила!

И правда, на поле моего расстегнутого пиджачка зияла дыра.

– Не смей по чужим кибиткам шастать! – набросился на меня отец. Я испуганно втянул голову в плечи.

– Нечего ребенка пугать! – строго сказала бабушка Сакина. – Слава Богу, цел. – Поцеловала меня, прижала к себе. – Бабушка Сакина в честь тебя барашка зарежет!..

Теперь все толпились вокруг меня, женщины громко ахали, хотя я был цел и невредим. Бабушка Фатма водила вокруг моей головы серебряной монетой и что-то бормотала себе под нос.

Мне было совестно, что все бросили раненого Хайнамаза и хлопочут вокруг меня, хотя я жив и здоров. Я застеснялся, выскользнул из толпы и убежал к Карадже. Тот окапывал рвом кибитку, чтоб во время дождя вода не затекала внутрь.

– Смотри, Караджа! – я с гордостью показал ему простреленную полу.

Мальчик мельком взглянул на мой пиджак.

– Матери дашь, заштопает...

Потом, оглядевшись по сторонам, спросил шепотом:

– У нее ножницы есть?

– Ножницы? Есть. А зачем тебе?

– Поди возьми потихоньку, – сказал он, не отвечая на мой вопрос, – потом положишь обратно.

– А на что тебе ножницы? – повторил я.

– Увидишь.

Мы шли по узкой извилистой тропинке, подымаясь в гору: до того места, где пасся табун, было довольно далеко. Настороженно оглядевшись по сторонам, Караджа подкрался сзади к одному из коней, ножницами отхватил от его хвоста пук волос и бегом кинулся обратно. Я – за ним.

Только когда мы обогнули гору, Караджа зашел за камни и сел. Я плюхнулся рядом.

– Зачем ты, а? – спросил я, с трудом переводя дух. – Чего бежал?

– Чего бежал!.. Да Имамверди, если б увидел, из ружья пальнул бы. Он бешеный!..

– А чего ты отрезал его коню хвост?

– Силок сплету, – ответил Караджа, разбирая конские волосы на пучочки по несколько волосинок. – Буду тебе куропаток ловить, их здесь полно!

– Правда? – обрадовался я.

Караджа ничего не ответил. Он сплел силок, вбил в землю два колышка, привязал к ним силок, достал из кармана горсть хлебных крошек и насыпал их между петлями. И тут мы услышали голос моего отца, он звал меня. Караджа только мрачно взглянул в его сторону, а я вскочил и побежал к отцу.

– Ах ты, пакостник. – Отец схватил меня за ухо так, что я вскрикнул, и поволок к кибитке. – Нашел себе дружка!.. Колченогий Караджа!.. Он что, ровня тебе?

Отец впихнул меня в кибитку и отвесил такую оплеуху, что из глаз у меня посыпались искры. Мама схватила меня, оттащила в сторону и, как всегда, стала кричать на отца:

– Ты что ребенка бьешь? Чем тебе Караджа плох? Что сирота? Его отец ни в чем не уступил бы тебе!..

Как всегда, когда мама заступалась за меня, я заплакал. На этот раз я плакал особенно горько: ведь мама заступалась и за Караджу, а Караджа добрый, он сделал силок, чтоб наловить мне куропаток, у чужой лошади хвост отрезал!.. Да и ухо у меня горело...

Сынок дяди Айваза Гюльоглан, которого все навязывали мне в дружки, нарядный, толстый, весь какой-то прилизанный, был мне решительно не по душе. Всякий раз, когда толстяк подходил ко мне, я щипал его за пухлые красные щеки. Он не плакал, хотя глаза его наполнялись слезами, он только смотрел на меня, ровным счетом ничего не понимая.

Разругавшись с отцом, мама вышла из кибитки и направилась к дяде Нури, стоявшему в окружении парней. В отличие от других молодых женщин, мама, живя на эйлаге, не избегала парней, болтала с ними, смеялась их шуткам. В таких случаях папа либо забивался в кибитку и часами просиживал там с папиросой, либо направлялся к мужчинам постарше и посолидней и помалкивал, слушая их неторопливые беседы. К парням он не подходил никогда, но и те не больно-то обращали на него внимание, вроде бы не замечали, что он сторонится их.

Караджа, видевший, как отец обошелся со мной, и зная причину, завидев меня, принимал надменный презрительный вид и отворачивался.

Я находился как бы на особом положении: меня нарядно одевали, холили, баловали, и то, что Карадже было на это наплевать, делало его в моих глазах существом высшего порядка, таинственным и недоступным пониманию. В нем не было униженности, свойственной другим сиротам. Однажды, когда я захотел угостить его и протянул нарядную конфетку, Караджа лишь мельком взглянул на нее и сказал, что не маленький – сладостями баловаться.

Я видел, что на Караджу никто не обращает внимания, никого не интересует, сыт ли, здоров ли он. Я не слышал, чтоб хоть кто-нибудь сказал ему доброе слово, и он, будто наплевав на все и на всех, ни от кого уже не ждал ни ласки, ни сочувствия. Я же любил сладко поесть, наряжаться, любил, чтоб меня ласкали, и то, что Караджа не придавал этому ни малейшего значения, задевало мою гордость, унижало меня в собственных глазах, я начинал казаться сам себе совершенно ничтожным существом и все больше и больше благоговел перед Караджой.

ГАЧАГ ХАНМУРАД У НАС В ГОСТЯХ. НАПАДЕНИЕ НА НАШЕ СЕЛЕНИЕ. ОТЪЕЗД ДЯДИ НУРИ

Я торчал возле парней, которых дядя Нури забавлял рассказом о приключениях одного его родственника, как вдруг из-за горы выехала группа всадников, возглавляемая Ханмурадом. Ханмурад был очень бледен, и несмотря на жару, на плечах у него была бурка.

– Ты что это, Ханмурад? – спросил дядя Нури, когда Ханмурад спешился. – Сам на себя не похож.

– Лихорадка замучила, – поеживаясь, ответил тот.

– Простыл?

– Не знаю... – Ханмурад пожал плечами. То трясет, то в жар бросает... Неделю уже.

– Малярия, – сказал дядя Нури.

– Вот привезли к вам, – сказал один из гачагов, на вид постарше других. – Пускай отлежится...

Ахмедали взял Ханмурада под руку и повел к себе, они были старые приятели.

Дядя Айваз, узнав о прибытии гачагов, велел зарезать барана и всех их пригласил к себе в гости, а когда гачаг постарше попросил дядю Айваза приказать, чтоб никто не болтал о Ханмураде – врагов у того хватает, – решительно заявил:

– Здесь его никакой враг не достанет! За мной, как за каменной стеной!

Уезжая, гачаги сказали, что дня через три-четыре проведает Ханмурада.

У мамы с собой было всяких лекарств, в болезнях она разбиралась, – Иван Сергеевич даже звал ее в шутку доктором. Так что мама принялась лечить Ханмурада.

Утром и вечером, как это делал Иван Сергеевич, она давала Ханмураду хину, готовила ему легкую еду из курятины и телятины. Такое внимание мамы к Ханмураду всем было по сердцу: гачаги Ханмурада были желанные гости. Дядя Нури и даже дядя Айваз часами сидели у постели больного, его навещал даже старый Мохнет, одному папе не по душе было, что мама ухаживает за гачагом.

– И что ты прилепилась к этому парню? Кто он тебе: брат, сват?

– Да, теперь он тебе не брат! А когда твоих детей от смерти спасал, лучше брата родного был? – сказала мама.

Я считал, что мама совершенно права, радовался за нее, гордился мамой и был счастлив, видя ее возле Ханмурада.

– А что, Ягут-баджи, – сказал он как-то раз, кивнув на меня, – если б мы тогда отняли тебя у Абдуллы и вернули отцу, не было бы этого красивого мальчика.

Оба рассмеялись.

Тайком от отца я по несколько раз в день убегал к Ханмураду. Мамины лекарства делали свое дело, Ханмурад теперь уже не трясся в ознобе, жар у него бывал не часто, и уже не очень сильный. Вокруг него всегда толпились парни: развлекали его разговорами, шутили... Дядя Нури съездил в Горус, привез доктора. Тот, конечно, не знал, что лечит знаменитого Ханмурада, впрочем теперь, при «свободе», как называли наступившее сейчас безвластие, это не имело значения.

... Я вошел в кибитку.

– Ну, братишка, садись, расскажи что-нибудь... – Улыбка скользнула по бледному лицу Ханмурада. Он лежал на спине, заложив руки за голову.

С Ханмурадом я чувствовал себя совсем просто, даже проще, чем у дедушки Байрама, мне почему-то казалось, что мы с ним старые приятели.

– Ханмурад! Расскажи, как ты стал гачагом.

– Человека убил, – спокойно ответил Ханмурад, глядя на снежную вершину сквозь дверной проем кибитки.

– Кого? – удивленно спросил я.

– Подлый человек был. – Ханмурад нахмурился.

– Да что ж он такого сделал, Ханмурад?

– Рассказывать долго, братик... – Ханмурад глубоко вздохнул. – Понимаешь, отец у меня был человек бедный, и был у нас молодой жеребец – на всю округу известен. У нас в роду страсть к лошадям: и отцы, и деды, и прадеды хороших коней держали. Я у отца единственный сын, а коня того он не меньше меня любил. И вот однажды наведалься к нам в селение начальник и приглянулся ему наш жеребец. «Продай коня!» Отец ни в какую. Как-то раз нанялись мы с отцом косить в соседнем селе, а без нас пришли есаулы и, как ни билась, как ни кричала мать, увели жеребца. Пришли вечером домой, узнал отец такое дело, слова сказать не может: как громом поразило. Утром и на жатву не пошел. А я будто косить иду, а сам – в город, выведал, где наш конь, сломал ночью замок, вывел его из стойла... – Ханмурад помолчал... – Ох, братик, мал ты еще, ты и поверить не можешь, какая на свете бывает подлость. Какие мерзавцы живут!..

– А потом? Потом, Ханмурад?

– Привел домой коня, а отец уж не рад: пропал ты теперь, говорит, сынок, он тебя в Сибирь упечет! А у нас в лесах Карса в Альянлы родня была. Я и говорю отцу: «Поеду туда, коня оставлю, потом посмотрим». – «Так ведь он, подлец, все равно сюда явится!» – «А ты скажи: знать ничего не знаю». Стал меня отец уговаривать, чтоб покорился я, – как конь ни дорог, а сын дороже. А я: «Нет, – говорю, – умру, а коня не дам!»

– Это на котором сейчас ездешь?

– Да... Только он тогда совсем молодой был. Трехлетка.

– Ну, а потом?

– Потом? Потом положила мне мать в сумку еды, и ушел я.

Отцу сказал: «Будут спрашивать, скажи: в Баку подался, в рабочие», – тогда многие в Баку уходили. А сам в Карс, в леса...

– А сколько тебе было лет?

– Восемнадцать...

– А ружье у тебя было?

– Нет.

– Как же ты не боялся? В лесу медведи!

– Медведи что?.. – Ханмурад слегка улыбнулся. – Я только одного тогда боялся – царского начальника. И не зря. Вскоре приехал ко мне брат двоюродный и сказал, что прискакал в селение начальник, при всех на площади велел избить моего отца, да еще расписку взял, что он в три дня меня к нему доставит. Услышал я такое, даже в голове помутилось. Попросил одного альянского парня, чтоб пистолет мне купил... Леса, мол, кругом, сам понимаешь... Ну, тому объяснять не надо, продал в Шуше барана, купил мне наган, сел я на жеребца и – в Карабулак. Привязал коня возле канцелярии с задней стороны, а в дверях есаул стоит, не пускает. Я ему – начальник, говорю, сам меня звал. Ну... вошел... Всадил ему в башку три пули, пока то да се, вскочил на коня и был таков... Вот так, братик, и стал я гачагом.

Вошла бабушка Сакина.

– Ну, как ты, родной? – она ласково взглянула на Ханмурада.

– Ничего, бабушка... – Ханмурад приподнялся в постели.– У Ягут-ханум такие снадобья...

– Ну и слава Аллаху... Теперь вот за Байрама тревожусь. Такой парень беспокойный... – Ханмурад чуть заметно улыбнулся. – Велел передать, на днях придет, а на дорогах-то что творится!..

– Ну, бабушка, твоего Байрама тут всякий знает. Ни у кого рука не поднимется.

– Не говори, сынок. Плохой человек и хорошему враг.

– А внучек твой, оказывается, геройский парень, – сказал Ханмурад, чтобы отвлечь бабушку. – Гачаги, стрельба, набег – больше ни о чем и слушать не хочет!

– Что ж ему остается? – бабушка Сакина махнула рукой. – Не у отца ж ему спрашивать, как стреляют!

Я насупился, меня всякий раз задевало, когда подшучивали над папой, я стеснялся, что он не такой, как Ханмурад, и даже не такой, как простые парни из Курдобы. Конечно, я мечтал, чтоб мой отец, как дядя Нури, как дедушка Байрам, мог бы опоясаться патронташами, повесить на плечо винтовку, стрелять, сражаться...

Ханмурад заметил, что я расстроился.

– А зачем его отцу стрелять да скакать? У него свои дела есть, купеческие.

Вместо того, чтоб утешить меня, Ханмурад только растравил мою рану. Здешние парни всегда с насмешкой говорили о купцах: «с яиц шерсть стригут!», говорили они, «тени своей боятся», «сидят, весы стерегут», и еще по-всякому. И я тоже приучался презирать торгашей, «стерегущих свои весы». Конечно, папа не из тех, кто «стережет свои весы», у него большой магазин, он «негоциант», как называл его один армянский купец, но не буду же я объяснять это каждому. Для здешних парней мой отец все равно, что пузатый лавочник Мешади Алибала.

– Ничего, – сказала бабушка Сакина, ласково поглаживая меня. – Наш мальчик, наш красавчик в дедушку своего пойдет, в Байрама. Будет, как дядя Нури! Стрелять научится! Скакать на лихих конях! Не пойдет он в хвостатых суннитов!

– А что, сунниты стрелять не могут? – окрысился я на бабушку Сакину. – Вон дедушка Эфенди, когда к нам приезжал, с ружьем был! Умываться и то его с собой брал.

Бабушка Сакина расхохоталась, а Ханмурад сказал, улыбнувшись:

– Бабушка твоя шутит. Среди суннитов тоже хватает храбрецов.

– Так-то оно так, – усмехнулась бабушка Сакина, – одна беда – хвостатые они, как козлы. Потому и упрямые.

– Неправда это! – чуть не плача, выкрикнул я. – Нету у них никаких хвостов!

– А ты по себе не суди, – почти серьезно возразила бабушка Сакина. – У тебя потому и нет хвоста, что мать шиитка.

Я хотел возразить, но тут послышались шум, крики и отчаянный вопль какой-то женщины:

– Наши отары! Сельбасарцы отары угоняют!..

Бабушка Сакина с неожиданным для ее лет проворством вскочила с места и выбежала наружу. Я бросился за ней. По ту сторону Ослиного родника на пологом склоне несколько вооруженных всадников, отрезав часть отары, гнали ее перед лошадьми.

– Эй, вы, трусы! – грубым, как у мужчины, голосом закричала бабушка Сакина, и голос ее эхом раскатился по ущелью. – Знаете, что мужчин нет, у баб решили овец отбить?! За каждую по десятку вернете!..

Ни дяди Нури, ни других парней сейчас не было, все уехали на свадьбу. Этим и воспользовались сельбасарцы.

Ханмурад набросил на плечи чоху, вышел, посмотрел на угонявших отару всадников, быстро вошел в кибитку, на ходу вдевая руки в рукава, схватил винтовку, патронташ и побежал к скале. Прозвучал выстрел, всадники обернулись.

– Эй вы, бросьте отару! – крикнул им Ханмурад. – Совесть надо иметь!

В ответ просвистели две пули.

– Спрячься! Спрячься между камней! – крикнула мне мама, выбегая из кибитки. – Убьют!

Я добежал до ложбинки, проходившей по краю стойбища, лег там и, высунув голову, наблюдал за происходящим. Ребятишек в ложбину набилось полно.

Ханмурад выстрелил. Трое всадников, обернувшись, открыли огонь по Ханмураду.

– Эй, ребята! – крикнул гачаг. – Я кровь не хочу проливать, убирайтесь подобра-
поздорову!

Всадники не оборачивались. Ханмурад выстрелил, один из чужаков упал с коня, но тут же взобрался в седло – потом выяснилось, что Ханмурад прострелил ему руку. Ханмурад снова выстрелил, другой всадник упал вместе с конем. Он тоже сразу вскочил, но конь остался лежать.

– Бросьте отару! Жизни лишитесь из-за баранов! Гачаг Ханмурад мимо цели не мажет!..

– Ханмурад! – закричал один из всадников, поворачивая вздыбившегося под ним коня. – Не стреляй! Да будут жертвой тебе эти овцы! Пуля Гусейна тоже не вылетит зря из дула!.. Мы не знали, что ты на эйлаге.

Человек, оставшийся пешим, вскочил на круп к другому коню, и все трое исчезли за горой.

Ханмурад вернулся в кибитку и лег.

– Ханмурад! Они трусили? – спросил я.

– Нет, братик, – Ханмурад положил руки за голову. – Их Гусейн парень не из пугливых. Просто увидел, место у меня удобное, по одному могу перебить. Они же открыты были... – Он подумал немного и, помолчав, добавил тихо, словно себе самому: – А может, решил не связываться со мной...

... Вечером, когда наши вернулись со свадьбы, голос бабушки Сакины гремел вовсю.

– Узнали подлецы, что мужчин нет!.. Да если у вас есть честь, неужели потерпите!.. Чтобы паршивые сельбасарцы средь бела дня напали на стоянку Кербалаи Ибихана!..

– Не расстраивайся, мама, – спокойно сказал дядя Айваз.

– Не расстраивайся! Он их, подлецов, должен был перебить!..

– Ушли с пустыми руками, а это для них позор, – успокаивал мать дядя Айваз. – Кровь проливать не хотел из-за баранов.

Я направился к парням. Собравшись на плоской скале, они горячо обсуждали что-то, и дядя Нури тут же прогнал меня.

– Не обижайся! – Ахмедали приветливо кивнул мне. – Тут у нас взрослые разговоры.

Немного погодя, он сам подозвал меня, но, обиженный, я отвернулся. Я убежал за скалы.

Спустился туман, такой густой, что ничего вокруг не стало видно. Я сидел за скалой, и мне казалось, что я совсем один со своей обидой, а все они, и дядя Нури, и парни, и Ханмурад, в каком-то другом далеком чужом мире. Мне всегда становилось одиноко и тоскливо на душе, когда люди рядом оживленно болтали, не замечая, что я тут, рядом. Порой мне казалось, что даже мама ничего не знает обо мне: я, конечно, не мог бы объяснить, в чем это ее незнание, я только понимал, что оно виной моей грусти и одиночеству. В такие минуты, с особой остротой ощущая свою обособленность, я острее переживал и другие огорчения: и то, что отец не умел стрелять, как гачаг Ханмурад или дядя Нури, что он купец, «стороживший свои весы», что тут, на эйлаге, не любят мою бабушку Фатьму, что у Караджа искалечены пальцы и такой длинный кривой нос и глаза-дырочки, и что он никому-никому не нужен... А мамыны с папой ссоры!.. Они становились все чаще, возникали по всяким пустякам и доставляли мне столько огорчений! И желтые цветы. От них тоже становилось грустно и хотелось плакать. Я очень любил розы, но никогда даже близко не подходил к желтым розам, посаженным отцом в нашем саду.

Меня нашел Караджа.

– Знаешь что, – шепнул мне он, – сегодня наши нападут на Сельбасар!

– Откуда знаешь?

– Твой дядя говорил. Я внизу стоял, слышал... Только смотри – никому!

Я никому не сказал. Увидеть бы, как они отправятся в набег!..

В полдень приехали товарищи Ханмурада. Один из них побрил его. Ханмурад умылся, причесался. Обул сапоги, надел серебристый атласный архалук, вишневого цвета чоху, пристегнул патронташ, повесил сбоку маузер. Бледное его лицо было красиво, как прежде.

Попрощавшись со всеми, он протянул руку мне и улыбнулся:

– Может, когда ты украдешь невесту, дядя Ханмурад со своим отрядом тоже выедет тебе навстречу.

Мама рассмеялась. Даже папа улыбнулся.

Гачаги вскочили на коней и ускакали. Я смотрел, как они поднялись по склону, вытянувшись цепочкой, ступили на узкую тропу и, один за другим сворачивая за гору, скрылись из глаз. Они будто растворились в голубом пространстве.

Сразу стало как-то грустно.

– Мама! Куда они теперь поехали? – Я посмотрел в ту сторону, где скрылись гачаги.

– Куда, куда!.. – вместо мамы ответил папа. – Грабить да разбойничать!

Столько нескрываемой злобы было в отцовском голосе, что я осмелился возразить:

– Дядя Ханмурад не разбойник. Он бедных не трогает... Он маме кольцо подарил!

– Наслушался!.. – презрительно бросил папа.

– Но он же прав... – поддержала меня мама. И улыбнулась.

Я побрел к огромным округлым камням, чтоб обдумать услышанное. «Когда папа увез маму, обрученную невесту другого человека, гачаг Ханмурад мог запросто ограбить их, забрать у фаэтонщика лошадей, оставить их в пустынном ущелье без воды, без еды, а мог бы и разозлиться на папу за то, что украл обрученную девушку, и убить его. Он не сделал им ничего плохого, да еще кольцо подарил. Почему же папа так зол на него? А Ахмедали и Гаджи, и остальные парни все его обожают. И маме Ханмурад нравится...»

Как наши уходили в набег, я, конечно, не видел. Но утром в селении царило оживление. Ахмедали и Гаджи, сидя перед кибитками, чистили ружья. Посмеиваясь, перешептывались молодухи. Одна только бабушка Фатма, в одиночестве сидя позади кибитки, сердито разговаривала сама с собой, как всегда уставившись в одну точку. Любопытствуя, на что сердится бабушка, я встал неподалеку и, вертя по-чабански вокруг себя палку, сделал вид, будто занят только игрой.

– Хорошо, жив остался... Собрал головорезов, да чужое селение обстреливать!.. Скотину чужую забирать!.. А нет того, чтоб подумать, а если, не приведи Бог, в тебя пуля угодит!.. Они что ж теперь, стерпят что ли?.. Явятся ночью да и перебьют всех вас!.. Учили, учили парня, даже урусский язык знает, а вот поддался на уловку проклятого Айваза!.. Мало ему забирать все, что отец твой добудет, и тебя вокруг пальца обвел... Иди в набег, добывай ему коней да овец, он и их прикарманит...

А дядя Нури тем временем оживленно беседовал о чем-то с парнями.

Поев вместе с дедушкой и выпив с ним чаю, аксакалы стали задавать ему множество вопросов о том, как идут дела там, в долине. Потом разговор зашел о сельбасарцах, и бабушка Сакина тотчас же обрушила на них весь свой гнев.

– Мерзавцы! Выродки! Сукины дети!.. Выждали, когда мужиков нет, и напали! Хорошо, Ханмурад тут оказался. Отогнал, хоть и больной был – сразу за винтовку!.. Один разогнал всех, как свору собак!

– Так-то оно так, мама, – заметил дедушка Байрам, – но ведь и род Кербалаи Ибихана не больно спокойно себя ведет.

– Ну уж на детей да на женщин никто из нашего рода не нападал! – с гордостью заявила бабушка Сакина, и я видел, что все сидящие здесь полностью с ней согласны. Я нарочно посмотрел на старого Мохнета. Да, он был согласен.

И тут в разговор вступил Ахмедали.

– Дядя! – сказал он с искренним отчаянием. – Перед тобой у нас шея с волосок. Твоя власть над нами. Любого убей, слова поперек не скажем, но ведь за кого ж они нас принимают, подлецы? Среди бела дня, на глазах наших женщин и детей скотину угонять?! Как жить после такого?! У нас что – не папахи на головах?!

Дедушка несколько смягчился.

– Сельбасарцы глупость затеяли, слава Богу, Ханмурад отогнал их, сберег скотину, чего ж драку затевать?

– Ханмурад не нашего рода. Он не из Курдобы, – не глядя на дедушку, ответил Ахмедали.

– Ну и что! – вдруг вскипел дедушка. – Не из Курдобы!.. Скотина ваша при вас и ладно! На том берегу Аракса шах наших людей истребляет, тут только-только царя сбросили, творится Бог знает что, а мы будем изничтожать друг друга!.. До каких пор?! За ум пора братья.

Наступило молчание.

– Соберете скотину, сколько угнали у сельбасарцев, приставите чабана и чтоб завтра же отогнать в Сельбасар.

– Твоя воля, – почтительно произнес Мустафаоглы. – Приказываешь отдать – отдадим.

Все молчали. И в полном молчании бабушка Сакина сказала вполголоса:

– Сидели бы тихо, никто б их не тронул. На Курдобу полезли!.. Кто Курдобу тронет, тех матери оплакивать будут!

Когда люди разошлись, дедушка позвал в кибитку бабушку Фатьму.

– Скажешь своему сыну, чтоб убирался прочь! Чтоб на глаза мне не попадался!

Бабушка Фатьма долго молчала. И то, что она сказала потом, поразило меня смелостью:

– Сына гонишь, а брату словечка не скажешь? Нури что? Ребенок. Зачем Айваз сбивал парней с толку, зачем посылал в набег? Не подумал, у Байрама единственный сын, зеница ока, не дай Бог, что случится? А может, ему это на руку?

– Хватит болтать! – Дедушка был сильно рассержен. – Я сказал: передай сыну, чтоб убирался!

Дедушку Байрама я очень любил, и все-таки сейчас я был на стороне бабушки. Ведь она такая одинокая, ее никто здесь не любит, а дедушка Байрам еще ругает ее!.. Мне казалось сейчас, что и мама моя не любит бабушку Фатьму.

Нарядный, стройный, с двумя патронташами и наганом за поясом, дядя Нури легким шагом подошел к коню, закинул повод назад и, нарочно не коснувшись ногой стремени, взлетел в седло. Ахмедали и Гаджи, вооруженные, с патронташами, тоже вскочили на коней. Бабушка Фатьма с ковшом воды стояла у кибитки, с мольбой глядя на сына, но тот даже не обернулся к ней.

– Пусть парни проводят тебя до самого Карабулака, – сказала мама.

Дядя Нури презрительно усмехнулся, ничего не ответил и, не простившись ни с кем, тронул коня. Конь сразу сорвался с места. Бабушка Фатьма, бормоча молитву, плеснула вслед воды. Провожавшие разошлись, а бабушка Фатьма все стояла и смотрела вслед удалявшимся всадникам. Когда все трое скрылись за горой, она, ничего не видя перед собой, как слепая, пошла в кибитку. А дедушка Байрам, накинув на плечи бурку, отправился прогуляться по тропке. Я не любил дядю Нури, он или не замечал меня, или был со мной груб, но то, как дедушка прогнал его, даже мне было неприятно. Я как бы разделял горе бабушки. И еще горше мне было оттого, что дядя Нури даже не взглянул на свою мать, коня пустил с места бойко, весело, будто на скачках...

Не в силах сдержаться, я убежал за камни и там заплакал. Тучи, с вечера плотно покрывавшие небо, разошлись, солнце сияло, заливая щедрым светом цветущие луга, покрытые мхом скалы, коней, свободно пасущихся внизу в долине, отары, кучками рассеянные по склонам... Во впадинах среди камней зеркально блестели лужицы, оставленные вчерашним дождем. Вытирая слезы рукавом пиджака, я смотрел на глубокое, лазурное, как озеро, небо и видел бабушку Фатьму, исступленно молящую Аллаха уберечь ее бесценного сына от пули кровника или бандита, и думал о том, где он сейчас, Аллах? Слышит ли он молитву бабушки? И выполнит ли ее? Исполненный любви к Аллаху, я так жалобно взирал на голубое небо, что если бы Аллах мог заметить мой взгляд, он, безусловно, внял бы мольбе бабушки Фатьмы и выполнил все, о чем она просила...

Обретя надежду, я несколько утешился, «оседлал» один из теплых, нагретых солнцем камней – «верблюдов». Караджа увидел меня, положил возле кибитки кизяк, который собирал на пастбище, и подошел.

– Садись на верблюда! – пригласил я Караджу.

Он удивленно взглянул на меня.

– Садись! Видишь, их сколько!.. Целый караван. Мы едем в Нахичевань за солью! – И я, как настоящий погонщик верблюдов, громко выкрикнул: «Хей! Хей!..»

Караджа посмотрел на меня и улыбнулся. Улыбался он очень редко.

– Ну, не хочешь садиться, будь погонщиком! Иди к переднему, держи за повод!

Но Караджа только ухмылялся.

Наконец, «верблюды» надоели мне, я подошел к Карадже и позвал его смотреть силки для куропаток. Силки, установленные на противоположном склоне горы, были пусты, хотя хлебные крошки исчезли.

– Хитры стали здешние куропатки, – Караджа покачал головой и стал снимать силки. – Пойдем попробуем на том склоне. Там их вроде побольше толчется.

По извилистой тропке мы бегом стали подниматься в гору, и вдруг Караджа остановился. Догнав его, я увидел, что в ложбине меж больших камней сидят его мать Кызъетер и чабан Махмуд. Караджа молча повернулся и пошел обратно, он чуть побледнел, и лицо у него было растерянное, жалкое...

– Ты что, Караджа? Чего мы обратно пошли?

Он не ответил.

Я обернулся и взглянул: мать Караджи, смеясь, говорила что-то Махмуду, разговор у них был веселый. Но я ни разу не замечал, чтоб этот румяный рослый молодой чабан вот так весело разговаривал с Караджой. С Караджой никто не разговаривал. Гулу, его старший брат, с рассветом угонял отару на пастбище и возвращался затемно. А если отару отгоняли далеко, Гулу не приходил и ночевать, а спал там же, при овцах, завернувшись в тулуп.

Старшая сестра Караджи Фируза день и ночь работала у дяди Айваза, сбивала масло, готовила похлебку для собак, по нескольку раз в день приносила с родника воду в большом медном кувшине. Но тяжелая работа не сделала Фирузу ни уродливой, ни грустной. Щеки у нее всегда алели, как маков цвет, и красотой она пошла в мать. Направляясь к роднику, Фируза весело перешучивалась с подругами и, они, хохоча, сбегали вниз с горы. Но с Караджой и Фируза никогда не шутила.

– А чего мы вернулись? – снова спросил я Караджу.

Он опять промолчал. И тут я подумал, что Караджа уже который раз делает мне пращу, а я все теряю и теряю их. На воротнике моей курточки приколоты была маленькая серебряная звездочка, мне подарила ее одна из маминых подруг, я заметил, что Караджа поглядывает на нее. Я снял звездочку и приколот к воротнику его старой рубахи.

– Чего это ты? – удивленно спросил мальчик.

– Дарю! – с гордостью сказал я.

– Правда? – Глаза, похожие на дырочки от гвоздей, радостно блеснули.

Я молча кивнул.

Караджа помолчал, подумал, достал из кармана свою великолепную пращу и протянул мне.

Праща была хороша, и, хотя я считал какую бы то ни было мену делом недостойным, Карадже недолго пришлось уговаривать меня – пращу я взял. Уже у самых кибиток мы встретили дедушку Байрама, он не спеша спускался с горы. В бурке, накинутой на плечи, он казался еще красивее: седеющие русые усы, яркие карие глаза, рослый, статный...

– Тебе не холодно? – спросил он меня.

– Нет, – сказал я.

Караджа был одет гораздо легче меня, и чарыки его, и портянки были насквозь мокры, но дедушка не спросил, озяб он или нет. Он только улыбнулся Карадже.

– Смотри, что он мне подарил! – я показал дедушке нарядную пеструю пращу.

– О-о! – протянул он восхищенно. – А ты чем его отдал?

– А я ему – звездочку! – я показывал на ворот его куртки. – Караджа мне куропатку поймает!

– Хорошо, – дедушка снова улыбнулся. – Караджа добрый мальчик. – И немного погодя спросил: – А что, дядя Айваз дает вам что-нибудь из еды?

– Дает... – не глядя на дедушку, буркнул Караджа.

– Дедушка! – я умоляюще посмотрел на дедушку Байрама. – Они очень бедные! Даже обед не готовят!

– Ничего... – Дедушка глубоко вздохнул. – Вот Караджа вырастет, станет настоящим работником, и наладятся их дела...

Мне показалось, что Караджа обрадовался дедушкиным словам.

– На! – Дедушка Байрам достал из кармана несколько бумажек. – Скажи матери, пусть купит что-нибудь на базаре.

– Дедушка! – воскликнул я. – Пусть купит ему новую рубаху!

– Здесь хватит и на рубаху, – дедушка Байрам усмехнулся.

– Ну, а вдруг не хватит? Дай еще!

Дедушка достал еще бумажку.

Дедушка Байрам был единственным человеком, при котором я позволял себе упрямиться и даже капризничать. Мог бы я попросить денег у папы? Никогда! Даже и в голову не пришло бы. Он, может, и не стал бы ругать меня, но я постоянно ощущал разделявшую нас немую стену отчуждения.

– Любишь дедушку Байрама? – спросил я Караджу, когда дедушка ушел.

– А чего ж не любить? – равнодушно ответил Караджа.

Быстрым шагом мимо нас прошла Кызъетер. Щеки ее пылали, глаза блестели и казалось, что она никого и ничего не видит. Караджа молча пропустил мать, даже не взглянув на нее.

– Иди, отдай деньги! – сказал я.

Кызъетер стояла в кибитке и рассматривала в маленькое карманное зеркальце свое пылающее лицо.

Караджа достал из кармана деньги, косо глянул на мать...

– На! Дядя Байрам дал.

Кызъетер быстро спрятала зеркальце и взяла бумажки.

– Тетя Кызъетер! – сказал я, видя, что Караджа молчит. – Дедушка Байрам дал деньги, чтоб ты купила Карадже одежду.

Кызъетер улыбнулась, сверкнув белыми зубами:

– Дай Бог здоровья твоему дедушке! Только ведь у Караджи сестра на выданье, ей обновки нужны!

Я промолчал. Я видел, что Фируза, взрослая, красивая девушка, ходит босая. Плохо одетая, с утра до вечера занятая в доме дяди Айваза, она все равно всегда была веселая и добрая. И когда она иной раз наклонялась и крепко целовала меня в щеку, мне не было неприятно: от нее пахло не мылом, как от Гюллю, а щавелем, который научил меня есть Караджа.

Я заметил, что Фируза поглядывает на моего дядю Нури, но тот не обращает на нее никакого внимания. А однажды случилось вот что. Дядя Нури, вернувшись с гулянья, хотел разуться, но его узкие сапоги размокли от сырости и никак не снимались. В кибитке, кроме меня, никого не было. Тут вошла Фируза и, увидев, что дядя никак не справится с сапогами, предложила:

– Давай стащу!

– Давай!

Фируза стащила один сапог, дернула за второй, не удержалась и упала на спину. Юбка задралась, обнажив ее бедра. Фируза тотчас же с хохотом вскочила, но дядя Нури не смеялся, он молча притянул к себе девушку, поцеловал ее, хотел еще раз поцеловать...

Фируза вскрикнула, вырвалась у него из рук и бросилась прочь. Дядя Нури, насвистывая, сунул под голову мутаку, взял русскую книгу и улегся. Я вышел из кибитки.

– Ты что ж это, сука гульливая?! – услышал я свистящий шепот бабушки Фатьмы. – Распалась не хуже матери своей! Проходу мальчику не даешь!

– Да что я такого сделала?

Мне было смешно, что бабушка назвала дядю Нури мальчиком, и обидно за Фирузу – ведь она и вправду не сделала ничего плохого. И еще это слово «распалась». Почему бабушка так говорит о Кызъетер? Я знал, что бывает такое время весной или осенью, когда верблюды-самцы «распалются».

На другой день стоял густой туман. Подходя к кибитке Караджи, я вдруг услышал взволнованный шепот:

– Отпусти! Пусти, ради Бога! Войдут... Увидят... Твоя мать убьет меня!..

Чего-то застеснявшись, я хотел было уже уйти, но тут из тумана вышел Караджа с полным решетом кизяка.

– Сейчас подожду кизяк и пойдем! – сказал он мне. – В туман куропатка запросто лезет в силоч...

Он не договорил, из кибитки выскочила Фируза и промчалась мимо. За ней вышел дядя Нури.

– Куда это ты собрался? – сразу начал он кричать на меня. – В такую погоду нельзя далеко уходить. А ну марш в кибитку! И этот не соображает!.. – набросился он на Караджа. – Не знаешь, что в тумане волк к самому жилью подходит!

– ... А где твоя звездочка? – спросил папа, когда я вошел в кибитку. Он так строго глядел на меня, что я побоялся сразу сказать правду. – Ты потерял ее?

– Я ее Карадже отдал...

– Карадже? Ты что – спятил?

– А он мне прашу подарил. Очень красивую!

Папа так и взвился:

– Надо же быть таким растяпой! Серебряную вещь променять на грошовую рогатку!..

– А-а! – мама досадливо поморщилась. – Поменялись дети, и ладно! Подумаешь, вещь – три золотника серебра!

– Вот! – гневно произнес папа, указывая на маму, – все ты! Твоя работа!.. Ни на что не годен мальчишка! Рохля! – Папа с брезгливостью отвернулся от меня.

– Не плачь... – вздохнув, сказала мне мама. – Лучше пойдешь умойся. Вернемся в город, пойдешь к ювелиру дяде Степану, он тебе еще лучше сделает...

Раздраженно чиркая спичкой, отец зажег папиросу и вышел. Ссорились они все чаще и чаще, но даже, когда они молчали, я чувствовал напряженность этого молчания. Дядя Нури уехал, но мама все равно подходила к парням, разговаривала, шутила с ними...

Дедушка Байрам редко бывал дома. В сопровождении Кызылбашоглы он ездил по селениям. Когда же он оставался дома, к нему обычно приезжали почтенные люди. Резали барана, ставили самовар, сидели и беседовали. Во всех этих разговорах непременно участвовала бабушка Сакина.

Я видел, что бабушке Фатьме это не по душе. Впрочем, об этом она ничего мне не говорила, хотя я был единственным человеком, от которого бабушка Фатьма не таила свои горести и беды. Я нарочно расспрашивал о ее братьях и сестрах, оставшихся в лесах, и бабушка Фатьма в сладкой печали говорила и говорила о них, и я видел, что ей становилось легче... После отъезда дяди Нури она впала в тоску. Часами сидела она перед кибиткой, глядя на дорогу, по которой уехал ее сын...

Почему в мире так много печали?.. Почему Караджа ни разу не помянул о своем отце? Почему он мрачнеет, когда мать его разговаривает с чабаном Махмудом? И почему Кызыетер не чувствует, что сыну не по себе от ее тайных встреч с пастухом? Почему моя мама никогда не поговорит с бабушкой Фатьмой о том, кто бабушке дороже всех на свете – о дяде Нури? Все эти вопросы, настойчивые, но неразрешимые, угнетали меня. Я ходил мрачный, угрюмый...

А потом произошло совсем непонятное. Ночью мать Караджи Кызыетер сбежала с чабаном Махмудом.

Дядя Айваз бесился.

– Не дала мне тогда пришить эту суку!.. – кричал он на бабушку Сакину. – Осрамила нас! Честь нашу в грязь втоптала!..

Дядя Айваз повсюду разослал людей с приказом, если найдут, обоих пристрелить на месте: «пусть подышают, как собаки!». Но беглецы, видно, знали, что их ждет, и исчезли бесследно. Одни говорили, что их видели на дороге к Техлинскому эйлагу, другие утверждали, что их заметили на равнине в противоположном направлении, еще кто-то сказал, что беглецы направились в Аразбасар...

Я был потрясен. Я не мог смотреть Карадже в глаза.

– Щенки этой сучки такие же, как она! – в ярости орал дядя Айваз. – Не подпускать их близко к кибитке!..

Но Караджа и без того не подходил ко мне, он даже не смотрел в нашу сторону. Он вел себя так, словно был в чем-то виноват.

«Бедный Караджа! – думал я. – Как же он теперь будет без мамы?» Бабушка Сакина, вся кипевшая от негодования, в эти дни особенно выросла в моих глазах. Ведь она, потеряв мужа, ни с кем не сбежала, жила и растила своих детей. И бабушка Сакина не уставала повторять об этом:

– Я с двадцати пяти лет вдовая! Всех радостей земных себя лишила, вырастила пятерых детей!.. Байрама вырастила!.. Айваза!.. А эта сучка вонючая три года без мужика не вытерпела!..

– Чего ж сравнивать!.. – невозмутимо сказал стоявший неподалеку дедушка Мохнет.
– Ты дочь Кербалаи Ибихана. Ты вскормлена праведным молоком. А эта... – Он даже не стал говорить. Махнул рукой...

Бабушка Сакина горестно вздохнула.

– Не будь я дочерью своего отца, – помолчав, сказала она, – если хоть за день до смерти не отыщу их! И, связав животом к животу, велю сбросить в пропасть!..

Караджа слышал все это, стоя за кибиткой. Я подошел к нему, встал рядом. Он мельком глянул на меня своими дырочками-глазами и вздохнул. Так мы и стояли молча. Потом вышел папа.

– Иди! Обед стынет.

Я не шел домой, стоял, смотрел на Караджу. Мне казалось, что если я уйду сейчас, оставив Караджу под морозящим дождем, и сяду за плов с куропатками, я совершу что-то постыдное. Длинноносое лицо Караджи было спокойно и невозмутимо. Он не плакал, он не был жалким, но он был непонятен мне, и сколько я ни глядел на него, не мог понять, что чувствует этот мальчик.

– Ты что, не слышал: обедать! – сердито крикнул отец.

Караджа повернулся и пошел. Дождь становился все сильнее. Я глядел на Караджу, на его намокшую спину, и в который раз подумал о том, что он плохо одет, куртка и старые шерстяные штаны на нем почти всегда влажны от горной сырости, а он никогда не болеет...

Ближе к вечеру мама тихонько позвала Фирузу, наложила большую миску плова, оставшегося от обеда, и протянула ей.

– Возьми. Поедите с братом.

Фируза накрыла миску концом платка и унесла.

Шел дождь, мама меня никуда не выпускала, я стоял у двери и не отрывал глаз от кибитки Караджи. Когда начало темнеть, я увидел, как он, оглядываясь по сторонам, воровато проскользнул к себе. Все остальные дни, что мы оставались на эйлаге, мама всякий раз откладывала часть обеда, и Фируза тайком уносила миску домой.

Когда из очередной поездки вернулся дедушка Байрам, к нему сразу бросились с рассказом о побеге Кызъетер.

– Байрам! – взывала к нему бабушка Сакина. – Сын мой! Тебя все знают, все уважают! От тебя не станут укрывать беглецов. Найди эту стерву! Накажи ее, покрывшую нас позором!..

– Втоптала наши папахи в грязь! – мрачно сказал дядя Айваз.

А дедушка Байрам не сказал ничего. Зажег папиросу, набросил на плечи бурку и вышел.

ЛЕГЕНДА О КЫЗЪЕТЕР, РАССКАЗАННАЯ СТАРЫМ МОХНЕТОМ

– Шесть дочерей принесла жена Гюльмалы Делисаю... – старый Мохнет глубоко затаился, помолчал... Я не отрывал взгляда от старика – на моих глазах рождалась новая сказка. – Когда родилась седьмая девочка, Гюльмалы до полусмерти избил жену и строго-настрого приказал: чтоб «не вздумала больше рожать девочек. А потому эту седьмую дочку так и называли: Кызъетер – «хватит девочек».

Но хоть и нежеланной пришла в наш мир Кызъетер, а стала истинным его украшением: хорошела она год от года, а как вошла в пору да заневестилась, люди только диву давались. Луне могла сказать: «Не всходи, я светить буду!», солнцу могла сказать: «Не взбирайся на небосвод, сама мир светом озарю!»

Встретят ее старухи, ворчат: «Опять, паршивка, маком щеки натерла!..»

А она ничего и не терла, сами горят, как маков цвет... А уж статью удалась Кызъетер – ну, будто молодой кипарис. Идет к роднику с кувшином на спине, точно лань ступает...

Сваты сменяли один другого, а мать все не решалась отдать свое сокровище: «Моей дочери ханский сын под стать!» Гюльмалы хорошенько проучил жену палкой: «Не видишь, дура, девка вызрела – дальше некуда?!» – велел обручить дочку со своим племянником. И стали сваты возить Гюльмалы подношения. Пшеничной муки – вьюк верблюжий, рису – такой же вьюк, семь баранов пригнали во двор... Обручили девушку с двоюродным братом, а вскоре народ подался на эйлаг, а жених Кызъетер остался – урожай собирать, невесте своей дал слово: «Кончится первый обмолот, приеду, платок тебе привезу и парчи на платье».

Ждала, ждала его Кызъетер на цветущем эйлаге, только не приехал ее суженый. И послала она ему письмо. А ашуги ее слова на музыку положили.

Где же ты, нареченный мой?
Лето мимо прошло, не приехал ты.
Сколько мучилась я, – не приехал ты.
Вот и осень идет, не приехал ты!..
Я любила тебя, я ждала тебя,
Я себя для тебя лелеяла.
Я рабой твоей возмечтала быть,
Но, бессовестный, не приехал ты!..*

Осенью, как вернулись в долину, узнала Кызъетер, что забыл ее нареченный, другую полюбил – дочку мельника. И решила она, оскорбленная, что найдет жениха лучше этого – отомстит своему изменнику.

Не прошло месяца, сбежала она с сыном Сакины из Курдобы Алмамедом – внуком Кербалаи Ибихана.

Свадьбу играли три дня и три ночи, тридцать баранов, семь телят прирезали... Вся округа собралась на свадьбу Кызъетер. Но жених ее, обрученный, не смирился с таким поношением, глубоко затаил обиду.

«Пусть он внук Кербалаи Ибихана! Я правнук Гасана Одноухого!».

Не много лет прошло, свела их судьба на узкой дорожке. Правнук Гасана Одноухого проворней оказался, всадил в Алмамед три пули подряд. Только в скором времени и сам получил три пули – сразил его сын повитухи, принимавшей когда-то Алмамед. Собрались аксакалы, судили, рядили, уговорили кровников замирились. Замирились-то замирились, только злобу куда денешь?.. Стали бедную Кызъетер ругать, попрекать, со света сживать:

«Из-за бешеной сучки два таких молодца головы свои сложили!..» Свекровь Сакина видеть ее не хочет, деверь Айваз слова доброго не скажет... Но только Кызъетер все нипочем: родня ее хулит да клянет, а она цветет, как маков цвет, – полыхают огнем щеки алые, да и вся она как огнем горит, а идет – под ней земля ковром стелется. Увидел ее раз чабан Махмуд, влюбился в нее без памяти. Спать не спит, есть не ест, только о ней и думает... Как-то шла она с родника, видит: замер тот, стоит на скале и глаз с нее не сводит, а сам красавец красавцем.

Не раз примечала Кызъетер его пылкий взгляд и приостановила она подруг: чего ему, дескать, надобно?...

А чабан огляделся по сторонам, подошел и заговорил жарким шепотом:

– Моя милая, ненаглядная, люблю тебя больше жизни. Пойдешь за меня, красавица?

Кызъетер засмеялась ему в глаза:

– Сдурел парень! Совсем заврался!

– Да не вру я! Люблю тебя! Больше жизни люблю!

– Да ты ж вон какой: молодой, красивый, а у меня трое мал мала меньше. На что я тебе такая?

– Да будь у тебя хоть девятеро! Одна ты мне нужна! – Сказал, да и снял у нее с плеча кувшин с водой и поставил на землю. И в глаза поглядел ей пристально.

– Ну и наглости у тебя! – Кызъетер головой качает, а у самой огонь побежал по всем жилочкам... А тот за руки ее хват, к себе тянет...

– Ты что? Увидят!..

А кому видеть, кругом ни души... Оглянулась она по сторонам – нет никого, прижалась к парню да так и впилась в него жаркими губами – третий год безмужняя ходила.

С того дня и повелись у них тайные встречи. Не разбирая ни дня, ни ночи, сходились они в душистых лугах и предавались любовным утехам. Только рот у людей, что разверстый мешок, а глаз у народа – соколиный. Как ни таили они свою любовь, все обнаружилось. И пошли старухи вздыхать, бормотать: «Эта сука гульливая опять нас кровью зальет!..» А девушки, так те морщились: «Нашел, дурень, в кого влюбиться! Она, кляча старая, в матери ему годится!»

Сколько веревочке ни виться, а кончику быть. Вот как-то раз Айвазова жена зовет Кызъетер в сторонку, говорит, брось, мол, ты своего чабана: узнает деверь, на куски тебя изрежет.

И наутро, тайно встретив любимого, сказала ему Кызъетер такие стихи:

На горах – снега след,
На цветах – позора след,
Умираю – в сердце милого след,
Не достигла своих желаний я...

– Что это ты горюешь, Кызъетер? – спрашивает ее чабан Махмуд ласково.

– И не спрашивай, дорогой ты мой! Против нас пошла судьба-разлучница. Разлучит она нас с тобой!

– Ну, судьба только слабых осиливает!

– Что ты можешь один против племени, против рода Кербалаи Ибихана? Нет, милый мой, если можешь, увези меня, иначе нам с тобой и не свидеться!

– Твое слово – для меня закон! Как скажешь, так и будет!

Но тут вдруг Кызъетер взяло сомнение:

– А решился бы ты убежать со мной? Скажи мне правду!

– Куда камень ты бросишь – туда голову положу! Больше мне сказать тебе нечего!

Искупала она детишек своих, постирала одежонку, заштопала, напекла два лотка чуреков им... А ночью, как заснули они, поглядела она на них, поплакала и, поручив их Аллаху, ушла из родной кибитки...

Днем беглецы в скалах прятались, ночью шли. Долго ли, коротко ли – добрались до быстрого Аракса. Свиреп был в ту пору Хан-Аракс: высоко вздымал свои волны. Взяли они два пустых бурдюка, сунули в них одежду свою, надули их, привязали к поясу. Короче, перебрались через Аракс. Шли, шли, дошли до владений одного хана. Приходят к управителю. Он: что, мол, надо? – Хотим хану послужить.

Сам хан был человек в годах, дома не жил, все больше охотой забавлялся. А жена его, молодая персиянка, блудлива была и мужем вертела, как хотела. Увидела она Махмуда, у нее слюнки потекли. И велела она управителю, чтобы женщину приставить коров доить, а парня – во дворец прислуживать. Махмуд говорит, я прислуживать не обучен, я – пастух, только жена хана свое дело знает – ничего, говорит, научись. И сама улыбается.

Приметила Кызъетер ту улыбочку, похолодела вся, но ни слова не молвила. А жена хана нарядила Махмуда, словно бекского сынка, и красив стал он в том наряде, как Юсиф Прекрасный, и стать сразу другую обрел, и повадки, как у придворного...

... Жили они с Кызъетер в комнатушке, в той части дворца, что для слуг. Слугам, какие по хозяйству, в ханские покои и ходу нет, а Махмуд лишь в ханских покоях и находится. Только Кызъетер была гордая, ни разу не спросила, чем, мол, там ты при госпоже занимаешься?

Но заметила Кызъетер, что нет в любимом ее жара прежнего, не вьется он вокруг нее, затаила она это в себе и виду нисколько не показывала.

И вот как-то хан со свитой уехал на охоту, а Махмуд и говорит Кызъетер: я, мол, нынче ночевать не приду, во дворце останусь. «Зачем же так?» – спрашивает она. «У двери буду сторожить, где госпожа спит.» – «Что ж это, кроме тебя, во дворце слуг нет?» – «Да что ты пристала! Госпожа, может, никому так не доверяет, как мне!» – «Ну, раз доверяет, иди, сторожи!»

Сказала она так вроде тихо, спокойно, а сама вся дрожит, как листочек под ветром. Ночью нет ей, бедной, сна, встала она с одинокой своей постели, кругом все спят, пробралась в покои ханские, к ханской опочивальне крадется. Только нет ее Махмуда настороже у двери. Отворила тихонько дверь – спит ее Махмуд сладким сном в обнимку с молодой персиянкой. Глядела, глядела она на спящих... Потом пришла в свою каморку, взяла Махмудов чабанский нож и вернулась в опочивальню ханскую. Сперва думала ханшу убить, да решила, нет, проснется он, помешает делу задуманному... И вонзила кинжал в грудь любимого. Открыл он свои глаза, сказать что-то хотел, да только простонал жалобно... А она кинжал вынула – да ханше по самую рукоятку в грудь! И пошла себе прочь из спальни... Видит, заперты ворота железные. Прислонила к ограде лестницу, перелезла наружу да сгинула. С той поры никто ее не видывал...

Старый Мохнет затынулся, выпустил дым изо рта...

– Шла она, шла, и сама не знает, куда идет. Только вышел навстречу ей пророк Ильяс – а живет он столько лет, сколько мир наш стоит, – и сказал: «Нельзя тут тебе одной, женщине, зверь тебя задерет. Ты закрой глаза, а откроешь их, окажешься в своем селении.» – «Не хочу я в свое селение!» – «А куда тебе желательно?» – «И сама не знаю. Не могу я больше видеть людей.» – «Ну тогда, – говорит ей пророк Ильяс, – твой был грех, твой и ответ будет.» И исчез, как растаял в воздухе. А та, бедная, дальше идет. И вдруг видит: свадьба, да какая!.. Сидит на золотом троне красавица – музыканты играют, пляшут танцовщицы... А на скатерти, что расстелена на ковре, стоит все, что твоей душеньке угодно...

И спрашивает Кызъетер та красавица, что на троне сидит из чистого золота: «Как ты, смертный человек, оказалась здесь?» – «А ты кто есть? – говорит Кызъетер. – Разве ты сама не смертная?» – «Я Царица Фей», – отвечает та. И поведала ей Кызъетер обо всем, все поведала, что с ней приключилось. И спросила ее Царица Фей: «Охладилось ли сердце мстью?» – «Нет, горит оно, не охладило. Пока есть на свете неверные, мести жаждет мое сердце израненное». – И призвала тогда Царица Фей Слепого Дьявола и велела ему, чтоб с этого дня был он в подчинении у женщины.

И надела Кызъетер чарыки железные и ходит по белу свету – мечь творит неверным изменникам, что бросают своих возлюбленных...

... Старый Мохнет замолчал. Впервые прозвучал в горах рассказ о Кызъетер и Махмуде, где правда была перевита с вымыслом, прозвучал, чтобы стать легендой и жить в веках и передаваться из уст в уста... Как горестно, как проникновенно звучал голос старика, какая тоска была в глазах его, когда, заканчивая повествование о Кызъетер, смотрел он вдаль, на притаившиеся в тумане вершины!.. Кого видели там старые его глаза? Себя, молодого и сильного? Свою юную прекрасную возлюбленную? Или молодость безвозвратную, что прекраснее любой возлюбленной?..

И глубокая печаль, рожденная творением Мохнета, окутала меня, овладела моей душой, и я не мог понять, почему не в силах избавиться от нее.

Печаль эта долго жила во мне. Я слушал игру ашуга или исполнение мугама и медленно погружался в печаль, не пытаюсь противостоять ей, не пытаюсь понять, откуда она... И вечерами, когда зажигались огни или когда я видел кочующий караван, меня каждый раз охватывала эта огромная неизъяснимая, сладкая тоска.

Утром, когда всходило солнце, маки радостно сверкали навстречу его лучам, а когда солнце садилось и в вечерних сумерках на горы опускался туман, печаль туманом ложилась на землю, и маки, словно разочаровавшись во всем на свете, печально склоняли головки... Порой мне казалось, что и маки, и Ослиный родник, что весело журчит по разноцветным камешкам, – живые, все понимают, все чувствуют, лишь не умеют сказать... И эти горы, и росистые травы, по которым босиком ходит Караджа, и солнце, что грустно прощается с ним каждый вечер, – все они в отличие от людей сочувствуют мальчику. А Караджа, наверное, и не знает, что мать его Кызъетер, обиженная и презираемая людьми, стала сказкой, и как горы, что будут стоять, пока стоит мир, вечно будет жить среди людей и мстить вероломным изменникам... Вот только пришла бы она хоть разок повидать Караджу!.. Хоть тайком!.. Он знал бы тогда, что мать жива, не страдал бы так, не прятался от людей...

Да, с того дня, как мать Караджи сбежала с пастухом Махмудом, мир словно окрасился в желтый цвет, цвет печали, и меня уже не тянуло ни кататься на «верблюдах», ни метать пращей камни, ни ставить силки на куропаток...

Лето кончилось. По утрам на траве серебрился иней. Туман не покидал вершины гор. Пастушьи тулупы, бурки всадников уже не снимались с плеч, по вечерам в кибитках разводили огонь. И вот однажды под конец дня кибитки были разобраны, войлок скатан, деревянные опоры, тюки, бурдюки с сыром и маслом навьючены на верблюдов. Кони стояли оседланные, и как только народилась луна, кочевье двинулось вниз на равнину.

Мне очень хотелось ехать на верблюде, я с вечера попросил об этом маму, и Ахмедали предложил, чтоб я ехал с его женой.

Верблюд, на котором мы ехали, украшен был маленькими зеркальцами, разноцветными стеклышками, медными бубенчиками, а упряжь расшита была красным и бирюзовым бисером. Дедушка, папа, мама ехали верхом. Звон бубенцов на длинных верблюжьих шеях, когда те шли, покачиваясь в тишине освещенных луной предгорий, сливался в какую-то странную незнакомую музыку... «Ну как, не замерз?» – спрашивал Ахмедали, время от времени подъезжая к нашему верблюду. А молодая жена его улыбалась, освещенная лунным светом, и говорила: «Чего ж ему мерзнуть у тети на руках?»

Мне было смешно, что такая молодая она называет себя «тетей», и я улыбался. От молодой женщины хорошо пахло парным молоком.

Кочевье не спеша двигалось по побитой, исхоженной дороге, вьющейся по склону горы, а я смотрел вниз, и мне казалось, что там, внизу, тоже небо: огоньки, звездочки сияли в тесном ущелье. Звук бубенчиков, кусок звездного неба вверху, мерное покачивание верблюда, аромат парного молока, исходящий от молодой женщины, – я свернулся на тюке, положив голову ей на колени, – все это навевало сон, убаюкивало, и казалось, что мы движемся так давно-давно... Куда мы едем?... Откуда?... И всегда будем так вот ехать, всегда будут эти два неба: вверху и внизу, и звездочки вверху и внизу...

Бабушка Сакина, ехавшая на переднем верблюде, под этим звездным небом над этим звездным ущельем, громким густым басом затянула вдруг баяты.

И ровесник ее Мустафаоглу отозвался ей с другого конца каравана:

Луна вошла лучистая,
Два верблюда у дверей,
Броситься бы в объятия любимой,
Вышел бы я весь в поту.

В глубокой тишине ночи звон бубенчиков, превращаясь в тихую песню, уносил меня в далекие дали, непостижимые, полные сладкой волшебной тайны, и в этих неведомых далях, в такой же вот лунно-звездной мгле я видел то Кызъетер, бредущую по степям, то Царицу Фей на золотом троне, прекрасную, как моя мама, и танцующих перед ней обнаженных красавиц... Видеть Кызъетер, убивающую жену хана, я не хотел и отгонял от себя это видение, но зловещая картина неотступно маячила где-то рядом. И тут перед моим мысленным взором возник вдруг Караджа, и, подняв голову, я спросил:

– А где Караджа?

– Он там... – улыбнувшись, ответила мне жена Ахмедали. – С отарой идет.

– Пешком? – ужаснулся я.

– А чего ж такого? – сказала она, улыбаясь спокойно и умиротворенно. – Пастухам помогает. За коровами, за телятами присматривает! Да ты спи, спи, малый. Положи голову!

Но я больше не положил голову ей на колени, я положил ее на тюк, и в голове моей была только одна мысль, одна картина перед глазами: Кызъетер, вонзающая кинжал в грудь изменника, и мне казалось, что горе уже не так давит Караджу, а сам он перестает быть жалким брошенным сиротой, становится сильным, ловким, отважным... Впервые я ощущал, сам того не понимая, конечно, как сладка месть, как она остужает раскаленное обидой сердце.

Внизу, в ущелье, наша семья отделилась от общего кочевья, и мы поехали в папино родное село Гюздек. Мама очень не хотела ехать, но папа настаивал. Дедушка Байрам и бабушка Фатъма вместе с остальными отправились дальше – в Курдобу.

... Мы поднялись на широкую веранду двухэтажного каменного дома, крытого красным железом, пахло ароматом свежечищенных орехов, аромат был приятным и незнакомым. Новый приятный запах как бы вводил меня в новый мир.

Бабушка Халса, которой давно уже исполнилось восемьдесят, пушинкой впорхнула на веранду. Была она в кофте, в длинной юбке, в переднике и босиком.

– Ах, вы, мои родные!.. Ах, вы, мои хорошие!.. – твердила она, целуя меня и сестренку.

– Бабушка, почему ты туфли не носишь? – спросил я, взглянув на ее босые ноги. – Папа же купил тебе.

– Ох, ты мой милый! – умилилась бабушка и, поправляя толстую шаль, которую носила на голове и зимой, и летом, сказала виновато: – Не могу. Как туфли надену, дышать нечем!

Бабушка Халса была легкой и верткой, как птичка, и никогда не носила обуви, ступни у нее были как воловья кожа, а все потому, что с раннего утра успевала босиком обойти все село и собрать все новости. И никакие колючки не впивались ей в ноги.

Вслед за бабушкой пришел поздороваться с нами старший брат отца дядя Губат, потом жена его Шахханум.

Семья дяди Губата, в том числе и Бахлул – сын от первой жены, жили на первом этаже, а комнаты верхнего этажа, чистые и нарядно убранные, держали для гостей. В одной только сушились коконы.

Дядя Губат был простой крестьянин в чарыках, высокий и широкоплечий. Бабушка Халса овдовела, когда дети были совсем маленькие, и выучить смогла только моего отца.

Мама не больно жаловала родню мужа, но бабушка Халса была ей по душе. Ей нравилось, что старушка такая живая, бойкая, так весело говорит и за час может обежать все село. И мама всегда улыбалась, разговаривая с бабушкой Халсой. А когда бабушка приезжала в гости, обязательно готовила долму, это была любимая бабушкина еда. Папа тоже был приветлив с матерью, и все равно старушка у нас не задерживалась. Побудет денька три-четыре – «Ну, я поехала!». Папа покупал ей отрез на платье, туфли, брал обещание, что мать станет их носить, та обещала, но все равно никогда не обувала туфель. Бабушка Халса не знала ни сказок, ни легенд, как бабушка Фатма, никогда не говорила ни о прошлом, ни о будущем. Зато сегодняшние события, во всяком случае в пределах своей деревни, были ей известны досконально.

КАК НИСА КОРОТКАЯ ЗАСТАВИЛА СОРОК ЧЕЛОВЕК ПЕРЕБИТЬ ДРУГ ДРУГА

Примерно в версте от села за длинным косогором расположились сады жителей Гюней Гюздека. Участки, довольно большие, не отделялись один от другого, никаких оград не было, и я всегда дивился, как они различают свои густые, словно лес, сады, как не запутаются в них. Но они не путались, никто никогда не дотронулся до чужого дерева. Старики говорили, что сады эти заложил мой прапрадед, Ахмед-годжа. Был он родом из Эрзерума, а зачем прибыл из столь далеких краев, никому не было известно.

Больше всего в садах было винограда. Мощные, толщиной в руку лозы обвивались вокруг высоких яблонь, сливовых и абрикосовых деревьев и вверху так густо переплетались широкими своими листьями, что ни один луч света не проникал на землю, и земля всегда покрыта была свежей травой.

Вскоре после того, как мы приехали, начался сбор винограда. Дядя Губат и его взрослый сын влезали на деревья с длинной палкой, раздвоенной на конце, с ее помощью срывали тяжелые гроздья и опускали их вниз в лукошки. Женщины перекладывали виноград из лукошек в корзины, корзины грузили на большие арбы-четыреколки и везли в село.

Но интереснее всего было видеть, как дядя Губат давит виноград. Высоко подвернув штаны и чисто вымыв ноги, он влезал на навес, где на особой циновке из прутьев лежал виноград, и начинал давить и месить его. Он давил виноград, сок стекал в подставленные под навесом тазы, тазы наполнялись, их уносили и ставили на огонь, чтоб варить на медленном огне, – получался бекмез. На нитку нанизывали ядрышки грецких орехов, опускали в бекмез, еще немного варили. Потом высушивали – получалось вкуснейшее лакомство. Варили с бекмезом сливы или абрикосы – получался ирчал, что-то вроде нашего варенья. Сбор винограда, варка бекмеза, ирчала – было самое лучшее, самое веселое время в году.

И вот, посреди этого веселого оживления, вдруг разнеслась весть, что Вели из рода Велиш зарезал в саду Джаби из рода Эфенди. И тотчас все вздыбилось, перемешалось... Мужчины из рода Эфенди, нашего рода, похватили оружие и вышли на деревенскую площадь. Дядя Губат вымыл ноги, оделся и тоже вышел на площадь. Только под вечер стало известно, что убийство произошло из-за Айны. Айна была первой красавицей в селе, я с Бахлулом, бегая иногда к кягризу, встречал там ее, приходившую за водой, и каждый раз обмирал от восторга. Дядина соседка, веселая, говорливая молодуха, посмеивалась надо мной: «Гляди-ка, Айна, никак этот городской парнишка глаз на тебя положил...»

Я убежал, смутившись, а наутро вместе с Бахлулом снова отправлялся к кягризу и дожидался, когда придет Айна. Я и понятия не имел, что значит «положить глаз», но мне было удивительно приятно смотреть на Айну. Бахлул показал мне и мужа Айны, коротышку Фаттаха с маленьким, как лесной орех, носиком. У Фаттаха была лавка, он торговал папиросами, спичками, конфетами в ярких обертках, керосином... Смотреть на него было противно, и я подбивал Бахлула кидать камнями в его лавку. «Ай-ай-ай! – сказал хозяин, как-то поймав нас. – Нехорошо! В дядину лавку – камнями!..»

Уже после убийства Джаби я из разговоров женщин узнал, что этот красивый, статный парень давно любил Айну, но родители девушки не отдали ему дочку, пристроили ее за денежного Фаттаха. И вскоре по деревне разнесся слух, что «Айна развлекается с Джаби». Вот тогда одна из почитаемых в роду старух Ниса Короткая и стала подбивать двоюродных братьев Фаттаха отомстить за честь рода. «Фаттах – человек без чести, только и знает посмеиваться! А жена его валяется с Джаби в скирдах соломы!.. Ходите, задрыв нос, а весь род Эфенди над вами потешается!.. Мужчины!.. Папаху носят!..»

Вели отправился в сад, подстерег там Джаби и зарубил его остро отточенным секачом.

Через три дня после этого Джаббар Белоглазый ночью застрелил Вели через дымоход.

Джаббар Белоглазый был высокий, худой и страшный. Когда он в упор смотрел на человека, особенно если злился, белки глаз у него делались огромными, лицо зеленело. Джаббара прозвали Людоедом, и я боялся его. Он приходился нам родней, часто появлялся у нас, иногда папа называл его племянником, и хотя лицо у Джаббара при этом слегка смягчалось, он никогда не отвечал на папины шутки.

Вечером, когда брат Вели Бешир задавал корм скотине, Джаббар со своим братом Шахмаром вошли в хлев и зарубили его. Потом родственники Вели точным выстрелом издали убили Шахмара, стоявшего в дверях собственного дома. С того дня никто из нас огня вечером в доме не зажигал.

А потом был осенний солнечный день, девушки и молодые женщины возвращались с поля, а я, стоя на веранде, смотрел на них, потому что Айна была с ними. Под мышкой у каждой был туго набитый мешок с зеленью, хлеб в этот год не уродился, и приходилось нажимать на зелень. И вдруг я увидел: навстречу женщинам вышел Муртуз – высокий молодой парень, поднял к плечу ружье и выстрелил. Айна, как подстреленная птица, молча упала на землю. Парень вынул из ружья гильзу и не спеша пошел дальше, а женщины засуетились, заголосили... Бросив Айну расprostертой на земле, они побежали в село и, не успев еще Муртуз перевалить за косогор, как Сардар, двоюродный брат Айны, выбежал из села, присел и, целясь с колена, два раза выстрелил в Муртуза. Тот обернулся, отстреливаясь, скрылся за косогором, и тут же все мужчины села выскочили на площадь.

И началась между двумя родами самая настоящая война. Кинжалы, пистолеты, вилы, камни – все пошло в ход. Один из папиных двоюродных братьев убил троих, четвертого ранил. Не прошло и трех дней, как Вахид из рода Вели сразил его метким выстрелом.

Бойня не прекращалась, потому что не было власти, чтобы пресечь ее. Отец почти не выходил из дому и всегда имел при себе пистолет. И тогда дедушка Байрам, услышавший про такие дела, прислал Кызылбашоглы Али с пятью вооруженными всадниками, чтобы доставить нас в город. Среди приехавших были Гаджи и Ахмедали. Как всегда, довольные, жизнерадостные, они весело перешучивались, словно кровавые события в Гюней Гюздеке были самым обычным делом. Зато Кызылбашоглы помалкивал и внимательно слушал рассказы отца о том, кто кого убил. Ахмедали и Гаджи посмеивались над местными жителями, кочевник всегда свысока смотрит на оседлых крестьян, не считая их способными на решительные действия, на геройство. Обвешанные патронташами, с пистолетами на боку, они снисходительно поглядывали на гюздекцев, а те провожали их злобными взглядами.

ОСЕНЬ В НАШЕМ САДУ

Когда мы вернулись домой, первым, кого мы увидели, был Иман-киши, с кувшином возвращавшийся с кягриза.

– Добро пожаловать! – сказал он, ласково улыбаясь.

Потом из нижней комнаты вышла тетя Кеклик в белом платье, поцеловала меня с сестренкой.

– Слава Богу, вернулись целые-невредимые!

Мы с сестренкой сразу побежали в сад. Все казалось мне новым и незнакомым. Среди яркой листвы яблонь и айвы проглядывали зрелые плоды. Инжир на деревьях висел огромный – каждый величиной с блюдечко.

– Спасибо, Кеклик, – с удовлетворением сказал папа. – Ребята твои хорошо смотрели за садом.

– А как же! – по обыкновению громко сказала тетя Кеклик. – Уговор дороже денег. Ни одной поливки не пропустили.

Тетя Кеклик и четыре ее взрослых сына были бедны, но в их бедной жизни была для меня странная привлекательность – они жили весело, тетя Кеклик никогда не жаловалась, голос ее звучал бодро и уверенно. Сыновья немного подрабатывали, один вскапывал огород соседу, другой скупал поспевшие фрукты и вез их в город, продавая на копейку дорожке, другие тоже весь день были чем-то заняты, а вечером, рассевшись кружком на старом паласе, которым застлан был чистый земляной пол, с аппетитом ели лапшу или довгу, приготовленную матерью. Ни разу я не почувствовал в них зависти к богатству, к нашей безбедной, обеспеченной жизни. Они, казалось, просто не думают об этом, не замечают разницы. Это делало легким общение с ними, я не ощущал между нами нравственной преграды. Младший сын тети Кеклик был года на три старше меня, иногда он вырезал мне арбу из арбузной корки, или еще как-нибудь забавлял; жизнь этой бедной семьи казалась мне намного привлекательнее нашей.

Иман-киши по-прежнему жил в своем вымышленном мире. Разнеся воду соседям, он покупал в пекарне Темира Медведя чурек, сдобренный яйцом и посыпанный маком, и шел домой.

Пообедав тем, что принесли ему мы или соседи, он брал книгу с разорванными пожелтевшими листьями, подносил ее к маленькому окошечку и начинал «читать». «Коран да пребудет Кораном, сын Земли, гикнув, взлетел на небо... Гюльбес заколдовал черных кур...».

Махтаб по-прежнему тайком бегала к Иману-киши. Иман-киши сажал ее на колени, улыбался и, набирая полную ложку, кормил ее из своей миски:

– Поешь, хохлаточка!.. Поешь, моя деточка...

НОЧНЫЕ СОБРАНИЯ В НАШЕМ ДОМЕ

«Свобода» все продолжалась. Теперь грабили уже среди бела дня прямо в центре города. Знатные уважаемые люди разъезжали только в сопровождении вооруженной охраны.

Приехал дедушка Байрам с бабушкой. Когда мы пришли к ним, дедушка раздраженно прохаживался по комнате, а бабушка Фатма, пригорюнившись, сидела на своем топчане. Оказалось, что пока все были на эйлаге, дядя Нури распродал ковры и другие ценные вещи и исчез в неизвестном направлении.

Мама, как всегда, стала отчитывать бабушку Фатму.

– Ты во всем виновата, одна ты! Скрывала от отца его проделки, деньгами его засыпала! Сколько ты ему в Шушу денег послала, а он со всякими подонками по кабакам шляется!..

Бабушка Фатма молча слушала ее, забыв про дымящуюся в руке папиросу, и тупо глядела в угол своими большими светлыми глазами, от взгляда которых теряли когда-то разум джигиты. Лицо ее не выражало ничего.

Папа и мама пытались узнать, где дядя Нури, но ни один человек не видел его. Дедушка Байрам в гневе не велел разыскивать сына. А бабушка Фатма день и ночь молилась за своего Нури и делала подношения городским сеидам.

Папа с увлечением взялся за дела. У армянского священника, который уезжал из наших мест, он купил дорогую заграничную мебель, серебряную и золотую посуду, комнаты наши были теперь обставлены по-европейски. Все местные гачаги и разбойники из уважения к дедушке Байраму не трогали отца, и, пользуясь этим, отец с двумя компаньонами свободно переправлялся через Аракс и вел дела с иранскими купцами.

Молокане, боясь усиливавшейся «свободы», во множестве уезжали в Россию, и у одного из них отец купил бирюзового цвета дом в полтора этажа с большим ухоженным садом. Магазин его разрастался, отец пристроил к нему магазин тканей.

В последние дни в большой зале нашего дома стали собираться по вечерам гости. Приходил дедушка Байрам, кази Мирзали, мясник Мешади Курбан и другие уважаемые люди. Я вслушивался в разговоры о новом правительстве, недавно установившемся в Баку и называвшемся «мусават» – «равенство». Дедушка объяснил, что правительство это называется так потому, что всех людей хочет сделать равными. Хочет, чтобы правительство было выборным, чтоб выбирали его все на равных правах, чтоб правительство это было независимым и чтоб Азербайджан, не подчиняясь никакому другому государству, стал самостоятельным.

– И вы что ж, верите, что в учреждениях будет одинаковое уважение к кузнецу Мусе и, например, к Джавад-аге – спросил как-то мельник Махмуд.

– А почему бы и нет? – заносчиво ответил мясник Мешади Курбан. – Джавад-ага такой же человек. Не с неба свалился!

– Так-то оно так... – уста Махмуд вздохнул. – Вот мы с тобой не беднее Джавад-аги, и народ нас, слава Богу, уважает. А все равно – помяни мое слово – в канцелярии почет будет бекам, а не тебе. Как ты был простой подданный, так им и останешься.

– Конечно, – глубокомысленно заметил дедушка Байрам, – возможно, что равенство установится не сразу. Такие перемены враз не осуществишь. Но если есть намерение ввести всеобщее равенство, рано или поздно оно будет введено.

– Пророк и сам был сторонником равенства, – назидательно произнес Кази Мирзали, докурив третью по счету толстую папиросу. – Святой Али не имел иного имущества, кроме единственного верблюда.

– Истинно! – согласился папа. – Причем, торговлю пророк считал праведным делом, он и сам занимался ею.

– Спета их песенка! – с уверенностью заявил Мешади Тара, имея в виду беков. – Будущее принадлежит торговле!

Беки к нам в гости не приходили, в разговорах этих не участвовали. Но маму очень тянуло к ним, она вела дружбу с женщинами из бекских домов: с дочерью городского пристава Захрой-ханум, с Махбубой-ханум, дочерью владельца бань, с Бике-ханум и дочерью самого Джавад-аги. Мама любила ходить в гости к своим именитым подругам и нередко брала меня с собой. Обстановка у них была не богаче, и кормили у них не вкусней, чем у нас, но при всем том я не мог не ощущать, что и хозяйки, и их дети держали себя высокомерно по отношению к нам. Мальчишки моих лет, обращаясь друг к другу, говорили «бек». Я избегал сына Джавад-аги и предпочитал играть с сыном тети Кеклик или с племянником пекаря Темира Медведя. Мама была очень недовольна моей тягой к плебеям.

– В отцовскую родню пошел! – сквозь зубы цедила она. – Бабка Халса за всю жизнь пары туфель не износила. Да и дядюшка Губат чарыков не снимает!..

Она почему-то не понимала, не хотела понимать, что высокомерие бекских сынков обижает меня. И известие об установлении нового правительства, которое всех уравнивает в правах, было почему-то не по душе маме. Думаю, она и сама не знала почему.

Прошла неделя-другая, и дедушку Байрама вызвали к губернатору, а когда он возвратился, то сказал, что новое правительство назначило его приставом в наш уезд. Губернатор сказал дедушке, что он достоин более высокого поста, но нужно покончить с кровной враждой в Гюней Гюздеке, и никто, кроме него, не сможет с этим справиться.

Участок, который поручили дедушке, был самым большим и самым беспокойным в уезде, а потому дедушке предоставили право самому набрать себе помощников. Конечно, дедушка взял Кызылбашоглы и еще нескольких самых храбрых и преданных ему парней из своего рода.

Гюней Гюздек не был центром уезда, но дедушка решил обосноваться именно там, считая, что только постоянное его присутствие может остановить резню.

... После свержения Николая, во времена «свободы» самый большой в городе дом, принадлежавший ранее богатому молоканину, купил помещик Наджаф-бек, высокий плечистый мужчина, не расстававшийся с дубинкой красного дерева. Это была легендарная «дубинка Наджаф-бека». Если бек, уходя прогуляться, оставлял свою дубинку в какой-нибудь лавке, тем самым лавка эта и ее хозяин сразу же становились неприкосновенными. В период «свободы» Наджаф-бек был одним из хозяев города, за каждым из таких беков стояло целое племя, каждого сопровождал отряд вооруженных всадников. Эти самозванные хозяева продолжали распоряжаться в округе и после установления мусаватского правительства, мусаватистов же это, видимо, мало интересовало. Я слышал, как папины гости говорили, что Наджаф-бек, прохаживаясь по балкону своего нового дома, расположенного в самом центре города, громко восклицал: «Азербайджан какой-то придумали!.. Азербайджан! Дай по нему разок дубинкой – вдребезги разлетится!..»

Думаю, что Наджаф-бек со своей дубинкой и понятия не имел, что такое Азербайджан и какое еще может быть азербайджанское правительство. Сказать по правде, царское правительство добилось того, что слово «Азербайджан» в Азербайджане никогда и не употребляли. Земля его была разделена на губернии и именовалась: «Гянджинская губерния», «Шамхорская губерния» и т. д. И не удивительно, что такие люди, как Наджаф-бек, влиятельные, но совершенно невежественные, понятия не имели, как называется их родина. Если же какого-нибудь крестьянина спрашивали, какой он национальности, он отвечал: «мусульманин».

Новое правительство много говорило об Азербайджане, о национальном единстве, и папины гости тоже часто произносили слова: «национальное освобождение», «национальное азербайджанское правительство», и произносились эти слова с воодушевлением. Именно тогда я впервые услышал от отца слово «родина». Мне казалось, что слово это было всегда, всегда жило где-то, забытое всеми, а вот теперь всплыло на поверхность. Потом, когда я стал кое-что понимать, я часто возвращался мыслями к впечатлениям этого периода. И понял, что, раздробленный иноземными захватчиками на отдельные ханства, угнетаемый иранским шахом по ту сторону Аракса и царским правительством по эту, Азербайджан не осознавался моими соотечественниками как родина, они даже забыли его название, забыли, к какой нации принадлежат.

И вот теперь все оживилось, забурлило... Детей собирали в отряды и учили их патриотическим национальным песням. Я активно участвовал в одном из таких отрядов. Под руководством старших мальчиков, назначаемых командирами, мы ходили строем, учились петь, приобретали солдатскую выправку. Но и в этих отрядах хвастливые и заносчивые бекские сынки оставались бекскими сынками. Я видел, что их больше привечают, больше им уделяют внимания. А я, как ни богат был мой отец, оставался гражданином второго сорта. Я злился на бекских сынков и на правительство, обманувшее мои надежды. А папа, часто ездивший в Баку по торговым делам, в которых он так преуспел при мусаватистах, с увлечением рассказывал о пламенных речах вождя мусаватистов Мамеда Эмина Расулзаде.

У мамы опять усилилась малярия. Приступы мучили ее каждый день. Гноились места уколов. Как только они немного зажили, Иван Сергеевич порекомендовал маме месяца на два поехать в село. Гюней Гюздек славился своим климатом и хорошей водой, а потому мама, я, сестренка Махтаб и Зинят отправились туда.

Дедушка Байрам с бабушкой Фатьмой жили в доме дяди Губата, а на службу дедушка ходил в «канцелярию» (иначе люди не называли этот дом), построенную еще при Николае.

Очень скоро мы все, и я в том числе, почувствовали, что жена дяди Губата (она была из рода Вели) не в восторге от того, что дедушка живет у них, да еще и мы приехали. Виду она не подавала, но, возможно, мама не без основания наказывала Зинят повнимательней следить за едой, как бы не подложили яду.

Дедушка горячо взялся наводить порядок в Гюней Гюздеке и окрестных селах, но это не очень-то ему удавалось. Хотя аксакалы и заверяли его торжественным образом, что головой отвечают за порядок и законность в своем роду, но как можно было помешать людям стрелять из-за угла и в темноте резать друг друга?

Однажды вечером дедушка Байрам сидел в гостиной и беседовал с одним из аксакалов – десятипудовым Гаджиоглы Алмамедом. На столе посреди комнаты горела тридцатилинейная лампа, я возился на ковре, прислушиваясь к разговору взрослых – в отличие от отца дедушка Байрам никогда не прогонял меня. Вдруг раздался выстрел, и ламповое стекло разлетелось на мелкие кусочки. Дедушка отскочил в глубь комнаты. Вбежали мама и бабушка Фатьма.

– Не поднимайте паники! – сказал дедушка. – Принесите новое стекло.

Мама сдвинула стол в угол комнаты, принесла стекло, зажгла лампу...

– Лампа стояла прямо перед тобой, – сказал Гаджиоглы Алмамед, – целились в тебя, Байрам-бек.

– Ты прав, – невозмутимо сказал дедушка.

– Из рода Вели кто-нибудь. Их рук дело.

Дедушка промолчал.

Вбежали стражники и усатый урядник.

– Господин пристав! – усатый урядник вытянулся перед бабушкой. – Мы обходили село дозором. Вдруг – выстрел... Прибежали... Никого нет!..

– А не заметили, – спросил Гаджиоглы Алмамед, – вон с той крыши никто не прыгнул?

– Да как-то в голову не пришло...

– С крыши стреляли, – сказал Алмамед, показывая на хибарку с куполовидной крышей, где дядя Губат разводил шелковичных червей. – Оттуда вся комната, как на ладони.

... Через два дня после этого случая к дедушке Байраму приехал в гости Ханмурад в сопровождении нескольких гачагов. Гости расположились на большом ковре, расстеленном посреди веранды.

– Что ж это ты совсем не показываешься? – спросила Ханмурада мама, когда трапеза была закончена.

– А я, Ягут-баджи, – улыбнувшись, ответил гачаг, – орел. Привык кружить высоко в горах. Приручать орла – дело трудное.

Если бы другой человек сравнил себя с орлом, птицей храброй и гордой, я считал бы это за хвастовство, но Ханмурад... Его имя вызывало в моем представлении высокие-высокие горы, гнездовья орлов, и когда Ханмурад, садясь на своего гнедого, исчезал из виду, он исчезал там, в недоступных другим горных кручах...

Папины односельчане из рода Вели стояли поодаль и косо поглядывали, как на веранде у пристава Байрам-бека из рода Эфенди расположился знаменитый гачаг Ханмурад.

Ханмурад еще не успел уехать, как прибыли новые гости: отряд гачага Мешади Тахмаза. Мешади Тахмаз был уже старик. И борода, и красноватые усы его были крашены хной, а голова заметно тряслась. Под диагоналевой чохой он был перепоясан двумя патронташами, но винтовку носил не сам, а один из его гачагов. Старик был обут в городские ботинки, а трясущуюся голову его украшала огромная лохматая папаха. Когда старик появился, Ханмурад со своими людьми тотчас отошел в сторону и сел лишь тогда, когда старик опустил на шелковый тюфячок.

Дедушки Байрама дома не оказалось, и приветствовать гостя вышла бабушка Фатьма.

– Добро пожаловать, Мешади Тахмаз! – почтительно сказала бабушка.

– Добрый день! – сдержанно ответил старый гачаг.

Приехал дедушка Байрам. Обычно он сидел на стуле, но тут из уважения к старику сел рядом с ним на тюфячке. О Мешади Тахмазе я слышал очень много. В Курдобе его звали «заговоренным», он ходил в гачагах больше пятидесяти лет, пережил бесчисленное количество схваток и перестрелок, не однажды бывал ранен, но всякий раз оставался жив и здоров. Оба его взрослых сына состояли при нем.

Пользуясь тем, что дедушка не выгоняет меня, я устроился возле окна и, не отрываясь, смотрел на старика. Как он может скакать такой старый, как может стрелять, если у него трясется голова?.. Я знал о его бесчисленных подвигах, и мне казалось, что этот длиннородый, обвитый патронташами старик явился из сказки. Недаром все так уважают его: не только гачаг Ханмурад, но и мой дедушка – пристав Байрам-бек.

– Байрам, – сказал старик, отхлебнув горячего чая (впервые в жизни я слышал, чтоб посторонние называли дедушку не «Байрам-бек», а просто «Байрам»), – вот ты советуешь нам объявиться новой власти, а понимаешь ты что-нибудь в этом правительстве?

– В каком смысле?

– Ну, как считаешь, продержится оно?

– Если помогут из-за границы, продержится, – подумав, ответил дедушка.

– И чего ж хочет это новое правительство?

– Равенства! – словно только и ждал этого вопроса, ответил дедушка.

– Это какое такое равенство?

– Все – и богатые, и бедные, и беки, и простые люди будут иметь равные права.

– Нет, дядя Байрам! – горячо возразил Ханмурад. – Не будет этого! Бек все равно бек! – Он махнул рукой.

У меня сразу упало сердце. Неужели это правда? Неужели и при новом правительстве бекские сынки будут зазнаваться и кичиться своим благородным происхождением?

Потом я частенько вспоминал Ханмурада. Конечно, «равенство» мусаватистов осталось на словах, на бумаге. Они и не помышляли привлечь к государственным делам людей из народа. и, как говорил Ханмурад, беки остались беками.

– Хорошо... – задумчиво сказал Мешади Тахмаз. – Но если у наших будет равенство, чем это тогда будет отличаться от новых российских порядков? Там тоже, говорят, за равенство.

– Большевицкое правительство в России не признает ни беков, ни купцов. Их равенство только для бедных людей – рабочих и крестьян.

– А как же купцы, беки? – удивился старый гачаг.

– При большевицком строе не должно быть ни купцов, ни беков.

– Ну? – Ханмурад усмехнулся. – Похоже, это правительство мне подходит. Разве не беки разогнали нас по степям, лишили отчего крова?..

Мешади Тахмаз ничего не сказал.

– Я советую вам оставить ваше занятие, – сказал дедушка. На этот раз все молчали долго. Заговорил Мешади Тахмаз.

– А как насчет тех, что по ту сторону Аракса?

– Определенно ничего сказать не могу. Если правительство укрепитя, удержится...

Бабушка Фатма говорила мне, что жена Мешади Тахмаза оттуда, из Южного Азербайджана. У людей, живших по берегам Аракса, вообще там было много родни. Опять долго молчали.

– Сам знаешь, Байрам, – заговорил наконец Мешади Тахмаз. – Куда ты камень положишь, мы головы положить готовы. Но позволь еще подождать. Уляжется немного, посмотрим, как дело пойдет. – Глаза у старика как-то странно блеснули.

Когда скатерть убрали, Ханмурад и его парни подошли к перилам веранды и стали стрелять по мишеням. Мишени установлены были на том месте, где недавно убили красавицу Айну. Я с изумлением обнаружил, что некоторые из парней Ханмурада стреляют лучше, чем он, и его это совсем не огорчает. А ведь я был уверен, что в мире нет стрелка лучше, чем гачаг Ханмурад.

Подошли дедушка Байрам и Мешади Тахмаз. Старый гачаг кинул взгляд на мишень.

– Принеси-ка мое ружье, – сказал он одному из своих.

Я отошел, чтоб видно было лицо Мешади Тахмаза. Он прижал ружье к щеке, голова его не переставала дрожать. Выстрел – и мишень улетела прочь. Старик вынул гильзу, снова выстрелил. Вторая пуля тоже угодила в цель. Он хотел было отдать ружье стоявшему рядом гачагу, но Ханмурад сказал с улыбкой:

– Бог троицу любит!

Старик снова приложил ружье к плечу, выстрелил, пробив третью мишень, и обернулся к Ханмураду.

– Голова трясется, а глаза ничего, видят...

– Да пошлет тебе Аллах еще сто лет жизни и чтоб все сто ты стрелял не хуже!

Старик поднял глаза к небу, провел по лицу ладонью, как делают это, когда молятся, и торжественно произнес:

– Аминь!

– Дядя Байрам! – громко сказал Ханмурад, чтоб все слышали его слова. – Тут в тебя ночью стреляли в темноте, разреши, мы при свете дня сведем счеты!

– Ни в коем случае! – так же громко сказал дедушка Байрам. – Стрелял кто-то по глупости...

– Как знаешь, – Ханмурад насупился. – Но только, если услышим про такое, – ты даже и знать не будешь, – весь род изведем от мала до велика!..

Я был еще очень мал, но папа не зря полупрезрительно называл меня «всезнайкой», – я понимал, что дедушка Байрам – служащий мусаватского правительства больше, чем на своих стражников, надеется на друзей-гачагов. И еще на нескольких близких людей: Ахмедали, Гаджи, Кызылбашоглы Али. После того выстрела они, ничего не сказав дедушке, по очереди дежурили возле дома. Потом дедушка узнал и запретил охранять его.

Гачаги уехали, но их появление в нашем доме очень укрепило дедушкино положение в округе. Дедушка приказал, чтоб по вечерам в домах не гасили свет, будет проверять. Спустились сумерки, и по всему Гюней Гюздеку засветились окошки. Однако, как донесли охранники, в четырех домах свет не зажигали. И дедушка передал: если не будут зажжены лампы, хозяев посадят в тюрьму. Лампы зажглись.

Я люблю свет. Лучи яркого солнца веселили меня, делалось легко на душе. Серп луны, нарождавшейся после двухнедельного ночного мрака, я тоже встречал как праздник. У нас по вечерам горел большой газовый светильник, от него в нашей городской квартире было светло и радостно. А вот здесь люди не осмеливались зажигать свет, свет нес с собой не радость, а опасность, смерть. Мне и самому становилось страшно, когда в комнате зажигали яркую тридцатилинейную лампу. Я беспокоился за дедушку.

Ханмурад давно уже владел всеми моими помыслами. Вечером, улегшись в постель, я обычно подолгу мечтал, как стану храбрецом-гачагом. Но в этот раз, после отъезда гачагов, что-то перевернулось в моей душе. Дело в том, что Ханмурад рассказал маме, рассказал между прочим, как, мстя своему врагу на той стороне Аракса, в дождливую, темную ночь напал на его кибитку и перестрелял всю семью.

Мама была женщина чувствительная, жалостливая, легко бледневшая от волнения... Услышав рассказ Ханмурада, она побледнела.

– Но при чем же здесь женщины, дети? Чем они провинились, несчастные?

– Враг есть враг, – спокойно ответил Ханмурад. – Не приходится разбираться...

Этот страшный рассказ, а главное – спокойное, довольное лицо Ханмурада, рассказывающего о расправе, не выходили у меня из головы. Я чувствовал себя так, будто потерял что-то дорогое. Ведь я мечтал, что стану таким же, как Ханмурад.

А Ханмурад способен убить чью-то мать, ребяташек...

Еще я вспоминал, что когда Мешади Тахмаз стрелял в цель, такой благообразный, такой старый и почтенный, в его маленьких хищных глазах вспыхивала радость; и он, пятьдесят лет ходивший в гачагах, как говорили, совершивший множество подвигов, он вызывал у меня сейчас не восхищение, а ужас. Мне казалось, что именно так вспыхивают глаза у тигра, раздирающего свою добычу.

Да, гачаг Ханмурад, как и старый Мешади Тахмаз, перестал быть моим идеалом, защитником всех обиженных, спасителем угнетаемых, и я был в растерянности, я не знал, как мне быть. Ханмурад с товарищами не раз еще приезжал к дедушке Байраму, но я больше не радовался и даже не ходил смотреть, когда они стреляли в цель.

А когда навстречу мне попадалась Ниса Короткая, которая подбила односельчан на братоубийство, я сразу вспоминал мать дива из сказок бабушки Фатьмы. Но у этой старухи не было огромных желтых клыков, не было рогов, она была самая обычная на вид старуха, как бабушка Халса, как другие... И все равно я решил, что она мать дива, просто приняла человеческий облик, чтобы творить черные свои дела. Это она заколдовала мать Бахлула, сына дяди Губата, сгубила ее чахоткой.

Бахлулу доставалось от мачехи. Она то и дело давала мальчику подзатыльники, и слезы не высыхали у него на глазах. Бахлул был вечно голоден, и когда я приносил ему в хибарку сдобные лепешки, кишмиш или еще что-нибудь, он жадно съедал все это.

Дядя Губат, возвратившись вечером домой, снимал чарыки, мыл ноги, совершал намаз, потом, удобно расположившись на старом тюфячке, молча принимался за довгу или катык с хлебом, которые давала ему жена, и ни разу не полюбопытствовал, сыт ли его сын.

А я смотрел на него и думал, что если мама будет все болеть и болеть, то умрет, а папа возьмет себе другую жену, и я тоже буду ходить голодным и кто-нибудь тайком принесет мне лепешку или горсть кишмиша...

На душе у меня было тяжело.

Бабушка Фатьма, как всегда, разговаривала только сама с собой. Поскольку, считая, что я несмышлениш, бабушка не стеснялась меня, я, сам того не желая, выслушивал ее жалобы и обвинения. Все помыслы старухи были заняты пропавшим сыном, а обвиняла она одного дедушку Байрама. «Он молодой... кровь кипит... – бормотала бабушка, уставившись в одну точку. – Вразумлять надо мальчика... А он – со двора гнать!.. Не думает ведь, что единственный мой сынок...»

Все это она могла повторять без конца, по сто раз на день.

А дедушки дома не было, он все время разъезжал по окрестным селам, наводя порядок, и люди хвалили его, и я гордился тем, что мой дедушка самый заботливый, самый добрый, самый милосердный человек на свете.

Но однажды есаулы привели крепкого, сильного, лет сорока мужчину. Дедушка Байрам велел повалить его на землю, тут же, у нас во дворе, есаулы, став по обе стороны от него, задрали ему пиджак и рубаху и стали бить кнутами по голой спине. Вокруг стояли люди и молча смотрели, а есаулы хлестали кнутами по голой смуглой спине. Мужчина молчал. Постепенно спина становилась багровой, и истязаемый наконец закричал. Только тогда дедушка отдал приказ прекратить.

Есаулы подняли избитого, поставили, связали ему руки за спиной. А дедушка Байрам сказал, обращаясь к собравшимся:

– Этот человек украл барана у Гаджи Фарзали. Всякий, кто будет воровать, будет наказан таким же образом.

– Бек! – выкрикнул вдруг человек, которого били кнутом. – Я же не вор! У меня пятеро детей!.. Одной травой кормятся. А у Гаджи Фарзали пять тысяч баранов!..

– А ты бы своих заводил, чем чужое считать! – прикрикнул на него дедушка. – Наплодил детей, а чем кормить, не подумал?! Гаджи Фарзали двадцать лет в чабанах ходил, пока свое добро нажил, а ты до полудня спишь!.. Бога забыл – на чужое заришься!

Может, дедушка говорил правду, не знаю, но все равно то, что он велел отхлестать кнутом человека, укравшего барана для своих голодных детей, произвело на меня ужасное впечатление. В самом деле, – думал я, – что для Гаджи Фарзали какой-то баран? Ну, взял этот человек барана, накормил детей...

Весь день перед глазами у меня стояли маленькие голодные дети, которых я никогда не видел. Я видел их худые, бледные лица, их жадные глаза, устремленные на отцовские руки. Он входит в дом, где так давно ждут его пятеро детей, а в руках у него ничего нет... Я не мог проглотить ни крошки, как ни уговаривала меня мама и бабушка Фатьма. Ночью, лежа с дедушкой Байрамом, я, как всегда перед сном, слушал его забавные сказки, слушал и ничего не слышал. Печаль черной тучей обволокла меня, и ничто светлое, веселое не могло проникнуть сквозь нее. Я знал, что многие голодают, давно уже питаюсь травой. По ночам голодные собирались вокруг нашего дома и просили хлеба. «Хлеб-а-а!.. Хлеб-а-а!..» – зывали они страшными голосами, и волосы у меня вставали дыбом. Люди хотели есть.

Я не спал, дедушка Байрам – тоже, лежа, в постели он курил одну папиросу за другой, красный, раскаленный кружочек то чуть затухал, подергиваясь пеплом, то снова разгорался, когда дедушка затягивался...

Через несколько дней есаулы привели к нашему дому несколько арб, груженных мешками с мукой. Мама сказала, что муку эту прислал будто бы благодетель – Гаджи Зейнал Тагиев.

Сбежался народ, и по дедушкиному приказу стали делить муку. Сперва создалась такая толчея и неразбериха, что чуть не развалили амбар, куда сложены были мешки. Дедушка Байрам вышел на веранду и громко сказал, что если не будет порядка, он опечатает амбар и прикажет стрелять в каждого, кто приблизится к нему.

Шум мгновенно утих, крики замерли. Ввалившиеся глаза голодных людей усталились на дедушку. Никто не произносил ни звука.

СНОВА В ГОРОДЕ

Через несколько дней после этого дедушку назначили в другой уезд, и мы все снова вернулись в город.

Дедушка Байрам перепоясался двумя патронташами, зарядил пятизарядную винтовку, повесил на пояс маузер, сел на гнедого и в сопровождении Кызылбашоглы отправился к месту нового назначения. Мы пришли проводить дедушку. Бабушка плеснула ему вслед воды. Новруз-байрам уже миновал, но было прохладно, в степях, на равнинах еще лежал снег.

– Простудится старик... – сказала мама, глядя вслед удаляющимся всадникам.

– Простудится-то не простудится, – озабоченно заметил отец, – а вот если с гачагами встретится...

– Подумаешь! – мама небрежно махнула рукой. – Отец, Кызылбашоглы против сотни бандитов выстоят!

– Гачаги! При чем тут гачаги?! – проворчала бабушка, всегда недолюбливавшая отца. – Что они, Байрам-бека не знают?

Я никогда не замечал, чтоб бабушка Фатьма и дедушка сидели бы вместе, беседовали... Мне казалось, они вообще никогда не разговаривают, как чужие, и я привык к этому. А вот теперь она, как самому дорогому человеку, плеснула ему вслед воды...

Я по-прежнему старался как можно больше времени проводить в доме бабушки Байрама, хотя я часто выводил бабушку из себя, и она кричала на меня, прогоняя домой. Но я, смеясь, отбегал подальше, через полчаса бабушка остывала, и я, усевшись у ее ног, слушал одну из бесчисленных ее сказок.

Я слушал бабушкины сказки, разлившаяся по весне Гуру шумела громко и грозно, и в ее весеннем бурном стремлении мне слышался топот копыт, отчаянные крики, лязганье мечей... Но слушая о великодушных спасителях, я уже не представлял себе гачага Ханмурада. Легкая улыбка на бледном лице, с которой он поведал маме о том, как от мала до велика уничтожил семью своего врага, сделала свое дело.

Доблести дяди Нури, которыми я прежде так восхищался и о котором день и ночь молилась бабушка Фатьма, тоже вызывали у меня теперь сомнение. Да и дедушка Байрам, человек, который любил меня больше всех на свете, был уже для меня не прежний. Каждый раз думая о дедушке, я видел полные муки глаза избиваемого плетью человека, его побагровевшую от ударов спину, слышал эти слова: «Пять маленьких детей два месяца едят одну траву!..»

Одна оставалась у меня радость – мама. И вот однажды женили сына тети Кеклик. Мама, в наряднейшем из своих платьев, вся в золоте и драгоценностях, сидела среди молодых женщин и девушек. Каштановые волосы под жемчужной диадемой, тонкая талия, перетянутая золотым поясом, длинная белая шея – мама была так прекрасна, что я не мог оторвать от нее глаз. И когда женщины стали танцевать, мама осталась сидеть на месте. Как ни старалась тетя Кызбес, в обязанности которой входило веселить и подзадоривать женщин, мама так и не встала. Когда мы пришли домой, она вдруг стала ругать меня: «У всех дети, как дети, веселятся, играют, а этот устался!.. Ну, скажи, чего ты так паялился на меня?» Вот, значит, почему она не танцевала – сын не отрывал от нее глаз. Наверное, не надо было так смотреть, но мамин упрек, пускай даже справедливый, я не смог забыть никогда – оскорблена, поругана была моя тайная, никому не ведомая радость.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЯДИ НУРИ

Отправившись в Баку за товаром, папа вернулся вместе с дядей Нури. Позже папа рассказывал, что поехал в Бинагады повидаться с родственником, работавшим на промыслах, и вдруг встретил шурина. Оказалось, прокутив деньги, вырученные от продажи вещей, украденных в отцовском доме, Нури остался гол, как сокол, и, явившись к одному из родственников бабушки Фатьмы, стал жить там и кормиться.

Глядя на дядю Нури, трудно было поверить в такое. Лаковые сапоги, галифе, кавказский пояс с золотыми бляхами – он был так красив, так наряден!.. Дядя Нури болтал без умолку, рассказывая маме, как развлекался в Баку и в Тифлисе. Рассказал и о том, что в Баку встретил Джалила, сына бабушки от первого брака. Оказывается, Джалил – один из виднейших в Баку журналистов, настоящий интеллигент. Бабушка внимательно прислушивалась к рассказу дяди Нури, но о сыне своем даже ничего не спросила. Это поразило меня. И я вспомнил, что, без конца упрашивая Аллаха о милостях для любимого Нури, бабушка Фатьма ни разу не упомянула имя старшего сына, некогда оставленного ею.

Через несколько дней к нам в город приехал губернатор Хосровбек.

Весь народ высыпал на обочину посмотреть на губернатора. И мама пошла посмотреть, взяв с собой меня и сестренку. Солдаты мусаватского правительства выстроились по обе стороны дороги, а офицеры взволнованно бегали вдоль рядов, проверяя, все ли в порядке. Вдалеке показались два автомобиля. Офицеры скомандовали «смирно», автомобили подкатили и остановились. Губернатор Гянджи, видный широкоплечий мужчина, кривой на один глаз, вышел из машины и приветствовал солдат, обходя строй и внимательно приглядываясь к выправке. Сказал что-то офицерам, почтительно следовавшим за ним, сел в автомобиль и укатил обратно.

А еще через несколько дней дядя Нури явился домой с офицерскими погонами на плечах и с гордостью объявил, что его по приказу губернатора призвали в армию. Не знаю, в чем состояла служба дяди Нури, потому что образ жизни его почти не изменился. Каждый вечер он со своими приятелями пил и веселился в саду у дедушки Байрама, а потом, усевшись в фазтон, вся компания отправлялась в молоканскую часть города.

Папа говорил, что по части выпивки дядя Нури не имеет себе равных. Событьишки его были веселые бекские сынки, нацепившие офицерские погоны. Было много разговоров, когда один из приятелей дяди Нури, Алайбек, в пьяном гнев застрелил из пистолета сына крупного помещика Гасан-аги, выскочил из отдельной комнаты ресторана на балкон, прыгнул в камыши, высоко поднявшись вдоль большого арыка, и скрылся. Убитый был очень красив, и мама, и ее подруги долго сокрушались о его смерти.

Позже мама рассказывала, что убийцу поймали, но держат в отдельной устланной коврами комнате, и отцовский повар каждый день приносит ему всевозможные кушанья. А спустя еще немного, я увидел Алайбека, сидевшего в саду дедушки Байрама под буйно цветущей сиренью, за уставленным бутылками столом. И дядя Нури, сидя с ним, вполголоса напевал мугам.

А в моей маленькой жизни было в то время как-то особенно невесело. Маму мучила ее нескончаемая малярия, и я жил, придавленный угрозой ее смерти. По соседству с нами жил мальчик-сирота, примерно моих лет, он рассказывал мне, что после смерти матери каждый день ходил на кладбище и затыкал дырочки на могиле, чтоб змеи не могли пролезть туда и есть мертвое тело. Он рассказывал об этом просто, спокойно, а я холодел от ужаса, снова и снова представляя себе мамину смерть. И только поражался, почему ни папа, ни дядя Нури, ни бабушка совсем не огорчены ее болезнью.

Ни от кого не слыша ласкового слова, я перестал играть с ребятами, замкнулся. Часами сидел я возле двери нашего дома, выходящей на улицу, и молча наблюдал за шумными играми сверстников, не имея ни малейшего желания присоединиться к ним. Особенно поражали мальчишки, у которых были больные матери. Они гоняли по улице и кричали наравне со всеми, им, как и моей сестренке Махтаб, казалось, и дела не было до материнной болезни.

Отец с мамой часто ссорились по самым пустячным, как мне казалось, поводам. Потом они месяцами не разговаривали, и тогда отец обращался со мной особенно сурово, будто я был повинен в их отчуждении. Я видел, как ласковы, как внимательны к своим детям другие отцы, и, чувствуя себя незаслуженно обделенным, убегал в сад под тутовое дерево, просил Аллаха объяснить мне, почему мой отец не похож на других отцов.

В отличие от мамы, никогда не совершавшей намаз, не державшей в руках Корана, папа выполнял все религиозные ритуалы, пять раз в день совершал намаз, соблюдал пост, и я много раз с удивлением замечал, что, стоя на коленях на молитвенном коврике или читая Коран, он становился другим человеком: и взгляд, и лицо, и голос его становились благостными, добрыми. Мама, никогда не молившаяся Богу, была добра к нищим, ни один не уходил от наших дверей с пустыми руками, папа же, увидев, что милостыню просит не калека, сурово говорил: «Почему не работаешь? Работать надо!» – и нищий уходил.

СОВЕЩАНИЕ БЕСПОКОЙНЫХ СТАРИКОВ

Приехал дедушка Байрам.

Заслышав о приезде дедушки Байрама, появились два старика: кази Мирзали и председатель городского суда Балашбек. Их по-прежнему интересовала судьба нового правительства.

– Думаю, – сказал дедушка Байрам, когда они спросили его об этом, – если из-за границы не помогут, мусаватистам не выдержать. – Лицо у дедушки стало озабоченным. – Конечно, мы сейчас создаем армию, мобилизуем солдат, но... Нет военных специалистов, мало оружия. Да что говорить!.. – Он махнул рукой. – Беспомощны мы сейчас, как дети.

– Уж больно эти мусаватисты медленно поворачиваются, – недовольно проворчал Балашбек. – Можете мне поверить, коммунисты сейчас по всему Азербайджану действуют подпольно. А у них связь с Россией, с большевистским правительством!

Дальше я уже ничего не понимал, потерял нить разговора и только смотрел, не отрываясь, как красномордый, толстый кази с длинной крашенной хной головой потягивал из стаканчика крепкий чай, непрерывно свертывая и вставляя в мундштук самокрутки.

Вот он свернул очередную самокрутку, вставил ее в мундштук, закурил, глубоко вздохнул и произнес:

– Равенство – это хорошо. Сам пророк проповедовал равенство. Если один человек попирает права другого, это великий грех. А раз так, раз коммунисты тоже за равенство, чего ж они против религии ополчились?

– А потому, что считают: религия помогает бекам, капиталистам... Учит простого человека гнуть на них спину, подчиняться им.

– А как же иначе?! – искренне удивился кази. – Перечить своим покровителям?

– Дело в том... – задумчиво произнес дедушка Байрам. – Дело в том, что коммунисты уверены, – богачи богатеют за счет простого народа.

– Ну и не правы! – горячо возразил кази. – Разве Гаджи Зейналабдин не был раньше простым каменщиком? Разве не работал по найму? Все зависит от человека. Есть смекалка – все будет в порядке. Возьми хоть твоего зятя, – он обратился к дедушке, – приехал в город, едва концы с концами сводил, а теперь, слава Аллаху, обеспеченный человек. А по их выходит: сиди купец в своей лавчонке и не смей богатеть, жди, пока Плешивый Ширин сравняется с тобой в доходах...

Сколько я ни старался, мне ничего не удавалось понять из этих разговоров. Спрашивать я не смел, и в голове у меня постепенно образовался такой хаос, что я никому уже не мог верить. Я не понимал, что хорошо, что плохо, что есть грех, что – праведное дело. Не знал, как оценивать людей: какие, например, они, кази Мирзали или дядя Нури? Хорошие они люди или плохие?..

Папа теперь все чаще уезжал, и никто не мешал мне бегать в дедушкин дом. По несколько раз в день бегал я к бабушке, хотя она была неласковая, сердитая. Она или молча смотрела на дорогу, не обращая на меня никакого внимания, или громко ругала дедушку. Ей было известно, что дедушкин брат Айваз частенько навещает ее в Курдобу, где и живет сейчас дедушка Байрам, и тот всякий раз провожает его с богатыми подарками: то коня даст, то верблюда. Не то, чтобы бабушка была такая уж жадная, она негодовала потому, что дедушка Байрам мало думает о своем единственном сыне, что добро, которое должно принадлежать только Нури, попадает в другие руки...

Дяди Нури в это время уже не было в городе. Он по секрету сообщил маме, что его посылают в Баку за военными припасами и что дело это опасное и ответственное.

Дядя Нури уехал и... пропал. Всякий раз, бывая по торговым делам в Баку, папа пытался навести о нем справки, но никто его не видел, след дяди Нури затерялся. И опять бабушка Фатма все молилась, молилась... И каждый вечер сидела на своем топчане на балконе, не сводя глаз с шоссе, ведущего в Баку...

... Однажды вечером мама сказала папе, что ее подруга Махбуб-ханум ушла из дома с турецким офицером.

Махбуб-ханум была дочерью бека, человека значительного. Отец ее был владельцем самой большой в городе бани и пользовался влиянием, и дочь его Махбуб-ханум одевалась богаче других.

Махбуб-ханум была очень красивая, такая красивая, что, глядя на нее, я всегда вспоминал принцессу из сказки... Это была веселая, смешливая, живая женщина со сросшимися бровями и тонкой талией, перехваченной золотым поясом.

Махбуб-ханум была выдана за двоюродного брата, но тот был к ней равнодушен, жил один в Ашхабаде. Они развелись, и Махбуб-ханум вернулась в отцовский дом.

Когда мама водила нас в баню (для нас готовили отдельный номер), мы потом обязательно шли к Махбуб-ханум – их дом примыкал к бане. Махбуб-ханум тоже часто бывала у нас.

В двухэтажном доме, расположенном по соседству с нашим, жили два офицера турецкой воинской части (в нашем городе стояли сейчас не только мусаватские, но и турецкие офицеры). И я заметил, что стоило Махбуб-ханум появиться у мамы, один из турецких офицеров Тофик-бек сразу же показывался в саду, а Махбуб-ханум становилась тогда особенно оживленной, громче смеялась и что-то говорила, говорила и все поглядывала на офицера... Конечно, я мало что понимал, но я не мог не чувствовать, что между этими двумя людьми происходит что-то.

Через несколько дней после того, как Махбуб-ханум сбежала к Тофик-беку, – Тофик-бек жил теперь в другом доме, – мама пошла ее навестить. Она и меня взяла с собой, потому что знала, как нравится мне смотреть на Махбуб-ханум (она как-то раз сказала об этом подруге, смутив меня чуть не до слез).

«А тебе идет выходить замуж! – сказала мама, как только мы вошли. – Еще красивее стала». Она наклонилась к подруге, что-то шепнула ей, и обе расхохотались. Да, мама была права, Махбуб-ханум стала еще красивее, мне показалось даже, что я никогда не видел более прекрасной женщины. Радость лилась из ее сияющих, счастливых глаз, и счастье, струящееся из глаз женщины, почему-то и меня делало счастливым...

ВСТРЕЧА С НЕЗНАКОМЫМ ГОРОЖАНИНОМ

Дедушка Байрам решил навестить свою мать – бабушку Сакину, которая сейчас жила в Курдобе, в зимнем доме. Узнав об этом, я стал приставать к дедушке, чтоб он взял и меня, ну а дедушка мне, как известно, ни в чем не отказывал.

Мама тоже не возражала. Папа, на мое счастье, был в отъезде.

Рано утром мы с дедушкой сели в фаэтон Габиба и в сопровождении Кызылбашоглы отправились в путь.

Мы миновали поля колосившейся пшеницы, спустились в долину и тут увидели: на дороге стоит фаэтон, а чуть поодаль – трое вооруженных всадников и перед ними невысокого роста человек, похожий на городского. Он курил, прищулив один глаз.

– Приветствую тебя, Байрам-бек! – сказал дедушке один из всадников, высокий белолицый мужчина.

– Здравствуй, Рзакулу-бек, – ответил на приветствие дедушка и спросил, показывая на незнакомого мужчину: – Что за бедняга попался вам в руки?

Так это Рзакулу-бек! Я столько слышал об этом разбойнике, безжалостном и жестоком!

– Нашел беднягу! – Рзакулу-бек усмехнулся. – Это же большевик! Сейчас мы его прикончим!

– Откуда ты знаешь, что большевик?

– Ребята мои дознались. Да вон и бумажки у него в кармане – на, погляди! – Он протянул дедушке какой-то листок.

Дедушка прочитал.

– Да, большевик, – сказал он. – Ну и что?

– Как это, ну и что? – Рзакулу-бек опешил. – Это ж не люди, никого не признают: ни отца, ни мать, ни Бога, ни пророка! Этот вот сукин сын ходил по селам и подбивал убивать начальников и беков!..

– Неправда, – спокойно возразил мужчина, – мы не сторонники террора.

– Вы не здешний? – спросил дедушка.

– Родом я из Гянджи, но с детства жил в Баку. И сейчас ехал туда.

Как мне хотелось, чтоб дедушка расспросил этого человека, кто он, что делал в наших краях, но дедушка не стал расспрашивать незнакомца.

– Отпусти его, пусть едет в Баку! – сказал он Рзакулу-беку.

– Да ты что это, Байрам-бек! Если б эта змея тебя поймала, думаешь, отпустил бы живым?

– Думаю, нет, – сказал дедушка. – Когда большевики придут к власти, они скорее всего не оставят меня в живых. Только оттого, что вы убьете этого человека, равным счетом ничего не изменится.

Рзакулу-бек побагровел:

– Нет, Байрам-бек! Ты знаешь, я тебя уважаю, но этого гяура я убью!

Лицо дедушки стало холодным и строгим. Кызылбашоглы положил руку на револьвер.

– Идите! – чуть прищурившись, сказал дедушка незнакомцу. – Вы свободны.

Незнакомец снизу вверх метнул взгляд на Рзакулу-бека, мгновение колебался, потом быстрым шагом пошел к фаэтону. Фаэтонщик с места пустил коней галопом.

Рзакулу-бек горестно покачал головой.

– Эх, Байрам-бек! Ты его от смерти спас, а он тебе доброго слова не молвил! Зря ты не дал пришибить нечестивца!

– Трогай! – сказал дедушка фаэтонщику.

– Дедушка, – спросил я, когда немножко отъехали. – А если они догонят его и убьют?

Дедушка Байрам достал папиросу, зажег ее, не спеша затушил спичку и сказал:

– Не посмеют.

– Ну как, Габиб, – спросил дедушка, когда мы выехали в поле, – по-прежнему в картишки режешься?

Габиб не ответил, улыбнулся смущенно.

Это был тот самый фаэтонщик Габиб, который вез папу с мамой, когда они бежали. Может, и фаэтон был тот же самый, а может, и другой... Когда-то у Габиба было три фаэтона, два из них вместе с лошадьми он проиграл в карты.

Мы ехали по бескрайним степям Карабаха.

– Габиб! – снова позвал фаэтонщика дедушка. – Говорят, ты хорошо поешь? Спел бы, а? Скучно что-то...

– Что ты, бек, какой я певец?..

– Ладно, не смущайся, спой...

Не было б, господи, ни меня, ни этого мира.

Ни этой грусти в душе тоже если бы не было...

Он пел так печально, так трогательно, и пение его совсем не вязалось ни с длинным его носом, ни с большими обветренными руками, державшими поводья коней. Лица его я не видел, он сидел к нам спиной, но я чувствовал, что печаль льется из самого его сердца. Было так страшно слышать этот страдающий голос: я слышал о Габибе, что он мошенник, гуляка, картежник, плясун... Почему же он так печально поет?

– Да... – задумчиво произнес дедушка, когда Габиб кончил петь. – Кажется, это слова Хуршуд-бану?

– Она сочинила, Кыз-хан, – вздохнув, сказал Габиб. – Какая была женщина, царство ей небесное!.. Мой отец у нее конюхом был. Семь дочерей имел. Так она всех их замуж выдавала с хорошим приданым, каждая стала хозяйкой в доме. – Он щелкнул кнутом, взбадривая коней. – Я мальчишкой был, как сейчас помню, каждый праздник Кыз-хан велит готовить в восьмиведерных казанах плов с шафраном и всем беднякам посылает. А на Новруз-байрам и муку посылала, и рис, и сладости, да упокоит господь ее душу... Отец рассказывал, пока она в Шушу водопровод не провела, только и мечтали о хорошей воде.

– А я слышал, что и красавицей была, – заметил дедушка.

– Да, отец говорил, видная была женщина.

Через много лет, уже разбираясь в поэзии, я не раз вспоминал, с каким пылом и уважением говорил о поэзии и поэте простой фаэтонщик, мошенник и картежник. В душе фаэтонщика Габиба, вся жизнь которого прошла на этих пыльных дорогах, жила некая грустная тайна, которая живет, наверное, в каждом из нас. Иначе откуда столько тоски в мугамах? Откуда безграничная грусть в голосе красавца-певца Хана? Почему моя мама, простая женщина, так печально задумывается, слыша пение? Почему, когда папа, сдержанный, расчетливый человек, читает Коран, лицо у него становится трогательным и беззащитным? И почему дедушка так тяжело задумался, когда слушал печальный мугам, дедушка, умеющий на полном скаку подстрелить двух джейранов? В моем замкнутом маленьком мирке я с особой силой ощущал эту всеобщую грусть, и врожденный мой пессимизм все больше и больше усугублялся. Мама шутила, что меня съедает «мировая скорбь». Я до сих пор не знаю точного смысла этого выражения, но думаю, что дело не только в особенностях моей натуры. Дело в том, что печаль всегда таится в уголке нашего сердца...

В КУРДОБЕ. СТРАХ ПЕРЕД ЧЕРНЫМ КАМНЕМ

Когда мы подъехали к Курдобе, уже спустились сумерки, тянуло дымком тлеющего в очагах кизяка. В село возвращалось стадо, мычали коровы, телята, лаяли собаки. На равнине, покрытой колючками, паслись расседланные верблюды...

Фаэтон остановился у дома дедушкиного отца, где жил теперь с семьей дядя Айваз. Собаки, захлебываясь лаем, окружили фаэтон, но Алабаш дяди Айваза, узнав дедушку, завилал хвостом, а остальных отогнали подбежавшие мужчины. Бабушка Сакина, бабушка Фатма и еще какие-то неизвестные мне закутанные до глаз женщины тормошили, целовали меня.

– Ну, Байрам, – сказала бабушка Сакина, – какие вести от нашего дорогого Нури?

– Не знаю, мама, – холодно произнес дедушка, не глядя на мать.

Я заметил, что у бабушки Фатмы сразу потемнело лицо. «А мама твоя тоже ничего не знает?» – шепотом спросила она меня. Я молча покачал головой. Бабушка показалась мне такой несчастной, такой одинокой... И мне тоже стало вдруг одиноко и грустно.

Мы вошли в дом, освещенный всяческим фонарем.

– Сними сапоги с дяди Байрама, – сказал дядя Айваз Караджа, который стоял у дверей и пристально смотрел на нас.

Кажется, Караджа даже обрадовался этому приказу, но дедушка не позволил ему снимать сапоги, снял сам и поставил в сторонке. Комната была огромная, как площадь. Посредине огромной грудой громоздились постели, ковры. На полу, покрытом войлоком, разложены были тюфяки и мутаки.

Я поднял голову, взглянул на потолок и съежился от страха.

Потолок и огромные балки, лежавшие на вертикальных опорах, почернели от сажи (может, потому и называют такие дома «черными домами») и были густо перевиты паутиной. Мне вдруг показалось, что там, за этими огромными черными балками, таится что-то страшное.

Когда стали пить чай, дядя Айваз начал рассказывать дедушке о своем верблюде. Верблюд дяди Айваза был знаменитостью, он мог поднимать немыслимое количество груза, и вот уже несколько дней верблюды этот в ярости бродил по степи, никого не подпуская к себе.

– Я в полдень шел с нижнего зимовья, вдруг вижу: стоит возле Ущелья Джиннов и смотрит куда-то. Хотел было назад, а он увидел меня, все, думаю, сейчас набросится и растопчет!.. С прошлого года злобу затаил – я его палкой по коленям огрел, не хотел садиться. Побегал я, верблюды – за мной... Чувствую – настигает, а у меня, хорошо, бурка была, я ее и скинул...

– Это ты молодец... – сказал один из стариков. – Сообразил.

– Да... Обернулся я, вижу: бурку мою терзает. Потом бросил ее и за мной! Жизнью твоей клянусь, Байрам, не окажись поблизости хлева моего брата Зульф리카ра, не спасись мне – едва успел в хлев нырнуть, он доскакал да прямо тут у хлева и свалился... Потом уж ребята окошко заднее разобрали, я и вылез...

– Верблюду, пока не отомстит, обиду свою не забудет, – бабушка Сакина вздохнула.

– Вот, смотри, как устроено, – глубокомысленно заметил старый Мустафаоглы, – чего только джинны с конями ни вытворяют, а к верблюду ни один и близко не подойдет!

– А с конями, значит, мудруют джинны? – спросил дедушка Байрам, пряча в усах усмешку.

– «Бисмиллах» надо говорить, когда их поминаешь! – одернула сына бабушка Сакина.

– Дядино жеребца каждую ночь гоняют, – огорченно сказал Гаджи. – Встану утром, а он весь в кровавом поту и грива в косицы заплетенная...

Дедушка Байрам ничего не сказал, только кашлянул. Я слышал, что старый Мустафаоглы в снежную ночь попал в Ущелье Джиннов на самое их сборище. Мне очень хотелось расспросить старика, как это было, но я не смел выговорить слова «джинн». И не разговоры о джиннах были тому виной, а эти огромные черные балки над головой... Все глубже проваливаясь в свой огромный страх, я то и дело поглядывал на потолок, а люди, кружком сидевшие в полутьме – Караджа, от дверей смотревший на нас, и даже дедушка Байрам, как-то уходили, удалялись от меня, превращаясь в нечто нереальное... Я чувствовал огромное, безнадежное одиночество и очень жалел, что уговорил дедушку привезти меня сюда.

За полночь соседи разошлись по домам. Расстелили постели. Меня положили рядом с бабушкой Фатьмой. Свет погас, мы легли. Воцарился бездонный жуткий мрак. И вдруг слезы стали душить меня.

– Что с тобой, детка? – спросила бабушка. Я продолжал плакать.

– В чем дело? – услышался недовольный голос дедушки. – Чего ты хнычешь?

– Я не хочу... в этом доме... – тихо проговорил я, всхлипывая.

– Почему? – спросил дедушка. Я продолжал молча плакать.

– Пойди уложи его в шалаше у Ширина, – сказал дедушка.

Мы с бабушкой перебрались в камышовый шалаш. Сквозь маленькое оконце видно было звездное небо, и, глядя на него, я спокойно уснул.

Наутро дедушка Байрам позвал одного из наших родственников.

– Посади этого героя на ишака и отвези домой! – сказал он, кивнув на меня.

Мне было горько, что дедушка говорит обо мне с насмешкой. Он так говорил потому, что я плакал вчера, но ведь я плакал не потому, что трус, а вот почему я плакал, я объяснить не мог.

Первый раз в жизни дедушка рассердился на меня; наш народ не прощает трусости.

... А жизнь шла своим чередом.

* * *

Иман-киши по-прежнему таскал воду в огромном медном кувшине, а в свободное время листал разодранную книгу, уверенный, что это Коран.

По-прежнему гонялся он за черными курами, не сомневаясь, что черные куры заколдованы веселой тетей Кызбес, а та, завидев Имана-киши на улице, забегала в первый попавшийся дом.

Муж ее пекарь Ибрагимхалил разбогател, выстроил красивый двухэтажный дом, перед которым разбит был цветник с розами. Он больше уже не лепил чуреки на стенки тендира, этим занимались его работники. Сам же он, аккуратно одетый, сидел за весами и каждый четверг наказывал жене готовить плов с цыплятами.

Сыновья тети Кеклик тоже стали понемногу выбиваться в люди. Старший – Алескер начал торговать овощами. Другой, одолжив деньги у моего отца, открыл москательную лавку, а третий стал учеником брадобрея – знаменитого мастера по обрезанию. Сама тетя Кеклик по-прежнему помогала у нас в доме: стегала одеяла, сучила нитки, взбивала шерсть, пекла лаваша...

Папа быстро шел в гору, стремясь стать одним из первых богачей. Он с гордостью рассказывал, как доверяют ему русские и иранские купцы, открывшие ему кредит.

Однажды утром, вернувшись с базара, папа радостно объявил нам, что купил второй дом у молоканина Жукова. Мама, лежавшая в тот день в постели, сразу забыла о болезни и, взяв нас с сестренкой, отправилась осматривать новое жилище. Дом – четыре комнаты и кухня – был высоко поднят над землей и окрашен в приятный бирюзовый цвет. Перед домом – огромный сад. Мама осталась довольна.

– А зачем нам этот дом? – спросил я, когда мы вернулись. – Что мы с ним будем делать?

– Отдадим другим твоим братьям, – шутливо ответил папа, он был в добром расположении духа.

– А где мои братья? – удивленно спросил я.

– Там же, откуда ты заявился. – Отец усмехнулся.

– А откуда я заявился?

Мама рассмеялась, а отец уже начал закипать:

– Я же говорю: недотепа, мямля! Сверстники его во всем этом до тонкости разбираются, а наш!.. И как он, такой, жить будет?

Отец часто говорил о моей тупости и никчемности, и я уже привык думать, что так оно и есть. И я мысленно попенял Аллаху: «Зачем только ты создал меня, всевышний?! Я мямля, я недотепа, я никогда не смогу быть таким, как другие!..»

Моя неуверенность в себе росла с каждым годом. Я пытался играть с ребятами, но эта проклятая неуверенность делала меня неуклюжим и неловким. Наученный горьким опытом, я сторонился ребячьих игр, а отец, видя, что я не принимаю участия в мальчишеских играх и забавах, все больше свирепел, ругал меня и без конца твердил, что я никуда и ни на что не годюсь. Ни разу не сказал он мне доброго слова, не похвалил. Позднее я понял, что таким образом отец старался расшевелить меня, подействовать на мое самолюбие, чтобы я стал как другие: веселым, смелым, резвым... Откуда ему было знать, что я живу в своем обособленном мире, что мир этот целиком поглотил меня, разлучив с окружающими и, прежде всего, с ним – с отцом.

Разве понял бы он меня, увидев, как я рыдаю в саду под шелковицей, потому только, что узнал об отъезде Махбуб-ханум? Войска Нури-паши уходили из Азербайджана, и она с мужем уезжала в Турцию. Когда мы с мамой пришли проститься, Махбуб-ханум совсем не выглядела печальной. Она была нарядно одета, увешана драгоценностями.

– Ах, Махбуб, – печально сказала мама, – и как у тебя сердце выдерживает? Ехать в такую даль, разлучиться с родными...

– С ним хоть на край света!

Глубоко вздохнув, мама задумалась...

Когда мы вернулись, я побежал в сад и долго плакал там под любимой моей шелковицей... Я плакал потому, что уезжал человек, который всегда был ласков со мной. «Какой он хороший мальчик, – не уставала повторять Махбуб-ханум. – И какие глазки умные!..» И вот этот человек уезжал...

Легко, просто и даже весело мне было только с бедняками-кочевниками, приехавшими к нам из Курдобы. (Любой и богатый, и бедный, приехав из Курдобы, останавливался у дедушки, так повелось давно и считалось совершенно естественным.) Я остро реагировал на доброту и искренность. Когда Хайнамаз раз в неделю приезжал на базар, я не слезал с его клячи. Оседланная старым кавказским седлом кобыла, не обращая на меня ни малейшего внимания, расхаживала по саду, пощипывала травку. У нас с ней установились самые доверительные отношения. А если б на месте бедняка Хайнамаза был какой-нибудь бек или ага, кто-нибудь из приятелей дяди Нури, мне б и в голову не пришло вскарабкаться на его лошадь.

За нашим домом на пустыре ежедневно проходили учения мусаватских солдат. Солдаты пели военные песни, почему-то казавшиеся мне печальными.

Несколько подростков организовали отряды из младших мальчиков, и, подражая солдатам, мальчишки строем ходили по улицам, распевая песни. Одним из таких отрядов командовал младший брат Махбуб-ханум Гулам, и мама попросила его принять в свой отряд меня.

Гулам зашел за мной утром, и мы пришли на окраину города, где я увидел множество мальчиков; разделившись на группы, они сидели на траве и пели песни.

Потом отдельно собрались командиры отрядов. Все они были богато одеты, но один выделялся особенно нарядной одеждой. По тому, как уважительно обращались с ним мальчики, я понял, что он пользуется особым авторитетом.

Гулам сказал мне, что подросток этот – сын последнего представителя великого рода Джаванширов. Гулам познакомил меня и с другими командирами; все они оказались сыновьями беков. Не было среди них ни одного крестьянского сына или сына ремесленника...

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЯДИ НУРИ

От дяди Нури не было ни слуху, ни духу. Мой отец пытался разыскать его, бывая в разных местах, зато дедушка Байрам не проявлял никакого интереса к судьбе сына. «И это называется мужчиной!.. – негодовала бабушка Фатма. – Пропал такой сын, а он и в ус не дует!..»

Я каждый раз удивлялся, слыша, с каким восторгом произносит она эти слова: «такой сын». Ведь дядя Нури так мучил бабушку Фатму!.. А бабушка и думать забыла об обидах. Трижды в день совершала она намаз, прося милости у Аллаха, заклиная его вернуть ей сына целым и невредимым.

«Зря ты маешься, – говорил ей папа. – Твоего сына мертвым в мельницу запусти, живым оттуда выскочит!»

Бабушка затягивалась папиросой, бросала на папу косой, сердитый взгляд и ничего не отвечала.

Я был у дедушки, когда вбежал слуга и потребовал у бабушки Фатмы подарок за добрую весть.

– Нури-ага приехал! Сидит у Ягут-ханум!..

Бедная бабушка совсем растерялась от неожиданности.

– А он как... не болен? – только и вымолвила она.

– Какое болен!.. Жив-здоров, смотрит соколом!

Дяди я побаивался, смущался в его присутствии, но сейчас я стремглав побежал домой. Дядя Нури сидел на веранде в войлочной тубетейке, которые носят иранские гачаги, в иранской чохе и пил чай.

Мама наказала мне никому не рассказывать о приезде дяди. Я очень удивился этому, но как всегда не посмел расспрашивать.

... Дядя Нури целый месяц потом рассказывал разным людям о своих приключениях. Больше всего меня поразило то, что случилось по пути в Иран – это было так похоже на сказку...

Напившись чаю, дядя Нури съел плов с цыпленком, душистую довгу и, довольно поглядывая на стаканчик с хорошо заваренным чаем, начал свой рассказ. Не спеша, чтобы продлить удовольствие.

– Мы с Алаем получили в Баку винтовки для наших частей и сразу решили их загнать: отвезем в Иран и продадим курдам тамошним. Как раз подвернулся туркмен-контрабандист, у него была большая лодка, и он уверял, что доставить и продать курдам оружие – плевое дело.

В море вышли ночью мы с Алаем и трое туркмен: тот, с которым мы договорилась, и два его товарища – молодой и постарше, поджарый, длинный. Все шло гладко, и когда мы оказались в открытом море, я достал две бутылки водки, закуску и предложил выпить. Молодые сразу же согласились, а тот, постарше, отвернулся. Потом ничего, подсел... Но он мне сразу показался подозрительным, уж больно часто поглядывал на наши золотые газыри...

Выпили, забрало меня, и так захотелось в морду ему съездить: мою водку пьет и на меня же глядеть не хочет. «Чего молчишь? – говорю ему. – Не с кем-нибудь сидишь, с офицерами!» А он только щурится, опрокинул в рот рюмку и встал.

– Ай-яй, какой непочтительный! – папа усмехнулся.

– Ну, ничего, я ему показал непочтительность! Ты дальше слушай! Достаяю еще две бутылки вина, зову его. Отказался. «Вина, говорит, не пью».

Ладно, плывем дальше. Уже светлеть начало. Алая сморило, заснул, а у меня сна ни в одном глазу – вы же знаете, водка меня не берет. Но лежу на спине, глаза закрыты, мысли все такие приятные: как деньги будем тратить в Тегеране. Вдруг смотрю, пожилой подходит к нам, наклоняется... Алай храпит, я тоже похрапывать начал – для вида.

«Готовы, – говорит туркмен, – дрыхнут. Нажрались...» Молодые давай с ним спорить, не надо, мол, а тот их подначивает: испугались, мямли. А главное, говорит: «У вора украсть не грех». Это он про меня сказал – «вор», представляешь?!

Я весь даже содрогнулся от негодования: назвать вором нашего дядю Нури!..

– Конечно, кровь в голову ударила. Но сдержался, молчу. «Ты лучше погляди, – говорит, – какое у белесого кольцо! Бриллиант рублей на пятьсот! А в чемоданах...» Молодой не ответил. Я тихонько руку на револьвер, а сам похрапываю!.. «Не надо, – говорит молодой, – подлость это!» – «Что подлость?! Отправить в ад двоих бекских выроdkов?! Ладно, сиди, я сам справлюсь!» И шагнул ко мне. Молодой кричит: «Не смей!» Ну тут я потянулся, зевнул... «О-о, утро уже?.. Заспались мы...» Туркмены молчат.

Проснулся Алай. Я ему по-французски: «Не спускай руку с револьвера». – «А что такое?» – «Вот этот, длинный, решил нас убить». Мы как раз проходили мимо острова. «Можно до него доплыть?» – это я у пожилого спрашиваю. – «Ребенок доплывет!» – «Ну и плыви!» – схватил его сзади и выбросил за борт... И сразу к тем: «Руки вверх!» Алай тоже наган на них. А тот, в воде, к лодке плывет. «Поворачивай, – кричу. – Застрелю, как бешеного пса!.. Во сне решил прикончить, подлюга!».

И сделал два выстрела... Поплыл он к острову, куда ж деваться... Только крикнул своим: если, мол, долю мою присвоите, на том свете найду!.. А молодой вдруг и говорит: «Пристрели его, ага!»

Короче, обезоружили мы их, связали, а ночью подошли к иранскому берегу. Продали оружие, получили за него золотом, с туркменами расплатились честно – я же слышал, что молодой не давал нас убивать, – даже больше дал, чем обещал. Ну, а дальше... – дядя Нури засмеялся. – А дальше решили мы с Алаем шикануть. Живем-то раз... Одно скажу тебе, зять: хочешь узнать, что есть наслаждение жизнью, езжай в Тегеран! – Дядя Нури мечтательно прикрыл глаза, предаваясь сладким воспоминаниям, и хотел уже продолжать, но тут папа прикрикнул на меня, велел уходить. Я ушел. Конечно, я мог стать за дверью и, глядя в замочную скважину, слушать дальше, тем более, что папа не стал бы проверять – он прогонял меня так, для порядка, а на самом деле не прочь был бы, чтоб я хоть немножко повзрослел. Впрочем, рассказы о жизни в Тегеране были совсем не так интересны для меня, и, хотя я потом не раз слышал их, они не остались в памяти. Вот разве только рассказ о том, как дядя Нури стал мусульманином...

«Когда я окончательно все промотал и понял, что вернуться домой не на что, мне вдруг пришла в голову идея. Я оброс, борода русая, говорю по-русски – меня все за русского принимали. Ну, я и надумал, перейду-ка я в мусульманскую веру, за это в Иране хорошие деньги дают – в виде помощи и поощрения. И стал я говорить, что я русский, новообращенный мусульманин. Они меня хвалят, деньги суют, как, говорят, тебя прежде звали? Александр, а теперь Искандером назвался. А когда я молитвы по-арабски читал, они прямо заходились от восторга, все мне были готовы отдать. Ну уж эти денежки я проматывать не стал. Мало того, поклялся, что если удачно переберусь через Аракс, ровно месяц буду поститься и совершать намаз».

Тогда только что начался пост, и дядя Нури действительно постился и совершал намаз. Всех нас это поражало, мы привыкли видеть его развлекающимся в обществе собутыльников – и вдруг пост, намаз... Выглядело это все смешновато, и даже бабушка Фатма недоверчиво покачивала головой, глядя на сына, стоявшего на молитвенном коврике. К вечеру, когда приближалась разрешенная постом трапеза, дяде готовили особые блюда, дедушкин слуга собирал для него в саду свежие тутовые ягоды. А дядя Нури целыми днями сидел уединенно, перебирал четки, читал молитвы, и кудрявая светлая его борода становилась все длиннее и длиннее.

Но вот кончился пост, и, придя к бабушке, я увидел прежнего дядю Нури. Он сбрил бороду, надел сапоги, галифе и красавцем-щеголем сидел с приятелями за столом, уставленным бутылками...

Все вернулось на свои места.

ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ. ПРОПАЖА СУНДУКА

Когда приходили гости, все чаще возникали разговоры о том, как ведет себя в России новое большевистское правительство. Говорили, что там прогнали богачей, фабрикантов, помещиков, что управляют всем рабочие и крестьяне.

Мне не очень-то верилось, что бедняки вроде Хайнамаза могут стать большим начальством, и все-таки эти вести радовали меня. Может быть, потому, что я испытывал злорадство по отношению к бекам и высокомерным бекским сынкам? Может быть, кровь простых людей, веками текущая в жилах моих предков, давала о себе знать?

Однажды я сказал маме:

– Вот будет у нас советская власть, бекские сыночки не станут задаваться!

– Этот мальчишка сумасшедший! – папа изумленно взглянул на маму.

– Не оскорбляй ребенка! – немедленно вступилась за меня мама. – Ничего в нем нет сумасшедшего!

– Как это нет! Он будто родился большевиком! А ведь не понимает, болван, что начнись здесь советские порядки, и отца, и деда его к стенке поставят!

– С чего это?! – впервые в жизни я осмелился резко возразить отцу. – Вы же не ханского рода. Не беки!

Мама расхохоталась, а отец оглядел меня удивленно, но не без удовольствия. Даже улыбнулся.

– Большевики враждуют не только с беками, – терпеливо объяснил он мне. – Они хотят, чтоб совсем не было богатых. Чтобы все стали бедняками. Пускай, говорят, все будут голодранцами, как Фетиш! (Это был самый бедный человек в папином родном селе.)

Папа говорил в озлоблении, и, почувствовав это, я не вполне поверил ему. Но спрашивать ничего не стал и ушел в сад – думать.

Я знал, что папа не любит беков, не разделяет мамино восторга перед их благородством и родовитостью. Молодые беки, дружившие с дядей Нури, обращались с папой высокомерно, это задевало меня, а папа, хотя и заискивал перед ними, ненавидел и презирал этих богатых бездельников. «В кармане вошь на аркане! – презрительно говорил он, – а спеси на сто рублей!» Большие богачи, такие, как Мешади Кара, тоже обращались с папой снисходительно, и мне почему-то казалось, что если у власти будут такие хорошие добрые люди, как Хайнамаз или тот же бедняк Ширхан, папе не может быть плохо.

... Через несколько дней, под вечер, когда мы пили чай на веранде, раздался громкий стук в ворота. Зинят побежала отворять. Во двор въехал дедушка Байрам в сопровождении Кызылбашоглы и Гаджи. Парни были при оружии и перетянуты патронташами. Когда, спешившись, гости поднялись на веранду, я с тревогой увидел, как мрачен дедушка Байрам, всегда такой бодрый и веселый.

Дедушка отстегнул наган, отложил его, пододвинул стул, сел. Закурил, спросил, как дела, и, рассеянно выслушав отца, сказал:

Сегодня ночью надо уехать из города. Части Одиннадцатой армии уже дошли до Барды. Дня через три будут здесь.

Наступило молчание.

– А правда, что большевики убивают всех, кто выше двух аршин ростом?

– Неужто и ты веришь в эту чушь?! – раздраженно бросил дедушка. Да, наш дедушка, выдержанный и деликатный, был сейчас сам не свой.

Снова наступило молчание. Дедушка Байрам несколько раз затянулся и сказал, словно разговаривал сам с собой:

– Я этой Айне-ханум говорил: не задирайтесь, не губите людей понапрасну. Собрала пять сотен всадников, заняла Барду: «Я не пушу в Карабах Красную Армию!..» А как ты ее не пустишь, если это сель, горный поток!.. Чем его остановишь? Вон какие государства не могут справиться с Красной Армией, а тут какая-то женщина с пятью сотнями людей... Только зря озлоблять большевистских солдат. Население пострадает, больше ничего...

После ужина дедушка сказал отцу, что ночью Ахмедали приведет из Курдобы несколько коней и верблюдов, а пока нужно собраться, чтоб выехать до рассвета.

– А как же дом? Магазин?..

Дедушка не ответил.

– Возьмите только самое ценное, – помолчав, сказал он. – И полегче. Чтобы навьючить на верблюда. Пока поедете в Шехли, а там посмотрим...

– А сам ты как? – спросила мама.

– Отвезу Фатьму в Курдобу и вернусь в Алхаслы, к Кази Мирзе. Там Аракс близко.

– Думаете уходить? – спросил папа.

– Другого выхода нет... – Дедушка вздохнул. – Если туго придется...

Опустив шторы, папа с мамой стали складывать в большой, обшитый железом сундук наиболее ценные вещи. Утром сундук этот вместе с туго набитым хурджином навьючили на верблюда. В обоих наших домах осталось много ковров, серебряной посуды и других ценных вещей. Магазины были завалены товарами.

За хозяина решено было оставить дядю Зеби – папиного младшего брата. Несколько лет назад он вместе с другими крестьянами ушел в Россию на заработки, стал настоящим рабочим, и папа с мамой решили, что, раз он – рабочий, большевики не тронут дом.

Мы выехали на рассвете. Дороги забиты были беженцами. Люди спасались от большевиков, убивавших всех выше двух аршин ростом. Кто шел пешком, закинув за спину узел и таща за руку ребенка, кто ехал верхом, кто – в арбе...

– Странно... – сказала мама. – И бедняки бегут...

– Да потому что слухи эти!.. – с досадой сказал отец. – Слышала, что вчера твой отец сказал. А люди верят. Вот и бегут.

Все равно я не мог понять, чем мешают большевикам купцы. Беки да, бекам надо как следует дать, а такие, как мой отец?.. Он же трудится с утра до ночи.

... В Шехли мы остановились в доме старого приятеля дедушки сотника Гамида. Хозяина дома не оказалось, он уехал проведать отары, но приняли нас с большим почетом.

В дом непрерывно входили и выходили вооруженные люди – многочисленная родня сотника.

Потом я услышал, как папа потихоньку сказал маме:

– Люди Гамида ловят солдат, дезертирующих из мусаватской армии, раздевают их, отнимают оружие и убивают.

– Зачем? – в ужасе воскликнула мама. – Пускай заберут оружие, пускай одежду отнимут, но убивать!.. Если б Гамид был здесь, он не допустил бы!

Мимо окна прошел высокий худощавый парень с лицом желтым от лихорадки – один из родственников Гамида. В руке у него было ружье, на поясе – два патронташа.

– Вот этот с двумя еще, – папа кивнул на парня, – вчера ночью привел коня, до ушей нагруженного оружием и амуницией. Сельских они прикончили. Спрячутся в кустах у дороги и... Бедный наш народ!..

Новость потрясла меня. Я не мог без ужаса смотреть на бледное, со следами оспы, изможденное лихорадкой лицо парня. Убивать людей ради винтовки и одежды!.. Солдат идет домой, его ждет мать, а парни залегли в кустах и стреляют в него!.. Убийство ради одежды или денег вызывало у меня не только ужас, но и отвращение – это было что-то вроде людоедства. Бледный от лихорадки парень был мне гадок, как змея.

... Мама хотела шлепнуть меня за то, что я ударил сестренку, я побежал, спрыгнул с перил веранды, упал и закричал от боли. Я сломал руку. Костоправа в здешнем селе не было, и папе пришлось везти меня верст за восемь в другую деревню.

– Зачем самому ехать? – сказала жена Гамида. – Ребята отвезут мальчика.

Но папа не согласился, оседлал серого иноходца, резвого и очень послушного, сел в седло и взял меня на руки. Рука была на косынке подвязана к шее, но все равно трясло сильно и было очень больно, и папа, одной рукой держа повод, другой поддерживал мою сломанную руку. Ехали мы долго – чтоб избежать встречи с бандитами, папа поехал не главной дорогой, а едва заметными тропками.

– Ну, как рука? – то и дело спрашивал он меня.

Впервые за всю свою жизнь я чувствовал в голосе отца тревогу и нежность и несколько не жалел, что сломал руку.

Костоправ, пожилой человек, сидевший на топчане с четками в руках, приподнялся, увидев нас, и крикнул, чтоб приняли коня.

Папа осторожно поставил меня на землю, потом спрыгнул сам. Костоправ спустился с топчана, как со старым знакомым поздоровался с отцом и повел нас на веранду. Разговор шел о том, о сем, но больше всего о возможном приходе большевиков.

– Что ж, – сказал хозяин, – пускай приходят, посмотрим, чего они стоят. – И обернулся ко мне: – Ну, герой, показывай свою руку! – услышал я слова, которых так боялся.

Папа размотал повязку. Костоправ стал ощупывать перелом. Было ужасно больно, но я молчал, стиснув зубы. Костоправ наложил повязку и улыбнулся:

– До свадьбы заживет! А парень ты терпеливый. Молодец!

Позднее, когда мне крепко доставалось в жизни, я часто вспоминал слова костоправа. Похоже, судьба, зная, сколько мне выпадет в жизни всяческих мук, в достатке снабдила меня терпением.

Мы возвращались по вечернему холодку. Ехали опять степью. Серый конь, хорошо отдохнув и поев – в наших краях за конем гостя ухаживают не хуже, чем за самим гостем, – несся, как ветер.

– Ну что, болит еще? – спросил папа. – Костоправ сказал, скоро перестанет.

В голосе отца было столько ласки, заботы!.. Папа был сейчас совсем не такой, каким я привык видеть его в последнее время. Он целыми днями беспокоило расхаживал по комнате, говорил, говорил... Мама, покуривая, изредка бросала реплики, делала вид, что слушает, но я знал, что мысли ее далеко. Я был не так уж мал, чтоб не понимать значение богатства, и все же папины бесконечные волнения по поводу товаров и денег отдаляли его от меня, я чувствовал в нем тогда что-то чужое. Мамина беззаботность и равнодушие к этим тревогам были мне гораздо приятней.

... На следующий день после того, как стало известно, что части Одиннадцатой армии вошли в город, приехал Багадур, – мама часто рассказывала мне о гачаге Багадуре – какой он красивый, смелый, надежный... Раньше он был слугой у дедушки Байрама, потом ушел в гачаги, но они остались друзьями.

С мамой Багадур поздоровался как старый знакомый, с папой – сдержанно-вежливо. Он был смугл, высок ростом и очень хорош собой. Черные его волосы были коротко подстрижены и по-городскому зачесаны назад. Три патронташа пристегнуты были на поясе, два перекинута через плечо.

Оказалось, что дедушка прислал Багадура, чтоб переправить нас в Алхаслы. Папа не хотел ехать, он требовал, чтоб мы поехали в его родное село, но мама отказалась наотрез. Поехали в Алхаслы.

– А как же с ним? – спросила мама, указывая на мою перевязанную руку. – Надо, чтоб кто-то держал...

– Когда ему был годик, он то и дело влезал на руки к дяде Багадуру. И сейчас, наверное, не прочь?

Один из гачагов подал меня Багадуру. Тот осторожно взял меня на руки и пришпорил коня.

Хорошо, что дедушка прислал за нами вооруженных людей. На дорогах творилось что-то невообразимое.

... В Алхаслы мы остановились в доме дедушкиного приятеля Кази Мирзали. Большая часть жителей еще в мае переселилась с отарами на эйлаги. Отары Кази тоже давно были на летних пастбищах, но сам он и его семья в связи с последними событиями в горы пока не перебрались.

У Кази было около трехсот коров, и дом его, единственный в селе, имел два этажа и железную кровлю.

По вечерам почти все знатные, влиятельные люди из окрестных сел во главе с дедушкой Байрамом, днем скрывавшиеся в степи, узнав через гонцов, что большевиков в селе еще нет, возвращались в дом Кази Мирзали. Резали баранов, ставили самовары... Среди других здесь оказался отбившийся от своей части турецкий офицер. Отряд разрастался: каждый вечер приходилось резать несколько баранов... Выставив часовых на подходе к селу, все рассаживались на расстеленных во дворе коврах, ели, пили и горячо обсуждали возможность появления большевиков.

Старший сын Кази Мирзали Садых готовился стать моллой. У него была коротко остриженная черная борода и высокая папаха. Длинный до самых пят архалук его подпоясан был белым кушаком.

Привязав к палке белую тряпку, Мирзали Садых целыми днями сидел на холме возле дома, чтоб в случае прихода большевиков те издали увидели бы, что им не будут оказывать сопротивления. Маме все это казалось смешным, и она подтрунивала над Садыхом, советуя ему переодеться и сбрить бороду – большевики не жалуют служителей культа.

Молла Садых молча ухмылялся, и эта его ухмылка была гадка мне своей фальшивостью. Я бы очень даже хотел, чтобы большевики, явившись, призвали к ответу этого криво улыбающегося моллу. Посмотрим, как он тогда заулыбается!..

Через несколько дней снова пришлось переезжать. На этот раз дедушка Байрам велел нам ехать в Гюней Гюздек к родственникам папы.

– Здесь вы в доме самого богатого человека, – объяснил дедушка, – а там будете жить у крестьянина, который ходит в чарыках. Кстати, вы тоже перемените одежду, наденьте крестьянское. Уляжется все, тогда посмотрим...

– А вы как? – помолчав, спросила мама.

– Перейдем на ту сторону, – ответил дедушка и, повернувшись, взглянул на противоположный берег Аракса.

– Итак, готовьтесь, на рассвете Багадур отвезет вас в Гюней Гюздек.

* * *

... – Ну что, – встретил нас дядя Губат. – «Товарищей» испугались? – Я чувствовал, что он в приподнятом настроении. Мама тоже, конечно, ощутила это.

– А ты, кажется, рад их приходу? – с издевкой спросила она.

– А чего ж? «Товарищи» они за таких, как я, за простых людей в чарыках.

– Думаешь, при них офицерские сапоги наденешь?

– Не я, так сыновья мои наденут! – дерзко глядя ей в лицо, ответил дядя Губат.

У мамы побелели губы, так случалось всегда, когда мама была вне себя. Папа поспешил разрядить атмосферу шуткой.

– Губат у нас известный большевик...

«Не любит дядя Губат богатых, – думал я. – И дядя Зеби не любит. А вот почему-то не постарались разбогатеть... А может, все от Аллаха? Говорит же бабушка, что одному Аллах посылает богатство, другого – обрекает на нищету... Но где же справедливость? Почему этому противному Абдулазизу, папиному зятю, маленькому, сгорбленному, сердитому, Аллах посылает богатство, а Идриса, высокого, красивого, сильного, заставляет жить в бедности?.. Может, Абдулазиз ангел, только обличие у него такое? Ведь бывает так в сказках: красивая девушка превращается в лягушку... Молодой пригожий юноша – в обезьяну... Но они и в безобразном обличии оставались прекрасными, они делали людям добро. А кто видел добро от Абдулазиза?..»

Маму в поношенном крестьянском платье я не сразу узнал. Папа надел лохматую пастушью шапку, старый архалук, обул чарыки, но все равно не решился ночевать в доме. Вместе с Абдулазизом и еще несколькими сельскими богачами он провел ночь в садах за селом. Утром стало известно, что дедушка со своим отрядом перешел Аракс.

Крестьяне, в большинстве своем бедняки, собирались кучками и о чем-то спорили.

– «Товарищей» ждут!.. – сквозь зубы цедила мама. И ненависть, отвращение слышались в ее голосе.

– Вот «товарищи» идут!..

Толпа молодежи, из тех, кто победней, собравшись на косогоре, стояла по обе стороны шоссейной дороги, ведущей в город. Люди оживленно переговаривались, смеялись... Папа вместе с деревенскими богачами ушел за село в сады. Мама сидела на заднем балконе, откуда был виден косогор за селом, курила и смотрела на шоссе...

Сперва показались повозки, запряженные лошадьми, за ними – отряд солдат. Навстречу им с криками ринулась босоногая деревенская ребятня. Мне тоже хотелось побежать навстречу солдатам. Так хотелось, хотя я и слышал о большевистских зверствах, и, когда отряд проходил мимо нашего дома, я увидел, что солдаты веселые, смеются, раздают мальчишкам кишмиш...

– Да здравствует советское правительство! – выкрикнул вдруг Джавад – один из самых бедных в селе. На руке у него повязана была красная лента.

Впереди отряда вышагивали музыканты: зурна, барабан и бубен. Садат-арвад, едва спасшая своих детей от голодной смерти травой, пустилась в пляс. Перед ней плавно прошелся в танце батрак Вейсал. Джавад, долгое время живший в России на заработках, попросил, чтоб сыграли русскую. К нему присоединилось несколько солдат. Толпа вокруг становилась все больше...

– Люди! – крикнул Джавад, забравшись на большой камень. – Вот сами смотрите: бандиты они – солдаты Красной Армии?! Это все буржуйские выдумки!..

– Смерть буржуям! – крикнули из толпы.

Потом выступал командир отряда, а Джавад, как умел, переводил его слова. Когда командир сказал, что Красная Армия пришла, чтоб помочь беднякам стать хозяевами своей земли, что Ленин приказал раздать землю крестьянам, толпа радостно загудела... Вейсал крикнул: «Да здравствует советское правительство!». «Да здравствует Ленин!..» – выкрикнул Джавад. Один из солдат поднял вверх портрет Ленина, и толпа притихла, рассматривая его.

– Еще командир сказал, – продолжал переводить Джавад, – что пусть каждый занимается своим делом, Советская власть ничего плохого не сделает, если своим трудом живешь... А начальство, говорит, сами избирать будете...

Воинская часть, оставив в селе небольшой отряд, назавтра ушла дальше, в соседний округ. Но пока красноармейцы стояли в селе, ни отец, ни другие, что были с ним, не показывались ни днем, ни ночью.

Я же набрался смелости и подошел к солдатам; их обоз остановился как раз против нашего дома. Солдаты пытались говорить с ребятами по-русски, давали кишмиш, смеялись... Дома я иной раз и шоколада в рот не брал, а тут с удовольствием вместе с другими уплетал грязный кишмиш. Мне были симпатичны эти веселые парни, пришедшие издалека, но было совестно за отца – так боится, что даже не приходит домой, – и я не чувствовал себя с солдатами просто и легко, как другие. Вот и одежда на мне была старенькая, крестьянская, и весь день я вместе с другими мальчишками крутился возле солдат, но все равно чувствовал себя чужаком. И еще я все время боялся, как бы солдаты не узнали, что мой отец прячется от них в садах. Мне казалось, что если такое случится, я умру от стыда.

А между тем нашей семье приходилось туго. Сундук с ценными вещами мы по совету дяди Губата спрятали в старом сарае, где разводили коконы, а у мамы на руках не осталось ничего, что можно было бы променять или продать. А жена Губата не давала нам ни масла, ни молока... От дедушки Байрама не было никаких вестей, папа по-прежнему скрывался от красных солдат...

Жена дяди Губата, тощая, желтая, болезненная и очень злая женщина, каждый день находила повод поругаться с мамой. И грозила при этом, что пойдет к большевикам и расскажет, что мы буржуи. Мама никогда ей не делала ничего плохого, и я не понимал, за что эта женщина так ненавидит мою добрую, веселую маму.

... Но вот вроде все успокоилось. Люди поняли, что большевики не трогают тех, кто не оказывает им сопротивления, и папа наконец вернулся в дом. Мало того, он даже принял решение возвратиться в город и попросил дядю Губата принести спрятанный им сундук. Сундук принесли, и все увидели, что он пуст. Папа с мамой в ужасе переглянулись.

– А где же вещи? – спросила мама.

– А я почему знаю!.. – дядя Губат отвернулся.

– Ты пожалеешь об этом, Губат! – сказала мама трясущимися губами. – Лучше верни!

– А-а, ты грозишь?! – вдруг разошелся дядя. – Я вас тут прячу! Жизнь свою своей рискую! А ты на меня хвост поднимаешь?! вспомнила, что дочь Байрам-бека?! Прошли ваши времена, ханум! Забирай своих выродков и проваливайте отсюда! А то сейчас солдат приведу! Перережут вас всех до единого!..

И он ушел, хлопнув дверью.

– Но он же обокрал нас! – в отчаянии сказала мама. – Мы нищие, понимаешь?! Ну что ты молчишь?! Неужели не можешь заставить брата вернуть наши вещи?!

– Не могу, – сказал папа, – я теперь ничего не могу. И твой отец – тоже.

Папа попросил у одного из родственников упряжку волов, и мы отправились в город.

Медленно катилась арба, а я все думал, думал... До сих пор я считал, что только в сказках бывают братья, обижающие друг друга. Когда я слушал, как братья Мелик-Мамеда бросили его в глубокий колодец, мне не очень-то верилось, и я спрашивал бабушку, может ли такое быть. «Может, – отвечала бабушка. – Негодяй и брата посадит!» И сразу же начинала ругать дедушкиного брата Айваза, который, как она утверждала, обирает родного брата.

Папа и дядя Губат – братья... Родные братья. А когда они были маленькие, дядя Губат тоже забирал у папы что хотел? Слово «крал» я не мог произнести даже мысленно, ограбить родного брата казалось мне злодейством несколько не менее страшным, чем бросить его в глубокий колодец... Может быть, мама зря сердится на него? Может, он, правда, ничего не знает? Но так или иначе пропажа вещей из сундука делала нас настоящими бедняками.

НОВЫЕ СОБЫТИЯ НОВЫХ ДНЕЙ

Оба наши дома оказались заняты: в них расположился батальон Одиннадцатой армии. Одну комнату оставили «слуге» – дяде Зеби, и по возвращении вся наша семья разместилась в этой комнате.

Дом был разграблен, мебель переломана. В магазине было совершенно пусто. Дядя Зеби сказал, что нагрянули крестьяне и все растащили. Насколько это соответствовало истине, выяснить было трудно, но мама не верила дяде Зеби: «Никто не мог забрать эти вещи! Дочь Байрам-бека не осмелятся ограбить! Зеби все продал и спрятал деньги!»

Есть было нечего. Командир батальона, веселый широкоплечий парень, сажал нас с сестренкой за стол и угощал кашей. И мы с удовольствием уплетали эту безвкусную из-за отсутствия соли, недоваренную рожь, и командир, поглядев на нас, приказывал повару дать добавку. Трудно было поверить, что всего несколько месяцев назад мама с трудом заставляла нас есть плов с цыпленком или шашлык из молодого джейрана.

Я чувствовал себя совершенно свободно, сидя за столом с этим чужим человеком. С солдатами мне тоже было совсем легко.

Через неделю после нашего возвращения командир слег с малярией. Его трясло, а он виновато улыбался и говорил, выбивая зубами дробь:

– Надо же... Шинель, три одеяла... Дома в Сибири пятьдесят градусов – и хоть бы что, а тут жара... а согреться не могу...

Мама заваривала крепкий чай, я нес его командиру, его приятель, худой, маленький человек в очках по фамилии Воронов, наливал ему чай в стакан, командир пил стакан за стаканом, потел и ему становилось легче...

В одну из ночей пришли двое солдат и забрали папу. Мама, не спавшая всю ночь, едва дождалась утра. Когда командир проснулся, бросилась к нему: в чем дело? «Это не по моей части, – сдержанно ответил он. – Это – товарищ Воронов». Дядя Зеби пошел куда-то и узнал, что папу оклеветали, сказали, что он крупный капиталист, угнетатель трудящихся и вообще чуть ли не сам шайтан. Доктор Кулиев, придя в очередной раз делать командиру укол хинина, узнав об аресте, убедил Воронова, что папа – никакой не капиталист, а рядовой купец, и тот, поверив доктору Кулиеву, приказал отпустить папу.

Капиталист, купец – в этом я не очень разбирался, но мой папа – шайтан – как это так?

Я начал подумывать, не шайтан ли временами вселяется в папу, подучивая его ругать собственного сына? Ведь, когда я сломал руку, папа был ласков со мной, он меня жалел, утешал... Значит, может. Да, это шайтан? А что я ему сделал такого, что он настраивает человека против родного сына?.. Но ведь и папа ничего не сделал человеку, который оклеветал его, добиваясь ареста. Как это все понять?.. А вот, наверное, маленьким шайтан не причиняет вреда. Когда Махтаб еще лежала в колыбельке, она однажды улыбнулась во сне. Мама ласково поглядела на нее: «Наверное, маленькая ангела увидела». С тех пор улыбающийся человек вызывал у меня в памяти образ ангела. Может, поэтому я всегда с удовольствием рассматривал портрет Ленина – на портрете он улыбался. Я знал, что Ленин свалил с престола царя, что он командир всей огромной Красной Армии, и думал, что это огромный, могучий, суровый герой вроде Рустам Зала. А он, оказывается, немолодой мужчина в пиджаке и при галстукке, чем-то похожий на доктора Кулиева. И потом эта улыбка!.. (Доктор Кулиев тоже всегда улыбался, когда разговаривал со мной.)

Я нашел у мамы кусок красной ленты и приколот на грудь. Папа посмеивался, глядя на мою ленту, и говорил приятелям: «Сын-то у меня, оказывается, большевик! С утра до вечера все Ленина рисует!» Мне было приятно слышать эти слова. Стараясь как можно больше походить на большевиков, я тайком оторвал кусок от портянки командира и обматывал им ступни. Потом я стал приставать к маме, чтоб она сшила мне буденовку. Мама сшила мне зеленую шапку с шишкой наверху. Тогда я попросил, чтоб она вырезала красную пятиконечную звезду и пришила ее на шапку.

Мама рассердилась и прогнала меня прочь, но неожиданно на моей стороне оказался папа: «Что тебе, трудно? Просит ребенок – пришей».

И мама пришила мне пятиконечную звезду.

Я обмотал ноги портянками, приколот на грудь кусочек красной ленты, напялил самодельную свою буденовку и стал красным командиром. Оказавшись в совершенно новом мире, увлеченный новизной и необычностью происходящего, я вдруг почувствовал себя сильным и ловким. И самое интересное – таким я, кажется, нравился папе. Он даже заказал мне у шорника Гафара широкий командирский ремень.

И еще удивляло меня то, что, хотя магазин и дом были разграблены, и мы остались в полной нищете, папа не испытывал, я чувствовал это, никакой враждебности к большевикам. Не было в нем той озлобленности, что в других богачах. По вечерам папа часами разговаривал с больным командиром. Может быть, папа чувствовал удовлетворение от того, что беки, которых он так не любил, получили наконец по заслугам? Я думаю, что если бы отцу предложили тогда работу в советском учреждении, он согласился бы. Может быть, даже вступил бы в партию... Но никто, разумеется, не предлагал ему ничего подобного. И папа жил в постоянном страхе перед арестом, не представляя, что ожидает его завтра. Что касается мамы, она была совершенно непримирима к новой власти. Ее бесило, что Тохва-арвад, всю жизнь стиравшая на людей, избрана председателем горсовета, что коротышка пастух Таптык тоже вышел в начальство – председатель комитета бедноты. Этим людям дана власть, и они заставляют людей, всегда считавшихся самыми достойными, лить горькие слезы.

Несколько раз мама просила отца достать коней и ночью переправить нас через Аракс. Но папа не хотел бросать новый, недостроенный дом и не соглашался. «Уйдут красные, вернемся, – говорила мама. – Недолго им править, без царя страны не бывает». Но папа отвечал ей, что царя взять теперь негде, потому что большевики расстреляли и царя, и всю царскую семью.

Отец увлеченно занимался садом при новом доме. Семена и саженцы он привез из разных мест еще раньше и теперь сам выращивал все деревца, цветы, кустарники – благо, времени у него хватало. Крестьянское начало было развито в папе не меньше, чем способности коммерсанта, и потому, не видя в сыне ни желаний возиться в саду, ни склонности к коммерции, он был уверен, что ничего путного из меня не получится.

Мама, более равнодушная к «земным делам», была в отношении меня не столь мрачно настроена, и это была еще одна ниточка, незримо связывающая меня с ней, делавшая маму самым дорогим для меня существом.

Новая власть вошла в силу, и части Одиннадцатой армии ушли из города. Ушел и батальон, стоявший в нашем доме.

Жить нам было не на что, да и продуктов в городе становилось все меньше. Мама готовила только раз в день, стараясь сделать что-нибудь подешевле. Когда она болела, стряпать обед приходила ее дальняя родственница тетя Набат, горбатая женщина лет пятидесяти.

Готовила она необыкновенно вкусно (а может, любая еда в то время казалась нам вкусной?), а главное, она была на редкость веселая и приветливая. Глядя на веселую, ловкую горбунью, никогда ни на что не жаловавшуюся, я подумывал иногда – пусть мама была бы горбунья, только бы никогда не болела и была бы веселая, как тетя Набат. Такая хорошая женщина! Ну вот за что, за какие такие грехи Аллах сделал ее горбатой?

* * *

... Прошло несколько недель, и папа, продав кое-что из маминых золотых украшений, купил себе скакуна и английское седло. А потом как-то вечером я увидел, как он тайком принес в дом пятазарядку и два патронташа с патронами.

Через несколько дней после этого ночью папа натянул сапоги, пристегнул патронташи и оседлал скакуна. «Оставляю вас на милость всевышнего!» – сказал он и уехал.

Я стал спрашивать у мамы, куда это он. Мама коротко ответила: у отца дела в другом городе. Но утром я, притворившись спящим, подслушал ее разговор с бабушкой. Оказывается, отец с четырьмя сообщниками отправился в Тебриз покупать краденый товар.

– Может, Байрама встретит... – сказала бабушка Фатьма и вздохнула.

– Не думаю... – ответила мама. – Они поедут, где людей поменьше.

Папа вернулся через несколько дней, опять же ночью. Снял с коня войлочный хурджин, принес на веранду.

– Вот, – сказал он, – детишкам...

– А как с товаром? – обеспокоенно спросила мама.

– Привезли кое-что. У Адиль-бека сложили.

Адиль-бек был папин приятель, низенький, очень толстый мужчина. Когда, приходя к нам, он усаживался на диване, скрестив под собой ноги, я каждый раз дивился, как это они у него складываются, такие короткие и толстые?..

Отец с компаньоном привез из Тебриза ткани и еще кой-какие товары. Все это они продали и снова отправились в Тебриз.

Стояла весна. Аракс широко разлился, и переплывали его на плотках. Скрепив десяток бревен, к ним привязывали несколько надутых воздухом бурдюков и садились на плот. Лошади переправлялись вплавь. Это была опасная переправа. К тому же в любой момент могли появиться бандиты, бродившие в округе большими отрядами. Но отцовские начинания завершились благополучно, и наши дела несколько поправились. Меня это радовало, я успел уже ощутить, что такое бедность, и она мне была не очень-то по вкусу.

... В город приехал председатель уездного исполкома. Говорили, что он старый революционер, что с ним считаются в Баку. И еще говорили, что он хороший человек – за несколько дней успел завоевать доверие и уважение горожан.

Отец пришел с базара взволнованный, с сияющими глазами...

– Меня вызывали. Председатель уездного исполкома.

– Зачем? – обеспокоенно спросила мама.

– Спрашивали про Байрам-бека. Почему, говорят, твой тесть сбежал в Иран? Я ответил – боялся, что схватят, вот и ушел. А он мне... Ты, говорит, передай ему от моего имени, чтоб не боялся. Пусть возвращается.

– А ты что?

– Сказал, у меня нет возможности передать.

Мама достала папиросу.

– Мы отцу скажем – приезжай, а он возьмет да и расстреляет старика! Как бы не так!

– Знаешь... – задумчиво произнес папа, – он сказал еще одну странную вещь.. Сказал, передай Байрам-беку, что мы с ним знакомы. Пусть ничего не боится.

– А ты и поверил! – мама горько усмехнулась. – Он же из Гянджи, откуда ему знать отца? Обманывает, заманить хочет!

– Да как-то не похож он на обманщика... Хорошее впечатление производит.

– Впечатление! – мама сердито фыркнула. – Поставит твоего тестя к стенке – будет впечатление!..

Отец не ответил. Я видел, что он молчит лишь потому, что не хочет вступать с мамой в спор, что он поверил этому человеку.

... Мама что-то шила на машинке. Мы с сестренкой играли на веранде. Вдруг во двор въезжает человек в бурке, в серебристой папахе, на высоком коне.

– Дедушка приехал. Дедушка Байрам приехал!.. – завопил я, бросаясь во двор.

На мои вопли выбежала из комнаты мама. Дедушка Байрам спешился, привязал коня к дереву и поднялся на веранду. Скинул бурку на табурет и сел на подставленный мамой стул.

– Что, решил объявиться? – встревоженно и как-то смущенно спросила мама. Маме были свойственны властные интонации, в голосе ее чувствовалась уверенность, и меня всегда удивляло, что с дедушкой она говорила совсем иначе.

– Председатель специально человека прислал... Обещает неприкосновенность...

– И ты поверил ему? – возмутилась мама.

– Как тебе сказать... – Дедушка достал серебряную табакерку и стал свертывать сигарку. – Там ведь тоже не сладко. Гачагом живешь. От шахских сатрапов спастись надо. До чего ж подлы!..

– Ну и на этих нельзя надеяться! – мамин голос прозвучал твердо.

– Ну, обратно уйду... Так просто в руки не дамся.

Мама накормила дедушку. Он встал, накинул бурку и, уже уходя, сказал:

– Ты обо мне не беспокойся. У меня руки чистые. Ни одному честному человеку я зла не причинил. Увижу, что заманили в ловушку – не поздоровится председателю!

Он не спеша спустился во двор, сел на коня и уехал.

Мама сидела на веранде, смотрела ему вслед и курила одну папиросу за другой. Когда пришел папа, она все рассказала ему.

Не знаю, сколько прошло времени, когда за воротами вновь послышался топот коня, все выбежали на веранду. Дедушка Байрам поднялся на веранду, бодрый, веселый, глаза сверкают...

– Слава Богу! – папа облегченно вздохнул. – Цел и невредим!

– Да-а... – протянул дедушка, снимая бурку. – Вот уже поистине неисповедимы пути господни...

– А что такое? – спросила мама, все еще не веря своим глазам.

– Привязал я коня, иду наверх, слово себе дал: замечу ловушку – стреляю! А председатель увидел меня, встал из-за стола, улыбается... «Что, бек, не признали?» – «Нет». – «А вот я не забыл нашу встречу. В ущелье Шипарты. Вы вырвали меня тогда у гачагов. Теперь бы уж и косточки давно сгнили...»

– Значит, правильная та пословица: «Добро не пропадает!» – взволнованно сказал папа. – А потом?

– А потом сообщил мне, что меня назначают начальником уездного отделения милиции. Я сперва стал отказываться: беспартийный я и скрывался от них. Ничего, говорит, вам мы доверяем. Сейчас главная задача – покончить с бандитизмом. Тут ваш авторитет, популярность ваша незаменимы.

Я ликовал больше всех. Новых милиционеров я уже видел. И мой дедушка будет начальником над всеми ними!..

ШКОЛА И Я

Пятнадцатого сентября дедушка отвел меня в школу. Находилась она в большом полутораэтажном здании под красной железной крышей.

Там, в школе, я окончательно убедился, что обречен на постоянную и вроде бы беспричинную грусть: среди веселой мальчишеской возни, в шумной толпе школьников мне было как-то особенно одиноко. Ребята носились по коридору, влетали в классы, спорили, шумели, боролись друг с другом, прыгали с парт, а я стоял, подпирая стенку, и молча наблюдал за ними. Мне казалось, что все эти ребята давно знакомы между собой, что они чуть ли не родственники, а я чужой. Мальчишки не обращали на меня никакого внимания, никто даже не смотрел в мою сторону.

Мирза Джамал – первый учитель в моей жизни – был человеком средних лет, с коротко подстриженной бородой, одетый почти как молла. Нам всем он велел снять шапки, но сам вел урок в папахе.

Дней десять спустя после начала занятий я пришел в школу чуть не со слезами на глазах – маме опять было очень плохо. Я слушал веселый гомон ребят и думал: как они могут?..

Прозвенел звонок, мы вошли в класс.

С важным видом вошел учитель Мирза Джамал.

– Встать! – сказал он. Мы встали.

– Сесть! – мы сели.

– Сейчас будем разучивать песню!

Ребята оживленно задвигались за партами, и учитель Мирза Джамал тонким голосом начал петь. Потом к нему присоединились ребята. Я даже и не пытался петь – пылающее в жару мамино лицо стояло перед моими глазами... Мальчик, сидевший со мной за одной партой, поднял руку.

– А он не поет! – Учитель подошел ко мне.

– Ты почему не поешь?

Я молчал, опустив голову. Мирза Джамал рванул меня за руку, вытащил из-за парты.

– Убирайся! – он вытолкнул меня за дверь.

Я вышел в школьный двор и встал, прислонившись к стене. Когда мы шли домой, Рашид, толстый и туповатый парнишка, увидев моего отца, пожаловался ему, что учитель выгнал меня из класса.

Папа разгневался не на шутку и долго отчитывал меня. Мама, пересиливая слабость, тоже присоединилась к нему. Оба называли меня тупицей, упрямым ослом, размазней... Потом стали ругаться между собой. Папа обвинял маму в том, что это она воспитала меня таким, а мама заявила отцу, что я пошел в его дорогих братцев.

Я был очень обижен совместными их упреками, но где-то под обидой тлела радость: раз мама так громко кричит, значит, она поправится... И приятно было, что мама, как всегда в спорах, взяла верх над отцом. Только не нравились мне ее слова, что я будто бы удался в «братцев». На дядю Губата, обчистившего наш сундук, мне совсем не хотелось походить.

* * *

... Начиная со второго класса я стал хорошо учиться. Наш новый молодой учитель чуть не каждый день хвалил меня и даже сказал папе, что я талантливый, одаренный ребенок. Я не знал, в чем состоит мой талант, но счастлив был уже тем, что меня похвалили отцу, а отец сказал маме, что я очень способный. Я убежал в сад под шелковицу и заплакал. Но это были слезы радости, слезы счастья, я чувствовал горячую любовь к учителю Рустаму.

На приготовление уроков времени у меня уходило очень мало, зато читал я теперь день и ночь... Я давно уже жил в мире, созданном книгами. Глядя на книги, которые читала мама и содержание которых я знал из ее рассказов, за толстыми переплетами томов я видел героев сказаний. Думал о том, каково было богатырю Рустам Залу, когда, победив в схватке молодого богатыря, он вдруг по браслету на его руке узнал, что смертельно раненный им юноша – его собственный сын... И когда я представлял себе молодого Сохраба, простившего своего отца – своего убийцу, умирающего с любовью в сердце, я наслаждался сознанием того, что люди могут быть так благородны, и нисколько не сомневался, что, доведись мне оказаться на месте Сохраба, я был бы столь же великодушен. Благородное мужество книжных героев было прекрасно, оно было сродни красоте наших карабахских скакунов, великолепию могучих чинар, растущих на горных склонах, грозной силе горных орлов.

Глядя на мамины книги, я чувствовал, что в них живет любовь, та самая, по которой я так тоскую, которой мне так не хватает в жизни. Я не знал, что все это значит, но чувствовал неодолимую тягу к книгам; в книгах было что-то очень родное, близкое...

Новый, совершенно особый мир открыла мне одна из первых самостоятельно прочитанных серьезных книг – «Приключения Робинзона Крузо». Удивительно отчетливо представлял я себе жизнь Робинзона. Я ставил себя на его место, и хотя жить без мамы было грустно, я наслаждался одиночеством на необитаемом острове. И я немножко жалел, когда узнал, что Робинзон покинул свой остров. Видимо, мне хотелось, чтоб одиночество Робинзона длилось вечно...

Первым произведением, которое я прочел самостоятельно, был нравоучительный рассказ о мальчике, которому добрый садовник подарил грушу, и мальчик, преодолев соблазн, отнес эту грушу своей больной сестренке. Я был почти уверен, что рассказ этот про меня. Только грушу я отнес бы не сестренке, а маме, сестренка у меня никогда не болела.

Книги учили меня благородству, красоте самопожертвования. Что такое самопожертвование, я сказать не умел. Но я точно знал, что никогда не смог бы съесть грушу, если бы знал, что ее хочет моя больная мама...

Однажды погожим весенним днем учитель Рустам объявил нам, что завтра мы отправимся на прогулку и будем в поле на костре жарить кюкю – яичницу с молодой зеленью. Каждому он поручил принести что-нибудь для этого блюда: кому масла, кому – яиц... Я должен был принести хлеб и масло. Самым лучшим считалось кюкю из молодого шпината, щавеля и крапивы.

Однако наутро погода испортилась, начало моросить, и прогулка не состоялась. И вот когда мы пошли домой и вышло так, что я шел с учителем Рустамом, он вдруг присел на камень и сказал мне: «Ты ведь масло принес и хлеб? Дай мне немного».

Удивленный, я достал из сумки чурек и масло, отдал ему, и он, намазав масло на хлеб, стал есть. В это время мимо шли старшеклассники, среди них – младший брат Махбуб-ханум, уехавшей в Турцию. «Смотрите-ка! – закричал он, – учитель у школьника взятку берет!». Парни расхохотались. «Чтоб ты провалился, щенок!..» – пробормотал Рустам-муаллим, не переставая жевать.

Я знал, что многие в городе голодают. Но чтобы учителю нечего было есть...

Кипя от негодования, я поведал об этом случае маме. Но маму возмутил отнюдь не поступок парня. «Чего ждать от сына скорняка Абдуллы?» – презрительно сказала она. Сыном скорняка Абдуллы был учитель Рустам.

МИРОВАЯ СКОРЬБЬ

Став начальником уездной милиции, дедушка Байрам собрал вокруг себя храбрых парней, метких стрелков и хороших наездников и повел борьбу с ворами и бандитами, прятавшимися в горах. Они тоже называли себя гачагами, как и те, кто убегал в горы, спасаясь от преследования правительства, от гнета местных беков. С настоящими гачагами дедушка старался договориться, объясняя им, что пришло новое правительство, и теперь их никто не будет преследовать. Тех же, кто бежал от справедливого возмездия и которым народ, презирая их, не оказывал никакой поддержки, дедушка со своим отрядом выслеживал и арестовывал.

Как-то милиционеры дедушки Байрама привели двоих людей, убивших и ограбивших прохожего. Денег у него оказалось очень немного. Было объявлено, что преступников расстреляют на площади в центре города. Мы с бабушкой Фатмой пошли смотреть.

Народу на площади было полно. Бабушка показала мне на какую-то старуху, сидевшую на земле в окружении женщин, – это была мать убитого.

Немного погодя привели арестованных. Они были босиком, с завязанными глазами. На площади росли желтые колючки, и первой моей мыслью было: как же они пойдут босые по колючкам?

Поравнявшись с толпой, конвойные остановили приговоренных. Один был средних лет, другой – молодой. И вдруг молодой выкрикнул тонким голосом:

– Люди! Не дайте пролиться невинной крови!

Толпа молчала. Милиционерам дали команду, и они вскинули винтовки к плечу. Какой-то человек в черной рубашке вышел вперед и, взяв винтовку у одного из милиционеров, стал прицеливаться. Я все думал потом, почему он решил стрелять сам...

Я не мог смотреть ни на расстрелянных, ни на старуху, сидевшую на земле. В ушах у меня звучали слова: «Люди! Не дайте пролиться невинной крови!» А вдруг вышла ошибка? А вдруг они и правда не виновны?

Зрелище казни надолго лишило меня душевного равновесия. Впервые я видел, чтоб так спокойно, беззлобно, как зверей, люди убивали себе подобных. Это было похоже на кровную месть, а удовольствия от кровной мести я никогда не мог бы испытать. И я еще холодней, еще подозрительней стал относиться к людям. И дедушка Байрам отходил от меня все дальше и дальше.

А дома опять стало плохо. Отец и мать совсем не разговаривали друг с другом. Несколько раз я слышал, как мама объявляла отцу, что денег на обед нет, а он объяснял ей, что взять денег ему негде: новое правительство закрыло границы, и товары из Тебриза не привезешь. Мама сердилась и не переставала твердить, что если б братец папы не обобрал его, мы бы не знали нужды. Папа соглашался, курил одну сигарку за другой и призывал Аллаха покарать Губата... А я по-прежнему томился раздумьями, не понимая, как дети, рожденные одной матерью, могут стать врагами друг другу...

На второй год службы начальником уездной милиции дедушка Байрам тяжело заболел.

Был зимний сумрачный день. Пришел папа.

– Крепись, – сказал он маме. – Что делать? Все мы смертны.

Мама не ответила. Она лежала в постели с очередным приступом малярии, и из глаз ее тихо текли слезы...

– Сходи, попрощайся с дедушкой, – сказала она мне.

Я пошел в дом к дедушке. Бабушка Фатма и еще одна женщина сидели на полу возле лежавшего на постели дедушки. Лицо у него осунулось, и было чуть синеватое, но все равно он был очень красивый.

Я стоял и молча смотрел на дедушку.

– Иди, поцелуй его...

Я не двигался с места. Молча, без единой слезинки смотрел я на лежащего с закрытыми глазами дедушку. Потом повернулся и так же молча вышел из комнаты. Я медленно шел по саду, пробираясь в глубоком по колено снегу, и вдруг вспомнил, как несколько лет назад в такой же морозный день дедушка верхом на гнедом, в меховой шубе, в сапогах, с десятизарядным маузером на боку в сопровождении Кызылбашоглы уезжал в Агдам. Какой он тогда был красивый!.. И слезы ручьем полились у меня из глаз. Я прислонился к дереву, склонившему ветви под тяжестью снежных хлопьев, и горько плакал в безмолвии зимнего сада...

Дедушка был единственным человеком, который был неизменно ласков со мной. Но я плакал не оттого, что больше не будет этого единственного человека. Я плакал потому, что дедушка уже никогда не сядет на гнедого, никогда больше не повесит на пояс маузер в кобуре из красного дерева, никогда не увидит этого зимнего сада. Никогда.

Снег, посыпавшийся на лицо, заставил меня вздрогнуть. Я поднял голову – на ветку сел воробей. Я глядел на него и будто пробуждался от тяжелого сна... Воробей громко чирикал и поглядывал на меня. «Корм ищет!» – мелькнуло у меня в голове, уже много дней земля была покрыта толстым снежным покровом.

Я порылся в карманах, пытаюсь отыскать хотя бы хлебные крошки, но там было пусто. Воробей улетел, и, глядя ему вслед, я почему-то вспомнил о Карадже: что делает он сейчас в холодный зимний день без отца, без матери? Наверное, хочет есть... Я вспомнил, как дедушка дал ему тогда денег, и подумал, заплачет ли Караджа, узнав о смерти дедушки Байрама. Когда мать ушла, бросив их, он не плакал.

Рукой отерев слезы, я пошел домой.

Наутро, наняв арбу, папа повез тело дедушки Байрама в Курдобу – похоронить там, где покоятся его деды и прадеды.

* * *

... После окончания траура бабушка Фатма вернулась в городской дом. Дом был уже дважды разграблен: впервые – дядей Нури, когда дедушка прогнал его с эйлага, второй раз во время беспорядков, связанных с переменой правительства. Жить бабушке было не на что. И хотя мы ели раз в день, а утром и вечером пили чай со ржаным хлебом, мама обычно давала мне миску с едой, и я относил ее бабушке. Но быть у нее после того, как не стало дедушки, я почему-то не мог и старался тотчас удрать. Бабушка Фатма осталась совсем одна. К нам она не ходила, потому что не любила отца, а дядя Нури, ее обожаемый сын, снова куда-то исчез. Позже пришло известие – дядя Нури живет в Шуше и даже служит на хорошей должности. Узнав такое, я понесся к бабушке. Сказать по правде, не только ей, но и мне было очень приятно, что мой родной дядя – дядя Нури «на хорошей должности» у нового правительства.

СНОВА НУРИ

Дядя Нури появился в погожий весенний день в сопровождении трех милиционеров. Папы не было дома. Увидев брата, мама заплакала, наверное, вспомнив дедушку. Я побежал к бабушке сообщить о приезде дяди Нури. Путаясь в юбках, старуха бежала за мной по саду. Добежала, взошла на веранду и, остановленная холодным взглядом сына, замерла в растерянности. Дядя Нури ничего не сказал матери. Мне так стала жалко бабушку! И плевать мне было, что он «на хорошей должности» и что его сопровождают три милиционера, я сейчас ненавижу дядю Нури!

Утром, придя к бабушке Фатме, я услышал из комнаты гневный голос:

– Ну? Что я сказал?! Неси остальное!..

Бабушка Фатма что-то лепетала, оправдываясь...

Я заглянул в замочную скважину; на столе лежали дедушкины золотые часы, несколько колец и несколько золотых монет. Дядя Нури ругал бабушку, а та в ужасе уверяла, что ничего не утаила. Я не мог смотреть на это и убежал...

Наутро дядя Нури уехал.

Спустя несколько месяцев, дядя Нури опять появился, на этот раз не один, а с молодой армянкой по имени Анаит. Мама и бабушка приветливо встретили невестку. Анаит была милая, ласковая девушка, она понравилась маме.

Папа, одолжив где-то денег, купил невестке несколько отрезов на платье, а маме велел, чтоб в доме каждый день был хороший обед.

Но прошла неделя с приезда дяди Нури, и странное известие повергло в изумление всю нашу семью. Мальчишки, бегавшие купаться на Куручай, сказали мне, что дядя Нури каждый день приводит жену на берег и бьет ее. Я сначала не поверил.

Утром дядя Нури позвал жену погулять, и я заметил, что ужас мелькнул в ее больших черных глазах. Они ушли, и я уговорил одного из мальчишек пойти со мной на речку.

Дядя стоял с женой у речной кручи, они о чем-то говорили. Мальчик, пришедший со мной, ничего не знал, занят был стрельбой из рогатки. Я, не отрываясь, смотрел на дядю. Он что-то говорил ей, сердясь, потом вдруг взмахнул рукой и ударил жену по щеке. Потом – по другой... Анаит побежала, но он догнал ее, схватил за косы... Женщина закричала так, что у меня волосы встали дыбом.

– Смотри! Смотри! – закричал мальчишка. – Что твой дядя вытворяет!..

Я застыл на месте, смотрел, как дядя за косы тащит жену к реке. Тут с противоположного берега подъехал всадник, и дядя отпустил жену. Я бросился бежать домой.

Мама сидела за машинкой. Когда, в ужасе тараща глаза, я рассказал ей, что видел, мама вздохнула.

– Забьет он девчонку, – сказала она, не отрывая глаз от шитья. – Вот мужики: раз с ним бежала, всю жизнь теперь ревновать да подозревать будет!..

– А зачем же он бьет ее? – спросил я, пораженный тем, что мама, оказывается, все знает, – слов ее я не понял.

– Зачем, зачем?.. – пробормотала мама, продолжая строчить на машинке. – Не знаю, зачем.

Вернувшись с «прогулки», дядя и его молодая жена так весело разговаривали и смеялись, что я уже просто ничего не понимал.

... С годами я стал понимать, почему рос таким сумрачным, хмурым ребенком. От природы я был настроен на добро, тосковал по нему, хотел видеть людей радостными и счастливыми. Но все было как раз наоборот, а я, как столбик ртути отражает окружающее давление, всем своим существом отражал состояние окружающего меня мира. Для моего нормального состояния необходимо было, чтоб мама была здорова, а она постоянно болела. Я тосковал по отцовской любви и ласке, а отец был непомерно суров со мной; я восхищался красотой и удалью дяди Нури, а тот тиранил старую мать и теперь вот тайком от людей избивал молодую жену. Я шел в школу, полный самых радужных надежд, а учитель Мирза Джамал в первые же дни обошелся со мной грубо и даже выгнал из класса.

... Незадолго до дедушкиной смерти, когда ему было очень плохо, мама как-то сказала мне: «Пойди помолись за дедушку. Молитвы безгрешных детей быстрее доходят до Бога». Я пошел в соседнюю комнату и, воздев руки вверх, долго просил Аллаха, чтоб он исцелил дедушку.

Но молитва моя не дошла, дедушка умер. Однако я не разуверился в Боге, наоборот, я теперь каждый день стал просить Аллаха, чтобы мама была здорова. И очень скоро аллах стал моим первым собеседником. У меня было теперь с кем поделиться – все чаще я уединялся под шелковицей и, устремив глаза в небо, высказывал Богу все свои горести и обиды. Я не сомневался, что он все слышит и рано или поздно снизойдет до моих молитв.

* * *

... Недели через две приехала мать Анаит, рослая широкоплечая женщина. Она заявила маме, что Нури обманул ее дочь, уговорил бежать из дому, и она приехала забрать девушку обратно. «Твоя дочь пришла в наш дом по своему желанию, – ответила ей мама. – Ты не можешь забрать ее силой». Женщина отвела дочь в сторону и что-то долго и горячо говорила ей.

«Что случилось, то случилось, – стал папа уговаривать армянку. – Они любят друг друга». Никогда в жизни я не видел папу таким выдержанным, приветливым, уважительным. Я смотрел на него и думал, что со мной он никогда таким не бывает.

Дядя Нури тоже уговаривал женщину не забирать дочь, но та была непреклонна. В конце концов она пожаловалась в исполком. Девушку вызвали, и она сказала, что хочет вернуться домой. Ее увезли.

А через несколько дней произошло еще одно событие. Приятель дяди Нури, принадлежавший к уездному руководству, сообщил ему, чтобы он немедленно скрылся: «Есть решение тройки. Тебя арестуют за прошлые дела». Все это я узнал уже позже, а в тот день видел лишь, как дядя что-то взволнованно говорил маме. Потом вошел в дом, взял свой пистолет и вместе с Кызылбашоглы пошел со двора. Но направились они не к центру, к базару, а в противоположную сторону. Шли налегке, будто прогуливались, и скоро скрылись из глаз. Через несколько часов Кызылбашоглы вернулся. «Проводил до самого Караханбейли», – негромко сообщил он маме.

Когда за дядей Нури пришли трое: штатский и два милиционера, мама сказала, что понятия не имеет, где он, с утра ушел в город...

... Бабушка Фатма тяжело переживала очередной удар судьбы. Только что все вроде бы наладилось: сын занял высокую должность, привел красавицу-жену, и вот снова горе: ее мальчик вынужден бежать и где-то скрываться... Я видел, как бабушка страдает и как в сущности равнодушны к ее страданиям мои родители. И горечь, безысходная горечь копилась в моем сердце...

Прошло несколько месяцев. Как-то, придя в полдень поесть, папа сказал маме:

– А твой братец-то дом продал. В Баку, Мухтар-беку.

Мама не сразу поверила.

– О чем ты? Какой еще дом? Откуда ты узнал про Нури?

– А что, у твоего отца полно домов? Ваш отцовский дом. Мне люди сказали. Живет нелегально, а дом сумел продать.

– Но он не имел права! – Мама непонимающе смотрела на отца. – Дом принадлежит матери.

– У твоего братца свои понятия о правах! Вытворяет все, что вздумается! Хотел бы я знать, что он продаст, когда через пару месяцев прокутит и эти денежки?

Мама ничего не ответила. Дала отцу пообедать и отправилась к бабушке. Я пошел с ней.

– Сын Мешади Гулу видел Нури в Баку, – сказала мама.

– Ну?! – бабушка так и вскинулась. Ожили слезящиеся старушечьи глаза. – Как он – здоров?!

– Наверно, – сердито бросила мама. И добавила: – Он там дом продал!

– Какой дом? – не поняла бабушка.

– Вот этот самый! Где сидим с тобой.

– Кому же продал? – помолчав, вымолвила бабушка.

– Мухтар-беку из Карадонлу.

– Как же так? – с неожиданной горячностью воскликнула бабушка. – Что, Байрам ниже Мухтар-бека, что сын Байрама продал ему дом? Погасить отцовский очаг!..

– Это ты сыночку своему скажи!..

Мамина резкость сразу же остудила бабушкин гнев, она умолкла, глубоко затаилась...

– Дом принадлежит тебе! – громко и отчетливо произнесла мама. – Нури преступил закон. Давай напишем на него жалобу, сделка будет считаться незаконной!

Бабушка взглянула на маму и отвернулась.

Я не отрывал глаз от бабушки. Я негодовал, я был вне себя от мысли, что дядя Нури продал дедушкин дом, что в этом доме, где мне было так хорошо, будут жить совсем чужие люди.

– Ну, будем писать жалобу?

– Чего уж теперь... – пробормотала бабушка Фатма, не глядя на маму. – Жалобу писать... И так мальчику солоно приходится... Продаст, что уж теперь?

– Но я же объяснила тебе: продажа недействительна! Дом твой!

Потягивая из мундштука, бабушка молча смотрела в одну точку.

– Так тебе и надо! – сказала мама, вставая со стула. – Это ты его сделала негодяем!

Я не в состоянии был представить себе, что бабушку могут выгнать из дома. Но выгнали. Спустя месяц приехали люди, посланные Мухтар-беком, и объявили бабушке, что через две недели она должна освободить дом. Деваться ей было некуда, и она перебралась к нам.

МОЙ РАЙ

Пока дедушкин дом оставался незаселенным, я частенько навещался туда; пустой дом, пустой сад... Камни, грудой сваленные на том месте, где дедушка Байрам затевал новый дом... Было грустно и похоже на то, будто жившие здесь люди откочевали куда-то...

Когда мы, уезжая с эйлага, стали спускаться на равнину, старый Мустафаоглы обернулся, долгим взглядом посмотрел на место недавней стоянки и запел грустные баяты:

Горы маралу остались,
Трава пожелтелой осталась.
Прохладный родник и зеленый луг,
И те маралу остались...

Мне было грустно тогда, но я знал, что на будущее лето все эти люди снова вернутся в горы. А вот ни дедушка Байрам, ни бабушка в этот дом, в этот сад не вернутся... Почему-то вспомнился мне Ширхан. Он тоже никогда не вернется. Пришел к нам, спасаясь от шахских сатрапов, а отсюда бежал, спасаясь от дяди Нури... Почему так устроен мир?..

Впервые за свою короткую жизнь, я так отчетливо ощутил непостижимое неустройство в делах, в обращении людей друг с другом, в самом даже появлении их на свет и ощутил безысходную тоску от сознания этого неустройства и несообразности. Но если жизнь такова, почему же люди смеются, радуются?..

Веселье их казалось мне деланным, не настоящим и никак не захватывало меня.

Изолированный своим отношением к окружающему, я не мог полностью слиться с внешним миром. Подобно тому, как Иман-киши днем таскал людям воду из кягриза, а вечером целиком погружался в свой особый мир, я тоже ходил днем в школу, учил уроки, слушал, как разговаривают, а больше ссорятся отец с матерью, а вечером, оставшись один в своей комнате, оказывался в своем обособленном мире. Странен и удивителен был этот мир. Когда-то бабушка рассказывала мне, что некий фараон решил устроить на земле рай, такой же, как на небесах. Землю в этом раю повелел он сделать из жемчуга и драгоценных камней, листья деревьев – из чистого золота, устроить родник с райской водой. Словом, фараон создал рай и повелел привезти туда самых красивых девушек со всей земли и превратить их в гурий. И так у него прекрасно получилось, что Аллах велел перенести этот рукотворный рай на небо. Пораженный, я спросил тогда, почему же Аллах не отдал рай людям, и бабушка сердито ответила, что Аллах знал: оставь он рай на земле, поубивают люди друг друга, чтоб только попасть туда. «Но зачем же он разрешает людям убивать друг друга?» – с досадой воскликнул я, и бабушка, как всегда в затруднительных случаях, сердито сказала, что деяния Аллаха обсуждать не должно. Но я не хотел отступать: «Нечего ответить, вот и твердишь: «Не должно! Не должно!..» Почему нельзя обсуждать Аллаха?!» – «Нельзя и все! Грех!» – Бабушка окончательно вышла из себя.

Пусть нельзя обсуждать Аллаха, но ведь можно мечтать. И я мечтал. Мысленно возвращал фараонов рай на землю, входил в тот рай, и начиналась волшебная жизнь. Не было там ни туманов, ни дождей, ни снега, – всегда было ясно и солнечно. В моем раю всегда цвели цветы: розовые, красные, белые розы, белые и красные гвоздики, желтых цветов у меня не было – желтый цвет я терпеть не мог, он напоминал мне о маминном нездоровье и об отцовской раздражительности. Не было в моем райском цветнике ни фиалок, ни нарциссов, от цветов этих веяло печалью, когда они поднимали из-под снега свои нежные головки, кругом было еще холодно, и мне казалось, что бедняжки замерзли и дрожат.

Все мальчишки в моем раю были красивые, веселые и добрые. Никто не обижал меня, не смеялся надо мной, все наперебой звали играть.

Хорошо было в моем раю, и оттого еще труднее было возвращаться в повседневность. Пить чай вприкуску, отдающий травой, есть ржаной плохо пропеченный хлеб... Но я чувствовал себя несчастным не потому, что меня тяготила нужда. Тяжко было видеть хмурого отца. Печаль давила мне сердце, когда я видел, какое виноватое лицо делается у бабушки, стоит ей поднять взгляд на папу. Он почти никогда не говорил с бабушкой, бабушке было у нас плохо, она страдала, бедная моя бабушка, что, впрочем, не мешало ей каждый вечер молиться за Нури.

Я ложился в постель и, глядя в густую темноту за окнами, вел бабушку Фатьму в свой рай, усаживал ее на золотой трон, ставил перед бабушкой чай, пахнувший розами, золотую табакерку с желтым, как шафран, шелковистым табаком, который курил когда-то дедушка Байрам, и бабушка потягивала из золотого мундштука и любовалась роскошными цветами. А все кругом: и люди, и гурии, и ангелы пребывали в радости и веселии...

САРИЯ И ПРЕКРАСНЫЕ МЕЧТЫ

Когда разрешена была свободная торговля, папа, продав оставшиеся мамины украшения, завел москательную лавку. Жить стало полегче, и в то лето, когда я перешел в четвертый класс, папа смог отправить нас на лето в Шушу к маминной тете Беяз. Бабушка Фатьма осталась дома, а мы поехали.

Дом тети Беяз находился в самом лучшем месте Шуши – на возвышенности Джыдыр-дюю. Перед домом был сад, который своими руками посадил и вырастил покойный муж тети Беяз Гаджи Ахунд. Гаджи умер ста лет, и могила его находилась в саду, говорили, что он вырыл ее сам еще при жизни. Сад был полон цветов. У ворот росло огромное ореховое дерево, как и другие, посаженное Гаджи. Дерево было такое мощное, такое раскидистое, что в тени его можно было усадить человек семьдесят. Ствол был неохватный, листва ярко-зеленая, густая – могучее дерево, и мне почему-то казалось, что и сам Гаджи Ахунд, посадивший и вырастивший его, вовсе не умер, что он такой же могучий, как это дерево.

В саду цвели розы, поднимаясь из роскошной и мягкой, как шелк, горной травы. Но главным украшением сада была Сария – внучка Гаджи Ахунда, изящная девочка со сросшимися на переносице бровями и черными блестящими глазами. Она улыбнулась мне, сверкнув перламутровыми зубками, и улыбка ее наполнила все мое существо неиспытанной доселе радостью.

Первой мыслью моей было подарить Сарие книжку «Али-баба и сорок разбойников» – единственную ценную вещь, которой я обладал: эту книгу мне подарили в школе за хорошую учебу.

– Ты тоже перешла в четвертый? – спросил я девочку.

Она грустно покачала головой:

– Я не хожу в школу.

– Почему?

– Папа не пускает. Говорит – девочка.

– Ну и что?! У нас в классе вон сколько девочек!..

– Я учиться хочу. – Сария вздохнула.

Я спросил маму, почему отец не пускает Сарию в школу, и мама сказала, что такой уж он человек Мирза Мирмухаммед – сам гимназию кончил, а девочек не пускает в школу. Врагов у него здесь много, боится, украдут.

Врагов у Мирзы Мирмухаммеда и правда хватало – он был когда-то одним из самых знаменитых карабахских разбойников. Уже немолодой, седовласый, из-за какой-то старой раны хромавший на одну ногу, он и теперь носил под рубахой пистолет. Говорят, что насколько благороден и доброжелателен был его покойный отец Гаджи Ахунд, настолько жесток и безжалостен был он сам. Рассказывают, что однажды, еще при царе Николае, Мирза Мирмухаммед – в то время, когда он был царским начальником, – ехал верхом в сопровождении нескольких стражников. На дороге стоял крестьянин и мочился. Мирза осадил коня. «Почему стоя мочишься? Ты что – гяур?» – «А тебе-то что?» – сердито бросил крестьянин. Мирза, не раздумывая, выхватил из-за пояса револьвер и застрелил его.

Однажды Мирза увидел, как Мисир, наш слуга, коротенький толстый парнишка, пытаясь сбить грушу, бросил в нее камнем. Мирза схватил беднягу, повалил на землю и закричал: «Несите нож, я сейчас отрежу ему башку!..». «Зачем он так? – спрашивал я маму, – ведь им некуда девать груши, они же раздадут их даром?» – «Потому, что нельзя кидать камнем в дерево Мирзы», – с усмешкой ответила мама.

Говорили, что он был очень храбрым, этот Мирза, но мне он был отвратителен. И крестьянина убил ни за что, и Сарию не пускает в школу...

Весь день мы с Сарией играли в саду. Однажды, когда мы шли по дорожке, взявшись за руки, ее мать набросилась на нас: «Девочка с мальчиком не должны держаться за руки!». Я смутился, почему – этого я не понимал. За руки мы потом все равно брались, но только сперва оглядывались – не видит ли кто, держаться за руки было очень приятно.

Мы с Сарией убегали к Скале Сокровищ и оттуда с высоты смотрели на стремительную реку, чей грохот не доходил до нас, на темные, маленькие, как вороны, фигуры людей, на крепость Ибрагим-хана...

Бабушка рассказывала, что хан построил эту неприступную крепость, чтоб укрываться в ней от врагов, и я думал, что трус он, этот хан, – сам хотел прятаться в крепости, а люди его?.. Но Сарие я этого не говорил, я ей говорил только приятное. Я смотрел, как легкий ветерок перебирает каштановые кудряшки на белом лбу Сарии, обмирал от восхищения, и мне казалось, что мы с девочкой в каком-то особом, прекрасном мире, о существовании которого я раньше просто не подозревал...

Я рассказал Сарие о приключениях Робинзона Крузо и хотел уже сказать, как было бы прекрасно, окажись мы с ней на таком вот необитаемом острове, но не успел, потому что Сария наморщила лобик.

– Бедняга!.. – сказала она и покачала головой. – А как же ему было скучно!..

Но вот кончился август, и пришел конец тому блаженному состоянию, в котором я провел лето, – пора было уезжать. Да еще на беду папа велел мне ехать верхом с Абдулазизом – я не любил этого приземистого короткошеего человека, – но возражать не приходилось. Когда же мама сказала, что я устану в седле, папа прикрикнул на нее, чтоб не делала из меня неженку, и я мрачно буркнул, что не устану...

Утром папа оседлал нашего коня, покрепче затянул подпругу, приторочил хурджин с едой... Сария стояла у окна и смотрела, как мы собираемся.

Я сунул ногу в стремя, сел в седло и, обернувшись, взглянул на Сарию. Она смотрела на меня и улыбалась грустно и ласково. Я тоже улыбнулся. Не знаю уж, как выглядела моя улыбка, но в тот момент я узнал, что разлука – великая печаль. На мгновение мне показалось, что и я сам, и все вокруг состоит из одной печали. Я вспомнил, как Сария не велела мне рвать для нее желтые цветы: «Желтые к разлуке!» – сказала она. Но мы все равно расстались.

Дорога в пятьдесят верст от Шуши до Карабулака все время шла вниз, петляя по горным склонам. Мы ехали меж отвесных скал, поросших густым лесом. Мне хотелось побыть одному, и я все время отставал. Я думал о том, куда пошла Сария, когда мы уехали? Что она делает сейчас? С кем разговаривает?.. Мне казалось, что я навсегда расстанусь не только с Сарией, но и с этими могучими дубами, с птицами, пугливо поглядывающими из-за кустов, с кустами ежевики, уже начавшей чернеть...

Мы выехали на равнину, и я, обернувшись, взглянул на Шушинскую крепость, и древняя крепость возвышавшаяся над прикрытыми туманом скалами, казалась мне сказочной, нереальной. Много раз потом видел я мысленно эту крепость, возникающую из скал и тумана, и в ней – Сарию. Но Сария уже не улыбалась, мне казалось она смотрит неведомо куда, и не улыбается, и это было похоже на сон...

Когда мы проезжали мимо садов, Абдулазиз велел мне спешиться, подозвал садовника, дал ему денег, чтоб тот принес виноград. «Сейчас перекусим», – Абдулазиз достал из хурджина сыр и чурек, я – мамины котлеты, но есть совсем не хотелось. С трудом сжевав кусок чурека с сыром, я немножко поклевал виноградом и встал. «Чего не ешь?» – спросил Абдулазиз. «Не хочется». В присутствии этого человека мне было еще хуже, чем одному. Я встал и пошел к коню.

Когда мы приехали в Карабулак, Абдулазиз поехал дальше, а я отправился к тете Бильгеис – так мне велела мама. Тетя Бильгеис была женой папиного учителя и мачехой Аббаса, того самого, который рассказывал мне когда-то про могилу своей матери.

Мы с Аббасом расседлали коня, привязали его в конюшне и поднялись наверх. Меня расспросили о маме и усадили ужинать.

После ужина хозяин дома рассказывал мне, какой старательный ученик был мой папа, что он никогда не опаздывал в школу – а ходить ему приходилось за восемь верст, – что он лучше всех в школе выучил русский язык. При этом учитель старательно лузгал семечки, а сидевший напротив него сынишка не уступал ему в этом. Я был поражен: папа один раз так отругал меня, застав за этим занятием, но мне нравилось, как свободно держался при отце Аббас, как легко он вмешивался в разговор. И я завидовал Аббасу. Если бы мой отец вот так же, запросто обращался со мной, мне не было так одиноко на свете...

НОВАЯ ЖИЗНЬ И Я

Я с завистью смотрел, как парни в нашем городе носят галифе и гимнастерки защитного цвета, перетянутые широким командирским ремнем. Веселые, оживленные, они ходят повсюду группами, на собраниях громко ругают беков и буржуев. А время от времени вешают на плечо винтовку и вместе с милиционерами уходят в горы ловить бандитов. Парней этих называли «комсомольцами». Давно копившаяся во мне озлобленность против бекских сынков стремилась теперь выплеснуться наружу. Меня заражал воинственный дух, энергия и напористость комсомольцев – в искренность этих парней я верил. Впервые в жизни мне хотелось действовать. «Хочу быть комсомольцем!» – заявил я однажды отцу. Я думал, он рассердится. Ничуть не бывало. «Наш сын, видно, от рождения коммунист», – с улыбкой сказал отец маме.

Через несколько дней он привел меня к своему односельчанину, занимавшему какой-то ответственный пост в укоме партии.

– Вот этот парень хочет стать комсомольцем! – со смехом сказал папа.

А ответственный товарищ, молодой и симпатичный, тоже засмеялся в ответ.

– Не в отца пошел, не хочет буржуем быть. Дело хорошее, вот только рановато ему в комсомол... – И увидев, как вытянулось у меня лицо, добавил весело. – Пусть пока в пионерах походит. А потом – в комсомол!

... Мое вступление в пионеры пришлось по душе и папе и маме, будто тем самым и они стали причастны к новым порядкам, к новой жизни. Нам, пионерам, выдали синие короткие штанишки, белые рубашки и сатиновый красный галстук. Но мама сшила мне другой – из легкого шелка. Каждый день после школы я надевал пионерскую форму, повязывал галстук и уходил на сбор отряда. Алый, как весенние маки, нежный, как их лепестки, галстук, повязанный на шее, доставлял мне физическое наслаждение, делал меня смелым.

Вожатый нашего отряда Фетиш, сын сапожника, один из первых комсомольцев в городе, на каждом сборе твердил о врагах советского государства, явных и скрытых. Если враг – твой отец или брат, пионер все равно должен быть к нему беспощаден. Должен пойти и сообщить в ЧК. Беки и буржуи все делают, чтоб помешать нам построить социализм, не хотят, чтобы не стало бедных.

– А почему они не хотят? – спросил я. – Чем им плохо, если все будут богатыми?

– Ну, как же ты не понимаешь: беки и буржуи потому и богаты, что обирают бедняков – крестьян и рабочих, эксплуатируют их, живут их трудом.

– А почему бедняки не стараются разбогатеть, чтоб богачи не могли их эксплуатировать?

Я спросил совершенно искренне, я очень хотел, чтоб все бедняки разбогатели. Но Фетиш разозлился.

– Если бы такие, как твой дед и твой папочка, не обирали бедняков, люди давно бы уж стали богатыми!

– Правильно! Точно!.. – поддержали его ребята. А сын батрака Мириша встал и, ткнув в меня пальцем, заявил:

– Его дед, когда был начальником, моего дядю арестовал!

– И правильно сделал! – выкрикнул сын нашей соседки Сенем. – Твой дядя был первый вор!

– Это твой отец – вор!..

Мальчишки сцепились, Фетиш еле-еле рознял их. Я был уверен, что ни дед, ни отец мой не грабили, не обирали бедняков, но все равно чувствовал себя виноватым. После этого сбора я утерять свой энтузиазм, раскованность, радостное чувство сопричастности. Опять я оказался один...

А отец мой не был в то время не только эксплуататором, но даже простым нэпманом. Торговля наша, поначалу шедшая успешно, разладилась – в крупных городах: в Москве, Петрограде, Харькове стройматериалы были национализированы, и частным торговцам ничего с баз не отпускалось. Товаров не было, а налоги оставались прежними. Тогда отец за бесценок продал все, что еще оставалось, и стал приискивать себе место.

Я был бесконечно рад, что папа больше не торгует в лавке, что он будет служить и что ни Фетиш, ни ребята не будут теперь звать меня «купеческим сыном».

Но на службу папу не брали. Отец моего школьного приятеля Аваза тоже был раньше купцом и жил не беднее нас. Но он вовремя сообразил вступить в артель и стал рядовым портным, каким и был в молодости.

Аваз был мне ближе других, у нас даже намечалось что-то вроде дружбы. Мы вместе ходили купаться на Куручай, и по дороге Аваз покупал у молочан, державших большие огороды, свежие огурцы (я не покупал – у меня никогда не было денег), и, выкупавшись, мы, хрупая огурцами, взбирались на Старухину Гору и любовались оттуда бескрайними равнинами, тянувшимися до самого Аракса. Бескрайние просторы, синее небо, река, бегущая внизу, – все это пробуждало в нас предчувствие радости, жажду жизни... Мы мечтали о том, как подрастем и вступим в комсомол, потом – в партию, станем ответственными работниками... Мы будем носить галифе, косоворотки, сапоги. Сыновья купцов, мы терпеть не могли бекских отпрысков, вечно обдававших нас презрением. В мечтах о будущем мы одинаково были полны энтузиазма.

Когда на том сборе вожатый сказал мне, что я буржуйский сын и что мой отец и дед наживались за счет других, да еще мальчишки поддакнули ему, у меня было ощущение, будто меня отпихнули: «Уходи – ты не наш!». Но я так устал быть один!.. Я хотел быть вместе со всеми, мне нужна была радость, дружеское участие, нормальная мальчишеская жизнь. Я всеми силами старался забыть обидные слова, сказанные тогда на сборе. Но забыть их мне не давали.

Когда оказалось, что я умею писать статьи в стенгазету, товарищ Джебраилов, заправлявший всей пионерской работой в уезде, предложил избрать меня редактором стенной газеты. Но Фетиш решительно возразил:

– Что вы, товарищ Джебраилов, он же буржуйский сын!

И товарищ Джебраилов, молодой и худощавый, сказал, улыбнувшись:

– И кого же вы прочтите в редакторы?

– Вот его! – Фетиш показал на Савалана. – Его отец бедняк.

– Хорош бедняк!.. – выкрикнул сын батрака Ширина, – мясную лавку держит!.. Такой же буржуй, как Мурад!

Товарищ Джебраилов опустил голову и засмеялся тихонько.

– Ну, хорошо – сказал он. – Пусть Савалан будет редактором, а Мурад – его заместителем. А вообще, буржуйских детей партия рекомендует перетягивать на сторону Советской власти.

Ничего обиднее, чем слово «буржуй», я в то время не знал. Поэтому в один прекрасный день я подстерег Фараджа – сына батрака Ширина и отлупил его – первый раз в жизни я сам затеял драку. Отлупил как следует – парень ушел, размазывая по лицу кровь и слезы.

Вечером его отец с вилами в руках подскочил к нашему дому:

– Я тебе покажу, сукин сын!.. – орал он. – Это тебе не старое время, буржуйское отродье!.. – И все пырял вилами в стену дома.

Папа спустился с лестницы.

– Ладно, Ширин, кончай! Мальчишки подрались, помиряются. Чего зря шуметь?

– Шуметь?! – еще громче орал Ширин. – Да я из вас дух вышибу! – Он замахнулся на папу вилами, но тот перехватил их в воздухе и отнял у Ширина. (Я и не подозревал, что папа такой сильный!) Вытолкал Ширина за ворота и вслед ему кинул вилы.

Я думал, Ширин схватит их и снова набросится на папу. Но он поднял вилы, отошел на почтительное расстояние и крикнул:

– Это вам не старое время!.. Я вам покажу, буржуйское племя!.. Насидитесь в тюрьме!

Но жаловаться Ширин не пошел. Мне папа не сказал ни слова. Мама же была в такой ярости!..

– Вырвал бы у подонка вилы да в брюхо ему!.. – Она закурила папиросу. – На дом набрасывается, мерзавец!..

Я понимал, что такие, как Ширин, считают нашу семью врагами. Поэтому папа и не может устроиться на работу. Но какие же мы враги, какие мы буржуи, когда батрак Ширин живет теперь лучше нас? На перемене его сын покупает в лавочке груши и орехи, а мне тетрадь купить не на что, и обед у нас бывает не каждый день... «Знать бы, что купцы будут считаться врагами человеческими, никогда бы сохи не бросил», – вздыхал иногда папа.

Однажды посреди ночи к нам явились трое: светлолицый молодой чекист, приехавший из Баку, и двое местных, в том числе брадобрей Амрах, ставший теперь членом горсовета. «Ханум, – вежливо сказал маме чекист (отец был в отъезде), – поступило заявление, что вы скрываете большие запасы золота. Прошу вас, предъявите!».

Мама принесла ожерелье, несколько колец, медальон и наручные часики и положила на стол. «Это все? – спросил чекист. – Может быть, есть еще?» – «Не верите – ищите!» – резко бросила мама. Я думал, чекист рассердится, но он вежливо спросил: «Почему вы прячете эти украшения? Носите». Мама не ответила.

– Врет она все, товарищ Джамилев! У них столько добра было!..

– Было! – мама не выказывала ни малейшей робости. – Все украли, когда пришла эта власть!

– Врет! – повторил Амрах. – Разрешите обыскать, товарищ Джамилев!

– Не надо, – спокойно сказал Джамилев, – грубить тоже не надо. Тем более женщине.

Мама усмехнулась, бледная и негодующая:

– У нас его зовут «Подлец Амрах». Хлебом не корми, только дай донос настрочить!..

Джамилев не стал продолжать этот разговор.

– Где служит ваш муж? – спросил он.

– Нигде. Не берут его на работу.

– Почему?

– Вот у этих спросите! – мама кивнула на Амраха.

– Сами вы грамотная?

– Грамотная.

– Надо работать, – сказал Джамилев. – И вы, и ваш муж должны поступить на службу. У нас мало грамотных. А работа найдется для каждого честного человека.

Когда они ушли, мама взяла папиросу, долго сидела, думала... Потом сказала, как бы сама себе: «Нормальный человек этот бакинец...»

Пятый класс мы с Авазом окончили лучше всех. Летом отец отвез Аваза в Баку – учиться дальше. В нашем маленьком городе все, у кого была такая возможность, после окончания первой ступени школы везли детей учиться в Баку. Меня папа не повез, денег на мое содержание не было.

... Я поступил во вторую ступень у нас в городе.

Трехзарядная винтовка

Мамин отец был родом из Курдобы, и у нас там полным-полно было родственников, в том числе чабан Аршад; он приходился маме не то троюродным, не то четвероюродным братом. Жители Курдобы кочевали, зимой и осенью. Оставив семьи в кишлаке, они пасли овец на бескрайней равнине Харамы, а в середине мая всем скопом откочевывали на горные пастбища.

Мы жили в городе, в Карабулаке. Гости из Курдобы наведывались к нам нередко, но Аршада я не видел ни разу – он все время был при отарах, – а интересовался я этим человеком чрезвычайно: мама рассказывала, что каждый раз, свежую овец, он ест еще не остывший курдюк. Говорилось это в назидание мне, так как я кусочка не мог проглотить от этого самого курдюка, даже в самом вкусном кушанье. Кроме того, мама рассказывала, что в схватках «со щитом» (щита никакого не было, обматывали руку чохой, в другую брали дубину) Аршаду не было равных. А еще я слышал, что чабан Аршад на редкость ловкий вор.

В один прекрасный осенний день, когда мы пили чай на веранде, кто-то сильно постучал в заднюю калитку. Сестренка побежала открывать, и мы увидели, что к нам идет парень, широкоплечий, среднего роста в огромной лохматой папахе. Рубаха и штаны на нем были из домотканой шерсти, сапоги запыленные, за поясом – широкий кинжал в ножнах и плеть с рукояткой из ноги джейрана.

– Аршад! – обрадованно воскликнула мама. – Здравствуй, братец! Проходи, присаживайся. Как тебе удалось приехать? Садись, садись!

Парень неумело примостился у стола.

– Что делать, сестрица? Такова наша жизнь – всегда при овцах. Родственников и то повидать не можешь... Еле-еле выбрался...

– И хорошо, что выбрался... С каких пор тебя не видала.

В городе Аршад оказался впервые. Искал, спрашивал, даже к дому нашему подходил. Увидел телеграфные провода, тянувшиеся к дому, решил, что почта... «Обманули, думаю, меня эти городские... Шлепнул коня по шее и обратно».

Мы засмеялись. Аршад тоже улыбнулся.

– Да... Потом уж один парнишка привел меня сюда. Ну, думаю, все-таки здесь...

Аршад спустился во двор, поставил в конюшню молодого красивого жеребца со звездочкой на лбу, прирезал барана, привезенного в подарок...

– А чего ж ты не ешь курдюк? – спросил мой братишка, когда Аршад освежевал барана.

– Курдюк? Твое слово закон для меня! – Аршад улыбнулся ребенку и, отхватив кусок курдюка, мигом сжевал его своими белыми зубами.

Мне показалось, что белые зубы Аршада остры, как волчьи клыки, и он запросто может разорвать ими овцу и тотчас же съесть ее. Братишка побежал к маме:

– Чабан Аршад сырой курдюк съел! – крикнул он. – Как волк!

Мама улыбнулась.

– Волк Аршаду в подметки не годится.

Братишка побежал к Аршаду:

– Волк тебе в подметки не годится?

– Волк, – Аршад захохотал. – Волк как меня увидит, только и зыркает, куда бы удрать!

Когда мы отобедали, Аршад сказал маме, что у него к ней важное дело.

– Что такое? – удивилась мама.

– Дядя Айваз опозорил меня перед людьми!

– Не может быть!

– Клянусь тобой...

– Дядя так тебя любит. Когда тетя Тавад умерла, ты совсем маленький остался. Дядя Айваз, бывало, как приедет в город, всегда обновки тебе покупал, конфеты... Это, говорит, Аршаду...

– А вот теперь за человека не признает!

– Как же это не признает?

– Сервиназ за меня отдавать не хочет!

- Так она еще ребенок! – Мама расхохоталась.
- Скажешь тоже!.. На нее поглядеть – оторопь берет!
- Не выдумывай. Пятнадцати лет нету девочке.
- Это ты про ее года думаешь. А у дяди другая задумка...
- Какая же?
- Поговаривают, сватам Гаджи Танрыверди согласие дал.
- И за которого же сына он ее прочит?
- А за старшего, Нури... Ну этот, который на девку похож...
- Но ведь Нури в Баку учится. Ему еще долго учиться.
- Вот потому он так и поступает. Нури там, в Баку, какой-то ошейник себе на шею цепляет по моде, а племянник неграмотный, простой чабан, ему от ворот поворот!
- Ну-у... знаешь... – Мама опять улыбнулась. – Не все так просто. Нури красивый парень. И в институте учится...
- Учится! Ну и что?! Сама знаешь, твой брат, этот черный Аршад, сотню таких ученых передушит!
- Сейчас не то время, Аршад. Не сила решает...
- Аршад с горькой усмешкой глядел на маму.
- Эх ты, безбожница, я к тебе, думаю, городской человек, ума вложишь дяде Айвазу.

А ты...

- А у Сервиназ-то к кому из вас душа лежит? – шутливо спросила мама.
- При чем тут душа! – возмутился Аршад. – Если дядя велит, что она может сделать?
- Ну а вдруг она тебя не любит? Силой заставить?
- Парень замолк, подавленный.
- Я это все не понимаю, сестра, – наконец сказал он. – Я одно знаю и прямо тебе говорю: если Сервиназ не отдадут за меня, и дядю убью и этого... ученого!..
- Ну и будешь в тюрьме сидеть. – Мама все еще улыбалась.
- Пускай садят, если найдут... – Аршад поднялся с места.
- Чего ты вскочил?
- Надо ехать, – мрачно сказал Аршад не глядя на маму.
- Переночуй, утром поедешь.
- Мне под такой крышей не заснуть.
- А как же ты спишь – без крыши? – спросила сестренка.
- Аршад улыбнулся.
- Я вместе с овцами сплю, – мягко сказал он. – Под дождем, под снегом... Привык! – И, обернувшись к маме, сказал: – Счастливо оставаться, сестрица. Прошу тебя об одном, придет дядя Айваз, передай ему мои слова. Скажи, чтоб не заставлял напрасно кровь проливать. И еще скажи, Аршад материной могилой поклялся: умрет, а не отступится!
- Он быстро спустился с лестницы. Вывел из конюшни своего жеребца и, не касаясь стремени, вскочил в седло. Бросил нам: «Счастливо оставаться!», шевельнул ногами... Жеребец тронул с места и исчез за воротами.

– Мама, – спросил я, – как же он поедет: один в темноте?

– Что ему? Привык!

– Мама, а отец Аршада тоже был чабан?

– Нет, – сказала она и почему-то улыбнулась. – Отец у него был сеид.

Я решил, что мама шутит, я никогда не слышал, чтоб в Курдобе жили святые сеиды. Я начал приставать к маме, чтоб она рассказала правду. Я расспрашивал настойчиво; по моим представлениям, сеиды были кроткие бедные люди, ходившие от дома к дому, и у сеида никак не могло быть такого сына.

Мама поняла, что ей от меня не отвязаться.

– Да по-настоящему-то он не был сеидом, – помявшись, сказала она. – Его дядя Айваз в сеида превратил.

... Однажды в Курдобе появился неизвестный парень с кинжалом на поясе. Аракс поблизости, ясно было, что парень оттуда, из Южного Азербайджана.

– Ты кто же будешь, сынок? – спросил его дядя Айваз.

– Никто. Убил человека и сбежал.

– И кого же ты убил?

– Племянника Рагим-хана.

– За что?
 – За то, что мерзавец... Дочку бедняка одного обидел. Вот я и не стерпел...
 – А кто у тебя дома остался? – спросил дядя Айваз.
 – Брат, помладше меня. Только брат мой тоже в бегах. С ханом не поладил.
 – А чего вы не вместе с братом?
 – Не получилось. Он возле Тавриза обретался, а я тут у Аракса овец пас у одного помещика. Сбежал – и прямо сюда!

Дядя Айваз – шутник. Любил шутки всякие устраивать. Подумал, подумал и говорит парню:

– Сынок! Раз ты к нам пришел, раз помочь просишь, волосок с твоей головы не падет. Только надо похитрей все сладить, чтоб и волки сыты, и овцы целы остались. Так надо устроить, чтоб люди Рагим-хана не пронюхали, что ты тут у нас. Иначе кровниками станем. Сам знаешь, на этом берегу чихнешь, там слышно.

– Что ж, я могу и еще куда податься...

– Ни в коем разе! Пришел к нашей двери, обратно не пойдешь! Зовут-то как?

– Таптык.

– Ну вот, – сказал дядя Айваз. – С сего дня будешь ты «сеид Таптык».

– Так я же не сеид! – парень совсем опешил.

А дядя Айваз смеется:

– Знаешь, сколько сеидов по белу свету шастает? Думаешь, все – потомки пророка Мухаммеда? Как бы не так! С этого дня ты будешь сеид Таптык!

– Потом, – продолжала свой рассказ мама, – дядя Айваз соорудил для Таптыка камышевый шалаш, дал ему постель, посуду... Голубой кушак ему повязал, как носят сеиды. И рассказал соседям, что сеид этот из благородного рода, дед его на той стороне Аракса за святого почитается.

Ну, а слово такого уважаемого человека, как дядя Айваз, это не шутка. Поверили люди. Один идет на поклонение сеиду Таптыку, другой дары несет, становится перед ним на колени: «Да буду я жертвой за твоего предка, ага!» Постепенно слух о новом сеиде разнесся по всей округе; Таптык пошел богатеть. Заводит себе отару, ставит богатую белую кибитку. А потом начинает закидывать удочки насчет Тавад, сестры дяди Айваза. Дядя Айваз как услышал про это – на дыбы. Такие люди сватов засылали, родовитые, богатые, отказ дал, а тут какой-то пришлый, безродный! И призвал Таптыка для секретной беседы:

– Ты что же это, сукин сын, взбесился? Я тебя дуриком в сеиды вывел, чтоб ты с голодухи не помер, а ты занесся, на сестру мою глаз положил?! Да я сейчас тебя перед людьми наизнанку выверну – они тебе покажут сеида!..

Но оказалось, что Таптык не так-то был прост.

– Во-первых, – говорит он дяде Айвазу, – люди тебе не поверят. Скажут, поссорились, вот он зло и срывает. А главное – девушка-то сама за меня идти хочет.

– Ну, смотри, – говорит дядя Айваз, – если соврал, убью, как собаку!

Зовет сестру.

– Ты что, – говорит, – за этого проходимца замуж собралась?

Девушка глядит на брата, понять ничего не может.

– Как, – говорит, – ты можешь про сеида такие слова? Побойся Бога! Ты сам рассказывал, какой он большой сеид!

– Так это я наврал тогда! – кричит дядя Айваз.

– Как врал? Ты что? Кто же такими вещами шутит? Люди к нему идут... Край одежды его целуют... И дедушка у него святой сеид...

Дядя Айваз начал малость остывать.

– Ладно, – говорит, – все равно я его выставлю отсюда с позором!

Тавад молчит. А жене дяди Айваза прямо сказала: передай брату, я или умру или за него выйду. Потому как тут до греха недалеко. А «сеид» рослый был парень, видный.

Подумал, подумал дядя Айваз, не сладить ему теперь с парнем; пришлось отдать сестру за «сеида».

Только вскоре Таптыку самому надоело ходить в этом фальшивом положении, вроде как жеребец стреноженный: «Пускай я был лишь батраком у помещика, – размышлял Таптык, – зато прямо людям в глаза глядел. Папаха набекрень – идешь себе по цветущим эйлагам!.. А тут? Все чего-то побаиваешься, все чего-то стыдишься. Все думается, заявится кто-нибудь с той стороны: «Что это, скажет, у вас тут за сеид объявился? Кушак голубой нацепил! Так это ж Таптык, сын Джаби! Сеидом заделался!..»

Для начала Таптык забросил подальше голубой кушак и повязал старый пояс с кинжалом в ножнах и точилом для ножа. Зимой стал проводить в Харамы, а летом – в горах, на эйлагах, среди овец и баранов.

Прошло время, младший брат его Кербалаи Асад тоже перешел на эту сторону. И тоже осел в Курдобе. Детей своих Таптык «сеидами» не называл, и кочевники постепенно забыли, что когда-то звали так его самого. А когда Кербалаи Асад поинтересовался, что это была за история, Таптык только рукой махнул: «Пришел я с той стороны, ну, дядя Айваз и пустил слушок, ясное дело – в шутку, сеид, мол... А люди всерьез поверили».

Так или иначе было дело, но если б теперь кто-нибудь всерьез заявил, что Аршад – сеид, сын сеида, человека этого подняли бы на смех.

ВЛЮБЛЕННЫЙ АРШАД. СТРАННАЯ ИСТОРИЯ С БАРАНАМИ, ДОСТАВЛЕННЫМИ В ПОДАРОК НА ОБРУЧЕНИЕ

Стояла зима, и Аршад вместе с другими чабанами пас овец на равнине Харамы. Колхоз еще не был организован, и каждый сам пас свою отару. Аршад жил с младшим братом Али. Отару, которую они пасли с братом, Аршад заработал своим трудом – в восемнадцать лет нанялся чабаном к Гаджи Кериму из Текле. Овцы, если за ними хорошо смотреть, как известно, быстро плодятся: те, которых Аршад получал в расчет, дали большой приплод, и когда он вернулся домой, у него уже была отара в восемьдесят дойных овец. Отара продолжала расти. Аршад продал шерсть, баранов-производителей и купил двух коней, чтоб было на чем перекочевывать на эйлаги. Поставил собственную кибитку. Отара к этому времени была у него не хуже, чем у людей.

... И вот однажды чабан, ездивший в Курдобу за провизией, не на шутку встревожил Аршада. «Чего ждешь-то? Дядя твой обручил дочку с сыном Гаджи Танрыверди». У Аршада от этой новости глаза на лоб полезли.

– Ты, часом, не смеешься надо мной? Может, хочешь, чтоб с места сорвался?!

– Какой там смех! Собственными глазами видел. Четыре здоровенных барана, конский вьюк риса, сахару, чаю. И несколько отрезков: канаус и бархат...

Семь часов подряд Аршад ничком пролежал в своей засыпанной снегом землянке. А ночью, как стемнело, велел Али, чтоб хорошенько смотрел за отарой и отправился в Курдобу.

А от Харамы до Курдобы верст двадцать пять, не меньше. А так как зимой чабаны не держат на пастбище коней, только овцы с ними, Аршад все двадцать пять верст пешком оттопал заснеженными степями, по звездам выверяя свой путь. Стоял мороз, но у Аршада, как у Ашуга Керема, сына Заядхана, пламя рвалось изо рта, пламя страстной его любви к Сервиназ. Чтоб сердце у тебя лопнуло, дядюшка! Отдать дочку этому слизняку!.. Подумаешь, в Баку учиться!.. Ты другое скажи – у Гаджи Танрыверди тысячные отары, верблюды, кони!.. Жених богатый, ничего не скажешь! А совесть-то у тебя есть, дядя? Не сам ли то и дело твердишь, что дети покойной Тавад – свет очей твоих? А дошло до дела, сбываешь дочку, как хороший товар – кто больше даст!

Наконец издали послышался собачий лай. В окнах было темно. Деревня спала. Огромный свирепый пес бросился было на темную фигуру, но Аршад негромко пристыдил его:

– Ты что ж это, а?..

Собака узнала его, завиляла хвостом.

Аршад осторожно подошел к дядиному дому, постоял, прислушиваясь. Изнутри не доносилось ни звука. Аршад приблизился к хлеву и без труда свернул небольшой замок, повешенный больше для вида. Он знал, что поскольку подарки, предназначенные для обручения, доставлены лишь сегодня, баранов еще не отправили на зимнее пастбище. Аршад отворил дверь, вошел. Овцы испуганно шарахнулись от него. Коровы, привязанные в другой стороне хлева, перестали жевать. Он прикрыл дверь, чтоб свет не проникал наружу, и зажег спичку. Четыре барана: три холощеных и огромный, с крутыми рогами, племенной, – стояли и глядели на него.

Аршад отворил дверь, тихонько выгнал баранов во двор. Невольно подумал: такая скотина хороших денег стоит. Их бы сейчас в Ашраф, там у него приятель Шахмар – воровали вместе – поможет сбыть, но он тут же одернул себя: узнав о таком деле, Нури только рад будет, посмеется: «Мужчина называется! Обыкновенный воришка – на продажу баранов спер!» Пускай знает: плевать Аршаду и на него, и на его баранов. Аршад не шакал, он – тигр, хватающий добычу.

Чтобы не поднять собак, Аршад задами погнал баранов к дому Гаджи Танрыверди. Собаки, с лаем набежавшие отовсюду, узнав Аршада, мирно виляли хвостами – Гаджи был соседом Аршада. Овцы Гаджи были на зимнем пастбище, загон стоял пустой, Аршад отворил калитку и загнал туда баранов. Потом смачно выругался и решил, что ладно, пока довольно, пускай знают, что так будет с подарками любого, кто сунется сватать его любимую.

Потом Аршад пошел к себе, свернул в сарай, где когда-то, когда он был еще ребенком, стоял верблюд. Верблюда давно уже не было, а сарай превратился в развалины.

Аршад знал, что, когда убили Кербалаи Асада, ставшего к тому времени знаменитым гачагом, покойная мать завернула его трехзарядку в старую кошму и закопала здесь, в развалинах, навалив сверху щепок и всякого хлама. Обычай есть обычай: оружие героя не должно попасть в чужие руки. Никто, кроме маленького Аршада, не знал, где закопаны винтовка и патронташи, и мать строго-настроено наказала ему нигде об этом не говорить. Аршад не сказал никому.

Аршад плохо помнил дядю, с трудом мог представить себе его лицо, смуглое, с редкими оспинами, но памятью Кербалаи Асада дорожил, гордился его былыми подвигами. Кербалаи Асад, как и знаменитый Гачаг Наби, славен был отчаянной храбростью и необычайной щедростью. Аршад помнил, как дядя погиб: двое его врагов, в темную ночь переправившись через Аракс на надутых бурдюках, застрелили его через дымовое отверстие в крыше. Когда Аршад и Мамед – сын Кербалаи Асада, подросли, им удалось разузнать, что в ту ночь иранцам показал их дом сын мельника. И парни начали кружить вокруг мельницы – улучшить удобный момент и расквитаться с предателем. Но кто-то опередил юношей – труп Шахверди был найден возле канавы. Подлец частенько выступал лжесвидетелем и сгубил немало хороших людей.

И сейчас, когда Аршад темной ночью вошел в полуразвалившийся сарай, он – в который раз! – с сожалением подумал, что так и не отомстил за дядю, не выполнил материнский наказ.

– О, подлый мир! – со вздохом произнес Аршад. – Ну, смотри, сын сеида (так иногда в шутку называли его приятели), смотри, чтоб, если что, не дрогнула твоя рука!

Потом он разгреб мусор, кинжалом расшвырял землю, в темноте на ощупь нашел завернутую в кошму винтовку. Засветил свечку, посмотрел. «Надо же! Как положила мама, так и лежат, и винтовка, и патроны. Нигде нет и ржавчины. Понимала бедная моя мама: кошма – это кошма». Кусок старой кошмы, которого касались руки матери, растрогал Аршада. Он взял трехзарядку, отвел затвор, раз-другой щелкнул им.

Один из патронташей Аршад надел через плечо. Два других снова завернул в кошму и закопал. Вышел, внимательно огляделся... Пропели третьи петухи. Деревня спала...

Аршад пошел к сестре. Сестра его, Нарынголь, выдана была в той же деревне за человека на тридцать лет ее старше.

Подойдя к сестриному дому, Аршад несколько раз тихонько постучал в дверь.

– Кто там? – послышался женский голос.

– Открой, это я.

Со скрипом отворилась дверь.

- Что случилось? – обеспокоенно спросила Нарынгюль.
- Ничего, проходи в дом... – он вслед за сестрой вошел в комнату. – Где муж?
- С вечера уехал в город, на базар.
- Корова отелилась?
- Пока нет.

Аршад поглядел на ребятишек, спящих на старых матрацах, постеленных на земляном полу.

- Если есть катык, разведи, дай мне.

Женщина принесла ему полный ковшик айрана. Аршад единым духом осушил его.

- Ты что же – не посидишь? – спросила сестра.
 - Не могу, обратно надо.
 - А чего приходил?
- Аршад промолчал.

– Утром, как рассветет, – сказал он вместо ответа, – пойдешь к дяде Айвазу и скажешь: Аршад поклялся материной могилой, что если не отдадите за него дочку, если выдадите Сервиназ за сына Гаджи Танрыверди, он убьет и тебя, дядя, и сына Гаджи Танрыверди и станет гачагом.

- Да как же я скажу дяде такие слова? – Женщина всхлипнула.
- Скажешь. Слова не твои. Как велел, так и скажешь. Поняла?
- Что тебе – девушек мало? Обязательно кровь проливать?!
- Я не отступлюсь, – мрачно сказал Аршад. – Лучше смерть. Как сказал, так и передашь дяде.
- А откуда у тебя винтовка? – спросила сестра.
- Оттуда. Ты женщина, зачем тебе это знать?

... Дядя Айваз давно уже заглядывался на баранов из отары Гаджи Танрыверди — породистые у Гаджи бараны. Не только в Курдобе, во всей округе славились: и шерсть, и мясо – лучше не бывает. Холощенных Гаджи Танрыверди поставлял мясникам в Агдам и Карабулак, а племенных не давал никому. И то, что в подарок на обручение он в числе других пригнал и бесценного производителя свидетельствовало о многом...

Дядя Айваз поднялся спозаранок: на обручение он решил оставить одного барана, а остальных отправить в отару на Харамы. Подошел к хлеву и видит: сбитый замок валяется на снегу, а баранов и след простыл.

Дядя Айваз достал деревянную табакерку, свернул большую сигарку, вставил ее в мундштук и закурил. Затянулся разок-другой, взглянул на старшего своего, Шамхала (Шамхал был от первой жены, с которой Айваз развелся):

- Провалиться такому сыну, приходят в дом, берут баранов!..
 - Что ни случись, у тебя всегда сын виноват! – Шамхал покраснел от досады. – Сколько раз говорил: не собака у нас – стыдоба! Кто ей кусок ни брось, хвостом виляет! Хоть бы разок брехнула!..
 - Нет, – возразила Заравшан – она не ладила с пасынком, – разочка два твякнула. Я сразу поняла – на человека брешет.
 - Чего ж не разбудила? – дядя Айваз сердито взглянул на жену.
 - Не решилась что-то... Может, думаю, так...
- Дядя Айваз взял в рот длинный красный мундштук и глубоко затянулся.
- Да... Крепко мы перед людьми опозорились.
 - Кто б что ни говорил, а это враги подстроили! – решительно заявила Заравшан.

... Когда Гаджи Танрыверди, проснувшись, вышел с афтафой для омовения во двор, чтоб совершить утренний намаз, он вдруг увидел, что четыре барана, которых он вчера отправил Айвазу в подарок на обручение, стоят рядом в его собственном загоне.

«Проклятье шайтану!... Что ж это такое? Может, сами ушли? Хотя нет... Загон был закрыт да еще бревном приперт. Выходит, баранов ночью пригнали и поставили в загон, а это получается – вернули наши подарки. Вернуть подарки, которые я отправил на обручение?!»

Жена Гаджи Гюльгез, увидев, сразу все поняла:

– Ну, Гаджи, это работа той сучки! – подбоченившись, решительно заявила она.

Гаджи Танрыверди было известно, что «сучкой» его жена называет жену дяди Айваза Заравшан. Айваз, женившись в ранней молодости на женщине, которую выбрали ему родственники, прожил с женой всего три года и развелся. Разведясь, влюбился в Гюльгез, и все думали, что он возьмет ее в жены.

И вдруг Айваз женился на Заравшан. Да как – выкрал ее! Все в один голос утверждали, что мать Заравшан околдовала его. Так было или не так, но Гюльгез долго страдала, да и теперь еще, стоило ей услышать имя Заравшан, начинало жечь сердце. Когда ее первенец, ее Нури влюбился в Сервиназ, Гюльгез испытала сложные чувства. С одной стороны избранница Нури была ей мила – зачата от Айваза. А вот то, что девушка вышла из лона «этой сучки», не давало Гюльгез покоя. Однако, поняв, что муж принял решение сватать дочку Айваза, Гюльгез смирилась: «Дай Бог им счастья!»

Сейчас, увидев, что возвращен их подарок, она первым делом подумала, что «сучка» не желает отдавать дочь за их сына. И девушку подбила, и мужа уговорила. «Мне насолить хочет, чтоб ей самой солоно пришлось!..»

Но Гаджи не только не согласился с женой, но даже разгневался на нее.

– Если б они не хотели отдавать дочку, – сердито сказал он, – зачем было согласие давать?

– Откуда я знаю! – окрысилась на него Гюльгез. – Эта стерва что хочешь придумать может!

Гаджи полагал иначе. Он считал, что хотя Айваз человек достойный, хорошего рода, но малость легкомысленный и уж очень доверчивый. Вот какой-то зловерный «доброжелатель» и надомнил его вернуть подарки. Поразмыслив, Гаджи пришел к выводу, что беда не велика: не хотят отдавать, черт с ними. Слава Богу, сын Гаджи Танрыверди завидный жених. Захочет, на комиссаровой дочке женится!

Он спокойно закончил омовение, и, вернувшись в дом, на новом белом войлоке совершил утренний намаз...

А в это время Шамхал, гонявший на водопой свою гнедую кобылу, проезжая мимо дома Гаджи, увидел вдруг: бараны, пригнанные в подарок на обручение и пропавшие из загона, преспокойно стоят у Гаджи в его собственном загоне. Это что же творится? Быстренько напоив лошадь, Шамхал поскакал домой.

– Не может этого быть! – сказал дядя Айваз, когда соскочивший с коня сын, еле переведя дух, сообщил ему новость. – Ты чего-то не то...

– Не веришь, пойдди погляди!

Дядя Айваз долго посасывал свой мундштук, пытаясь уразуметь, что ж это за история. С чего Гаджи взбрело на ум забрать свои подарки обратно? Да еще ночью, украдкой... Почему? Чем провинились они перед Гаджи за вчерашние полдня? А люди судить будут: вот какая у Айваза дочка, Гаджи Танрыверди подарки забрал обратно.

...А в это время Гаджи Танрыверди все пытался успокоить себя. Только плохо это у него получалось, гнев душил его. Теперь пойдут болтать – на чужой роток не накинешь платок. Хотел было оседлать коня, поехать к Айвазу и без всяких подходов спросить, что это, мол, за шутки за такие. Гюльгез не пустила.

– Чтоб такой солидный, уважаемый человек, как ты, ходил на поклон к дочери этой твари. У меня сын в Баку учится! Картинка-парень. А эта ведьма, она... Клянусь тебе, Гаджи, с самого начала не лежала у меня душа к этому сватовству!

Гаджи был человеком спокойным, солидным, но сейчас в душе его не было покоя. Он хотел этого родства – как-никак потомки Кербалаи Ибихана. Да и пора женить сына – время-то сейчас какое. Помешкаешь, а он возьмет да и приведет себе из Баку русскую. Или свяжется с дочерью какого-нибудь пройдохи, смешает благородную кровь Гаджи с собачьей кровью...

... Заравшан подошла к мужу, так и не притронувшемуся ни к маслу, ни к сыру, присела возле него.

- Новые вести есть, слышишь?
- Что еще? – равнодушно спросил дядя Айваз.
- Нарынгюль приходила, отзывает меня за дом. Тетя, говорит, ночью сегодня Аршад явился: ружье, патронташ, сам чернее тучи, прослышал, что дядя Айваз обручил дочку с сыном Гаджи.
- Ну и что? – спросил дядя Айваз по-прежнему равнодушно.
- Так он же клятву дал! Могилой матери клялся! Если, говорит, дядя мне откажет, отдаст дочь за сына Гаджи, я говорю, и дядю убью, и парня, а сам в гачаги уйду. Хоть весь мир вверх дном перевернется, а Сервиназ моей будет!
- Дурь в нем играет! – Дядя Айваз наконец вышел из себя. – Чего еще ждать от сына Таптыка! На куски девчонку изрежу, собакам скормлю, а за Таптыкова сына не выдам!

Заравшан ничего больше не сказала, ушла потихоньку – зачем возражать, когда человек в гневе.

В свое время Айваз считался одним из первых парней в селе. На коне скакать, в цель стрелять – это он ловок был. Но и насладиться жизнью: вкусно поесть, погулять, выпить – тут Айваз тоже знал толк. А потому, рассудив, пришел к выводу, что этот чабан, не видевший ничего, кроме овец да скал, ничего не понимающий в жизни, запросто может подстрелить любого – втемяшилось ему в башку – все.

И когда дядя Айваз пришел к такому выводу, праведный гнев его стал вдруг остывать, словно вылили на него кувшин родниковой воды. Нет, подумал дядя Айваз, тут на горячую голову ничего решать нельзя. Дедушка Кербалаи Ибихан не зря любил говорить: семь раз отмерь, один раз отрежь. Образумить надо дурня. А что же все-таки за история с баранами, почему Гаджи забрал их обратно? И потом, надумал забрать подарки, почему чай, сахар, отрезы – это-то почему не взял? Может, посовестились?

Дядя Айваз раскурил новую сигарку, затянулся разок-другой и, заметно смягчившись душой, сказал сам себе: «Как-никак Аршад – племянник, память о родной сестре моей, бедняжке Тавад. Да и вообще наш он, нашего корня. Надо с ним лаской. В трудный час ни он от меня не откажется, ни я его не брошу. Хоть он и валяет дурака со своей «трехзарядкой».

Гаджи Танрыверди тоже происходил из хорошего рода. А главное – ни у кого в деревне не было столько овец, коней, верблюдов. Конечно, после прихода большевиков богатства у него поубавилось, но и сейчас хватило бы на семь поколений вперед. Стать невесткой Гаджи Танрыверди или выйти за чабана Аршада – разница. Сын Гаджи в Баку учится, не сегодня-завтра инженером станет, это тебе не мотаться в войлочной бурке за баранами по горам, по долам.

Зато наша Сервиназ – ничего не скажешь – первая красавица в деревне. Вбежала в дом, улыбается, юбка из цветастого ситца, архалук из канауса, кофта парчовая, серебряным поясом перехвачена. На голове белый шелковый платок, на ногах джорабы, чусты на ней красные – хороша!

– Там продавец приехал, фундук привез, давай купим, а?

Айваз улыбнулся дочке, достал из кармана деньги, протянул:

– Дай матери, пускай сходит купит.

Взяла дочка деньги и убежала. Дядя Айваз поглядел ей вслед, усмехнулся, добрая получилась усмешка: «Скоро пятнадцать лет, а ведь дитя еще. Избаловали мы дочку...»

Это да, Айваз потакал всем ее капризам: до самого последнего времени Сервиназ вела себя, как мальчишка. Никогда не сядет на коня позади брата – хочу спереди! Ехать на верблюде, поверх тюков, как другие женщины, Сервиназ тоже не желала. И каждый раз, как перекечевывали на эйлаг или с эйлага, для нее седлали коня.

Издавна велся обычай: весной кочевье останавливалось – на равнине Чинарлы устраивались скачки. И каждый раз получалось, что Сервиназ не хотела отставать от братьев. Бойкая девка. Промашку он дал, что не послал ее в школу. И Шамхала не выучил. Подумал: должен же кто-то овец пасти. При скотине будет, станет настоящим кочевником. А вышел ни то, ни се – размазня.

Вообще-то Шамхал вовсе не был размазней. Я бы даже сказал, смысленный парень был. Но не умел воровать, а своровать не можешь, тебя и за мужчину не считают, ни свои домашние, ни односельчане. Так, горе одно... Дяде Айвазу хотелось бы, чтобы Шамхал был лихим парнем – каждую ночь по овце! Вслух он этого не говорил, но думал об этом беспрестанно.

...Айваз поднялся, набросил на плечи лохматую бурку, не спеша вышел за ворота и направился к площади у родника. Поднявшись на взгорок посреди деревни, он стал спускаться вниз, но увидел Гаджи Танрыверди. Гаджи стоял в своей хоросанской шубе посреди площади и дымил чубуком. Дядя Айваз хотел было повернуть, но подумал, с чего это мне поворачивать? Ни в чем я ни перед кем не виноват, хочет Гаджи, пусть уходит.

Гаджи видел, что Айваз приближается, но притворился, что не замечает его. Дядя Айваз остановился шагах в десяти, бросил небрежно:

– Здравствуй, Гаджи.

(Как бы там ни было, а Гаджи самый уважаемый человек в деревне.)

Гаджи ответил ему чуть заметным кивком. Смелости дяде Айвазу было не занимать, а потому он откашлялся и сказал:

– Вот что, Гаджи. Раз ты ночью забрал своих баранов, пришли и за остальными подарками. Или позволь сами отправим их тебе.

Гаджи человек основательный, стронуть его с места не так-то легко, а потому он долго молчал.

– Баранов мы не забирали, – промолвил наконец Гаджи, не глядя в лицо Айвазу.

– Как это не забирали?! – вспылil дядя Айваз. – У баранов рук нет, чтобы замок сломать! Отворили калитку и напрямик – в твой загон?! – Айваз даже побагровел от гнева.

Гаджи удивленно поглядел на него.

– Мы и понятия не имеем, почему бараны у нас в загоне, – сказал Гаджи. Лицо его было непроницаемым. – Если ты решил вернуть подарки, должен сказать прямо. Тебе не пристало хитрить. Ты внук Кербалаи Ибихана.

Правильно. Если взять прошлое, его род даже древнее, чем род Гаджи Танрыверди. А главное – у Айваза племянник на государственной службе, – Сурхай.

– Это какие такие хитрости? – нахмурившись, спросил дядя Айваз, и голос его не предвещал ничего доброго.

Но Гаджи и бровью не повел.

– Ни я, ни кто другой из моих домашних понятия не имеем, как бараны оказались у нас в загоне.

Дядя Айваз любил забавные истории, и ему вдруг стало смешно.

– Так что же выходит, Гаджи: ты не ударял, я не падал? Не дьявол же, Господи прости, навестил нас сегодня ночью!

Гаджи шуточки не любил и слова эти пропустил мимо ушей.

– Значит, вы не возвращали подарки? – все так же невозмутимо спросил он.

– Слава Богу, пока что в своем уме: вечером обручили дочку, а ночью подарки возвращать?

– Выходит враги наши постарались? – Лицо у Гаджи несколько просветлело.

– А как же иначе? Утром встал, гляжу: замок с хлева сбит, дверь настезь, баранов нет. Другого и быть не может: вражеская рука, твоего или моего врага! И знаешь: наверняка из нашей деревни. Если б чужой – как он про наши дела узнал?

– Да, свой, деревенский.

– Пойдем к нам, Гаджи! – Дядя Айваз совсем повеселел. – Пускай враг наш знает, что зря старается.

– Пойдем, – сказал Гаджи, он также начал отходить. – Только не к вам, а к нам.

– Давай к вам! – Айваз не стал возражать. Он знал, что когда ни приди к Гаджи – хоть среди ночи – подадут бозартму из ягненка и тушеные абрикосы, а дядя Айваз любитель был вкусно поесть.

Они неторопливо шествовали рядом, направляясь к дому Гаджи, а соседи глядели и диву давались. Как же так: бараны, которых Гаджи прислал на обручение, снова стоят у него в загоне, а Айваз как ни в чем не бывало идет к Гаджи в гости.

– Выведи тех четырех баранов и отгони их к дяде Айвазу, – сказал Гаджи сыну, когда они подошли к дому. Девятнадцатилетний Фархад стоял у ворот и удивленно смотрел на подходивших.

Юноша исподлобья взглянул на отца: «Как это?»

– Айваз не возвращал нам баранов, – ответил Гаджи на безмолвный вопрос сына. – Делай, как я велел.

Гюльгез вышла во двор и, хотя ничего не смогла понять, уважительно произнесла:

– Добро пожаловать, Айваз.

– Доброго здоровья, Гюльгез.

Она поставила перед мужчинами большой свежелуженый поднос. Принесла лаваш, белый-белый, тонкий, как папиросная бумага, жирный домашний сыр, кельбаджарский мед, свежие, утreshние сливки. И ушла в пристройку, служившую кухней.

Гюльгез еще с той поры знала, что Айваз большой любитель хорошего чая. Ну, а заваривать чай, готовить вкусную еду – тут с ней во всей деревне никто не мог сравниться. Курдобинцы довольствовались двумя-тремя блюдами, а жена Гаджи отличалась умением готовить изысканные кушанья. Она часто ездила в Шушу к богатой тетке, и там ее научили этой премудрости.

Сперва Гюльгез прислала с мальчиком чай, крепкий, красный, как маков цвет. Вслед за мальчиком пришла и сама, достала из обитого пестрой жестью сундучка сахар, набат, положила на поднос. Дядя Айваз поднял грушевидный стаканчик, посмотрел чай на свет, покачал головой:

– Наши так не могут заваривать. Не дал Аллах умения.

Гюльгез бросила на него суровый взгляд и вышла.

– А все же насчет этих баранов... – не глядя на гостя, начал Гаджи, словно беседуя сам с собой, – не очень-то похоже на вражью затею... Угнал баранов, заведи себе. Чего ж обратно в мой загон ставить?

– Вот и я об этом размышляю, Гаджи.

– Да... Непонятная история...

На равнине Харамы хижина дяди Айваза и Аршада стояли по соседству. Баранов у Айваза было не так уж много, и пас их его племянник Караджа вместе с двумя десятками своих овец.

И вот ближе к полдню Аршад вдруг увидел, что его двоюродный брат Шахмал, сын дяди Айваза, гонит в отару тех самых четырех баранов. Это как же так? Выходит, не помогло, обручение не расторгнуто, бараны снова у дяди Айваза.

– Это что же за скотина? – как ни в чем не бывало спросил он Шамхала.

– Гаджи Танрыверди. Прислал на обручение Сервиназ.

Снова кровь бросилась парню в голову. До самой ночи не находил себе места.

Вечером, когда овец загнали, Аршад сказал Карадже:

– Приходи-ка ко мне, у нас мясо есть.

Аршад еще утром прирезал барашка. Развели очаг, затопили кизяком. Аршад накрошил заднюю ножку на большую закопченную сковороду и поставил ее на камни, треугольником уложенные вокруг огня. Лампы в хижине не было, только отблески пламени освещали ее.

Аршад тосковал по Сервиназу, и ему было не до разговоров. От злости он то и дело без надобности переворачивал жарившееся на сковороде мясо. Пожарил, снял сковороду с огня и поставил посередине – ешьте!

Первым отвалился Али, потом Караджа.

– Больно жирна, мне столько не одолеть.

– Эх ты! – сердито бросил Аршад. – Жир надо есть, чтоб сила была! Тощий вон, как сушеная груша!

При свете затухающего очага Аршад доел мясо и выпил жир, до половины заливший сковороду. Потом все трое вышли наружу.

– Вызвездило, – сказал Али, – завтра солнце будет.

– Эту ночь совсем глаз не сомкнул, – позевывая, сказал Караджа. – Боялся, волк прорвется в отару. Прямо глаза слипаются.

– Не-е-ет, – сказал Али. – Не похоже, чтоб сунулись. Они вчера выстрел слышали.

– Братец! – сказал Караджа, заискивающе глядя на Аршада. – Откуда у тебя трехзарядка, а?

– Слушай, ты человек или нет? Ведь уже спрашивал, сказали: не твое дело.

Аршад вошел в хижину, вынес винтовку. Зарядил и трижды выстрелил в темноту. Залаяли псы.

– Эй, кто там стреляет?! – донесся из темноты голос Керима.

– Вы идите ложитесь, – не отвечая чабану, сказал Аршад, – я пока не хочу. Потом разбужу вас.

– Ладно, – сказал Караджа, – только ты ради Бога смотри!.. Гиямадынлинские чабаны тоже видели на той стороне стаю.

Караджа вошел в загон, втиснулся меж овец, завернулся в бурку, лег возле самого крупного барана и тотчас уснул сладким сном.

– И ты поспи, – сказал Аршад брату.

Али вошел в хижину и, завернувшись в бурку, лег возле затухающего очага.

Ночь дышала пронизывающим холодом. Аршад подождал немного, взял в хижине веревку и направился к дядиному загону. Собаки сразу признали его: кормил их, что своим давал, то и дядиным. Аршад вошел в загон, взглянул на Караджу – парень спал богатырским сном – и, внимательно приглядываясь, стал пробираться меж овец. Баранов он отыскал сразу, все четверо спали, уткнувшись головами друг в друга. Чего, чего, а повадки овец Аршад знал хорошо, а потому прежде всего растолкал племенного барана. Едва тот поднялся, вскочили и остальные трое. Аршад гнал впереди себя племенного барана, три других неотлучно плелись за ним. Аршад отогнал баранов в небольшую ложбинку. Там он повалил вожака на землю и связал ему ноги – он знал, что остальные три барана ни за что не отойдут от него. Оставив баранов в ложбине, Аршад быстро вернулся в хижину. Али крепко спал. Жалко было будить парня. Аршад вышел, взглянул на небо, по звездам определив, что до утра еще далеко. Но все равно надо было спешить – не близок путь. Брат вскочил сразу, как только Аршад тронул его – чабаны спят чутко.

– Что? Что такое?

– Вставай. Поспал и хватит. Я – в деревню.

Про баранов Али не знал, Аршад не сказал ему ни слова. Но Али знал, что брат его влюблен в Сервиназ и что это из-за нее идет сейчас в Курдобу. И ничего не стал спрашивать.

Карадже, если спросит, Аршад велел сказать, что у него заболела спина – сил нет терпеть, и он отправился в Алханлы – поставить банки. Всем было известно, что в Алханлы – ближайшей от них деревне – у Аршада есть сводный брат.

...Баран лежал связанный, как его оставил Аршад, а остальные трое стояли рядом, прижавшись друг к другу. Аршад развязал барана, и, смотав веревку, погнал животных перед собой. Снова взглянул на мигающие в небе звезды, определил, что до рассвета успеет добраться и зашагал по ночной степи, время от времени поглядывая на звезды.

Он шел и шел, и все сильнее обжигало его пламя обиды. Ему сказали, что этот похожий на девушку Нури на днях должен приехать в Курдобу. Значит, на обручение. Аршад вдруг представил себе, как в густом тутовнике за дядиным домом Нури, улыбаясь, словно поскользнувшаяся баба, подходит к Сервиназ, берет за руку... Его вдруг обдало жаром. Аршад поклялся себе: если такое случится, пристрелит он их: и дядю Айваза, и эту бабу Нури – пристрелит из этой вот трехзарядки. Потом схватит Сервиназ, перебросит ее через седло и исчезнет из этого мира. И будь что будет. Разгоряченный такими мыслями Аршад все прибавлял шагу, не давая передыха бедным животным.

И правда, в деревню он поспел до рассвета. Снова собаки Гаджи сперва облаяли его, но, узнав, сразу смолкли. Как и в прошлый раз, Аршад загнал баранов за плетень, припер шестом калитку. Потом, даже не заходя домой, спустился в густые камыши на берегу речки. Отыскал местечко в самой чаще, намотал на руку ремень трехзарядки, завернулся в новую бурку – влюбившись в Сервиназ, Аршад продал двух баранов и справил себе новую бурку – лег и тотчас заснул.

... Рано утром, с афтофой в руках выйдя во двор и снова увидев в загоне тех четырех баранов, Гаджи Танрыверди невольно воскликнул: «Бисмиллах!» Гаджи был не из тех, кого легко испугать, но сейчас у него едва не встали волосы дыбом: на какое-то мгновение бараны показались ему оборотнями. Гаджи произнес: «Проклятье шайтану!» и, подойдя к загону, внимательно оглядел калитку. Ясно было, что открыта и закрыта она была человеком – подперта шестом, чтоб не отворилась. Гаджи был человек умный и набожный, а потому понимал, что шайтан тут не при чем, а у джиннов и без него забот хватает. Но что же это все-таки за история?

Вышли во двор домашние, собрались соседи, никто не знал, что и думать.

– Давай к дяде Айвазу, – невозмутимым голосом сказал Гаджи Фархаду. – Позови его сюда.

– Что это мы должны ходить на поклон? – окрысился парень. – Надо, пусть сам является!

– Сейчас же позови Айваза! – приказал Гаджи. Фархад вскочил на недавно объезженного, стоявшего без седла жеребца и поскакал в другой конец деревни.

Когда Айваз увидел в загоне у Гаджи тех самых четырех баранов, его прямо оторопь взяла.

– Клянусь твоей головой, Гаджи, вчера Шамхал сам лично отогнал баранов в Хараму!

– Нет, Айваз, – холодно возразил Гаджи, – так дело не пойдет. Что бы тут не таилось, вы в ответе. Позорите нас перед людьми. Родня, соседи – стоят, смотрят, что это, думают, за шуточки...

– Ей Богу, Гаджи, – виновато забормотал Айваз, искоса поглядывая на людей, собравшихся у ограды. – Сам в толк не возьму... Могилой отца клянусь! Если это какой-то подлец затеял, твой или мой враг – на кой ему нужно гнать такую скотину с Харамы в твой загон? Нет, тут что-то не чисто!

Ужас проступил на женских лицах. Девяностолетняя мать Гаджи подошла к сыну.

– Гаджи, может, пошлешь кого из ребят за Моллой Гусейнгулу? Пускай бы взглянул. Помнишь, запрошлый год жеребца твоего каждую ночь угоняли, чуть живой в стойло возвращался? Пойдешь утром, а он весь в кровавом поту. И грива в косички заплетенная. Молла Гусейнгулу сказал тогда, что джинны из Чертова ущелья коней гоняют.

– Ой, бабушка Баллы! – поморщившись, сказал дядя Айваз. – На что нам этот ваш молла. Он же самый обыкновенный пройдоха!

– Что ты, что ты! – старуха замахала на него руками. – Грех-то какой! Про моллу такие слова!

– Какой же грех, бабушка? – Дядя Айваз улыбнулся. – Он же, Молла Гусейнгулу, в каждой деревне временную жену заводит. Не говоря уж о прочих его делишках.

Молла Гусейнгулу отличался красивым голосом, и когда он пел траурную молитву – мерсию, люди рыдали. Но ходил упорный слушок, что каждый раз перед исполнением мерсии молла тайком прикладывается к бутылке.

Не прошло и часа, как по всей Курдобе разнеслась зловещая весть: в загоне у Гаджи Танрыверди каждую ночь свершается чудо. Бараны, присланные в подарок на обручение, снова были уведены из загона дяди Айваза и оказались у Гаджи. Только и разговоров было, что об этом. И каждый твердил свое. Один уверял, что все вытворяют джинны из Чертова ущелья, другой клялся, что сам создатель препятствует Сервиназ стать невесткой Гаджи, а третий готов был биться об заклад, что все дело в Айвазе: не допускает всевышний, чтоб он породнился с Гаджи Танрыверди.

Женщины собирались кучками, перешептывались, боялись поодиночке входить в дом, не сказав предварительно: «бисмиллах!» После долгих споров и препирательств, сошлись на том, что повинны все-таки джинны. И никому в голову не приходило, что это – дело рук человеческих.

Чертово ущелье, что лежало к северу от Курдобы, зимними снежными ночами выглядело зловеще. Вой шакалов, доносившийся оттуда, леденил кровь в жилах; теперь ужас, внушаемый им, вырос в десятки раз. Если скотина, пасшаяся в ущелье, не приходила вовремя домой, никто не решался отправиться за ней.

...Едва зарозовел восход и воздух стал прозрачным, Аршад, крепким сном спавший в зарослях камыша, поднялся и отряхнул пыль с бурки и с лохматой папахи. Он знал, что каждое утро Сервиназ ходит за водой – там, чуть пониже, тропка – и решил подстеречь ее в камышах. Девушки и молодухи, то в одиночку, то по-двое, по-трое, проходили мимо и возвращались с полными кувшинами. Сервиназ не было. Терпение у Аршада кончилось. Он уже начал подумывать, что в доме достаточно воды и Сервиназ не придет. Если она не появится... Но тут послышались шаги и перезвон серебряных монеток, которыми обшивают воротник. Эти быстрые шаги Аршад узнал бы сразу, даже если б шагало целое войско. Он слегка раздвинул камыши и увидел ее: стройная, как марал, Сервиназ легко шла с большим кувшином на плече. Аршад ждал, сердце у него колотилось. Когда девушка поравнялась с ним, он рванулся вперед, заступив ей дорогу.

– Бисмиллах! Бисмиллах! – охнув, девушка испуганно смотрела на него. – Ты чего это, словно волк какой, из камышей выскочил?! Напугал как!

– Выскочил, чтоб тебя сожрать! – Аршад шутливо ощерил крепкие острые зубы.

– Бессовестный... – девушка засмеялась.

– Это ты бессовестная, – через силу улыбаясь, сказал Аршад. – Бросаешь такого парня, двоюродного своего брата и выходишь за сына Гаджи Танрыверди! За эту бабу!

– А знаешь, – шепотом, словно открывая тайну, сказала Сервиназ, – джинны из Чертова ущелья уже два раза возвращали Гаджи подарки, что он прислал на обручение.

– Молодцы джинны! – Аршад злобно расхохотался. – Правильно сделали, что вернули! На черта вам их подарки!

– Ты что! – в ужасе воскликнула девушка. – Сейчас же скажи «бисмиллах», безбожник несчастный.

– Чего это я несчастный? Слава Богу, не жалуюсь, жив-здоров. Иди-ка лучше сюда, что скажу-то! – И, схватив девушку за руку, Аршад увлек ее в камыши.

– Пусти! – Сервиназ безуспешно пыталась выдернуть руку.

– Ну чего? Чего я там не видала, в камышах!? – Она понимала, что никакая сила не может сейчас вырвать ее руку из рук Аршада и все-таки сопротивлялась. В самой чаще Аршад наконец остановился.

– Поставь-ка кувшин!

– Как я поставлю? – Сервиназ засмеялась. – Отпусти руку.

Аршад выпустил ее руку, взял кувшин, поставил его на землю. Сервиназ еще не исполнилось пятнадцати лет, и все происходящее смешило и забавляло ее.

– Слушай, дядина дочка. Что я помер, чтоб ты с этим Нури слюбилась?

– Кто это любится? – Сервиназ скривила губки. – Я не Асли – чтоб влюбляться!

– А не влюбилась, так чего ж в прошлый раз, когда приезжал, стояла с ним в тутовнике, шепталась?

– О чем это мы шептались?

– Тебе лучше знать. Небось, о любви...

Сервиназ расхохоталась, не заботясь о том, что ее могут услышать идущие за водой девушки, и этот звонкий смех ударил Аршаду в голову, лишил ума. Он прижал девушку к груди и несколько раз жадно поцеловал. Впервые в жизни парень целовал Сервиназ. Да еще так, что она с трудом перевела дух. У Сервиназ закружилась голова. Смех и болтовня девушек, идущих за водой, заставили Аршада выпустить Сервиназ.

Сервиназ, не отрываясь смотрела, на него, пораженная сладостью поцелуя.

– Умоляю! – задыхаясь, промолвил Аршад. – Скажи, ты правда, хочешь замуж за эту бабу? Своей волей идешь за Нури?!

Сервиназ неопределенно пожалла плечами. Она вспомнила свидание в тутовнике и подумала, чего ж Нури-то не обнял, не поцеловал ее тогда.

– Ты хочешь за него замуж или нет? – повторил Аршад, уже начиная закипать.

Девушка глубоко вздохнула и снова пожалла плечами.

– Так знай! – с решимостью отчаяния сказал ей Аршад. – Пусть мир перевернется, а ты будешь моей! Только моей! Поняла?

– Смотри, как бы джинны и твои подарки не вернули! – Девушка усмехнулась.
 – Мои не посмеют! Я им тогда!..
 – Бисмиллах! – испуганно воскликнула Сервиназ. – Перестань, слышишь!
 – Ты вот что. Ты скажи «да», а остальное не твоя забота. Пойдешь за меня?
 – За кого отец отдаст, за того и пойду.
 – Так ведь он... Хитрец он! Пройдоха! Гаджи Танрыверди богач, вот отец и готов отдать тебя за эту бабу!
 – Почему за бабу? – Сервиназ улыбнулась. – Просто он на лицо миленький, как девушка.
 Аршаду было маслом по сердцу, что Сервиназ так сказала про Нури. Он довольно расхохотался.
 – Я таких миленьких сотню одной рукой передую и в ущелье сброшу!
 Сервиназ окинула взглядом широкую грудь Аршада и его свежее румяное лицо и подумала, почему бы ему не поцеловать ее еще раз.
 – Слушай, – уже без улыбки сказал Аршад. – Выйдешь за этого, рекой кровь польется! Я поклялся!
 – И чего тебя разобрало? – Она недовольно сдвинула брови. – Других девушек в деревне нет?
 – Не знаю я других и знать не желаю! Я тебе объяснил. Скажи – не пойду за него, и вся недолга! Поняла?
 Сервиназ вдруг схватила кувшин и бросилась к тропинке.
 – Ты слышала?! – вслед ей крикнул Аршад. – Я сказал!
 Она обернулась, кивнула, улыбнулась ему и умчалась. А Аршад осторожно, прячась от чужих глаз, выбрался из зарослей камыша и прямо по степи зашагал обратно в Харамы.

– Гаджи, – сказал дядя Айваз, – наш сговор остается в силе. Но бараны пускай побудут пока в твоей отаре, поглядим, что из этого выйдет.
 – Ну что ж, – степенно ответил Гаджи, – пускай останутся. Все равно они твои...
 Как и все в деревне, Гаджи знал, что Айваз большой любитель поесть, а потому вечером велел прирезать барана и послал будущему свату. После революции Айвазу пришлось поприжаться. При царе его старший брат был на больших должностях, одно время даже приставом был, одним словом, уважаемый человек в округе и Айвазу немало перепало от этого уважения. «Вдруг дело мое к его брату в канцелярию попадет», – рассуждали люди и задабривали Айваза: кто коня приведет, кто – верблюда, кто пару баранов. Теперь, ясное дело, нет того... Сам Айваз к труду привычен не был, овец его пасли наемные чабаны, а овцеводство такое дело – свой догляд нужен, душой надо болеть за овец. Вот у Айваза отара и не прибывала. Не переваливала за сотню голов.
 Ни в каких джиннов Айваз, конечно, не верил. В разговорах с Гаджи прикидывался, что верит, а сам все пытался сообразить, чьих же это рук дело. Подумал было на Аршада, может, этот учудил? Нет, Аршад – волк. Несколько лет назад в Хараме или на эйлагах любимое его развлечение было «нырять» в чужие отары. Схватит и был таков. Потом приехал Сурхай, отругал парня, велел сидеть смирно, не бесчинствовать: попадешь в тюрьму, и нас всех опозоришь. И хотя смирно Аршаду было не усидеть, но он стал действовать не так дерзко. Уж если соскучится по мясцу, подкрадется ночью к отаре какого-нибудь богача и притащит пару барашков или дюжего барана.
 Вот и получается: увести-то баранов Аршаду – раз плюнуть, но он ни за что не поставил бы их в загон к Гаджи, тем более, что на его сына зуб имеет... Нет, как ни верти, ничего в этом деле понять нельзя.
 А Аршад тем временем слал одно предупреждение за другим: не отдадите за меня девушку, отомщу: и дядю Айваза убью, и сына Гаджи. Айвазу передавали, что парень разгуливает с трехзарядкой, а по ночам является в Курдобу и кружит возле его, Айвазова дома.
 Дядя Айваз гневался, клял шайтана и, отплеываясь, честил Аршада и до седьмого колена родню его по отцу.

Наконец дядя Айваз вызвал к себе Нарынгюль.

– Растолкуй ему, дочка, растолкуй брату: дело у нас решенное, позорить Гаджи перед людьми я не стану. Ты ему другое скажи: пусть выбирает любую девушку в Карабахе, высватаю ему. А эту свою затею пусть выбросит из головы. У Гаджи Танрыверди вон какой род, и чтоб все нашими кровниками стали!

Нарынгюль оседлала коня и отправилась в Харамы.

– ...Не смогла я его уговорить, – сказала она дяде, вернувшись на другой день. – Уперся – с места не сдвинешь. Передай, говорит, дяде, отдаст за меня Сервиназ, навеки его рабом буду, не отдаст, кровь пролью и в гачаги подамся. Не отступится он, дядя Айваз, – Нарынгюль заплакала.

Дядя, Айваз молчал.

– Дядя – да умру я у ног твоих, ведь он тебе не чужой, пускай богатства нету, зато дочку твою на руках носить будет!

Дядя Айваз даже отпрянул от нее.

– Да ты не лучше своего чумного братца! Оба в отца удались! – Такие слова означали, что дядя Айваз окончательно вышел из себя.

Только ведь и Нарынгюль за словом в карман не лезет. Утерлась концом головного платка, глядит на дядю Айваза.

– Что это ты про отца так заговорил? Забыл, видно, как родной его брат Кербалаи Асад три пули в лоб всадил Махару, когда тот тебя осрамил!

А дело было так.

Еще задолго до революции в Курдистанском округе появился гачаг по имени Махар. Гачаг этот развлекался тем, что нападал на здешних жителей, грабил их и чуть не голыми отпускал домой. И вот как-то раз, когда дядя Айваз, верхом возвращаясь с эйлага, проезжал по узкому ущелью, он вдруг услышал крик: «Бросай винтовку, а то прихлопнем!»

Смотрит: со всех сторон из-за скал торчат винтовочные стволы. Что делать? Пришлось отдать винтовку. Гачаги повели его к своему главарю, тот ждал неподалеку. Дядя Айваз начал было говорить, что недостойное это дело, твои люди напали из-за угла, отняли у меня оружие, я Айваз из Курдобы. А тот отвечает, потому, дескать, тебя и не убили, что ты Айваз из Курдобы. Слезай с коня!

Одним словом, забрали у Айваза и коня, и винтовку и отпустили пешком. Один из гачагов хотел было у него и папаху забрать – новую, серебристую, но такого бесчинства главарь не допустил.

От срама дядя Айваз не посмел даже днем явиться домой. За скалами таился, ждал, пока стемнеет, и лишь когда все улеглись, пробрался к себе в кибитку. Потом выяснили, что ограбили дядю Айваза гачаги из отряда Махара. А кибитки Махара стояли неподалеку в Эйригае... Кербалаи Асад послал человека – оказалось, что Махар сейчас у себя, во главе отряда отправился в Эйригаю. Однако, подъехав, сказал своим, чтоб ждали его в скалах, он один на один встретится с Махаром.

И прямо на коне поехал к кибитке. Махар вышел взглянуть, кто там.

– Подлец! – сказал ему Кербалаи Асад. – Разве настоящий мужчина позволит себе ссадить с коня аксакала и пешком пустить его домой, позоря перед женщинами и детьми?!

Понял Махар, о чем речь. Схватился за кобуру, но выхватить маузер не успел – Кербалаи Асад, опередив гачага, всадил ему в лоб три пули.

Нарынгюль знала, о чем напомнить. Дяде Айвазу крыть было нечем. Да и совестно вроде стало за такие слова. Родом отец Аршада был с той стороны Аракса, как можно было утверждать, что честь этого рода хоть пятнышком каким замарана. Да и не вышел бы из недостойного рода такой человек, как Кербалаи Асад.

– Ладно, – смягчившись, сказал дядя Айваз. – Скажи брату, чтоб потише сидел. Нечего равняться на Кербалаи Асада, тогда время было не то, царь Николай был. Скажи, дядя Айваз передал, что жалеет его – не одни друзья вокруг, и враги имеются, – а то засадил бы в кутузку. Чтоб остыл.

– Дядя, дорогой, ты ж теперь наш аксакал, старший в роду Кербалаи Ибихана, наставляй молодых, учи уму разуму!

– Да разве этот паршивец слушает меня? Нету у него уважения.

– Что ты, дядя Айваз. Аршад за тебя с горы кинется!

– Ладно, – дядя Айваз покашлял. – Скажи ему, пусть пока подождет, посмотрим...

Но если сказать по правде, дядя Айваз даже не представлял себе, как можно выпутаться из этого положения. С одной стороны, уж очень хотелось ему породниться с Гаджи, с другой стороны, этот бешеный со своей трехзарядкой, чтоб ему пусто было!

В глубине души дядя Айваз не мог не отдать Аршаду должное, по душе был ему этот отчаянный бесшабашный парень. Дойдет до оружия, такой один сотни стоит. Достойный наследник Кербалаи Асада, жаль времена теперь другие, теперь в горах нечего делать с ружьем да кинжалом. А сын Гаджи, как ни говори, не сегодня завтра большим человеком станет.

И в то же время Айваз понимал, что тянуть особо нельзя и так полно слухов ходит. Уже и в соседних деревнях поговаривают, что джинны из Чертова ущелья два раза возвращали Гаджи Танрыверди баранов, посланных в подарок на обручение его сына Нури с дочерью Айваза. Никакое другое объяснение и в голову не приходило. Никто не мог себе представить, что какому-то курдобинцу ночью попали в руки четыре великолепных барана, а он взял и по доброй воле пригнал их в загон Гаджи Танрыверди. Ведь этот Гаджи скупердяй из скупердяев, всего полно, только что свиней не хватает. Какой дурак откажется от его баранов?

Скупердяй-то он скупердяй, но в Курдобе хватало людей, искренне уважающих Гаджи. Все знали, что богатство свое Гаджи нажил честным трудом – смолоду пас чужих овец. Старики помнили, как он чабанил у Гаджи Ширина в Карадолаге. И еще помнили старики, что, будучи совсем молодым чабаном, Танрыверди примкнул к паломникам и пешком отправился в святые места. А Айваз, что ж – известный гуляка, на его совести несколько совращенных женщин. Вот добрые духи и не допускают, чтоб его дочь стала невесткой Гаджи Танрыверди – истинного раба божьего.

Когда до Айваза дошли такие суждения, он хоть и разнес в пух и прах проклятых балаболок и весь их род до седьмого колена, но был не на шутку озадачен.

Нарынгуль снова поехала в Харамы, уведомила Аршада, что дядя, похоже, смягчился, – велит, чтоб Аршад потерпел, надо выждать. А трехзарядку с патронами чтобы запрятал подальше. Милиция пронюхает, в тюрьме насидится. На что Аршад ответил, что пока не приведет Сервиназ в свой дом, винтовку из рук не выпустит.

– Что она тебе далась? – не выдержала Нарынгуль. – Скоро пятнадцать девке, а в голове ветер. С утра до вечера прыгает да скачет. А красивого парня видит, скалится начинает... Сколько в деревне невест: порядочные, скромные...

– Станет моей женой, не будет на другого смотреть. Я ж ей башку отсеку, если что. – Спокойно сказал Аршад. – Ты меня знаешь.

ПРО ТО, КАК НУРИ, ПОХОЖИЙ НА ДЕВУШКУ, ПОБЕДИЛ НЕПОБЕДИМОГО АРШАДА

Через три дня один из чабанов, вернувшись из Курдобы, куда ездил за хлебом, привез весть, что приехал из Баку Нури, сын Гаджи Танрыверди. Что на шее у него красный шарф, а ботинки на ногах сияют, как женские туфли. Чабан этот отличался болтливостью, особой веры ему быть не могло, и Аршад сперва решил, что парень завирает. Позлить решил, подразнить, о чем Аршад так прямо ему и сказал. На это чабан ответил, как знаешь, мое дело – сторона.

Само собой, что Аршад не выдержал, запрятал винтовку и патронташ и утром, чуть свет, тронулся в путь. Добравшись до Курдобы, он прокрался камышами, чуть не вплотную подступавшими к дому Гаджи, и притаился в таком месте, откуда хорошо была видна входная дверь.

Вышел Гаджи, совершил омовение, вернулся в дом. Фархад выгнал из хлева коров. Потом Гюльгез и женщина, прислуживающая в доме, с подойниками в руках вышли на лужайку перед домом. Фархад по одному пригнал телят, каждого привязал к передней ноге коровы. Женщины присели возле коров и стали доить. Из Чертова ущелья на деревню напал туман. Слышалось мычанье телят, ребятишки верхом на неоседланных конях гнали их к речке на водопой. Возле некоторых домов в загонах стояли овцы; бедняки, имевшие десяток-другой овец, не перегоняли их в Харамы, держали при доме. За деревней, на поле, покрытом серой полынью, паслись верблюды. Собаки повизгивали, нетерпеливо поглядывали на дверь, ожидая, когда вынесут похлебку. Наконец Аршад увидел Нури. Увидел и ошалел. В холодный зимний день парень был в одной майке и без шапки, волосы его трепал ветер. Сперва Нури бегал взад-вперед перед домом, с той стороны, что обращена была к камышам. Потом попрыгал на месте. Потом стал поднимать и опускать руки

«Что ж он вытворяет?» – думал Аршад. Впервые в жизни видел он такое. Мужчина, в зимний день полуголый, на глазах у детей и женщин выделяет такие штуки. Нури был стройный, изящный парень. Он как-то не вязался с этими темными домами, коровами, телятами, верблюдами, казался чужим, нездешним. Аршад выходил из себя, глядя, как этот бездельник на глазах у людей бесстыдно размахивает длинными, голыми, тонкими, как у женщины, руками. И дядя намерен выдать Сервиназ за этого борзого кобеля! Аршад всем телом ощущал, как смущены этим зрелищем соседские девушки, доившие коров, как они стараются не смотреть в эту сторону. Чего ж отец-то глядит? Вышел бы да плюнул дурню в лицо! Ишь, представление устроил! Так бы и свернул ему тощую его шею!

Наконец Нури ушел в дом, вернулся в кожаной куртке, в папаше и не спеша направился в верхнюю часть села – туда, где жил дядя Айваз. Аршад камышами двинулся в ту же сторону. Вдруг Нури остановился, взглянул на дом дяди Айзаза и свернул в тутовник. «Вот оно что!» Кто другой, может, подумал бы, что парень идет на речку – умыться, но Аршад знал, что умываться они ходят через камыши, что возле дома. Значит, тут что-то есть!

Аршад воровато выскользнул из зарослей камыша, прокрался в тутовник и, укрывшись в ложбинке, стал ждать. Сперва до него донеслось негромкое позвякивание серебряных монеток. Потом он увидел, что его двоюродная сестра Сервиназ, выйдя из-за тутовых деревьев, идет прямо к сыну Гаджи Танрыверди. А тот, хихикая, точно баба, берет девушку за руки и что-то говорит ей. От негодования у Аршада так загудело в голове, что он не разобрал ни что сказал Нури, ни что ответила ему вертлявая девчонка. Парень опять что-то сказал.. Опять она улыбнулась. А он, кобель борзой, не выпускает ее руки! Пожалел Аршад, что оставил в Харамы трехзарядку! Влепить бы сейчас пулю в его ухмыляющуюся бабью морду!

И тут он увидел, что Нури притянул к себе Сервиназ и губами притронулся к ее лицу. Ломая кусты, раздвигая ветки, Аршад бросился к ним. Оба вздрогнули и обернулись. Сервиназ тут же умчалась, но парень не трогался с места, смотрел прямо на Аршада, и непохоже было, чтоб он испугался или хоть удивился. Аршад подбежал и, размахнувшись, занес над головой Нури свою знаменитую дубинку с железным наконечником. Если бы он угодил по голове, парню недолго пришлось бы мучиться. Но тот быстрым движением перехватил в воздухе дубинку, вырвал ее из рук Аршада и забросил далеко за деревья.

– Брось, земляк! Забирай свою палку и убирайся! Не мужское это дело – подглядывать!

– Ах ты, бабья морда! Вон ты про что толкуешь! – И Аршад с кулаками бросился на Нури.

– Слушай, земляк, – Нури, отбиваясь, уговаривал Аршада. – Ты же взрослый человек. Ну что тебе надо? Чего ты лезешь?

Но Аршад и не думал отступать. Однако в любой драке – главное оружие чабана – дубинка, кулаками совсем не то. Аршад не мог причинить Нури серьезного вреда, хотя парень не нападал, а только отбивался от него.

– Земляк! – взывал он к Аршаду. – Будь человеком! Отстань, ради Бога!

Но Аршад не намерен был отпустить соперника живым, и видя, что кулаками не многого достигнешь, все больше и больше свирепел. Он начал непристойно ругаться, но тут уж Нури не выдержал. Он дал Аршаду кулаком по башке, да так ловко, так умело, что парень, сильный, как молодой бычок, рухнул без памяти. Нури подождал, передохнул немного и, присев возле Аршада, стал поднимать и опускать его руки. Короче, через некоторое время Аршад приоткрыл глаза и удивленно вытаращился на парня. Потом быстро вскочил на ноги.

– Давай мириться! – Нури, улыбаясь, протянул ему руку. – Ничего я не сделал твоей сестре. (Он не знал, что Аршад влюблен в Сервиназ, и решил, что парень вступился за честь девушки.) Аршад не ответил. Бросил на него ненавидящий взгляд, повернулся, отыскал в тутовнике свою дубинку и, даже не заглянув домой, двинулся в Харамы. Дошел он единым духом, томясь от ненависти и бессильной злобы. Али в хижине не было, он погнался на пастбище. Аршад был голоден, как волк, но злость и стыд терзали его, и он ничком упал на кусок старой кошмы и проспал до вечера, пока не пригнали овец.

... В деревне стояла кромешная тьма. Лишь дом Гаджи Танрыверди освещен был керосиновой лампой, подвешенной на одном из опорных столбов. По случаю приезда Нури Гаджи Танрыверди пригласил к себе будущего свата. В очаге посреди комнаты горкой лежали раскаленные угли. На новых кошмах набросаны были шелковые тюфячки, рядом с ними – мутаки с помпонами. Гаджи Танрыверди и дядя Айваз беседовали, удобно расположившись на тюфячках. Речь шла о том, что скоро весь скот, все имущество будут собраны в одно место и станут общими – очень уж упорные ходили об этом слухи. Гаджи казался озабоченным, что же касается дяди Айваза, тот пребывал в прекрасном расположении духа. Сияющий белый самовар беззаботно напевал свою песню, чай в грушевидном стаканчике был цвета петушиного гребня. На очаге в большом казане доходил плов. Гюльгез знала, что жена Айваза в лучшем случае способна приготовить пастушью бозартму, что Айваз с наслаждением вкушает от ее яств, а потому сготовила плов с шафраном, с нежными кусочками молочного ягненка. Дядя Айваз наслаждался: наслаждался уютом, теплом, исходящим от раскаленных углей, чаем в грушевидном стаканчике, ароматом плова с шафраном, и ему не хотелось, чтобы у Гаджи Танрыверди было плохое настроение.

– Знаешь, Гаджи, – сказал он, – ведь и не всему верить надо. Мало ли что плетут! Помнишь, когда большевики пришли, толковали, что любого, кто выше метра, под пулемет ставят... Убедились – пустая болтовня. Может, и теперь так.

Дядя Айваз не больно-то верил тому, что говорил. Сам он уже год как одного за другим сбывал бычков, баранов, коней... Кроме дойных овец, оставил пока двух верблюдов, гнедую кобылу, да двух верховых жеребцов. Без этого нельзя, без этого на эйлаг не откочуешь. А дело в том, что племянник Сурхай, служивший на государственной службе, твердо заявил ему: предстоит коллективизация. Поначалу дядя Айваз не на шутку расстроился. А потом махнул рукой: «Черт с ним! Как все, так и я. Чего кровь на воду переводить!» Решив так, он снова пришел в прекрасное расположение духа.

Нури, соблюдая обычай, не участвовал в разговорах отца с будущим его тестем, сидел в другой, полутемной половине дома и болтал с двоюродными братьями. О своем столкновении с Аршадом он не сказал ни Сервиназ, ни кому-либо из своих. Человек он был неглупый, и понимал, что расскажи он про этот случай отцу, может вспыхнуть настоящая вражда родов, ни с той, ни с другой стороны парни не усидят. Да и не равняться же ему с Аршадом. Аршад – чабан, человек безграмотный, знает одних своих баранов, а он через два года инженером станет. Сервиназ ему нравится. Красивая девушка, пройдет год-другой, ей равной не найдешь. Жалко, окончила всего пять классов, но ничего, потом, может, он сам возьмется ее учить. Отец с матерью хотят этим же летом и свадьбу справить, но это недопустимо, исполнится девушке восемнадцать – пожалуйста. Чего-чего, а законы Нури знает. В Баку девушек хватает, и в институте их полно, и многие ему глазки строят. С некоторыми он даже погуливал. Но одно дело погулять, другое – жениться на несовершеннолетней. Тут шутки плохи. Но с другой стороны и отца обидеть нельзя – ведь не просто отец – Гаджи Танрыверди! Ослушаешься его – позор. Зазнался, скажут сородичи, из шкуры вылез и признавать ее не желаешь...

Снаружи несколько раз тьякнули собаки и тут же смолкли. Первая пуля – стреляли через дымовое отверстие – угодила в большой цветастый чайник, стоящий на самоваре, и он взорвался, как бомба. Вторая попала в лампу, висевшую на столбе, и наступила полная тьма. По крыше затопали, кто-то прыгнул и убежал.

Собаки зашлись лаем.

Сперва Гаджи, за ним – дядя Айваз и сыновья Гаджи вышли во двор.

– Эй, кто там стреляет?! – послышался из темноты голос председателя сельсовета.

Никто ему не ответил. В кухоньке тоже погасили свет. Враг на огонь стреляет.

– А ведь собаки наши знают его, кто стрелял, – в полной темноте сказал Гаджи Айвазу. – А иначе как? Чужой человек лезет себе на крышу, а они помалкивают?

– Да к этим собакам даже птица близко не подлетит, – согласился Айваз. – И думать нечего – свой действует: баранов пригоняют – молчат, на крышу лезут – молчат!

– Но если враг, – Гаджи ничего не мог понять, – почему не в людей стреляет?

– И в самом деле, – согласился дядя Айваз. – Просто ум за разум заходит.

– Кто посягнет на детей Мовламверди, тот плохо кончит! – неожиданно произнесла Гюльгез, причем очень громко, так, чтобы слышали не только стоящие во дворе.

– Иди-ка в дом! – недовольно бросил Гаджи. – Зажги лампу, новое стекло вставь. И чайник новый, – на самовар.

– А может, не стоит пока зажигать свет? – осторожно заметил дядя Айваз.

– Нельзя погасить свет в доме Мовламверди, – не без торжественности произнес Гаджи.

Гюльгез зажгла лампу, заварила чай, поставила чайник на самовар.

Гаджи отозвал в сторону Фархада.

– Возьми пятизарядку и будь начеку. Увидишь кого, не стреляй, поверх головы целься. Главное – постарайся узнать кто.

Районным властям Гаджи был известен как человек, соблюдающий законы и выполняющий постановления. И тем не менее оружия он не сдал: припрятал и пятизарядку, и наган. Поскольку оружие он в ход не пускал, то и вины за собой не чувствовал. Переселяясь на эйлаг, он прятал винтовку в войлоке для кибиток. Да и какой это кочевник без оружия? Все равно, что баба без юбки. Чтобы не из чего было выстрелить!.. Вот тебе, пожалуйста: ни за что, ни про что палят в человека, когда он сидит в собственном доме, у праведного очага. Что ж теперь – бежать и прятаться?

Выпили чаю. Поели плова с тонкими пшеничными лавашами. О случившемся не произнесено было ни слова.

– Спокойной ночи, – поднимаясь, сказал Айваз.

– Оставайся, – предложил Гаджи. – Заночуешь у нас.

– Нет, Гаджи, надо идти.

– Пусть тогда ребята тебя проводят.

– Не нужно. Сам знаешь: кто захочет стрелять, найдет случай.

ЭТОТ АРШАД И ВСЕВЫШНЕМУ НЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ

Дядя Айваз уже пожалел, что заговорил про врагов. Ему было совершенно ясно, что все эти штуки откальвает Аршад. Никогда не было в Курдобе подобных историй. Воровать воровали, но чтоб такое надругательство!.. А ведь этот поганец только в раж вошел, он сейчас бугай распаленный. Пока в чайник метит, а там и в лоб выстрелит. И в самого Айваза пальнет, не задумается. Если у Гаджи узнают, что все это проделки Аршада, добра не жди. Сам-то он человек степенный, но парни... Парней не удержишь. Хорошо, скажут, ты над нашим аксакалом мудруешь, по лампе бьешь в его доме, мы твоему аксакалу такое же устроим. И наши винтовки не простоквашей заряжены. Запросто кровная вражда разгореться может. Чего ж делать-то? В милицию сообщить? А дух покойной Тавад? Вот и придумай, что делать. Никого он не признает, паршивец, перед самым создателем не смирится!

Наутро дядя Айваз призвал племянницу Нарынгюль и ее мужа, посадил их перед собой.

– Сколько раз вам сказано было: угомоните этого нечестивца! Ведь какое бесстыдство учинил этой ночью!

Муж Нарынгюль приходился внуком дяди Гаджи Танрыверди. Но Айваз знал, что человек он положительный, болтать не станет и полностью ему доверял.

– Чего Аршад затеял? Хочет, чтобы началась кровная вражда с потомками Гаджи Мовламверди? – И добавил, обращаясь к одной Нарынгюль: – Начнут завтра стрелять друг в друга, как жить будешь? Не соображаете: ни брат твой, ни ты!

– А что ж ей делать? – заступился за Нарынгюль муж, он очень любил свою молодую жену. – Ты аксакал, и то справиться с ним не можешь!

Дядя Айваз вспыхнул:

– Я-то с кем хочешь справлюсь. Но сам знаешь, есть друзья, есть враги. И потом, он сын моей сестры. Вверх плюнешь – усы, вниз плюнешь – борода.

Нури приходился родственником ее мужу, и потому Нарынгюль молчала. А как ей хотелось, чтоб дядя отдал Сервиназ за Аршада! Но женщина понимала, что при своей поразительной жадности дядя Айваз не в силах отказаться от богатства Гаджи Танрыверди. А иначе на что ему этот худосочный Нури, когда вон он Аршад – он же Нури за пояс заткнет!

Не раз, отведя Сервиназ в укромное местечко, Нарынгюль принималась втолковывать девушке, что та делает глупость.

– Ну что тебе за удовольствие от этого дохляка? – в который раз принялась за свое Нарынгюль, поймав девушку у родника. – В Баку учится! Шарф намотал на шею! А проку? Разве это мужчина?

Сервиназ только хохотала в ответ. А Нарынгюль оглядела ее: жемчужно-белые зубы, торчащая вперед грудь, вздохнула:

– Глупая... Да разве Нури с тобой справится! Только такой бугай, как Аршад... – И улыбнувшись, щипнула девушку.

– Ой, – вскрикнула Сервиназ, хотя было не особенно больно, да и в боли той было что-то очень приятное.

Сервиназ нравились оба парня. Думала она об Аршаде или о Нури, все ее существо охватывала дурманящая сладость. Вспоминала, как Аршад не хуже бешеного жеребца бросился на Нури, когда тот хотел поцеловать ее, и улыбалась. И ей было жалко, что Нури так до сих пор ни разу не обнял, не поцеловал ее. Она испытывала наслаждение, думая о том, что от любви к ней Аршад, как безумный, слоняется по степи. А когда Нури, учившийся в Баку, тонкий, белолицый, изящный, поглядывал на нее, верхом проезжая мимо их дома, сердце ее билось от удовольствия и томилось нежностью к нему.

...Сестра Нури Ханпери, встретя Сервиназ у родника, отвела ее в сторону и достала из-за пазухи маленькую бумажку.

– Чего это? – Глаза у Сервиназ блеснули.

– Чего, чего! Будто сама не знаешь. Письмо тебе. Брат мой написал.

– О-о! – воскликнула Сервиназ и прижала записку к груди. В глазах ее заплясали бесенята.

«Дорогая Сервиназ! – читала девушка. – Родители нас обручили. Я очень этому рад, потому что люблю тебя. (Сервиназ улыбнулась: «Да перейдут на меня твои горести!» – прошептала она.) Тебе еще не исполнилось пятнадцати. Значит, придется нам с тобой ждать года два – пока тебе исполнится хотя бы семнадцать. (Сервиназ недоуменно взглянула на Ханпери: «Это как так – два года ждать?!») К тому времени я почти что закончу институт, мы сыграем свадьбу. Я увезу тебя в город, потому что работать я буду в городе. Напиши, любишь ли ты меня?»

...Когда девушки, наполнив кувшины, шли по тропинке домой, Сервиназ сказала:

– Не умею я писать любовные письма. Отнесешь воду, приходи в тутовник. Я тебе говорить буду, а ты напишешь.

– Брат сказал, что после свадьбы сам будет тебя учить.

– А с чего у вас зашел разговор? – в глазах Сервиназ вспыхнуло любопытство.

– Спросил, сколько ты классов кончила. Я сказала, после пятого ушла.

– Это все мама! Разве она даст учиться? Как заведет свое: груди торчком, не сегодня-завтра замуж пойдешь...

– Моя мать тоже не хочет, чтоб я на тот год ходила, – грустно сказала Ханпери. И с гордостью добавила: – А брат за меня: если, говорит, возьмете сестру из школы, я ее в Баку заберу!

– А брат твой очень красивый, – сказала вдруг Сервиназ. – Он гораздо красивее тебя!

– Ну и пусть. Дай Бог ему здоровья!

... Они устроились на берегу высохшего арыка. Ханпери раскрыла школьную тетрадку и положила ее себе на колени.

– Ну? Чего писать?

– Перво-наперво так: «Пишет тебе Сервиназ, которая любит тебя без памяти».

– Что ты! Разве так пишут! Надо вот как: «Любимый мой Нури! Нежный привет тебе из самой глубины моего тоскующего сердца».

– Ой, замечательно. Вот так и пиши, как сказала!

– А еще что писать?

– Пиши: люблю тебя безумно.

– Написала.

– А теперь так: я хочу, чтоб свадьба была теперь, этим летом.

– С ума сошла! Вас же не распишут!

– Не твоя забота. Пиши, что я говорю. Мама приведет в загс Гуллю, двоюродную мою сестру, будто это я. Помнишь, в прошлом году Буржалы дочку выдавал, вместо нее тоже сестру в загс возили.

– Как бы брат не сказал, что уж больно она разохотилась! – Ханпери усмехнулась.

– Зато он уж чересчур стеснительный! – Сервиназ усмешливо скривила губы. Потом сказала мечтательно: – Он, может, и поцеловал бы меня тогда, да этот бешеный как выскочит!..

– Кто?

– Да Аршад. Нури только хотел меня обнять, а он как тигр из-за дерева!..

– И чего? – Ханпери сделала большие глаза.

– Не знаю. Я убежала. Ты вот что еще напиши. Напиши, пускай забирает меня. А то Аршад умыкнет. Схватит и на коня! Он ведь мне проходу не дает.

– Ты тоже хороша! – сердито сказала Ханпери, откладывая карандаш. – Завидишь его, сразу хохотать. Будто я не видела. Сама приманиваешь. Сучка не захочет, кобель не вскочит!

– Глупая! – Сервиназ весело расхохоталась. – Аршад не тот кобель, что удержать можно!

– Ну уж какой он ни есть, а брату моему не ровня!

– Брат твой – цветочек! Сорви и носи на сердце! Напиши ему: Возлюбленный мой Нури! Цветок моей души! Помираю от любви к тебе, забери меня поскорее!»

Ханпери громко расхохоталась, но писала все в точности.

... Нури улыбнулся, читая это письмо, искреннее и наивное. Но в ответе своем дал понять девушке, что он человек образованный и культурный и не может, действуя обманом, расписываться с малолетней девочкой. Это вредно и с медицинской точки зрения. Почему она не хочет подождать? Подумаешь – два года. Пройдут, не заметишь. Ведь он так ее любит. А что касается этого Аршада, двоюродного ее брата, тут все зависит только от нее. Сейчас не прежнее время, силой замуж не выдают. «Не желаю» и вопрос исчерпан. Кроме того, она же обручена с другим.

По слогам разобрав это письмо, Сервиназ застряла на «медицинской точке зрения» и пошла за объяснением к Ханпери.

– Ну... Если будешь спать с мужиком до семнадцати лет, – опасливо оглядевшись, зашептала ей девушка, может быть плохо для здоровья.

– Для здоровья?!. – Сервиназ рассмеялась ей в лицо. – Научился твой братец премудростям, словам всяким непонятым. Дочке Бурджалы четырнадцати не было, когда замуж шла, я что – хуже? Растолкуй ты своему брату: Сервиназ давно уже не ребенок. И скажи ему: как это можно два года ждать?! Совесть у него есть? И еще: пусть он Аршада остерегается. Парень бешеный. Джинны-то плевать, пусть сколько хотят баранов гоняют, я на это не погляжу. Скажи ты ему: он жизнь моя! Душа моя! И гляди: не передашь в точности, чтоб тебе вековухой в отцовском доме сидеть!

– А мне что, я по мужу не помираю! Думаешь, если ты так распалилась...

А Сервиназ уже пела, приплясывая:

Дочь Гаджи забралась на коня.
Юбка в складку на ней собралась...

... Нури не придавал письму Сервиназ особого значения. Ребенок, девочка, нельзя выполнять все ее капризы. Она, конечно, хороша, нравится ему, очень нравится, но все равно в серьезных вещах ей потакать не следует. Как-никак он первый из Курдобы студент вуза и должен показывать пример в делах нравственности и соблюдения закона. Иначе чем он отличается от дикаря – Аршада? Нури уже догадывался, что в истории с джиннами и баранами замешан этот чабан. В одно только трудно было поверить – чтобы такой зверюга, такой волчище, мог, выкрав из загона четырех здоровенных баранов, целыми и невредимыми доставить их в другой загон.

Предупреждению Сервиназ насчет того, чтоб сам он остерегался Аршада, Нури тоже не придавал значения, во всяком случае вида не показал – каждый день садился на жеребца и гарцевал перед домом невесты. И когда жеребец плавной, как масло, иноходью проносил его мимо, Сервиназ появлялась в дверях и, подбоченясь, кокетливо поглядывала на нареченного. Позу эту – правую руку в бок, когда мимо проезжает возлюбленный, Сервиназ позаимствовала из известной песенки:

«Поглядите на невесту его. Как стоит, уперши руку в бок...»

Аршаду в Харамы было доложено так: «Ты что, заснул непробудным сном? Соперник твой только и знает, что каждый день красуется перед домом Сервиназ на сером своем иноходце!..»

И опять вся кровь бросилась парню в голову. Сперва он хотел сейчас же, ночью, пойти и застрелить проклятого жеребца, да жалко стало. Кобыла Гаджи, как и мать Аршадова коня, понесла его от знаменитого племенного жеребца, принадлежащего Ахмедали. Кони Нури и Аршада были братья, и оба были красавцы – на загляденье. Так что если уж убивать, лучше убить Нури. Но Аршад и Нури решил не убивать. И не потому, что боялся тюрьмы или кровной мести, а потому, что такой поступок мог унижить его. Будут потом говорить: «Девушка так любила беднягу Нури, что сопернику ничего не осталось, как только его прикончить».

Но что же делать? Сколько ни призывай Аллаха, свинья сама из проса не вылезет. На что-то надо решаться. Нельзя, чтоб дядя Айваз думал, будто он так, сдуру сболтнул: и его, дескать, убью, и Нури...

... И снова в мгlistую зимнюю ночь во дворе раздалось три выстрела – на этот раз стреляли во дворе у дяди Айваза. Стреляли из камышей по трубе его дома. Дядя Айваз сидел возле очага, потягивал чаек, когда сверху посыпалась отколотая от трубы сухая глина. Хорошо хоть казан с пловом прикрыт был крышкой. Дядя Айваз вскочил с поразительным для его возраста проворством, быстро погасил лампу. Он был уверен – стреляли где-то тут рядом. А собаки, гавкнув разок, умолкли. Стало быть, опять он, поганец! Дядя Айваз набросил на плечи диагональное пальто, сохранившееся еще с царских времен, и направился к двери. Жена бросилась было задержать его, но он строго сказал: «Отойди!» и вышел.

Остановившись у ворот, Айваз внимательно огляделся. Ничего видно не было, тьма стояла – хоть глаз коли. И вдруг совсем рядом пробежал кто-то, послышалось шуршанье камышей. А свирепый Алабаш, в ярости способный любого стащить с коня, не лаял, а тихонько сидел в углу загона. «Второе предупреждение от Аршада. Крепко парень зол на меня, хотя в человека пока не целит».

Вдруг залаяли, зашлись собаки.

– Эй, дядя Айваз! – послышался из темноты голос председателя сельсовета.

– Ты что, Севиндик? – не повышая голоса, спросил дядя Айваз – председатель был где-то рядом.

– Выдь-ка сюда!

Дядя Айваз прикрикнул на пса, и двинулся в темноте на голос.

– Добрый вечер, дядя Айваз! – председатель стоял с винтовкой в руках.

– Добрый вечер.

– Что за стрельба, а?

– А чего ты меня спрашиваешь?

– Так ведь тут где-то стреляли.

– Тут. По моей трубе метили. Глина прямо в казан посыпалась.

– Знаешь, небось, кто?

– Откуда мне знать? Враги, сучьи дети, еще не все передохли.

– Так ведь по трубе метили? Станет враг по трубе метить?

– Завтра, может, и в меня пальнет.

– Слушай, дядя Айваз, ты мне сам говорил, что Аршад с трехзарядкой ходит.

– Ну и что? Ну, есть у него винтовка. По-твоему, сын моей сестры будет мой дом обстреливать?

Так-то оно так, но председатель сельсовета, как и все в Курдобе знал, что Аршад с ума сходит по Сервиназу, а дядя Айваз обручил свою дочь с другим.

– Я чего... Я думаю, молодой он, горячий... Может, из-за девушки...

– Сын моей сестры придет меня убивать из-за девушки?

– Ты не обижайся, дядя Айваз, но ведь Аршад... Сам знаешь, никакой на него управы... Одно слово – разбойник.

– А что он такого сделал разбойного? Убил кого? На воровстве попался? И что бы там ни было, Аршад – сын моей сестры. Этим все сказано.

– Вот ты так, дядя Айваз, а люди своими глазами видели, что он сюда с трехзарядкой приходил.

– Арестуй его, раз оружие незаконное. Я-то при чем?

– Опять ты так, дядя Айваз... – Севиндик вздохнул. – Как я его арестую? Односельчанин, родня... Я думал, аксакал, образумишь парня. – Ты ему скажи, пускай тайком принесет мне трехзарядку, а я отвезу, сдам в милицию. Скажу, спрятана была в развалинах, ребятишки нашли...

– Ну не знаю... – Дядя Айваз поправил на плечах пальто. – Это как он сам. Попробуй уговори его.

Когда председатель ушел, дядя Айваз послал сына за Нарынгюль.

– Чего это на ночь глядя? – удивилась жена.

– Не твое дело! – огрызнулся дядя Айваз. – Не видишь, что ее братец вытворяет?!

– Да она-то что может сделать?

– Ладно, помолчи, ради Бога!

Вошла Нарынгюль и остановилась перед дядей, пившим чай у очага.

– Слышала, что опять учудил твой братец? – помолчав, спросил дядя Айваз.

- А что?
- Выстрелов не слышала?
- Слышала. А кто стрелял? В кого?
- Будто не понимаешь.
- Клянусь твоей бесценной жизнью, ничего не знаю!
- Дядя Айваз недоверчиво хмыкнул.
- Ну вот что, сейчас же, ночью, разыщи его и скажи пускай прекратит свои штучки.
- Нарынгюль присела перед дядей на корточки.
- Дядя Айваз! Ты же знаешь: никого он не слушает! А сейчас и вовсе обезумел, слова поперек не скажи. Ты человек мудрый, найди выход.
- А выход простой. Скажу, чтоб его в тюрьму посадили.
- Воля твоя, ты над нами старший.
- Дядя Айваз свернул самокрутку, вставил ее в мундштук, зажег...
- В тот-то раз я велел тебе передать брату, чтобы ждал, – сказал дядя Айваз после глубокой затяжки. – Почему ждать не хочет? Придумаем что-нибудь.
- Он говорит, вернет дядя подарки, буду ждать.
- А разве бараны не в загоне у Гаджи?
- Он говорит, чтоб и остальное вернули.
- Он говорит! Мало ли что он скажет! Визирь нашелся! Адвокат! Я сам знаю, что возвращать, а что – нет.
- Дядя, поверь: не откажется он от своего слова! Убей меня, если от меня хоть что-нибудь зависит. – И женщина поднялась с пола.
- Дядя Айваз понял, что дело плохо. Надо выкручиваться.
- Слушай, Нарынгюль, втолкуй этому дуболобому, пусть потерпит до лета. Только до лета.
- А летом что, дядя Айваз?
- Перекочем на эйлаг, может, чего сообразим. Если вот так сразу взять да и вернуть кольцо, перед людьми осраимся. Потому и говорю: пусть потерпит малость, придумаем что-нибудь. И еще скажи ему, дядя говорит, не чужой мне Аршад – родня; хоть мясо съем, да кости не выброшу. Если у него, у дурня, намерения были насчет девушки, чего он молчал? Ждал, пока Гаджи сватов зашлет? А раз оплошал, терпи. Скажи, дядя обещал, найдет выход.
- Какой же ты умный, дядя, дай Бог тебе здоровья! Ну все ты знаешь! Будто визирь какой...
- Ладно, ладно, иди... Иди и скажи ему, чтоб дурака не валял. Нечего малохольным прикидываться!
- Да продлит Аллах твою жизнь, дядя Айваз!
- Нарынгюль ушла. Конечно же, дядя Айваз слукавил. Недели не проходило, чтоб парень не приносил ему ночью барана. Краденых, ясное дело, из соседних отар угонял, только не из отар односельчан. Так что все дяде Айвазу было прекрасно известно: и что бараны краденые и что таскает их Аршад не за красивые дядины глаза. Баранов он принимал, но для дочки ждал свадебных подарков из другого дома, побогаче. А сват Гаджи Танрыверди – чего ж можно больше желать?..
- ... Опять Нарынгюль села на коня и отправилась к брату.
- Дядя передумал, – сказала она Аршаду. – Не будет он с Гаджи родниться. Случая ждет, чтобы вернуть подарки.
- Бессовестная! – обругал ее брат. – И ты мне подушку суешь, чтобы спал покрепче. Смотри!..
- Нарынгюль поклялась могилой матери.
- На следующую ночь Аршад угнал из отары Гаджи прекрасного барана и в ту же ночь отнес его дяде Айвазу.
- В доме спали. Аршад влез на крышу, позвал тихонько: «Шамхал! Шамхал!» Дядя Айваз проснулся, прислушался. С крыши еще раз окликнули Шамхала. Узнав голос Аршада, дядя Айваз встал, разбудил сына, спавшего на другой половине.
- Иди узнай, чего он? – шепнул дядя Айваз Шамхалу.
- Что? – спросонок парень ничего не понимал.
- Брат твой двоюродный. Во дворе.

Шамхал поспешно накинул пиджак, вышел. Аршад молча отдал ему барана и исчез в темноте.

АЙВАЗ ДЕЛАЕТ ДЛЯ СЕБЯ ВЫВОДЫ

Повсюду производили учет скота: овец, лошадей, верблюдов... Похоже, правду говорил Сурхай, будут объединять имущество. По совету Сурхая дядя Айваз все больше скота перегонял в соседние районы на продажу: баранов, телят... Украдкой перегонял, по ночам.

В последний разговор Сурхай посоветовал ему, чтоб в хозяйстве осталось не больше полсотни баранов – тогда в середняки выйдет. Полсотни баранов, один конь, один верблюд.

– Как же так? – прервав племянника, спросил дядя Айваз. – А отары Гаджи Танрыверди? А его табуны?

– Сольют вместе с имуществом бедняков. Будет общее.

– Выходит Гаджи Танрыверди сравняется с Учтога Иманом?

(Иман был самым бедным человеком в Курдобе.) Сурхай улыбнулся.

– Если Гаджи Танрыверди прировняют к Учтога Иману, считай, повезло нашему Гаджи.

– Почему? – поразился дядя Айваз.

– Потому что Гаджи кулак. Враг советского строя. А сейчас разгорается классовая борьба.

– Классовая борьба... Кулак? А что такое кулак?

– Богач. Богатый кочевник.

– А почему богатый кочевник советскому строю враг?

– Потому что разбогател он за счет таких, как Иман.

Тут дядя Айваз не выдержал.

– Да что ж Гаджи Танрыверди насильно что ль у кого добро отнимал?! Сам же заработал! Кровавым потом своим. Ни днем, ни ночью покоя не знал. Он же всю молодость свою чабанил. Батраком был!

– Сперва был батраком, потом стал эксплуататором!

– Ты все же думай, что говоришь, племянник! – Дядя Айваз достал табакерку, свернул себе самокрутку. – Он и теперь трудится не меньше любого чабана. Баранов тысячи три, а он всех наперечет знает. За каждого душой болеет.

– Вот проведем коллективизацию, и все так же будут болеть душой за общественное добро! Раз общее, значит, свое.

– Держи карман шире! – сердито бросил дядя Айваз. – Будут они болеть! Да этот Учтога Иман как дрых до полудня, так и будет дрыхнуть! А стоящие люди, хозяева, те со зла ничего делать не станут. Кому охота за лентяя пуп надрывать!

– Пойми, дядя Айваз, сознание у людей изменится. Сообразят: хочешь жить хорошо, работать надо, как следует. Дядя Айваз раскурил сигарку, затянулся...

– Бредни... Два брата родные в одном хозяйстве не уживутся: чуть на ноги встали, тотчас размежеваться хотят: тебе – твое, мне – мое. И ты думаешь, сколько есть людей в Курдобе, все соединятся и начнут вместе наживать богатство? Да у нас же кровников полно – еще от дедов-прадедов ведутся, и жулья всякого, и бездельников, как этот Учтога Иман!

– Вот что, дядя, – Сурхай нахмурился. – Ты на людях поменьше такие разговоры веди. А то и тебе солоно придется, и мне неприятность.

Тут дядя Айваз сразу сообразил. Сделал для себя выводы.

Однако он не понял: от дури это все говорил Сурхай или ему так по службе положено? И еще из этого разговора дядя Айваз извлек для себя пользу – выяснил, что очень скоро богатство уплывает из рук Гаджи Танрыверди. Как это все получится, он, конечно, не мог себе представить, но если Сурхай окажется прав, особо стремиться к родству с Гаджи смысла нет. Да и неизвестно, куда Нури определится на службу, когда окончит учение. Уедет неизвестно куда, заберет с собой Сервиназ... Какая тогда от него польза? Люди выдают дочерей, чтоб мед хватать да пальцы облизывать... И опять же разбойник этот... Носится по степи с трехзарядкой в руках, орет на всех углах, что застрелит, если дочку за него не отдам. И застрелит. Этот сорви-голова на все готов. Дядя его Кербалаи Асад наших двух молодых шлепнул из-за девушки! Еще и теперь вражда не улеглась.

И все же дядя Айваз не мог прийти к окончательному решению. Сомневался.

... Раза два в неделю Аршад ночью притаскивал барана, через трубу звал Шамхала, а дядя Айваз, просыпавшийся первым, будил сына...

Само собой разумеется, что Гаджи Танрыверди и понятия не имел об этих делах. Аршад – ночной волк, поди, уследи за ним. Нури уехал в Баку, совершенно спокойный за невесту.

А потом пришла весна. В середине апреля вся Курдоба перекочевала в Харамы. Для Аршада это было великой радостью. Не надо было топать пять верст, чтобы повидать Сервиназ или отнести дяде барана. Теперь оба они и дядя, и его дочка были здесь, рядом. Равнина Харамы ожила, заневестилась – ярким ковром покрыли ее алые маки, нарциссы и другие весенние цветы... Вдалеке мелькали стада джейранов.

Курдобинцы селились здесь родами. С одной стороны – род дяди Айваза, с другой – род Гаджи Танрыверди. И с рассвета до темноты под щедрым весенним солнцем среди поднявшихся до колен буйных трав паслись бесчисленные отары. Дальше виднелись табуны коней, неоседланные верблюды... Возле кибиток и хижин весь день хлопотали пестро одетые девушки и молодухи. Одна квасила и отжимала сыр, другая сбивала масло, третья на ручном станке ткала шерстяную материю. Мужчины тоже не сидели без дела: кто шил себе чарыхи, кто дубил шкуры под домашний сыр, кто налаживал упряжь для верблюда. Здесь, на гладкой, как доска равнине, до переселения в горы нужно было объездить гнедого карабахца дяди Айваза. Шамхал и другие парни не раз уже подступались к нему; окружив жеребца, они набрасывали на него аркан, но дальше этого дело не шло. Стоило кому-нибудь из парней вскочить коню на спину, он в ярости вздымался на дыбы и сбрасывал седока. Аршад наблюдал эту сцену, сидя возле своей хижины; сидел, ел простоквашу с чуреком. Доел, поднялся, не спеша подошел к парням, взял у Шамхала аркан, насвистывая, приблизился к пасшемуся невдалеке жеребцу и в мгновение ока набросил аркан. Конь попытался вырваться, но не тут-то было. Подбежали парни, ухватились за аркан.

– Крепче держите! – скомандовал Аршад.

Взнуздал жеребца, вскочил ему на спину...

– Пускайте!

Парни отпустили веревку. Гнедой метался, готовый все разнести в пух и прах. Он вставал на дыбы, брыкался. Аршад сидел у него на спине, как пришитый. Наконец, поняв, что этого седока ему не сбросить, жеребец метнулся в сторону и поскакал куда-то. Дядя Айваз вместе с другими аксакалами наблюдал за этой картиной, стоя на невысоком холме. И Сервиназ видела все, она сбивала масло, сидя возле кибитки. Когда бешеный жеребец умчался с Аршадом на спине, она поднялась и долго еще глядела ему вслед, пока конь с всадником не скрылись за горизонтом. Потом улыбнулась и снова принялась сбивать масло.

Прошло немало времени. Наконец на горизонте показалась какая-то точка.

– Дочка! – крикнул дядя Айваз. – Принеси-ка бинокль!

Звеня серебряными монетками, Сервиназ подала ему бинокль. (Бинокль этот, гордость дяди Айваза, еще в молодости подарил ему его старший брат Байрам.) Дядя Айваз поднес бинокль к глазам, взглянул и опустил бинокль.

– Едет, – сказал он.

Скоро конь стал виден. Жеребец скакал медленным ровным галопом. Вся спесь с него была сбита. Это был совсем другой конь.

Так закончилась для гнедого вольная жизнь. Теперь на спину ему положат седло и заставят скакать туда, куда надо всаднику.

Аршад послал Нарынгюль к Сервиназ сказать девушке, чтоб та вечером, как стемнеет, пришла в хижину Нарынгюль.

– Молодая, сочная – кровь с молоком – Нарынгюль строго поглядела на брата.

– Прийти-то она придет, да смотри не очень!..

– Ты что! Считаешь, твой брат способен на бесчестный поступок?

– Ладно, ладно! Смотри! Она дочь твоего родного дяди!

Когда стемнело, Сервиназ, оглядываясь по сторонам, тайком прокралась в хижину Нарынгюль. Нарынгюль вышла, оставив ее наедине с Аршадом.

– Здравствуй, предательница! – сказал Аршад.

– Предательница? Чего это? – Сервиназ кокетливо улыбнулась.

– Еще б не предательница! Зачем надела это кольцо?

– А что ж делать остается? – Девушка громко расхохоталась: – Двоюродный брат кольцо не шлет, пусть хоть кто чужой наденет!

И опять Аршад не совладал с собой, кровь бросилась ему в голову. Он схватил Сервиназ, прижал ее к себе, поцеловал, стиснул ей груди. Девушка тихонько вскрикнула, засмеялась. Вошла Нарынгюль, предварительно кашлянув за дверь. Аршад, разозленный, выпустил девушку.

– Жизни мне не даешь! – сквозь зубы процедил он, когда Сервиназ убежала.

– А ты рукам воли не давай. – Нарынгюль улыбнулась.

– Все равно, будем в горах, схвачу ее и увезу!

– А жених как-же?

– К чертям всяких женихов! Будет рыпаться, башку прострелю!

– Только и не хватало нам кровной мести! На сестру плевать, так ведь у тебя и брат есть. И дядя Айваз сказал, пусть, мол, Аршад не дурит, потерпит.

– С дядей каши не сваришь!

– Ишь как заговорил! Да если б не дядя, нас с тобой давно бы уж псы разорвали!

– А-а... Что он нам особого сделал? Какие его благодеяния? С тех пор как умер отец, я только и знаю овец его пасти, а Али за ягнятами ходит.

– Не скажи, Аршад. Ты за ним, как за каменной стеной. Сам знаешь, ни один вор близко не подойдет к отаре.

Аршад промолчал, сестра говорила правду.

– Это все ладно, – сказал он. – Ты одно знай: клянусь могилой Кербалаи Асада: не отдадут девушку добром – выкраду!

... В середине мая тронулись на горные пастбища. В Курдобе уже не было так много верблюдов, как прежде, но в домах среднего достатка одного-двух держали. Те, кто победней, грузили скарб на лошадь, на осла, а то и на быка. Женщины большей частью ехали на верблюдах: поперх поклажи набрасывался цветастый ковер, и женщины взбирались туда. Те, кто помоложе, украшали верблюдов, вешали им на шею маленькие зеркала.

Отары овец гнали тут же, и каждые тридцать, тридцать пять верст приходилось останавливаться для отдыха. Когда всходила луна, грузились и двигались до утра, пока не взойдет солнце. Опять делали привал, доили овец, коров, заквашивали молоко. Завтракали. Пасли коней и верблюдов и укладывались отдыхать. А вот Аршад, едва началась перекочевка, совсем потерял сон, все поглядывал на Сервиназ: как она там ходит, смеется, болтает... Наблюдал он за ней издали, тайком, чтоб никто не заметил... Углядел он и то, что дочь Гаджи Танрыверди то и дело таскает дяде Айвазу какие-то узелки, завернутые в цветастую тряпку. Аршад из себя выходил: это ж надо! Сам говорит, раскаялся, раздумал дочь выдавать и сам от них гостинцы принимает! Ну и жадина ты, дядя Айваз!..

– А ты зря злишься, – пыталась урезонить его сестра, – раз кольцо не вернули, должен пока и подарки принимать, и гостинцы.

– Не будет он ничего возвращать. Врет он. Надуть меня хочет. Решил кольцо вернуть, чего ждать? Когда у верблюда хвост до земли достанет?

Но хоть Аршад и бесился, однако не забывал доставлять дяде Айвазу то ягненка, то барана: он подстерегал добычу на ночных перегонах.

– Ладно! – твердил он. – Пускай дядя хитрит, пускай хоть на небо вскарабкается, все равно Сервиназ – моя!

Сервиназ замечала чужих баранов, появляющихся среди ночи, и была горда этим. И Аршад чувствовал себя героем, ему было одно удовольствие угнать барана у какого-нибудь толстосума вроде Гаджи Танрыверди. Одно плохо – стоило Аршаду вспомнить, как этот хлюпик Нури выхватил у него дубинку, забросил ее в кусты и одним ударом кулака свалил его на землю, он готов был помереть со стыда. «Как же так? – не переставал он дивиться. – Как этот тощий хиляк сумел уложить меня?»

Без конца размышляя над этим вопросом, Аршад пришел к выводу, что Нури применил какой-то трюк. Он слышал, в городе есть специальные люди – обучают драке со всеми трюками. Но ничего! Он не кто-нибудь. Он Черный Аршад, родной племянник Кербалаи Асада! Они еще сквитаются. Надо было сразу, как подошел, разбить ему дубинкой башку. Чтоб, как арбуз, лопнула! Раскис, слабину дал. Хорошо, хоть она не видела. А куда же он все-таки влепил, чтоб так, сразу, с копыт долой?

Иногда Аршаду вдруг приходило в голову, что этот чертов Нури может взять и нахвастать парням. И он все время напряженно прислушивался к разговорам. Но нет, похоже, никому не сказал, давно бы уж слух пошел. А если пойдет такой слух, Сервиназ на него и плюнуть не захочет. Больше всего хотелось Аршаду подстеречь Нури ночью и застрелить его. Но он понимал, что это бесчестно, мужчина не станет стрелять из-за угла. Впрочем, пораскинув умом, Аршад вообще отказался от мысли убить Нури. «Он же не прикончил меня тогда. А запросто мог всадить в живот мой же кинжал – я ведь без памяти валялся. Ищи потом виноватого. Тутовник вон он какой густой, никто ничего не видел. Нет, я его не убью. Я должен такое ему устроить, чтоб в тыщу раз хуже бесчестного его удара!»

...Борьба с кулачеством ширилась. Прошел слух, что в некоторых районах уже проходит коллективизация. Кулаков, таких, как Гаджи Танрыверди, облагали огромным налогом. В горах появились группы гачагов, в большинстве своем состояли они из кулацких сыновей, отцы которых в свое время припрятали оружие. Немало оказалось в этих отрядах и просто бесшабашных парней, которым только бы пострелять дали. Поскольку народ весь был на эйлагах, гачаги тоже ушли в горы. Они нападали на деревни, требовали выдачи коммунистов. Люди не выдавали их, а если у коммунистов оказывалось оружие, обычно завязывалась перестрелка. Правительственные отряды, организованные для борьбы с кулацкими бандами, шли за ними по пятам.

В горах только-только наступила весна. Под ярко-голубым небом на склонах и по обочинам благоухали цветы. И это праздничное многоцветье, дурманящий аромат сводили с ума томящегося любовью Аршада. А даль горизонта, горы, вздымающиеся ввысь гордые укутанные снегом вершины, глубина бездонных ущелий – все звало его к подвигу. Аршаду не терпелось свершить что-то необычное, и эта неутоленная страсть к свершению, не давая покоя, еще больше горячила ему кровь. Сервиназ сводила его с ума, он не отрывал от нее глаз, ему хотелось петь, как пел Керем из дастана об Асли и Кереме. Дастан этот Аршад слышал лет пять назад – его пел на свадьбе ашуг и сейчас он все думал о Кереме, невольно уподобляя себя герою дастана. Впервые услышав дастан, Аршад не поверил, что такое бывает. Чтоб ханский сын влюбился в дочь армянина-священника, чтоб стал бродягой, бросив отчий дом!.. «Тоже мне! Ханскому сыну девушки не нашлось в родной деревне!» Но сейчас, когда он тосковал по Сервиназ... Сейчас Аршад поверил, что бывает и так. Он глядел на цветущую степь, сияющую под весенним солнцем, на вершины гор, затянутые туманной дымкой, и вздыхал. Да, вздыхал. И сам не мог понять, почему вздыхает. Может, эти затянутые туманом вершины говорили ему, что мечты о Сервиназ – пустые грезы, обман...

Председатель остался в Курдобе, а больше Аршад никого не опасался и открыто бродил по горам со своей трехзарядкой. Он еще потому не расставался с винтовкой, что на эйлаге то и дело появлялись гачаги. Но, отправляясь на скачки в Алтын-Тахта, Аршад оставил винтовку дома.

КАК ВСТРЕТИЛИСЬ НА СКАЧКАХ КОНИ-БРАТЯ И КАК АРШАД УДАРИЛ НУРИ КИНЖАЛОМ

Приехав на своем породистом жеребце к месту скачек, Аршад сразу увидел среди наездников Нури. Серый жеребец под ним хорош был необыкновенно. Аршад окинул коня восторженным взглядом и почувствовал гордость. Гордость от того, что собственный его жеребец приходится родным братом этому красавцу. Даже злобу свою забыл на мгновение, какое-то странное чувство вдруг охватило его, ощущение родства, кровной близости. Но вот он посмотрел на всадника, и все его добрые чувства тотчас улетучились. Ноги Нури облегали сафьяновые сапожки, рубаху подпоясывал тонкий кавказский ремешок с золотым язычком на конце, папаха чуть расширявшаяся кверху, была из лучшего каракуля. Ярость овладела Аршадом. Обернувшись, он стал рассматривать собравшихся на скачки девушек и увидел Сервиназ. Девушка была в кофточке из алого канауса, серебряная застежка блестела на солнце.

Смотреть скачки собрались и мужчины, и женщины, и старики, и дети. А вот дяди Айваза видно не было – он не хотел встречаться с Гаджи. Если б они увиделись, дядя Айваз неминуемо должен был бы вступить с Гаджи в разговор, а это наверняка взбесило бы Аршада. Если же Айваз не подошел бы к Гаджи, не заговорил бы с ним, того взяло бы сомнение.

Алтын-Тахта – Золотая доска – долина меж двух рядов гор, тянулась до самого горизонта. Сплошь покрытая свежими цветами, усеянная алыми маками, она благоухала. Воздух был напоен ароматом степной мяты. А над головами наездников сиял бесконечный, прозрачно-голубой купол неба. Шестнадцать отборных коней выставила на скачки Курдоба. Ахмедали, широкоплечий парень, скакавший на знаменитом Бозате, скомандовал:

– Готовьтесь, ребята!

Всадники выстроили коней в шеренгу. Ахмедали достал из-под пиджака старый наган, вынул его из кобуры, выстрелил, и кони, сорвавшись с места, пулей ушли вперед. По мере того, как удалялся конский топот, росло волнение толпы. Постепенно одни всадники стали уходить вперед, другие отставали. Наконец впереди всех оказалось четыре наездника: Нури, Ахмедали, Аршад и пятнадцатилетний сын Гаджи Касума – одного из богатейших владельцев отар. Какое-то время все четверо шли ухо в ухо. Потом стал отставать Ахмедали. За ним приотстал мальчик. Теперь два врага: Нури и Аршад скакали рядом, одни в целой степи. Оба молчали. Смотрели только вперед. Но вот долина кончилась, переходя в ущелье. Тут всадники всегда поворачивали коней. Но сейчас кони не повернули. Они скакали по тропе, по камням, по склону, ни на шаг не отставая друг от друга. Скакали рядом два коня-брата, два всадника-врага. Правда, Нури не испытывал к Аршаду враждебного чувства. Ему даже нравилось скакать вот так, ухо в ухо, нравилось, что жеребцы идут вровень, а красное, искаженное яростью лицо Аршада только забавляло его, и Нури улыбался. И Аршад видел, что Нури улыбается, и все больше и больше свирепел. И вдруг на всем скаку перелетел на коня Нури, обхватил всадника сзади, и, сдавив ему горло, вместе с ним повалился с коня. Оба сильно ударились, но Аршад, как волк, не выпускал глотки врага. Одной рукой продолжал сжимать его горло. Аршад кулаком молотил противника. Нури был слабее, и как он ни трепыхался, выбраться из-под Аршада ему не удавалось. Но Аршаду и этого было мало. Выхватив из-за пояса кинжал, он несколько раз пырнул им Нури, метя, правда, в неопасные для жизни места. Потом вскочил с земли, вспрыгнул на жеребца, спокойно стоявшего рядом с родным своим братом, и умчался. Сейчас, когда долгожданная месть состоялась, дикая скачка приносила Аршаду невыразимое наслаждение.

... Когда парни из рода Гаджи Танрыверди, почуяв недоброе, вскочили на первых попавшихся неоседланных коней, и помчались вслед за соперниками, они нашли Нури без сознания.

И сразу же началась перестрелка. Последние пять лет ни у кого вроде бы не было оружия, а тут в горах поднялась такая пальба!.. За кибитками Гаджи Танрыверди начиналось неглубокое ущелье. Зная, что его ожидает, Аршад забрался на противоположный его склон и укрылся за обломком скалы. Парни из рода Гаджи обстреливали все вокруг. Аршад лишь изредка выпускал пули. Кое-как аксакалы сумели уговорить парней прекратить стрельбу. Только Фархада и племянника Гаджи – Юсифа никак не могли вытащить из укрытия. Они беспрерывно обстреливали ложбинку, в которой засел Аршад. Наконец старый Мустафаоглу, кое-как урезонив парней, привел их домой.

В большой кибитке Гаджи Танрыверди собрались аксакалы. В расположенный неподалеку Горис послали за врачом. Гаджи сидел молча, глядел в одну точку.

– Гаджи, – заговорил Мустафаоглу, – молодые они, кровь играет, сами не понимают, что творят. Мы-то в молодости – помнишь, небось почище штучки откалывали. Сын твой, слава Аллаху, вне опасности...

Мустафаоглу не был богатым человеком, но пользовался всеобщим уважением, и к словам его нельзя было не прислушаться.

– Не допусти, чтоб мальчишки затеяли кровную вражду, – сказал Гаджи Касум, самый богатый среди собравшихся.

– Аксакалы не должны допустить, чтоб мальчишки из их рода вытворяли все, что хотят! – Это не утерпел Юсуф, племянник Гаджи Танрыверди, задира и лучший стрелок в Курдобе.

Всем было ясно, куда брошен камень. Помолчали.

– Надо быть справедливым, – сказал Мустафаоглу. – Айваз много раз пытался образумить племянника.

– Это верно, – согласился Гаджи Касум. – Не слушает он никого. Не хуже покойного Кербалаи Асада. Бешеный какой-то парень...

– А бешеный – проучить надо! – воскликнул Юсуф.

– Бешеному – пять пуль в башку! – поддержал его Фархад.

– Сотворил парень глупость... – Гаджи Касум махнул рукой. Дело в том, что Гаджи Касум приходился родней и Гаджи Танрыверди, и Айвазу, и положение у него было сложное.

А Гаджи Танрыверди все молчал, ни на кого не глядя. Он размышлял, что предпримет теперь Айваз. Как выйдет из положения? Гаджи прослышал, что Аршад влюблен в девушку, из-за этого все и пошло. Но только... Гаджи просто не мог себе представить, чтоб такой человек, как Айваз, согласился выдать дочь за голодранца. Даже, если голодранец – сын покойной сестры. И потом этот сорвиголова и без того родственник Айвазу, какой же расчет с ним родниться?

Когда посторонние ушли, Гаджи Танрыверди позвал сына, племянников и строгонастрого наказал не затевать кровной вражды.

Фархад, покраснев от гнева, хотел возразить, но, взглянув на холодное, замкнутое отцовское лицо, отвернулся и промолчал.

Парни поняли Гаджи так: убивать нельзя, а в остальном – ваша воля. И стали выжидать случая, чтоб подстеречь кого-нибудь из ставшего теперь враждебным рода, любого, кто попадет в руки, и всыпать для острастки. Самого-то Аршада не подловишь – волк степной, один глаз и во сне глядит.

Председатель сельсовета оставался в эти дни в Курдобе, а представитель районных властей был в это время на других эйлагах. Наутро, после того, как Аршад порезал Нури, этот самый представитель и несколько ответственных партийцев приехали на эйлаг и остановились в кибитке Ибрагима, члена сельсовета. Ибрагим и прежде, и теперь был человеком бедным, но он был неглуп, боек на язык и тем мог быть полезен. С первого же дня установления советской власти он каждый раз избирался членом сельсовета. Избирали его еще и потому, что Ибрагим был человек не зловредный, секретов деревенских не выдавал. Так было и на этот раз. Сколько ни бился с ним представитель районных властей, пытаясь узнать, что же случилось на скачках, ничего путного добиться не смог. Ибрагим считал, что и говорить-то не о чем.

– Есть о чем толковать! – Он небрежно махнул рукой. – Повздорили двое мальчишек, слово за слово, ну и поцарапали друг друга...

– Поцарапали!? – удивился представитель. – Я слышал, серьезные ножевые ранения.

– Брехня! – Ибрагим покачал головой. – Не веришь, других спроси. Позови аксакалов.

– Ладно, – подумав, сказал представитель. – Собери людей, скажи у меня к ним разговор.

– Это запросто! – с готовностью ответил Ибрагим. – Вы тут пока с завтраком управляйтесь, а я мигом. – И обернулся к двери, за которой – он знал – все время торчит жена. – Эй, кто там! Принесите гостям поесть!

... Жители Курдобы собрались на небольшой площадке у родника.

– Салам! – подходя, приветствовал их районный представитель. – Алейкумсалам! – хором ответили собравшиеся.

– Как дела? – спросил представитель. И снова все ответили хором.

– Хорошо!

А Мустафаоглу добавил:

– При советской власти полный порядок. Волк с ягненком вместе пасутся.

– Ну это ты брось! – представитель улыбнулся. – Волку с ягненком вместе не пастись!

Но Мустафаоглу был мужик не промах, знал, что где сказать.

– Когда власть за бедняков, пусть волчьи зубы хоть из стали будут, ничего он не сделает!

– Правильно! Это так! – вразнобой подтвердили собравшиеся.

– Так, значит, так, – согласился представитель. – А что у вас тут за история вышла на скачках? Я слышал, порезали друг дружку парни?

Старый Бурджалы-киши, в молодости прославившийся бесконечными драками, вынул изо рта длиннющий чубук, сплюнул в сторону и спросил:

– Это какой же сукин сын набрехал?

– Не было такого, – сказал другой старик.

– Что ж, ни с того, ни с сего станут слухи распускать? – настаивал представитель.

– И станут, – сказал Бурджалы-киши. – Запросто. Язык-то без костей, сволочей на свете хватает.

Парни засмеялись.

– Глупость это все, – заметил Мустафаоглу. – Поцарапались, подрались мальчишки. Ну и что?

– А где они эти парни? – спросил представитель.

– Где им быть? С отарами ушли.

– А можно их сюда вызвать?

– Где ж ты искать будешь? – Ибрагим укоризненно взглянул на представителя. – Поди обойди все ущелья!

И тут подал голос дядя Айваз. Все это время он сидел молча, скрестив перед собой ноги, и курил.

– Товарищ! – сказал он. – Без ссор у людей не бывает. Всякие есть: и задиры, и драчуны, и упрямы. Да если поискать, среди вот этих людей – он показал на аксакалов – любой чуть не по сто раз с соседом ссорился. И ссорились, и за ножи хватались. А потом мирились.

Бурджалы-киши снова вынул чубук изо рта.

– Будь я на месте властей, я б этих мерзавцев, что слухи всяческие разносят, сразу в кутузку. – Он сплюнул. – Чего воду мутят? А то люди сами не разберутся!..

Гаджи Танрыверди не произнес ни слова. Представитель был человек опытный, он давно уже все понял, понял и то, что кочевники не станут выдавать виновных – достаточно он знал их нравы.

– Вот что, – помолчав, сказал представитель. – Случится что, потом неприятность будет. Есть раненые, скажите, хотя бы врача пришлем.

– Да не забивай ты себе голову! – сказал один из стариков, и слова его прозвучали убедительно. – Не будет у тебя с этим хлопот.

Представитель улыбнулся. Он понял, как ни верти, придется уезжать ни с чем.

Гаджи Танрыверди не сказал Айвазу ни слова. Айваз понимал, что означает это молчание. Да и что ему теперь сказать, с каким лицом подойдет он к Гаджи, будь проклят этот Аршад?! Уж Бог с ним, с родством, – выйдет, не выйдет – но ведь Аршад племянник его, он за него жизнью своей в ответе. И все-таки, если хотите знать, дядя Айваз не очень негодовал на племянника. В глубине души он был даже доволен поступком Аршада. Да, да, пусть знают. Пусть вся Курдоба знает, что в роду Кербалаи Ибихана не перевелись настоящие удальцы. Пусть и Гаджи почувствует, что потомки Кербалаи Ибихана не мокрые курицы. Дочке тоже легче будет в их доме, сможет высоко держать голову. Попробуй-ка обидь женщину, если у нее такая родня!..

В ту же ночь, в сплошном тумане Аршад принес на плечах здорового барана и, встав за кибиткой, позвал Шамхала. И снова дядя Айваз, проснувшись первым, разбудил сына: «Пойди, взгляни, чего он там».

И снова Аршад, не сказав ни слова, отдал парню свою ношу и исчез в тумане. Шамхал внес барана в кибитку, прикрыл дверь паласом. Дядя Айваз сел в постели, зажег семисвечовый фонарь. Шамхал свалил барана у очага, прирезал, освежевал. Дядя Айваз легонько толкнул спавшую Заравшан. Женщина приподнялась на локте, взглянула на слабо светивший фонарь, потом – на баранью тушу, ни слова не спросив, встала, принесла поднос и положила на землю возле барана.

Дядя Айваз набросил на плечи диагональное пальто, и, сидя в постели, поворошил в очаге угли. Из-под пепла сверкнули тлеющие угольки. Дядя Айваз подбросил в очаг кизяка и сухого бараньего помета. Кизяк сразу занялся, и очаг стал понемногу разгораться. Заравшан молча поставила на огонь медный казан и так же молча положила в него нарезанное кусками мясо, а дядя Айваз, сидя на постели, помешивал в казане деревянной ложкой.

Когда бозартма была готова, Заравшан растолкала двух младших сыновей, потом Сервиназ. Едва мальчишки почуяли мясо – сна ни в одном глазу, а вот дочка от мяса отказалась:

– Не хочу, – сказала она и отвернулась.

Девушка сразу поняла, что барана принес Аршад. А на Аршада она была так зла, так зла – голову готова была ему оторвать. Искромсал как лапшу, такого парня: красивого, нежного!.. Сервиназ снова завернулась в одеяло, но сон бежал от нее. Да она и не дотронется до этого мяса! «Бедный Нури! Врач сказал, что поправится, а все-таки... Вот, Нури, какой он бешеный, чтобы он пропал, я же не зря говорила... Я знаю, это он все из-за меня, только ничего у него не выйдет! Живая, мертвая, я твоя, Нури! Скорей поправляйся, забирай меня! Скорей!»

... Стоило кому-нибудь упомянуть имя Нури, сердце Сервиназ таяло, становилось совсем маленьким, крошечным и ей хотелось плакать от счастья. Мотыльком порхала бы она вокруг него!.. С утра до вечера крутилась она возле своей палатки, не заходя внутрь, потому что знала: Нури, так как он лежит, видит ее. Каждый день, встречая у родника Ханпери, Сервиназ расспрашивала ее о здоровье брата. И Ханпери говорила ей, что Нури поправляется, и что, облокотившись на подушки, весь день смотрит в их сторону.

Когда девушки отправились собирать зелень для довги, Ханпери тайком передала Сервиназ маленькую фотокарточку. Девушка взглянула на нее – «О, боже!» – с фотокарточки размером со спичечный коробок на нее смотрел Нури. Смотрел и улыбался. ...«Какой красавец! А как разодет!..»

Сервиназ поцеловала карточку и сунула ее за пазуху. И даже прослезилась от умиления.

– Передай брату, – сказала она Ханпери, – пусть весь мир вверх дном перевернется, только за него пойду!

... Дядя Айваз в сопровождении Мустафаоглу и Бурджалы-киши отправился к Гаджи Танрыверди.

Когда собаки залаяли, Гаджи подошел к двери, сказал сыновьям:

– Придержите собак!

Фархад прикинулся, что не слышит, свернул за кибитку. При виде дяди Айваза он чуть не лопался от злости – не мог он простить этому человеку, что его племянник совершил нападение на его старшего брата.

Гости подошли ближе, поздоровались.

– Алейкумсалам! – сдержанно ответил на приветствие Гаджи и жестом пригласил войти. Когда гости расселись на шелковых тюфячках, разложенных на кошке, слуга принес чай.

Про Гаджи можно было говорить разное, но никто бы не стал отрицать, что он человек гостеприимный; большой никелированный самовар всегда был у него наготове. Из Гориса он велел привезти древесного угля, из Шуши – чаю и сахару. Чай у кочевников был тогда еще редкостью, и угощение, начинающееся с чаепития, свидетельствовало об особом уважении.

Долгое время все молчали. Первым заговорил Мустафаоглу.

– Ты, Гаджи, человек бывалый, мудрый... Ну, случилось. Слава Аллаху, мальчик уже поправился (Нури стал выходить из кибитки). Прости сына Таптыка, отпусти ему его вину.

– Сам Аллах велел нам прощать врагам нашим, – заметил Бурджалы-киши, вынув изо рта трубку.

– Гаджи, – заговорил наконец дядя Айваз, – Аршад мой племянник, сын родной сестры, я за него ответчик. И хорошее, что сделает, и плохое – мне от ответа не уйти. Убьет он завтра кого, кровники мне мстить станут. А раз я в ответе, я перед тобой винюсь.

– Это все лишнее, что ты сказал, Айваз, – с достоинством заметил Гаджи. – Раз вы пришли к моим дверям, будем считать дело конченным.

– Это так, – кивнул головой Бурджалы-киши. – От твоей двери не солоно хлебавши не уходят.

А Мустафаоглу добавил:

– Да хранит Бог твоих сыновей, Гаджи!

И тут произошло нечто, несказанно удивившее аксакалов.

Вошел Нури – голова непокрыта, на плечи накинут пиджак, поздоровался, и, скромно сев в уголке, сказал улыбаясь:

– Дядя Айваз! Вы не беспокойтесь. И Аршаду скажите, зла на него не держу. Я же не с неба свалился, здешний, у нас такое случается. Ведь я понимаю, что Аршад мог бы и убить меня, но не стал этого делать. Кровь бросилась в голову, вот и накуролесил...

Да... Впервые слышат такое эти выдавшие виды старики.

Чтобы двадцатилетний парень вот так с улыбочкой говорил о человеке, который сбросил его с коня, поранил, опозорил. Виданное ли дело! И ведь не кто-нибудь, сын Гаджи Танрыверди! Другой-то вон он – ни в какую! Аксакалы приметили, как нарочито непочтительно ушел за кибитку Фархад, не пожелавший даже поздороваться с гостями. Ничего. Если старшие помирились, младшие и пикнуть не посмеют. Айваз с двумя аксакалами явился с повинной к Гаджи Танрыверди, и хорошо, что явился. Парень, слава Аллаху, встал на ноги, можно и забыть обиду.

Гюльгез, женщина уважительная, сообразила сразу и мигом приготовила вкуснейшее угощение. Положила в мясо корицу, перец, травы. Ей было хорошо известно, что Айваз неравнодушен к мясу с пряностями.

Гости с удовольствием поели. Потом снова принялись за чай.

Когда они отбыли, Гаджи велел позвать своих молодых родичей.

– Люди пришли к моим дверям, – сказал он. – Айваз повинился, значит, все. И перестаньте таить злобу.

Парни молчали, но Фархад – и это было видно – никак не хотел смириться.

– Поговори с ним, – шепнула Гюльгез мужу. – Втолкуй ему, не хочет парень мира.

Гаджи окинул взглядом Фархада, такого же тонкого, высокого, светлолицего, как старший брат, подозвал его.

– Смотри, никого не задевай из рода Кербалаи Ибихана. Не сегодня-завтра девушка из их рода станет невесткой в нашем доме.

– Слушай! – не выдержав, вскрикнул Фархад. – Девушка придет в наш дом невесткой. Ну и что? Нам ходить оплеванными!

– Я же сказал, – Гаджи недобро глянул на сына, – повинную голову меч не сечет!

Спорить с отцом Фархад не осмелился, только глазами сверкнул исподлобья. Нури отвел брата в сторону.

– Аршад сквитался со мной, понял?

– Как это так – сквитался?

– Ну, я ему, он – мне.

- А что ты ему такого сделал?
- Дал кулаком в висок, он и свалился без памяти.
- Когда ж это было? – Фархад чуть заметно улыбнулся.
- Да еще там, в селе. Когда на каникулы приезжал.
- А за что ты его?
- Сам полез. Дубинкой на меня замахнулся, голову хотел проверить на прочность. – Нури засмеялся.
- Неужели ты этого бугая свалил? Когда у него в руках дубинка, к нему лучше не подходить. Значит, упал без памяти? Ха, ха! А на скачках чем ты ему насолил?
- На скачках я ни при чем – целиком его инициатива. – Нури опять весело рассмеялся. – Но знаешь, если б я мог предположить, ничего бы у него не вышло. Я просто не ожидал...
- Ну, этот не предупреждает. Хвать сразу – как волк. А если ты теперь встретишь его один на один? Ничего ему не сделаешь?
- А зачем? Помирились же.
- Дело твое, конечно. Только, если он мне попадется в руки, я его живым не выпущу!
- Не надо, Фархад. Отец его простил, я простил, значит, и тебе придется.
- А ты в городе чудной стал, – Фархад презрительно скривил губы. – Будто первоклассник какой. Скинули человека с коня, изрезали, как барана, а он только посмеивается! Как людям в глаза смотреть?
- Нуру громко рассмеелся.
- Ты что, брат, хочешь, чтобы я снова пошел с ним драться?
- С чабаном?! С голодранцем?! Биться на равных?!
- Тебе прекрасно известно, что сейчас у нас советская власть, власть этих самых – как ты говоришь – голодранцев. А кроме того, не сегодня завтра коллективизация дойдет и до нас, имущество объединят, и между тобой и Аршадом не будет уже ни малейшей разницы.
- Болтовня! Не может такого быть!
- Еще как может. В нескольких районах уже созданы колхозы. Я без конца говорил отцу: продавай отары, увезу вас в Баку, устройся. Не понимает.
- А как он это может понять? А что ему там делать, в Баку? Трудился всю жизнь, нажил добро, а теперь бросить все и бежать? И так уж сколько баранов продали, чтоб налоги эти проклятые заплатить!..
- Налоги... Что там налоги. Скоро такое начнется!.. Классовая борьба разгорается с каждым днем, а власти не на стороне отца, а на стороне голодранцев. А вы не хотите этого понимать: ни ты, ни отец. Схватитесь – поздно будет. Да еще сейчас, в такой обстановке вражду затевать с бедняками. Вот ты вчера отлупил мальчишку Иманверди за то, что десяток его овец зашли на наше пастбище. Не соображаешь, что творишь!
- А что я по-твоему должен творить? Кучу денег отвалили за это пастбище, и пусть там пасутся барашки Иманверди!? Он же бедный, он неимущий!..
- Да, братец, с тобой не столкнешься. Ты просто ничего не желаешь понять. Плохо будет, если ты не поймешь, что происходит.

... Аршад тоже ничего во всем этом не понимал да ни о чем таком и не думал. У него была одна забота: увезти Сервиназ. Аршад даже не представлял себе, до какой степени он сейчас ненавистен девушке и как его желанная увлечена «борзым кобелем», который, по мнению Аршада, достоин только презрения. Не знал, что когда Сервиназ думает о Нури, слезы навертываются ей на глаза, а стоит ей увидеть Аршада, широкоплечего, краснощекого с пылающими глазами, ей хочется броситься на него, избить, изуродовать!.. А вот по ночам... По ночам Сервиназ почему-то все время вспоминала этого проклятого Аршада, снова и снова представляя себе, как он схватил ее тогда, как поцеловал, и воспоминание это жгло ее огнем, не давая заснуть...

Аршад тоже прослышал, что скоро будут соединять в одно хозяйство имущество разных людей, богатых и бедных. Говорили, что кое-где это уже сделано. Вот бы в Курдобе устроить такое!

Аршад не был завистлив, он не томился по отарам и табунам, само по себе богатство было ему ни к чему. Но его задевало, что сынок Гаджи так прекрасно одет, и каждый день может менять коней. Кроме того, о Нури говорили: «Это сын самого Гаджи Танрыверди». А что могли сказать про Аршада? «А этот? Сын какого-то сеида-не сеида... С того берега. Про род его ничего не известно». Ладно, он показал этим зазнайкам, каких сыновей рожают наши матери! Чем отцом-дедом хвастаться, собой похвастайся, заморыш!

Аршаду доставляло теперь особое удовольствие в ночном тумане уволочь барана из загона Гаджи Танрыверди, уволочь, зная, что его будет есть Сервиназ. Покражи эти оставались безнаказанными. Они с Гаджи были соседями, собаки знали Аршада и-об исчезновении баранов становилось известно лишь днем, когда пересчитывали отары.

Род Гаджи был большой, сильный, горячих голов в нем хватало, а потому Аршад все время был настороже, не очень-то веря в примирение. Он дал своему брату Али наган (наган этот Аршад получил от теклинцев, когда те украли у него барана) и велел быть начеку.

– Эти ребята из рода Гаджи зазнались. Прямо лопаются от спеси – еще бы – столько скотины!.. Если уж очень зарвутся, пальни в башку да и все. Обнаглели, сукины дети! Забыли, видно, что мы из рода Кербалаи Асада!

... Как-то раз, оставшись в кибитке наедине с мужем, Гюльгез завела такой разговор:

– Слушай, Гаджи, не дело получается. Никак твоего старшего сына не уговорю.

– А чего он?

– Не хочет свадьбу устраивать. Года, девушке, дескать, не вышли. И потом, говорит, не могу я жениться, пока учебу не кончу. Уперся и ни с места.

– Да... – помолчав, задумчиво произнес Гаджи. – Последние времена настали. Слово старшего никакого веса не имеет. Он что ж, не понимает, что не кончится это добром. Племянник Айвазов, он же настоящий разбойник, дядьке с ним не управиться. Как-нибудь ночью схватит девку и был таков!

– И это ему каждый день твержу. А он знай свое, в шутку переводит. Если, говорит, девушка меня любит, она ни добром, ни увозом за другого не пойдет.

– Слюнтяй! – не выдержал Гаджи. – Растяпа! И в кого он такой уродился?!

– Ну, Гаджи, как ты можешь?.. Наш Нури такой... А ты на него – растяпа!

– А не растяпа, не молот бы чушь! Кто это с девичьими капризами считаться будет! Думаешь, этот злодей, сын Таптыка, спрашивать ее будет, любит, не любит?

– И это сказала ему. Говорит, в загсе спрашивают. Я ему: кто ж это, мол, ее в загс повезет? У них в роду и восемнадцатилетних девушек хватает. Все без толку!

– Поехал, проучился без году неделю, и ему теперь Курдоба это Фитильберг! Умыкнет этот черт девку, а мы в дураках останемся! Ведь позору не оберешься. Простых вещей не понимает!

– Может, ты попробуешь ему втолковать?

– Да ты что! Видно и сама свихнулась. Чтоб я, отец, пожилой человек, о свадьбе с мальчишкой судачил!..

... Кончилось дело тем, что Нури, наотрез отказавшись жениться этим летом, уехал в Баку. Перед отъездом он написал своей невесте письмо:

«Милая, прекрасная Сервиназ!

Каникулы мои кончились, и я уезжаю в Баку. Буду писать тебе оттуда письма. Надо ждать еще три года, пока тебе можно будет выйти замуж. А поэтому не спеши, все хорошенько обдумай. Может, тот, кто нравится тебе теперь, через три года разонравится. Было бы очень хорошо, если б эти несколько лет ты смогла учиться. Не очень-то в этом слушай родителей. Теперь новая жизнь, и порядки тоже новые. Ты мне очень нравишься. Я тебя люблю. И если ты согласна ждать, мы обязательно поженимся.

А пока до свидания, прекраснейшая из Курдобы!»

Когда Ханпери прочитала Сервиназ письмо брата, девушка только ахнула:

– Три года! – Потом помолчала и спросила обиженно: – И что он за парень, твой брат? Другие в четырнадцать лет забрать готовы, а этот хочет, чтоб его суженая сидела, как куль с мукой, да старилась в отцовском доме. Сестренка, милая, напиши ему! Напиши, что не может Сервиназ ждать три года! Да и кто мне даст три года ждать? Напиши ему, что Аршад, как распаленный жеребец, от дома нашего не отходит. Выкрадет он меня! Вырвись потом из его лап! Напиши брату: сердце мое кровью исходит от любви к нему! Напиши: не то что три года, год, месяц ждать не могу! Пусть скорее заберет меня! Не могу я ждать!

... Когда Аршад услышал, что Нури вернулся в Баку, у него будто гора с плеч свалилась. Но, видя, что дядя Айваз не мычит, не телится, Аршад понял, что тот хитрит.

– Вы мне все зубы заговариваете! – упрекал он сестру. – Потерпи, дядя хочет за тебя ее выдать!.. Хочет выдать, почему подарки не вернул? Почему не покончит с ними счеты? Гаджи ему каждый день гостинцы шлет: мясо, пендир, сливки – что, я не вижу? – а он ничего, берет, как миленький! Дурит он мне голову!

Но сестра все уговаривала Аршада, все твердила ему, что дядя мудрее их, все рассчитал, все хочет сделать по порядку, чтоб комар носу не подточил.

«По порядку! – злился Аршад. – А когда это будет – по порядку. Когда у верблюда хвост до земли отрастет?!»

И правда, дядя Айваз застрял: ни туда, ни сюда. И от Гаджи отказаться жалко, и Аршаду отказать невозможно. Главное – он несколько не сомневался: еще немного, и Аршад может запросто застрелить его. Если бы он не знал его бешеного нрава, сказал бы свату: «Твой сын хочет, чтоб девушка подросла несколько лет, берите нареченную в свой дом, пускай у вас и живет».

... Гаджи тоже не торопился порвать с Айвазом несмотря на выходки его племянника. И тому были веские причины. Чувял Гаджи, что грядут тяжелые времена, что богатым людям скоро станет невмоготу. Налогами задавили, а кое-где уже и колхозы заводят. И Гаджи, всегда такой самоуверенный, невозмутимый, спокойный, растерялся. Виду он не показывал, но ни днем, ни ночью не знал покоя. Сперва он надеялся, что его не тронут, ведь всем известно, что не награбленное у него добро, не от отца в наследство досталось, сам нажил, своим горбом. Он пытался расспросить у Нури, как же все получается, но тот твердил одно: «Ты кулак. Враг нового строя».

– Чем же я ему навредил? Советская власть – власть трудовых людей. Я что – мало трудился?

– Трудился. Но теперь – так считает советская власть – ты перестал быть трудовым человеком, эксплуататором стал, господином. На тебя другие работают.

– Это я – господин? – Гаджи горько усмехнулся. – Сам знаешь: сплю, не раздеваясь. День и ночь с отарами.

Нури сознавал, что отец не в состоянии уяснить происходящего, и потому коротко сказал:

– Это все не имеет значения. Ты кулак, а мы кулацкие сынки!

– И вы виноватые вышли? Ваша-то в чем вина?

– Только в том, что твои дети.

Ничего не понимая, Гаджи молча смотрел на сына.

И сразу стал прикидывать, что сейчас особенно важно поскорей породниться с Айвазом. У него племянник на государственной службе, большой человек. Из района приедет кто, все у Айваза останавливаются. Торопить надо сына со свадьбой.

Но больше всех хотела этой свадьбы Гюльгез, ей не терпелось, чтобы дочка Айваза стала ее невесткой. До сих пор не могла она равнодушно видеть этого человека, рана в сердце не заживала. Не старая ведь была женщина. Румяная, статная, волосы черные, как агат... Конечно, первенцу ее двадцать второй год, да замуж-то она вышла в четырнадцать, и в красоте не уступала Сервиназ. Парни по ней с ума сходили. Только она любила Айваза. Да и как его не любить, если он и сейчас красивей всех своих сверстников. И что он тогда нашел в падчерице Гаджи Алверди? Росточку Бог не дал, груди сухие. А про лицо-то уж и говорить нечего, змея змеей. Какое от нее мужчине удовольствие? Эх, Айваз, Айваз!.. Красотку бросил, к сухотке кинулся! Мало того, что доска доской, ведь и сварить, приготовить рук нету. Из города то и дело гости, а что, кроме бозартмы, видят они у Айваза в доме? Видно, и вправду: заколдовала Айваза ведьма – мать этой змеюки, приворотную молитву купили, наверно, двух баранов отдала за нее молле. А как иначе? Чтобы такой красавец, внук Кербалаи Ибихана к сухой поганке воспылал? Сейчас-то, похоже, кончилось их заклятие. Как увидит ее, сам не свой делается. Ладно, что было, то прошло. Гюльгез не какая-нибудь. Сыновей вырастила – один другого краше. Да и Гаджи мужчина хоть куда. Не станет ему Гюльгез изменять, зря ты, Айваз, так на нее зыркаешь. Сам виноват, на себя и пеняй...

Очень, очень хотела Гюльгез, чтобы сын ее женился на дочери Айваза. Да ведь и Айваз, сам того не сознавая, мечтал породниться с Гюльгез – как там не поворачивала судьба, тяжело было им всю жизнь оставаться чужими друг для друга.

И АРШАД ВЫСТРЕЛИЛ В БУЛАНУЮ КОБЫЛУ...

Кончался август, народ двинулся вниз, на равнину. Гаджи Танрыверди велел оседлать красивую буланую кобылу и отвести Айвазу, чтоб Сервиназ могла ехать верхом. У Айваза сейчас оставалось две верховых лошади: на одной ездил он, на другой – Шамхал, а у богатых кочевников, у которых было в достатке лошадей, молодые женщины ехали верхом на кобылах.

Сервиназ ликовала, узнав, что поедет в седле. А главное – кобылу эту и опраренное серебром седло прислал ей не кто-нибудь – родители Нури! А у Сервиназ дух перехватывало при одном упоминании его имени. Ну, а кроме того, девушка радовалась, что поедет верхом, как дочери и невестки лучших людей.

Услышав про кобылу, Аршад велел сестре передать дяде Айвазу, чтоб тот немедленно вернул лошадь. Но дядя Айваз, проклиная в душе неумного племянника и всех предков его по отцовской линии, снова стал изворачиваться. И заключил так:

– Растволкуй ты этому болвану! Объясни брату: лошадь никакого значения не имеет. Как я сказал, так и будет!

Издали увидев Аршада с дубинкой на плече, рядом с огромным серым псом, Сервиназ, восседавшая на буланой кобыле, в отделанном серебром седле, не только не обратила на чабана никакого внимания, но даже отвернулась. Аршад в ярости чуть не ткнул кобылу кинжалом.

Когда отара улеглась на отдых под тенью большой скалы, Аршад достал винтовку и патронташ, вместе с буркой притороченные к седлу. Оседлал жеребца...

– Ты куда это? – спросил его Али.

– Наган держи наготове! – не отвечая, бросил Аршад. – Если кто нападет, будем отстреливаться.

Потом поднял отару, завел ее за скалу и велел Али никуда не отходить от овец.

Взобравшись на скалу, Аршад стал целиться в буланую кобылу, что паслась недалеко от кибитки Айваза. Сперва он целился прямо в грудь, да рука не поднялась нажать курок, хоть и вражеский конь, а жалко. Лишь вспомнив, с каким гордым видом восседала Сервиназ на красавице кобыле, Аршад выстрелил. Не в грудь, в заднюю ногу. Кобыла дернулась и, хромя, поскакала прочь. Потом остановилась...

Все засуетились, забежали, сшибаясь... Дядя Айваз вскочил на ноги, увидел в стороне хромящую лошадь и сразу понял, в чем дело.

Другие же не понимали ничего. Откуда стреляли, кто стрелял, зачем... Сыну и жене Айваз велел помалкивать.

Как только о выстреле узнали в кочевье Гаджи, Фархад вскочил на неоседланную лошадь и прискакал к Айвазу.

– Кто это сделал, дядя? – едва бросив приветствие, сказал он. Парень даже не слез с коня, говоря со старшим.

Дядя Айваз спокойно затянулся, выпустил облачко дыма...

– Я что-то не разобрал, сынок... Издалека пальнул... – И, помолчав, добавил: – Похоже, шальная... Сам подумай, кто станет стрелять среди бела дня?

– Как же это выходит, дядя Айваз? Шальная пуля среди стольких коней выбирает именно ту, которую мы вам прислали?

– Так-то оно так.. Только не знаю, что и думать...

– Откуда стреляли? С какой стороны?

– Точно не скажу, но вроде оттуда... – Дядя Айваз ткнул пальцем в противоположную сторону.

Фархад, белый от злости, молча взглянул на него, сжал зубы и ускакал. Дядя Айваз выматерил всех предков племянника до седьмого колена.

– Засадить бы этого подлеца в кутузку, чтоб сгнил там, сукин сын!.. А нельзя, не одни друзья кругом, и врагов хватает...

А Гаджи в это время старался урезонить Фархада и племянников, готовых вытащить припрятанные винтовки.

– Во-первых, – говорил Гаджи, – тот, кто стрелял, не сидит там, не ждет вас. А потом – не у наших дверей подстрелена лошадь!

– Не у наших?! – Фархад чуть не кричал на отца. – Пускай не у наших, все равно нас хотели задеть, нас! Стреляли бы в коней дяди Айваза! А негодяй нашу кобылу обезножил!..

– Не горячись... – успокаивал сына Гаджи. – Рано или поздно узнаем, кто стрелял.

Но если сказать по правде, у Гаджи не оставалось сомнений, что и бараны, дважды возвращенные в его загон, и раненая кобыла – дело рук этого чабана, порезавшего Нури на скачках. То, что безродный бедняк, голытьба, на равных состязается за девушку с его сыном, равняясь тем самым с ним, Гаджи было, конечно, обидно, тяжело. Пускай его мать родная сестра Айваза, зато отец... Кто он там был, на том берегу Аракса?

Убрать Аршада – плевое дело. Он нанес их роду столь тяжкие оскорбления, что Гаджи не остановился бы даже перед кровной враждой. Но дело в том, что сейчас позарез необходимо было породниться с Айвазом, чтобы племянник его Сурхай стал их общей родней. Тогда Аршад ничего уже не сможет поделать. Придется, видно, и это стерпеть. Слухи про колхозы становятся все настойчивее, налоги на зажиточных людей растут. Чем все это кончится и что он, Гаджи Танрыверди, будет делать в той новой жизни, отец Нури не мог себе представить.

Аршад всякий раз отворачивался, увидев хромающую кобылу. Не мог он спокойно смотреть на изуродованного коня, пусть это и вражеский конь. Мысленно он старался свалить вину на Нури: не лез бы к девке, и кобыла была бы целая. А все Айвазова жадность. Ненасытная утроба, весь мир ему скорми, не скажет «наелся»! При всем честном народе усаживает дочку на лошадь Гаджи и не желает думать про своего племянника! А у него тоже и друзья, и враги имеются!

Сервиназ злилась сейчас на Аршада больше, чем когда бы то ни было. Она с таким наслаждением садилась в нарядное седло! Казалось, не кобылу – весь мир подарили ей! А этот проклятый Аршад прострелил кобыле ногу! «Чтоб тебе самому ногу прострелили! – мысленно проклинала она парня, но тут же одергивала себя: – Ой, надо сказать «астагфуруллах», жалко все-таки...»

После этого случая с кобылой, Сервиназ стала еще сильнее грустить по жениху. «Да буду я жертвой за тебя, – думала девушка, – что ты там сейчас делаешь, на чужбине? – Для Сервиназ Баку был чужбиной из чужбин, концом света. – Знаешь хоть ты, что этот злодей вытворяет? Ну почему, почему ты не взял меня с собой?!».

Сервиназ всей душой тосковала по суженому, но почему-то при виде Аршада едва могла удержать улыбку. Под жарким взглядом прищуренных зорких глаз ее охватывал какой-то непонятный трепет. Она вспоминала, как Аршад схватил ее, будто какой разбойник, как целовал!.. Как он ее целовал! У Сервиназ перехватывало дыхание, и она, как пойманная птица, билась в его руках. «Да что же ты вытворяешь, злодейка?! – негодовал Аршад. – Вижу ведь: встретишь меня, так вся и вспыхиваешь, а кольцо его носишь! На его лошадь села! Дуреха! Не выйдешь ведь за двоих сразу... Нет, этих баб – на куски крошить и на шампуры!»

Пока кочевье спускалось с гор, Аршад, словно волк-бирюк, кружил в отдалении, постоянно будучи начеку. По ночам он, как прежде, выкрадывал баранов из чужих отар и относил дяде Айвазу, и надо сказать, что эта черта в поведении племянника была дяде очень по душе.

... В темном небе перемигивались звезды. Кочевье спускалось вниз. Медленно, один за другим вышагивали верблюды, осторожно неся дремлющих женщин, и с каждым шагом монотонно позвякивали бубенчики, навешенные на верблюжьи шеи. Впереди кочевья ехали мужчины, одни подремывали в седле, другие негромко переговаривались...

Аршад поручил отару Али и против обыкновения поехал верхом. Но к мужчинам он не подъезжал – среди них был Гаджи Танрыверди, его сын, родственники, а он не хотел попадаться им на глаза. Выбрав удобный момент, он поравнялся с верблюдом, на котором возвышалась Сервиназ, и, увидев, что все женщины и дети по соседству сладко спят, подъехал вплотную.

– У, бандит! – шепотом выругала его Сервиназ. – Такого коня изуродовал!

– Это только начало, – усмехнулся Аршад. – Если дядя не отдаст тебя мне, я еще не такое устрою!

– А что?

– А то. Одну пулю дяде, другую тебе!

– Родного дядю?! Как только язык поворачивается! Хватает же совести!

– А у него хватает совести? Племянника отпихнуть, а дочь за борзого кобеля!..

– Да тебе разве можно девушку отдать? – улыбнувшись, прошептала Сервиназ. – Ты же все кости переломашь!

– Дурочка! Я тебя на руках носить буду! Пирожком в масле плавать будешь! Каждый день молочного ягненка есть!

– Хватит! Если б не твой язык, тебя б уже давно вороны склевали!

– Как бы не так! Да пусть весь Карабах сюда соберется, никто меня одолеть не сможет!

– Расхвастался!.. – Сервиназ приглушенно засмеялась и от этого ее приглушенного смеха Аршад окончательно потерял голову. Он готов был сорвать девушку с верблюда, схватив в охапку, умчаться прочь... Но сдержался, только вздохнул глубоко.

– Ты, предательница, не знаешь меня. Но запомни: слово мое твердое. Или моя будешь или ничья!

– Ишь разохотился! – девушка опять усмехнулась. Аршад протянул руку и ущипнул ее за голую лодыжку.

– Паршивец! – взвизгнула она. Аршад тронул ногами коня, тот рванулся вперед, и вместе с всадником исчез в темноте...

... И снова отары разбрелись по пастбищам Харамы, рассыпались по широкой степи бесчисленные чабанские шатры, со всех сторон заваленные для теплоты землей. И снова Аршад зачастил в кишлак: два-три раза в неделю он доставлял дяде Айвазу свежую баранину.

А кишлак был охвачен волнением: вот-вот будут отнимать и сгонять в колхозы овечьи отары и крупный рогатый скот.

Дядя Айваз поднялся пораньше, надел свои диагональные брюки и рубаху, атласный архалук, сапоги с острыми носами, застегнул серебряную пряжку, нахлобучил папаху серебристого каракуля и велел оседлать коня, того, что объездили весной. На круп коня положили цветастый хурджин со свежим маслом, пендиром, каймаком. Дядя Айваз ехал в Карабулак к племяннику своему Сурхайю, удостовериться, насколько точны слухи.

Сурхай объяснил: да, так оно и есть, очень скоро в районе будет проведена коллективизация. Дядя Айваз спросил, что будет с такими, как он.

– Ты середняк, – сказал ему Сурхай. – Средняков советская власть считает своими союзниками.

– А как насчет Гаджи Танрыверди? С ним как будет?

– Будет так, как со всякими другими кулаками.

– Выходит, хорошего не ждешь? – осторожно спросил дядя Айваз.

– Ну... – Сурхай пожал плечами. – Сам понимаешь, с врагами целоваться не станут. Нури, как кулацкого сына, скорее всего исключат из института. А ты, как на грех, родниться с ним задумал.

– Нури-то чем виноват? – опешил дядя Айваз.

– Кулацкий сын, вот и вся вина!

– Ничего понять не могу! – дядя Айваз стал сворачивать сигарку, как делал это всегда, когда надо было подумать.

... На следующее утро он вызвал к себе сестру Аршада.

– Скажи брату, ждать больше не будем. Пускай увозит девушку. Сын родной моей сестры, – нельзя, чтобы дух ее на том свете не знал покоя. Промашку я дал, что просватал дочку за сына Гаджи, он теперь торопит со свадьбой. Одним словом, чем скорей Аршад ее увезет, тем лучше.

– Да будет с тобой благословение Аллаха! – с чувством произнесла Нарынгюль.

И в ту же ночь, оседлав коня, отправилась в Харамы.

... Девушки собирали свежую зелень над речкой. Осень в этом году выдалась дождливая, и травы вновь поднялись, солнечный склон зазеленел: степной шпинат, ельник, горная кинза... Девушкам было хорошо, они весело болтали, смеялись... Мешки уже почти наполнились, когда у Чертова ущелья показались три всадника. Всадники приближались. Впереди был Аршад. На полном скаку он наклонился, схватил Сервиназ и, как перышко, перекинул через седло. Девушка кричала, вырывалась, кусалась – кто на это обращает внимание? – всадники повернули к Чертову ущелью и скрылись. Аршад молча гнал коня, он даже и не заметил, что Сервиназ до крови прокусила ему руку, державшую поводья. На плече трехзарядка, три патронташа на поясе – пускай попробуют сунуться!

Коротышка Керем тоже помалкивал. И если в плечах он был – косая сажень, то кинжал у него на поясе висел, чтоб не соврать, не меньше пяди шириной.

Когда всадники отъехали от Курдобы на расстояние нескольких выстрелов, Аршад остановил загнанного коня. Сервиназ устала уже кричать и вырываться. Аршад по-прежнему молчал и лишь по временам поглядывал назад. Подъехал Дадаш, двоюродный брат Аршада.

– До Афшара далековато будет. Может, свернем в Шахсеван, там родня есть?

Аршад кинул взгляд вперед, сказал спокойно:

– В Афшар поедем.

... Когда они добрались до Афшара, солнце уже садилось.

Жители Афшара, кочевники, круглый год жили в кибитках. Аршад и его товарищи остановили коней у самой крайней. Вышла молодая женщина, прикрикнула на собак, готовых стащить с коней незнакомцев, и, подойдя к Аршаду, приветливо поздоровалась:

– Добро пожаловать, братец!

Аршад осторожно поставил на землю Сервиназ. Не проронив ни слова, хозяйка взяла девушку за руку и повела в хибару, что темнела рядом с кибиткой.

– Слезайте, – сказал Аршад товарищам.

В ту же минуту откуда-то выскочили два паренька, подхватили коней под уздцы.

– А где сам? – спросил Аршад, когда хозяйка, отведя Сервиназ, пригласила мужчин в кибитку.

– Уехал, – сказала женщина. – Скоро вернется. – И повернувшись к парням, велела поставить коней и задать им корм.

Едва гости расположились на кошме и хозяйка подала чай, как явился Шахмар, высокий широкоплечий парень, года на четыре постарше Аршада. Он тоже когда-то чабанил в Карадолаге, там они и побратались. Шахмар был знаменитый в округе конокрад, а уж овцу угнать – и говорить нечего. Когда выяснялось, что у какого-нибудь Гаджи свели ночью гнедого жеребца, никто не сомневался, что сделал это Шахмар: только поди докажи, – не пойманный не вор. Если приятели начинали подтрунивать над его воровскими подвигами, Шахмар отшучивался.

– Наше правительство за бедняков? Так? Оно борется с кулаками, с богатеями, я ему и помогаю. Вот если я у бедняка хоть кошку сведу, пускай меня стреляют на месте!

Поскольку Аршад тоже был великий мастер на подобные дела, они с Шахмаром сразу же спелись. На серьезное дело, требующее особой смелости и сноровки, побратимы ходили только вдвоем. Шахмар был великолепный наездник, на полном скаку сбивал любые мишени, славился щедростью, гостеприимством – так что, если б кто и своими глазами увидел, как Шахмар уводит чужого жеребца, никогда не донес бы властям. Тем более, что баранов, которых Шахмар угонял из отар богатых людей, съедали всей деревней.

Так было, пока Шахмар не влюбился в нынешнюю свою жену. Отец девушки был человек верующий, и твердо сказал, что если парень не поклянется, что бросит воровство, он за него дочку не отдаст. Пришлось принести клятву, и, женившись, Шахмар, как истинный мужчина, слово свое держал.

Выпили чая, хозяйка подала бозартму.

– Чего это ты? – спросил Шахмар, заметив, что Аршад почти ничего не взял в рот.

– Знаешь, ведь, кибитка эта надежней крепости, хоть полк солдат подойдет!..

– Ладно... – Аршад махнул рукой.

– Ну, мы поехали? – Керем вопросительно взглянул на него.

– Чего это? – удивился Шахмар. – Не на мельнице: смолотили да обратно. Переночуйте, а утром в путь.

– Нельзя, отары на ребятишек остались. А так что ж, с превеликим удовольствием.

Когда кони скрылись в темноте, Аршад признался другу, что увез обрученную девушку. Отец, правда, согласен, но родня парня, с которым она обручена – бешеные все, как черти. Надо держать ухо востро.

– Кара!* (Шахмар звал так Аршада за обветренное, обгоревшее на солнце лицо.) Сколько лет мы с тобой знаем, а ты так меня и не знаешь толком. Умучился, ложись, спи, ни о чем не думай. Я сплю вполглаза. А к пятизарядке моей пять патронташей есть!

– Собак на приманку не возьмут?

– Да ты что! Собак моих не знаешь?

– А ты, я гляжу, и впрямь стал солидный человек, – Аршад усмехнулся. – По ночам дома сидишь.

– И не говори! – Шахмар махнул рукой. – Иной раз так и подмывает... А что поделаешь? Слово дал. Но знаешь, время, что я на добычу тратил, сейчас на овец своих трачу. Оправдывает себя. Живу, не жалуюсь.

– А-а! – Аршад презрительно махнул рукой. – Разве это жизнь? Ни в грош люди ставить не будут!

– Не скажи, сейчас другие времена. Теперь не то что раньше – никакого вору почета. А потом не сегодня-завтра все равно все добро соединят.

– И хорошо! – сказал Аршад. – Может, хоть тогда эти сучьи дети хвосты свои подожмут! Ладно, я лягу, – Аршад стал раздеваться.

Впервые за много дней он спокойно и крепко спал в кибитке.

А рядом, в хижине, рыдала и билась Сервиназ.

– Скажите этому подлецу! Велите этому мерзавцу: пусть сейчас же везет меня домой! – без конца повторяла девушка.

– Чего ты горюешь-то, – недоумевала хозяйка. – Такой парень да еще и брат двоюродный!..

Вместе с соседками она долго уговаривала Сервиназ. Потом женщинам это надоело, и одна из них, красивая, свободней других державшаяся молодуха, дерзко взглянув на Сервиназ, сказала:

– Это она пока трепыхается! А как муж притиснет покрепче, ягнечком станет!

Сервиназ не притворялась. Слезы ее были искренними, она думала о Нури. Вспоминала его, нарядного, тонкого, нежного... Письма его вспоминала. Теперь, когда этот злодей Аршад навсегда разлучил ее с женихом, Сервиназ казалось, что никого на свете нет для нее дороже Нури.

... По Курдобе тотчас разнесся слух, что Аршад украл невесту у сына Гаджи Танрыверди. Фархад поднял на ноги всех парней из их рода – скакать за беглецами, но отец сказал презрительно:

– Нам не нужна девка, которой коснулась рука этого чабана!

И тут впервые в жизни Фархад в присутствии отца дал выход ярости:

– Все! – кричал он. – Все! Мы больше не мужчины – бабы. Брата нашего ножом режет – молчим! Коня подстрелил – помалкиваем! Девушку выкрал! Невесту! Обрученную! И это стерпеть?! А он пусть грудь вперед, шапка набекрень?! Да если я его в живых оставлю, – мне самому не жить!

Гаджи не сказал сыну ни единого резкого слова. Он только глубоко вздохнул и, не глядя в лицо Фархаду, промолвил негромко:

– Не нужно, сынок.

– Но почему?! – чуть не плача, выкрикнул парень.

– Потому что я теперь никто. Кулак. Лишенец. Советская власть считает нас врагами.

– Какие же мы ей враги? – Фархад так и взвился. – Не воруем, на людей с ножами не бросаемся! Доход имеем? Так вон какие налоги платим!

Гаджи не ответил. Фархад, словно жеребец в табунах, рос в горах и на пастбищах Харамы, и в таких делах разобраться ему было не под силу. Учился он мало. Гаджи рассчитывал, что раз Нури подался в учение, – а он с малых лет был охот до науки, учителя нахвалиться не могли – второй его сын будет со временем заправлять хозяйством. А пока все помыслы Фархада были: кони, скачки, стрельба.

Нури и в институте оказался из первых. Когда прошлой зимой Гаджи поехал в Баку повидать сына, самый главный профессор сказал ему, что Нури на редкость способный студент, на него возлагают большие надежды, и сердце у Гаджи чуть не лопнуло от гордости. А вот теперь от Нури требуют справку, что отец его не лишенец. Если он такой справки не представит, из института его попрут. Нури так прямо и написал.

«Такой человек, как я, – задыхаясь от ярости, размышлял Гаджи, – ходил к Севиндику за справкой, чтоб написал, что есть у меня голос, а он мне: «Нет! Я, говорит, коммунист, не могу». Какую-то паршивую бумажонку! Что творится на свете!.. Ну ладно, советская власть говорит, чтоб правили народом не зажиточные люди, а бедняки, что с голодухи спят до полудня. Пускай правят. Пусть будет по-вашему, я Гаджи Танрыверди, согласен и на это. Сам бедняком был, сколько лет чужих овец пас... Но за что же меня лишать?!».

Перед похищением дочери дядя Айваз с вечера уехал в район, а когда вернулся, устроил страшный скандал, Заравшан выгнал из дому: как это так – не уследила за дочерью! И велел передать Гаджи, что понятия не имел ни о чем таком. Прошел день-другой, и Заравшан украдкой вернулась из отцовского дома.

... А меж тем разразился ураган, приближение которого давно уже чуял Гаджи Танрыверди. Из района прибыли ответственные товарищи и было объявлено, что обобществляются все овцы, крупный рогатый скот, верблюды, лошади, инвентарь, и создается колхоз. Колхоз в Курдобе организован был за несколько дней. Председателем стал бывший бедняк Алиш, а у Гаджи во дворе осталась одна корова, один конь и стал он такая же голытьба, как Учтога Иман. Конечно, только с виду. В загашнике у Гаджи было порядочно. Деньги, вырученные от продажи овец с шелковистой шерстью, скакунов, горделивое ржание которых полнило усыпанные весенними маками степи, племенных верблюдов, чьи морды истекали пеной во время гона, Гаджи давно уже обратил в золото и закопал в надежном месте. Вот только зачем это золото, если нет для него пестроцветных эйгалов, нет бескрайних степей Харамы?...

Сказать по правде, и Аршаду было нелегко отдать в колхоз своих овец и коров. Несколько дней он ходил как потерянный. Ведь каждого барана, каждую овечку он знал до последней шерстиночки. Черный, короткоухий с белой полосой на спине, был любимцем Аршада, ни один баран из соседних отар не мог одолеть его в схватке.

Керем не раз допытывался у Аршада, почему у короткоухого такая горделивая повадка.

– Я же его кишмишем кормлю! – усмехаясь, отвечал Аршад.

– А почему у тебя матки двойни приносят?

– А все потому. Короткоухий кишмиш жрет, вот от него и рождаются двойни.

Завидев своего любимца в колхозной отаре, Аршад отворачивался. Он с тоской вспоминал то время, когда снежными морозными ночами, оберегая отару от волков, спал посреди овец, плотно завернувшись в бурку и положив голову на курдюк короткоухого. И когда тоска совсем уж одолевала Аршада, он призывал на помощь свою озлобленность против кулацких сынков, и вовсе оставшихся ни с чем.

«Подумаешь – двести баранов! – успокаивал он себя. – Гаджи Танрыверди шесть тысяч овец потерял, табун коней, стадо коров!.. Вот она, твоя бедняцкая власть!.. Сынки богатеев чуть не лопались от спеси, а теперь носа не кажут на улицу! Не придется больше Фархаду красоваться перед девушками с золотой пряжкой на архалуке, каждый час меняя коней! И Сервиназ не будет глядеть на него с тоской: не дал ей Бог счастья, не сделал невесткой Гаджи».

... Дядя Айваз, как и все остальные, сдал в колхоз почти весь свой скот, но в противоположность другим имущим людям, оказавшимся вдруг бедняками, не очень о том горевал – такой уж характер. Айваз жил по принципу: «Завернись в палас, куда всех, туда и тебя потащат». Вон Гаджи, – ему намного хуже. У Айваза и племянник на государственной службе, и Ибихан, средний его сын, на учителя учится, не сегодня-завтра жалование получать будет. А Шамхал в колхоз работать пойдет. Там, говорят, все заработанное по справедливости делить будут – кто сколько заработал, столько и получай. Вот ты скажи, что делать сыновьям Гаджи? Добро-то у них забрали, а в колхоз принимать не хотят. Хорошо хоть дочку не отдал за Нури.

... Сервиназ тоже, конечно, слышала, что из рук Гаджи Танрыверди уплыло все его богатство. Замечала она и то, что парни сторонились раскулаченных, старались не подходить к ним.

– И не совестно вам! – не раз упрекала она мужа. – Что их, бедных, бешеная собака искусала? Совести у вас нет!

– Ничего им не сделается! – со злобой отвечал Аршад. – Кулаки они, поняла? Враги советской власти. Государству нашему враги. Вот вышла бы за своего борзого кобеля, тоже теперь нос на улицу не казала бы!

И как бы в отместку Нури и другим сынкам богачей Аршад так стискивал жену в объятьях и покрывал такими жаркими поцелуями, что та, алая, как маков цвет, сразу забывала и Нури и все остальное...

Сервиназ так похорошела, так расцвела после замужества...

Однажды, возвращаясь с речки, куда ходила за водой, она, как всегда, остановила сестру Нури:

– Какие вести от брата?

– Какие могут быть вести! – не глядя на нее, сквозь зубы процедила девушка. – С ученья прогнали – кулацкий сын! Радуйся! И своим скажи: пусть радуются, прогнали Нури с учебы.

– Зачем ты так говоришь? – Сервиназ грустно взглянула на нее. – Что мы враги вам?

– Хуже врагов! Предать такого парня!.. Связаться с лесным медведем!..

– Бог с тобой, Ханпери! Будто не знаешь: силой он меня увез! Я тебе когда еще говорила! Все видели – схватил и на коня! Я как сумасшедшая кричала!..

– Силой увез, в загсе сказала бы!

– А была я там, в загсе? Вместо меня другую возили, жену его родича.

– Ну, не знаю... А только, если б не по душе он тебе, не сияла бы, как новый двугривенный!

Сервиназ виновато вздохнула.

– Так ведь дело-то сделано.. Чего уж теперь. Ты скажи, как Нури?

– В Россию уехал... На чужбину.

Девушка заплакала. У Сервиназ тоже полились из глаз слезы. Поплакали, вытерли слезы концами головных платков, поставили кувшины на плечи!..

– Не грусти, – на прощанье сказала Сервиназ. – Кого Бог бережет, с тем беды не будет.

– Бог... – Задумчиво проговорила Ханпери. – Как на него надеяться? Такое позволил учинить над нами!..

– Я вечером помолюсь за Нури. Он ничего обо мне не спрашивает?

– Фархад написал ему, что ты за Аршада вышла. Написал, чтоб имя твое забыл.

– Лучше мне умереть, чем такие слова!.. Ханпери! Клянусь, я любила Нури! Да и теперь... – Сервиназ потупилась. – Услышу его имя, сердце дрожит... – Глаза ее налились слезами. – Где б он ни был, да поможет ему Аллах!

– Да услышит тебя Аллах! – Эти слова Ханпери произнесла растроганно, поверила наконец.

Она ушла, а Сервиназ стояла не в силах унять слезы. Впервые в жизни беспечная, веселая Сервиназ испытывала такое отчаяние. «Забудь ее имя», – так Фархад написал о ней. О, господи, помоги скитальцу на трудных дорогах его... Сервиназ чудилось, что Нури видит ее оттуда, издалека, смотрит и улыбается... Так улыбался он, когда она в последний раз видела его наяву. Как же он был хорош! Такой тонкий, стройный, нарядный. И не скажешь, что деревенский! Сердце ее изнывало от тоски. И все же по мере того, как Сервиназ с тяжелым кувшином на плече приближалась к деревне, облик Нури отдалялся, терял отчетливость и наконец исчез за горизонтом, слившись с серыми облаками.

Она вошла в хибарку, поставила в углу кувшин. Подмела земляной пол, полила его. Аршада в деревне не было, вместе с братом он пас теперь колхозные отары на зимних пастбищах. Когда стало темнеть и пригнали стадо, пришла корова – их единственная корова. Сервиназ привязала ей к ноге теленка, стала доить... Разложила очаг, вскипятила молоко. Потом вернулась, зажгла висевшую на столбе лампу, – осветилась лишь часть помещения – небольшой круг под лампой. Вышла наружу, стала ждать. Стемнело, то тут, то там из темноты слышалось мычание... Большинство домишек было без окон, и свет изнутри не проникал. Сервиназ ждала. Наконец на краю деревни залаяли собаки. Конский топот приближался. Подскакал Аршад, спрыгнул с коня. Раньше, когда он возвращался с пастбища, позади седла у него был приторочен добрый кусок баранины. Теперь позади седла было пусто. Колхозная отара. Колхоз. Когда еще будут делить урожай... Аршад поставил коня в стойло, задал корм, Сервиназ принесла воды.

– Иди, помой руки, Кара...

Сперва она звала его так в шутку, потом привыкла, будто это его имя – Кара. Сервиназ принесла на подносе два чурека, простоквашу, пендир, головку лука. Аршад съел все это, запил ковшом воды.

– Куда ты трехзарядку дел? – спросила Сарвиназ.

– Спрятал, – неохотно ответил Аршад. – Обещали, выдадут нам винтовки. В Мугани гачаги объявились.

– И чего ж они делают, гачаги эти?

– Коммунистов убивают. Налетят на колхоз и...

– Ты же не коммунист.

– А хоть бы и коммунист! Что они мне сделают? Видал я этих сыночков!..

Сервиназ пересказала мужу свежие новости. Потом спросила:

– Как же у вас теперь с заработками?

– Это потом известно будет.

– Когда – потом?

– Как урожай делить. – Вопрос этот был не больно ясен и самому Аршаду, и потому он, зевнув, сказал жене:

– Давай-ка стели, устал.

... Когда пропели третьи петухи, Аршад вскочил на жеребца и поскакал в Харамы. Жеребец со звездочкой на лбу был теперь собственностью колхоза, но председатель отдал его в пользование Аршаду. Аршад не мог без этого коня.

Тропинка, пересекая Чертово ущелье, выводила на равнину. Туман, тяжело стлавшийся над серой полынной степью, постепенно редел. Проскочив тропинку, шмыгнула в туман лисица. Аршад вздохнул – не взял трехзарядку. Не любил он лисиц. И еще шакалов. Волк – другое дело. Конечно, от волка отаре главный вред, зато зверь, ничего не скажешь: хитрый, смелый. Когда волк попадался Аршаду на глаза, ему не терпелось всадить зверю пулю в башку или кинжал в бок – это был настоящий враг, достойный противник.

Аршад пустил жеребца в галоп, нужно было пораньше выгнать отару на взгорок. Полынный воздух наполнил грудь духовитым холодком. Хорошо. И все же прежнего удовольствия не было. Что у него там, в Харамы? Даже конь под седлом и тот не его, колхозный. И как все обойдется? Что из этого выйдет? Который день он приезжает к молодой жене с пустыми руками. Овец он всегда угонял из отар богачей – шашлык из такой баранины был особенно сладок – а их теперь днем с огнем не сыщешь, богачей. Так им и надо, посбивали спесь, только вот где овечку добыть?

Все колхозное. А из колхоза красть совесть не позволяет. Еще деды-прадеды говаривали: на народное добро позаришься, ослепнешь. А ему с товарищами народное добро-то и доверили. Конечно, у других колхозов тоже отар хватает, вроде бы чужие... Но Аршад уговаривал себя, что и там – народное, тоже бедняки сложились: у кого десять баранов, у кого – пяток. Надеются, думают, может, вместе из нужды выбьются. А ты у них – барана красть!

Аршад ненавидел богачей, но вовсе не потому, что считал богатых людей эксплуататорами. Когда приезжие агитаторы долго и не очень понятно рассказывали про эксплуатацию, Аршад зевал в кулак: «Глупый ты человек... Что ж он, кулак, даром что ли работать нас заставлял? За сколько столкуешься, столько и платил. Не о том речь ведешь, мужик. Скажи лучше, что сыновья их уж больно заносились, ног под собой не чуяли. Думали, что ни есть на свете лучшее, все ихнее быть должно. Лучший скакун – ему, первая красotka – ему! Теперь ничего, присмирели, поджали хвосты....»

Конечно, если судить по совести, Гаджи Танрыверди честным трудом богатство свое заработал, сколько лет в чабанах ходил. Зато сынки его – дрянь заносчивая! Правда, Нури этот... Он вроде другой... Но тоже как взбесится, да как вскочит на жеребца – такой же подлец, как остальные. Меня за человека не считал. Ни крошечки не сомневался: раз Сервиназ красавица, значит, ему предназначена! А оно вот как обернулось! Спасибо Советам. Чем им теперь хвастать, кулацким сынкам? Отцовского богатства нету. Ну, а насчет силы да храбрости, тут мне хоть десяток их подавай!

Подъехав к Харамы, Аршад увидел, что отары еще не выгнаны на пастбище, хотя уже рассвело. Овцы томились в загоне, ожидая, когда их выпустят. И казалось, скотина эта ничейная: чабанов видно не было. Аршада прямо жалость охватила. Он вошел в хижину и увидел, что Али крепко спит, завернувшись в бурку. Что ж это с ребятами – так заспались? Раньше до рассвета выгоняли отару, к этому часу овцы уж сытые были.

– Али! – громко позвал Аршад. – Али!

Али спал крепко, но, тотчас вскочил, удивленно уставился на брата:

– Чего? Что случилось?

– Ты что до полудня дрыхнуть хочешь? Скотина с голоду передохнет!

Али сонными глазами взглянул на едва светлевший дверной проем.

– А чего, я хозяин что ли? Другие тоже спят.

Он сладко потянулся и хотел было снова улечься, но Аршад в ярости сдернул с него бурку.

– Да совесть-то у вас есть?! Голодом готовы заморить овец!

Али недовольно глянул на него, встал, вышел, протирая глаза. Аршад вслед за ним.

– Керем! Гачай! – крикнул он, обходя хибарки чабанов. – Вы что ж вытворяете, нечестивцы? Скотина с голоду подыхает!!

Из хибарок стали вылезать чабаны. Керем, толстый, краснощекий, прославившийся в рукопашных схватках, укоризненно покачал головой.

– И чего разорался? Спать людям не даешь. Это что – отара отца твоего Таптыка?

А правда, чего он распетушился? Какое его право кричать на них, небось не начальник.

– Да неужто овец не жалко? – сказал Аршад, сбавив тон. – Колхозные, так пускай голодают?

– А чего ж сам не выгнал, раз ты такой жалостливый? – Керем сумрачно взглянул на Аршада.

– Да я только-только с коня! Чего злишься-то? Тут и твоих овец полно!

– Моего теперь ничего нет, все общее. А тебя что – в начальники к нам поставили?

– Ладно тебе! – Гачай молодой, веселый, рассмеялся. – На колхоз злишься, а на нем зло срываешь!

– Слушай, нельзя же так... – Аршад укоризненно посмотрел на Керема. – Мое тоже все забрали в колхоз.

– Забрали и черт с ним! – сквозь зубы пробормотал Керем. – Сами пускай пасут. Сами пускай за них душой болеют.

– Ладно! – сказал Караджа, повернув к Керему длинный кривой нос. – Вон уже солнце встало, выгонять надо.

Чабаны поплелись к загонам.

БАРАНОВ ВОЛКУ ДОВЕРИЛИ...

Когда Плешивый Фетиш услышал, что, посоветовавшись с членами правления, председатель колхоза решил поставить Аршада главным чабаном, он чуть не рехнулся и тут же написал донос: «Председатель колхоза Алиш доверил баранов волку. Тут действует рука кулаков и подкулачников».

Утром председатель Алиш действительно приехал в Харамы, назначил Аршада, как самого умелого и бойкого, старшим чабаном и, отведя его в сторону, сказал строго:

– На колхозное добро глаз положишь, плохо будет. Вон какое богатство тебе доверяем. Хоть один ягненок пропадет, отвечать будешь. Старший чабан...

Алиш был человек мудрый. Он знал, что Аршада, первого вора в Курдобе, может унять один единственный человек – Аршад. И еще знал председатель, что хотя Аршад – лихой вор, он парень надежный, честный и на кулаков зуб имеет.

Перед возвращением в Курдобу председатель собрал всех чабанов и повторил им те же слова.

– А винтовку-то дадите? – спросил Аршад. – Говорят, кулаки в горах отряды сколачивают.

– Поговорю в районе... Должны дать. А пока своей обойдешься.

– Откуда она у меня? – Аршад отвернулся.

– Мне что: есть она у тебя, нету... – Алиш погладил подбородок и усмехнулся. – Только зря ты боишься. Для охраны отары можно иметь винтовку.

– Нет у меня никакой винтовки! – упрямо повторил Аршад.

– Значит, нападут бандиты, а ты и трехзарядку свою не выхватишь? – Алиш опять улыбнулся.

– Ишь ты! Знает: трехзарядку!

– А как же. Когда ты кобылу Гаджи подбил, я по звуку узнал: трехзарядка.

– Не стрелял я ни в какую кобылу.

– Не стрелял, так не стрелял. Мне-то что... – Алиш снова шутливым жестом огладил подбородок и усмехнулся. – Говорю тебе, не бойся. И потом, как они в районе узнают, есть у тебя винтовка или нет. Лишь бы бандитов не допустить!

– А ты добейся, чтоб дали винтовки, – сказал Аршад. – Хоть штуки две.

– Постараюсь. А пока обойдешься. Патронов у тебя хватит.

– Всего три патронташа!

– С тремя патронташами ты от сотни отобьешься! Главное: следить зорко, опередить противника, если что... Ведь колхозное добро – оно не наше с вами.

– Слушай, дядя Алиш... – Керем поморщился. – Что ты нам, будто мы малые ребятишки! «Наше!» Какое оно наше, если ко мне гость приехал, а я прав не имею барашка прирезать?

– Ну... Пока не имеешь. Раздел произведем, бери свою долю и делай, что хочешь.

– А ты, выходит, выиграл на этом деле, – Керем криво усмехнулся.

– На каком деле?

– Ты дюжину баранов сдал, я – две сотни, а делить будем поровну. Да ты еще надо мной господином оказался.

Чабаны рассмеялись.

– Ну, ты это брось! – мрачняя, сказал Алиш. – Правительство понимает, что делает.

– А правительству что? Оно со мной тех баранов не выхаживало!

– Ладно, кончай! Допускаешь политические ошибки.

– Политические?!

– А как же! Власти критиковать нельзя!

– Вот это да! Да она ж вроде наша власть, бедняцкая!

– Правильно. Вот наше народное бедняцкое правительство хочет так сделать, чтоб ни богачей, ни бедняков. Все равны. Вместе работайте, вместе ешьте. Чем плохо?

– Голос у тебя сладкий... Не выйдет. Мы будем работать, а вы есть.

– Это кто – вы?

– Ну не знаю... В Курдобе – ты, в Алханлы – Фарадж. Тоже, говорят, председателем поставили.

– А что ж ты хочешь, Керем? Должно же быть какое-то руководство. Хоть два человека на деревню. Советская власть – не анархия.

Такого слова Керем не знал, а потому не ответил.

– И нечего всевышнего гневить, от добра добра не ищут. За овцами приглядывайте. Да, ей-богу, ребята, все хорошо будет. – Алиш широко улыбнулся. – И руки, и головы – все свое! Прибыль будем делить по совести, как отцовское наследство... Государство помощь окажет... Дети наши в больших школах учиться будут. И дома себе понастроим, как в городе, и жить будем по-людски!

«А может, и вправду будет это? – подумал Керем. – Чего б ему врать?»

Что касается Аршада, он нисколько не сомневался, что Алиш говорит чистую правду. Керем этот он всегда, – зануда... Ты главное пойми: никто больше заноситься не будет, хозяином перед тобой стоять! Равны и кончено! Тот мужик из района говорил тогда и председатель колхоза выборный будет, и председатель Совета. Начнет Алиш своевольничать, быстро скинем! Еще он тогда сказал, никто не вправе копейку нашу тронуть. Что ни заработал – наше! Государство помогать будет. Семена даром даст, если нужда. Машины привезут... Чего тебе еще надо, Коротышка? Будешь жить, как дед твой и помыслить не мог. Советская власть – не царь Николай, народ грабить, в Сибирь ссылат за здорово живешь. Не придется в горы бежать, как Кербалаи Асад. Такое время настанет, и думать забудем, как еду добыть или там одежду новую справить. Всего будет полно...

В Курдобе начали постройку новой школы. Открыли вечерние курсы – учить взрослых грамоте. Даже женщины стали ходить. Сперва, правда, в районе надумали, чтоб женщины вместе с мужчинами учились, но на это не согласились ни те, ни другие. Женщины прямо сказали: не хватало еще, чтоб мы с мужиками за одним столом сидели. И пришлось открыть курсы отдельно мужские, отдельно – женские.

Дядя Айваз затаился, выжидая, куда повернет. Потому что не было определенности. То тут, то там возникали отряды. Состояли они из лишенцев, из богачей, враз ставших бедняками. Кое-где постреляли коммунистов. А тут еще стало известно, что Гаджи Танрыверди с Фархадом, младший брат Гаджи Гасанкулу и племянник Юсуф ушли – переправились за Аракс.

Но вот государство усилило борьбу с бандами; для уничтожения их стали посылать крупные вооруженные отряды, и Айваз понял, что Советская власть стоит твердо. Теперь во время собраний, сидя на солнышке, Айваз всячески поносил гачагов, скрывающихся в горах, а также Гаджи Танрыверди и еще нескольких, что бежали за кордон, бросив на произвол судьбы жен и детей.

Постепенно дядя Айваз стал в глазах районных руководителей одним из самых ярких активистов. Его избрали и членом сельсовета и членом правления. А поскольку авторитет дяди Айваза, человека пожилого и опытного, был намного выше, чем председателя, он часто сам вершил дела. И те, у кого было дело к «товарищу Айвазу», несли ему кто курицу, кто цыпленка. Ездили в город, прихватывали ему чай, табаку, сахару... Случалось, сынишке его, учившемуся в районе, совали в карман пятерочку...

Прошло немного, и дядя Айваз устроил Шамхала бригадиром на животноводческую ферму. Совсем хорошо пошли дела. С фермы не то чтоб обильно, но бесперебойно потекло в дом свежее молоко, маслице... Не ударяя палец о палец, дядя Айваз и его жена имели все, что нужно.

Каждое утро, плотно позавтракав, дядя Айваз обувал сохранившиеся с николаевских времен остроносые сапоги, атласный архалук, стародавнюю диагональную чоху и выходил на улицу. Мустафаоглу, Учтога Иман, Хайнамаз и другие нынешние аксакалы собирались вокруг Айваза, а тот, раскуривая сигарку из крупно нарезанного табака, без усталости расхваливал колхозы и ругал богачей, бежавших за кордон.

– Нет, должен был кто-то сказать ему: слушай, Гаджи, чего ты бежать надумал? Люди берут лопату, землю копают, скотину выращивают. И ты бы так. Чем ты лучше?

Немаловажной причиной того, что авторитет дяди Айваза стремительно рос, было, конечно, то обстоятельство, что племянник его Сурхай был в районе на большой должности и притом уважал своего дядю. Если дядя Айваз приезжал к нему по чьему-то делу, Сурхай дело это обычно устраивал, и люди все больше проникались почтением к Айвазу.

Вот только Аршад портил кровь дяде Айвазу. Ну в самом деле, разве это зять? Когда его главным чабаном поставили, у дяди Айваза глаза разгорелись: как-никак тысячи баранов в руках. А вышло? Никакого проку. Не до жиру, понятное дело, но пару-то барашков в месяц мог привезти. Да, хоть и грешно это, но в глубине души дядя Айваз глубоко сожалел, что зять его не занимается больше воровством...

... А Аршад, и правда, не ходил больше воровать. И одной из причин того, что он отказался от столь привычного и доходного промысла, было то, что бандитские шайки, нападавшие на колхозы, вызывали у Аршада прямо фанатическую ненависть – фанатизм издревле присущ кочевникам. И то, что кулацкие сынки, чьих овец он пас совсем недавно, мерзавцы, едва не отнявшие у него Сервиназ, вскочили на коней и с винтовками в руках разбойничают, нападая на колхозы, задевало честь Аршада, оскорбляло его самолюбие, потому что в колхозе были те самые бедняки, перед которыми всегда так чванились богатеи. И бедняки эти, ему, Аршаду, доверили отары овец – все свое достояние.

– А знаешь, дядя на тебя в обиде... – сказала как-то Сервиназ, присев на корточки возле мужа.

Аршад обмакнул в простоквашу кусок чурека, сунул в рот, прожевал неторопливо...

– С чего это? – спросил он, проглотив чурек.

– Говорит, какой это зять, без мяса живем, не может барашка доставить. Раньше, говорит, когда в женихах ходил, каждую ночь притаскивал.

– Так раньше богачи были: Гаджи Танрыверди, Гаджи Фарадж. А теперь где брать?

– А дядя твой говорит: он же главный пастух, вон какая отара!

- Странно он рассуждает... Объясни ему: ты, мол, сам теперь власть, член сельсовета, а хочешь, чтоб зять твой колхозных овец воровал!
- Ох, Кара, совсем ты святой стал!... – Сервиназ лукаво улыбнулась. – У твоих ног только намаз совершать!
- Аршад доел чурек с простоквашей и поднялся. Насмешки он не заметил.
- Муки осталось на донышке, – сказала ему Сервиназ.
- Приготовь зерно, я велю, чтоб Али приехал, свез на мельницу.
- Аршад оседлал коня, вывел его и прежде, чем сесть в седло, сказал стоявшей рядом Сервиназ:
- Если кто будет скотину резать, возьми. Приеду, расплачусь.
- Сервиназ глядела ему вслед и улыбалась довольная. Надо же, думала она, этому разбойнику и спать не нужно! Нагрязнул среди ночи, разбудил ее и до утра не давал покоя. А утром поехал, купил чай, сахар, ситчику ей на платье. И вот обратно. И ведь ни одной ночи не пропустит!
- ... А вот сегодня ехать к жене не придется. Оказалось, что ночью бандиты объявились по соседству. Угнали двенадцать коней, полсотни баранов, избили чабанов...
- Во-о-от! – со злобой твердил Керем. – Чего теперь делать? Как отбиваться будем? Из чего стрелять?
- Да... – протянул Гачай. – И к нам наведаются. Не миновать.
- Недалеко от загонов Аршад отрыл себе небольшой окопчик. И решил все-таки съездить домой – к рассвету вернуться. Если они только вчера угнали добычу, не пойдут сегодня в набег.
- Но вышло иначе.
- Когда стемнело и Аршад уже хотел седлать коня, издали послышался конский топот. Собаки выскочили из загонов и, злобно лая, бросились навстречу.
- Эй, кто там? – крикнул в темноту Керем.
- Убери собак! – голос прозвучал по-хозяйски.
- Аршад пригляделся, пытаясь определить, сколько их. Вроде четверо. Он схватил трехзарядку и нырнул в окопчик.
- Сказано, убери собак, – послышался из темноты другой голос. – Не слышите, ублюдки?! И гони полсотни баранов! А то всех перебьем!..
- Эй, вы! – крикнул из окопчика Аршад. – Убирайтесь вон! Не заставляйте кровь проливать!
- Сразу же прозвучал выстрел, стреляли на голос. Аршад выстрелил, целя вверх голов, с трудом различимых в густых сумерках.
- Мы укрыты, а вы на виду! – кричал Аршад. – Убирайтесь куда целы!
- Звук частых выстрелов родной трехзарядки пьянил Аршада. Столько лет он не мог дать себе волю!.. И когда незваные гости снова открыли стрельбу, Аршад прицелился и сбил одного с коня.
- Ах ты, собачий сын!.. – послышался разъяренный голос.
- Сами собачьи дети! – кричал Аршад. – Собаки бездомные! Забирайте своего и чтоб не воняло здесь вами! Из-за овец жизни лишитесь!
- Видимо, налетчики сообразили, что положение их невыгодное. Двое сошли с коней, подняли раненого, положили на седло третьему. И ускакали, предварительно пригрозив:
- Держитесь, выродки! Дорого вам это станет!
- Аршад несколько раз выстрелил им вслед.
- Та-а-ак... – сказал он, подходя к чабанам. – Этой ночью чтобы никто не спал. Могут вернуться и окружить нас.
- Вот что, – решительно сказал Керем. – Если нам завтра не дадут винтовок, я больше здесь не останусь!
- Дадут они... – пробормотал Гачай. – Держи карман шире!
- Рассветет, снова могут приехать., – меланхолично заметил Караджа, покрутив носом. И тут послышался топот. Опять взвыли, зарычали волкодавы.
- Вернулись! – сказал Гачай. – Так я и знал.
- Эй, кто там? – крикнул в темноту Керем.
- Вместо ответа последовал приказ:
- Убрать собак!

- А кто вы?
 - Начальник районной милиции! Уберите собак!
 - Товарищ начальник! – сказал Керем. – Пришлите одного из ваших – убедиться.
 - Ты что, милиции не веришь?! – послышался гневный возглас.
 - Не заходишь, начальник, – спокойно сказал Аршад. – Полчаса не прошло, как от бандитов отбились. Пошли человека.
 - Ханыш! – начальственный голос прозвучал уже мягче. – Иди, пускай поглядят.
 - А чего не здороваешься? – сказал Гачай, когда Ханыш в милицейской форме подошел к чабанам. – И, обернувшись к своим, сказал: – Это Ханыш из Гараханбейли, я его знаю.
 - Идите, товарищ начальник! – крикнул в темноту Ханыш.
 - Что за перестрелка была? – не слезая с коня, строго спросил начальник милиции Вейсал.
 - Тебе ж сказали, – хмуро заметил Керем, – напали на нас. Четверо конных.
 - Забрали что? – быстро спросил Вейсал.
 - Нет, отогнали. Одного Аршад подстрелил.
 - В какую сторону поехали? – Вейсал мельком взглянул на Аршада, стоявшего с винтовкой в руках.
 - Вон туда! – показал Керем.
 - За мной! – Вейсал повернул коня.
 - Милиционеры исчезли в темноте.
 - Помчался!.. – глядя им вслед, усмехнулся Керем. – Так он тебя и дожидается!
- Герой!
- Про начальника не скажу, не знаю, а Ханыш парень шустрый, – заметил Гачай.
- Вейсала, до недавнего времени бывшего председателем комбеда, хорошо знал Аршад. Вейсал был человек смелый, строгий, и несколько месяцев тому назад его назначили начальником районной милиции.
- Мало нам было врагов, – огорченно сказал Али, без особой охоты прожевывая хлеб с пендиром, – еще один появился. – Он имел в виду раненого Аршадом человека.
 - Черт с ними! – сердито бросил Аршад. – Они думали, здесь бабы с детишками!..
 - Всех надо было перестрелять! – голос Керема прозвучал жестко.
 - Я же в засаде был... – Аршад замялся. – Совесть вроде...
 - Совесть? А не будь у тебя винтовки, они наши шкуры соломой набили бы! Не поглядели бы, что безоружные!
- Они уже начали подремывать, сидя у огня, когда вновь послышался топот. Опять, сорвавшись с мест, бросились вперед псы.
- Приехал Вейсал со своими милиционерами.
- Не нашли мы их, – сказал Вейсал. – В голосе его звучала досада. Он взглянул на Аршада, который стоял, освещенный огнем очага, с винтовкой в руках, перепоясанный двумя патронташами.
 - Кроме тебя, у кого еще есть оружие?
 - Ни у кого.
 - Ты один отогнал четверых? Как это так?
 - А вот так! – Теряя терпение, бросил Аршад.
 - Он же в засаде был, – объяснил Керем.
 - А разрешение есть на винтовку? – спросил вдруг начальник милиции.
 - Нету...
 - А тебе известно, что в советском государстве на огнестрельное оружие должен быть документ?
 - Известно, товарищ начальник, но... эта винтовка – память мне от дяди Кербалаи Асада.
 - А кто это? Революционер?
 - Нет. Он был гачагом при царе Николае.
- Вейсал чуть заметно пожал плечами.
- По закону ты давно уже должен был сдать оружие. Откуда мы знаем, как ты его использовал эти годы!

Задетый за живое, Аршад обдумывал, как бы ответить похлеще, но Керем опередил его:

– Не будь у Аршада винтовки, они бы и баранов угнали, и нас бы перекалечили!

– Помалкивай, Коротышка! – Вейсал брезгливо поморщился.

Керем схватился за рукоять кинжала.

Аршад хотел было объяснить, что председатель колхоза сам разрешил стрелять, если на них нападут, но подумал, не подвести бы человека. И промолчал.

– Давай винтовку! – Вейсал шагнул к Аршаду.

– Зачем, товарищ начальник? – Аршад отступил в сторону.

– Поедешь с нами в район, разберемся!

– Ты что?! – выкрикнул Гачай. – Он уедет, а эти опять нападут?

– С вами останутся два милиционера.

– Винтовку я не отдам, – твердо заявил Аршад. – И в район не поеду!

– Взять его! – скомандовал начальник милиции.

Аршад исчез в мгновение ока.

– Начальник! – крикнул он из темноты. – Если кто возьмет в руки винтовку, стреляю!

– Не сходи с ума! – сказал Вейсал строго, но уже совсем другим голосом. – Ты что, в гачаги собрался? Я же сказал: поедем с нами, оформим документ на оружие.

– Дураков нет – верить тебе!

В кромешной тьме Аршад вскочил в седло и умчался.

– По коням! – крикнул Вейсал.

... Вейсал со своим отрядом вернулся на рассвете, не догнав Аршада. Составив протокол о действиях Аршада, он предложил чабанам подписать его. Подписывать никто не стал. Начальник милиции попытался угрожать, и тогда Керем не выдержал.

– Ты чего выламываешься? – крикнул он, не скрывая злобы. – Мы его «начальник», «начальник», он и зазнался! Чего орешь?!

– Ты! – одернул Керема один из милиционеров. – Думай, с кем говоришь!

– А ты поменьше хвостом виляй! – окрысился на него Керем.

– По коням! – скомандовал Вейсал. И, обернувшись к Керему, добавил: – Поедешь с нами!

– Я в ответе за пять тыщ баранов, – сказал Керем, не снимая руки с рукояти кинжала.

– Составляй акт, что принял их целыми-невредимыми – поеду.

– Они приглядят за скотиной! – Вейсал кивнул на чабанов.

– Нельзя. И так уже Аршада нет. А что я тебе сделал, чтоб ты меня в район таскал?!

– Ну ладно, это тебе дорого обойдется! – сквозь зубы процедил Вейсал, и, не зная, как выйти из положения, тронул коня.

– Ничего, – вдогонку ему крикнул Керем. – Пускай дорого. За мной не пропадет!

... В ночной мгле, минуя людные места, Аршад добрался до Курдобы. За околицей остановился, прислушался. Издалека учуяв его, на той стороне деревни залаяли собаки. Аршад пустил коня шагом.

Большой серый щенок, которого спускали на ночь, виляя хвостом, выбежал ему навстречу. Аршад снова огляделся по сторонам. Потом сошел с коня, привязал его к шелковице и постучал в дверь.

– Кто там? – послышался голос Сервиназ.

– Открой, только не зажигай света.

– Что случилось, Кара? – прошептала жена, отворяя дверь.

– Ничего, закрывай! Простокваша есть? Сделай мне ковш айрана!

Сервиназ торопливо развела простоквашу водой, подала мужу.

– Чего ты винтовку не кладешь?

Аршад единым духом осушил ковш.

– Сейчас уеду. За мной милиция может прийти.

– Ой, что это! Человека убил?!

– Подстрелил бандита. Не знаю, жив, нет... Баранов угнать хотели.

– А милиция зачем тебя ищет?

- Да это Вейсал, чтоб он сдох!.. Пристал, бумаги нет на оружие!
- Какой бумаги? – опешила Сервиназ.
- Ладно! – сказал Аршад, теряя терпение. – Откуда я знаю, какая такая бумага! Сунь в хурджин пяток чуреков, пендира, лука...
- Куда ж ты теперь, Кара?
- Не знаю. В гачаги подамся.
- В гачаги? Ты же сам в гачага стрелял!
- Стрелял... Не знаю даже... Одно знаю: Вейсала этого из-под земли добуду, пущу ему пулю в лоб! побыстрее давай!
- А я как же, Кара?
- Отомщу подлюге, приеду ночью, заберу тебя и – на тот берег!
- А это? – Сервиназ взяла руку мужа и положила ее себе на живот, прикрытый длинной ночной рубахой.
- Который месяц-то?
- Пятый...
- Ну и что? На том берегу не рожают, что ли? – И Аршад крепко расцеловал жену...
- Береги себя! – шепнула Сервиназ, когда, приторочив к седлу полный хурджин, Аршад вскочил на коня.
- Ладно. Я буду наезжать.
- Да хранит тебя Аллах!
- Аршад пустил жеребца шагом, но, выехав за околицу, тотчас перевел коня в галоп.
- ...Он ехал совсем один по темной ночной степи. Теперь надо было опасаться не только гачагов, но и милиции. Знать бы хоть, из какого села этот, которого он подстрелил... А так никуда и не заедешь, опасно. Аршад готов был лопнуть от злости. Встреть он сейчас Вейсала – и минуты не колеблясь, всадил бы ему пулю в лоб.
- К рассвету Аршад добрался до дома Шамхала. Громко залаяла собака.
- Чего ж ты, псина? – укоризненно спросил Аршад, подходя к кобелю.
- Слез, поставил коня под айван. И тихонько постучал в дверь. Шамхал вышел в накинутой на плечи чохе.
- Добро пожаловать! К добру ли? – сказал он, вроде бы нисколько не удивившись.
- Бог даст, к добру, – оглядевшись по сторонам, негромко промолвил Аршад.
- Но Шамхал уже понял: что-то не так. Взял коня под уздцы, отвел в сарай, насыпал ему ячменя и овса, вернулся и, отворив дверь во внутреннюю комнату, сказал Аршаду:
- Проходи.
- Аршад снял с плеча винтовку, прислонил к стенке у входа и уселся на тюфячке. Шамхал все еще стоял в одном белье.
- Ну, рассказывай, что случилось. Что-то ты на себя не похож...
- Долго говорить...
- Тогда я пойду оденусь.
- ... Светало. Жена Шамхала ставила в коридоре самовар.
- Ну и что ты надумал? – сказал Шамхал, когда Аршад выложил ему все начистоту.
- Перво-наперво – пулю Вейсалу! Потом возьму жену и – на тот берег!
- На тот берег... А ты знаешь тамошних помещиков? Они тебе воли не дадут. Прислуживать заставят.
- Ни черта! – запальчиво сказал Аршад. – Давай вместе! Вдвоем будем, никто нам не страшен.
- Шамхал помолчал.
- Не просто это: с домом расстаться, с людьми...
- А зачем расставаться? Побудем там и обратно!
- Не выйдет. Вернешься – сразу к стенке!
- Кербалаи Асад двадцать лет был там в гачагах!
- Кербалаи Асад бежал от царя Николая, а мы от кого? От батрака Вейсала?
- Ну не могу же я спустить ему! Да и он пока жив, будет теперь за мной охотиться.
- Не сделает он тебе ничего такого, не может сделать. Ты бился с бандитами, колхозный скот отбил! Думаешь, власть во внимание не примет?
- Власть не мне, власть Вейсалу поверит!
- У тебя свидетели. И бандита ты подстрелил.

– А-а... – Аршад безнадежно махнул рукой. – Он начальник, ему вера. Не поставили бы на такую должность. А ты... Не хочешь, не надо. Один уйду!

– Ты меня знаешь, Аршад: где твоя рука, там я голову положу. Но, если честно, колхоз он как раз для таких, как мы с тобой. Работай на совесть, и ни один сукин сын слова поперек не скажет! Подождать бы, Аршад, посмотреть, как дело пойдет...

Жена Шамхала принесла на подносе чай, еду... «Добро пожаловать, братец...», и вышла. Друзья завтракали в полном молчании.

Когда Аршад сел на коня, солнце светило уже вовсю.

– Ты уж давай с оглядкой, – сказал Шамхал. – Подальше от людных мест... По соседству окажешься, считай – этот дом твой.

– Будь здоров! – сказал Аршад и тронул ногами коня.

Полюнная степь, без конца и края, покрытая белесым инеем, серебристо сверкала под лучами утреннего солнца. Аршад скакал, грудь его наполнилась горьковатым полынным духом, и он страстно мечтал тут, в этой степи, встретить Вейсала с его отрядом. Увидел бы товарищ начальник, каких сыновей рожают наши матери! Стая ворон взвилась в воздух. Аршад, на скаку перехватив винтовку, выстрелил. Одна из птиц упала, и сердце у Аршада забило от радости.

В безлюдных камышах на берегу Кенделан-чая он наконец остановил коня. Пристально, насколько хватило глаз, оглядел все вокруг. Никого. Раздвигая шуршащие камыши, Аршад выехал на поросший пыреем пустырь, сошел с коня, стреножил его, пустил пастись. Завернувшись в бурку, он рухнул в пырей и, едва успев намотать на руку ремень винтовки, заснул мертвым сном.

Проснулся он уже за полдень. Встал, несколько секунд прислушивался. Тихо, негромко журчит река... Отсюда, из скрытых камышами зарослей пырея, не видно было ничего, кроме ярко-голубого неба.

Аршад осторожно спустился к реке. По ту сторону ее, насколько хватило глаз, тянулась все та же бескрайняя полынная степь. Еще раз внимательно оглядевшись, Аршад присел на корточки, умылся. Потом сходил за конем, напоил его...

Снял хурджин, поел. Снова завернулся в бурку, лег навзничь и уставился в небо «Ну, Шамхал... Не узнать человека... Раньше скажешь: «винтовка», загорался весь, а теперь... Не мужик, а мокрая курица...»

Конь, пощипывая траву, жевал и под мирные эти звуки Аршад снова уснул, а когда проснулся, уже вечерело. Он мигмом вскочил: «И что это со мной, никогда постольку не спал?..» Прислушавшись, он вывел коня из камышей.

– Ну, помогай Бог! – произнес Аршад, садясь в седло.

Он ехал по ночной степи и корил себя за то, что обратился к Шамхалу: «На что тебе этот Шамхал? Слава Богу, броды через Аракс знаешь, как свои пять пальцев. Рассчитаешься с начальником Вейсалом, заберешь жену и – на ту сторону! Там Рзакулу, друг Кербалаи Асада. У него, говорят, семеро сыновей, три – знаменитые гачаги. Примкнешь к ним, и узнают люди, что за парень этот Кара-Аршад. И гачаг Сулейман, и сам гачаг Наби так же начинали...»

Аршад размечтался, и мечта его о жизни героя-гачага становилась все ярче, все прекрасней...

Долго ли, коротко ли Аршад ехал, предаваясь своим мечтам, но только оказался в Харамы. Собаки, с лаем рванувшиеся навстречу, замолкли, признав его.

– Кто там? – послышался голос Керема.

– Подойди! – придержав коня, сказал Аршад. И когда Керем и Али приблизились, спросил негромко: – Как дела?

– Сам исполком приезжал, – сказал Керем.

– А чего?

– Расспрашивал, как было дело, правда ли, что ты с бандитами перестрелку вел. Допытывался, почему скрылся. А я говорю, чего ж ему оставалось, Вейсал забрать хотел – бумаги, мол, на винтовку нет.

– А исполком что?

– Он говорит, прав Вейсал, советская власть уже десять лет, как велела сдать оружие. Почему, говорит, Аршад не сдал?

– А ты?

– А я сказал, винтовка – это память ему от дяди гачага. И потом, говорю, он же не грабить с ней ходил!

– Ладно, понятно! – нетерпеливо перебил его Аршад. – Какое было его последнее слово?

– Последнее слово было: найди Аршада и скажи, чтоб объявился. А винтовку пускай сдает. А то плохи, говорит, будут его дела.

– Та-а-ак... Значит, своими ногами – в тюрьму?

– Он говорит, не хотим, чтоб Аршад в кулацкую банду угодил.

Аршад вспыхнул:

– А ты не сказал ему, что если б Аршад хотел в банду, он бы давно там был! А он в них стрелял, в бандитов! А вы... Вы честного человека можете бандитом сделать! Ну в самом-то деле – что творят?!

– Смотри, в Курдобе не появляйся, – встревоженно сказал Али. – Джума был там, говорит Вейсал со своими людьми искал тебя. Членам сельсовета следить велел, как появишься, чтоб сразу знать дали.

– Ну, все, – сказал Аршад и поглядел в темноту. – Оставайтесь здоровы!

– Куда ж ты теперь? – спросил Али.

– Потом узнаешь. – Аршад тронул коня.

Сторонясь дорог, степью Аршад добрался до Карабулака.

Он знал, что начальник милиции Вейсал живет на окраине в бывшем доме Махмудбека. За домом был большой сад. Забор повалился, Аршад поехал прямо меж деревьями. Виноградные лозы, кусты ежевики, сирень, все переплелось в этом заброшенном саду. Аршад привязал коня в самой гуще и, осторожно раздвигая ветки, крадучись, стал подбираться к дому. Несмотря на позднее время, окна были освещены, за тюлевыми занавесками мелькали темные силуэты. В соседних дворах было темно и тихо. Аршад снял с плеча винтовку и скользнул под айван. Дверь отворилась, вышел Вейсал. Аршад едва удержался, чтоб не спустить курок, но такой поступок показался ему недостойным. Он дождался, пока Вейсал вышел из уборной, вернулся в дом, и тогда, внезапно распахнув дверь, вскинул к плечу трехзарядку.

– Я не хотел убивать тебя бесчестно, – из-за угла. Скажи жене, что нужно.

Вейсал спокойно взглянул на Аршада.

– Если б ты не хотел убивать бесчестно, – негромко сказал он, – ты не прокрался бы в дом и не целил бы из винтовки в безоружного человека! Да еще когда дома жена и дети.

Аршад метнул взгляд на дверь в соседнюю комнату, выхватил из ножен кинжал.

– Бери свой кинжал, – так же, как Вейсал, вполголоса сказал он.

– Кинжала у меня нет, – спокойно возразил Вейсал, но, если считаешь себя мужчиной, давай я возьму винтовку, пойдем в поле.

Спокойные эти слова так подействовали на Аршада, что у него вдруг пропала охота стрелять в Вейсала, и он стоял, не зная, на что решиться.

Тут в комнату вошла молодая красивая женщина. Взглянула на него и замерла в ужасе...

– Чего он хочет, Вейсал?

– Ничего, сестрица, – сказал Аршад, сунув кинжал в ножны. – Не беспокойся.

Он повернулся, в три прыжка спустился во двор, схватил коня и вскочил в седло. Вейсал сорвал со стены винтовку, хотел было броситься вдогонку, но потом прислонил винтовку к стене, тяжелым шагом подошел к столу, взял папиросу.

– Да в чем дело?! – Жена с ужасом глядела на него. – Что случилось?

Вейсал не ответил. Он молча курил, уставившись в одну точку.

– Объясни наконец, в чем дело! – женщина вышла из себя. – Чего он хотел, этот парень?!

– Не знаю. Отстань! – Вейсал ткнул папиросу в пепельницу и раздавил ее.

Вейсал и впрямь не знал, как объяснить жене, что произошло. Главное, он не знал, он не был уверен, так ли уж не прав Аршад, решив отомстить ему. Конечно, закон есть закон, и он требует, чтоб на ношение оружия человек имел документ. Но ведь из этой «незаконной» винтовки Аршад стрелял, охраняя колхозное достояние. Впрочем, тут еще не все ясно. И что его приятели показывают – это тоже требует проверки, на их слово положиться нельзя. И потом, почему я должен быть уверен, что такой ловкий, такой известный вор ни разу не использовал свое оружие для грабежа? За столько-то лет! А главное – если ты ни в чем не виноват, если ты сражался с грабителями из кулацких банд – даже подстрелил одного – зачем бежишь от властей? Тебя, может, никто и сажать не собирался? А теперь что? Деваться некуда, примкнешь к банде?.. Ладно, скоро все выяснится. Установлено, что в последние дни ни один человек не ушел за Аракс, значит, след раненого – если Аршад действительно ранил человека – отыщется обязательно.

... Аршад сразу пустил коня в галоп. А вот куда он скакал галопом, зачем гнал коня, этого он не знал. Вейсал устыдил его, Аршада удивило поведение начальника. Смелый, выходит, этот Вейсал. И прав: тайком пробраться в дом и при жене, при детях стрелять в человека – не дело. Надо же: я его на мушку взял, а он, подлец, хоть бы бровью повел! Знали, кого начальником назначить. Только мне от этого не легче. От меня он все равно не отстанет. Ладно, встретимся лицом к лицу, посмотрим, как тогда заговорит...

Конь давно уже шел шагом, Аршад ехал не спеша и раздумывал. Всякому большому гачагу люди нужны, соратники. Одной рукой в ладоши не хлопнешь. Тогда-то к дяде Кербалаи Асаду со всех сторон стекались люди-бедняки, которых обижало правительство. А сейчас? Нынешние гачаги – сынки богачей, обиженные тем, что власти лишили их богатства, спесь с них сбили. Аршаду с ними не по пути! Натерпелся он от их чванства, за человека его не считали. И чего Вейсал дурака валяет? Проще простого разобраться-то!..

Аршад еще злился на Вейсала, но чувствовал, что злость его все больше выдыхается, и ругал за это себя: «Дурак! Распустил нюни! Да попадись ты ему, он тебя мигом в Сибирь упечет! А ты дня не выдержишь в четырех стенах – сердце лопнет!»

От одной мысли о тюремных стенах Аршад содрогнулся. Взошла луна, и вокруг стало так светло, так широко и ясно, что у Аршада томительно сжалось сердце перед простором и бескрайностью степи, залитой лунным светом.

Когда он подъехал к дому бывшего своего приятеля Кочари, и собаки свирепо бросилась на него, громкий женский голос спросил:

– Кто там?

– Это я, тетя Телли, Аршад.

В дверях, кутаясь в теплую шаль, показалась высокая пожилая женщина.

– Что так припозднился, сынок? – спросила она. – Все ли благополучно?

– Все в порядке. Где Кочари?

– С колхозной отарой. Утром придет... Слезай.

– В доме есть кто?

– Никого нету.

Аршад спешил, отвел в сарай коня. Тетя Телли зажгла лампу, принесла поднос с едой, и, ни о чем не расспрашивая гостя, поставила поднос перед ним.

– Тетя Телли! – наевшись, сказал Аршад. – Я устал, спать хочу.

– Сейчас, сынок. Только постелю.

Хозяйка принесла тюфяк, одеяло, подушки...

Едва только Аршад снял папаху, пиджак, сапоги и положил рядом винтовку – брюки и носки он снимать не стал – как сон тотчас же сморил его.

... Кочари от души рад был приезду Аршада, хотел даже прирезать барашка, но Аршад отговорил, сказав, что не может задерживаться.

– Начальник бесчестно поступил с тобой, – заключил Кочари, когда Аршад рассказал ему все.

– Понимаешь, я б его прикончил, – вздохнул Аршад, – но задели меня его слова, зацепили за живое. Ну, правда, как это так – убить человека в доме? Ладно, думаю, никуда ты от меня не денешься, столкнемся еще на узкой дорожке. А ты как – колхозу служить намерен?

– Что ж остается делать?

– Жеребец-то у тебя или в колхоз сдал?

– Сдал... – Кочари опустил голову.

– Да... Колхоз этот всех нас курицами мокрыми сделает! Слушай, брат, садись на коня и со мной! На ту сторону!

– А мать?

– С собой бери. Я тоже жену беру. Одна винтовка есть, вторая будет. Отберем у какого-нибудь милиционера! Деньжат добудем, того-сего... И станет у нас с тобой опять по целой отаре. Сами себе господа, сами себе хозяева!..

Аршад говорил красиво, страстно, Кочари увлекся. Аршад знал, с кем говорить: парень непоседливый, смелый, ловкий, ему только дай пострелять! Вон как глаза заблестели!

– Что ж, я не прочь, – мечтательно произнес Кочари. – Только... Он замялся. – С матерью надо потолковать.

Позвали тетю Телли. Она слушала, не поднимая глаз.

– Быстро же ты, сынок, забыл кровь отцова брата... – промолвила женщина, когда Кочари умолк. – И, отвернувшись от помрачневшего сына, взглянула на Аршада. – У нас там в Иране дядя его жил, брат отца. Люди Ашрафи-хана напали на него, убили, разграбили имущество... А мы теперь к ним под крылышко?

– А зачем к ним, тетя? Сами по себе будем.

– Дадут они вам жить – самим по себе! Подомнут, скрутят!

– Но ведь отец отомстил... – не глядя на мать, сказал Кочари. – Убил Ашрафи-хана.

Тетя Телли строго взглянула на него:

– Последнее мое слово – умру, а к иранцам на поклон не пойду. Ты пойдешь – прокляну! – Она помолчала. Потом подняла глаза на Аршада: – Сынок! – Голос ее звучал немного мягче. – Не пойму, чем вам советская власть не угодила? Отобрала все у богачей, вам отдала, сказала, владейте сообща, пользуйтесь. Чего же еще нужно? И господ нету над вами, что заработали – ваше. Школы стали открывать, больницы. И все даром... Чего тебе нейметса, сынок?

– Что богатеев прогнали – хорошо! Я их на дух не принимал, наглые морды!.. Трудом нашим богатели, а за людей не считали! Я – за колхоз, тетя Телли, понимаешь? Но раз советская власть за бедняков, почему ж советский начальник Вейсал из-за старой трехзарядки в тюрьму меня засадить норовит?! Я с этой трехзарядкой в руках колхозный скот охранял! Выходит, Вейсал решил господином стать, – чего моя нога хочет?..

– Терпения у тебя маловато, сынок... Я этого Вейсала видела, приезжал сюда... Молод он, начальник – без году неделя... Может, не знает еще толком ни законов, ни порядков. Да откуда знать-то – ведь батраком был...

– А вот мне колхоз не по душе! – с улыбкой сказал Кочари. – Надумаю завтра жениться, а пяток баранов не возьми из отары!

Тетя Телли махнула рукой.

– Брось пустое молоть! Ты только женись. За овцами дело не станет.

– Нет, мама... Не то. Раньше – как ни говори – сто двадцать овец каждый вечер в мой загон приходили. Захотел – режь хоть десяток! А теперь и одной не возьми...

– Ну, сынок... – Тетя Телли вздохнула. – Потерпеть надо. Посмотрим... Может, и обойдется. Сразу-то все не наладишь. Помнишь, тот из района говорил, в конце года все будет делиться по-честному, ничей труд не пропадет...

– Знаешь, тетя, – спокойно и рассудительно, словно аксакал, сказал ей на это Аршад, – если все будет, как Советы указывают, тогда дело пойдет. А если в начальство пролезли бессовестные, начнут угли к себе подгрести, да над людьми мудрить... Вон Алиш с весны только в председателях, а уж всех родственников по теплым местечкам пристроил, – и бригадиром, и на ферму, и на склад...

Тетя Телли подумала.

– Нет, ребята: плохо ли, хорошо, а тут ваш родной край. Не согдится Алиш в председатели, другого изберете. Тот из района говорил, орехи кидать будут.

(До революции так иногда избирали сельских старост. Для каждого кандидата выделялась отдельная коробка, у каждого избирателя – орех. В чьей коробке больше всего орехов – тому и быть старостой.) Про орехи Аршад что-то слышал, да не очень-то понял, что к чему.

– Нет, сынок, – заключила тетя Телли, – бросьте вы эти мысли. Как все, так и мы. Будешь работать на совесть и жить будешь по-человечески.

Больше она ничего не сказала. Поднялась и ушла к себе.

– Видишь, какая у меня мать, – сказал Кочари не то с гордостью, не то с огорчением. – Оставить ее?.. Осудят люди. Знаешь, Аршад, тебе тоже не надо, не уходи. Кровавыми слезами наплачешься. Там, говорят, во всех канцеляриях фарсидские помещики понатыканы. По-ихнему ты не знаешь, секретов-хитростей не разберешь – каждому взятку суй!

Все это так, правильно он говорил, но почему-то на этот раз Аршад расстроился вконец. Ничего не сказав другу, даже не попрощавшись с ним, он вскочил на коня и впервые в жизни ощутил полное одиночество. «Да что ж это с людьми сделалось? Каждый на что-то надеется, ждет... Переменится народ».

... Той же ночью Вейсал с пятью милиционерами проехал вновь вдоль берега Аракса. Поговорил с комиссаром пограничников. А под утро один из доверенных людей, которые имелись у Вейсала по всем селам и хуторам, сообщил ему, что в Гадживелилер у старой Нисы отлеживается какой-то раненый.

Вейсал тотчас приказал забрать этого человека и доставить в районную больницу. И строго наказал врачам, чтоб обязательно поставили парня на ноги. Когда раненому стало полегче, Вейсал допросил его и убедился, что прогадал, не поверив Аршаду. Что там он делал с незаконной своей винтовкой прошлые десять лет – это особый разговор, а вот с кулацкой бандой, напавшей на ферму, он перестрелку вел – это точно. Не подпустил к отаре, ни одной овечки не потерял. И нехорошо стало на душе у Вейсала.

Теперь все заботы его сводились к тому, чтоб разыскать Аршада, уговорить, не дать парню примкнуть к бандитам. И он велел всем, кто встретит Аршада передать ему, что власти, милиция, он, Вейсал, ничего против него не имеют. Все это Аршаду сказали, только тот не поверил ни единому слову.

Вейсал понял, что добром парень к нему не придет. Надо поймать Аршада и заставить его вернуться к нормальной жизни. Ну, в самом деле, нельзя же допустить, чтоб такой человек пропал – подался в банду!

... Однажды вечером Фетиш – «Шепоток» донес Вейсалу, что приехал Аршад, сейчас дома. (Вислоухий Фетиш любую новость, и вздорную, и действительную, тотчас сообщал районному начальству, за что и получил свое прозвище.) Вейсал, не теряя ни минуты, взял пятерых самых храбрых своих ребят и поскакал в Курдобу. В полночь они окружили дом Аршада.

Сервиназ и Аршад проснулись от свирепого собачьего лая. Он вскочил, прислушался.

– Что там, Кара? – сонным голосом спросила Сервиназ.

– Кто-то чужой!

Через несколько секунд Аршад был одет.

– Может, лису учуяли или волка? – с надеждой взглянула на мужа Сервиназ.

– Нет, человек... – прошептал Аршад.

Жеребец Аршада нерасседланный стоял в сарае. Аршад глянул – дверь сарая заперта – не вор. Один за другим, не спеша, он застегнул на поясе патронташи, взял винтовку – она всегда была заряжена, дослал в патронник еще один патрон и лишь после этого громко спросил:

– Кто там?

– Аршад, это я, Вейсал. Мне надо поговорить с тобой!

– Хороший будет разговор! Окружил дом – теперь поговорить!.. Не надейся, Вейсал: Аршад не из тех, кого можно гнать перед конем! Убирайся. Уходи, пока жив!

– Да мне, правда, надо потолковать с тобой!

– Один шаг вперед – стреляю! – ответил Аршад. – Убирайся!

– Мы все выяснили, Аршад. Бандит, которого ты подстрелил, ранен, лежит в больнице. Против тебя нет теперь ничего, перестань скрываться!

– Дураков нету – верить вам!

– Пойми, я ошибся.

– Ошибся? Ошибку пришел исправлять? Не стыдно перед моей женой?

Да, Аршада не уговорить. Надо дожидаться рассвета: может, днем аксакалы сумеют убедить парня. Чтоб поверил, чтоб перестал скрываться.

– Я никуда не уйду, Аршад. И знай: нас здесь шестеро. Я хочу от тебя одного – перестань скрываться!

– Пусть будет хоть шестьдесят, все равно вам меня не взять! Я не сдамся, Вейсал! Лучше смерть!

– А может, он не врет, Кара? – шепнула Сервиназ.

– Врет! Схватит и – в тюрьму!

– Но как же быть? Их много!

– Не бойся. Выйду сейчас, тихонько прикрою дверь.

Аршад отворил дверь, внимательно взгляделся в темноту: никого видно не было. Значит, они за домом. Он лег на землю и, крепко сжимая в руке винтовку, пополз к сараю. Услышал негромкий разговор, замер, прислушался... Не разобрать, тихо говорят. Пополз дальше. Не скрипнув, открыл дверь сарая. Вывел коня во двор... И, мгновенно вскочив в седло, пулей вылетел за ворота. Милиционеры вскинули было винтовки, но Вейсал запретил стрелять.

Одного из милиционеров Вейсал послал за Алишем, а сам остался у дома Аршада. Огонек его папиросы краснел, не затухая ни на минуту.

– Вот что, Алиш, – сказал начальник милиции. – Мне сообщили, что Аршад ночует дома, и я нарочно приехал, чтоб застать его, потолковать, – ему больше незачем скрываться.

– Ну и как, потолковали? – ровным голосом спросил Алиш.

– Удрал, – попыхивая папиросой, сказал Вейсал.

– Да... Этот живым не сдастся.

– Как же быть? – спросил Вейсал.

– Тут вот что... – подумав, сказал Алиш. – Если ты впрямь решил не сажать его в тюрьму, есть один путь вернуть парня. У них в роду аксакал Айваз, Аршад ему доводится зятем, Айваза он послушает. Убеди этого человека, что Аршаду ничего не угрожает, он уговорит парня.

– А я думаю, – не очень уверенно начал Вейсал. – У Аршада дома не спят... Может, жену его позовешь? Я бы сказал ей два слова.

– Какие слова? – Алиш недовольно взглянул на Вейсала.

– Скажу – услышишь! – раздраженно бросил Вейсал.

– О чем толковать с женщиной? Все, что нужно, скажи его тестю.

– Но, может, жена быстрее уговорит Аршада? Убедит, что мы не забирать приходили.

– Не женское это дело! – Алиш отвернулся с решительным видом.

– Ладно! – Вейсал с трудом сдерживал ярость. – Где найти Айваза?

...Сурхая недавно перевели в Баку с повышением. Авторитет дяди Айваза, уважение к нему возросли непомерно, а потому председатель колхоза Алиш отправился к нему сам.

– Дядя Айваз, приехал начальник Вейсал, хочет потолковать с тобой насчет Аршада.

Через несколько минут дядя Айваз вышел из дома одетый и очень сердитый.

– О чем нам с Вейсалом толковать? Парень себя под пули подставлял, скотину колхозную спас, а начальник за ним гоняется! Бумажки нет на винтовку – давай садись в тюрьму?!

– Начальник Вейсал уже понял, что дал промашку...

– ... Ладно, – сказал дядя Айваз, выслушав Вейсала. – Я скажу Аршаду: «Перестань прятаться, не глупи, возвращайся домой?» А если ты его посадишь? Какими глазами мне на людей смотреть?

– Наша власть без обмана. Дал слово – все.

– Ну что ж... Слово мужчины – слово.

О том, что Аршад ночью был у него, хотел его застрелить, но раздумал, проявив истинное благородство, Вейсал не сказал никому. Это было его тайной, и он чувствовал, что есть в этой тайне что-то такое, что возвышало его в собственных глазах, и он, Вейсал, должен был доказать, что достоин этой высоты.

... В район Аршад ехать не согласился, и встретились они в доме у дяди Айваза.

– Начальник, – сказал Аршад, не выпуская из рук трехзарядку. – Я возвращаюсь с условием, что винтовку ты у меня отбирать не будешь, – она мне – память от покойного дяди.

– Согласен. Но у меня тоже условие: винтовка эта будет служить лишь колхозу. Охранять колхозное добро.

– Как это? – не понял Аршад.

– Не понимаешь? – Дядя Айваз усмехнулся. – Начальник хочет сказать, чтоб ты с этой винтовкой на воровство не ходил.

– Колхозное добро народу принадлежит, не кулакам, —хмуро заметил Аршад.

– Мы караем и тех, кто у кулаков ворует. С воровством мы боремся. Но главная наша задача – ликвидировать банды, организованные кулаками. Гачаги из кулацких банд сеют смуту, мешают колхозному строительству.

Вейсал говорил горячо, напористо. Аршад чуть прищурившись, молча посматривал на него.

– Говоришь, банды уничтожить надо, а того, кто в кулаков стреляет, в тюрьму готов посадить!

– Хватит об этом! – Вейсал не скрывал раздражения. – Этот вопрос мы решили.

– Чего опять заводишь?! – сердито одернул племянника дядя Айваз. – Слушай, что по делу говорят!

... Через два дня, оставив ружье в чабанской хижине, Аршад взял у Али пистолет, пристроил его на поясе под пиджаком, сел на коня и приехал в райцентр.

– Братец! Ты?! – обрадовалась мама. – А говорили, Аршад в бегах. – Она улыбнулась. – Это как же так?

– Болтовня! – ответил Аршад. – Вот вызвали в милицию, бумагу дать на мою винтовку.

– Всего-то? А в городе лишь о тебе и разговору: племянник Айваза из Курдобы перестрелял, мол, целый отряд гачагов, пятерых убил.

– Насчет пятерых – вранье, а одного подстрелил, это верно.

Сказав, что едет сейчас в милицию, Аршад попросил, чтобы Шафахат – мальчик приходился им родней, учился и жил в доме матери – поехал с ним – постеречь коня.

– А чего не привяжешь? – спросила мама.

– Так будет надежней! – Аршад улыбнулся.

Он посадил Шафахата позади себя и поехал в милицию.

Спешившись в саду за зданием милиции, Аршад вручил мальчику повод.

Решительным шагом поднялся он на веранду милицейского управления. Народу было полно: одних вызвали, другие пришли с жалобой. Никто не обращал на Аршада никакого внимания.

Он осторожно заглянул в окно: Вейсал что-то писал, сидя за большим столом, револьвер висел у него на ремне сбоку. Аршад отступил от окна, внимательно оглядел веранду: куда бежать, если Вейсал все-таки обманул его и захочет взять. Потом мысленно произнес: «С Богом!» и, пройдя коридором, направился к двери начальника. Милиционер преградил ему дорогу:

– Куда лезешь?!

– Не ори! – прикрикнул на него Аршад. – Меня сам начальник вызвал!

– Не тебя одного вызвали! – Милиционер в сердцах толкнул Аршада в грудь. – Иди туда! – он ткнул пальцем в сторону веранды. – И жди!

Не долго думая, Аршад схватил тощего нескладного мужичка в милицейской форме, отшвырнул в сторону и, распахнув дверь, вошел в кабинет. Вейсал вскинул голову, улыбнулся...

– Что такое? – спросил он милиционера, который вслед за Аршадом ворвался в кабинет.

– Да этот... – Милиционер не мог говорить спокойно. – Этот медведь... Насилие применил!

– Насилие?!

– Я ему: нельзя, жди, где все, вызовут! А он меня...

– Хорошо, – прервал милиционера Вейсал, – оставь нас. Он попросит у тебя прощения.

Дверь закрылась, Вейсал протянул Аршаду руку и улыбнулся:

– Тут, милый, не степь. С милицией надо обращаться вежливо. Рад тебя видеть, Аршад!

Аршад осторожно пожал ему руку, готовый в любой момент сорваться с места.

– Садись, садись! – сказал ему Вейсал, указывая на стул. Аршад пододвинул стул ближе к двери и бочком пристроился на нем.

– Осторожность украшает храбреца, сказано правильно, но... – Вейсал улыбнулся. – Ты больше не должен меня опасаться. Я дал слово. Мы с тобой мужчины. – Он протянул Аршаду коробку папирос.

– Не курю.

– Гачаг, которого ты ранил, выздоровел, – Вейсал положил папиросы на стол, закурил. – Но других из его банды пока что поймать не удалось.

– Может, ушли за Аракс?

– Нет. За это время никто туда не переходил.

– Как это можно знать? – с сомнением сказал Аршад. – Через Аракс сто бродов.

Вейсал не возразил. Затянулся разок-другой...

– Парень-то, ну тот, раненый, по глупости с ними связался. – Аршад с любопытством взглянул на Вейсала. – Председатель их сельсовета крутить начал, дядя, мол, у тебя кулак, а парень горячий, самолюбивый, разозлился и ушел к гачагам.

– И что ж теперь? На ноги встанет – в тюрьму?

– Не думаю... – сказал Вейсал. – Сейчас выясняем, какие за ним дела. А так что ж. Сам он из середняков... Ты вот что, Аршад, ты ухо держи востро, дружки его попытаются мстить.

Аршад высокомерно усмехнулся:

– Ты мне бумагу на винтовку дай, а потом, если они такие смелые... Посмотрим!

Вейсал подписал разрешение на ношение оружия.

– Приходи сегодня обедать, – сказал он, протягивая Аршаду бумагу. – Знаешь ведь, где мой дом? – Вейсал усмехнулся. Аршад смущенно потупился.

– Да будет всегда накрыт твой стол! Только я... Мне домой надо.

– Нет, нет! – Вейсал снова усмехнулся. – Приходи обязательно!

– Честно сказать, перед женой твоей совестно. С каким лицом я...

– Ничего. Лицо прикроешь. А стыд не дым, глаза не выест. Я хочу, чтоб она видела, что мы помирились.

Вейсал не скрывал своей симпатии к Аршаду – ему нравились смелые, решительные, открытые парни. Близок был ему этот человек. Может быть потому, что оба были из бедняков, а может быть, их роднила мужественность, унаследованная от далеких предков.

... Аршад побывал на базаре, купил жене красный цветастый платок, три куса душистого мыла, чаю и сахару. И сам он, и Сервиназ были равнодушны к чаю, но пусть будет в доме – гости могут наведаться.

Аршад ехал по узким улочкам, и ему было душно, казалось, грудь сжата, сдавлена... «И как они живут в такой тесноте?! У нас в степи глянешь вокруг – душа радуется!..»

Привязав коня к дереву, Аршад поднялся на веранду. Мальчуган лет пяти увидел его, побежал в дом, и оттуда вышла его мать. Взглянула на Аршада и чуть не вскрикнула: тот самый! Тот, что хотел застрелить Вейсала!

– Сестрица, – обратился к ней Аршад. – Начальник дома?

Бедная женщина пробормотала, что мужа нет, но тут из соседней комнаты вышел хозяин и улыбнулся жене:

– Не бойся, Гюлюш. На этот раз он явился не по мою душу. Он в гости пришел. Заходи, Аршад... Я сам только-только явился.

– Со стыда впору провалиться... – вздохнул Аршад, следом за Вейсалом входя в комнату.

– Ладно, дело прошлое. Входи и садись! И папаху снимай, у нас тепло.

– Как же я без папахи? Перед женщиной неловко.

– В городе другие порядки. – Вейсал рассмеялся. – Здесь наоборот – в папаче неловко. Хоть ты и чабан-кочевник, а все равно: порядок есть порядок... – Он помолчал, вздохнул задумчиво. – А ведь было время, завидовали мы, городские батраки, чабанам. Бродите себе по горам, по долам, господ в глаза не видите... Да... Как волки терзали нас, безответных!

– Они и теперь огрызаются! – Аршад усмехнулся. – С верблюда свалился, а нос дерет!

– Не скажи... Кто поумнее, сообразили, затаились, не пикнут. Поняли: уж если ни англичане, ни немцы с советским государством не справились, у них и вовсе кишка слаба! А кто поглупей, позадиристей, те, конечно, в банды уходят. Поля выжигают... Склады взрывают... Народное имущество, наше с тобой имущество, губят!

– Наше! – согласно кивнул Аршад. – Советская власть – наша власть. Только вот... – Он запнулся. – Колхозы эти... Никак нельзя без колхозов?

– Нельзя, Аршад.

– А чего?

– А то, что в колхозе не может быть эксплуатации. Кто работает, тот и получает. А не будет колхозов, опять начнется: один хозяин, другой батрак... Хозяин за счет батрака живет...

– Будто сейчас все равны!.. – Аршад безнадежно махнул рукой. – Начальник ты и есть начальник. Милиционер – милиционер.

– Но права-то у всех одни! – с жаром возразил ему Вейсал. – На выборах, что рабочий, что комиссар – нету разницы.

– Сдается мне, болтовня это все. – Аршад с сомнением покачал головой. – Чтоб у чабана, у черного рабочего, у исполкома и уважение одинаковое, и достаток!?. Все эти начальники да председатели займут местечки потеплее, а крестьянин как был при сохе, так при ней и останется!

– Нет, Аршад, так не будет!

Вошла хозяйка, принесла хлеб, пендир, две тарелки кюфты. И водку. Положила вилки, ножи. Раньше, приезжая к ним, Аршад не больно-то церемонился за столом. Если подавали кюфту или бозбаш, он сразу крошил в тарелку чурек и в минуту подчищал все, даже и не дотрагиваясь до прибора. А теперь он все поглядывал на Вейсала и осторожно, словно боясь разбить посуду, отрезал кусочек пендира, клал на хлеб... Кюфту он ел ложкой, а мясо из нее доставал вилкой. Но такая еда была для него чистой мукой; да и вилка со столовым ножом нелепо выглядели в чабанских руках, огрубевших от мороза и ветра.

Вейсал наполнил рюмки.

– Ну, давай!

– Я не пью.

– Тогда я, – Вейсал улыбнулся. – За нашу с тобой дружбу!

Аршад сдержанно кивнул.

... Сразу после обеда он поднялся.

– Чего ты? Посиди, чайку выпьем.

– Надо ехать. А до чая я не охотник.

– Ну что ж... – Вейсал встал из-за стола, протянул Аршаду руку. – Счастливо тебе! Поосторожней. Вчера неподалеку от Курдобы видели кулацкий отряд.

... Солнце садилось за далекую гору. Аршад галопом летел по широкой степи. На поясе – наган с патронами, под седлом жеребец, каких мало, дома ждет красавица жена. Чего еще надо человеку? Кровь кипела в Аршаде, ему не терпелось встретиться с гачагами, с теми самыми, что точат на него зубы. Широко разбредясь по степи, паслась отара. Аршад узнал чабанов: овцы Гаджи Керима. Не отобрали еще, у них там пока колхоза нет. Эх, жалко слово дал, раньше уж он ни за что не проехал бы мимо! А если взять одного? Один барашек – тоже кража считается? Да в случае чего он так прямо и скажет Вейсалу: да, взял барашка! Настроение было, понимаешь, вот и взял, не посчитай за грех. И тоже понять должен: каждый день приезжаю к жене с пустыми руками! Сервиназ, красивая, статная, ласковая, встала вдруг у него перед глазами – даже дух захватило. Аршад приподнял на затылке папаху, легонько шевельнул ногами, конь опять перешел в галоп. Покружив вокруг отары, он приметил увесистого, нагулявшего жирок ягненка и, с привычной ловкостью связав по ногам, закинул на седло.

Когда он въезжал в Курдобу, уже стемнело. Небольшое стадо коров, что остались во дворах, возвращалось с пастбища. Приятно тянуло дымком горящего кизяка. Аршад стреножил коня, отпустил его на пустыре и зашагал к хибарке.

– Я гляжу, ты веселый приехал! – Сервиназ радостно улыбнулась мужу.

– А чего мне хмуриться – все слава Богу! – Аршад поставил барана на землю. – Держи, а то сбежит!

Он отвел коня в стойло, не спеша расседлал его, насыпал в кормушку ячменя, соломы...

– Нож принеси и воду, – сказал он жене, выходя из сарая.

Освежевав барана, Аршад велел Сервиназ позвать дядю Айваза, а сам уселся на кошме, возле горящего очага. Кинжалом мелко накрошил мясо, в сторонке, где меньше жар, поставил на камни перевернутый садж и положил на него мясо.

... Айваз и Аршад сидели перед очагом при свете заправленной керосином коптилки и ели вкуснейшее блюдо кочевников – поджаренную на садже мелко нарезанную баранину. Дядя Айваз прихватывал мясо кусками тонкого лаваша, неспешно жевал его и ворчал:

– Этот Алиш потому и был всегда бедняком, что не умел заработать, а ему вон какое вверили хозяйство – целую деревню! А люди, знающие толк в делах, в стороне остались...

Аршад понимал намеки дяди Айваза. Ну, в самом деле разве можно сравнить их: Алиша и дядю Айваза. Но тут уж ничего не поделать; Алиш – бедняк, а Советы – власть бедняков.

– Не понимаю я, чего ради советская власть всех этих голодранцев вознесла чуть не до небес? Какой ей в том прок? Голодранец он и есть голодранец!..

Тут уже Аршад не мог согласиться.

– Не беда, если человек беден, – вразумительно сказал он – Как будто если богатый, так он уже в материнской утробе готовый визирь. Да возьми хоть Вейсала. Вчера кто он был? Слуга Керима-аги: подай-прими! А какой стал толковый начальник!.. И среди чабанов парни есть – сам знаешь – дай им простор – покажут себя!

Дядя Айваз промолчал, недовольный. Достал из табакерки табак, свернул сигарку и сказал сварливо:

– А ты зря тогда в людей стрелял. Из-за десятка чужих баранов сделал нас кровниками!

– Колхозное добро – не чужое, дядя Айваз. Наше оно добро общее. Они явились отбить, а мы – не стреляй? Пусть себе берут на здоровье? Мужчины мы или не мужчины? – И, почесав сзади шею, как делал всегда, когда говорил что-нибудь рискованное, Аршад улыбнулся: – Между нами, дядя Айваз, напади гачаги тогда на твою отару, ты б так не рассуждал. Помнишь, на эйлаге свели у тебя гнедого жеребца, дядя Кербалаи Асад со своими напал на их табун и, кроме гнедого, пригнал тебе еще восемь коней!

Больше дядя Айваз не проронил не слова. Да что ж такое творится в мире: можно подумать, этот сын голодранца всю жизнь только и ждал, когда устроят эти проклятые колхозы!..

... – А Вейсал-то оказывается, ничего, стоящий парень, – заключил Керем, когда утром, прискакав в Харамы, Аршад показал чабанам бумагу, выданную начальником милиции. – Еще бы одну винтовку – мне, и сам черт нам не брат! А то этот Русый совсем осатанел – за мужиков не считает! Вчера, говорят, напал ночью на Солсабат, хотел председателя на распыл пустить. Женщины выручили – платки с голов посрывали, бросили между ними...

– И никто не знает, откуда он взялся, этот Русый, – озабоченно заметил Гачай. – Болтают разное, одни говорят – оттуда он, племянник Рагим-хана. Другие – что здешний, из Колкарабаха.

– А имени настоящего никто не знает, – добавил Керем. – Русый и Русый. Да кто б он там ни был, сукин сын, но ловок, собака!.. Сколько раз Вейсал с отрядом против него ходил: двадцать, тридцать милиционеров! Не может взять. Недавно сообщили Вейсалу: Русый со своими в Мандили засел, в брошенном доме. Окружили его, перестрелка была... Прорвался. Ушел от Вейсала со всеми, кто цел остался.

– Мустафаоглу говорит, рубашка на нем заговоренная, – сообщил Караджа. – Вот его пуля и не берет.

– Ерунда! – презрительно бросил Али. – Он как-никак доучился до пятого класса.

– Мустафаоглу еще не то скажет! Сколько раз перед ним джинны отплясывали в Чертовом ущелье! А других не больно-то забавляют!..

– Одно доброе дело он сделал, этот Русый, – задумчиво сказал Керем. – Ухо отхватил Фараджу из Гюнейдарали. Все говорят, дрянь человек, подлюга. Хлебом, говорят, не корми, только бы оклеветать кого, в тюрьму упрятать!

– А главное, он что сделал! – Гачай улыбнулся. – Отхватил кинжалом ухо, сует ему в руки, иди, говорит, отнеси начальнику Вейсалу.

Аршад молчал. То, что какой-то Русый с того берега Аракса безнаказанно разбойничает в их краях, он считал вызовом себе лично. Любой может сказать ему, какой ты, дескать, мужик, если чужой парень хозяйничает у вас в округе.

... А у Вейсала седина пробилась из-за этого Русого. За последнее время банда несколько раз ограбила почту, нападала на колхозы, угоняла скот... И районное руководство выражало справедливое недовольство тем, что Вейсал не может справиться с сопляком – ходили упорные слухи, что Русому не больше двадцати лет. А этот неуловимый мальчишка возникал в самых разных местах, но только не там, где его ждали. Порой Вейсалу начинало казаться, что Русый просто издевается над ним.

... В Харамы приехал Алиш и сказал Аршаду, что его вызывает к себе Вейсал.

Аршад задумался.

«Что опять за история? Не иначе какой-нибудь подлюга наплел на меня начальнику. Оговорить проще простого!..»

– Езжай, – спокойно сказал дядя Айваз, когда Аршад пошел к нему за советом. – Если б он надумал тебя посадить, сюда бы нагрязнул.

... И опять Аршад появился у нас. Как всегда, с винтовкой через плечо.

– Не случилось чего? – спросила моя мама.

– Бог даст, все в порядке. Начальник Вейсал вызвал. Посмотрим...

– А может, на воровстве попался? – мама весело улыбнулась.

– Я же тебе сказал, – Аршад сделал обиженное лицо. – С этим покончено раз и навсегда.

... Когда Аршад закрыл за собой дверь, Вейсал приказал стоявшему в дверях милиционеру никого к нему не пускать, и Аршад с удовлетворением отметил мысленно, что винтовка у него заряжена. Вейсал обошел свой длинный стол, сел возле Аршада и негромко сказал:

– Дело у меня к тебе. И очень важное.

Впервые в жизни чабана Аршада вызвали в государственное учреждение для «важного дела».

- Что за дело? – с достоинством поинтересовался он.
- Слышал, наверное, что выделяет этот Русый?
- Слышал. Не понимаю, чего вы с ним канителитесь!
- Все время уходит из рук. Ничего у нас не получается.

Аршаду понравилось, что Вейсал не постыдился сказать правду, это свидетельствовало о настоящем мужестве.

– Вот, решили пойти на хитрость, – сказал Вейсал и внимательно посмотрел на Аршада.

– На хитрость?
– Хотим, чтобы ты вступил в их группу, вошел в доверие, а, улучив момент, или схватишь и привезешь его к нам или просто пристрелишь.

– А как я попаду в его группу? – Аршад недоуменно пожал плечами.

– Скажешь, колхоз не по душе.

– Дай ты мне лучше трех ребят, я его в честном бою возьму!

– Ничего не выйдет, их не ухватишь, по всем лесам шныряют!

– Да я, сказать по совести, все равно не смогу исподтишка убить, кто бы он там ни был! Народ до сих пор проклинает убийцу Гачага Наби, потому что во сне прикончил его.

– Да ты что – очумел? – Вейсал был возмущен до глубины души. – Равнять героя любимца народа с каким-то подлюгой! Гачаг Наби от царя, от сатрапов его в горы ушел, а Русый этот народное добро грабит!

– Это все так. Я сам на него зол. Но только пусть он хоть брата моего родного убьет, обманом я убивать не стану.

– Ну как ты его иначе возьмешь? Как?!

– Дай мне троих парней, увидишь!

– Выходит, мы, милиция, ушами хлопаем, а вы – раз и схватили?

– Я думаю, в милиции тоже есть настоящие парни, – спокойно возразил Вейсалу Аршад. – Только места наши вы не знаете, как мы. А потом, у Русого наверняка в деревнях полно своих. Увидят – милиция, сразу дадут знать... А на нас кто подумает?

– Ну ладно. А кого ты хотел бы взять?

– Шахмар – раз! – Аршад загнул один палец. – Есть у меня друг в Афшаре.

– Ну?... – как бы вспоминая что-то, Вейсал поднял глаза к потолку. – А еще?

– Еще наш чабан Керем.

– Этот коротышка?

– Что тебе дался его рост! Керема целый отряд из засады не выбьет!

– А еще?

– Все. Нас троих хватит.

Вейсал записал в блокнот названные Аршадом имена.

– Утром приходи, решим. Не ездь в Курдобу, здесь ночуй.

– Почему?

– Да чего мотаться: туда – обратно!

– Ты моего коня видел? Ну вот... Утром позови – буду.

– Ишь, злодей!.. – Вейсал ухмыльнулся. – Одну ночь без жены провести не хочешь.

Вольность эту Аршад пропустил мимо ушей:

– Так я поеду? – спросил он, слегка нахмурившись.

– Давай. Утром чтоб был на месте.

... Утром разговор был такой.

– Я обдумал твое предложение, Аршад. Согласен. Только мало людей берешь.

– Хватит. Чем больше нас будет, тем скорей гачаги учуют.

– Пожалуй... Ладно, будь по-твоему. Пусть эти двое будут завтра здесь вместе с тобой. Посмотрим, что из этого выйдет.

Никогда еще не выходил Аршад от Вейсала такой довольный. Лицом к лицу сразиться с Русым – мысль эта приводила Аршада в восторг. Ну в самом деле зазнался, обнаглел парень: явился с той стороны и вытворяет, что хочет! Будто тут одни бабы живут!

Керем и Шахмар согласились сразу и с удовольствием. Во-первых, их бесило, оскорбляло их мужское достоинство то, как по-хозяйски ведет себя в их краях какой-то пришелец. Кроме того, они получили винтовки, патроны, и теперь не нужно было жаться в сторонке, не имея возможности схватиться с бандитами.

– Будь спокоен, начальник! – сказал Вейсалу Керем, получив винтовку и патроны. – Ты нам поверил, мы тебя не подведем!

Аршаду Вейсал велел задержаться.

– Учти, ты отвечаешь мне за них головой.

– За этих – могу, – Аршад взглянул ему прямо в глаза. – Сто лет знаем друг друга – вместе батрачили.

– Но и воровали вместе!

– Было, – согласился Аршад. – Врать не буду. Но клянусь, у бедняков в жизни своей щепки не взяли!

– Ладно, – сказал начальник. – Буду держать с вами связь. Если где появится, сообщи сразу. Милиция тоже ищет Русого. Учти: их может оказаться немало.

– В таком деле много, мало – не главное. Главное, чтоб момент подходящий!

– Не скажи. – Вейсал озабоченно покачал головой. – Если их окажется полтора десятка, вам троим туго придется, тем более, что наша задача – взять их живыми!

– Посмотрим... – Аршад глубоко вздохнул. – Кому Бог пошлет: им или нам...

... Шахмар и Керем получили по пятизарядке и вдоволь патронов. Вернувшись в Харамы, Шахмар предложил действовать так, чтоб никто не заподозрил, какое у них задание.

– А-а, еще скрывать!.. – бросил Керем. Керем всегда был заносчив.

– Нет, – твердо сказал Аршад. – Знать не должен никто. Иначе им сообщат.

– Будто Русый не знает, что за ним по всей округе охотятся!

– Так то – милиция, – рассудительно сказал Шахмар. – А мы совсем другое дело. Пускай увидят нас в горах с винтовками, подумают, тоже скрываемся. И в голову никому не придет, что мы Русого ищем.

... Вечером они все втроем сидели в хибарке Аршада, закусывали: пендир, чурек, простокваша... Чтобы снаружи ничего не было видно, вход занавесили старым паласом.

Громкий собачий лай заставил их прекратить еду. Все трое внимательно прислушались. Собаки лаяли на чужого.

– Эй, кто там? – не выходя, крикнул Керем.

– Знакомые ваши! — ответил чужой голос. – Из района приехали. Скажи Аршаду, пусть выйдет.

Все трое схватили винтовки и, согнувшись, выбрались наружу.

Керем успокоил собак.

– Эй, кто вы? – повторил он.

– Из района. Скажи Аршаду, пусть выйдет!

– Если дело ко мне, подходите! – громко сказал Аршад.

Несколько мгновений было тихо. Потом из темноты прозвучали выстрелы. Аршад нырнул в окопчик. Керем и Шахмар припали к земле рядом, стреляя на звук выстрелов.

– Эй вы, сукины, дети! – раздалось из темноты. – Всех вас переколошматим.

– Ты – сын своей матери! – крикнул в ответ Керем. – Мужчины не сквернословят!

– Тоже – мужчины, сучьи дети! Мужчины на чужое добро не льстятся!

Вот этот голос показался Аршаду знакомым. Кто ж это мог быть?..

Довольно долго они обменивались выстрелами. Потом нападавшие поняли, видно, что ничего не получится. Стрельба прекратилась, и послышался удаляющийся конский топот. Похоже, всадников было пятеро

- Получили, собаки?! Не знали, что у нас оружие. Не на тех нарвались!
- Пока никуда не отходите, – сказал Аршад. – Сдается мне, что это Русый со своими людьми.
- А чего вдруг ему Аршад понадобился? – Керем пожал плечами.
- Может пронюхали, что с милицией связался? – Шахмар вопросительно взглянул на Аршада.
- Да... – задумчиво произнес Аршад. – А голос-то знакомый...
- Мне тоже показалось – знакомый, – промолвил Керем. – И видно, что молодой.
- Может, из тех, у которых ты парня подстрелил?
- Может.

...Аршад с товарищами прочесали чуть не всю степь, объездили заросли камышей по берегу реки – пытались напасть на след. Как-то вечером им повстречался старик на ишаке, груженном дерном, старик ехал на мельницу.

- Здравствуй, дядя!
- Здравствуйте... – старик настороженно поглядел на них. Он принял этих молодцев за гачагов, но не больно-то струсил – чего у него отнимешь?
- Не слышал, дядя, не появлялся в здешних местах Русый?
- Не знаю... – не поднимая головы, проворчал старик. – Что, я слежу за ним?
- Да понимаешь, дядя, никак не можем на след напасть! – в голосе Шахмара было искреннее огорчение. – Он нам родня: мне – по отцу брат двоюродный, им – он указал на Аршада и Керема – по матери. Власти требуют, чтоб объявился он, слово дали, не тронут. Не явится – мы заложники.

Шахмар так хитро все придумал и так грустно смотрел на старика, что тот поверил. Не спросил даже, чего ж вы своего двоюродного брата с винтовками ищете?

- Сам я его не встречал, но люди говорят, ночует иногда у Севдималы в Чодарлы. Проехали туда какие-то трое... Раз власти слово дали, скажите, пускай объявится. Он парень стоящий, жалко пропадет ни за что... Какие сейчас гачаги?
- А дом Севдималы это который с краю?
- С восточной стороны. Там тутовая роща – ничья, до самого леса тянется, рядом с ней дом и стоит.

... Ночь выдалась темней темного. По всей деревне не светилось ни одно окно. Привязав в роще коней, они осторожно подкрались к дому Севдималы. Залаяли псы. Все трое припнули к земле, не спуская глаз с двери. Хозяин вышел на порог, спросил громко:

- Кто там?
- Ответа не было. Ободренные присутствием хозяина, громче залаяли собаки.
- Чего притихли?! – бросил в темноту Севдималы. – Если за скотиной, зря трудитесь – вся в Харамы отправлена. – Повернулся и ушел в дом.
- Следите за дверью! – тихо сказал Аршад.
- Ждали долго. Собаки брехали, не переставая.
- Может они до утра не выйдут? – не вытерпел Керем.
- Ну и что?! – окрысился на него Аршад, разозленный непрекращающимся собачьим лаем.
- Давай крикнем: «Сдавайтесь! Вы окружены!»
- А может, они деру дали? – разочарованно сказал Шахмар. – А скорей всего их тут и не было?
- Эй, Севдималы! – издали крикнул кто-то. – Чего собаки брешут?
- А кто их знает... – спокойно ответил Севдималы, снова показываясь в дверях. – И опять ушел.
- Севдималы, – вдруг выкрикнул Аршад. – Поди-ка сюда, разговор есть!

Хозяин снова показался в дверях.
 – Заговорили голубчики! – ехидно сказал он. – Чего ж помалкивали?
 – Скажи Русому, – окончательно теряя терпение, крикнул Аршад. – Скажи пусть сдается! Дом окружен!
 – Русому? А что Русому у меня в доме делать?
 – Не крути! – в бешенстве гаркнул Аршад. – Скажи, пусть сдается добровольно! Мы – от властей!
 – А коли вы от властей, зайдите да поглядите!
 – Скажи, пусть сдается! Всех перестреляем!
 – Бойтесь – другое дело, – не слушая Аршада, равнодушно сказал Севдималы. – Давайте я подойду, а один ваш пускай в дом пойдет, посмотрит...
 – Ладно, иди сюда!
 Хозяин прикрикнул на собак и подошел к ним, маленький, сухой.
 – Люди видели, – строго сказал Аршад. – Русый и еще трое недавно вошли в твой дом!
 – Вражьи наветы. Поглядите. Я же здесь с вами, заложником. И тут на другой стороне рощи раздался громкий топот копыт.
 – Это кто? – Аршад вскинул взгляд на хозяина.
 – Не знаю... Да вы в дом-то зайдите!
 – Давай вперед! – скомандовал Аршад, и вслед за хозяином они вошли в дом. Севдималы чиркнул спичкой, зажег лампу на столе. В доме было пусто.
 – А что ж это за всадники, за такие средь ночи? – с сомнением сказал Аршад.
 – Откуда-то отсюда выехали, – заметил Керем. – Совсем близко.
 Хозяин вытащил табакерку, достал щепоть табака...
 – Что я вам скажу? – Севдималы пожал плечами, скрутил сигарку. – Деревня большая. В доме у меня один выход, вы его стерегли.
 – А может они у кого из соседей ночевали? – спросил Шахмар.
 – Все может быть... – затаившись, сказал Севдималы. – А только чужую вину на себя брать не стану.
 Если бы Аршад и его товарищи были чуть поопытней, они бы сразу заметили и то, что Севдималы не раздет, как положено человеку ночью, что не спал, когда они подошли.
 А самое главное – не знали они, что у Севдималы в доме есть лаз, скрытый за горой тюфяков и одеял. И Русый со своими людьми ушли через этот лаз, ведущий прямо в сарай, взяли коней и – сквозь тутовую рощу – в лес!

– Ошибка! Очень серьезная ошибка. – Вейсал даже поднялся из-за стола, когда Аршад рассказал ему, как было дело. – Теперь Севдималы знает, что вы, с виду простые чабаны, ищете Русого!
 – Но ведь не оказалось их в доме! – горячо возражал Аршад. – Может, Севдималы ни при чем. Может, старик по злобе наврал.
 – Не похоже. И потом эти всадники средь ночи... Надо было окружить дом, взять под наблюдение.
 Аршад вышел от начальника красный. Как ни тяжело было для самолюбия, но пришлось признаться себе, что спорили глупость, – птичка испугнута.
 ... По сравнению с Русым остальные гачаги были так, ерунда, дети малые. О его ловкости, смелости и неуловимости слагались легенды. Как волк, проникнув в отару, не ограничивается тем, чтоб загрызть и уволочь барана, так и этот молодой разбойник, нападая на только что созданные колхозы, не просто угонял десяток баранов, он убивал людей, истреблял скот, поджигал нивы... Районные власти создали еще несколько отрядов из населения. Люди охотно помогали милиции – Русый крепко насолил всем.

Гоняясь за Русым, уничтожили несколько других отрядов, но Русый всегда уходил, хотя Вейсал выезжал ловить его несколько раз с большим отрядом. Да был, только что был тут и уже нету. И невозможность выследить Русого еще больше распалила Аршада, желание встретиться с таким умелым противником становилось одержимостью. Они без устали рыскали в прибрежных камышах, в ущельях, в безлюдных степях. Ни о чем, кроме Русого, Аршад не мог думать. Он чувствовал: встреча близится. И безлюдные степи, и молчаливые горы затаились в ожидании этой схватки.

* * *

... Приехавший в Харамы Алиш сказал: «Только что Вейсал настиг наконец Русого в Кирсе, убито несколько гачагов, ранено два милиционера. А Русый опять ускользнул. С несколькими своими товарищами.

– Лови его теперь! – Аршад досадливо поморщился. – Вчера в ущелье Пирамбулак мелькнул, а сегодня – вон видишь! – в Кирсе...

– Но оттуда они не скоро уйдут, – подумав, сказал Шахмар. – Леса...

– Да там ведь ваши эйлаги. – Аршад взглянул на приятеля. – Ты эти места хорошо должен знать.

Решили ехать в Кирс. Путь был неблизок, заночевали в армянском селе у приятеля Шахмарова отца, с рассветом снова сели на коней.

И вот наконец они подъехали к лесу, тому самому, где, по рассказам, Вейсал настиг Русого.

– Давай ты вперед, – сказал Аршад Шахмару.

Держа повод в левой руке, правой придерживая винтовку, прикрепленную к луке седла, они беззвучно продвигались лесной тропой. Иногда останавливали коней, прислушивались: откуда-то доносился сухой треск...

– Если вдруг на них выйдем, – шепотом сказал Аршад, – стрелять в Русого! Первым делом – в него! Говорят, его сразу узнаешь: тонкий, длинный и волосы светлые!

В лесу было тихо. Только что распустились листочки, деревья стояли такие свежие, чистые, тихие, казалось, они прислушиваются: что еще собираются вытворять люди. У скалы «Большой стог», видом своим вполне соответствовавшей названию, Шахмар остановил коня.

– Погляди-ка на землю, Аршад. Похоже, несколько человек проехали...

Трава была примята, на влажной земле виднелись следы копыт.

– Думаешь, они? – негромко спросил Керем.

– Похоже... Если они не убрались отсюда, должны быть поблизости от воды. Дальше заросли смородины, за ними – родник.

– Далеко? – спросил Аршад.

– С версту. Только, если поедем верхом, издали углядят.

– Считаешь, надо спешиться?

– Я считаю, одному надо идти – мне. Я эти места, как свои пять, знаю. Смородину очень любил.

Проехали еще с полверсты по следам копыт и Шахмар остановил коня.

– Слезайте, коней – в рощу, а я пошел! Если там, постараюсь, чтобы не заметили. Услышите выстрелы, сразу – ко мне!

Шахмар ступал осторожно, прислушиваясь к малейшему шороху. В зарослях смородины остановился. Отсюда до родника было шагов триста, но лес вокруг стоял такой плотной стеной, что ничего не увидишь. Шахмар закинул винтовку за спину, взобрался на большое раскидистое дерево, выглянул, хоронясь в густой листве... На полянке возле родника не было видно ни людей, ни лошадей. Он долго глядел вокруг, потом спустился, дошел до родника и сразу увидел на траве куски хлеба, кости... Следы копыт вели за родник: в противоположную сторону. Шахмар бегом бросился к своим.

– Они! – сказал Керем. – Чую – они! Кому еще быть, на эйлаги пока не переселялись!

– А милиционеры не станут рассиживаться да еще следы оставлять! – поддержал его Шахмар.

– Нужно догнать! – Аршад перевел дух. – По следу!

– По следу не догнать! В обход и – встретить!

– А как узнаешь, откуда выедут? Лес-то – не продерешься!

– На Кельбаджар подались! И след туда ведет.

Напоили коней, поехали.

– Если Русый ушел на Кельбаджар, – сказал Шахмар, когда после долгого пути они выехали из леса, – им не миновать ущелья, вон под той горой. – Он показал на укрытую туманом гору. – Другого пути нет.

Они пустили коней в галоп. Подъехав к ущелью, увидели вдалеке на склоне горы группу всадников.

– Это они! – воскликнул Керем. – Они!

– Они или не они, надо опередить! Занять холм! – Аршад ударил коня ногами.

Когда они доскакали, стало видно, что всадники тоже мчатся к холму. Но Аршад и его товарищи уже спрыгнули с коней, и каждый залег за большим камнем. Всадники – их было пятеро – открыли огонь.

– Бей их, подлюг!.. – выкрикнул Аршад.

После первых же выстрелов один из всадников рухнул с коня. Остальные укрылись за камнями и теперь стреляли из засады. Но выстрелы их становились все реже; а потом совсем прекратились.

– Голову нам дурят! Прикидываются, будто перебили их!..

И не успел Аршад договорить, как гачаги, вскочив на коней, поскакали за холм. Одного из них догнала пуля Аршада. Теперь уходили трое. Впереди тонкий, высокий. Вскочив в седло, Аршад, Керем и Шахмар поскакали вдогонку.

Миновав ущелье, гачаги рванулись в лес – порознь. Аршад настигал высокого. Керем и Шахмар преследовали двух других. Было ясно, что у гачагов кончились патроны.

Тонкий раза три оборачивался, на скаку стреляя из нагана. Аршад не стрелял, хотел взять его живым, но когда гачаги доскакали до леса, понял, что упустит его, и выстрелил в коня. Конь рухнул на землю вместе с всадником, который тут же вскочил и побежал к лесу. Аршад настигал его. Тот обернулся, высокий, тонкий, выстрелил... Аршаду царапнуло висок... Парень снова нажал курок... Все. Пули кончились. Он в ярости отшвырнул наган и выпрямился. Аршад осадил коня. Привстав на стременах, он обалдело смотрел на гачага, не веря своим глазам.

– Фархад, ты?! Ты и есть Русый?

Фархад молча смотрел на него.

– Ты Русый Гачаг? – повторил Аршад.

– Я, – хрипло выкрикнул парень. – Патроны кончились, чтоб их! Только-только от милиции ушли... – Он помолчал, переводя дух. Ну, чего гляделки вылупил! Стреляй!

Аршад молчал, не сводя с него удивленного взгляда.

– Стреляй... – Фархад поморщился с досадой. – Перед конем не погонишь – не пойду! Мне все равно – крышка! Стреляй и хвастайся в Курдобе, что убил Фархада, сына Гаджи Танрыверди. Молчи только про патроны – безоружного и ребенок убьет! Стреляй, черт бы тебя побрал! Стреляй! Вейсал тебе за это медаль повесит.

– А ты не больно-то! – со злостью выкрикнул Аршад. – Предатель! Своих грабишь! Родину бросил!... К иранским помещикам подался!

– С родиной меня разлучили такие, как ты... Я что – вред какой причинил властям?! За что меня травили?!

– Ладно, давай иди! ..

– Сказано: не пойду! Стреляй!

Он вскинул винтовку, целя Фархаду в лоб. Тонкий, высокий, с тремя пустыми патронташами на поясе, парень смотрел ему прямо в глаза, и на мгновение Аршаду почудилось, что не сын Гаджи – вся Курдоба неотрывно глядит на него этими светлыми нагловатыми глазами. Руки у него опустились.

– Убирайся! – Аршад положил винтовку на седло.

– Что? Кишка тонка стрелять в безоружного? Со спины хочешь? – Русый презрительно усмехнулся.

– Убирайся! – заорал Аршад. – Увижу в наших местах, не жди пощады! Три пули в лоб!

Что-то дрогнуло в лице парня, он глядел на Аршада, не смея поверить. Потом повернулся и – в лес!..

Аршад шагом ехал навстречу товарищам.

– Ну, что?! – спросил Керем, разгоряченный погоней.

– Отпустил я его ко всем чертям, – помолчав, сказал Аршад, не глядя на Керема.

– Как отпустил? Ты что – спятил!?

– Патроны у него кончились, – сказал Аршад.

– Ну и что?

– А то что... Будто вся Курдоба глядит, как я в безоружного целю!

– Курдоба-то причем?!

– А при том. – Аршад тяжело вздохнул. – Русый – это Фархад, сын Гаджи Танрыверди.

Вытаращившись на Аршада, Керем обалдело молчал.

– А ты не обознался? – сказал он наконец.

– Сам сказал: Русый – я.

Долго ехали молча.

– Ну вот что, – произнес Шахмар. – Чтоб ни одна живая душа не знала! Иначе не сносить тебе головы!

– Да... – вздохнув, согласился Керем. – За Русого...

... Узнав, что Русый опять ушел из рук, Вейсал так расстроился, что вернулся от него Аршад чернее тучи. И когда Сервиназ стала допытываться, в чем дело, не выдержал и рассказал ей все.

– И слава Богу, что не застрелил! – убежденно сказала Сервиназ. – Как потом жить-то?.. И зря ты убиваешься, нельзя тебе было по-другому.

– Так ведь обман получается, – Аршад вздохнул. – Государству вред.

– Подумаешь, вред, отпустил сына Гаджи Танрыверди! Такое государство – что ему один человек?!

Аршад не ответил. Не объяснишь. Сказал только, чтоб помалкивала, чтоб никому...

Но женщина есть женщина. Каждый раз, когда Сервиназ встречала сестру Нури, сердце у нее обливалось кровью: девушка была такая понурая, грустная. И так хотелось утешить, ободрить подругу, сказать: брат твой жив и здоров. Кончилось тем, что Сервиназ не утерпела и, взяв с Ханпери слово, что та никому не проговорится, все рассказала девушке.

Ханпери никому и не сказала. Только сестре двоюродной. Ну, а та еще кому-то. С быстротой молнии разнеслась новость по району: Аршад поймал Русого, но не стал убивать, отпустил. С того дня, как Бурджалы-киши сообщил эту весть Мустафаоглу, старик нарочито уважительно отвечал на приветствия Аршада, не говоря, разумеется, ни слова.

– Было это? – спросил дядя Айваз, вызвав к себе племянника.

– Было... – Аршад опустил голову.

– Если дойдет до властей, тебя посадят.

– Плевать! – окрысился на него Аршад. – Пускай сажают! – Если б его спросили, на кого он так сердится, Аршад не смог бы ответить. Во всяком случае не на дядю Айваза.

– Напарники-то не продадут, если что?

– Продадут, так продадут! – Аршад еще больше нахмурился.

Дядя Айваз помолчал.

– Керем-то не продаст, – сказал он. – А вот Шахмар... Шахмара я не знаю.

Аршад промолчал. Это означало, что в Шахмаре он не уверен.

– Ну тогда так: дойдет до властей, не было такого – и точка!

... – Слушай, что это за слухи ходят? – Вейсал пристально смотрел на Аршада. – Будто ты Русого отпустил?..

– Болтают!.. Язык без костей!

– Да... Без костей... – пробормотал Вейсал, по-прежнему не отрывая глаз от Аршада.

– А может, все-таки было? А?

– Не было.

– Не было? Поклянись моей головой!

Аршад молчал.

– Отпустил я его, – сказал он наконец.
 – Та-а-ак... – Вейсал перевел дух. – Отпустил Русого?! Такого бандита в живых оставил?!

Аршад молчал.

– Он что тебе – родня? Друг?
 – Нет. Считаю, кровный враг. Я у его брата невесту увез.
 – Что ж он – купил тебя? Золотом осыпал?!
 – Плевал я на его золото!
 – Выходит, пожалел?
 – Такую змею жалеть?!
 – Но тогда почему?! Почему ты его отпустил?

Аршад молчал.

Начальник милиции Вейсал поднялся из-за стола.

– Именем Советской власти ты арестован! Все, что имеешь сказать, скажешь на суде!

Нажал кнопку, вошел милиционер, тот самый тощий, которого Аршад когда-то оттолкнул от двери.

– Увести арестованного.

Аршад шел, сопровождаемый милиционером, и жалел только об одном – почему приехал безоружный?

...В тот же день были внезапно арестованы Керем и Шахмар, не подозревавшие об аресте Аршада. Позднее, на суде, Аршад объяснил, что те двое не виноваты. Русого поймал он, он же и отпустил. Керема и Шахмара освободили.

... Сервиназ кинулась к отцу, но дядя Айваз только поморщился:

– Опозорил нас, бродяга безродный! Перед властями осрамил, мерзавец!
 – А мне сказали, – Сервиназ робко взглянула на отца, – если написать в центр, помиловать могут. Он ведь сколько гачагов истребил! А отпустил одного!
 – Одного!.. – проворчал дядя Айваз. – Язык надо было держать за зубами!
 – Да покарает меня Аллах! – Сервиназ всхлипнула. – Жалко стало, пускай, думаю, порадуются, а она паршивка...

Впервые очутившись в камере, тесной и смрадной, Аршад почувствовал, что его душат – сдавили горло и все. А ты как думал, голубчик? Тюрьма – это тюрьма. Сам же, своими ногами пришел к Вейсалу, сам ему признался во всем. Думал, он тебя за это посадит на жеребца и скачи, кочевник, куда твоей душе угодно?! Томись теперь в четырех стенах, посмотрим, на сколько тебя хватит...

... Через несколько дней после суда Аршада отправили в старую Шушинскую крепость – отбывать срок. Повели его – вместе еще с двумя осужденными – не по шоссе, а коротким путем – по горной дороге, петляющей в густых лесах.

Сопровождали арестантов два конных милиционера, один армянин Вартан, другой азербайджанец Мардан. Когда они оказались возле армянского села, верстах в двадцати от Карабулака, Вартан сообщил Мардану, что у него тут женин дядька живет, и неплохо бы перекусить...

Поскольку они конвоировали арестантов, то в дом входить не стали, а расположились во дворе под шелковицей. Гайказ, двоюродный брат Вартановой жены, оказался веселым, приятным парнем, да и молодая его жена была приветлива и гостеприимна. Она сразу же раскинула скатерть, положила хлеб, пендир, яйца, холодное лобио, вино...

Гайказ разлил по стаканам красное:

– Выпьем!

– Нельзя, – по-азербайджански ответил ему Вартан. – Мы при исполнении, неприятность может выйти.

– Брось! – поднимая стакан, по-азербайджански ответил хозяин. – Арестантов ведешь! Ну и что? Арестантов тоже Аллах создал! За ваше здоровье!

Милиционеры подняли стаканы и чокнулись с Гайказом.

Близилась ночь. Выпито было уже немало. Гайказ хотел было и заключенным налить, но Вартан воспротивился.

– Накормить – да. Пусть едят на здоровье, а вина им – ни в коем разе!

– Да я его и в рот не беру! – презрительно бросил Аршад.

Двое других промолчали. Один из арестантов был молодой красивый парень, получивший два года за драку в чайхане, а другой, постарше, был продавцом в кооперативе и попался, продавая вещи дороже их цены; этот получил два с половиной года. Карабулак – городок маленький, и милиционеры прекрасно знали обоих. И они оба прекрасно знали милиционеров. И разговор у них шел дружеский.

– И чего вы меня в Шушу везете! – шутливо говорил молодой, – все равно и месяца не просижу. У отца же родственник в Баку, большую должность занимает, отпустят меня...

– Вот и дурак, – добродушно отвечал ему Вартан, немного уже захмелевший. – Дядя у тебя на должности, а ты в чайхане скандалишь. Человека поуродовал!

Мардан, тоже порядком выпивший, поддразнивал продавца, тот беззлобно отшучивался:

– Мне что? Я и в тюрьме, как в раю жить буду, из камня воду могу добыть. А вот ты пропадешь, если тебя из милиции шуганут!

Аршад молчал. Милиционеры много слышали про него, знали, за что осужден этот парень, и с ним вели себя уважительно.

Сам же Аршад и в лицо-то им ни разу не глянул.

...Вечерело. В косых лучах заходящего солнца зеленым заревом пылали кроны деревьев, засвистали, запели, залились руладами соловьи.

– Как поют, а! – вздохнул молодой арестант. – И, помолчав немного, завел вдруг негромким приятным голосом:

В море лодка моя осталась,
Прекрасные соловьи!
Не ждал я ниву, остались
Колючие колоски!
Что вынес я от любимой,
Прекрасные соловьи!
В удел мне тоска досталась,
Колючие колоски!..

– Злодей!.. – восхищенно вздохнул Вартан. – Всю душу разбередил! Давай еще! Не зря говорят, в Карабахе в каждом доме Меджнун отыщется!

Парень пел еще и еще... Арестанты медленно шли по тропинке, следом за ними неспешно двигались конные милиционеры, все слушали пение. Начинало смеркаться, и в темноте, опускавшейся на лес, печальные звуки звучали еще печальней...

И в тот самый момент, когда певец и слушатели, казалось, целиком погрузились в сладостную печаль, Аршад вдруг метнулся в лес.

– Бах! – воскликнул Вартан, он будто только проснулся. – Ушел!

– Сбежал, сукин сын! Держи! Уйдет!

– Ара! – кричал Вартан. – Стой! Стой!

Они стали стрелять. Но куда там? Кто может ночью в густом лесу настичь Аршада? А лесу этому нет конца, тянется до самых гор, до Кирса, смыкаясь с кельбаджарскими чащобами.

– Стереги заключенных! – Вартан спрыгнул с коня и, стреляя на ходу, бросился к лесу.

– Поймаешь – скажи! – вслед ему крикнул торгаш.

– Арша-а-ад!.. – доносилось из леса. – Стой, Аршад! Вернись!.. Не губи себя! Детьми клянусь, никому не скажем!.. Ве-е-ернись, Арша-а-ад! Име-е-ей совесть!

Мардан, не слезая с коня, стрелял в сторону леса.

– Слушай, Мардан! – торгаш усмехнулся. – Куда ты палишь? Там же Вартан! Слезай да беги за ним! Мы же не гачаги, не сбежим.

В непроглядной тьме, цепляясь за ветки и кусты, переваливаясь через огромные камни, Аршад наконец добрался до ущелья; по нему протекала небольшая горная речка, он пошел вниз по течению. Аршад знал, что река эта выходит на равнину неподалеку от Карабулака.

Он припустил так резво, что уже с первыми петухами стоял перед своим домом. Пес лишь гавкнул разок и обрадованно забил хвостом.

Аршад легонечко постучал в дверь.

– Кто там? – послышался сонный голос.

– Это я, – прошептал Аршад.

Дверь, заскрипев, отворилась.

– Кара! – выдохнула Сервиназ. – Выпустили!?

– Нет, – сказал Аршад. – Не зажигай света. Сбежал.

Женщина тихо охнула.

– Трехзарядку не взяли? – вслед за женой входя в дом, спросил Аршад.

– Нет! Я как услышала, что тебя забрали, сразу спрятала ее там, в верблюжьем сарае.

– Молодец! – сказал Аршад, опускаясь на кошму. – Догадалась.

– Какой-то начальник приехал, давай, мол, винтовку. А я знать, говорю, ничего не знаю. Куда ж, говорит, она девалась. А мое, говорю, какое дело. Он было кричать, а я ему, все вы хороши с бабами сражаться. Порыскал, порыскал, да и ушел ни с чем.

– Иди, принеси ее. И патроны.

Патронов было мало. «Надо еще достать» – подумал Аршад. И, кивнув на малыша, посапывавшего в материнской постели, спросил:

– Как он-то?

– Хо-о-роший... – Сервиназ просветлела лицом. – Увидит кого, улыбается... Не как ты... – Она помолчала. – Что делать будешь? – Жена жалостно глядела на Аршада.

– Откуда я знаю? – он вдруг разозлился. – Сунь чего-нибудь в хурджин поесть!

Склонившись над ребенком, Аршад долго всматривался в маленькое личико, чуть белевшее в темноте. Вдохнул...

– Есть-то хоть будешь? – спросила Сервиназ.

– Давай. Голодный, как черт! А устал!

Он наскоро поел.

– Подремлю немножко. С последними петухами разбудишь.

Не раздеваясь, Аршад свалился на кошму и тотчас заснул.

«Не легкая у меня нога, – думала Сервиназ, глядя на измученное лицо мужа. – Не принесла счастья в дом. С самой свадьбы светлого дня не видали... Сглазил кто-то. Или прокляли. А начальник Вейсал, чтоб ему сгореть! Ведь не подумает, как это так, Аршад убьет сына Гаджи Танрыверди! Как бы мы людям в глаза смотрели? Мы же не кто-нибудь, потомки Кербалаи Ибихана! Господи милосердный, помоги ты несчастному моему мужу! Ведомо тебе, всеведущему, что не совершил он ничего дурного!..»

Она просидела над спящим Аршадом, пока не закукарекал последний петух.

– Кара! – Сервиназ легонько толкнула мужа. – Вставай, Кара, да перейдут на меня твои беды!

Аршад сел, протер глаза. И сразу поднялся, перекинул хурджин через плечо, взял винтовку.

– Как же ты пеший? – в глазах Сервиназ стояли слезы. – Степь вон она – без конца, без края...

– И сам не знаю...

– Я думаю, может, лучше в тюрьме остаться?

– Не могу. Душно там. Сердце разрывается! – Обеими руками она взяла его руку.

– Да хранит тебя Бог, Кара! Но ты... Ты старайся иногда... Навестить... – Она робко взглянула на мужа.

– Поглядим!

Она привстала на цыпочки и поцеловала мужа.

Не сказав больше ни слова, Аршад торопливо вышел. Он брел по Чертовому ущелью и казалось ему, что нет конца этому полутемному безлюдью. Куда он идет? Что будет делать? Все так запуталось, перемешалось. Аршад вдруг улыбнулся. Вот бы сейчас угодить к джиннам! Мустафаоглу сколько раз был тут у них в гостях. Зачем ему джинны, Аршад не мог бы сказать. Просто хочется чего-то... Чего-то совсем другого. Да... Джинны эти никому, кроме Мустафаоглу, не показываются... А чудной все-таки мужик Вейсал... Я же честно служил властям. Не воровал, не обманывал. Сколько гачагов выложил. А сына Гаджи Танрыверди убить я не мог. Да еще безоружного! Пускай он враг, пускай негодяй, но он храбрый парень – как он тогда смотрел на меня!.. Не мог я спустить курок, не мог – пусть десять лет дадут!.. Кербалаи Асад никогда бы не выстрелил в безоружного, а у меня в руках винтовка Кербалаи Асада.

Аршад поглядел на винтовку. Господи боже! Эта старая трехзарядка, сопровождавшая в бой мужчин, что сражались лишь с равными по силе, будто живое существо, безмолвно соглашаясь, прикинула к его руке. Легче стало дышать, да и вольная степь при свете дня была такая своя, привычная... Аршад вспомнил, как сверкали капельки росы на сером полынике, когда он на заре выгонял в поле отару, возглавляемую любимцем его короткоухим бараном... А рядом бежал пестрый кобель... Аршад шел и шел, а горизонт, скрытый серой дымкой тумана, не приближался... Наконец, далеко впереди, извилистой серебристой змейкой засверкал Аракс. Только ни к чему был Аршаду Аракс. Мысль уйти, переправиться на тот берег теперь казалась ему дикой. Лучше сдохнуть тут, в родных степях, чем идти на поклон к какому-нибудь иранскому богачу, как сыночек Гаджи Танрыверди! Надо было сказать ему, подлецу: где ж твоя преданность родной земле, народу? Там наших полно, это верно, да ведь они же рабы! Рабы! Нет, Фархад, ты настоящий подлюга! Человек чести не мог не думать об этом. И отец мой, и дядя Кербалаи Асад бежали от иранского шаха, сюда перешли, а я пойду обивать пороги у их врагов?!

Так размышлял Аршад, шагая по степям Харамы. О том, что ему предстоит, Аршад не решался и думать. Взошел на холм, огляделся: вокруг ни души. Внизу, по ту сторону тропинки, начинались заросли камыша, тянувшиеся до самого Аракса. Аршад лег на землю среди кустов ежевики, обмотав ремень трехзарядки вокруг руки, и сон сразу сморил его. Сколько он спал, Аршад не знал, но когда открыл глаза, солнце уже миновало зенит. Невдалеке послышался топот копыт. Аршад привстал и увидел одинокого всадника, неторопливой рысцой трусившего по тропке. И тут же из зарослей камыша взлетела вспугнутая утка. Камышинки качнулись, успокоились, но когда всадник поравнялся с тем шестом, из камышей, держа в руках винтовки, выступили два человека.

– Слезай с коня!

Невысокого роста мужичок в кепке со смятым козырьком растерянно улыбнулся:

– А чего слезать-то? – дружелюбно спросил он.

– Сказано слазь! – Человек вскинул винтовку к плечу. – Слезай, собачий сын!

– Слезать, так слезать... – забормотал мужичонка, сползая с лошади. – Чего ж ругаться?..

– Что в хурджине? – спросил первый, в то время, как второй держал жертву на прицеле.

– Да так... Купил кой-чего детишкам.

– Открой! – приказал тот, что держал винтовку у плеча. Аршад неслышно подполз, сейчас он был совсем близко, за камнем.

– Братец! – умоляющим голосом заговорил человек в кепке. – Правду тебе скажу: деньги везу, аванс на трудодни, в банке получил... Кому тридцать, кому – сорок рублей... Кассир я... Из Шахсевана.

При слове «деньги» второй опустил винтовку и протянул руку, чтоб открыть хурджин. Прозвучал выстрел, рука его отдернулась и упала вдоль тела.

– Бросай оружие! – крикнул Аршад, невидимый для грабителей.

Это было так неожиданно, что второй не успел вскинуть винтовку.

– Шевельнетесь, пристрелю обоих! Бросайте!

Пятизарядки упали на землю.

– И патронташи!

Патронташи они расстегнули мигом, даже тот, с простреленной рукой.

- А теперь идите и раздавайте милостыню за то, что остались живы! В камыши не смейте! По тропке, чтоб видел! Свернете в камыши, стреляю!
- Когда фигуры грабителей стали едва различимы, Аршад наконец повернулся к кассиру.
- Возьми патронташи, ружья, коня – под уздцы и пойдём туда, на холм!
- Не говоря ни слова, мужичонка покорно плелся за Аршадом. Аршад прошел немного вперед и поднялся на холм с другой стороны.
- Сними хурджин!
- Кассир молча смотрел на него.
- Тебе говорят? Быстрее!
- Да пойми: не могу я отдать их – колхозные деньги! Я думал, ты меня от гачагов спас, а ты... – кассир махнул рукой.
- От гачагов... Какие они гачаги, ворье... Снимай хурджин, деньги мне не нужны!
- Ничего не понимая, кассир молча смотрел на Аршада.
- Конь твой или колхозный?
- Колхозный.
- Коня заберу, конь мне – позарез. Деньги бери. И винтовки с патронташами. Винтовки снеси начальнику Вейсалу, скажи, Аршад велел. И расскажешь ему, как было дело.
- Аршад? Ты, выходит, Аршад? Тот самый, что Русого отпустил?
- Тот самый. И Русого отпустил. И из-под стражи сбежал.
- Молодец! Ей богу, молодец! – с искренним восхищением воскликнул кассир. – Только вот... Как же с конем? Что я председателю скажу?
- А ты объясни: Аршад отдал в колхоз коня – не чета этому. Пойдет к нашему председателю и возьмет.
- Так не положено, Аршад... – кассир снисходительно усмехнулся. – У каждого колхоза свое добро, свой расчетный счет.
- Счет!... – разозлился Аршад. – Какой там счет. Я отдал коня и коров, и две сотни овец! А теперь и коня взять нельзя? Колхоз не тот! И тот советский, и этот. Бери винтовки и мотай. Не мозоль глаза!
- Вздыхнув, кассир стал отвязывать хурджин. Снял его, взял винтовки, патронташи и пошел, не оглядываясь.
- Эй... – крикнул Аршад, его вдруг осенило. – Смотри не прикармань деньги! А то скажешь: Аршад отобрал. Если что, я тебя в железном сундуке найду! Слышишь?! Винтовки Вейсалу отдашь, начальнику! Я ему и сам сообщу! Не оглядывайся, не оглядывайся, а то как пальну!
- Аршад подождал, пока кассир уйдет на расстояние выстрела, закинул на плечо трехзарядку и поскакал в широкую степь.
- ...Колхозный кассир сделал все, что велел Аршад. Принес Вейсалу винтовки и патронташи, рассказал, как было дело.
- Почему ж он винтовки отдал? – спросил Вейсал, напряженно выслушав кассира.
- Не знаю... У него своя есть. Старая трехзарядка.
- Надо же! – Вейсал покрутил головой. – Опять отпустил гачагов!
- Кассир недоуменно взглянул на него.
- Слушай, начальник, он же сам беглый. Куда ему пленных девать? Да он сказал, не гачаги это, так, ворье...
- Да-а... – протянул Вейсал. И, уже остывая от злости, промолвил:
- Что мне с этим злодеем делать?.. Не знаю. Просто не знаю.
- Эх, начальник!.. – Кассир вздохнул. – Будь моя воля, я бы его простил. Такого парня гонять по степям!
- Да ты что – дитя малое?! – Вейсал взбеленился. – Государство с ним в прятки играть не будет! Один раз сбежал, простили, документ дали на оружие. Оружие ему доверили! Людей под начало дали! А он взял да и отпустил Русого!
- А чего ты на него так уж особо злишься? – Кассир не больно-то испугался Вейсала.
- Ну отпустил, а скольких он изничтожил!.. А со мной! Не будь его, и деньги забрали бы, и коня, и меня прикончили бы.

– Слушай ты!.. – заорал Вейсал. – За хорошее спасибо скажем, за плохое – к ответу! Он же из-под стражи сбежал!

Кассир поднялся, хмуро взглянул на Вейсала и пошел к двери.

– Будь здоров, начальник! – уже выходя, сказал он.

Вейсал сидел за столом, смотрел на прислоненные к стене пятязарядки и не знал, что же делать. С ума можно сойти с этим проклятым Аршадом! И человек – не человек, и преступник – не преступник. Был бы гачаг как гачаг, арестовал и все ясно. Из-за Русого запросто можно было приговорить к высшей мере. Так ведь этот подлец тут же добро делает, большую пользу приносит! Ну что? Что с ним делать?!

И тут начальник Вейсал поймал себя на мысли, что испытывает настоящую потребность сесть с этим проклятым Аршадом лицом к лицу и поговорить. Конечно, он тут же одернул себя: «Дурака валяешь, Вейсал! Бывший воришка вытворяет черт-те что, а ты с ним любезничать готов! Мало ты нянчился с этим Аршадом!.. И беседовал, и в дом к себе приглашал. А он? Что хочу, то и ворочу! Схватил свое ржавое ружьишко и – в степь! И не хватает мозгов сообразить, чем все кончится! Вот попадетсЯ, добавят ему к пяти еще пять, сразу ума прибавится!»

Вейсал позвонил заместителю:

– Этот Аршад из Курдобы сегодня утром появился в Шипарты. Возьми троих-четверых ребят и – туда! Подробности потом расскажу. Но брать живым, понял? Только живым!

Заместитель Вейсала с четырьмя милиционерами двое суток рыскали в указанных местах, но им не удалось даже напасть на след. Приехал сам Вейсал. Вокруг по селам шныряли гачаги, поэтому он взял с собой еще пятерых милиционеров.

Аршада нигде не было.

А по Курдобе тем временем пронесся еще один сногшибательный слух – приехал Нури, сын Гаджи Танрыверди, забирает с собой в Баку сестру и мать.

– Не может этого быть! – негодовал Фетиш-Шептун. Его же с учебы прогнали! Не сегодня-завтра в Сибирь отправят – деревья валить. Он же родной брат Русого! – И думал изумленно: «Как же так? Я же своей собственной рукой столько бумаг написал!.. И что отец у него лишенец, что брат бандит, в гачагах ходит... Как же так?..»

Сервиназ тоже сперва не поверила этим слухам: «Господи, – думала она – в Баку!.. Да что ж там бедная тетя Гюльгез делать будет, в этом Баку?» Увидев, что Ханпери отправилась за водой, Сервиназ схватила кувшин и бросилась вслед за девушкой.

– Поздравляю тебя! Говорят, брат приехал.

Хотя Ханпери и не произнесла в ответ всех положенных слов, но взглянула приветливо:

– Да, приехал.

– И заберет вас с матерью в Баку?!

– Заберет... – сказала девушка. И добавила: – Пусть этот плешивый Фетиш побесится – на каждом собрании грязью поливал брата!

– Чтоб у него, у подлеца, нутро выгорело! – Сервиназ гневно сверкнула глазами. – На всех доносы пишет! И на Сурхая писал!.. А сам, говорят, по ночам не спит дома, Фархада боится! И правильно делает Назханум, что изменяет ему. Вчера сама видела: в тутовнике с Хасаем шепталась!

– А ему что, плешивому? – презрительно бросила Ханпери. – Подлец, он и есть подлец!

– Уж такая дрянь – пристрелить мало! Ханпери! – Сервиназ понизила голос. – Помнишь ты говорила, исключили Нури, как же теперь с этим?

– Так ведь он к самому Калинину ездил! Как исключили, сразу поехал. Несколько дней добивался!

– А кто это Калинин?

– Не слыхала! Ну как же! Самый главный у советской власти. Сталин – он партийный начальник, а Калинин – власти голова. Брат ему все и рассказал. Отца, говорит, раскулачили, имущество отобрали, отец с братом в Иран сбежали... А Калинин ему: что ж, мол, ты не сбежал? А брат говорит, я родину не покину. Я, говорит, хочу честно служить советскому правительству, потому что я советскому правительству верю.

– А чего ж он про плешивого не сказал? Как этот сукин сын – людей зазря в тюрьму сажает!

– Ты что? Про этого пса шелудивого с таким человеком говорить?! Калинин велел, чтоб брата в институт обратно взяли, а как кончит, чтоб должность дали. Он пока в Баку квартиру снял, меня в школу городскую устроит. Только вот мама никак ехать не хочет, – Ханпери вздохнула. – Как, говорит, я брошу дом Гаджи Танрыверди? Тут, говорит, я хоть на тот берег погляжу, вроде Фархад рядом...

Сервиназ вздохнула. А сама подумала, не сбежал бы твой братец в гачаги, Аршад не получил бы пять лет...

И тут она увидела, что к ним не спеша идет Нури. Повернулась было – бежать, но не сдвинулась с места, стояла, глядя себе под ноги.

– Здравствуй, Сервиназ! – улыбнувшись, сказал Нури.

– С приездом! – Сервиназ подняла на него глаза.

Нет, это был не прежний Нури. Улыбка не та, и глаза. Про одежду и говорить нечего. А на висках седина! Господи! Что ж это творится на свете... В такие годы поседеть!

– Я очень расстроился, когда узнал про Аршада, – Нури грустно смотрел на Сервиназ. – Если бы Фархад не выкинул эту глупость, твой муж был бы на свободе. А теперь...

– Да, – гордо ответила Сервиназ. – Мой муж не мог поступить иначе.

Она понимала, что Нури искренне осуждает брата. И жалела его. Брат пошел против властей, вот ему и приходится опускать голову. Но странное дело – от души сочувствуя этому красивому, грустному парню, Сервиназ даже и не вспомнила, как была влюблена, как обмирала, увидев издали...

Когда наутро Нури в колхозной двуколке повез мать и сестру на станцию, Сервиназ плакала, глядя им вслед. А Шептун сразу же бросился в район – подавать «мытырьял» на Алиша: «председатель колхоза подпал под кулацкое влияние и дал колхозный транспорт семье кулака».

Аршад скитался по Харамской степи, знакомой ему до последней пяди: на бескрайних степных просторах не было видно сейчас никаких признаков жизни. И хотя в камышах было и теплей, и безопасней, Аршада тянуло в степной простор. С малых лет привык он к этим степям, любил их, хотя и никогда не задумывался над этим.

Когда он шел за отарой по весенней земле, усыпанной маками и нарциссами, степь, слагая гимн весне, казалось, радостно пела посвистом ветерка, шелестом трав... А сейчас будто притихла, и, казалось, ждала, что же он будет делать. Не ведала степь, что бедняга и сам не знает, куда деваться. В том, что он снова оказался в бегах, Аршад винил только начальника Вейсала, но даже и обвиняя его, не ощущал прежней жажды мщения. Он просто был вконец разобижен. Начальник, государственный человек, ну и что? Что, тебя не женщина родила? Не из звериной же норы вылез, понимать людей должен...

По ночам, стреножив коня, Аршад заворачивался в бурку и спал, а днем бессмысленно мотался по степи. Ему и в голову не приходило напасть, ограбить кого-нибудь. Когда кончалась еда, он стучался в двери чабанских хибарок. «Я из Карадонлинского района, – говорил он. – За гачагами гоняемся. Найдется у вас что из еды?»

И чабаны давали ему: хлеб, пендир, нажаренную впрок баранину – у кого что было. Иногда удавалось пробраться к Али или еще к кому-нибудь из своих, кто пас в Харамы колхозных овец, сообщить, что жив-здоров, узнать новости. Появляться у Сервиназ было нельзя, наверняка, Вейсал велел этому плешивому доносчику следить за его домом. «И ведь надо ж, никто не скажет Вейсалу: ты ж человек, как человек! Что ж ты этого подлюгу приваживаешь? Чего не сунешь в кутузку?! Вон Гаджи Фиридун-оглу Хашим – никому от него вреда не было, и с правительством не враждовал. А эта плешивая тварь донес, будто Гаджи против колхозов подбивает, сегодня, мол, баранов отобрали, а завтра и жен объединят: «Никакая она не твоя – общая!» И Вейсал поверил легавому псу... Нет, я не я буду, если не всажу ему в башку все три пули!..»

В самом пустынном безлюдном месте Харамы высился древний полуразрушенный купол. Аршад решил заночевать возле него. Темнело... Он стреножил коня, пустил пастись. Достав из хурджина хлеб, пендир, поел... Лег на спину, положив под голову руки и стал ждать, пока конь наестся. Взошел месяц, залил степь молочно-белым светом. Уставив в небо чуть прищуренные глаза, Аршад думал о Сервиназ. Молодая женщина с крошечным ребенком одна в доме... До каких же пор ждать ей мужа?.. От этих мыслей сжалось сердце, Аршад сел. Поглядел по сторонам... Бескрайняя степь серебристо сияла, Аршад глядел на нее, и сердце понемногу отпускало. Он вздохнул, поглядел на оседланного коня, мирно пасшегося неподалеку. Не по душе был ему жеребец, отобранный у кассира-шахсеванца. Чужой, одно слово. То ли дело его – со звездочкой на лбу! Разлучили их, чтоб он рухнул весь этот мир! Стоит в колхозной конюшне!.. Вспоминает хоть хозяина-то? Учтога был теперь бригадиром на конюшне, а разве он может оценить такого коня? Он к такому и близко-то никогда не подходил... Изведет жеребца, клячей сделает...

Конь наострил уши, поднял голову, уставился в темноту черными сверкающими глазами. Аршад вскочил. С той стороны, куда глядел конь, приближалась группа всадников. Аршад завел жеребца внутрь и, прикинув к оконному проему, разглядел, что это не милиционеры. На одном он ясно различил иранскую чоху. Значит, с той стороны пожаловали! «Перестрелять бы всех!.. Такое укрытие... Патронов мало. Вот досада!..»

Когда гачаги поравнялись с куполом, конь Аршада заржал. «Чтоб ты провалился, скотина безмозглая!» Гачаги, натянув поводья, остановились.

– Эй, кто там есть? – громко спросил один. Аршад молчал, нацелив на них трехзарядку.

– Эй, чего молчишь? – послышался другой голос.

Аршад сразу определил, что вот этот здешний, с нашего берега. Сбежал, сукин сын! С иранцами связался!..

– Яралы! Подъезжай давай, надо узнать, что там! – приказал первый.

От группы отделился всадник. Аршад подумал, что теперь не отвязаться, и выстрелил. Гачаг упал. Остальные открыли пальбу. Даже не целясь особо, Аршад сбил еще одного и вдруг заметил, что в патронташе не больше десятка патронов.

– Эй! – крикнул от гачагам. – Не губите себя. Меня отсюда не выбить, хоть целый отряд прискачет! Проваливайте ко всем чертям!..

Он сделал еще два выстрела, потом вывел коня, вспрыгнул на него и, держа винтовку в правой руке, поскакал прочь. Поначалу опешившие от неожиданности гачаги поскакали следом. Конь шахсеванца был, видно, не дурак, так и рвался из-под седла. Время от времени Аршад оборачивался, стрелял... «Только б не им в лапы! – думал он. – Уж лучше в милицию!..» И, решившись вдруг, резко свернул налево – там светились огни селения.

... Гачаги не преследовали его, отстали. В патронташе было четыре патрона.

Натянув поводья, Аршад еле удержал коня, пытавшегося вырваться из круга лающих, рычащих псов.

– Кто там? – послышался голос. Голос шел из окопчика, открытого возле крайнего дома.

– Собак убери! – злобно выкрикнул Аршад.

– А ты кто?

– Из отряда! – Едва удерживая встающего на дыбы коня, раздраженно бросил Аршад.

– А что за стрельба была?

– В меня стреляли! Гачаги!

Из окопчика первым вылез мужчина средних лет, за ним еще двое – парни.

– А куда ж они подевались? – Недоверчиво спросил тот, что постарше.

– А черт их знает! Видно, боятся сюда лезть!

– Они здесь уже получили! Слезай, – сказал он, окинув взглядом Аршада. – Коня оставь, – он показал на сарай. – Корм там найдется.

Это селение не похоже было на деревни кочевников: и дома, и сараи сложены были из кирпича, крыты черепицей. В окнах светилось электричество.

Когда Аршад поставил коня в сарай, все вошли в дом: впереди мужчина – видно, что хозяин, за ним Аршад, следом оба парня.

Зажгли электричество. Аршад зорким взглядом окинул парней. Светлолицый с узкими русыми усиками одет был в рубашку и брюки травянистого цвета, как носят комсомольцы. На голове – фуражка со звездой. Брюки засунуты в пестрые шерстяные носки, поверх носков – легкие чувяки.

Другой – этот казался чуть постарше, – одет был в галифе и френч с четырьмя карманами. «Начальник!» – определил Аршад.

Когда Аршад, а следом за ним остальные, приставив винтовки к стене, повесили на них патронташи, мужчина показал на табуретки, стоявшие вокруг голого стола:

– Садись, гостем будешь.

Парень в комсомольской форме внимательно оглядел Аршада.

– Слушай, а может, ты тоже гачаг? – улыбка мелькнула в его глазах.

Аршад думал, что же ответить парню, скалящему зубы, как девчонка. Но другой, во френче, сам одернул товарища:

– Кто бы он ни был, – он гость.

– Верно, – поддержал его хозяин. – А ты на нашего комсомольца не сердись, – сказал он Аршаду. – Замучились мы, никак кулачье не угомонится. Сам видишь, и ночью с винтовкой, окопов нарыли.

Аршад вспомнил про свой окопчик в Харамы и глубоко вздохнул.

– А как же вышло, что ты от отряда отбился? – спросил хозяин дома.

– Домой съездить решил, помыться, одежду сменить... Весь день по степи мотался, конь голодный... У купола слез, пустил его попасться, вздремнул... А тут они... – Аршад сочинял совсем немного, конец рассказа полностью соответствовал действительности, но о том, что он подстрелил несколько гачагов, Аршад не сказал: кто знает, может, какой из них родня этим? Или земляк?

– Жалко, патроны вышли... – Аршад кивнул на свою винтовку.

– А какая это? – спросил комсомолец. – Трехзарядка что ли?

– Да.

– Старинное оружие, – заметил старший. – Теперь такие не делают. Откуда оно у тебя?

– Это на память мне, – нахмурился, ответил Аршад.

– От кого?

– От дяди. Гачаг был при Николае.

– Гачаг? А как звали?

У Аршада мелькнула было мысль, что не надо бы называть имени, но он тут же обозлился на себя: «Такое имя скрывать?! Имя Кербалаи Асада?!».

– Кербалаи Асад. Только советская власть наступила, какой-то мерзавец подослал убийцу. Застрелили ночью через трубу.

– Кербалаи Асад... – хозяин дома неспешно кивнул головой. – Геройский был человек. – Слова эти прозвучали с неподдельным уважением.

– Ну, а у винтовки твоей документ имеется? – спросил комсомолец, по-прежнему улыбаясь одними глазами.

Аршад, чуть прищурясь, посмотрел на него.

– Имеется. А что?

– Взглянуть бы...

Аршад достал из внутреннего кармана большой бумажник, который заказал шорнику Таги на Карабулакском базаре, раскрыл, вытащил вчетверо сложенную бумагу и протянул парню. Тот прочитал, протянул другому – в галифе, он тоже прочитал и вернул документ Аршаду.

– Такие уж они у нас, комсомольцы эти... – Мужчина смущенно улыбнулся Аршаду. – Не обижайся.

– А чего обижаться, раз документы в порядке? – шутливо заметил тот, что в галифе.

– Патронов у вас не найдется? – спросил Аршад, показывая, что не намерен продолжать пустую болтовню.

– Откуда? – Старший развел руками. – Винтовки такие давно уж не выпускают. Значит, и патронов нет.

Комсомолец взял в руки трехзарядку, повертел ее, подергал, курок...

– Историческое оружие, – с улыбкой сказал он, ставя винтовку на место.

– Мало ли что, – возразил ему тот, в галифе. – А раз она на память...

– Мне от бабушки тоже берданка досталась, так я взял ее и в музей снес. Бабка потом узнала, схватила палку, лупить хотела... Честное слово!

– Бабушка твоя – достойная женщина, – сказал Аршад, строго посмотрев на комсомольца.

– Хочешь сказать: мы недостойные? – спросил тот, все так же весело глядя на Аршада.

– Этого я сказать не могу, не знаю тебя, – Аршад смотрел ему прямо в лицо. – Но бабушка твоя понимала, что дедова берданка – не просто старое ружье – память.

– Это ты точно! – Мужчина одобрительно кивнул. – Дед у этого сорванца достойный был человек.

Парень в галифе поднялся с табуретки, взял патронташ, винтовку...

– Заболтались мы, поесть человеку не предложим. Накормите гостя.

– А ты что – уходишь?

Тот кивнул.

– Может, не стоит сейчас? Вот гость наш едва вырвался от гачагов... Одному... ночью... – Он покачал головой.

– Нужно ехать. Утром заседание райкома. – Парень в галифе перекинул через плечо патронташ. – А вы тут поосторожней. Не исключено, что опять сунутся. Будь здоров, гость! – Он кивнул Аршаду и вышел. За ним – комсомолец.

– Кто этот, постарше?

– Председатель колхоза Джебраил. Ферму поглядеть приезжал.

– А вы тут что?

– Я заведующий молочной фермой, Мухтар, комсомол этот – бригадиром у меня.

– Баранов тоже держите?

– Нет, только крупный рогатый скот. А там в селе виноград, сады... Хлопок сажаем. Ты, мне сдается, из кочевников.

– Да. Овец пасем.

– Скоро и вы оседете. Какое теперь кочевье... Эйлаги... – он махнул рукой.

– Да благославит Аллах те цветущие эйлаги... – задумчиво произнес Аршад.

– Что, по горам соскучился? – с улыбкой спросил его вернувшийся в комнату комсомолец.

Аршад промолчал.

– Ничего, – сказал Мухтар. – Пообвыкнете. У нас тоже половина людей кочевала, а как осели, дома стали строить каменные, школы. Колхоз помогает...

– Довольны колхозом? – спросил Аршад.

– А ты, похоже, не очень? – Комсомолец смотрел на него все с той же улыбкой.

Аршад не ответил, лишь смерил парня презрительным взглядом.

– Не тронь человека, – с улыбкой сказал Мухтар. – Были не по нутру б колхозы, не пошел бы он с кулаками сражаться. Как может трудовому человеку колхоз не нравиться? Все, что заработал, – твое! А лет через пятнадцать, как социализм наступит, еда и вовсе бесплатная будет. Ешь сколько влезет. Хорошо, разговор зашел – принеси-ка гостю поесть!

Комсомолец быстро поднялся, принес из соседней комнаты хлеб, пендир, простоквашу.

Аршад принялся закусывать, а заведующий фермой разговорился:

– У меня один сын в Карабулаке учится на учителя, другой в Баку – на врача, а дочка – она в шестом классе, ее тоже до конца доведу. Я, говорит, инженером буду. – Мухтар покрутил головой, улыбнулся. – Уж больно по арифметике сильна! Мне учителя говорят, твоя, мол, дочка, Мухтар, первая у нас по математике, всех мальчиков обогнала. А ты женат? – вдруг спросил он.

Аршад кивнул.

– И отец уже?

Аршад вдруг поперхнулся хлебом. Будто только сейчас понял, что он отец. Почему-то слово это кольнуло его прямо в сердце.

– Девочка или мальчик? – спросил Мухтар, видно было, что о детях он может говорить без конца.

– Мальчик, – не сразу ответил Аршад внезапно охрипшим голосом.

– А как назвал сына?

– Ибихан.

– Чего это ты его по старинке? – удивился комсомолец. – Я своего сына Маис назвал!

Маис!

Аршад доел, поднялся из-за стола, взял винтовку.

– Спасибо за хлеб, за соль. Счастливо оставаться!

– Чего это ты? – удивился Мухтар. – Ночуй, утром поедешь.

– Нет, лучше ночью. Патроны-то все вышли...

– Лучше б тебе заночевать, – комсомолец вдруг перестал улыбаться. – В такой час гость из дому не уходит.

– Счастливо оставаться! – повторил Аршад и закрыл за собой дверь.

Вывел коня из сарая, вскочил в седло. Мухтар стоял на крыльце.

– Тогда уж давай степью... – сказал он, кивнув на прощанье.

... Председатель колхоза Джебраил, тот самый во френче и галифе, домой не поехал. Дома у него телефона не было – только в правлении. Соскочив с коня, Джебраил быстро привязал его, вошел, зажег свет, взглянул на часы: шел второй час ночи.

Он снял большую трубку висевшего на стене телефона, покрутил ручку...

– Мне начальника милиции Вейсала!

– Какой еще начальник среди ночи... – сонным голосом проворчала телефонистка.

– Квартиру соедини!

– Кто вызывает? – сердито буркнула девушка.

– Джебраил! Председатель колхоза из Демирчая.

– Товарищ начальник! Товарищ начальник! – Девушка вызывала квартиру Вейсала: – Вас председатель колхоза из Демирчая. Соединить?

– Давай! Что у тебя, Джебраил? – Вейсал говорил так, будто и не думал ложиться.

– Да понимаешь... Я сейчас с фермы... Часа три назад парень один прискакал. С гачагами у купола перестрелку вел. Они не стали его преследовать, ушли в степь. Говорит, от отряда отбилсь, домой хотел съездить, нарвался на гачагов... Засел в куполе Сарылар...

– Из какого же он отряда?

– Я не спросил.

– Хм! А зовут как?

– Аршад.

– Аршад?! Из Курдобы?

– Не знаю откуда. Не спрашивал.

– Ну ты хорош! – Вейсал разозлился.

– А чего мне его допрашивать? Посмотрели, у парня разрешение на винтовку, тобой подписано.

– А какая винтовка?

– Трехзарядка. Он говорит, память от дяди.

– Все! – крикнул в трубку Вейсал. – Он, Аршад! Из тюрьмы бежал!

– А чего ж у него разрешение? – помолчав, спросил Джебраил.

- Где он сейчас? – не отвечая, спросил Вейсал.
- Думаю, там, на ферме. Я нарочно уехал – тебе сообщить.

Вейсал швырнул трубку на рычаг.

... Не прошло часа, как Вейсал с пятью милиционерами на грузовичке подкатили к ферме.

Всю дорогу Вейсал размышлял над новой загадкой, загаданной ему Аршадом, и пришел к выводу, что, видно, тот побоялся, что отнимут коня и винтовку. Иначе чего бы ему, находясь в бегах, сражаться с гачагами?

Едва машина остановилась у ворот, милиционеры выпрыгнули и окружили дом. Мухтар и комсомолец, встревоженные, стояли на крыльце.

– Скажите Аршаду... – вылезая из кабины, крикнул Вейсал. – Дом окружен! Пусть не вздумает бежать – застрелят!

– Да нету Аршада... – растерянно оказал Мухтар. – Еще с ночи уехал. А чего натворил-то?

– Гачаг он! Беглый! Из-под стражи сбежал!

Комсомолец хлопнул ладонью о ладонь.

– Вот чуял я, что гачаг!

– А чего не задержал, если чуял?! – окрысился на него Вейсал.

– Хотел... Да у него разрешение на винтовку. Твоя подпись...

– Интересный арестант... – завфермой пожал плечами. Вейсал не ответил.

– В машину! – скомандовал он милиционерам, сел в кабину и велел ехать к куполу.

Ни Аршад, ни гачаги туда не вернуться – это он понимал. Вейсалу нужно было осмотреть место. Войдя внутрь, Вейсал, светя фонариком, внимательно все оглядел: на полу валялись гильзы от трехзарядки, несколько пустых обойм...

Забрав и то, и другое, начальник Вейсал влез в машину, долго кружил по степи, пытаясь отыскать хоть какой-то след, но, ничего не найдя, не встретив никого, кроме лисиц, перебегающих дорогу перед самыми колесами, приказал ехать на погранзаставу.

На заставе ему сообщили, что два часа назад на одном из бродов были убиты два из пяти нарушителей: троих захватили живыми, они только что доставлены.

Вейсал попросил привести одного из них. Привели мужчину средних лет.

– Ты откуда? – спросил Вейсал.

– Афшарец, – не глядя на него, хмуро ответил гачаг.

– Из иранских или из наших афшарцев?

– Отсюда...

– Почему скрываешься? В гачагах больно хорошо?

– А чего тут хорошего? Золотом не осыпают, больше пулями... Мы с председателем сельсовета кровники были, двух дядьев моих раскулачили, вижу, ко мне подбираются, вот и подался в гачаги...

– Знаешь ты гачага Фархада? Из Курдобы, сын Гаджи Танрыверди.

– Ты про Русого? – оживился гачаг.

Вейсал кивнул.

– Знать не знаю, но слышал много.

– Где он сейчас?

– Говорят, его и еще пяток парней, что сбежали отсюда, в Тегеран послали, на офицеров учиться.

Вейсал помолчал.

– Ваша группа вела вчера перестрелку у купола Сарылар? – Мужчина нахмурился, помедлил.

– Наша-то наша, только ведь мы ему ничего не сделали, это он двоих ранил. А сам ускакал!

– Где раненые? – спросил Вейсал.

Гачаг молчал.

– Кончай в молчанку играть! Все равно же найдем!

– Найдете... – пробормотал гачаг. – Человек не иголка. Один из них афшарец, у него брат двоюродный, к нему и отвезли...

... Аршад ехал шагом. Куда ехать, он не знал. Патроны кончились. А комсомолец этот сказал, нету больше таких патронов, не делают. Прошло твоё время, трехзарядка. Прошли времена, когда выстрел твой громом гремел в горах... Пропади все пропадом!

Аршад поглядел на винтовку, лежавшую поперек седла, и слезы подступили к глазам, будто трехзарядка, еще вчера метко бившая по врагу, печально смотрела на него, как старая преданная собака.

Ехал шагом. Спешить было некуда. Лихость, стремительность, удалство – все это не привлекало его больше. Казалось, что прощаясь с трехзарядкой, Аршад навсегда прощается с молодечеством, с желанием стрелять, скакать, преследовать. Почему-то вспомнился комсомолец, назвавший сына Маисом, и тот другой, без конца говоривший о своих детях... И от этого стало еще грустнее, и вспомнился собственный сын, лежавший в колыбельке, и Аршад почувствовал вдруг, как наливается какой-то другой непривычной, тяжеловатой силой. И почему-то не было зла на этих мужчин, так охотно говоривших о детях... «А мой Ибихан один с матерью...»

Когда всю засияло солнце, Аршад заехал в тутовую рощу возле брошенного становища, верстах в тридцати от Курдобы, стреножил коня, пустил пастись, а сам лег на спину, и так, глядя в чистое сияющее голубое небо, заснул...

Когда Аршад проснулся, солнце уже клонилось к закату. Он очень давно не ел, но есть почему-то не хотелось. Тошно было ему: и монотонный стрекот кузнечиков, и тутовые деревья, брошенные, забытые людьми, и видневшаяся за ними степь, покрытая жухлой желтоватой травой, – все казалось сейчас не мило. Доставать из сумки еду не хотелось. Аршад повернулся на бок и снова заснул.

... Уже стемнело, когда Аршад открыл глаза. Он вскочил в седло и, не раздумывая, направил коня в Курдобу.

Среди ночи он добрался до дома, поставил коня. Потом пошел в верблюжий сарай, завернул в старую кошму трехзарядку и патронташ с оставшимися патронами, зарыл их в куче мусора, впервые в жизни ощутив безысходную тоску...

– А где твоя винтовка? – изумленно спросила Сервиназ, в одной рубашке открывшая ему дверь.

– Проходи в дом, – не отвечая, сказал ей Аршад.

Они вошли в комнату.

– Ради Бога, Кара, где твоя трехзарядка?!

– Зарыл я ее, – снимая пиджак, сказал Аршад. – Патроны вышли.

– Что ж, патронов нельзя достать?

– Можно было б, достал бы.

– А чего ты такой, Кара? Не в себе вроде...

– Добила меня эта трехзарядка... Куда я без нее?

– Нашел о чем горевать! Винтовку себе не найдешь?!

Лицо Аршада стало суровым, замкнутым, он промолчал. Сердце мужчины не хурджин: пришел с базара, распахнул, на, жена, любуйся!

... Утром, наскоро поев, Аршад вывел коня во двор.

– В район еду, – сказал он жене.

– А не посадят? – испуганно спросила Сервиназ.

– Скорей всего посадят. Пускай. Устал я. Убегать, прятаться... Расчета нет. Веди себя разумно, не одни друзья кругом, есть и враги. Парнишку береги! – Он кивнул на сына, лежавшего с соской во рту:

– Чтоб у них детей не было, кто нас проклял! – запричитала Сервиназ. – Чтоб им...

– Ладно, хватит! – тяжело вымолвил Аршад. – Сколько дадут, столько отсижу. Отсижу, вернусь. Расстрелять не должны за одного гачага. Сколько я их из строя вывел!

...Милиционер, с первой же встречи возненавидевший Аршада, оторопел, увидев своего врага. Он знал, что Аршад в гачагах, сбежал по дороге в тюрьму. И сообразив, что Аршад хочет войти к Вейсалу, преградил ему дорогу.

– Ну куда ты? – сказал он, впрочем довольно мягко.

– К начальнику.

– Погоди, доложу.

Аршад посторонился.

– Товарищ начальник! Там Аршад явился!

Вейсал оторвал голову от бумаг.

– Аршад? Какой Аршад?

– Ну... который беглый... Сбежал по дороге в Шушу.

– Не может быть! – Вейсал вскочил из-за стола.

– Да вон он, за дверью ждет.

Вейсал поглядел на дверь, чуть заметно пожал плечами.

– Пускай заходит.

– Обыскать? На предмет оружия?

– Не надо.

Аршад вошел. Поздоровался.

Начальник Вейсал молчал, не отрывая от него взгляда. И не потому, что не хотел ответить на приветствие, просто все это было так удивительно... Наконец Вейсал пододвинул свой стул, сел.

– Садись, – сказал он Аршаду.

Аршад продолжал стоять.

– Ну, с чем пожаловал? – спросил начальник, не скрывая насмешки.

– Ни с чем... – пробормотал Аршад, оскорбленный насмешкой. – Пришел и все.

– Кишка тонка больше продержаться?

– Чего это? Гачаги держатся, а я не могу? Патроны у меня вышли...

– Будто патронов не найти!

– Для моей винтовки нету.

– А другую нельзя добыть? – Вейсал усмехнулся. – Отнял же коня у кассира, у другого пятизарядку отбери!

– Не надо, начальник... – хмуро бросил Аршад. – Конь вон он, привязанный стоит у дверей... А насчет винтовки... Добыл бы, если б хотел.

Аршад говорил так спокойно, невозмутимо что Вейсал вдруг резко изменил тон: перестал усмехаться, лицо стало задумчивое, незлое...

– Ладно, – оказал начальник милиции. – Иди пока, побудь у родных. Придешь утром.

– Чего утром? – грубо сказал Аршад. – Забирай, я же вот он!

– Иди, иди, – повторил Вейсал. – Завтра придешь, потолкуем.

Больше Аршад ничего не сказал. Спустившись с веранды, бросил косой взгляд на коня, привязанного к дереву, и вышел за ворота.

СОДЕРЖАНИЕ

Ивы над арыком	6
Кизиловый мост	72
Не оглядывайся, старик	130
Трехзарядная винтовка	240

Ильяс Эфендиев

ИЛЬЯС МАГОМЕД оглы ЭФЕНДИЕВ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(В двух томах)
Том II

ИЗДАТЕЛЬ
Гошгар Исмаилоглы

РЕДАКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА	<i>Мамед Мамедов,</i>
ХУДОЖНИК	<i>Эвелина Алиева,</i>
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР	<i>Ильхам Исмаилов,</i>
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР	<i>Акиф Дензи-заде,</i>
КОРРЕКТОР	<i>Шахла Аскерова,</i>
КОНТРОЛЬНАЯ ВЫЧИТКА	<i>Эльдар Шарифов,</i>
ОПЕРАТОРЫ	<i>Малахат Гурбанова, Халида Гусейнова,</i>
ОТВ. ЗА ПЕЧАТЬ	<i>Гасым Гасымов, Анар Абдуллаев, Мусаддиг Иерафилов.</i>

*Сдано в набор 08.07.2001.
Подписано к печати 13.04.2002.
Формат 70x100 1/16, физ. п.л. 30,5, усл. п.л. 39,5
Бумага офсетная ¹1. Гарнитура таймс.
Заказ 02/09
Тираж 1500*

*Книга
подготовлена к печати
в издательстве предприятия
"ЧИНАР-ЧАП"
Тел.: 902757, 850-3409191
и
отпечатана офсетным способом
в типографии корпорации
"GAHP-POLIGRAF"
Тел.: 989555, 937255*